

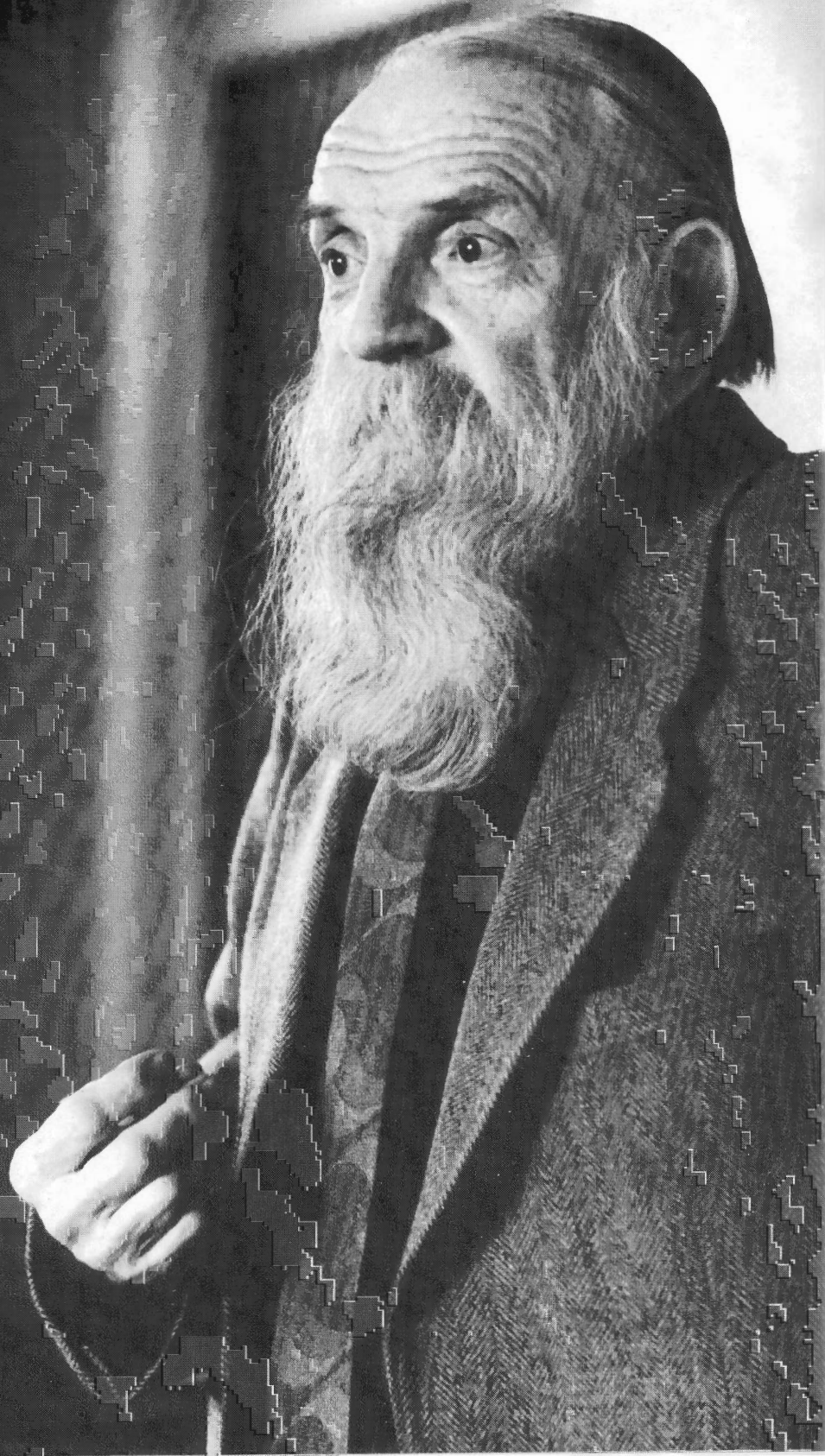


Н. И. ТОЛСТОЙ

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

Том II

СЛАВЯНСКАЯ
ЛИТЕРАТУРНО-
ЯЗЫКОВАЯ
СИТУАЦИЯ





ЯЗЫК . СЕМИОТИКА . КУЛЬТУРА



Н. И. Толстой

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

Том II

СЛАВЯНСКАЯ
ЛИТЕРАТУРНО-ЯЗЫКОВАЯ
СИТУАЦИЯ



«ЯЗЫКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Москва 1998

ББК 81.2Р
Т 53

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект 97-04-16427

Толстой Н. И.

Т 53 Избранные труды, том II. Славянская литературно-языковая ситуация. — М.: «Языки русской культуры», 1998. — 544 с.

ISBN 5-7859-0058-0

Том включает работы акад. Н. И. Толстого по истории славянских литературных языков — от древнейшего периода до новейших опытов создания локальных литературных микроязыков. Рассматривается проблема соотношения языка и культуры, роль языка в формировании этнического и национального самосознания славянских народов; предлагаются типологические критерии классификации славянских литературных языков (как внутренние, собственно лингвистические, так и внешние — историко-культурные); дается сравнительная характеристика двух главных культурных ареалов славянского мира — Slavia Orthodoxa и Slavia Latina. Ряд статей посвящен древнеславянскому (церковнославянскому) языку как общему литературному языку южных и восточных славян эпохи средневековья, его народно-языковой основе, культурным функциям, локальным разновидностям и истории, его соотношению со старославянским языком и его роли в развитии национальных литературных языков и письменности. Подробно анализируется литературно-языковая ситуация южных славян: древнесербский книжный язык XII–XIV вв., жанровая структура древнесербской литературы, славяно-сербский язык XVIII — начала XIX в.; хорватский литературный язык средневековья и литературно-языковой регионализм в Хорватии в XVI–XVIII вв.; опыты по созданию македонского литературного языка в XIX в.; особенности языкового развития в западных регионах южного и восточного славянства и др. В нескольких статьях обсуждаются вопросы истории русского литературного языка в связи с развитием национального самосознания; затрагиваются проблемы культуры речи, текстологии и публикации памятников письменности.

Книга предназначена филологам-славистам и широкому читателю, интересующемуся этнокультурной и этноязыковой историей славян.

ББК 81.2Р

Except the Publishing House (fax: 095 246-20-20, E-mail: lrc@koshelev.msk.su) the Danish bookseller firm G·E·C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavica@gad.dk) has an exclusive right on selling this book outside Russia.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки русской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G·E·C GAD.

5-7859-0058-0



9 785785 900585 >

- © Н. И. Толстой, 1998
- © А. Д. Кошелев. Серия «Язык. Семиотика. Культура», 1995
- © В. П. Коршунов. Оформление серии, 1995

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	7
-----------------	---

Часть I

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛАВЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ

Язык — словесность — культура — самосознание.....	10
Несколько размышлений о славянских литературных языках, литературно-языковых ситуациях и концепциях	22
Slavia Orthodoxa и Slavia Latina — общее и различное в литературно-языковой ситуации.....	30
Кирилло-мефодиевская традиция у славян	43
Древняя славянская письменность и становление этнического самосознания у славян.....	49

Часть II

ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК

К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян.....	66
Древнеславянский литературный язык в XII—XIV вв. (его функции и специфика).....	90
Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI — XVII вв.).....	102
Старинные представления о народно-языковой базе древне- славянского литературного языка (XVI—XVII вв.).....	148
Языковая ситуация в западных пределах восточного и южного славянства в XVII в.....	174

Часть III

КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ У ЮЖНЫХ СЛАВЯН

Этническое и культурное самосознание сербов в связи с развитием письменности (литературы) и литературного языка в XII—XIV вв.	184
Отношение древнесербского книжного языка к древнеславянскому языку (в связи с развитием жанров в древнесербской литературе)	200
К историко-культурной характеристике «славяно-сербского» литературного языка	212
К вопросу об историографическом слоге сербского («славеносербского») литературного языка.....	229
Литературный язык сербов в XVIII — начале XIX в.	239
Этническое и культурное самосознание хорватов в связи с развитием письменности (литературы) и литературного языка в XII—XIV вв.	345
Регионализм и литературно-языковая ситуация в хорватских землях в XVI—XVIII вв.	360
Страничка из истории македонского литературного языка.....	395

Часть IV

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Язычество и христианство Древней Руси	422
Этническое самопознание и самосознание Нестора Летописца ...	431
Два иностранных свидетельства XVI в. о славянах, русских, о церковнославянском и русском языке.....	440
Взгляды А. Н. Пыпина на историю русского литературного языка (страничка из истории русской лингвистики).....	454
Некоторые вопросы текстологии и публикации русских литературных памятников XVIII в.	464
Вопросы культуры речи в трудах русских лингвистов 20-х годов	483
Новый славянский литературный микроязык?	497
<i>Литература</i>	507
<i>Сокращения</i>	539
<i>Первые издания публикуемых работ</i>	540

От автора

Статьи и материалы, включенные в этот том, написаны в период с начала 60-х гг. и до наших дней. Интерес к теме древнеславянского (церковнославянского) литературного языка вызвала у меня непрекращающаяся в конце 50-х и в 60-х гг. дискуссия о происхождении русского литературного языка. С. П. Обнорский, Ф. П. Филин и др. отстаивали позицию «исконно-русского происхождения» древнерусского и современного русского литературного языка, в то время как академик В. В. Виноградов на IV съезде славистов в Москве в 1958 г. выдвинул концепцию о двух типах древнерусского литературного языка — книжно-славянском и народно-литературном. Применяв эту модель к другим славянским литературным языкам кирилло-мефодиевской традиции, нетрудно было заметить, что подобный книжно-славянский тип можно обнаружить в любом древнеславянском языке мира *Slavia Orthodoxa* и что разница между книжными типами этих языков во многих случаях ничтожна и не может быть сравнима с разницей между книжно-славянским и народно-литературным типом языка. Это побудило меня выступить со статьей «К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян» (1961 г.). Отстаивая церковнославянское происхождение русского литературного языка, я не был оригинален. Такого же мнения придерживались А. И. Соболевский, А. А. Шахматов, Л. В. Щерба, Н. С. Трубецкой и многие другие. Однако мною сделана попытка, в дальнейшем получившая свое более широкое развитие, придать этой проблеме общеславянский масштаб. Отсюда мое исключительное внимание к древнесербскому книжному языку как к аналогу древнерусского литературного языка.

Май 1996 г.

От редактора. В середине мая 1996 г., за полтора месяца до смерти, в больнице Н. И. Толстой начал диктовать мне предисловие к этому тому. К сожалению, тогда удалось записать только одну страницу. Диктовка была прервана приходом посетителя, а возобновить работу над предисловием уже не пришлось.

Настоящий том — вторая книга Н. И., посвященная славянским литературным языкам. Большая часть публикуемых здесь работ не вошла в книгу 1988 года «История и структура славянских литературных языков». Повторяются в настоящем издании лишь те статьи, которые необходимы для целостного представления авторской концепции.

Статьи были отобраны и сгруппированы в разделы самим автором; ему же принадлежат заголовки разделов и заглавие тома. В этом заглавии отражен характерный для Н. И. интерес к культурно-историческим аспектам и условиям формирования и развития славянских литературных языков.

В подготовке тома к печати принимали участие Н. А. Замятина, М. Н. и А. Н. Толстые.

I

Главные особенности славянской литературно- языковой ситуации

Язык — словесность — культура — самосознание

Четыре компонента, указанные в заглавии, присущи, надо полагать, всем известным нам нациям и этносам, однако речь далее пойдет о ситуации применительно к русскому (великорусскому) языковому, этническому и культурному ареалу. В русских условиях квадриада *язык — словесность — культура — самосознание* существовала и складывалась веками, а смысловое (идейное) наполнение и сущность ее исторически изменялись, притом, что каждый ее компонент существовал и эволюционировал не сам по себе, а в тесной связи и зависимости от трех других компонентов. Это дает нам основание и право рассматривать их одновременно и параллельно, вернее, это даже обязывает нас обратиться к такому рассмотрению.

Эффективность сопоставительно-типологического анализа национального языка, национальной культуры и национального самосознания во многом повышается тем, что структуры перечисленных компонентов или явлений сходны, изоморфны, построены по аналогичному иерархическому принципу. К такому выводу можно прийти, рассматривая компоненты как самостоятельные отдельные единицы, располагая их в «горизонтальном» — равноправном порядке и сравнивая их друг с другом. Если же те же компоненты расположить в «вертикальной» — иерархической последовательности, в порядке соподчинения, то тогда язык можно трактовать как одну из форм культуры и, безусловно, как форму словесности — книжной и устной; литературу — также как форму и компонент культуры, а национальное самосознание — как определяющий показатель и объединяющий стержень компонентов культуры.

Обратимся к структуре каждого из названных в заглавии компонентов.

Современный русский язык, т. е. язык на котором говорят и говорили русские люди в XIX и XX вв., представляет собой достаточно осложненную и в то же время четкую си-

стему «стратов» (или идиомов), т. е. он членится на различные виды языка, которые в целом составляют парадигму функциональных разновидностей языка. В основном эта парадигма четырехчленная:

литературный язык
просторечие
говоры
жаргоны

Доминирующую позицию занимает литературный («стандартный») язык, имеющий наддиалектный характер и обслуживающий не только образованный слой общества, но и литературу. Литературный язык «поливалентен», т. е. функционирует во всех сферах — письменной, устной, разговорной, деловой, художественной. Древнерусский литературный язык подобной поливалентностью не обладал, и круг его распространения был уже.

Просторечие, которое некоторые ученые характеризуют как «полудиалект» (ср. немецк. *Halbmundart*), представляет собой также наддиалектное городское явление, как правило лишенное своего письменного выражения и широкого распространения и потому не поливалентное. Локально ограничены говоры, имеющие в современном русском языке исключительно устное функционирование. К тому же в наше время они все более и более смешиваются с литературным языком и местным просторечием. Наконец, различные профессиональные и социальные диалекты представляют собой еще более замкнутую группу устных «микроязыков» — арго, которая с упадком и почти полным уничтожением ремесленничества сильно сократилась в послереволюционное время, хотя молодежный, школьный, студенческий, преступный и некоторые иные социальные жаргоны продолжают жить и развиваться, оказывая влияние на язык прессы и тем самым на разговорный и отчасти письменный литературный язык.

Разные арго, например язык нищих или торговцев, справедливо называли тайными языками, так как они обычно ограничивались узкой средой говорящих, часто заинтересованных в том, чтобы их не понимали другие. Арго можно назвать идиомом или стратом с минимумом валентности, т. е. с самой малой, нередко закрытой сферой функционирования.

Таким образом, в нашей четырехчленной парадигме от литературного языка до арго наблюдается сокращение сферы функционирования от максимума — «поливалентности» до минимума, до узкого круга говорящих. Другой признак, характеризующий компоненты парадигмы, — нормированность — в той же мере сходит на нет в рубрике арго. Убывающие показатели выявляются также, если компоненты оценивать по признакам численности говорящих и территориальной распространенности явления. Таково положение в нашу эпоху конца XX века, хотя еще в начале века оно было иным. Е. Д. Поливанов в 30-е годы писал, что литературный язык («стандартный», «общерусский») — «это внетерриториальный язык русской интеллигенции, что в одинаковой мере справедливо и для XIX и для XX века, но не для более ранней эпохи XVIII века» (Поливанов, 1931, с. 125). Характерно, что в те же 30-е годы нашего века русские лингвисты Д. Н. Ушаков, Е. Д. Поливанов, Н. Н. Дурново определяли литературный язык как «общий», «в известной степени искусственный» язык (Ушаков, 1925, с. 7; Поливанов, 1963, с. 231; Дурново, 1924, с. 36–37).

Четырехчленная парадигма языковых стратов может быть осложнена и представлена с большим числом компонентов. Так, в виде отдельного составляющего парадигмы можно выделить разговорную речь, или обиходно-разговорный язык, которая у чехов, например, безусловно является отдельным идиомом (стратом). С меньшим основанием и четкостью, во всяком случае для русского языка, обособляется язык фольклора и особенно такие функционально-стилистические варианты литературного языка, как язык художественной литературы, публицистики, юриспруденции, деловой документации и т. п. В известные периоды истории русского языка такие функциональные варианты, как язык права или деловой («приказный») язык, обособлялись более резко, чем в современном языке, однако нужно учитывать, что тогда в парадигму стратов входил и церковнославянский язык, т. е. существовали условия диглоссии или двуязычия.

Не вдаваясь в подробности исторического аспекта структуры русского языка, которые бы увели нас в значительной мере в сторону от основной проблемы, отметим все же, что в предложенной нами и принятой в современной русистике четырехчленной парадигме, безусловно, не хватает еще од-

ного, пятого звена — идиолекта. Идиолект, т. е. речь одного индивидуума, не есть некое понятие или абстракция, необходимая для более строгого структурного и логического построения системы координат, а абсолютная реальность, которую, кстати говоря, младограмматики считали единственной лингвистической реальностью, а диалект, городское просторечие, национальный язык — научной фикцией. А. А. Шахматов свой известный труд «Очерк современного русского литературного языка» начинает с объяснения, что в своем описании русского он исходит прежде всего из своего собственного словоупотребления и делает это на основе «методологических требований», так как «реальное бытие имеет язык каждого индивидуума; язык села, города, области, народа оказывается известною научною фикцией, ибо он слагается из фактов языка, входящих в состав тех или иных территориальных или племенных единиц индивидуумов; между тем число этих индивидуумов представляется неопределенным, исчерпывающее изучение их языка невозможным» (Шахматов, 1941, с. 59).

Современная лингвистика и русистика отказались от младограмматических методологических требований и вместе с ними «за ненужностью» они предали забвению проблеме идиолекта. А между тем идиолект можно сравнить с точкой, в которой пересекаются или к которой сходятся многие координаты языковой реальности. Таким образом, в своих исследованиях лингвист и представитель смежных дисциплин пользуются пятичленной парадигмой:

литературный (стандартный) язык
просторечие («полудиалект»)
диалект
арго
идиолект

Словесность, т. е. искусство художественного слова, также имеет различные формы и виды своего письменного и устного воплощения. Литературному языку в лингвистической парадигме соответствует в парадигме словесности художественная литература, литература книжная, имеющая на Руси, в России тысячелетнюю историю. Просторечию же соответствует так называемая «третья словесность», или народно-городская литература, лишенная, в отличие от художественной, элитарного характера, но бытующая в письменной, а не в устной форме. Устная словесность — фоль-

клор — занимает то же место в парадигме, что и диалекты в языковой системе стратов. Фольклор в принципе всегда диалектен, вариативен и не нормирован. Он так же, как и говоры, имеет лишь одну, устную форму. Подобно литературе, фольклор обладает системой жанров, однако эта система отлична от литературной, ей присуща большая устойчивость, привязанность к традиции, тесная связь с обрядовой сферой. Наконец, особый, не связанный с народной, крестьянской средой «фольклор» — тюремный, школьный, студенческий, занимает ту четвертую параллель в парадигме, которая в лингвистической последовательности стратов отведена для арго, для жаргона. Отдельное авторское произведение (или авторское творчество) соотносится с идиолектом.

Таким образом, парадигма словесности (литературы и фольклора) выглядит следующим образом:

художественная литература
 народно-городская литература
 общенародный фольклор
 социальный фольклор
 литературное или фольклорное творчество индивида

Первые два компонента относятся к письменной (книжной) словесности, вторые — к устной; творчество индивида может быть письменным или устным.

Некоторого пояснения требует народно-городская, или «лубочная» литература, или «третья» словесность. Ее выделение в отдельную совокупность письменных произведений редко практикуется в русском литературоведении, а входящие в ее состав произведения и памятники XIX в. и начала XX в. в наше время почти не изучаются. Между тем в польской и хорватской исследовательской традиции ей уделяется серьезное внимание. Хорваты эту литературу называют *pučka književnost* в отличие от фольклора, который называется *usmena književnost*.

Известная хорватская фольклористка Мая Бошкович-Стулли посвятила проблеме соотношения фольклора (устной словесности) и народной литературы (литературы для народа, народной книжной словесности) серьезное исследование (Bošković-Stulli, 1973), в котором она обрисовала ситуацию в Германии, во Франции и в западно- и южнославянских странах, а также коснулась вопросов фольклористической и литературоведческой терминологии, относящейся к народному, устному, и книжному (письменному) творчеству. В этом

плане интересен и первый том фундаментальной семитомной «Истории хорватской литературы», изданный в 1978 г. и состоящий из двух самостоятельных исследований: первая часть М. Бошкович-Стулли — «Устная литература» (*Usmena književnost*) и вторая часть Д. Зечевич — «Народная литература» (*Pučka književnost*), так как в нем проведено разграничение двух упомянутых видов творчества на большом и конкретном материале (*Povijest*, I). Болгарская «народная литература» XIX в. и начала XX в. кратко описана немецкими исследователями К. Рот и Ю. Рот (*Roth*, 1984). Польские ученые серьезно занимались «третьей» культурой и «третьей» литературой. Результаты их исследования и собственные интересные наблюдения изложила В. В. Мочалова в своей книге о народно-городской литературе Польши XVI—XVIII вв. (Мочалова, 1985). В русском литературоведении конца XIX в. и начала XX в. ей уделяли серьезное внимание такие ученые, как Н. С. Тихонравов, Л. Н. Майков, В. В. Сиповский, А. А. Веселовский и В. Н. Перетц, а в середине 20-х годов нашего века по поводу народной литературы акад. Ю. М. Соколов писал, что «постоянное взаимодействие всех трех начал — народной литературы, народной словесности и литературы образованных классов обуславливает собой многие фазисы литературного развития, например, в России, в XVIII в.» (Соколов, 1925). Подобно просторечию, адаптировавшему по своим меркам литературный язык, народно-городская, или «лубочная» литература приспособлявала ряд произведений, сюжетов и тем элитарной литературы к народным представлениям и мещанским вкусам Никольской улицы.

О роли творчества индивида в словесной (литературной) парадигме много говорить не приходится, ибо она совершенно очевидна и весьма значительна для элитарной (художественной) литературы, но менее или даже мало характерна для второго, третьего и четвертого компонентов рассматриваемой парадигмы — для «лубочной» литературы, фольклора и социально-городского фольклора. При утвердившемся в науке взгляде на фольклор как на коллективное творчество все же остается проблема отдельного сказителя или певца, его репертуара и способа исполнения текста, его семейной традиции.

Наконец, подобно тому как лингвисты различают отдельные виды и типы литературного языка (деловой язык, язык

права и т. п.), литературоведы указывают на разновидности литературы не только по жанровому, но и по иному функциональному или содержательному принципу (публицистическая, мемуарная, детская литература и т. п.).

Обращаясь к третьей — культурной парадигме, отметим еще раз, что язык и словесность (литературу) следует считать компонентом культуры, однако в целях нашего исследования мы исключаем их из сферы культуры и рассматриваем как особые, автономные системы, а затем сравниваем их структуру со структурой того культурного целого, которое остается. Это «остаточное» целое, включающее все виды искусства, музыку, архитектуру, обычаи, обряды и традиции, можно также представить в виде четырехчленной или пятичленной парадигмы. Первым, доминантным компонентом парадигмы является национальная культура, воспринимаемая в русских условиях как часть мировой культуры. Ей соответствует в рассмотренных парадигмах национальный литературный язык и национальная художественная литература. Под элитарной культурой обнаруживается слой «третьей» культуры, «лубочной» культуры, городской низкой культуры, близкой к тому типу, который М. М. Бахтиным назван карнавальным. Это русское культурное «просторечие» имело глубокие исторические корни и занимало промежуточное положение между культурой элитарной, освоенной и выпестованной православием, и культурой народной, языческой в своих ранних истоках. Именно к этой «третьей» культуре принадлежали, на наш взгляд, такие культурные институты, как, например, юродство и скоморошество. Третьим мощным пластом русской культуры в прошлом, да и в наши дни, был и остается пласт народной, в основе своей крестьянской, культуры со всем укладом крестьянской жизни, с ее философией — миропониманием, обрядами, обычаями и верованиями. Народная культура диалектна, как народные говоры и устное народное творчество. Сегодня, как и прежде, с полной уверенностью можно сказать, что «диалект» — это явление и понятие отнюдь не только лингвистическое, оно в той же мере и культурологическое, а для некоторых славянских традиций, например, для хорватской, — и литературоведческое. Народные культурные диалекты, например, рязанский, поморский, смоленский и т. д., дополняются профессиональными культурными диалектами, которым в лингвистической парадигме соответ-

вуют аргю, а в словесной парадигме — социальный фольклор. К таким профессиональным культурным диалектам принадлежат чаще всего специальные замкнутые микрокультуры: пчеловодов, пастухов, гончаров — в селе; ремесленников — в городе. В парадигме культуры, так же как и в предшествующих парадигмах, существенным звеном всей структуры являются носители культурного идиолекта. Народная культура отдельной личности может быть уникальна, как уникально творчество отдельных писателей или репертуар отдельных сказителей. К таким индивидуумам относятся знахари, колдуны, вещуньи, ведьмы, народные целители.

Таким образом, парадигма культуры выглядит так:

элитарная культура

«третья» культура

традиционная народная культура (диалектная)

традиционная профессиональная культура

(социально-диалектная)

культура идиолектная.

Литературный язык, художественную литературу и элитарную культуру, занимающие первое место в трех рассмотренных парадигмах, можно объединить одинаковым эпитетом «общий»: общий язык, общая литература, общая культура. Эпитет «общий» можно расширить, обратив его в «общенациональный». Термин «общенациональный» в таком случае будет означать «общий для всей нации», но не «воспринятый, используемый, употребляемый всей нацией». Между общим и единичным, индивидуальным располагаются три параллели, занятые явлениями полудиалектного, диалектного и специфически диалектного характера. Все они обладают определенным набором признаков, из коих четыре являются определяющими: 1. нормированность/ненормированность, 2. наддиалектность (надтерриториальность)/диалектность (территориальная расчлененность), 3. открытость/закрытость (сферы, системы), 4. стабильность/нестабильность. Каждый отдельный языковой, литературный и культурный уровень (страт, параллель) характеризуется определенным сочетанием этих признаков. Так, для литературного языка характерна нормированность, наддиалектность, открытость, стабильность. Каждый дальнейший уровень отличается ослаблением этих признаков, т. е. меньшей

нормированностью, большей диалектностью, меньшей открытостью и большей нестабильностью. Помимо упомянутых синхронных признаков, имеются и признаки диахронические, выявляемые на основе наблюдений над историческим развитием соответствующих явлений (Толстой, 1995).

Несколько иную парадигму имеет национальное (этническое) самосознание, состоящее из шести компонентов. Каждый компонент отмечает принадлежность к той или иной группе людей по этническому, религиозному и государственному признаку. Таким образом, можно различать шесть видов самосознания:

1. религиозное
2. государственное
3. общеплеменное
4. общенародное (среднеплеменное)
5. частноплеменное (местное)
6. индивидуальное

В отличие от трех выше рассмотренных парадигм, носивших гомогенный характер, так как все их составляющие были одного порядка, парадигма самосознания гетерогенна. Лишь четыре показателя, от третьего до шестого включительно, гомогенны и соотносимы в полной мере с показателями лингвистическими и культурологическими. Религиозная и государственная принадлежность являются неэтническими показателями, однако они непосредственно с ними связаны и оказывают на этнос сильное воздействие.

Национальное (этническое) самосознание ярче всего выявляется в ситуации противопоставления «свой — чужой», в особенности в тех случаях, когда это противопоставление обостряется. В ситуации постоянной борьбы с «диким Полем», а затем в условиях татаро-монгольского ига религиозный признак был доминирующим для русского народа, для русского этнического самосознания. Русское православие с самого своего появления на русской земле было мощным организующим и объединяющим фактором русского этноса в целом. Общеплеменное славянское сознание, как показывают свидетельства Нестора Летописца, было достаточно ярко выраженным в Древней Руси, что поддерживалось авторитетом церковнославянского языка, церковнославянской литературы и культуры. Принадлежность к русскому народу, т. е. к восточнославянскому этносу, во многие периоды русской истории занимала доминирующую позицию в русском

национальном самосознании, но никогда национальное самосознание этим не ограничивалось (Толстой, 1993; см. наст. изд., с. 431–439).

Оно было всегда шире и глубже, и обычно русский человек, ощущая себя русским, был в то же время и православным христианином, и славянином, братом по крови других славянских народов, и нижегородцем, или туляком, рязанцем, наконец, россиянином, гражданином Российской державы.

Национальное самосознание многокомпонентно. К тому же в разные исторические периоды доминирующую роль могли играть разные компоненты. Со сменой доминанты менялись соотношения близкородственных этносов (см. РЭС, 1982; РЭС, 1989). Современные события в бывшей Югославии тому яркий и, к сожалению, трагический пример.

Более подробный анализ парадигмы самосознания потребовал бы значительно большего места, и потому следует ограничиться изложенным. В парадигму самосознания был введен шестой пункт — индивидуальное самосознание — исходя из того, что предшествующие пять могут считаться общенародными. Если анализировать национальное самосознание таких русских поэтов начала XX века, как Блок, Есенин, Клюев, Хлебников, Волошин, то нетрудно заметить, что каждый из них имеет свою специфическую «национальную палитру» (Толстой, 1987а). Наконец, подобно тому как русский литературный язык имел и имеет свои разновидности, можно отметить разновидности и в каждом уровне национального самосознания. Достаточно вспомнить, что русское народное православие имеет такой уникальный вариант, как старообрядчество, обособлявшее довольно четко отдельные местные этнические группы русского народа.

Нашей задачей было показать общность стратификационных структур (функциональных парадигм) языка, литературы, культуры и самосознания, их историческую обусловленность и взаимосвязь. В то же время нам представляется важным и своевременным изучать язык, литературу и культуру во всей их полноте, не ограничивать исследования литературным языком, художественной литературой, элитарной культурой. Их истинная сущность и историческая обусловленность могут быть поняты и раскрыты исключительно при ясном представлении о целом, частью которого они являются. Все вместе они демонстрируют особый тип

культуры, которая выделяет русскую культуру из среды соседствующих европейских культур. Хотелось бы подчеркнуть, что речь идет не об исключительности русской культуры и тем более не о ее превосходстве, а об особом типе, над определением которого трудилось несколько поколений русских философов и историков от Н. Я. Данилевского до Н. С. Трубецкого.

Выдвинутое в 20-е годы евразийцами Н. С. Трубецким и Л. П. Карсавиным учение о личности ведет к более глубокому историософическому пониманию изложенной нами проблемы.

Вступление к известной книге Н. С. Трубецкого «К проблеме русского самопознания» (1927) начинается такими словами: «Одним из самых важных понятий, лежащих в основе евразийского учения (может быть, прямо самым важным) является понятие личности. На этом понятии строится и философская, и историософская, и социологическая, и политическая сторона евразийства. При этом евразийство значительно углубляет и расширяет понятие личности, оперируя не только с частночеловеческой, но и с многочеловеческой “симфонической” личностью. Так, личностью с евразийской точки зрения является не только отдельный человек, но и народ. Мало того, даже целая группа народов, создавших, создающих или могущих создать особую культуру, рассматривается как особая личность: ибо культура как совокупность и система культурных ценностей предполагает целесообразное творчество, а такое творчество предполагает личность, немислимо без личности. ... Всякая личность конкретно проявляется в каком-нибудь определенном своем состоянии, или индивидуации. ... В принципе каждая личность есть (фактически или потенциально) индивидуация другой, более “объемистой” личности. Существует как бы особая иерархия личностей, по признаку вхождения их друг в друга» (Трубецкой, 1927, с. 3–4).

Л. П. Карсавин в книге «Церковь, личность и государство» (1927) в своих рассуждениях также исходит из понятий индивидуальной личности и личности «соборной», «симфонической» и применяет их для раскрытия сущности и структуры «видимой» земной Церкви. В его представлении, «между единой личностью всей Церкви и индивидуальными личностями находятся еще личности, объединяющие индивидуумов, и притом так, что они и есть единства

объединяемых ими индивидуумов. Мы называем такие личности *соборными* или *симфоническими* личностями в отличие от индивидуумов и от самой соборной, а в совершенстве своем всеединой личности Церкви. Такими соборными личностями будут, например, поместные национальные церкви. Следовательно, если мы рассматриваем всеединую личность Церкви со стороны ее множества, она предстает нам как иерархия личностей в порядке убывания их соборности, нисходящая от самой единой церкви до индивидуумов ... Христианство — единственная религия личности» (Карсавин, 1994, с. 418–419).

Л. П. Карсавин, как и Н. С. Трубецкой, подчеркивает существенность понимания иерархичности структуры симфонических личностей и их связи с личностью-индивидуумом. Евразийское понимание личности, однако, является отдельной, актуальной в наше время и весьма емкой темой, которую нельзя осветить несколькими отрывочными цитатами. Она заслуживает отдельного и внимательного рассмотрения. Приведенные цитаты тем не менее показывают, как близка эта тема к затронутой нами проблеме и под каким углом зрения наша проблема может рассматриваться далее.

Несколько размышлений о славянских литературных языках, литературно-языковых ситуациях и концепциях

Несомненные достижения в изучении славянских литературных языков в последние годы, так же как и дальнейший успех в этом направлении, связаны во многом с последовательным разграничением и определением соотношения различного материала и сфер исследования внутри самой дисциплины «история славянских литературных языков» и особенно в аспекте их внешней истории. В связи с этим обращусь в первую очередь к трем условиям, постулатам и подходам к предмету исследования. К ним я отношу:

Во-первых, условие различения истории литературного языка конкретного этноса или социума, конкретных носителей (потребителей) этого языка и истории языковой ситуации, в которой находились и которую создавали эти носители, не говоря уже об основном и более четком различении истории языка вообще (исторической грамматики, лексикологии) и истории литературного языка как такового. Последнее различение обуславливалось и закреплялось в свое время самим фактом появления истории литературного языка как самостоятельной дисциплины.

Во-вторых, условие рассмотрения литературно-языковых концепций (концепций литературного языка) в известной мере автономно, отдельно от литературно-языковой ситуации и конкретного литературного языка при полном понимании зависимости этих концепций от ситуации и от структуры литературного языка своего времени. Связь литературно-языковых концепций с литературно-языковой ситуацией и литературным языком становится в таком случае предметом второго этапа исследования. На этом этапе возникает и вопрос о характере социальной среды, к которой обращена и на которую опирается та или иная концепция. Естественно, что носители этих концепций могли принимать или отвергать определенный литературный язык и ситуацию, пытаться их узаконить или изменить, объеди-

нить литературные языки или «отпочковать», создать новые в конкретный период развития литературных языков и литературно-языковой ситуации, особенно в так называемый донациональный период.

В-третьих, восприятие истории литературного языка как дисциплины скорее историко-культурной, чем историко-лингвистической, когда речь идет о внешней истории литературного языка, об эволюционных и революционных процессах, определяющих отношение литературного языка к другим идиомам или стратам (диалектной базе, просторечию и т. п.), когда ставится вопрос, почему при равных лингвистических условиях изменения пошли в различных направлениях (например, чем вызвана реформа Караджича или литературно-языковая позиция Карамзина) (Белић, 1948; Успенский, 1985). Историко-лингвистический аспект выступает на первый план тогда, когда речь идет о внутренней истории литературного языка, о конкретном лингвистическом воплощении процессов изменения или нормирования литературного языка, когда ставится вопрос о том, что и как изменилось в литературном языке (например, употребление глагольных времен в болгарском литературном языке во второй половине XVIII в. и первой половине XIX в.).

Третье положение входит в широкий круг проблем под общим заглавием «Язык и культура» — «Литературный язык и культура» — и связано с рядом более конкретных тем, с такими, как, например, тема «Литературный язык и литература». Эта тема довольно успешно разрабатывалась рядом ученых-славистов, в том числе и В. В. Виноградовым, который, как и его коллеги, основное внимание уделял языку писателей, в то время как она может рассматриваться и в иных планах, например, плодотворно исследование зависимости развития литературного языка и его стилей от развития конкретной национальной или общенациональной древнеславянской литературы.

При рассмотрении литературного языка как системы, в связи с ним системы всех языковых стратов (просторечия, диалектной речи, устно-литературного койне, фольклорного койне и т. д.) и вместе с тем литературы на этом языке также как системы, что делается чаще всего применительно к национальным языкам и национальным литературам, нужно учитывать, что эти системы у многих славян сложились относительно поздно, что они в «классическом» виде — про-

дукт процессов XIX и XX вв. и лишь в некотором отношении более раннего периода. В предшествующие периоды существовали подобные системные отношения, но в такие отношения мог входить не один литературный язык, а два или даже более, могла функционировать в одной системе не одна литература, а несколько литератур; отдельная славянская литература, например хорватская глаголическая, могла одновременно соприкасаться или входить в несколько культурных ареалов, культурных миров, имевших также свое сложное соподчинение и соотношение (Толстой, 1987; см. наст. изд., с. 360–394). В столь же сложном частично изоморфном упомянутым системам (языковой и литературной) соотношении находилась система элементов этнического самосознания. Она упрощалась и четче вырисовывалась в более поздний период, когда этническое самосознание переходило в национальное, т. е. в тот же период, когда формировались национальные славянские языки; во многих славянских зонах этот процесс происходил даже с опозданием. Эта проблема интересовала еще А. А. Шахматова, ею занимался Н. С. Трубецкой (Трубецкой, 1927), а в наше время она разрабатывается коллективом историков и языковедов-славистов (РЭС, 1982; РЭС, 1989).

Система функционирования и сама структура литературного языка и литературы национального периода отличается от систем литературного языка и литературы периода донационального и периодов более ранних. Тем не менее до сих пор мы нередко ограничиваем изучение предшествующих национальному периодов поисками истоков и корней последнего, стремимся создать «родословную» национальной литературы, национального литературного языка, нередко отбрасывая все, что, по нашему мнению, часто субъективно, не относится к этой «родословной», все что не «свое», а «чужое». Но понимание «своего» и «чужого» не неизменно, не стабильно, оно изменяется во времени и в своем «объеме» и во многом зависит от изменения форм и функций этнического и национального самосознания, анализу которого, даже самому лаконичному, мы сейчас, к сожалению, не можем уделить места. Однако ложно понятое «не свое», понятое мерками другого времени, другой исторической перспективы и субъективного «национального самосознания» приводит исследователя к большим потерям. Имеются в ви-

ду прежде всего огромные «материковые», «ядерные» или центральные пласты древнеславянской (церковнославянской) литературы и языка в восточно- и южнославянской литературной и языковой сфере и пласты латинской литературы и языка (часто со специфическими локальными особенностями) в западнославянской культурной среде.

Но обратимся к менее масштабному и более близкому нашему времени и нашему пониманию примеру. Русский XVIII век чаще всего рассматривался и описывался как могучее начало новой русской литературы, хотя истоки ее прослеживаются глубже и раньше. С этой точки зрения русская литература XVIII в. хорошо изучена и сейчас планомерно исследуется и язык той же эпохи (словарь XVIII в., просторечие XVIII в., язык писателей XVIII в.). Но тот же XVIII век — это век, в котором продолжал функционировать, изменяться и развиваться церковнославянский язык в России, оставивший немалое число лингвистически почти или совсем не изученных памятников. В качестве примера таких памятников можно привести рукописную книгу «Тропник», переведенную в 1799 г. на чистейший церковнославянский язык своего времени с польского. Перспективы исследования русского церковнославянского языка XVIII в. последнее время намечаются довольно четко (Живов, 1985), однако анализ конкретных памятников — дело будущего. Словарь русского языка XVIII века игнорирует ряд русских церковнославянских памятников этой эпохи, вероятно, не без основания. Но если лексическую характеристику и норму русского литературного языка XVIII в. можно себе представить и установить без церковнославянских памятников той поры, то для XI—XIII вв. без основных древнеславянских памятников русского извода, таких как Остромирово, Мстиславово, Галицкое, Юрьевское, Добрилово евангелия и другие памятники подобного плана, подобной характеристики сделать нельзя. И дело совсем не в том, что церковнославянский и древнерусский — это одно и то же или два типа одного и того же (Виноградов, 1958; 1961), а дело в том, что без первоначального установления характера и норм церковнославянского языка русского извода древнего периода затруднительно, а то и невозможно установление древнерусской нормы. Предположительный путь развития таков: первоначальные отклонения от церковнославянской нормы,

спорадические и неспорадические, постепенно создавали свою норму (Живов, 1987):

В связи с этим возникает проблема источников, необходимых для построения древнейшего периода истории русского литературного языка, проблема их отбора. Для древнечешского, древнепольского, древнесловенского периодов она не существует. Но для такого ареала, как древнерусский, в котором наблюдается в отношении памятников *embarras de richesses*, эта проблема весьма актуальна. Меньше всего этот вопрос волновал С. П. Обнорского, — он выбирал памятники без учета их жанров и функций и пользовался их минимальным числом (Обнорский, 1946). Иначе поступали В. В. Виноградов, Б. А. Ларин, Б. А. Успенский (Виноградов, 1961; Ларин, 1975; Успенский, 1987). Каждый из них последовательно оперировал все большим материалом памятников, учитывая их характер и типы, но принципы отбора памятников для истории древнерусского литературного языка остались невыработанными до сих пор. Возможно, что для древних восточнославянских литературных языков и для восточной части южнославянских языков выработка этих принципов осложняется церковнославянской и локальнославянской (русской, сербской, болгарской) диглоссией или двуязычием. При этом уместно вспомнить, что в древности, вплоть до XVIII века, славянский мир делился на два больших культурных, литературных и литературно-языковых ареала — *Slavia Orthodoxa* и *Slavia Latina* (или *Slavia Romana*, по Р. Пиккио), т. е. мир православного славянства и мир славянства неправославного — католического (Picchio, 1972). Эти ареалы различались как характером и свойствами литературных языков, так и особенностями языковой ситуации и типами литературно-языкового двуязычия (гомогенного и гетерогенного). В мире *Slavia Latina* славянские литературные языки разделяли свои функции (иногда по жанрам, иногда в части жанров) с языком латинским; в мире *Slavia Orthodoxa* происходило иерархическое соподчинение: церковнославянский занимал главенствующую позицию. Соподчинение тоже зависело от жанров, и ряд жанров, например летописи, допускал смешение двух стихий, что при латинско-славянском двуязычии или диглоссии было в принципе невозможным (исключение составляла сфера синтаксиса и отчасти лексики). Латинский язык в мире *Slavia Latina* осуществлял единство культурное (и

религиозное), церковнославянский в мире *Slavia Orthodoxa* — единство культурное (и религиозное), затем литературное и, что для нас существенно, — языковое.

XVIII век, будучи веком начала перемен для всех славянских литературных языков, сохранял тем не менее традиции размежевания двух упомянутых культурных ареалов. С начала XIX в. в южнославянских языках начались любопытные процессы отрыва от традиции макроареалов. Те южнославянские языки, которые принадлежали к ареалу *Slavia Orthodoxa*, — сербский и болгарский — стали довольно стремительно отдаляться от церковнославянской традиции, идти по пути взаимного обособления, от общего объединяющего целого к множеству, к разным четко очерченным национальным языкам. В то же самое время южнославянские литературные языки, принадлежавшие к ареалу *Slavia Latina*, языки, имевшие у словенцев и особенно у хорватов свои локальные формы, локальные литературные подязыки («малые» языки), пошли по другому пути, по пути от множества к единству, от местных, иногда «полудиалектных» литературных языков к единому национальному или даже межнациональному языку (Vince, 1978). В результате действия этих противоположных тенденций — дифференцирующей в восточной части южнославянской территории и интегрирующей в западной ее части — сформировался единый хорватско-сербский (или сербско-хорватский) язык с двумя вариантами, затем современный словенский литературный язык, язык в значительной степени наддиалектный (также с некоторыми первоначальными вариантными расхождениями между горенской и доленьской нормами), и вырисовывались некоторые македонские отличительные особенности на фоне процесса интеграции болгарского литературного языка¹.

Становление славянских литературных языков шло параллельно со становлением наций и национального самосознания; иногда одно опережало другое, но их взаимная связь была тесной и прочной. Исключительно важными для становления южнославянских литературных языков, как и для некоторых западно- и восточнославянских (словацкого,

¹ Широкою и хорошо документированную картину развития славянских литературных языков дает двухтомник под редакцией Р. Пиккио и Т. Голдблатта (*Aspects*, 1984).

белорусского, отчасти украинского), был процесс формирования национальных литератур, выработки системы жанров этих литератур и работа писателей над языковыми стилями, способными соответствовать сменяющимся литературным направлениям и прежде всего романтизму и реализму. В начальный период становления южнославянских литературных языков происходила борьба норм, конкуренция и сосуществование разных норм, ориентирующихся на разные диалектные базы и разные более или менее архаические традиции (на церковнославянский различных типов в сербской среде, на разные локальные литературные центры и очаги в хорватской и словенской среде, на разные типы церковнославянского и одновременно на разные диалектные базы и койне в среде болгарской и македонской). В связи с этой ситуацией можно говорить и о борьбе или соревновании разных литературно-языковых концепций, иногда кардинально противоположных, иногда компромиссных, ярко или слабо выраженных. С окончанием борьбы этих концепций и связанных с ними предлагаемых или предварительных норм и решений языковых проблем следует связывать время и факт прочного становления национального литературного языка (Толстой, 1988, с. 191–193, 203–205).

Возвращаясь к положению о дивергентной тенденции («от единого к множеству») развития литературных языков в ареале *Slavia Orthodoxa*, отметим, что эта тенденция была не резкой и в общем осторожной, не приведшей к сильному дроблению и возникновению малых или диалектных литературных языков, а ограничилась языками национальными, вытеснившими древнеславянский (церковнославянский) язык и приведшими к окончательному и четкому обособлению сербского и болгарского, русского и украинского, а затем с некоторым опозданием и языка белорусского и еще бóльшим опозданием — македонского. Характерно, что эта программа умеренной дивергенции привела к тому, что в границах мира *Slavia Orthodoxa* в XIX и XX вв. не было опытов создания общеславянского литературного языка (славянского «эсперанто»). В ареале *Slavia Latina* такие опыты были: в XIX в. у словенцев их предлагали Матия Маяр, Орослав Цаф, Матвей Ламурский, у хорватов в XVII в. — Юрий Крижанич. Единый сербско-хорватско-словенский язык предлагает создать в XIX в. Валентин Водник. В то же время литературные языки, имеющие свою прочную и линг-

вистически специфическую и обособленную диалектную базу и свое историческое развитие, — чакавский и кайкавский — были низведены к середине XIX в. до уровня «диалектных» с весьма ограниченной сферой функционирования и в качестве таковых пережили свое литературно-художественное возрождение лишь во второй трети XX века. Та же конвергентная тенденция тормозила в эпоху славянского национального возрождения XIX в. создание словацкого литературного языка (литературная деятельность и языковая позиция Яна Коллара и П. Й. Шафарика) до 40-х годов XIX в., допуская лишь некоторую словакизацию чешского литературного языка типа бернолаковщины, известной с конца XVIII века.

Таковы общие наблюдения над языковой ситуацией и процессами, определившими формирование национальных литературных языков, преимущественно у южных славян и лишь отчасти у славян западных и восточных. Естественно, эти процессы сопровождались или предварялись соответствующими концепциями, концепциями объединения культур и литературных языков (иллиризм), единой церковнославянской основы или сохранения традиции (митрополит Стратимирович), разрыва с традицией (Вук Караджич, Петр Берон, Метелко) или сочетания нового со старым при преимуществе последнего (Хр. Павлович Дупничанин и др.). При этом на вид одна и та же концепция, например, концепция Карамзина о том, что «писать надо так, как ты обычно говоришь», а при этом Карамзин имел в виду язык салонов своего круга, получала совсем иное преломление в устах Караджича, ориентировавшегося на иную социальную среду — на «пастухов и пахарей».

В заключение следует сказать, что концепции литературного языка — это одно, а их реализация — нечто совершенно иное, как одно дело — политическая или экономическая программа и концепция, а иное — их реализация в конкретных исторических, географических и демографических условиях.

Slavia Orthodoxa и Slavia Latina — общее и различное в литературно-языковой ситуации (опыт предварительной оценки)

Более ста лет тому назад, в 1892 году, в Варшаве вышла двухтомная книга известного в свое время русского филолога Антона Семеновича Будиловича «Общеславянский язык в ряду других общих языков древней и новой Европы» (Будилович, 1892)¹. Автор книги избрал для своих наблюдений, помимо церковнославянского и двух классических европейских языков — греческого и латинского, пять современных ему западноевропейских языков и четыре славянских. По его определению, «самое главное преимущество языка цер-

¹ А. С. Будилович в книге «Общеславянский язык...» ставил своей задачей «опознать законы образования общих языков и проверить их на данных славянского прошлого». С этой целью он рассматривал в I томе «условия образования более известных и важных языков древней и новой Европы, а именно: греческого, латинского, итальянского, испанского, французского, английского и немецкого» (том I, с. VI–VII). Для славянского мира были избраны во втором томе языки церковнославянский, сербский, чешский, польский и русский. Все эти языки А. С. Будилович называет «общими» языками и вводит при этом понятие «частного» языка, наряду с понятием диалекта. Термины «общий» и «частный», судя по контекстам, относятся у А. С. Будиловича к литературным языкам. При этом делается попытка определить отношение «общего» языка «к местным говорам и частным языкам, условия борьбы между ними, значение в этой борьбе естественных и нравственных сил» (том I, с. VII). Во втором томе А. С. Будилович главное внимание сосредоточивает «на международном значении церковнославянского языка в древнее время, сербохорватского и чешского в 15–16 вв., польского в 16–17 вв., а русского в 18–19 вв.» (том II, с. VII). К сожалению, однако, идея создания или принятия одного литературного языка, который был бы в ближайшем будущем, т. е. в XX веке, в употреблении у всех славян, наряду с другими «общими» и «частными» литературными языками, идея, волновавшая в прошлом еще хорвата Крижанича, а позже — чеха Юнгмана и многих других славистов и славянофилов, отвлелка А. С. Будиловича от первоначально поставленной задачи компаративного анализа славянских литературных языков, и в конечном результате такого исследования читатель не получил.

ковнославянского заключается в возможности его культурной роли в истории славянства, которую можно сравнить с ролью не готского языка в судьбах германизма, а скорее — средневековой латыни в жизни романских народов и языков» (Будилович, 1892, II, с. 27).

Главное преимущество труда самого А. С. Будиловича — не в изложении и трактовке фактов, число которых за прошедший вековой период возросло очень значительно, а в попытке дать сравнительный и в известной мере типологический анализ двенадцати литературных языков Европы, ставя в центр исследования «общеславянский» (церковнославянский) язык и рассматривая при этом судьбу четырех крупных славянских языков. И хотя, как судили многие лингвисты, опыт А. С. Будиловича во многом не удался, вероятно, в основном из-за неразработанности в конце прошлого века принципов и методов изучения литературных языков, монография об «общеславянском» языке оставалась долго единственным в своем роде опытом сравнительного рассмотрения группы славянских литературных языков на европейском фоне. В середине и в конце XX в. славистика обогатилась рядом фундаментальных описаний истории отдельных славянских литературных языков, однако компаративные исследования материала в общем ограничились созданием трех примечательных коллективных разысканий — итальянского сборника начала 70-х гг. (Studi, 1972), двух русских книг конца 70-х гг. (Нац. возрождение, 1978; СБЯ, 1979) и американского двухтомника начала 80-х гг. (Aspects, 1984), а также целым рядом ярких и принципиальных статей, носивших чаще всего скорее характер постановки вопроса, чем его решения и разрешения. Имеются в виду известные труды Н. С. Трубецкого, В. В. Виноградова, Д. Брозовича, Б. Гавранка, А. Едлички и других ученых. Особую и значительную роль в славянской литературно-языковой компаративистике сыграли ранние и новейшие исследования Р. Пиккио, анализировавшего развитие литературных языков в свете исторической эволюции и противоположения двух славянских культурных миров — *Slavia Orthodoxa* и *Slavia Latina*. Как и А. С. Будилович, Р. Пиккио в своих трудах ставит в центр внимания «общий» литературный язык древнего славянства — церковнославянский (Picchio, 1991; Пикио, 1993). Именно к нему и следует обратиться в первую очередь.

Феномен церковнославянского, или древнеславянского, литературного языка заключается в том, что он с самого начала замышлялся и создавался как язык сакральный, богослужебный, обращенный к Богу, во-первых, и как язык общеславянский, предназначенный для всех славян, во-вторых. Главенствующая сакральная функция делала церковнославянский (старославянский) язык схожим с латинским и греческим языком византийского образца, а также с готским языком. Однако функциональное сходство с латинским и греческим сочеталось с существенным историческим различием: оба упомянутых сакральных языка уже имели и христианскую традицию, и свою длительную многовековую историю в виде культурных языков античного периода. Церковнославянский язык, так же как и готский, ни той, ни другой традиции не имел и потому, возникая, во многом, особенно в синтаксисе и лексике, он опирался на греческую традицию, греческий образец. К этому образцу в античные времена прибегали и ранние латинские авторы, о нем вспомнили и в эпоху Ренессанса, хотя в этих случаях дело касалось другого — античного греческого языка.

В эпоху создания старославянского языка, в пору моравской кирилло-мефодиевской миссии в Европе, в романо-германском этническом и культурном мире господствовала латынь, а в византийских пределах — греческий, хотя византийская имперская традиция допускала богослужение и книжность и на других языках. Именно в условиях византийской толерантности возник стараниями и подвигом равноапостольных солунских братьев старославянский язык, подобно тому как пятью веками раньше в близких условиях был создан готский книжный язык и известный перевод Священного Писания для готы. Однако функционирование готского сакрального языка, хотя и длилось несколько веков, охватывало лишь одну из южных ветвей германского племени и было к тому же связано с арианством — относительно локальным и со временем затухшим отклонением («ересью») от ортодоксального христианства, усугублявшим замкнутость готского языка.

Кирилл и Мефодий ставили задачу создания и распространения сакрально-книжного языка для всего славянства, которое в их времена еще не было целиком христианским. Решению этой задачи способствовало не только состояние славянского языкового континуума в IX веке, еще не разор-

ванного территориально приходом венгров и хорошо сохранявшего черты праславянского языкового единства, но и этническое (национальное) самосознание славян, о котором мы можем судить, правда, по более позднему, но достаточно достоверным свидетельствам (Толстой, 1993; см. наст. изд., с. 431–439). Они убеждают нас, что осознание славянского единства в ту эпоху было весьма четко выражено и однозначно, особенно в ситуации противопоставления «свой — чужой». Девятый век можно считать веком стабилизации славянского этноса на весьма обширном пространстве центральной, юго-восточной и восточной Европы, после великой миграции славян в VI в., после освоения новых земель и тесных, уже довольно длительных контактов с новыми европейскими соседями. Не случайно стремление славян «причѣстиса велицѣхъ ѧзыцѣхъ» ('быть причастными к великим народам'), спровоцированное византийской кирилло-мефодиевской миссией, обрело силу и реальное воплощение параллельно или вслед за возникновением первых славянских государств — великоморавского, сербского, хорватского, польского, русского (болгарское возникло намного раньше и притом на тюркской племенной основе). Все это определило судьбу древнеславянского книжного языка совершенно иным образом, чем судьбу готского книжного языка, известного нам по библейским переводам епископа Ульфилы, дошедшим до нас в рукописях V—VI веков. Уместно еще раз подчеркнуть, что язык кирилло-мефодиевских переводов создавался как сакральный, богослужебный и в то же время общеславянский. Создавался третий культурный макроареал в Европе, долженствовавший соседствовать с романо-германским ареалом, где господствовала латынь, и греко-византийским, также далеко не моноэтническим ареалом, где абсолютно преобладал греческий язык².

Поставленная задача, как часто бывает в истории, не была разрешена в полной мере. В то время как кирилло-ме-

² Возникновение славянского культурного и религиозного мира происходило в условиях притяжения и притязаний двух европейских духовных центров — Константинопольской патриархии и Зальцбургского архиепископа, позже Римского папского престола. Из обильной новейшей литературы, посвященной началу славянской письменности и духовной культуры, отметим лишь два издания, вышедших в славянской католической среде, в Люблине в Католическом университете и в Любляне на Богословском факультете Люблянского университета: Cyryl i Metody, 1991; Bogoslovni Vestnik. Let. 45, šte. 2. Ljubljana, 1985.

² Толстой Н. И.

фодиевская традиция принималась западными и южными славянами (распространение старославянского письма и богослужения в Великой Моравии, вероятно, на юге Польши, в Чехии, Паннонии, у альпийских славян — предков словенцев, в Далмации, в болгарских, македонских и сербских пределах), восточные славяне еще не знали «свѣта разумнѣнїя книжнаго» на родном славянском языке. Когда же этот свет пришел на Русь, к восточным славянам, ученики Кирилла и Мефодия были уже изгнаны или заменены иноязычными проповедниками и пастырями в мире западнославянском и западной части южнославянского ареала. Исключение составляли стойкие «глаголяши» в Далмации, пользовавшиеся древним глаголическим письмом и церковнославянским языком до XX века, т. е. почти до наших дней.

С угасания моравского книжного центра, с изгнания из Моравии и Паннонии учеников Кирилла и Мефодия, а затем с разделения церквей в 1054 г. берет свое начало появление двух автономных культурных ареалов славянского этнического массива, двух территориально и культурно очерченных миров — восточного, *Pax Slavia Orthodoxa*, и западного, *Pax Slavia Latina*. На эти культурные миры некоторые исследователи смотрели как на противостоящие и даже антагонистические, что в принципе неверно. Во все времена существовало взаимодействие, взаимопроникновение этих миров, и примеров такого соотношения немало. Это и возрождение славянской литургии в пражском Эмаусском монастыре в 1344 г. при Карле IV, и участие глаголящей в переводах «Геннадиевской библии» в Новгороде в XV в., и деятельность Франциска Скорины в Праге в 1517–1519 гг., и пребывание Юрия Крижанича в России в 1659–1676 гг.; и многие другие факты³.

Сама длительная консервация глаголической традиции, сама глаголяшская книжная культура и славянская литургия — удивительный пример сохранения кирилло-мефодиевского наследия и языка в славянском католическом ареале. Глаголяши как бы принадлежали одновременно и к миру *Slavia Latina*, и к миру *Slavia Orthodoxa*, и тем самым

³ Изложенные факты хорошо известны и подтверждены богатой литературой, среди которой хотелось бы выделить исследование Р. Якобсона «Основа сравнительного славянского литературоведения» (Якобсон, 1987, с. 23–79 или Jakobson, 1985, p. 1–64).

осуществляли живую связь между этими мирами. Естественно, что речь идет о культурной, а не конфессиональной, церковной принадлежности (Hercigonja, 1983).

В мире *Slavia Latina* прекратилась в общем недолговечная для него кирилло-мефодиевская традиция, и в качестве сакрального языка, а также языка науки и литературы вновь оказалась или осталась средневековая латынь. Литературные языки — польский, чешский, локальные неглаголические микроязыки в хорватских пределах не были сакральными, что позволяло им не стремиться к строгому единству формы, не иметь единой, объединяющей нормы. Эти языки не выросли из одного общеславянского (старославянского, церковнославянского) корня, они были отдельными ростками, языками, возникавшими сами по себе на местной почве. С угасанием кирилло-мефодиевской традиции на западе угас и словенский книжный язык, едва нарождавшийся, как можно судить по Брижиньским (Фрейзингенским) отрывкам. Не было книжного языка и у лужицких сербов и полабян⁴.

Такая ситуация не означала, что славяне мира *Slavia Latina* не пользовались благами религиозной, культурной и литературной жизни, не участвовали в ее развитии — они были причастны единой западноевропейской средневековой культуре, пользующейся латинским языком и опирающейся на связанную с ним традицию. И только Реформация с ее обращением к народному языку и «народной» вере решительно изменила ситуацию, только пример Лютера побудил словенцев, сербов-лужицан и отчасти хорватов заняться созданием своих литературных языков на народной основе, своих литератур. Эти языки уже не были сакральными в полном смысле этого слова, они не были языками богослужения, ибо сама Реформация, и особенно некоторые ее ответвления, заменяли богослужение в строгом смысле этого слова проповедью и чтением молитв.

Совсем другая картина и ситуация наблюдалась в мире *Slavia Orthodoxa*. Там в те же времена прежде всего сохра-

⁴ Исследование А. Фринты о богемизмах и славизмах в серболужицкой христианской терминологии позволяет предполагать, что христианство пришло к сербам-лужицанам из Чехии в X в. еще до немецкой колонизации южной окраины Лужицы. Пришла ли вместе с христианством и славянская кирилло-мефодиевская письменность — сказать трудно (Frinta, 1954).

нялся культ славянского сакрального языка, единого языка всех православных славян, валахов и молдаван, там наблюдался путь его непрерывного, постепенного и замедленного развития, периодически сопровождаемого консервативными реформами, имеющими своей задачей строгое соблюдение или восстановление принципа «святой старины». Эти консервативные реформы мы называем деятельностью разных школ, «влиянием» или «книжной справой»: тырновская школа патриарха Евтимия в XIV в., ресавская школа (XV в.), видным представителем которой был Константин Философ (Костенечский), первое и второе южнославянское влияние на Руси (XI и XIV вв.), книжная справа на Руси XVII в. и др.

В мире *Slavia Orthodoxa* национальные литературные языки (точнее, языки преднациональные или донациональные) не возникали порознь, как бы сами по себе, опираясь на ту или иную диалектную базу или койне, как это происходило с языками мира *Slavia Latina*, а отпочковывались от единого церковнославянского языка сначала в виде его вариантов (изводов или редакций), а затем в виде самостоятельных языков, не теряющих связи с церковнославянской традицией и друг с другом. В разных церковнославянских изводах и книжных центрах постепенное отклонение от нормы само превращалось в норму. Отход и удаление от церковнославянского стандарта происходил не фронтально, а в разных жанрах, текстах, в разных функциональных сферах одного языка или разных языков. Такая же неравномерность в языковом отношении наблюдалась и в двух типах текстов — переводных и непереводных, оригинальных. В последних приверженность к церковнославянскому книжно-языковому канону была нередко ослаблена или даже сознательно потеснена. Такие явления наблюдались чаще всего в периоды действия в мире *Slavia Orthodoxa* центробежных сил, которые сменялись периодами центростремительными и были связаны с укреплением авторитета той или иной книжной школы (Толстой, 1988, с. 34–51; наст. изд., с. 66–89). Развитие языков мира *Slavia Orthodoxa* длительное время регулировалось и определялось историческим путем древнеславянского (церковнославянского) языка, имевшего свои локальные разновидности, но остававшегося единым вплоть до XVIII в. В дальнейшем он был оттеснен исключительно в церковную сферу.

Процесс развития отдельных славянских литературных языков в мире Slavia Latina имел иной характер.

Во-первых, самостоятельное развитие этих языков, исключая период бытования кирилло-мефодиевской традиции, началось относительно поздно: для чехов — в XIV в., для поляков — в XV в., для словенцев — в XVI в., для сербов-лужичан — в XVI—XVII вв., для словаков — в конце XVIII в., в то время как литературные языки мира Slavia Orthodoxa прошли за первые четыре века (XI—XIV вв.) весьма значительный для их становления и утверждения исторический путь, имея при этом свое как бы единовременное и общее начало.

Во-вторых, возникая и функционируя в условиях гетерогенного двуязычия, т. е. имея в качестве языка-посредника чужую, латинскую письменную и устную речь, языки мира Slavia Latina имели иную, чем в мире Slavia Orthodoxa, систему литературно-языковых взаимоотношений⁵. Для этих языков не существовало единого центра (не столько географического, сколько нормативно-авторитетного), гомогенного им языка-основы, вроде церковнославянского, выполнявшего и роль языка-посредника, поэтому в ареале их распространения не наблюдалось процессов центростремительного и центробежного характера⁶. Взаимное влияние, например, влияние чешского языка на польский, осуществлялось попарно, не через посредствующий центр, а напрямую. А в период возникновения национальных литературных языков наблюдался обратный процесс отталкивания (например, словацкого от чешского).⁷

⁵ Нами не ставится задача ответить на вопрос, был ли древнеславянский (церковнославянский) язык «славянской латынью», т. е. насколько функции и культурная роль латинского и церковнославянского языка были идентичны. Этот вопрос затрагивается в работах И. Гылыбова и Г. Кайперта (Гъльбов, 1986; Keipert, б/г).

⁶ По мнению Риккардо Пиккио: «Объединяющая и наднациональная функция латинского языка оставалась господствующей в течение нескольких веков. Но выраженная на этом «сверх-языке» литературная цивилизация не была столь компактно латинской, сколь монолитно славянской была литературная цивилизация, формируемая церковнославянским языком» (Пикио, 1993, с. 97).

⁷ Н. С. Трубецкой делил современные славянские литературные языки на две группы «по признаку примыкания к определенной традиции». К группе церковнославянской традиции он относил языки русский и болгарский, к группе польско-чешской традиции — польский, чеш-

В-третьих, в мире *Slavia Orthodoxa* и в мире *Slavia Latina* по-разному развивалась и строилась стилистическая система литературного языка. Первоначально в мире *Slavia Orthodoxa* было установлено достаточно четкое распределение жанров и текстов между двумя языками — общим и частным, например, между церковнославянским и древнерусским или древнеславянским и древнесербским. Существовали и жанры пограничного характера, в которых в равной мере допускался и тот, и другой язык, и именно в такой пограничной сфере чаще всего наблюдалось смешение двух языков, что не считалось предосудительным и нежелательным. В мире *Slavia Latina* такого взаимопроникновения и «среднего» решения не было и не могло быть, поскольку компоненты были слишком далеки друг от друга. Жанры и тексты между двумя сферами — латинской и соответствующей славянской — разделялись или распределялись достаточно четко, и языковая интерференция имела свои жесткие пределы.

К концу своего бытования в сфере *Slavia Orthodoxa* гомогенное двуязычие или диглоссия, например, церковнославянско-русское, постепенно трансформировалось в систему стилей, которую М. В. Ломоносов воспринимал как некое единство, расчленяющееся на три «штиля» — высокий, средний, или «посредственный», и низкий, или «простой» (Вомперский, 1970). Эти «штиля» перешли затем в стилистическую систему, характерную для современного русского языка. В мире *Slavia Latina* гетерогенное двуязычие или диглоссия завершились полным вытеснением из всех сфер функционирования языка-посредника — латыни, не оказавшей на последнем этапе своего присутствия существенного влияния на стилистическую структуру тех языков, с которыми она сосуществовала. В тот же период становления национально-литературных языков, в первой половине XIX в., сербы, в отличие от русских, пошли на решительный разрыв с церковнославянской традицией и уравнивали свой литературный язык и его стилистические возможности с хорват-

ский, словацкий, верхнелужицкий, нижнелужицкий и украинский. Связь между литературными языками первой группы он называл связью *по преемству*, а связь языков второй группы — *по влиянию*. Сербскохорватский и словенский литературные языки он причислял к «совершенно выпавшим из всякой связи с литературно-языковыми традициями» (Трубецкой, 1927, с. 78).

ским штокавским вариантом литературного языка. Болгары свой отход от той же традиции произвели в более осторожной форме: опираясь в известной мере на русский литературный язык. По пути отталкивания от церковнославянского наследия и литературного русского (великорусского) языка пошли белорусы и украинцы (малороссы), а от болгарского и сербского — македонцы, создавшие свой литературный язык позже всех других славян. Так в XIX—XX вв. структурно-типологическое противостояние двух миров — *Slavia Orthodoxa* и *Slavia Latina* — разрушилось, или, проще говоря, перестало существовать. Пользуясь словами Н. С. Трубецкого, заключим, что «будучи модернизированной и обрусевшей формой церковнославянского языка, русский литературный язык является единственным прямым преемником общеславянской литературной традиции, ведущей свое начало от Первоучителей славянских, т. е. от конца эпохи праславянского единства» (Трубецкой, 1927, с. 94).

Предложенный выше краткий анализ ситуации в области письменных и литературных языков славян в их двух культурных мирах может быть дополнен еще более кратким и конспективным обзором ситуации в сфере книжности и литературы. Литературная ситуация в мире *Slavia Orthodoxa* и *Slavia Latina* была во многом изоморфна литературно-языковой ситуации в этих ареалах, что объясняется не только тем, что литературный, книжный язык есть орудие литературы и книжности и одно без другого существовать не может, но также и тем, что литературный язык и литература как таковая являются компонентами культуры. В таком случае можно сказать, что наблюдается изоморфность отдельных культурных слоев.

В мире *Slavia Orthodoxa* существовала единая древнеславянская (церковнославянская) литература, которая имела определенный состав текстов (памятников), определенную жанровую структуру, свои жанры и каноны и свое развитие, т. е. историю. Эту единую церковнославянскую литературу едва ли можно считать только литературой — посредницей (термин Д. С. Лихачева), ибо она возникла сама по себе, как и древнеславянский (церковнославянский) язык, до появления в славянской среде отдельных древнеславянских «национальных», т. е. этнически окрашенных и очерченных литератур. Поэтому ее следовало бы считать и называть либо ранней общеславянской литерату-

рой, т. к. при своем возникновении она была распространена и в среде западных славян и западной части южных славян, либо литературой-основой для всех литератур мира *Slavia Orthodoxa*. От нее также отпочковывались отдельные литературы — древнерусская, древнесербская, древнеболгарская, она также начинала свою историю с локальных «изводов» (вариантов текстов), а затем имела параллельное развитие с отпочковавшимися славянскими древними литературами. Именно это параллельное развитие позволяло ей выполнять и посредническую функцию, которая, однако, не была основной.

При своем возникновении общая древнеславянская (церковнославянская) литература свою идеологическую сущность и систему ключевых жанров калькировала с системы византийской литературы. Многочисленные переводные с греческого тексты создавали ее основу, и сама она была в раннем периоде развития чем-то вроде суженной проекции византийской книжности конца I и начала II тысячелетия н. э. Переводы текстов перемещали их в другую этническую и культурную среду, делали их из греческих славянскими, ставили в один ряд с другими славянскими, уже не переводными, оригинальными текстами, вводили в литературу в общем иную, чем византийская. Унитарные литературы, как и унитарные языки мира *Slavia Orthodoxa* и *Slavia Latina*, были, таким образом, разного характера. Православные славяне имели свою территориально и этнически ограниченную, но общую для них и для валахов и молдаван литературу, независимую от греческой и латинской, а общая для славян-католиков латинская литература распространялась и на весь германский и западно-романский мир. Со временем, в преддверии и во время Ренессанса, появились и творили славянские писатели-латинисты, обогащавшие общеевропейскую латинскую литературу и создававшие почву для выхода национальных славянских литератур мира *Slavia Latina* из общеевропейского русла. Отметим еще раз, что в мире *Slavia Orthodoxa* национальные литературы отпочковывались, в то время как в мире *Slavia Latina* они возникали чаще всего по отдельности из ряда жанрово ограниченных текстов-произведений, дополнявших в конкретных локальных условиях разветвленную систему жанров латинской общеевропейской литературы.

Общая церковнославянская литература с возникновением отдельных древних славянских литератур — древнерусской, древнесербской и др., находилась с каждой из них в отдельности в отношении дополнительного распределения, составляя с каждой из них одну систему жанров, одну систему текстов. Такая система объединяла «открытую» и «закрытую» традиции текстов, при том что между двумя традициями существовала переходная группа текстов — зона смешения традиций, что в полной мере изоморфно языковой ситуации и практике, сохранявшей и противопоставленность церковнославянского языка древнерусскому или древнесербскому и другим, и условия смешения двух языков, что наблюдается, например, в русских летописях или сербских агиографических текстах. «Закрытая» традиция в мире Slavia Orthodoxa отдавала предпочтение древнеславянскому (церковнославянскому) языку, «открытая» — его корреляту, древнему «национальному» языку. Такое положение в мире Slavia Orthodoxa наблюдалось до XV—XVI вв., хотя и в более позднее время частично сохранялось такое соотношение.

Историки отдельных древних литератур православного славянства искали в доступном им материале истоки конкретных национальных литератур, их корни, их специфические национальные особенности, сюжеты и мотивы. Их интерес длительное время был направлен почти исключительно на «национально окрашенные» тексты, на творчество «своих» книжников и школ. Исследовалось только «свое», а «чужое» обычно описывалось как некий фон «своего», как дополнительный план. Между тем современные представления «своего» и «чужого», на которые опирается большинство исследователей, во многом не соответствуют древним представлениям о своем и чужом, к тому же описание исключительно «своей» сферы книжности и литературного творчества грешит односторонностью. Поэтому, признавая допустимость и правомерность «национального» подхода к истории древнего периода отдельных славянских литератур, следует также признать необходимость полного, в известной мере «наднационального» обозрения истории древнего периода отдельных славянских литератур, истории книжности и литературы как оригинальной, так и переводной — всего того, что читал древнерусский или древнесербский читатель, не полагавший, что переведенное с греческого житие

св. Николая Мирликийского — «чужое» произведение, а житие св. Феодосия Печерского — «свое». Также невозможно выводить за пределы древней литературы или книжности сакральную богослужебную сферу, богослужебные тексты, которые, как показал в своей новейшей работе Александр Наумов, являются осью, стержнем, вокруг которого организуются другие, не богослужебные тексты вплоть до светских жанров различного вида (Наумов, 1995). Литургические богослужебные тексты можно назвать также вершиной пирамиды жанров и текстов, упорядоченных иерархически и взаимосвязанных по ряду признаков и показателей.

История древнеславянской (церковнославянской) литературы необходима также для понимания сущности литературного процесса в целом, происходившего у православных славян. Для столь же цельного и широкомасштабного понимания литературного процесса у славян мира *Slavia Latina* необходимо обратиться к истории средневековой и ренессансной латинской литературы в Европе и определить долю и характер вклада в эту литературу славянских авторов-латинистов. Сколь перспективен такой путь разысканий, показывают хотя бы работы И. Н. Голенищева-Кутузова, исследовавшего творчество итальянских латинистов XI—XII веков и славянских латинистов эпохи Возрождения (Голенищев-Кутузов, 1972; 1963).

Структура этнического и национального самосознания у славян, все еще недостаточно исследованная, обнаруживает свою изоморфность по отношению к структуре славянской книжности (литературы) и славянских книжных (литературных) языков. Однако этот вопрос заслуживает своего отдельного и подробного рассмотрения.*

* См. наст. изд., с. 10–21. — *Ред.*

Кирилло-мефодиевская традиция у славян

Более века тому назад, 5 апреля 1885 года, в Петербурге на публичном собрании Императорской академии наук, посвященном тысячелетию со дня кончины св. равноапостольного Мефодия, академик И. В. Ягич выступил с речью «Вопрос о Кирилле и Мефодии в славянской филологии». Обращаясь к собравшимся, маститый академик говорил: «С тех пор как существует славянская филология, вопрос о деятельности Кирилла и Мефодия занимал первое место в научных исследованиях славистики (...) Успехи славистики и вопрос о деятельности Кирилла и Мефодия находятся в неразрывной связи. Этот вопрос образует краеугольный камень славянской филологии как исторической науки. Чем более она крепнет, тем сильнее привлекает к себе пытливость исследователя великий момент в исторической жизни славян, связанный с деятельностью Кирилла и Мефодия. В этом смысле мы вправе назвать завтрашний праздник [6.IV.1885] торжеством славянской науки. И в самом деле. Не пользовалось ли большинство славянских народов плодами деятельности славянских первоучителей в течение многих столетий? Не отмечена ли память их во многих южнославянских и русских рукописях? (...) Не внесен ли подвиг славянских первоучителей в древнейший и драгоценнейший памятник народного самосознания древней России — в русскую летопись?» Таково было начало речи И. В. Ягича, за которым следовал обстоятельный обзор и анализ литературы до 1885 года, посвященной кирилло-мефодиевской проблеме (Ягич, 1885, с. 30).

Вероятно, в наше время опыт Ягича в той же форме обобщенного обзора повторить нельзя. Кирилло-мефодияна за минувшее столетие стала столь богата и многогранна, объединила столь значительное число дисциплин и подходов, что охватить ее одним обзором, одним взглядом было бы попыткой не столько дерзкой, сколько непосильной. Однако с полной уверенностью можно сказать, что кирилло-мефодиевский вопрос, кирилло-мефодиевская традиция по-

прежнему остается краеугольным камнем славянской исторической филологии, потому что это вопрос начала, исконности славянской письменной словесности, древних славянских литератур, литературных языков, наконец, славянского народного самосознания, без которого не могло быть ни славянской государственности, ни полноценного исторического развития славянских народов.

В приведенной выше цитате из торжественной речи И. В. Ягича особо выделяются слова о «великом моменте в исторической жизни славян, связанном с деятельностью Кирилла и Мефодия». Этим великим моментом была, безусловно, моравская миссия солунских братьев, а благословенной землей, на которой свершался великий момент, первоначок, закладка духовного мира славянства, была Великая Моравия.

Моравская держава была географическим и духовным центром того обширного славянского этнического пространства, которое явилось результатом великой миграции славян, закончившейся в VI веке.

Во второй четверти VII века в тех же паннонских и моравских пределах существовало первое и недолговечное славянское государство Само. Великая Моравия, «ἡ μεγάλη Μοραβία», как назвал ее Константин Багрянородный, возникла и обрела свое могущество в счастливый и благоприятный, но небольшой промежуток времени, наступивший с крушением аварского владычества в Средней Европе (796 г.) и завершившийся приходом венгров в Паннонию (896 г.). В IX в. в условиях постоянного давления со стороны Франкской империи с запада и угрозы Болгарского княжества с юго-востока Моравская держава сумела укрепиться и стать важным звеном политической, экономической и религиозной жизни Европы (Navlík, 1964; *Magnae Moraviae.*, I–V).

IX век, особенно его вторая половина, был веком зарождения многих славянских государств — на юге, на севере, на востоке и в центре Европы. Это был период возникновения сербской и хорватской государственности, а также чешской, польской и русской, и лишь болгарская государственность, в своих истоках не славянская, а тюркская, уже имела свои давние традиции. По меткому замечанию известного русского историка Сергея Соловьева, «призыв Кирилла и Мефодия, полагаемый в 862 году, совпал со временем основания Русского государства, которому по преимуществу

суждено было воспользоваться делом святых братьев» (Соловьев, 1988, с. 126). Этим делом воспользовались не только русские, т. е. все восточные славяне, но и все южные славяне и большая часть славян западных.

Параллельно с возникновением государственности, с ее строительством шла христианизация славян. Эти два процесса были взаимосвязаны и во многих случаях государство нуждалось в единой религии, отвечавшей новым условиям его деятельности. В то же самое время славянским правителям было важно опираться на свое, славянское, а не иноземное духовенство, которое было привержено идее латинского универсализма и связано с имперскими чаяниями Франконии.

Показательно, что крещение почти всех южных и части западных славян относится также к IX веку. Вероятно, только словенцы и хорваты были крещены раньше, в середине VIII века, в то время как крещение сербов происходило в 70-х годах IX в., болгар — в 865 году (при князе Борисе), чехов — в 883 г. (при князе Боривое). Поляки и русские крестились на столетие позже, в X веке: поляки — в 966 г. (при князе Мешко I), русские — в 988 г. (при князе Владимире Святом). Христианизация этих народов происходила, таким образом, после прибытия кирилло-мефодиевской миссии в Великую Моравию, после 863 года. Существенно и то, что крещение мораван совершилось до великоморавской миссии, что солунские братья проповедовали и прославляли слово Божие на славянском языке не среди язычников, а среди христиан, вероятнее всего — христиан-неофитов. Более того, не исключена возможность, что до 863 года франкскими миссионерами уже были переведены на славянский отдельные формулы и молитвы, которые потом были использованы Константином-Кириллом и приспособлены к его замыслу, опирающемуся на византийскую традицию, не чуждую мораванам (Avenarius, 1992).

Самым главным и принципиально важным было то, что Кирилл и Мефодий вкупе со своими первыми последователями и учениками создавали сакральный общеславянский язык, язык богослужения, что и вызывало у их оппонентов и противников — сторонников так называемой «трезычной ереси» — серьезное противодействие, озлобление и открытую вражду.

Цель «причести са велицѣхъ языцѣхъ» — возвысить славянскую речь и возвести ее в чин сакрального языка, языка, по своим функциям и возможностям равного латинскому и греческому, — была не только поставлена, но и достигнута в относительно короткий срок. И в этом не только личный апостольский подвиг солунских братьев, но и подвиг великоморавского народа, заложившего прочный фундамент величественного здания более чем тысячелетней славянской культуры.

В Великой Моравии Константином и Мефодием и всем их окружением создавалась по сути дела третья широкомащштабная культура — культура славянская, которая в Европе должна была занять и вскоре заняла место рядом с культурами романо-германской в латинском языковом обличье и греческой в ее поздней византийской форме. Именно этой ситуацией можно объяснить стремление первоучителей славян придать наддиалектный, общеславянский характер старославянскому (древнеславянскому) языку и желание иметь самобытную, оригинальную азбуку — глаголицу, не связанную ни с римской (латинской), ни с греческой традицией письма. И именно эта тенденция, заложенная еще в великоморавский период, сделала одинаково привлекательным и приемлемым кирилло-мефодиевское наследие и в чешских, и в хорватских, и в болгарских и македонских, и в сербских, и в русских пределах. Это обеспечило многовековое взаимодействие и взаимообогащение отдельных славянских культур, со временем ставших национальными культурами. Взаимодействие это осуществлялось по принципу сообщающихся сосудов, в которых в конечном итоге устанавливается общий уровень.

Принцип тяготения к общему уровню, действовавший в пределах мира *Slavia Orthodoxa* вплоть до XVIII века включительно, обеспечил непрерывное развитие моравской кирилло-мефодиевской традиции, ярче всего отразившейся в истории древнеславянского (церковнославянского) языка не только как языка сакрального, но и как языка литературного. Древнеславянский (церковнославянский) язык, как известно, в тех же пределах *Slaviae Orthodoxae* определял судьбу параллельно функционировавших отдельных славянских литературных языков. Память о моравской языковой традиции, в которой с самого начала были сопряжены весьма близкие друг к другу южно- и западославянские диа-

лекты праславянского языка, память о моравской книжности, следы которой не были окончательно стерты, способствовали раннему восстановлению чешской письменности и литературы, которая в свою очередь сыграла большую роль в возникновении польской национальной литературы и литературного языка. Языковой симбиоз, а не языковое отталкивание, был характерен для развития всех славянских литературных языков до XIX в. В XIX в. языковое отталкивание вступило в свои права. Этот век можно считать концом традиции моравской школы.

Особенностью кирилло-мефодиевской традиции, зародившейся в Великой Моравии, было наличие школ-центров, авторитет которых распространялся очень широко во все пределы, где чтили, умножали и рачительно сохраняли славянскую книжность. Эти школы не конкурировали друг с другом и не сменяли друг друга непосредственно: их деятельность была периодической. Речь идет об Охридской, Преславской школах учеников и последователей Кирилла и Мефодия, о школе болгарского патриарха Евтимия, о сербской ресавской школе. Деятельность каждой из них была нормализующей, нередко и архаизирующей письмо, стиль и орфографию текстов. Она же сохраняла связь во времени и в пространстве — обеспечивала устойчивость и непрерывность «книжного канона», сохраняла его общеславянскую сущность. Дух этой весьма консервативной традиции и в то же время ее необычайная сила ярко проявились в поздние времена на Руси, когда при патриархе Никоне произошел раскол и когда обе жестоко враждующие стороны стояли в принципе на одинаковых позициях верности седой старине, и только представления о некоторых деталях этой старины были различны.

К тому же великоморавскому периоду можно отнести и начало того этнического, позже — национального самосознания славян, которое четыре столетия спустя, в XII веке, было довольно четко обрисовано русским летописцем Нестором. По своей структуре это самосознание — многочленная иерархия или гамма признаков, представляющая в целом облик народа и каждого его представителя. В этой иерархии или последовательности признаков во времена Кирилла и Мефодия, да и во времена Нестора-летописца, главенствующим или первым оказывался признак христианства, затем шел признак общеплеменной — славянства, затем народ-

ностный (*русский, чех, хорват*) и, наконец, узкоплеменной (*дулебы, лучане, мильчане, поляне, древляне, дреговичи, радимичи* и т. п.). Этническое (национальное) самосознание определял пучок признаков в целом.

Сочетание признаков христианства и славянства, которое можно условно для древности определить как «славянское христианство», было существенно для великоморавской эпохи. Иерархия и релевантность признаков исторически менялись. Дополнительный признак восточного и западного христианства, т. е. православия и католичества, в великоморавскую эпоху просто не существовал. Но и позже, в эпоху Нестора Летописца, он не был на Руси релевантным, а стал таковым значительно позже. Разделение церквей 1054 года, по наблюдениям А. И. Рогова, вообще не отражено в русском средневековом летописании. Фактор государства, понятие «земля Моравская» или «Русьская земля» укрепляло со временем признак народности. Во времена Нестора Летописца он был еще недостаточно ярким. Зато весьма важным был признак славянства, «грамоты словенской»: «Тако разидеса Словѣньскїи љзыкъ, тѣмже и грамота прозваса Словѣньскаѧ», — писал русский летописец о славянском расселении и просвещении.

Непосредственную, наследственную духовную связь Великой Моравии с Русью он объяснил такими словами:

...в Моравы бо ходїль и ап^сль Павелъ оучиль ту. ту бо есть Илюрикъ. его же доше^н ап^сль Павелъ тоу бо бѣша Словене первое тѣмже и Словенскѧ љзыкоу оучитель е^с Павелъ. ѿ него же љзыка и мы есмо Роу^с. ... а Словенскїи љзыкъ и Роу^скїи: ѿдно е^с (ПСРЛ, I, стлб. 28).

Изучение моравского периода в истории славянской письменности и культуры не завершено. Славистическая наука продолжает делать новые открытия, создавать фундаментальные исследования, обобщать двухвековой опыт палеославистики. Свидетельство тому — находка Синайского миссала (X—XI в.) израильским славистом Моше Альтбауером (Tarnanidis, 1988, с. 103–108, 194–195), издание первых трех выпусков «Словаря церковнославянского языка хорватской редакции» Хорватской академией наук и искусств (RCSJ, I–III), выход в свет монографии о Брижинских (Фрейзингенских) отрывках с изданием текста Словенской Академией наук и искусств (Brižinski spomeniki, 1993).

Древняя славянская письменность и становление этнического самосознания у славян

Самой яркой культурно-языковой особенностью средневековой Славии было наличие международного надэтнического литературного языка — древнеславянского (церковнославянского) (см. Толстой, 1961, наст. изд., с. 66–89; Сказания, 1981). В той же ее части, где древнеславянский не функционировал, его место занимала латынь (реже — немецкий или итальянский язык). Структура славянского этнического и языкового самосознания была достаточно сложной и неоднородной в разных славянских землях. Она имела не только локальные особенности, но и изменялась исторически, о чем свидетельствуют многочисленные языковые, литературные и историко-культурные памятники. Этот вопрос требует особого рассмотрения, однако для его успешного разрешения важно понимание ситуации, относящейся к периоду возникновения славянской письменности. Хотя исторические свидетельства еще I—II вв. (Плиния Старшего, Тацита, Птолемея) и VI—VII вв. (Прокопия Кесарийского, Иордана и др.) говорят о едином славянском этносе и особом языке славян, по существу проблему славянского самосознания и славянского языка можно решать лишь на основе собственных славянских свидетельств, т. е. начиная со времени возникновения и функционирования славянской письменности.

В данной статье речь пойдет о соотношении таких явлений и факторов, как письменность (и возникший на ее основе литературный язык) и этническое самосознание у славян в ранний период их истории. Для рассмотрения этой темы важно осветить ряд смежных вопросов, а именно: а) о времени возникновения славянской письменности; б) о сфере распространения славянской письменности; в) о характере первоначальной славянской письменности (глаголица или кириллица?); г) об отношении славянской письменности (славянского алфавита и литературного языка) к неславян-

ской письменности (алфавиту и литературному языку). Это — первый круг проблем, связанных с письменностью, соответственно с литературой и литературным языком. Второй круг вопросов связан с выяснением того, в каких этнических условиях распространялась славянская письменность, какова была этническая структура славянства в пору возникновения и распространения славянской письменности и как возникновение письменности (и литературы) повлияло на самосознание славян. Наконец, третий круг проблем касается соотношения славянской письменности и книжности с конфессиональными институтами — с сакральными текстами, богослужением, церковной иерархией. Эти моменты, в свою очередь, соотнесены с историческими, социальными и иными факторами.

Рассмотрим кратко в отдельности каждую из упомянутых групп проблем и вопросов.

Славянская письменность возникла и начала достаточно интенсивно развиваться в 60-х годах IX в., т. е. накануне, во время и после Моравской миссии Кирилла и Мефодия 863 г. Сама Моравская миссия, равно как и жизненный и научно-просветительный подвиг двух солунских братьев, довольно подробно документирована разнообразными историческими, хорошо известными источниками. В отличие от этого у нас нет никаких свидетельств о существовании славянской письменности в докирилло-мефодиевскую эпоху. Все памятники, открытые в послевоенный период, в том числе и ряд надписей на камне, относятся к более позднему периоду — X—XII вв. Попытки как бы то ни было обосновать существование славянской письменности до Кирилла и Мефодия (опыты Э. Георгиева, П. Я. Черных, В. А. Истрина, Н. Энговатова, Н. А. Константинова, А. С. Львова и др.) оказались тщетными и лишеными серьезной научной аргументации. Особенно конфузными стали опыты объяснения севернопричерноморских тамгообразных знаков в качестве протоглаголицы (см. Эпштейн, 1947; Константинов, 1963; подробнее см. Можяева, 1980, с. 84–86). Солидное археологическое исследование В. С. Драчука (Драчук, 1975; 1970–1971) положило конец необоснованным домыслам этого плана. Можно также со значительной долей уверенности сказать, что известное место в славянском (древнерусском) списке XV в. «Пространного жития Кирилла (Константина)» — «Роусьскими писмены» — довольно аргументированно объяснено

рядом славистов (А. Ваяном, Р. О. Якобсоном, Г. Г. Лантом, В. Р. Кипарским, Т. А. Ивановой (Vaillant, 1935; Jakobson, 1939–1944; Lunt, 1958; Кипарский, 1968; Иванова, 1969) как метатеза букв Р и С при первоначальном «Соурьскими писмены», т. е. «сирийскими письменами». Речь здесь, как известно, идет о Хазарской миссии Константина около 860 г. и о его непродолжительной остановке в Херсонесе, где он «чловѣка обрѣтъ глаголюща тоу бесѣдою... и обрѣте же тоу еваггеліе и ѡалтирь роусьскими писмены писано» (см. Лавров, 1930, с. 12). «Русские» письмены в Херсонесе пытались связать с северочерноморской предполагаемой «протоглаголицей», однако эта версия, не будучи подтвержденной никакими историческими и археологическими источниками, была, как отмечалось выше, окончательно отброшена.

Возникнув в начале 60-х годов IX в., славянская письменность стала довольно быстро распространяться в славянских землях. Первоначально, а затем и в течение всего средневековья основной ее функцией, но далеко не единственной, было христианское богослужение. В некоторые западнославянские земли и, вероятно, в западные и южные окраины южнославянских земель христианство проникло до Моравской миссии солунских братьев¹. Что же касается болгар, то они приняли крещение в 865 г. при князе Борисе, сербы — видимо, в 70-х годах IX в., а русские, т. е. восточные славяне, — почти на век позже, при князе Владимире в 988 г. В 886 г. болгарский князь Борис I принял бежавших из Великой Моравии учеников Кирилла и Мефодия. Это означает, что славянская письменность во второй половине IX в. уже была распространена в Великой Моравии — в чешских, моравских, словацких и, надо полагать, лужицких землях (Frinta, 1954), затем в Паннонии, среди части словенцев, у хорватов, вероятно, у сербов, у болгар и солунских славян. О распространении славянской письменности в Паннонии (на Блатном озере у князя Коцела) свидетельствуют «Пространные жития Кирилла и Мефодия» (см. Лавров, 1930, с. 1–78; а также: Grives, Tomšić, 1960), а об употреблении, ви-

¹ Хорваты, например, официально принимали христианство дважды. Первый раз, по свидетельству Константина Багрянородного, в VII в., между 664 и 668 гг., когда император Ираклий потребовал священнослужителей из Рима, и второй раз — в царствование Василия I Македонянина, после освобождения хорватов от власти франков. В обоих случаях духовным главой хорватов был римский папа.

димо, локальном, славянского богослужения и письма в Польше (см. Lehr-Spławiński, 1956; Havránek, 1956) говорят некоторые археологические и исторические данные. Почти всеславянское распространение славянского письма было недолгим; при этом еще значительная часть славян (прибалтийских, поморско-кашубских, восточных — древнерусских, частично — западных и южных) оставалась язычниками, т. е., говоря словами древнего книжника, была вне «света просвещения книжного». Русь с некоторым опозданием, но с тем большим усердием приняла «слово истинное» и «грамоту славянскую». Столь быстрое и широкое распространение славянской азбуки, письменности (литературы) и литературного старославянского языка объясняется, помимо прочего, чрезвычайной близостью в IX в. всех славянских наречий (языков), еще сохранявших многие черты общеславянского — праславянского языка: наличие редуцированных звуков *з* и *ь*, структура открытых слогов и т. п. (Трубецкой, 1927; Дурново, 1932; 1929; Толстой, 1963а; 1981). Ученики Кирилла и Мефодия и продолжатели их дела не знали из-за близости славянских наречий друг к другу перевода с одного славянского языка (диалекта) на другой, они лишь вносили в уже оформленный солунскими братьями литературный, книжный и сакральный язык те или иные локальные черты. Списки с такими чертами и принято называть изводами (русским, чешским, хорватским, сербским, боснийским, болгарским и др.). Единство и близость славянских наречий того и даже более позднего времени ощущались древними восточно-, южно- и западославянскими историками (Нестором, Далимилом, Длугошем и др.), и это ощущение имело под собой, как свидетельствует современная славистика, реальную основу. Таким образом, в истории славянства была одно время, хотя и недолго, ситуация, которую киевский летописец определил словами: «тако разидеса Словѣньскій языкъ, тѣмже и грамота прозваса Словѣньскаа».

Осознание единства или близости славянских наречий самими славянами существенно для характеристики их самосознания. Для этой же цели важно решение вопроса о том, какая азбука — глаголица или кириллица — была первоначальной, т. е. изобретена и применена Кириллом и Мефодием. Современная славянская лингвистика однозначно отвечает и на этот вопрос, устанавливая, что глаголица

древнее, чем кириллица. При этом выдвигается целый ряд аргументов, сумма которых и создает убедительную картину. В пользу изначальности глаголицы говорят: а) исторические свидетельства (о них подробнее речь будет идти ниже); б) оригинальность глаголических графем; в) способы применения глаголицы и кириллицы для цифровых обозначений; г) палимпсесты, в которых кириллица вторична, а глаголица первична, а также отчасти одновременное употребление букв двух азбук в одних и тех же памятниках; д) более архаический язык глаголических памятников; е) география глаголицы; ж) свидетельства черноризца Храбра о том, что славянская азбука имела 38 букв (такое число букв было в глаголице); з) наличие в азбучной молитве-акростихе двух букв для Х — хера (хера обыкновенного и хера паучного); и) названия и порядок букв алфавита и др. (Nedeljković, 1965).

Для выяснения вопроса об этническом самосознании славян небезынтересна и проблема происхождения глаголицы. История основных европейских азбук и ряда других показывает, что чаще всего одна азбука наследует другую. Так было с греческим письмом, вышедшим из финикийского (древнесемитского), и с латинским, вышедшим из греческого. Ряд ученых (Тейлор, Беляев, Ягич, Мареш и др.) выводили глаголицу из греческого минускульного письма, отдельные ученые — из хазарского (Груньский), армянского (Гастер), коптского (Фортунатов) и т. п. (см. Ягич, 1911). Наибольшей популярностью пользовалась минускульная гипотеза, которая, по моему мнению, должна уступить свои позиции гипотезе Юрия Чернхвостова об изобретении Константином-Кириллом глаголических букв путем его единоличного вдохновения, букв, за редким исключением (Ш и др.), не заимствованных из других азбук, а выдуманных вновь (см. Кипарский, 1968; Kiparsky, 1964). История письма знает подобные случаи. Стефан Пермский в XIV в. избрал пермскую азбуку зырян, преследуя миссионерские цели. Эта азбука на Руси использовалась и в виде тайнописи.

Исключительность глаголицы, ее принципиальная независимость от греческого и латинского письма могут быть восприняты как демонстрация славянской культурной автономности, или самобытности, отдельности по отношению к другим этносам, обладавшим письменностью, в первую очередь к греческому (византийского периода) и немецкому

(франкскому). Специфичность и новизна глаголицы, ее непричастность к чужеземному базису выражены автором «Похвального слова св. Кириллу и Мефодию», известного в русском списке XII в.: «не на тоужемь основании своѣ дѣло полагающа, нѣ изнова писмена въображъша и съвършписта въ языкъ новъ» (Лавров, 1930, с. 83–84). С этим славянским свидетельством перекликается место в письме папы Иоанна VIII князю Святополку Моравскому от 3 июня 880 г.: «Litteras sclavonicas, a Constantino quondam Philosopho repertas jure laudamus» («Славянское письмо, изобретенное Константином Философом, по праву хвалим» — МГН, VII, S. 222–224). Об этническом славянском самосознании в связи со славянской (глаголической, по всей вероятности) азбукой у черноризца Храбра будет сказано ниже, а пока же отметим, что некоторые черты греческого влияния сказываются и в глаголице. Это влияние заметно и в порядке букв алфавита, и в выражении звука *y* двумя графемами (буквами), и в употреблении титлов, и в ряде других черт (Vaajs, 1932).

Глаголица, однако, во многих южнославянских землях была заменена кириллицей, которая затем в культурно-историческом ареале *Rex Slavia Orthodoxa* оказалась господствующей. Наиболее вероятным временем и местом официального утверждения кириллицы можно считать 893 г. и болгарскую столицу Преслав, где царем Симеоном был проведен собор (Ильинский, 1931). Более точных свидетельств подобного рода у нас нет. Тем не менее можно говорить, что кириллица, как известно, заимствовавшая основной корпус букв из греческого унициального письма, появилась уже после утверждения глаголицы как специфически славянского письма и после создания славянской литературы со значительным корпусом текстов, распространенных на обширной территории. С вхождением Руси в греко-славянский мир, т. е. *Rex Slavia Orthodoxa*, окончательно обособившийся в 1054 г. от мира *Slavia Latina*, ареал древнеславянского литературного языка и литературы, равно как и объем произведений и сферы древнеславянской книжности, значительно увеличился. Этот процесс был одновременно и процессом распространения и утверждения кириллицы у восточных славян. Кириллица (и кириллическая литература) стала тем самым еще более надэтнической, межславянской, в то время как область распространения глаголицы со

временем ограничилась довольно узким ареалом — хорватским севернодалматинским побережьем с Истрией и прилегающими к побережью территориями. Там она, как известно, сохранялась почти до наших дней². Эти земли постоянно находились в церковной юрисдикции римского папского престола. Глаголица в них была знаменем, способом выражения славянского этнического самосознания, хотя оно выступало и в других формах и потому не исчезло и в тех землях мира *Slavia Latina*, где славянская азбука была заменена латинской.

Литературно-языковая ситуация после 1054 г., т. е. после довольно четкого разграничения (но не отрыва друг от друга) двух миров — *Slavia Orthodoxa* и *Slavia Latina*, в разных славянских землях стала строиться по-разному. В XIII–XIV вв. в ареале *Slavia Latina* установилось литературно-языковое гетерогенное двуязычие — латино-чешское, латино-польское, в то время как в мире *Slavia Orthodoxa* такое двуязычие в ту же эпоху было гомогенным — церковнославянско-русским, церковнославянско-сербским, церковнославянско-болгарским и т. д. (Толстой, 1963; см. наст. изд., с. 102–147). Гомогенность этого двуязычия была столь значительной и стойкой, что современники раннего периода его бытования, равно как и представители более поздней эпохи и даже некоторые ученые наших дней, считали и считают, что в древней Руси или, скажем, в древней Сербии были не два языка, а один язык, стилистически дифференцированный и варьирующий по жанрам, по языковым функциям (Толстой, 1982; см. наст. изд., с. 200–211). Это представление было довольно прочным, и оно усиливалось еще во многом потому, что существовало множество отдельных текстов, например русские летописи, в которых это двуязычие в известной мере нейтрализовалось: церковнославянский и древнерусский смешивались, создавалась средняя, переходная, гибридная форма книжного языка. Такой гибридный язык, равно как и церковнославянский, назывался на Руси обычно *словенским*, *славенским*, но этот же книжный язык

² Древнейший хорватский текст, писанный латиницей, *Šibenska molitva* («Шибеникская молитва» — по названию города Шибеник в Далмации), относится к XIV в., а древнейший хорватский глаголический памятник Башчанская плита (по селу Башка на о-ве Крке) датируется 1100 г. См. Nazor, 1978.

мог позже называться и *русским*, так как он был очень близок к русскому и функционировал у русских, хотя его южнославянское происхождение ощущалось иногда довольно четко (Толстой, 1976).

Стоит отметить, что Нестор в начале XII в. в своем введении к «Повести временных лет» характеризовал славян как этнос с особым языком и особой «граммотой» (ПСРЛ, I). Этот пасус много раз подвергался внимательному и разностороннему анализу. В 1968 г. В. Д. Королук изучал его в связи с проблемой славянского самосознания в Киевской Руси и у западных славян в X—XII вв. В полемике с рядом историков (Ф. Граусом, Л. Гавликом и др.) В. Д. Королук отметил, что система исторических взглядов Нестора Летописца представляла собой синтез европейской (в первую очередь византийской. — *Н. Т.*) образованности, образованности русской и представления о славянском единстве, коренящегося в терминах «славяне» и «славянский язык» (Королук, 1968, с. 110–111). Терминологические устойчивые сочетания «словѣньскыи языкъ» и «грамота словѣньская» мы рассмотрим кратко ниже, сейчас же обратим внимание на этническую градацию славян, принятую Нестором.

В представлении русского летописца существуют три типа этнических образований. 1. Обобщающий тип, охватывающий все славянские народности или крупные этнические образования, а тем самым и племена — этническая семья (Бѣ единъ языкъ словѣньскъ..., словѣне... прозъвашаса лавове..., словѣне... нарекошаса полане, а друзии древлане и т. д.). 2. Народность как основная крупная единица (Чеси, Сърбъ, Хорутане и др.). 3. Племя как более мелкая, чем народность или «преднародность», единица, в нее входящая или формирующаяся (поляне, древлане, дреговичи, полочане, мазовъшане и др.). Нечто подобное, хотя и в сильно измененном виде, мы находим позднее в некоторых славянских зонах, например в Полесье (Obrębski, 1936). Нет нужды приводить более подробный перечень этнонимов из «Повести временных лет», свидетельствующий о племенном дроблении Руси, — он общеизвестен (Хабургаев, 1979). Существенно обратить внимание на то, как противопоставляются этнонимы в том же памятнике. Словене как этническая семья, как этнос противостоят волохам — восточным романцам, аварам, половцам и другим народам (си же Обри воеваху на Словѣнѣхъ) как представителям других этниче-

ских семей, как другим «иноплеменным» этносам. «Внутри» славян различаются народности — чехи, мораване, сербы, хорутане (словенцы). Но также «внутри» славян различаются и племенные образования для восточных славян, как правило, минуя звено народности — русских. Русь же, как справедливо отмечают А. И. Рогов и Б. Н. Флоря (см. РЭС, 1982, глава V), означает у Нестора скорее государственное целое, чем этническое:

Се бо токмо Словѣнскъ языкъ (единств. число! — Н. Т.) в Руси: Полане, Деревлане, Ноугородьци, Полочане, Дреговичи, Сѣверъ, Бужане, зане сѣдоша по Бугу, послѣже же Вельнанае. А се суть инии языци, иже дань дають Руси: Чюдь, Мера, Вель, Мурома, Черемись, Морѣдва, Пермь, Печера, Ымь, Литва, Зимигола, Корсь, Нерома, Либь: си суть свои языкъ имуще ѿ колена Афетова... (ПСРЛ, I, стлб. 11).

Или:

аще и Полане звахъса, но Словѣнская рѣчъ бѣ... (там же, стлб. 28).

Или:

Поланомъ же жиоущемъ ѡсобѣ, накоже рекохомъ суще ѿ рода Словѣнска, и нарекош^аса Полане, а Древана же ѿ Словѣнъ же и нарекошаса Древлане; Радимичи бо и Ватичи ѿ Лаховъ (там же, стлб. 12),

хотя выше говорилось, что

Словѣни же ѡви пришедше сѣдоша на Вислѣ и прозвашася Лахове... (там же, стлб. 6)³.

Отдельные восточнославянские племена, как известно, по представлению Нестора Летописца, рознились на основании таких этнографических признаков, как обычаи («имаху бо обычаи свои и законъ ѡць свои^х и преданыи каждо свои нравъ...») — там же, стлб. 13). Этот же критерий в еще большей степени применял Нестор к другим, неславянским этносам — сирийцам, бактриянам, индийцам, бриттам, по-

³ В принципе можно принять, вслед за рядом исследователей и за А. И. Роговым и Б. Н. Флорей, положение о том, что сведения о славянах и территории их расселения Нестор черпал из западнославянского источника под условным названием «Сказание о преложении книг на славянский язык». Компильция или частичное заимствование немного меняет в общем подходе к славянам в этноиерархической системе (шкале, лестнице) отдельных славянских народов. Важно, что эти сведения Нестор принял и что они, надо полагать, соответствовали его представлениям, как соответствуют они в общих чертах и нашим современным представлениям о славянах IX—XII вв., и представлениям неславянских современников (или почти современников) Нестора.

ловцам и др., следуя традиции византийского летописца Георгия Амартола, утверждавшего, что «ибо комуждо языку овѣмъ исписанъ законъ есть, другимъ же обычаи, зане законъ безаконьникомъ отечствие мнится» [каждый народ имеет либо письменный закон, либо обычай, который люди, не знающие закона, соблюдают как предание отцов].

Говоря о половцах, держащихся законов своих отцов, проливающих кровь и хвалящихся этим, киевский летописец заявляет: «Мы же, христиане, елико земля, иже вѣрують въ святую Троицю...», противопоставляя славян по вероисповедному принципу половцам — нехристианам. Таким образом, градация племя — народность — этническая семья, в которой звено народности в прошлом не всегда четко вырисовывалось, дополнялась еще одной важной ступенью, уже не этнического, а иного порядка, — ступенью конфессионального ареала. В XI—XII вв. таких ареалов, куда входили славяне, уже было два: один, возникший на базе византийской обрядности и культуры, может быть назван греко-славянским миром (или *Pax Slavia Orthodoxa*); другой, на базе римской обрядности и культуры, — латино-славянским миром (или *Pax Slavia Latina*).

Ощущение принадлежности к тому или иному миру со временем становилось компонентом этнического самосознания отдельных славянских народностей, в особенности когда это самосознание развивалось и проявлялось в условиях татаро-ордынского или турецко-османского ига. Так, православная вера нередко воспринималась как своя «национальная» вера и даже так и называлась, к примеру, у сербов — «српска вера» (в противоположность «турской вере» — исламу) и т. п. Нередко наблюдалось и обратное положение, когда самоназвание этнической группы или подавляющего его большинства — земледельцев — возникало по конфессиональному признаку. Ср. рус. *крестьянин, крестьянство*.

Эти факты следует учитывать прежде всего потому, что возникновение и распространение письменности у славян были тесно связаны с принятием и утверждением христианства, с установлением и широким принятием богослужения на славянском (старославянском) языке. Правомерность и каноничность славянского богослужебного, сакрального языка оспаривались многими представителями духовенства, признававшими главенство папы римского. С точки зрения славянских первоучителей и их последователей такая пози-

ция была не более чем ересью (см. «Житие Константина»). Эта ересь называлась «треязычной», ибо ее сторонники, по словам автора «Жития Мефодия», считали, что «не достойт никотороу же языкоу имѣти боуковъ своихъ, развѣ Еврѣи и Грѣкъ и Латинъ, по Пилатовоу писанию еже на кръсть гѣи написа» (Лавров, 1930, с. 72). Византийская историческая и культурно-обрядовая традиция, наоборот, допускала и в ряде случаев поощряла богослужение на других языках — сирийском, коптском, арабском, эфиопском, армянском, грузинском, готском и др. В большинстве случаев эти языки имели и свой особый алфавит (особое письмо), как были различны и три алфавита в «велицѣхъ языцѣхъ» — еврейском, греческом и латинском. Введение в богослужение, как и создание своей азбуки и книжной нормы, означало для славянского языка — этноса — «причестиса велицѣхъ языцѣхъ».

Насколько влиял этот факт на славянское этническое самосознание, можно судить хотя бы по известному сочинению южнославянского черноризца Храбра «О писменехъ». Сочинение это, как и большинство славянских книжных трудов древней эпохи, в некоторых своих частях компилятивно и снабжено цитатами или сведениями из греческих авторов (Псевдо-Феодосия, Феодорита Кирского, Георгия Амартола, Епифания Кипрского, Евсевия Кесарийского). Эти компиляции связаны с темой происхождения греческого письма, греческого перевода св. Писания и т. п. Что же касается частей текста о возникновении славянской письменности и азбуки, то они, безусловно, оригинальны.

Для интересующей нас темы существенна заключительная часть трактата черноризца Храбра:

Аще бѡ въпросиши книгчиа греческаго глѣ кто вы есть писмена сътворилъ, или книги прѣложилъ или въ кое врѣма то рѣдци ѿ ни^х вѣдати то, аще ли въпросиши словенскыа бѣкварѣ глѣ кто вы писмена сътворилъ есть, или кто книги прѣложилъ вѣси вѣдати, и ѿвѣщавъ речеть стѣи Кѡнстантинъ философъ нарицаемыи КѸрилъ. тѣ писмена сътвори, и книги прѣложѣ. и Меѡдїи братъ его. сѣт бѡ еще живи, иже сѣтъ видѣли и^х, аще въпросиши въ кое время, вѣдати и рекътъ, яко въ врѣмена Михаила цѣра греческа и Бориса кнаса болгарска и Растица, кнѣза моравска. и кѡцѣ кназа Блатьска въ лѣто же ѿ създанїа всего мира **ST[3]Г**. (6363 = 863 г. н.э.) (Кув, 1967, с. 194; 145–146).

В этом тексте нетрудно отметить несколько моментов утверждения достоверности излагаемых фактов («вѣси вѣдѣть ..., сѣт бѣ еще живи, иже сѣтъ видѣли и^х» и др.), а также мотив превосходства славянских «писмен» над греческими, который еще ярче выступает в утверждении, что греческое название буквы «альфа» не греческого происхождения, а заимствовано из еврейского «алефъ» и т. п., в то время как у славян имеются свои названия букв — «азъ» и т. д., и особенно ярко в заявлении, что греческие письма создали «эллины поганые», а славянские — «святой муж». Следует напомнить, что в древнерусских и древнеюжнославянских текстах слова *ѣллини* и *ѣлиньски* обычно означают не 'эллины, древние греки', 'древнегреческий', а 'язычники', 'языческий' вообще. Это же значение имело и слово *поганыи* (ср. лат. *paganus* 'язычник'). Таким образом, представления об особых достоинствах славянского письма, противопоставлявшегося системам письма других народов, становилось в IX в. уже частью самосознания славян, воспринявших «свет разумения книжного». К тому же IX веку следует относить и зарождение представлений о сакральности, священности славянского алфавита, которые затем стали очень популярны у славян, о чем свидетельствует ряд фактов. К ним следует отнести наличие азбучной молитвы у славян (Кув, 1974; Мареѣ, 1964), возникновение которой, вероятно, можно связывать с появлением славянской письменности, затем наличие определенного числа граффити, представляющих собой начало алфавита, — на развалинах церкви в Преславе, в Софии Киевской, в Софии Новгородской, писавшихся обычно под титлом наряду с формулами «Господи, помози» и «спаси, Господи» и др. (см.: Высоцкий, 1966; 1976; Медынцева, 1978; Гошев, 1961). Следует отметить, что сравнительно небольшое число примеров употребления глаголицы на Руси, относящееся в основном к граффити Софии Киевской и Софии Новгородской, включает в себя и ряд примеров с этими формулами. В связи с этим и со всем комплексом рассуждений о святости, сакральности славянского алфавита важно учесть сумму аргументов, изложенных выше, по вопросу о первичности глаголицы. Ряд первых по порядку глаголических букв, начиная с глаголического аза в виде креста со слегка опущенными концами поперечной перекладины, означали, видимо, молитву или молитвенное заклинание сакрального характера

(позже эта сакральность перенеслась и на кириллический алфавитный порядок)⁴. Особый интерес вызывают в этом смысле и смешанные глаголическо-кириллические написания. М. Н. Сперанский видел в таких написаниях «орудие» для «затаения», «загадки» (Сперанский, 1929, с. 58–67, особо с. 60). Однако, например, случай с написанием «Владиміръ на столѣ» на золотой монете св. Владимира не может считаться такой загадкой, и появление глаголического «людие» в этом тексте следует объяснять иным способом.

Есть все основания полагать, что на христианском Востоке, равно как и на Западе, сакральным считался не только «свой» алфавит, но и алфавит «чужой», а также, что крайне важно для наших наблюдений, и смешение алфавитов.⁵

⁴ Среди ряда ранних граффити-азбук выделяется Преславская глаголическая азбука, открытая акад. Иваном Гошевым в 1949 г. в развалинах Круглой церкви в Преславе в помещении для крещения. По наблюдениям И. Гошева, весь алфавит, от которого сохранилось лишь 13 глаголических букв, помещался на расстоянии 23 см между двумя крестами, размерами во много раз превосходящими глаголический «азъ» и другие буквы. См. Гошев, 1961, с. 61–66, 136–138). И. Гошев предполагает, что азбука начертана в связи с обрядом освящения храма или для того, чтобы отметить культурно-просветительную деятельность покойника, погребенного у стены. Второе, на наш взгляд, менее вероятно. Сакральность этой и подобных азбук-граффити бесспорна. В связи с этими азбуками уместно вспомнить отрывки стихов 8-го и 10-го из первой главы «Откровения св. Иоанна» (Апокалипсиса): «Азъ есмь алфа и ѡ, начатокъ и конецъ, глеть гдѣ» (ст. 8) и «... слышахъ за собою гласъ велии яко трѣбѣ глѡущъ азъ есмь алфа и ѡ первыи и послѣднїи» (ст. 10 по тексту Острожской библии). Алфавит в целом, и особенно первые и последние буквы, выражает идею сакральной цельности и божественной завершенности. В связи с этим интересно и греческое Ἀρχὴν ἀπάντων καὶ τέλος ποιοῦ Θεόν, которому соответствует славянское «добро есть ѡбо братіе всегда отъ Бога начати и до Бога скончати якоже Григорїи Богословъ рече», известное по сочинению пресвитера Константина — ученика св. Мефодия. Наконец, возникает предположение, что и в берестяных грамотах написание азбуки и азбучные «упражнения», в том числе и так называемого мальчика Онфима, являются сакральными, а не «ученическими», если учесть и иные тексты того же «автора». См. грамоты № 199–201 и № 203–207 в кн.: Арциховский и Борковский, 1963.

⁵ По свидетельству А. И. Яцимирского, в прошлом в среде славян восточного обряда «для освоения грамоты нужно причаститься яблоком и хартией, на которой должно быть написано то, что следует знать. На хартии надо написать + и Н. И. К. А. и «все слова» (т. е. буквы) вокруг креста, т. е. полную славянскую азбуку. Магическое действие азбуки, особенно первой и последней ее букв, а также начальных букв

Таким образом, создание славянской письменности и славянского литературного языка явилось новым толчком к усилению общеславянского самосознания, к осмыслению представлений о месте славян среди других народов. Эти явления отразились на всей территории славянского мира, где существовала в X—XI вв. славянская письменность и литература: не только у южных и восточных, но и у западных славян, в частности в Чехии, где в XI в. действовал такой крупный центр славянской письменности, как Сазавский монастырь.

Однако к концу XI в. условия для развития славянской письменности и литературы в Чехии ухудшились. Папа Григорий VII не дал чешскому князю разрешения совершать богослужения на славянском языке (Codex, 1904, p. 88), а затем против славянской письменности выступили ка-

определенных слов известно во многих древних и новых культурах. Алфавиты, особенно из чужих азбук, например, у коптов греческие, притом вырезанные на камне, на металле, играли роль *ἀποτρόχου* (умилостивительная жертва) или *astraca* и проникли к грекам и римлянам с Востока» (Яцимирский, 1917, с. 54–55). В этом пасусе А. И. Яцимирский делает ссылку на статью А. Видемана (см. Widemann, 1906). Д. Айналлов сообщает, что и теперь при освящении католического храма епископ своим посохом пишет латинский и греческий алфавиты на линиях, крестообразно обозначенных на полу. Этот обряд толкуется в так называемой Золотой легенде XIII в.: «На полу пишется алфавит, так как он знаменует единение обоих народов, т. е. язычников и иудеев, или страницу обоих заветов, или параграфы нашей веры. Алфавит же из латинских и греческих букв, накрест написанных, знаменует единение в вере народов из язычников и иудеев, через посредство Христова креста осуществленное». На Руси же уже по крайней мере в XIII в. было запрещено писать крест на земле. «Мѣрило праведное» (список XIII в.) определяет: «Никтоже да не пишетъ на земли креста», а «Слово св. апостоль и отецъ о крестѣ Христовѣ (по списку XVI в. церкви св. Николая в Дубне) предупреждает: «Образ крестныи на земли пишущимъ нѣкимъ несмысленнымъ, не повелеваемъ вѣрнымъ. То бо латына дѣють». Во всех случаях запрещается писание на земле, а не употребление двух алфавитов (см. Айналлов, 1928). Число подобных примеров можно было бы умножить. Точно так же можно было бы привести примеры употребления греческого алфавита в древнерусских и южнославянских храмах (ср. надписи в Софии Киевской), однако любопытно, что писцы старейших древнерусских граффити смешивали не греческий и славянский алфавит, а два «своих» славянских алфавита — глаголицу и кириллицу. Примеры см. в цитированных выше работах М. Н. Сперанского, А. А. Медынцевой, С. А. Высоцкого.

толические круги в самой Чехии. Отголосок столкновений по этому вопросу можно видеть в фальсификате буллы папы Иоанна XIII об основании пражского епископства, включенном в «Чешскую хронику» Козьмы Пражского (начало XV в.). Здесь говорилось, что на епископскую кафедру нельзя ставить «человека, принадлежащего к обряду или секте болгарского или русского народа или славянского языка» (Козьма Пражский, 1962, с. 65–66). Не случайно мы не знаем произведений, написанных на древнеславянском, древнечешском или древнепольском, относящихся к западнославянской зоне и к XII в.

На рубеже XI—XII вв. параллельно с упадком славянской письменности в Центральной Европе осуществляются и гонения на славянское письмо и язык в Далмации. Древнеславянский (церковнославянский) язык перестает быть действительно литературным языком всех славян. Славянская же письменность становится (на этом этапе) отличительной чертой лишь части славянских народов, которые по этому признаку временно отделяются от других славянских народов, не обладающих такой письменностью. Это накладывает свой отпечаток и на процессы развития самосознания в последующий период истории славян. В итоге возникновение славянской письменности повлекло за собой и возникновение древнеславянского (старославянского и церковнославянского) литературного языка и, безусловно, способствовало укреплению общеславянского межплеменного самосознания (на уровне этнической семьи), хотя такое самосознание, надо полагать, существовало и до появления славянской письменности и определялось не только фактором литературным (литературно-языковым) и лингвистическим, но и этнографическим или фольклорно-этнографическим, а также этнопсихологическим. С другой стороны, славянская письменность дала импульс для развития народностей и народов славянских, для развития народного (национального) самосознания и народной (национальной) литературы путем отпочкования от общеславянской литературы и письменности.

II

Древнеславянский литературный язык

К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян

Дальнейшее плодотворное и успешное изучение ранних периодов истории славянских литературных языков, в первую очередь восточно- и южнославянских — русского, отчасти украинского и белорусского, сербского и болгарского, в значительной степени осложняется из-за отсутствия исследований литературного древнеславянского языка, т. е. языка старославянского и церковнославянского¹. Молчаливое или прямое признание существования древнеславянского литературного языка в эпоху средневековья и даже в преднациональный период можно найти во многих исследованиях прежних лет и в ряд работ последнего времени, однако до сих пор, как правило, проблемы, связанные с его историей, почти не изучались самостоятельно и поднимались главным образом в связи с рассмотрением различных периодов истории отдельных славянских языков, в связи с вопросом о тех или иных влияниях, с проблемой самобытности, с проблемой соотношения «книжного» и «народного» начал. А между тем данные письменных памятников различных славянских народов позволяют поставить вопрос о существовании единого славянского литературного языка, функционировавшего с IX в. почти до конца XVIII в. и распространенного среди восточных и части южных славян, а в ранний период и среди славян западных. Древнеславянский литературный язык, таким образом, может иметь и свою внешнюю и внутреннюю историю, и свою специфическую проблематику.

Историю древнеславянского литературного языка на первых этапах исследования целесообразно строить, используя

¹ Нами принят вместо широко распространенного термина «церковнославянский язык» термин «древнеславянский» потому, что церковнославянский язык функционировал не только в церковной сфере, а значительно шире, и в древности чаще всего имел название просто «словенский».

метод синхронных срезов, т. е. рассмотрения хронологически одновременно написанных или переписанных памятников, возникших на территории так называемого «греко-славянского мира», т. е. в среде православных восточных и южных славян и влахо-молдаван². Производя синхронные срезы по эпохам, мы можем говорить о единстве древнеславянского литературного языка лишь в том случае, если прием не только положение о смене норм в плане диахроническом (т. е. изменение в произношении того или иного звука, например *о*, замена той или иной морфологической формы или синтаксической конструкции другой, изменение словарного состава и т. п.), но и положение об изменчивости свободы нормы, ее границ, допустимости большего или меньшего числа вариантных форм и языковых элементов.

В последнем случае при сравнении разных синхронных срезов мы обнаружим часто значительное различие и будем вынуждены для каждой отдельной эпохи пользоваться приемом, близким к приему моделирования, т. е. устанавливать определенные нормы, не соответствующие вполне исторически известным нормам той или иной школы письменности (например, тырновской или ресавской). Иными словами, критерии для определения единства древнеславянского литературного языка в различные эпохи будут различными, так же как окажутся различными и сферы функционирования древнеславянского литературного языка в разнообразных жанрах литературы (письменности), бытовавшей у отдельных южно- и восточнославянских народов.

1

Старославянский язык рассматривался до сих пор преимущественно как система или модель, из которой исхо-

² Памятники, по своему языку причастные к письменной традиции, установившейся в указанном ареале, но возникшие за его пределами (моравские, хорватские, словенские), должны, по-видимому, в процессе исследования учитываться и рассматриваться во вторую очередь, после установления соответствующей общей модели для ряда памятников русского, сербского и болгарского происхождения. Во всяком случае вопросы изучения древних литературных славянских языков вне вышеуказанного ареала осложняются фактом латинско-славянского, а в некоторых случаях и немецко-славянского и итальянско-славянского двуязычия и рядом иных факторов.

дили при реконструкции праславянского языка³ т. е. при установлении языкового состояния более раннего периода, либо при объяснении отдельных, диахронически исследуемых фактов исторической фонетики и грамматики конкретных славянских языков, т. е. при объяснении состояния более позднего периода. С позиции науки о литературном языке старославянский язык стали рассматривать лишь недавно и то преимущественно в плане его внешней истории, однако не менее важной является задача внутреннего рассмотрения старославянского языка как структурного целого⁴, оказавшегося после своего возникновения в качестве литературного языка в определенных коррелятивных отношениях с живыми славянскими, в том числе и южнославянскими и древнемакедонскими диалектами. Это был язык «священный», т. е. нормализованный, функционально отличный от народно-разговорного языка, как всякий литературный язык, в известной степени искусственный и в эпоху средневековья ареально-интернациональный (ср. в его составе моравизмы, восточноболгаризмы, грецизмы, латинизмы и т. п.)⁵.

³ Ср. мнение А. Мейе: «Состав этого письменного языка, с одной стороны, дает лингвистам почти эквивалент общеславянского, а с другой — представляет для них существенные затруднения: славянские народы, принадлежащие к восточной церкви, усвоили его как язык религиозный и превратили, подобно греческому, византийскому или средневековой латыни, в искусственный язык, называемый церковнославянским. Вследствие этого мы не имеем ни одного древнего памятника, который совершенно точно передавал бы болгарский, сербский или русский языки» (Мейе, 1951, с. 7). Под термином «старославянский язык» мы понимаем только язык ряда памятников X—XI вв. (около 20). Крут этих памятников в принципе уже установлен и принят почти всеми исследователями (см. Sadnik und Aitzetmüller, 1955, S. VII—VIII).

⁴ Из последних работ следует отметить доклад Й. Курца на IV съезде славистов (Kurcz, 1958) и статью А. Достала (Dostál, 1959).

⁵ Искусственность и интернациональный характер старославянского языка ощущались и в древности. В этом смысле любопытны известные в науке представления Константина Костенечского (XV в.) о том, что основоположники старославянского языка для передачи эллинских (или сирийских, или еврейских) тонкостей «и́з'бра́в'ше т'ьн'чаи́шии и краси́ниши роу́ш'кын љзыкъ, къ нѣмѣже по́мощь въдѣсе влѣгар'скын и срь'е'скын и вѣсньскын и словѣн'скын и чѣш'каго чѣ и хр'вѣат'скын љзыкъ, въ ѣже вѣмѣстити вж'ѣвнаа писаниа». Константин Костенечский отмечает существование книг первого издания («книгы прѣвааго изданиа», по предположению В. Ягича — азбуковников), которые включали «и́звѣра́н'ные рѣчи кзыкъ си'». Создатели старославянского языка, по его мнению, от-

Подобному представлению о старославянском языке несколько не противоречит тот факт, что его диалектной основой было древнее македонское наречие⁶. В типологически сходных условиях и соотношениях произошло совсем недавно возникновение современного македонского литературного языка, почти не имевшего ближайшей литературной традиции и созданного в кратчайший срок на основе центральных македонских говоров. Современный македонский литературный язык нельзя считать простой фиксацией в литературе прилепско-велесских говоров: он оказывается отличным от последних и функционально, и формально.

Возникши в качестве литературного языка, старославянский язык оказался тем эталоном-моделью, который определял формальную, в значительной степени лексическую и даже стилистическую сторону древнеславянского литературного языка в течение почти всей его истории.

Этому положению во многом способствовало то обстоятельство, что древние памятники, переведенные Кириллом и Мефодием и их учениками, имели в древнеславянской письменности главенствующую роль с точки зрения канонов того времени, находясь иерархически в высшей позиции. Если рассматривать южно- и восточнославянскую письменность — древние южно- и восточнославянские литературы — не в плане ее национального своеобразия (что, разумеется, также может оказаться необходимым) или в аспекте ее

вергли неуместные, или «простые», или «тесные» слова, «дѣверыи же рѣчи ѿ коѣгоже языка възвѣше, и исплѣнише оулишнаа единаа друуга, и издаде сѣце». Автор книги о письменах дает также объяснение, почему язык следует называть славянским: «того раѣи и книжевнии сѣи ни бѣлгарскоу ни сръбскоу сѣи наричють, нѣ словѣнскоу, ꙗже ѣ възвѣхъ сѣхъ плѣмень, нѣ ѡваче роуць вѣщѣше» (см. Ягич, 1885—1895, с. 396—398 и толкования на с. 491—492).

⁶ Ср. важное заключение А. Достала: «Наиболее распространен взгляд, что старославянский язык стал языком литературным уже впоследствии, главным образом в церковнославянский период, когда церковнославянский язык был признан межславянским литературным языком (славянская латынь). Однако необходимо признать литературность старославянского языка уже в период почти с возникновением старославянских памятников, так как с самого начала на этот язык были переведены тексты, очень важные для своего времени, и с самого начала в них исчез характер местного языка. Константин и Мефодий, наоборот, первые же тексты написали для западной славянской области и задумывались о создании большой славянской литературы» (Dostál, 1959, резюме, с. 138).

«художественности» и светскости, а в аспекте, требующем определения норм и функциональных границ литературного языка и притом с подходом строго историческим, не допускающим модернизации и замены древних норм и канонов современными представлениями, то эта письменность может быть схематически представлена как фигура с рядом иерархически подчиненных ярусов, отражающих различные жанры, в которой за каноническими (евангелие, псалтырь и др.) и литургическими текстами следует литература аскетическая, проповедническая («слова» и т. п.), агиографическая, повествовательная (повести, «романы» и т. п.), апокрифическая, историческая (хронографы, летописи), паломническая («хождения» и т. п.), художественно-поэтическая, публицистическая и др. Безусловно, внутри этой фигуры соотношение ярусов по жанрам требует детализации и является значительно более сложным, чем приведенный нами порядковый перечень. Однако при определении норм древнеславянского литературного языка следует учитывать в принципе хорошо известный факт, что тексты верхнего яруса оказываются более консервативными и более четко нормированными, дающими меньшее число отклонений от устанавливаемой для каждой эпохи модели, а в текстах нижнего яруса строгость нормы оказывается более свободной, более подверженной влиянию народно-разговорного «субстрата». При этом некоторые памятники останутся вовсе вне установленных нами границ, вне сферы древнеславянского литературного языка. Правда, такое соотношение в разные эпохи будет различно; кроме того, близость к языковой норме или отдаленность от нее для самого верхнего яруса может быть далеко не одинакова и внутри одного жанра (например, в жанре повестей).

Устойчивость (но не неизменность) основных элементов модели старославянского языка в течение веков объясняется устойчивостью литературы, которую древнеславянский литературный язык обслуживал. Во-первых, в основном своем ядре (в него входят прежде всего верхние ярусы) эта литература оказывается единой для всего «греко-славянского» ареала, во-вторых, в ней почти не было произведений, имевших для более поздних эпох лишь историко-литературное в нынешнем понимании этого слова значение. Памятники ее сохраняли потенциал современности для читателей в тече-

ние пяти и более столетий⁷. Длительность литературной жизни таких памятников, как Александрия, Сказание об Индейском царстве, Житие Варлаама и Иоасафа, История Иудейской войны Иосифа Флавия, Троянская притча, Стефанит и Ихнилат и др., не говоря уже о канонических произведениях, наконец, довольно высокая техника и точность копирования списков⁸ поддерживали непрерывность традиции древнеславянского литературного языка. Древнеславянский литературный язык был одним из основных формальных показателей средневековой «синкретической» литературы⁹. Характерно, что его исчезновение происходит почти одновременно с исчезновением самой этой литературы, с переходом ее от «синкретизма» к художественности, с исчезновением всего комплекса религиозных, моральных и эстетических представлений, характерных для греко-славянского мира периода X—XVII вв.

2

Стремление к сохранению древних норм и поиски древних списков для копий характерны почти для всех эпох вплоть до XVII в. Оно особенно ярко и своеобразно преломилось в Московской Руси, где обе враждующие стороны — и сторонники Никона, исправлявшего книги по древним образцам, и раскольники, охранявшие древность с незначительными и довольно ранними отклонениями, принимавши-

⁷ На этом факте в свое время акцентировал внимание В. М. Истрин (см. Истрин, 1922, с. 54), а недавно его вновь подчеркнул Н. А. Мещерский (см. Мещерский, 1960, с. 63).

⁸ При этом некоторые списки были настолько близки друг к другу и так слабо отражали «территориальный субстрат», т. е. черты восточно- или южнославянских диалектов, отличие от черт древнеславянского литературного языка, что в ряде случаев невозможно точно определить «редакцию» памятника. В иных случаях также остается спорным вопрос о первоначальной «редакции», т. е. о месте перевода памятника. Так обстоит дело и с Хроникой Георгия Амартола, и с рядом других переводных произведений. Данные языка часто дают нам в этом отношении очень немногое. «Вообще определить язык перевода, — подчеркивает А. С. Орлов, — для X—XI—XII вв. весьма трудно. Ведь литературный язык русские получили из Болгарии и могли так хорошо писать на литературном языке Болгарии и так ловко подражать ему, что лишь в незначительной доле обнаруживали свой русизм» (Орлов, 1937, с. 44).

⁹ Ср. Гачев, 1958; Азбелев, 1959.

мися за норму, отстаивали один и тот же принцип «святой старины». Отклонения в нормах древнеславянского литературного языка не были коренного характера и сводились в общем к частностям. Различия между изводами¹⁰ в так называемый среднедревнеславянский период (см. ниже схему периодизации) были часто в принципе не большими, чем между троекратным и двукратным «аллилуия».

Само понятие нормы для древнеславянского (церковнославянского) языка, сменившего старославянский, может быть представлено в историческом аспекте и воспринято для некоторых эпох достаточно широко, с допущением известных, в первую очередь фонетических, а затем и грамматических и лексических вариантов¹¹. Двойное произношение буквы ж (как у — у русских и сербов и, вероятно, как з — у болгар) и буквы ѡ (как 'а — у русских и как е — у южных славян) или даже написание оу (ѡ) вместо ж и ѣ вместо ѡ¹² ничем в принципе не отличается от известного в современном сербскохорватском литературном языке двойного произношения: экавского и екавского — рефлексов бывшего ѡ (лѡно: лено — лијено) и ряда других подобных орфоэпических вариантов¹³. Еще меньшее значение следует придавать

¹⁰ Говоря об изводах — русском, болгарском, сербском, мы не должны также упускать из виду тот факт, что помимо известного числа списков с довольно «чистыми» изводами было множество списков так называемых «смешанных» изводов, например, памятников с чертами русского и болгарского народного языкового субстрата (здесь имеется в виду тот же «средний период» истории древнеславянского литературного языка). Таким является, к примеру, текст «Пчелы» 1599 г. (см. Сперанский, 1904, с. 371–392). В исследованиях отмечаются также «церковнославянский язык болгаро-сербского извода», «церковнославянский язык сербо-болгарского извода» и др. Об их особенностях см. Соболевский, 1908, с. 80.

¹¹ Лексические варианты в большинстве случаев представлены как синонимы (иногда со стилистической окраской).

¹² Основные особенности разных изводов в сущности не многочисленны (см. Соболевский, 1908, с. 75–87).

¹³ В Болгарии потенциальное наличие двух орфоэпических норм проявилось в различном произношении ѡ — восточном как 'а (бѡх) и западном как е (бех). До 1944 г. эта двойственность поддерживалась орфографией, и буква ѡ часто произносилась двойко (см. Стойков, 1948). Подобное различие в произношении буквы ж (как у, или а, или з) допущалось и в середине XIX в. некоторыми болгарскими и македонскими филологами и писателями, например Неофитом Рилским, Р. К. Жинзифовым и др.

орфографическим вариантам типа написаний *ѿа — ѿа, аа — аа* и т. п. и прежде всего колебаниям в написании *ъ* и *ь*¹⁴. Разделение многих древнеславянских памятников и их классификация по различным изводам (русским, сербским, болгарским и т. п.) подчинялись прежде всего задачам изучения истории списков и текстов и истории языка (чаще всего исторической фонетики и грамматики, нуждавшейся в пусть даже отрывочных и скудных, но достаточно древних письменно зафиксированных фактах) и в меньшей мере задачам изучения истории литературного языка, требующим в данном случае иного критерия и подхода. Между тем различное произношение одной графемы (например, *ѣ, ж, ѡ*) или «варианты» типа *ночь—ноць, свѣща—свѣча* могут вполне и, безусловно, с большим правом рассматриваться как варианты одной, несколько шире понимаемой нормы, чем разноречивой в написании типа *чвѣтъ—цвѣтъ, цаша—чаша* (новгородское, двинское, псковское) или *враздѣ—враждѣ, зизнѣю—жизнѣю, напиши—напиши* (псковское) или в более поздний период (XVII в.) типа *Ондрѣй—Андрѣй, Фонасей—Афанасій* (севернорусское, московское) и т. д. Подобным образом может быть поставлен вопрос и о морфологических, синтаксических и лексических вариантах.

Если взять определенные памятники, хронологически относящиеся к одному периоду, например к XV в. или XVI в., и произвести их сопоставление, отвлекаясь от частных фонетических, орфографических и иных вариантов, т. е. допускающая известную свободу норм, то во многих случаях окажется, что некоторые, например русские, памятники отстают по

¹⁴ Весьма примечательно мнение А. Вайана, приведенное в резюме к изданию древнеславянского текста проповеди Епифания: «Он (автор А. Вайан) считал важным обратить внимание не только на разночтения, которые исправляют искаженный текст, но и на те разночтения, которые дают сведения для истории церковнославянского языка и для истории преобразования двух старославянских редакций, западной (македонской) и восточной (болгарской), в более поздней редакции. Нужно, естественно, сделать выбор разночтений из отдельных рукописей и остановиться только на тех, которые имеют известное значение, и полностью отбросить исключительно орфографические варианты. За чем, например, приводить бесконечные случаи колебания еров — *э* и *ь*? Чрезмерное внимание к мелким орфографическим частностям, что может быть названо «ероманией», оказалось фатальным для подлинной старославянской филологии Ягичевой школы, хотя сам Ягич был великим филологом» (см. Vaillant, 1958, p. 101).

чертам языка и стиля от других русских памятников той же эпохи гораздо дальше, чем от ряда сербских, болгарских и славяно-влахо-молдавских памятников¹⁵.

Язык сочинений Курбского или Грозного, не говоря уже о «Домострое» (этот памятник, видимо, вовсе не надо рассматривать в сфере истории литературного языка), будет дальше от языка произведений митрополита Киприана, Максима Грека, Зиновия Отенского и др., чем язык последних от языка Григория Цамблака, Константина Костенечского и др. Мало соответствий с произведениями современников найдет речевая система произведений протопопа Аввакума (XVII в.) (не говоря уже о списках сочинений, возникших ранее, которые также следует учитывать, ибо они были фактом литературной жизни своей эпохи). А «русский» язык таких произведений, как Александрия, будет в ранних списках мало чем отличаться от языка Александрий сербской и болгарской.

По сути дела в этом случае, как и во многих других, нам будет удобнее признать язык сербской, болгарской, русской, сербско-болгарской, русско-болгарской и др. редакций единым древнеславянским (или «церковнославянским», или «книжнославянским») литературным языком, независимо от того факта, что в разные эпохи он мог находиться под влиянием определенного народно-разговорного субстрата, служившего источником его обогащения, и тем самым изменять свое лицо.

Определив нормы древнеславянского литературного языка, вернее, инварианты норм, для каждой эпохи, мы должны также определить круг памятников, входящих в его сферу. При этом целый ряд русских, болгарских, сербских па-

¹⁵ Сложнее обстоит дело в отношении списков памятников, возникновение которых относится к более ранним эпохам. В этом случае, в принципе, язык памятника следует стратиграфировать в соответствии с временем копирования, а не написания или перевода. Подобное решение нам представляется не лишенным недостатков, но наиболее удачным в плане задач истории литературного языка (не историко-литературных). Язык списков памятников, имевших многовековую историю, особенно поздних, отражает часто значительные изменения норм и характера литературного языка. Некоторые из них уже полностью выходят за рамки древнеславянского литературного языка. Ср., например, списки Александрии (белорусская Александрия XVII в. и др.), «Пчелы» (украинская «Пчела» начала XVIII в.) и др. (см.: Аниченко, 1960; Щеглова, 1910).

мятников, особенно позднего периода, окажется вне границ этой сферы, однако при их исследовании крайне важным является определение отношения их языка к языку древнеславянского. Нельзя начертать процесс истории собственно древнерусского литературного языка (т. е. языка памятников, не входящих в определяемую нами древнеславянскую сферу) в отрыве от процесса истории древнеславянского литературного языка, так как первый не проходил параллельно и независимо от последнего. Древнеславянский литературный язык выполнял роль стабилизатора, и изучение древних восточно- и южнославянских литературных языков без учета их коррелятивных отношений с общим древнеславянским крайне затруднительно. При этом между упомянутыми «языками» в среднедревнеславянский период (см. ниже схему периодизации) слагались отношения не двуязычия (двуязычие было скорее в плане литературного и разговорного языка)¹⁶, а основного ядра и периферийно расположен-

¹⁶ Это положение было в общем характерно для Московской Руси (ср. известное свидетельство Генриха Лудольфа о том, что «разговаривать надо по-русски, а писать по-славянски»), но в Западной Руси (на Украине и в Белоруссии) положение было несколько иным: «западнорусский язык» (древнеукраинский и древнебелорусский) в XVII в. существовал в литературе наряду с древнеславянским, о чем свидетельствует наличие книг с параллельными текстами (например, «Лѣкарство на опасный умыслъ чловѣчій» [изд. в Остроге, 1607] и др.). Интересно известное свидетельство Зиновия Отенского (XVI в.) о «книжной речи» и «общей народной речи», изложенное в сочинении «Истинны показаніе къ вопросившимъ о новомъ ученіи» (Зиновий Отенский, 1863). Один из клирошан по имени Захарий спросил, как надо говорить: *чаю* или *жду*, сославшись на мнение некоторых, что *чаю* выражает неполную уверенность. Зиновий пояснил, что *чаю* относится к книжной речи, а *жду* — к общей, народной. Значение неуверенности в слове *чаю* привнесено в общую народную речь «христорборными вельможами» (намек на жидовствующих и ересь Феодосия Косого, против которой направлено все сочинение Зиновия), в то время как семантика слова *чаю* та же, что и *жду*: «Чаяніе бо отъ христорборныхъ вельможъ яко двоумышлено внесено въ народъ; сего ради Максим “жду” глагола; а не по книжной рѣчи глагола вмѣсто “чаю” “жду”, мяше бо Максимъ, по книжнѣй рѣчи у насъ и обща рѣчь. Мню же и се лукаваго умышленіе въ христорборцѣхъ или въ грубыхъ смысловъ, еже уподобляти и низводити книжныя рѣчи отъ общихъ народныхъ рѣчей. Аще же и есть полагати приличнѣйши, мню, от книжныхъ рѣчей и общія народныя рѣчи исправляти, а не книжныя народными обезчещати. Максиму же нѣсть зазрѣніа, не познавшу опаснѣ языка русскаго; но зазрѣніе на христорборцевъ, лукавновавшихъ на свя-

ных вокруг него сфер, где действовали и центробежные, и центростремительные силы. Внешними сферами по отношению к древнеславянскому литературному языку и к языку памятников вне его границ (т. е. с довольно ярко окрашенными русскими, сербскими и болгарскими чертами вне норм древнеславянского языка), воздействующими, однако, на всю систему сфер (или «типов») языка древнеславянской письменности, были живые народные диалекты, обозначаемые нами в силу их функциональной роли как народно-разговорные субстраты. Воздействие народно-разговорных субстратов на древнеславянский литературный язык шло во многих случаях не непосредственно, а через периферийные сферы (ср., например, роль письменно-делового языка в поздний период развития древнеславянского литературного языка).

Если положить в основу локальный критерий, т. е. критерий места написания памятника, его перевода или копирования («извода»), и рассматривать только язык памятников, связанных с одним ареалом (например, восточнославянским, т. е. древнерусским), то обнаружится наличие двух «типов» литературного языка (по терминологии В. В. Виноградова [Виноградов, 1958]) — «книжно-славянского» и «народно-литературного»¹⁷. «Книжно-славянские» «типы» древнерусского, древнесербского и древнеболгарского¹⁸ литературного языка войдут в качестве компонентов в сферу древнеславянского литературного языка. Памятники «народно-литературного» языка окажутся или вне его сферы,

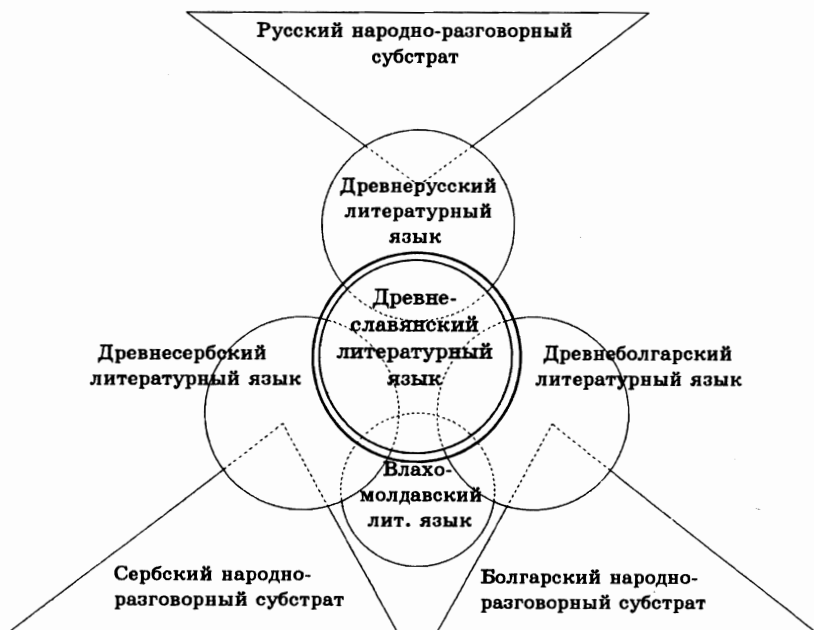
щенное писаніе. Намъ же любящимъ Христа, знающимъ языкъ свой и народа общую рѣчь и вѣдущимъ въ богодухновенномъ писаніи лежащи о извѣстнѣй надежди чаяніе, не подобаетъ глаголати: “жду воскресенія мертвымъ”; но глаголати намъ тако, якоже святіи исперва преложиша отъ греческаго языка на русскій языкъ: “чаю воскресенія мертвымъ”. Иже бо кто извѣстився о нейже вещи чаетъ ея: неизвѣстенъ же кто о обѣщаніи, отчаявается» (разрядка везде моя. — Н. Т.) (с. 967).

¹⁷ Особый вопрос возникает в связи с фольклорно-художественным «стилем», или, как полагают некоторые ученые, «типом». Он далек от сферы древнеславянского литературного языка и находится на грани «народно-литературного» типа и народно-разговорного «субстрата» (или почти целиком в сфере последнего).

¹⁸ Термин «древнеболгарский литературный язык» здесь соответствует не известному термину «староболгарский» (= старославянский), а скорее термину «среднеболгарский».

или примыкающими к ней (отметим, что число памятников, четко отражающих «народно-литературный тип», невелико: этот тип лишь в редких случаях будет представлен в своем «чистом» виде, без элементов «книжно-славянского»).

Вышеизложенные положения можно было бы представить в виде следующей схемы, которая в известной мере применима ко всем периодам истории древнеславянского литературного языка, но наилучшим образом отражает состояние XIV—XVI вв.:



3

При изложенной постановке вопроса о едином древнеславянском литературном языке следует учитывать, что степень его единства в различные исторические эпохи была неодинаковой. В истории древнеславянского литературного языка периоды действия центробежных сил сменялись периодами действия сил центростремительных, ведущих к унификации норм литературного языка. При этом в плане «внешнем» важен учет миграции центров, а в плане «внут-

реннем» — смена периодов с большей и меньшей свободой нормы. Со сменой центров часто происходила и смена норм под влиянием того или иного народно-разговорного «субстрата». Тем самым определение норм в различные эпохи (иначе говоря, при различных синхронных срезах) будет различно. «Нормы» эти, или модели, в большинстве случаев не будут совпадать с реально существовавшими в древности нормами отдельных школ (например, тырновской или ресавской). В принципе окажется важным определение инвариантного типа и построение на его основе модели в каждую конкретную эпоху, а затем, для определения исторического процесса, установление преемственности моделей и их отношения к немоделируемому материалу, т. е. памятникам, не фиксирующим языковые факты, которые можно было бы квалифицировать как варианты по отношению к норме. Таким образом, отметим еще раз, не все памятники древнеславянской письменности (русской, сербской, болгарской и др.) войдут в сферу применения древнеславянского литературного языка.

Недостаток конкретных исследований затрудняет построение хотя бы схематической истории древнеславянского литературного языка и его периодизации. Тем не менее такое построение необходимо: древнеславянский язык не оставался неизменным, несмотря на отмеченную выше организующую и нормализующую роль старославянского языка. Расширялся круг письменных памятников, письменность жанрово обогащалась (хотя имелись жанры в южно- и восточнославянских литературах, для которых было менее или мало характерно использование древнеславянского литературного языка); но гораздо большее значение имел тот факт, что в истории древнеславянского литературного языка сменялись хронологически периоды с центростремительными тенденциями и тенденциями центробежными и происходила довольно последовательно смена центров, постепенная с течением времени их миграция с юга на восток. В некоторые периоды, как, например, в XVII в., обнаруживается наличие двух или даже более центров (в указанную эпоху — Вильна, Киев и Москва), ведущее к известной двойственности и параллелизму норм (ср., например, различия в первом и втором издании грамматики Мелетия Смотрицкого). Со сменой центров изменился характер соотношения единого древнеславянского литературного языка с народно-разговор-

ными «субстратами». Естественно, что влияние на развитие древнеславянского литературного языка оказывал тот субстрат, где находился центр. Однако и этот вопрос не может разрешаться прямолинейно, без учета конкретных исторических условий: если для школы патриарха Евтимия характерен отказ от проникавших в литературный язык черт живого болгарского языка (анализизм, некоторые фонетические явления и т. п.), принципиальный консерватизм, то для более поздней эпохи (например, для московской школы) характерно прямое принятие ряда фонетических, морфологических и лексических элементов живого русского языка (так возникла поздняя русская редакция церковнославянского языка).

Центростремительные тенденции выражались, как мы уже отметили, в унификации норм древнеславянского литературного языка (подчеркнем еще раз: они могли быть различными в разные эпохи), которая была связана с деятельностью отдельных книжных школ, оказывавших влияние на письменность почти всего южно- и восточнославянского ареала. Здесь, не считая ранней эпохи Кирилла и Мефодия и эпохи царя Симеона, следует отметить деятельность и авторитет тырновской школы патриарха Евтимия в Болгарии, ресавской школы в Сербии и связанную с ней активность Константина Костенечского и Григория Цамблака, второе южнославянское влияние на Руси и «исправление книжное» митрополита Киприана, энциклопедический труд митрополита Макария, деятельность Пахомия Логофета, Максима Грека и др., начало книгопечатания (несколько центров: Краков, Вильна, Острог; Обод, Белград, Горажде; Москва, Тырговище и др.), наконец, формирование «западнорусской» (ранней украинско-белорусской) школы, деятельность князя Острожского и князя Курбского, создание Киевской академии (митрополит Петр Могила и др.), унифицирующую роль норм грамматики Мелетия Смотрицкого и ее влияние на славянском Востоке и Юге и в конце концов — в известной мере — деятельность проповедников и переводчиков петровского и послепетровского времени в России и влияние их норм на литературный язык Сербии и отчасти Болгарии в XVIII в.

Центробежные устремления носили локальный характер по отношению к единому греко-славянскому миру, если не оказывалось, что те или иные локальные нормы впоследст-

вии, в связи с миграцией центра, становились всеобщими. Они были собственно сербскими, болгарскими, великорусскими, украинскими и т. д. Однако нередко они были локальны и по отношению к отдельному ареалу одной из славянских народностей (например, псковские, новгородские черты). Особенно сильно проявлялись узко локальные тенденции у восточных и южных славян-«иноверцев» (мусульман, протестантов, католиков и др.), ибо отказ от древнеславянского языка знаменовал собой неприятие ряда норм религиозной и общественной жизни и отвечал требованиям «миссионерства». Эти тенденции проявились отчасти, но только отчасти, в новой литературе раскольников, где архаические штампы часто инкрустировались в живую народную речь (Sørensen, 1957), и в полной мере в литературе белорусов-мусульман с арабским письмом (XVI в.), в литературе болгар-протестантов в Семиградье с латинским письмом (XVI в.) и болгар-«павликиян» (католиков) в Болгарии (XVIII в.). Микролокальные потенциально литературные языки белорусов-мусульман и болгар-протестантов и католиков находились полностью вне сферы древнеславянского литературного языка. Что касается литературных языков более широкого локального типа, то они не были свободны от влияния языковой модели древнеславянского литературного языка, и это сказывалось иногда даже не столько в использовании отдельных формальных элементов (фонетического и морфологического характера), сколько в общей структуре и отборе языковых средств (прежде всего лексических) из арсенала народного языка.

4

Обращаясь к вопросам периодизации истории древнеславянского литературного языка, важно подчеркнуть, что вообще при периодизации истории литературного языка следует руководствоваться иными моментами, чем при периодизации истории языка в плане исторической фонетики и грамматики. Здесь прежде всего должен сказаться иной подход к языковому материалу и источникам. Это важно не только в тех случаях, когда некий этнический комплекс, пользовавшийся одним языком, имевший один народно-разговорный «субстрат», как, например, сербы и хорваты, обладал в определенные периоды двумя (или даже более) лите-

ратурными языками. Судьба литературного языка в Сербии в средневековый период была ближе к судьбе болгарского литературного языка (оба, в принципе, пользовались древнеславянским), чем к судьбе хорватского литературного языка, где довольно рано была сужена и позже почти оставлена церковнославянская традиция и развивались очень значительные «областные» литературы со своими литературными языками (далматинская, славонская, кайкавская). Это важно и тогда, когда один народ пользовался одним литературным языком (как, например, болгарский или македонский), который сам возник в раннюю эпоху на основе одного из народных диалектов.

Историк болгарского языка (не литературного!), к примеру, не может пройти мимо памятника XIV в. под названием Троянская притча (из ватиканского списка летописи Манассии). В этом широко известном науке небольшом тексте впервые ярко проявились грамматические черты современного болгарского языка. Текст этот, однако, по своему языку одинок среди памятников XIV в., даже XV в. и начала XVI в. Естественно, что его значение для историка языка столь велико, что периодизация истории болгарского языка во многом строилась и строится отчасти до сих пор на его показаниях. Немалое значение для историка языка имеют также свидетельства Чергедских молитв (памятник XVI в. болгар-протестантов из Семиградья, отражающий народный язык метрополии более ранней поры). Для историка литературного языка, однако, эти памятники не имеют почти никакого значения. Упомянутый список Троянской притчи можно рассматривать в лучшем случае как единичный опыт внедрения разговорного языка в литературный, а вернее было бы его считать образцом литературной малограмотности писца. Наряду с этим одиноким списком существует значительное число списков той же Троянской притчи, довольно последовательно отражающих литературный древнеславянский язык¹⁹.

В эпоху средневековья литературный язык, как правило, отличался от народного языка, от диалектной речи. Исследователь литературного языка, как отмечалось выше, устанавливает после изучения круга памятников инвариантную

¹⁹ См., например, перечень списков Троянской притчи в библиографическом справочнике: Адрианова-Перетц и Покровская, 1940, с. 118–123.

норму для определенной эпохи (синтезирующий процесс, после индуктивного анализа), а затем уже, исходя из нее, производит классификацию всех памятников по признаку их принадлежности к литературной норме (дедуктивный процесс). При этих операциях исключительную роль играет и статистический фактор. Для историка литературного языка, таким образом, основным и необходимым ориентиром является литературная норма. Вопрос о трудностях ее установления для древних периодов не опровергает этой необходимости. Для историка языка, наоборот, максимально удаленный от литературной языковой нормы и иногда даже единичный в этом отношении памятник становится часто центральной вехой при его научных построениях.

Современные исследователи литературных славянских языков, особенно восточнославянских, нередко опираются на схему истории языка (т. е. исторической грамматики и лексикологии) и придают особое значение тем памятникам, которые отклоняются от общей инвариантной нормы литературного языка и более других отражают черты народного «субстрата». Это вызывается в некоторых случаях подсознательным стремлением к модернизации древнего периода истории литературного языка, стремлением усмотреть в нем черты, близкие к современному литературному языку, принять их за основные, характерные для всего процесса развития. При этом понятие литературного языка (а тем самым и памятников этого языка) часто почти беспредельно расширяется, в его сферу включаются даже частные письма (например, новгородские берестяные грамоты), отдельные юридические документы, произведения устного народного творчества и др.²⁰ Между тем категория литературного языка — явление историческое, изменчивое. В древний период литературный язык не был поливалентен (т. е. не обслуживал все области общественной жизни), он был ограничен в своей функциональной сфере и отличен от языка народного «субстрата». Нередки случаи, когда история ли-

²⁰ Едва ли обосновано при построении истории литературного языка обращение к таким источникам, как, например, описание хозяйства замков (описание Киевского, Черкасского, Каневского, Луцкого замков; XVI в.) в курсе истории украинского литературного языка (см. Курс історії, 1958, с. 57–61) или жалобы (жалоба полоцкого мещанина Некраша на цыган; XVI в.) в курсе истории белорусского литературного языка (см. Шахун, 1960, с. 68–69).

тературного языка (особенно некоторые ее хронологические разделы) строится на более периферийных моментах²¹; в то же время из нее легко исключаются канонические тексты, аскетические сочинения, апокрифическая, а иногда и вообще вся переводная литература, оказывавшая в древней Руси и на славянском Юге огромное влияние на судьбы литературного процесса и развития литературного языка²².

²¹ Едва ли можно получить достаточно достоверную картину истории бытовавшего на Руси литературного языка старшего периода по четырем отдельно взятым памятникам (Слово о полку Игореве, Русская Правда, Моление Даниила Заточника и Поучение Владимира Мономаха), из коих первый известен нам по единственному и, видимо, позднему списку (по предположению ряда исследователей, XVI в.), второй — юридический кодекс, отражающий письменно-деловой язык, а два последних — отдельные памятники, дошедшие до нас также в списках XV, XVI вв. и более позднего времени, притом обычно не самостоятельно, а как компоненты летописей и сборников (при их изучении следовало бы обратить внимание на язык летописей и сборников в целом). На это справедливо указывал В. В. Виноградов: «Стилистическая структура и функциональный объем литературного языка исторически изменяются. Литературный язык в собственном смысле этого слова даже по отношению к древнерусской эпохе нельзя смешивать и отождествлять с «письменным языком» или с «письменно-деловым языком», т. е. с письменно-деловой речью, как это часто делается (ср. ссылки на «литературный язык» «Русской правды», новгородских берестяных грамот и т. п.). Для того, чтобы убедиться в привычности отождествления понятий «литературный язык» и «письменный язык», в чрезвычайной и необоснованной широте объема понятия «литературный язык» применительно к древнерусской эпохе, достаточно привести несколько цитат из общезвестного труда С. П. Обнорского «Очерки по истории русского литературного языка старшего периода». Здесь и «памятники церковно-религиозного содержания», и творения Владимира Мономаха, и «Слово о полку Игореве», и «Русская правда» в одинаковой мере признаются «источниками русского литературного языка»» (Виноградов, 1958, с. 78).

²² Приведем свидетельство А. И. Соболевского: «Переводная литература в древней Руси имела гораздо большее значение, чем оригинальная. Она была несравненно богаче, чем оригинальная. В первые века существования русской письменности число переводов, сделанных южными славянами с греческого на церковнославянский язык и перешедших от южных славян к нам, было довольно значительно. Можно думать, что в это время русские уже могли читать почти все те южнославянские переводы IX—X веков, которые мы знаем по дошедшим до нас спискам. Между тем число русских оригинальных литературных произведений было совсем ничтожно. В XIV—XV веках литературное богатство Московской Руси было освежено притоком новых южнославянских переводов с греческого на церковнославянский язык, и процентное от-

Невнимание к переводной литературе, видимо, объяснялось ее источником, но ведь язык этой литературы был не греческим, не латинским или древнееврейским, а своим — древнеславянским. Кроме того, литературная проблема «своего и чужого» в эпоху славянского средневековья и несколько позже воспринималась отнюдь не в том плане, как она начала восприниматься в новое время и воспринимается сейчас. В подходе к этой проблеме у некоторых историков литературного языка снова, надо полагать, сказывается модернизация. Водораздел шел не столько по национальной линии (вернее, народно-племенной), сколько по культурно-религиозной. Историк литературного языка должен иметь представление о древних славянских литературах в целом, об их жанровом разнообразии при общем, в принципе синкретическом, характере, об удельном весе и авторитете произведений отдельных жанров, об их общественном функционировании и роли в истории литературы и письменности, наконец, о их роли в развитии литературного языка и его стилей. В связи с этим не следует пренебрегать статистическими данными о памятниках, бытовавших, например, в древней Руси. Не отводя в данном случае статистике решающей роли и сознавая, что сохранившееся наследство не отражает полно и достаточно точно древнее состояние, отметим, что все же данные численного соотношения памятников позволяют сделать важные выводы. Описание рукописей общественных книгохранилищ и бывших частных собраний дает ценный материал, но более убедительными оказываются материалы о составе древних (например, монастырских и частных) библиотек. В них можно отметить решительное преобладание канонической, аскетической, агиографической и им подобной литературы. Эта литература, большей частью переводная, была общей для восточных и части южных (православных) славян, а также для валахов и молдаван. На образцах этой же литературы и прежде всего на псалтыри зиждилась средневековая система обучения грамоте и литературному языку.

Лишь в процентно небольшой части, главным образом в более позднюю эпоху, можно отметить в русской, а также в

ношение между числом переводных, с одной стороны, и числом оригинальных русских произведений, с другой, значительно повысилось в пользу переводной литературы» (Соболевский, 1903, с. V).

сербской и болгарской литературе наличие произведений, не бытовавших у других славянских народов «греко-славянского мира». К числу почти не бытовавших за пределами узколокального ареала следует отнести памятники деловой речи восточных и южных славян²³, возникавшие в целом ряде случаев также по различным византийским образцам (Станојевић, 1933). Однако, несмотря на значительное влияние на язык этих памятников древнеславянского литературного языка, едва ли возможно построение для них единой языковой модели; изучение их языка должно вестись вне сферы древнеславянского литературного языка, отдельно для каждого языка — сербского, болгарского, русского, украинского и т. д. Роль языка деловой письменности в период, предшествующий формированию национальных литературных языков, у русских (вернее, у восточных славян), с одной стороны, и у сербов и болгар — с другой, была различна. Если на славянском Востоке, предварительно оформившись, он постепенно начинал проникать в литературный язык, то на славянском Юге из-за отсутствия государственности в этот период деловая письменность играла ничтожную роль, что позволяет даже говорить о ее деградации по сравнению с средневековым периодом. В эпоху XVII в. в России народно-разговорная «субстратная» речь проникает в литературный древнеславянский язык главным образом посредством деловой письменности — «приказного языка», а в сербский и болгарский язык — непосредственно. В XVIII в., во второй его половине, среднеделовой стиль русского языка оказал сильное влияние на сербский литературный язык, а отчасти и на болгарский.

5

Поиски диалектной основы древнеславянского литературного языка в целом или некоторых его компонентов в отдельные эпохи правомерны для исследователя исторической

²³ По меткому замечанию Ф. П. Филина, «...нужно иметь в виду, что грамоты, договоры, письма и т. п., как правило, не предназначались для ознакомления с ними посторонних лиц. Деловые документы не предназначались "для чтения их широкой публикой", они не были литературой, поэтому их воздействие на нормы складывавшегося и развивавшегося литературного языка было ограниченным» (ВЯ. 1960, № 3, с. 42).

грамматики и лексикологии того или иного языка, но для исследователя литературного языка вопрос территориального распространения слова или формы в диалектах, т. е. о их первоисточнике, имеет часто второстепенное значение. Войдя в систему речевых и стилистических средств литературного языка, эти слова и формы должны уже рассматриваться как компоненты его системы, и наличие или отсутствие отдельного слова в том или ином локальном «субстрате», понятность или неудобопонятность его для читателя, мало причастны к «премудрости книжной», не могут быть определяющими и квалифицирующими критериями, если не ставить специальной проблемы о соотношении древнеславянского литературного языка и языка разговорного.

Даже для старославянского языка поиски диалектных истоков относятся больше к области внешелингвистических исследований и могут не приниматься во внимание при исследовании его с «внутренней» стороны, т. е. при его рассмотрении как языковой системы, выполняющей определенную функцию литературного языка. Ответ на вопрос «откуда?» далеко не всегда дает возможность разрешения вопроса, как используется тот или иной элемент (или ряд элементов) и в каком соотношении он (или они) находится к элементам внутри системы (или просто оказывается вне ее). Более закономерен вопрос, функционирует ли этот элемент или не функционирует, вошел ли он в систему или является чужеродным, иначе — соответствует ли он норме или нет. Известны, конечно, и попытки создания новой нормы (например, язык украинского Пересопницкого евангелия), но тогда прежде всего перестраивается система, а кроме того важно, является ли эта норма общей для всего восточно- и южнославянского ареала, или для его части, или, наконец, она оказывается узколокальной.

В отличие от литературной средневековой латыни в Европе или от арабского литературного языка на Востоке, распространенных на территориях, охватывавших народно-разговорные языки различных семей, старославянский язык, возникший на базе одного из южнославянских диалектов, будучи международным языком славянства, обслуживал, исключая валахов и молдаван, только литературу народов, говорящих на близких к нему наречиях одной языковой семьи, и потому сравнительно легко воспринимал черты других славянских диалектов. Этот процесс усиливался в тече-

ние средне- и позднеславянского периода и был тесно связан с фактом миграции центров. На почве народных «субстратов» возникали новые слова и формы, которые условно можно обозначить как «славяно-русизмы», «славяно-болгаризмы», «славяно-сербизмы». Они также (правда, не все — и здесь нужно еще провести специальные исследования) входили в структуру общего древнеславянского литературного языка. Современники, пользуясь ими как компонентами древнеславянского литературного языка, часто осознавали их диалектный первоисточник²⁴. Интернациональный характер древнеславянского литературного языка усугублялся также обилием грецизмов (в синтаксисе, во фразеологии — кальки, в лексике). При этом не следует полагать, что греческое влияние было однородным и типичным лишь для первого периода истории древнеславянского литературного языка, — оно было характерно почти для всех эпох, в том числе и сравнительно поздних (ср., например, грецизмы в грамматике Мелетия Смотрицкого и возражения Юрия Крижанича).

В различные эпохи возникали сложные соотношения элементов, унаследованных от старославянской письменности, с элементами, проникавшими из того или иного народно-разговорного «субстрата», и, наконец, с элементами иноязычными (неславянскими), в первую очередь греческими, которые также были неоднородны по своему составу и характеру в разные периоды истории древнеславянского литературного языка.

Несмотря на трудность поставленной задачи, исследователь все же может определить нормы древнеславянского литературного языка в различные эпохи, построить при ряде синхронных срезов серию моделей²⁵, определяя при этом со-

²⁴ Крайне любопытна филологическая часть прения Лаврентия Зизания с игуменом Ильею и справщиком Григорием. Приводим фрагмент из нее: «И как игумен Илья спросил у Лаврентия про тѣ имена: для чего он их переменял, а написал за лѣпти хлѣбѣ, а за купину пень? И Лавренти, розсмеявся, молвил: Я де купину купиною пишу, а не пнем, а лепти лѣптами, а не хлѣбами; вы де вѣдаете, что купина. И мы ему рекли: вѣдаем сербским языком купина, а по рускии кустъ. И потом учал говорити, чтобы де я толко вѣдал, и я бы де свою книгу подал всю на словенском языке государю святейшему патриарху, а то де много перевотчик не так поставил» (см. Прение, 1859, с. 88).

²⁵ Отметим важное, с нашей точки зрения, методологическое положение: модель не может быть правильной или неправильной, она может быть

став памятников, входящих в сферу древнеславянского литературного языка и выходящих за его пределы. При этом представляется необходимым особенно четкое и строгое установление границ древнеславянского литературного языка, понимаемого нами как единый язык, а не конгломерат различных литературных языков, хотя естественно, что здесь можно обнаружить ряд переходных моментов.

Отметим, что построение истории древнеславянского литературного языка не отрицает важности исследования истории отдельных славянских литературных языков, а скорее наоборот — оно является необходимым условием создания последних, так как, как уже отмечалось, без учета коррелятивных отношений «локальных» древних славянских литературных языков (древнерусского, древнесербского, древнеболгарского, затем украинского и белорусского старшей эпохи) с древнеславянским литературным языком изучение их крайне затруднительно. Или, пользуясь терминологией В. В. Виноградова, «народно-литературный тип» из-за крайней неустойчивости его норм, а может быть, и отсутствия их в древнейшую эпоху трудно поддается исследованию без соотношения с моделью (нормой) «книжнославянского типа».

История древнеславянского литературного языка может быть представлена с опущением всех деталей в следующей весьма предварительной периодизации:

I период: IX—X, отчасти XI вв. — ранний древнеславянский литературный язык — старославянский язык. Эпицентр: Македония, Восточная Болгария.

II период: XII—XVI вв. — средний древнеславянский литературный язык:

а) XII—XIII вв. — известная децентрализация;

б) XIV—XV вв. — централизация. Центры: тырновская школа, ресавская школа. «Второе южнославянское влияние» на Русь;

в) конец XV—XVI вв. — смещение центров. Центры: Западная Русь, Москва. Начало децентрализации. Вторая половина XVI в. — выход из сферы древнеславянского литературного языка части канонической и церковно-проповедни-

удачной или неудачной, более изоморфной по отношению к моделируемому или менее изоморфной. Полного соотношения материала и модели, видимо, добиться нельзя.

ческой литературы в отдельных локальных ареалах (Пересопницкое евангелие, дамаскины).

III период: XVII—XVIII вв. — поздний древнеславянский литературный язык:

а) XVII в. — децентрализация. Параллельное развитие «ареальных» и «локальных» литературных языков вне сферы древнеславянского литературного языка. Центры: Киев, Вильна, Москва;

б) XVIII в. — последняя централизация под влиянием древнеславянского литературного языка позднего русского типа. Центр: Москва. Наряду с этим, особенно во второй половине XVIII в., зарождение национальных литературных славянских языков.

* * *

Период так называемого позднего древнеславянского литературного языка — эпоха XVII—XVIII вв. — характеризуется сложными процессами, подготавливающими почву для образования национальных литературных славянских языков. Начинается «кризис» единого древнеславянского литературного языка, воспринявшего значительное число элементов русского народно-разговорного «субстрата», сужается его функциональная сфера, однако в XVIII в. его унифицирующая роль по отношению к сербскому и болгарскому локальному ареалу еще не утрачивается. Значительно усложняется картина соотношения древнеславянского литературного языка с «деловой речью», с латинскими и западноевропейскими элементами, с разными «стилями» в отдельных славянских литературных языках. Все эти вопросы должны быть рассмотрены отдельно, однако необходимой предпосылкой для этого являются изложенные выше положения.

Древнеславянский литературный язык в XII—XIV вв.

(его функции и специфика)

Надэтнический, или межэтнический, древнеславянский литературный язык к началу XII в. уже прошел более чем двухвековой путь развития. За это время он не только расширил в славянском мире географическую сферу функционирования, но и утратил почти полностью свои позиции в среде западных славян и в северо-западной части территории, заселенной южными славянами, где стал господствовать латинский надэтнический язык. Моравский центр, самый первый центр славянской письменности, литературного языка и древнеславянской литературы, к XII в. сошел на нет, передав свои традиции и фонд славянских сакральных и культурных текстов южнославянским и отчасти восточнославянским скрипториям и книжным центрам. Исчезло славянское богослужение в Польше, никогда, видимо, не имевшее большого размаха. Это же можно сказать и о предполагаемом довольно раннем бытовании кирилло-мефодиевской традиции в словенских землях, отчасти в землях севернохорватских, а также о Паннонии, в которой славянский этнос был почти вытеснен мадьярским. Зато с конца X в. к славянскому «свету разумения книжного» приобщился почти весь массив восточного славянства, приобщилась древняя Русь, начавшая в скором времени играть значительную роль в развитии древнеславянской книжности и древнеславянского литературного языка. Весь X и XI века славянское книжное слово, преимущественно сакральное слово, бурно развивалось на славянском юге, куда учениками Кирилла и Мефодия и их последователями была перенесена кирилло-мефодиевская традиция и где значительный расцвет пережили две школы — охридская и преславская.

К началу XII в. четко выявились разные локальные типы, различные редакции древнеславянского литературного языка: древнерусская редакция, для которой характерно sporadическое написание оу (у) и ю вместо ж и љ (юса боль-

шого и юса большого йотированного), ж вместо жд (из *dj), ър вместо ръ и др.¹, староболгарская редакция с типичной для нее несистематичной меной юсов (т. е. с написанием в определенных позициях юса малого ѡ вместо юса большого ж и наоборот), древнесербская редакция с встречающейся в ней заменой ж на оу (у), ѡ на ѣ, с употреблением только одного полугласного (обычно ѡ вместо ѣ и ѡ), со смешением ы и и и др., древнехорватская глаголическая, отражавшая почти те же, что и в сербской редакции, языковые черты, но имевшая в качестве отличительной особенности своего времени специфическую глаголическую графику. Следует отметить, что в границах упомянутых редакций или наряду с ними существовали еще и другие редакции, такие, как древнегалицко-русская или древнегалицко-волынская (с отличительной особенностью написания жч вместо жд из *zdj, *zgj), древнесевернорусская (с отражением цоканья), македонская (с рефлексам ѣ и ѡ в виде о и ѣ, как в русской редакции, и другими чертами), позже, судя по памятникам XIV в., старобоснийская, очень близкая к сербской и хорватской (без юсов, со смешением ѣ и и, с отсутствием ѡ и др.) и славяно-влахо-молдавская, вероятно, начиная с XIII—XIV вв.² При желании число отдельных локальных групп памятников можно было бы умножить, идя по пути выделения книжно-языковых диалектов, опираясь на памятники не только традиционно сакрального содержания и формы.

¹ По свидетельству Н. Н. Дурново, «церковнославянский язык русской письменности развился из так называемого старославянского. Когда русские впервые с ним познакомились, т. е. в конце X в., он не был вполне единым всюду, где им пользовались: в старославянском языке этого времени можно различать по крайней мере два литературных диалекта, именно: а) македонский, сохранивший до известной степени первоначальный кирилло-мефодиевский облик и б) восточноболгарский, представлявший известные изменения первоначального состояния, восходящие ко времени царя Симеона болгарского» (Дурново, 1963, с. 33).

² Перечень памятников, составляющих основной корпус текстов той или иной редакции, см. SJSS, сеѣ. 2; СССР, 1986; Речник, 1978, а также общие недифференцированные описания, где тексты, относящиеся к разным древнеславянским изводам, не выделены особо (Сводный каталог, 1984; Богдановић, 1982; Цонев, I, с. 233–235; Štefanić, 1969–1970; Nazor, 1978). См. также исследования: Мареш, 1961; Hamm, 1963; Назор, 1966; Купа, 1965; Стипчевић, 1972; Джамо, Стойкович и др., 1963.

Так, например, обращение к берестяным грамотам позволяет выделить новгородский (цоканье и чоканье, жг вместо жд, и вместо ѣ и др.) и псковский (черты, близкие к новгородским, а также смешение з—ж и с—ш) диалекты достаточно четко.

Нельзя упускать из виду, что многие из указанных языковых черт, отличающих разные изводы (а также «книжные диалекты»), проявлялись спорадически в одних списках в большей, в других — в меньшей мере, и лишь со временем отдельные локальные отклонения от старославянского орфографического (фонетического), морфологического и лексического канонов стали выступать последовательно, превращаясь постепенно в норму. Кроме того, древнеславянские (церковнославянские) изводы не были отграничены друг от друга; нередко происходило взаимодействие изводов, которое получило отражение во многих памятниках, демонстрирующих смешанный тип³ или относящихся к той или иной смешанной редакции, что отмечалось еще А. И. Соболевским и его предшественниками. Наконец, некоторые изводы по своим языковым показателям (в том числе и отличающим их от старославянского канона) были настолько близки друг к другу, что отдельные памятники могут быть в принципе причислены сразу к двум изводам. Такое положение типично для южнославянской и восточнославянской книжно-языковой ситуации не только в рассматриваемый период, но и в период последующий и отчасти предшествующий (Соболевский, 1906, с. 80). Важно напомнить, что понятие извода (редакции) возникло при изучении определенного корпуса текстов, которые были сакральными и функционировали в качестве таковых у славян во всем обширном ареале, где было принято богослужение на славянском языке⁴.

В рассматриваемый период старейший тип древнеславянского литературного языка — моравский, довольно четко отраженный в самом раннем памятнике старославянского языка — Киевских листках (X в.), в чешских, моравских и

³ К примеру, в Реймском евангелии (XI в.) в кириллической части рукописи обнаруживается помимо русского пласта еще и сербский пласт, хотя в целом всю кириллическую часть можно и следует признать древнеславянским языковым памятником (см. Рот-Жебровский, 1985).

⁴ К этому корпусу прежде всего относятся тексты евангелия, псалтыри, апостола, триоди, служебника и требника, минеи, часослова, октоиха, паремейника.

соседних землях уже не функционировал, так как ученики Кирилла и Мефодия были изгнаны из Моравии. Год 1097-й, год изгнания монахов, придерживающихся славянского богослужения, из Сазавского монастыря, можно считать завершающим первый «моравский» период в западнославянских землях. Эпизод с приглашением хорватов-глаголитов Карлом IV в Эммаусский монастырь в 1347 г. для возобновления славянского богослужения свидетельствует о том, что в какой-то мере были живы старые традиции и память о них в XIII—XIV вв., однако он не привел в XIV в. к возрождению кирилло-мефодиевской ситуации и тем более к вытеснению латинского языка из церкви. Тем не менее нельзя забывать, что моравский культурный и филологический фон, моравские черты в старославянских и древнеславянских текстах различных изводов были значительны, о чем свидетельствуют не только моравизмы в старославянских текстах не чисто моравского происхождения (Клоцев сборник, Саввина книга и др.), но и старославянские моравизмы в кальках с греческого, и старославянские латинизмы⁵, и другие показатели. Многочисленные моравизмы сохранились в древнеславянском языке XII—XIV вв. в разных изводах, а памятники моравского периода и чешской редакции древнеславянского языка бытовали в южнославянской, особенно хорватской, и не в меньшей мере в древнерусской среде. Достаточно указать на хорватские списки (конца XIV—XV вв.) и русский список (XVI в.) оригинальной славянской (чешской) легенды о св. Вацлаве, на такой переводной памятник, как «Беседы на евангелие папы Григория Великого (Двоеслова)» (русские списки XV—XVI вв.), или на древнейший славянский юридический текст «Законъ судный людемъ». Поздние списки упомянутых и других памятников того же порядка не свидетельствуют о их позднем происхождении, все они восходят к древней традиции (Соболевский, 1900; 1910; Никольский, 1933; ркп.; Львов, 1968; Weingart, 1949; *Staroslověnské legendy*, 1976).

Единство древнеславянского литературного языка поддерживалось единством древнеславянской литературы, кото-

⁵ Например, Н. Молнар в своей монографии указывает на двадцать гречизмов паннонско-моравского происхождения в таких списках, как Мариинское, Зографское, Ассеманиево, Остромирово евангелия и Саввина книга (Molnár, 1985).

рая в интересующий нас период функционировала в культурном ареале *Slavia Orthodoxa*, т. е. в среде православных южных и восточных славян, а в ареале *Slavia Latina*, т. е. славянской католической среде, только у хорватов-глаголитов. Эта надэтническая общеславянская литература была по преимуществу сакральной, обслуживающей конфессиональную, церковную сферу, что было характерно для других надэтнических литератур (и языков) того времени. В Западной и Центральной Европе в той же функции выступала латынь, сфера функционирования которой была шире, чем у древнеславянского (церковнославянского) языка.

Древняя общеславянская сакральная литература, так же как и добрая часть светской литературы, была в основном переводной с греческого. Поэтому греческий язык служил для древнеславянского идеальной моделью, по которой формировалась стилистика, поэтика, частично фразеология, лексика и семантика старославянского языка. Под значительным греческим влиянием была и грамматика старославянского (древнеславянского) языка, прежде всего ее синтаксическая часть. В ареале *Slavia Orthodoxa* авторитет греческого языка был очень высок и в некоторых книжных и духовных славянских центрах, и в особенности на Афоне и в Константинополе, где славянские писцы и переводчики жили в условиях греческо-славянского литературно-книжного и разговорного двуязычия. Такое двуязычие нередко осуществлялось и в богослужении. Фонд произведений общей древнеславянской литературы как духовного, так и светского характера пополнялся главным образом за счет новых переводов с греческого. По греческим текстам сверялись и исправлялись и старые переводы. Такое положение было типичным и для периода XII—XIV вв., хотя временное византийское владычество на юге и татаро-монгольское на востоке славянства осложняли в этот период межславянские (а на Руси и греко-славянские) контакты и приостанавливали или сдерживали развитие книжности в славянской среде. Именно к концу этой эпохи помимо расширения корпуса переводных конфессиональных текстов (службы, проложные жития, творения святых отцов и др.) увеличилось и число переводных текстов не чисто конфессионального (кормчи, номоканоны, апокрифы) и неконфессионального (хроники, повести, поучения, природоведческие сочинения) характера (Соболевский, 1894; 1903).

Единая древнеславянская литература обладала и рядом своих оригинальных (непереводных) текстов, к которым относятся Жития Кирилла и Мефодия (часть из них, видимо, была написана еще в чешско-моравских землях), «Слова» Иоанна Экзарха, Учительное евангелие Константина Болгарского, Житие св. Вацлава Чешского, Житие св. Феодосия Печерского и др. Эти произведения, как и многие другие, нами не упомянутые, следует считать уже не только и не столько общеславянскими, сколько принадлежащими отдельным славянским литературам — древнеболгарской, древнечешской, древнерусской. Между отдельными славянскими литературами и единой славянской литературой в древности не существовало резкой границы. Размытости или отсутствию границы способствовало единство языка, единство стилистических (поэтических) приемов и близость, а подчас и полная идентичность тематики. Только тексты с достаточно яркой этнической окраской или с территориально ограниченным, локальным распространением, а также с ярко выраженными локальными языковыми особенностями, часто близкими к разговорной или диалектной речи, оказывались, безусловно, вне единой общеславянской литературы⁶.

Единую древнеславянскую литературу Д. С. Лихачев назвал «литературой-посредницей», указывая на ее «удивительную цельность и, в известной мере, полноту», на ее «близость к византийской культуре, несмотря на отклонения в отборе и наличие отчетливо выраженного местного слоя»⁷. Такое определение и название справедливо, но эту

⁶ О единой древнеславянской литературе см. Picchio, 1973; 1967.

⁷ Приведем ценные наблюдения Д. С. Лихачева, касающиеся объема и роли единой древнеславянской литературы в духовной и культурной жизни славян: «В целом литература-посредница, состоявшая из сочинений переводных, компилятивных и оригинальных, отличалась удивительной цельностью и, в известной мере, полнотой»; «Насколько велик был общий слой памятников в литературах южных и восточных славян, показывает сравнительный анализ состава письменных памятников двух длительно и традиционно слагавшихся библиотек: Рильского монастыря — для южных славян и Соловецкого монастыря — для восточных. В библиотеке Рильского монастыря в рукописях древнее XVII в. до 90% памятников общи всем славянским литературам. В библиотеке Соловецкого монастыря тот же слой памятников в тех же хронологических пределах занимает в книжных собраниях несколько меньшее место — до 75%» (Лихачев, 1968, с. 18).

же литературу можно, несомненно, назвать также «литературой-основой» и «литературой-источником» для древних литератур культурного ареала *Slavia Orthodoxa*, так как многие литературы этого ареала брали от нее начало, отпочковывались от нее, а затем развивались параллельно с литературой-основой. Во всяком случае, для периода XII–XIV вв. эта ситуация была реальной. Развитию этнически обособленных национальных («национальных» во французском значении этого слова, т. е. еще до эпохи наций) литератур способствовало развитие отдельных славянских государств и развитие этнического самосознания, хотя, с другой стороны, как известно, развитие «своей» литературы и «своего» языка способствовало развитию «своего», отдельного самосознания. Впрочем, это «свое» самосознание было ступенчатым, как и в предшествующий период X–XI вв., но об этом будет речь несколько ниже. Сейчас существенно отметить то, что единая древнеславянская литература обладала как бы неполной структурой жанров, а обслуживающий ее древнеславянский литературный язык — неполной функциональной нагрузкой. В каждой конкретной славянской этнической среде, в отдельном славянском государстве или в отдельном крупном географическом исторически сложившемся регионе (Русь, Сербия, Болгария) мира *Slavia Orthodoxa* общая структура литературы, литературных жанров определялась сочетанием текстов и жанров общей древнеславянской литературы — «литературы-основы», надэтнической славянской литературы, и собственной, этнически достаточно ярко окрашенной литературы. Эти две тесно связанные друг с другом литературы составляли, по сути дела, в каждом конкретном случае почти неразрывный литературный симбиоз, образовывали собой одну систему жанров, одну лестницу или пирамиду, в которой от верху до низу шли ступени или ярусы по принципу от более абстрактного содержания к конкретному, от отвлеченного, духовного к осязаемому и земному, от конфессионального к светскому. Если представить себе эту «лестницу жанров» несколько условно и упрощенно, таким образом, что на отдельных ступенях (ярусах) будет объединено, по сути дела, несколько жанров, то она будет выглядеть следующим образом (при этом вертикальную последовательность переносим в горизонтальную): 1. Конфессионально-литургическая литература; 2. Конфессионально-гимнографическая литература; 3. Агио-

графическая литература; 4. Конфессионально-учительная литература и патристика; 5. Панегирическая литература; 6. Конфессионально-юридическая литература; 7. Апокрифическая литература; 8. Историческая литература; 9. Повествовательная литература; 10. Паломническая литература; 11. Природоведческая и философско-филологическая литература; 12. Светско-юридическая литература; 13. Деловая письменность; 14. Бытовая письменность (Толстой, 1982; см. наст. изд., с. 200–211).

Нетрудно заметить, что первые семь ступеней (ярусов) будут относиться преимущественно к надэтнической древнеславянской литературе, последующие пять к литературе отдельного этноса, отдельных славянских народов. Все же надо отметить, что рубрики вторая и третья, отведенные для гимнографических и агиографических текстов, включают в себя и тексты этнически довольно ярко окрашенные и распространенные не всегда повсеместно, т. е. не во всем ареале. Здесь имеются в виду службы отдельным славянским святым и их жития. Примером может служить сербская традиция, сербская агиографическая и гимнографическая школы, сыгравшие очень большую роль в развитии древнесербской литературы, создавшие значительное число оригинальных текстов, из коих в литературный и богослужебный обиход других славянских зон (этносов) вошли далеко не все тексты. Рубрика седьмая, отведенная для апокрифической литературы, с одной стороны, тяготеет к предшествующим рубрикам (ветхозаветные и новозаветные апокрифы), но, с другой стороны, и к последующим рубрикам, особенно к рубрике девятой, включающей в себя повествовательную литературу; к тому же к апокрифам обычно относят и гадательные книги (лунники, трепетники и т. п.), которые близки к бытовой письменности, охватывающей заговоры, лечебники, травники и т. п. Таким образом, в культурном мире *Slavia Orthodoxa* в древности общеславянская литература была тесно связана, переплетена с отдельными славянскими литературами, и в каждом крупном регионе обе литературы — общая и конкретная — находились как бы в дополнительном распределении в пределах цельной, совокупной системы жанров. В общем, разграничение литератур в какой-то мере условно, и оно может быть проведено по жанрам, а иногда и внутри жанра (в гимнографии, агиографии). Это разграничение чаще всего опирается на показатели язы-

ка и элементы содержания, имеющие достаточно четкую локально-этническую окраску.

В таких же соотношениях находились и древнеславянский язык и конкретные литературные языки — древнерусский, древнесербский, древнеболгарский и др. Древнеславянский литературный язык в XII—XIV вв. обслуживал те жанры, которые относились к единой древнеславянской литературе; конкретный славянский язык, как правило, остальные жанры. Возникла ситуация своеобразного двуязычия или диглоссии, однако диглоссии и двуязычия неярко выраженных, так как языки эти были родственны, близкородственны, очень близки друг к другу и обращены навстречу друг другу. Поэтому возникали различные виды смешения этих языков, переходные формы этих литературных языков, возникала не только контаминация редакций (изводов) отдельных языков, о которой говорилось выше, но и контаминация внутри одной редакции. Последнее осуществлялось по-разному, в зависимости от большей или меньшей приближенности языка текста к народно-разговорной речи, к языку с яркой этнической окраской. Специфическая языковая норма вырабатывалась в юридических текстах и документах, что побуждало многих лингвистов рассматривать соотношение языка этих текстов с литературным языком (или литературными языками) особо (Виноградов, 1978, с. 272–275; Unbegaun, 1969).

Всю эту литературно-языковую ситуацию можно назвать гетерогенным двуязычием или гетерогенной диглоссией, хотя, если делать различие между двуязычием и диглоссией, которое принято в наше время рядом авторитетных славистов, надо будет признать, что в разное время на разных территориях в XII—XIV вв. ситуация склонялась то ближе к двуязычию, то ближе к диглоссии, но, по сути дела, ни того ни другого в чистом виде в ареале *Slavia Orthodoxa* не было (Толстой, 1963; см. наст. изд., с. 102–147). Иное положение наблюдалось в тех славянских зонах, где надэтническим языком была латынь.

В ареале *Slavia Latina* господствовало гетерогенное двуязычие, которое не допускало средних, переходных и даже макаронических форм языка, так как латинский и славянские языки — не близкородственные (в данном случае общность индоевропейского происхождения едва ли может приниматься во внимание). Кроме того, латинский язык зани-

мал все сферы, все «языковое пространство» в пределах жанровой лестницы, начиная с языка богослужения и кончая языком юридическим и хозяйственно-бытовым (в медицине, цеховых документах, в педагогической практике, в инвентаризации имущества и исчислении доходов и расходов). Славянские литературные языки мира *Slavia Latina*, порвавшие с кирилло-мефодиевской традицией или почти не воспринявшие ее, языки древнечешский, древнепольский, лужицкие начали свое развитие позднее литературных языков мира *Slavia Orthodoxa*, вероятно, потому, что не имели опоры в едином общеславянском языке. Они искали опоры друг в друге, как это происходило в XIV—XVI вв. и особенно позднее, в XVIII—XIX вв. Известно, что интенсивное развитие польского литературного языка сопровождалось в XV—XVI вв. опорой на чешский литературный язык, широким проникновением богемизмов в польскую книжную речь. Европейская латынь позднего средневековья объединяла в Европе почти все романские (кроме восточных романцев) и почти все германские земли, а также мадьяр, западных славян и часть славян южных, а именно словенцев и хорватов, включенных также в пределы латинского культурного ареала. Часть хорватов, преимущественно далматинских, не всегда носивших самоназвание «хорват», представляла собой уникальный феномен одновременного вхождения и в ареал *Slavia Latina*, и в ареал *Slavia Orthodoxa*, притом в последнем ареале они были достаточно автономны и значительно обособлены, не только из-за своей почти старообрядческой приверженности к глаголице, которая у них все же эволюционировала, но из-за своей отдаленности и некоторой изолированности от основных славянских культурных (книжных) центров и от центров византийской образованности (Афон, Константинополь). Причастность к двум культурным ареалам, сохранение древнеславянского языка в качестве языка литературного и даже богослужбного при полном или достаточном знании латинской культуры и текстов всех видов значительно обогащала хорватскую глаголическую среду и создавала отчасти те необходимые предпосылки, которые потом, два века спустя, привели к расцвету славянского ренессанса на Адриатике.

Византийская образованность была известна и доступна славянским книжникам, принадлежащим к греко-славянскому культурному миру. Они воспринимали ее и нередко,

по меткому определению Д. С. Лихачева, производили трансплантацию ее элементов (текстов, поэтических приемов, идейных основ) на славянскую почву. Все это создавало условия для возникновения «славянской рецензии (редакции) византийской культуры» (Лихачев, 1968, с. 18).

Славянская книжная культура, берущая свое начало от кирилло-мефодиевской миссии, от деятельности Кирилла и Мефодия и его учеников в Моравии, распространилась постепенно на славянский Юг, а затем и на славянский Восток. Из моравского центра, отсветы которого окончательно угасли в Чехии в конце XI в., славянская письменность мигрировала еще при жизни солунских братьев в Паннонию к Блатному озеру (Балатон), откуда она перешла в приморские хорватские земли, а после смерти Мефодия из Моравии проникла и в восточную часть Балканского полуострова, где в X в. возвысились два крупных книжных центра — в Охриде и в Преславе. Несколько позже на южнославянской территории появились сербские локальные книжные центры в Зете, в Рашке, в Боснии. Славянская письменность на Руси в конце X в. была воспринята, судя по ряду источников, древнейших русских памятников и памятников русского извода древнеславянского литературного языка, по всей вероятности, не только из преславского и охридского центров, но также из Моравии или из скрипториев, продолжавших моравскую традицию. Впоследствии Русь поддерживала контакты почти со всеми активными центрами славянской письменности, и уже в XII—XIII вв. обнаруживаются русские языковые черты в целом ряде южнославянских книжных текстов традиционного содержания (Сперанский, 1896; 1960; Ангелов, 1955; Мошин, 1963; Недельковић, 1977; Конески, 1983; Vyskočil, 1980).

Во второй половине XIV в. в Болгарии в книжной среде, связанной с деятельностью тырновского патриарха Евтимия, производилась книжная реформа, архаизировавшая древнеславянский литературный язык. Тырновская школа повлияла почти на всю древнеславянскую письменность того времени и была связана с так называемым «вторым южнославянским влиянием» на Руси, в котором значительную роль играли и сербские книжники. Однако этот процесс не ограничивался только внешней стороной — передачей и восприятием на Руси определенного фонда рукописных книг и текстов. Гораздо существеннее внутренняя сторона этого про-

цесса: сознательно и планомерно осуществленный подъем письменности и книжной культуры на Руси, когда на основе ранее установившихся архаических моделей воссоздавался или преобразовывался значительный, в том числе и дополнительный, корпус памятников и разрабатывался новый кодекс книжной стилистики и книжных поэтических средств (Worth, 1983). Следует отметить, что и до этой эпохи, т. е. до конца XIV в., обмен текстами, труд над новыми переводами с греческого и следование старым образцам и моделям, несмотря на неблагоприятные внешнеполитические условия (византийские завоевания на Балканах, татаро-монгольское нашествие на Руси), в течение почти трехвекового периода (XII—XIV вв.) продолжали практиковаться и существовать, что и поддерживало единство древнеславянского языка в ареале *Slavia Orthodoxa* и в хорватско-глаголическом анклавe, а также единство древнеславянской литературы, которую этот язык обслуживал.

Своего рода «ярусная система» литературно-языковых и чисто языковых отношений, построенная по принципу «надэтнический общеславянский литературный язык — литературный язык славянской народности — диалектная (племенная) устная речь», в значительной степени изоморфна «ярусной системе» этнического самосознания в рассматриваемый период, которая также, на наш взгляд, состояла из нескольких компонентов, из коих общим, объединяющим в широкий ареал были, во-первых, осознание причастности к конфессиональному (православному) макроареалу, во-вторых, к славянской языково-племенной общности, затем принадлежность к конкретной славянской народности (русские, сербы, болгары и т. д.), наконец, узколокальная соотнесенность и характеристика (новгородцы, захумляне, браничевцы и т. д.). Для рассматриваемого периода характерно развитие и укрепление второго, народностного звена и постепенное ослабление третьего звена — локально-племенного, что во многом определялось уже развитой государственностью в отдельных славянских макроронах или борьбой за эту государственность в условиях чужеземного ига. Несколько иные соотношения были в тех зонах, где в качестве международного «национального» языка употреблялась латынь, т. е. неславянский литературный язык.

Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI—XVII вв.)

Необходимость детального и всестороннего изучения древнеславянского (церковнославянского) языка была достаточно убедительно аргументирована на дискуссии во время IV Международного съезда славистов¹. Обсуждение вопросов формирования и развития национальных литературных славянских языков, в первую очередь восточно- и южнославянских, показало также необходимость построения истории древнеславянского языка как единого литературного (культурного) языка славянства. Однако до сих пор серьезное внимание уделялось лишь древнейшему этапу истории древнеславянского языка — языку старославянскому, языку памятников X—XI вв.; что касается изучения древнеславянских памятников более поздних эпох — вплоть до XVIII в., то они изучались спорадически, главным образом в целях обнаружения в них конкретных локальных, диалектных черт, присущих отдельным народным (национальным) славянским языкам. Большинство исследователей отказывалось от опытов создания общей истории древнеславянского языка даже в тех или иных локальных ареалах (восточно- и южнославянском или уже — русском, украинско-белорусском, сербском, болгарско-македонском, хорватском глаголическом, влахо-молдавском и т. д.)², не говоря уже о со-

¹ См. доклады и выступления Й. Курца, Б. Гавранка, А. Достала, Й. Хамма, В. Д. Левина, Л. М. Шакуна, В. Киаса и др. (Съезд славистов, 1962).

² Ср. сетования и замечания А. И. Соболевского о том, что «историк (литературы. — Н. Т.) должен быть также и лингвистом и между прочим уметь различать церковнославянский язык русского извода, восходящий к южнославянскому оригиналу, от церковнославянского языка русского извода, вышедшего из-под пера русского грамотея, церковнославянский язык русского извода, обработанный русским грамотеем XI—XII веков, от церковнославянского языка, обработанного в XIII—XIV или в XV—XVI веках. Как известно, истории церковнославянского языка как литературного языка древней Руси не существует у нас

здании общей истории, которая бы охватывала всю территорию так называемого «греко-славянского мира»³.

Отсутствие таких опытов и построений не было в свое время лишено оснований и может быть во многом объяснимо. Во-первых, исследователи младограмматического направления не всегда осознавали необходимость существования двух достаточно четко размежеванных дисциплин: истории языка как такового (вернее, исторической грамматики и исторической диалектологии) и истории литературного языка (здесь для древних эпох важно также разграничение письменного языка вообще и языка «литературного»)⁴; во-вторых, древнеславянский язык в более поздние эпохи своего развития в разных локальных ареалах по-разному взаимодействовал со славянскими народно-разговорными субстратами, подвергался их влиянию и был связан с ними то более тесными, то более слабыми узами. Это созда-

даже в зачатках и потому историк, рискующий прикоснуться к массе «безличных произведений древней России», должен пролагать себе дорогу сам и работать не только в области истории литературы, но и в области истории языка» (Соболевский, 1903а, с. 156–157).

³ Необходимость создания такой истории прокламировалась еще в знаменитых «Тезисах» Пражского лингвистического кружка: «Для исследования позднейшего состояния древнеславянского языка в его различных редакциях начиная с XII века, эпохи, когда наблюдается регулярное проникновение в него фонетических изменений, присущих живым славянским языкам и происходящих в них тем временем, следует шире использовать название «среднецерковнославянский». Крайне необходимой задачей, до сих пор полностью пренебрегавшейся славистикой, является выработка научной истории церковнославянского языка, охватывающей период до наших дней» (ТСЛР, I, р. 22).

⁴ В Пражских «Тезисах» под рубрикой «Актуальные проблемы изучения церковнославянского языка» отмечается, что «если понимать под старославянским язык, употреблявшийся (славянскими) апостолами и их учениками для литературных нужд и ставший с X по XII век литературным языком для всех славян, пользующихся славянской литургией, нельзя будет, по соображениям методическим, допустить идентификации этого языка с каким-либо историческим славянским языком и толкования его с точки зрения исторической диалектологии.

В языке, который с самого своего начала не был предназначен для местных нужд, который опирался на традиции греческого литературного языка и который принял затем роль славянского койне, следует априори предположить существование искусственных, смешанных и условных элементов. Следует интерпретировать эволюцию древнеславянского языка в зависимости от принципов, которые определяют историю литературных языков» (ТСЛР, I, р. 21).

вало серьезные препятствия для выявления норм древнеславянского языка в каждом отдельном ареале, не говоря уже о задачах их установления в масштабе всего «греко-славянского мира». В этом, как указывали неоднократно многие исследователи⁵, основное отличие истории древнеславянского литературного языка от истории, например, латыни и ряда других древних «международных» языков (арабского, санскрита и др.).

История древнеславянского литературного языка, в отличие прежде всего от истории любого славянского языка (не литературного), есть довольно последовательная смена периодов централизации (нормализация) и децентрализации (потеря строгости нормы и проникновение локальных явлений) в плане структурно-нормативном и миграция центров (воздействие народно-разговорных субстратов) в плане экстралингвистическом, т. е. в данном случае географическом⁶.

⁵ Ср., например, интересные, правда, не лишённые известных крайностей, параллели Й. Курца: «Приведем теперь небольшое сравнение с латынью, роль которой на западе Европы иногда сравнивается с функцией церковнославянского языка. Думаю, что это сравнение не основывается на величинах, вполне равноценных, и что значение церковнославянского языка для славянских народов на востоке Европы значительно превышает значение латыни на западе. Я хотел бы сказать, что церковнославянский язык служил славянам гораздо больше, дольше и значительнее, чем латынь жителям западных стран. В то время как латынь была лишь языком церкви, общественных документов, специальной литературы и научной поэзии, наряду с которой, как правило, развивались местные литературные языки, сформировавшиеся на основе государственного центра, всеобъемлющий (дословно: *полный*. — Н. Т.) церковнославянский язык среди многих славянских народов долгое время выполнял роль единственного письменного и литературного языка. Он применяется в гораздо большем объеме, чем латынь. В то время как латынь оставалась в отношении к западным языкам, по сути дела, миром в себе, церковнославянский язык имел гораздо более тесные, иногда прямо интимные связи с большинством славянских языков и глубоко повлиял на их развитие. Он был хорошо понятным органом государственной и общественной жизни быстро растущих и расцветающих славянских речевых культур и, будучи близким к местным языкам, мог во всех своих функциях лучше и дольше сохраняться, чем латынь» (Kurcz, 1958, s. 34–35; см. также Съезд славистов, 1962, с. 135–136).

⁶ Несколько подробнее об этом см. в нашей статье «К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян» (Толстой, 1961; наст. изд., с. 66–89). там же см. предварительную периодизацию древнеславянского литературного языка (с. 66; см. наст. изд., с. 88–89).

История древнеславянского языка, таким образом, представляется как процесс дискретный, при котором нормализация, как правило, вела к архаизации языка, а история любого славянского языка (предмет исторической грамматики и исторической диалектологии) представляется как процесс более непрерывный, эволюционный.

Естественно, что для истории древнеславянского литературного языка наиболее эффективными и показательными будут исследования, устанавливающие его характер и строй в эпохи так называемой централизации, например, в период деятельности тырновской школы, ресавской школы, связанного с ней и за ней следовавшего второго южнославянского влияния на Русь, или период последнего по времени влияния церковнославянского (древнеславянского) языка русского извода на письменную языковую культуру южных славян (XVIII в.). Древнеславянский язык этих периодов может на определенных этапах исследования при отсутствии дополнительных задач, связанных с историей отдельных славянских литературных языков, моделироваться самостоятельно как вполне автономное целое, и такая модель будет «рабочей» для всех ареалов его распространения. Гораздо хуже обстоит дело с исследованием древнеславянского языка периодов так называемой децентрализации, ослабления и изменения нормы в отдельных ареалах, которые в некоторых случаях хронологически совпадали с процессом перемещения центра (например, с юга славянства на восток, из Западной Руси в Московскую Русь и т. п.). В этом случае отвод материала взаимодействующих с ним, зарождающихся народных (потенциально-национальных) славянских литературных языков будет в принципе невозможен; кроме того, потребуются в полной мере учет системы языка предшествующего периода централизации, а в ряде случаев — и последующего периода той же централизации и нормализации. Хронологические срезы, без которых едва ли возможно изучение истории древнеславянского литературного языка⁷, демонстрируют в системе литературного языка явления предшествующих эпох (здесь следует учитывать исключительно

⁷ На большую целесообразность использования термина «хронологический срез» в применении к литературному древнеславянскому языку, чем «синхронный срез», указал нам Б. В. Горнунг (ВЯ, 1960, № 6, с. 147).

явления литературного языка, а не народно-разговорного субстрата), в некоторых случаях даже «архаизмы», неизвестные более ранним хронологическим срезам, т. е. так называемые гиперцерковнославянизмы.

Эти явления, характерные и для других средневековых международных языков, способствовали более широкой коммуникации не только в пространстве (для древнеславянского — в ареале «греко-славянского» мира), но и, что не менее важно, во времени. Последнее давало возможность сохранения и усвоения почти в полном объеме всего полутысячелетнего литературного и культурного славянского наследия и вполне соответствовало идеям рассматриваемой эпохи, идеям преемственности древней культуры и даже ее незабываемости (ср., например, отстаивание принципов «святой старины» и никонианцами, и старообрядцами).

Между зарождающимися народными («национальными») литературными языками (белорусским, украинским, отчасти русским, сербским, болгарским) и древнеславянским литературным языком происходил процесс креолизации⁸ и выработывался ряд провизорных систем соответствий между ними. Примером такого креолизованного, гибридного языка может служить хотя бы язык Библии Ф. Скорины, возникший в результате несколько идиолектного установления соответствия между древнеславянским языком и белорусской народной речью и элементами чешскими и польскими (Владимиров, 1888; Флоровский, 1946).

Таким образом, при построении истории древнеславянского литературного языка мы сталкиваемся с соотношениями, типологически сходными с явлениями, известными нам, например, из истории санскрита, требующими в целом панхронического подхода и демонстрирующими, наряду с системой классического санскрита (со строгой нормализованностью и регулярностью норм), систему (или системы) гибридного санскрита⁹. Древнеславянский литературный язык

⁸ О креолизации как одном из основных результатов установления соответствия между языковыми системами см. Иванов, 1961.

⁹ «Буддийский гибридный санскрит является не просто результатом введения в среднеиндийскую основу этого языка элементов, существовавших в самом санскрите, но и результатом переработки среднеиндийского текста на основании существовавших в то время представлений о соответствиях между санскритом и среднеиндийским. Эти представления служили базой для воссоздания санскритских форм на основе

позднего периода или несколько шире — периода после второго южнославянского влияния можно было бы, идучи путем аналогии с санскритом, назвать гибридным древнеславянским литературным языком. В нем, так же как и в гибридном санскрите, на основе модели восточнославянских языков «восстанавливались» церковнославянские формы в духе представлений того времени о древнеславянском языке¹⁰. Представления эти не были лишены сильного воздействия модели греческо-византийского языка, а их применение касалось главным образом тех литературных жанров и тех контекстов, которые не были характерны или известны в древнеславянском языке классического периода, т. е. старославянском.

Все восточное славянство (так же как и южное) сохраняло в рассматриваемый нами период многие представления о древнеславянском языке, возникшие в эпоху его нормирования и централизации, которую мы традиционно называем «вторым южнославянским влиянием». Положение, создавшееся в результате этого влияния, было в общем исходным для процессов, характеризующих языковую ситуацию во второй половине XVI и в XVII веках.

Особенности второго южнославянского влияния в отношении графического оформления рукописей (форма букв, графика), орнамента и орфографии достаточно четко и полно изложены в известных работах А. И. Соболевского, В. Н. Щепкина, М. Н. Сперанского и др., и здесь нет нужды излагать

среднеиндийских. В действительности такие одно-однозначные соответствия могли бы быть установлены лишь при учете диалектных различий между данным среднеиндийским диалектом и диалектной базой санскрита. Составители текстов на буддийском гибридном санскрите не знали о таких различиях и поэтому некоторые восстановленные ими в духе санскрита формы тем не менее не являются собственно санскритскими; такие формы можно назвать гиперсанскритизмами. Изучение этих явлений очень интересно для установления возможностей реконструкции одного языка на основании данных другого, ему родственного, но относящегося к другой стадии развития» (Иванов и Топоров, 1960, с. 26–27).

¹⁰ Это явление в реликтовом виде наблюдается и в современном русском языке. На него вновь обратил внимание Б. Унбегаун на московском съезде славистов: «Например, слово *вратарь*, конечно, странно назвать церковнославянизмом, особенно в том значении, в котором оно появилось» (см. Съезд славистов, 1962, с. 107–108); см. также Unbegaun, 1961, p. 138.

их подробно. Важно еще раз подчеркнуть характерную для нормализующей деятельности тырновской и последовавшей за ней ресавской школ, для характеристики их влияния на Руси особенность: смена одной манеры письма другой, одной орфографии другой произошла решительно, с весьма недолгим и незначительным по числу и типу рукописей переходным периодом. Старший полуустав резко сменяется младшим полууставом. «Это почерки, — отмечает Д. С. Лихачев, — различного характера, смешать которые опытному палеографу невозможно. Существенно, что между ними нет никаких переходов. И, вместе с тем, младший полуустав, не завися от старшего, совершенно ясно выражает свою зависимость от южнославянской графики — от письма болгарских и сербских рукописей» (Лихачев, 1958, с. 4). Несколько сложнее дело с орфографией и языком, но и здесь в принципе то же самое: решительное преобладание неподногласных форм (широко известных и ранее), форм с жд, шт (ц) на месте русских ж, ч (в сочетаниях типа межда, ноць — черта широко известная и ранее), написания ръ, лъ, рь, ль на месте русских ор, ол, ер (врѣхъ, врѣхь), частое употребление ж наряду с ѣ (и смешение с ним), написание а вместо ѿ после гласных (добраа), ь в конце слов вместо ѣ (последние две черты до 30-х годов XV в. в восточнославянской письменности были неизвестны).

Этих и некоторых других, в основном орфографических, черт было достаточно для паспортизации и классификации рукописей, для предварительной периодизации истории славянской, и в первую очередь восточнославянской письменности. Однако сетования новейшего исследователя второго южнославянского влияния Д. С. Лихачева на его недостаточную изученность можно отнести не только к вопросам идейных течений, живописи, архитектуры, церковной жизни, но и к вопросам, казалось бы, более изученным — вопросам языка. Мы до сих пор не имеем исследований по синтаксису и лексике в связи со вторым южнославянским влиянием и располагаем только отдельными, хотя и интересными, наблюдениями по словообразованию (исключительно по *composita*) и стилистике.

А именно в этих сферах литературного древнеславянского языка в новых восточнославянских книжных центрах (в Москве, а также Вильне, Киеве, Остроге, Львове и др.) шел процесс дальнейшего становления и развития языковых и

поэтических элементов и норм, генетически связанных с прежними южнославянскими центрами.

Хронологические рамки второго южнославянского влияния вслед за А. И. Соболевским и другими исследователями определяют XIV—XV веками, однако вызванный им процесс развития древнеславянского литературного языка на новой, восточнославянской почве продолжался и в XVI, и даже в XVII в., сохраняя в принципе почти неизменным ряд релевантных признаков, которые воспринимались современниками как необходимое соблюдение принципов священной старины.

Эпоха XVI в. в Московской Руси — эпоха, связанная с деятельностью Максима Грека и его сподвижников, была проникнута представлениями, хорошо выраженными Зиновием Отенским в заявлении о том, что следует не книжные речи народными «обесчещать», а наоборот, от книжных речей и общие народные исправлять. Книжная традиция митрополита Киприана и его соратников продолжалась Максимом Греком и его учениками. Споры по отдельным частным вопросам нормализации литературного древнеславянского языка, которые могли восприниматься некоторыми учеными даже как протест против южнославянского влияния (см. Лихачев, 1958, с. 61–62), например, известный и не совсем справедливый упрек ученика Максима Грека Нила Курлятева в адрес митрополита Киприана, высказанный им в предисловии к Псалтыри (рукопись 1552 г.)¹¹, не затрагивали са-

¹¹ В предисловии к псалтыри (хранится в ГИМ в Москве, собрание И. Н. Царского [позже гр. Уварова] № 327) Нил Курлятев писал: «А прежнии переводници нашего языка извѣстно не знали и они перевели оно греческы, ово словенскы, и ино сербскы и другая болгарскы, ихже неудовлишась преложити на рускый языкъ; а Киприанъ митрополитъ погреческы гораздо не разумѣлъ и нашего языка довольно не зналъ же (аще и съ нами единъ нашъ языкъ сирѣчь словѣнскый, да мы говоримъ по своему языку чисто и шумно, а они говорятъ молодежаво, и въ писаніи рѣчи наши съ ними не сходятся), и онъ мнилъся что поправиль псалмовъ по нашему, а болши неразуміе въ нихъ написаль, въ рѣчехъ и въ словехъ все посербскы написаль; и нынѣ многыя у насъ и въ ся времена книги пишутъ, а пишутъ отъ неразуміа все посербскы и говорити по писму по нашему языку прямо не умѣють, а многыя неразумныя смущаются». Однако, как явствует из остального текста предисловия Нила Курлятева, он сам пользовался, в принципе, древнеславянским литературным языком русской редакции, который не отличался существенно от языка митрополита Киприана. Авторитет последнего, и пре-

мых основ древнерусской, или шире говоря, древнеславянской книжности той поры, основ, требующих в принципе удаления от разговорной, диалектной речи, возвышенного стиля, «плетения словес», «писания с великою нуждою». Они были направлены, надо полагать, в первую очередь против излишних гречизмов и «старых иностранных словиц», против механического копирования и бессмысленного восприятия южнославянских по своей модели «норм» древнеславянского литературного языка. Примером такого вос-

жде всего его филологической, «книжной» деятельности, был очень высок на Руси.

До нас дошли отзывы книжников XV в. панегирического характера по отношению к Киприану (из записи на рукописи Успенского собора № 7, 1403 г.): «...при святѣйшемъ и пресвященнѣмъ Киприанѣ ... его же благословеніемъ земля русьская миръ глубокий приеѣмлетъ, церкви же божиа православіа одежею свѣше истканною одѣся, и исправленіемъ книжнѣмъ и ученіемъ его свѣтлѣется паче солнечныхъ зарей и напааетъ яко отъ источника приснотекуща». «Во всякомъ случае, — отмечает А. И. Соболевский, — современники охотно делали списки с принадлежавших Киприану богослужебных текстов и хвалили его за его заботы об «исправлении книжном»» (см. Соболевский, 1903, с. 12).

Не менее знаменательно, однако, что в начале XVII в. (в 1627 г.) на заседании в книжной палате игумен Илья и справщик Григорий, упрекая Лаврентия Зизания в еретических отступлениях, говорили, что «Киприан, митрополит Киевскій і всеа Русіі, егда приіде ис Константина града на рускую митрополию, и тогда с собою привез правилныя книги христіанскаго закона греческаго языка правила и перевел на словенскій язык и божию милостию пребывают и доныне без всяких смутов и прикладов новых вводов» (Прение, 1859, с. 99 отд. пагинации). Трактат второй половины XVII в. «О исправлении в прежде печатаных книгах» апеллирует к высказываниям Киприана как к непреложному завету и дает цитату из его приписки к служебнику (нами эта цитата для экономии места сокращается): «Киприанъ въ стѣхъ Ѡиць нашъ митрополитъ московскій и всеа Русіи, ѣже преписа съ греческии книги на славенскій языкъ служебникъ, ѣ завѣща ничтоже премѣнати преводу егѡ, ниже что Ѡимати, пиша сице: ... Аще ли же кто восхощеть сіа книгы преписовати, смотри ѣ не приложити ѣли Ѡложити ѣдино и нѣкое слово ѣли тѡчку ѣдину, ѣли крѡчки ниже сѣтъ поѣ строкѡмн в'радѣхъ, ѣли премѣнати слѡгну ѣдину» (см.: Никольский, 1896, с. 61–62). Обращение к авторитету Киприана в более позднюю эпоху свидетельствует о длительной устойчивости норм и представлений об «исправлении книжном», сложившихся во время второго южнославянского влияния и сохранившихся почти до начала XVIII в. (О трудах Киприана по установлению литургических норм и введению некоторых новшеств по иерусалимскому уставу см. в монографии: Мансветов, 1882; см. также: Амфилохий, 1878).

приятія явились хорошо известные в восточнославянской письменности гиперцерковнославянизмы типа «о мланіахъ (русск. *молонья*; ц.-сл. *млѣнни*), о мѹждѹ (ц.-сл. *мжжоѹ*), скаждѹ (ц.-сл. *скажж*), прѣвѹю страждѹ (ц.-сл. *стражж*), стрѣждаше (ц.-сл. *стрѣжаше*), мождаше (ц.-сл. *можааше*), погрождаемъ (ц.-сл. *погржжаемъ*), вѣйнїй (ц.-сл. *вонни*), дѣвѣлѣѣ^ѣ (ц.-сл. *довлѣетъ*), дѣ (ц.-сл. *до*) и т. д., и т. п. (см. примеры у А. И. Соболевского [Соболевский, 1906], у В. Н. Перетца [Перетц, 1910] и др.) и наоборот, гипервосточнославянизмы типа *мороморъ* (*мрамор*).

Второе южнославянское влияние, как подчеркивалось неоднократно, сыграло громадную роль в развитии восточнославянской (русской) культуры, и в первую очередь литературы. По утверждению А. И. Соболевского (Соболевский, 1903, с. 13–14), почти дословно повторенному В. С. Иконниковым, «по окончании южнославянского влияния (XV в. — Н. Т.) русская литература оказалась увеличившеюся почти вдвое и... вновь полученные ею литературные богатства отличались разнообразием, удовлетворяли всевозможным потребностям и вкусам и давали обильный материал русским авторам» (Иконников, 1908, с. 1104).

В целом второе южнославянское влияние оказалось прочным фундаментом для развивавшегося древнеславянского литературного языка конца среднего и позднего периода его истории и функционировавшего при складывании древнерусской литературы XVI—XVII вв. Этот фундамент не удалось устранить и существенно поколебать и в ту пору, когда по Европе прокатился мощный прибой протестантизма, вызвавший ответную волну католической реакции.

Рассмотрение интересующего нас периода — второй половины XVI и XVII в. — следует начать с определения языковой ситуации у восточных славян, так как в это время на их территории находились центры книжных церковнославянских школ, определявших во многом характер единого древнеславянского литературного языка во всем ареале «греко-славянского мира», т. е. и у южных славян. Такими центрами были Вильна, Киев (отчасти Львов, Острог, Кутейно как их своеобразные филиалы) и Москва. К концу рассматриваемого нами периода Москва начинает играть роль все более и более доминирующего центра, однако до этого в Юго-Западной Руси, т. е. на землях украинских и белорусских, происходил, почти независимо от Москвы,

сложный процесс нормирования древнеславянского (церковнославянского) языка, шедший параллельно с формированием литературного староукраинского и старобелорусского языка.

Принятые нами хронологические рамки — вторая половина XVI — конец XVII в. — определяются историческими условиями в центральной, отчасти южной и восточной Европе, повлиявшими на судьбы ряда литературных языков, в том числе и славянских и интересующего нас древнеславянского (церковнославянского). Реформационная волна, эпицентром которой была средняя Европа, докатилась сначала до Западной, а затем частично и до Московской Руси, а также до славянского Юга. Очень скоро она столкнулась с заслоном контрреформации, с деятельностью Конгрегации de Propaganda Fide, вызвавшей острые религиозные и идеологические столкновения и создавшей на долгий период атмосферу резкой полемики, затрагивающей почти все стороны духовной и социальной жизни. Борьба шла не только по линии католицизма и реформации в том или ином ее виде, борьба шла и по линии католицизма (или «унии») и православия (Харлампович, 1898). Наконец, не следует забывать, что религиозные столкновения были часто лишь внешней формой глубоких социальных противоречий. Для нас особенно важен тот факт, что все эти противоречия находили свое яркое отражение в письменной литературе, которая после изобретения книгопечатания и его быстрого расцвета в Европе приобрела значительно больший круг читателей и шла по пути демократизации. Полемические задачи, остро стоящие перед литературой той поры, требовали ее более широкого распространения и доступности массам, чье участие в общей борьбе и полемике было важно для всех воюющих сторон. Московская Русь, хранившая «чистоту риз», и православные южные славяне, заслоненные жестким турецким кордоном от «прелестных ересей» Запада, менее других переживали остроту борьбы, хотя и не оставались к ней безучастными.

Движения реформации и контрреформации ускорили процесс образования ряда европейских народных литературных языков. Он начался очень бурно в середине XVI в. Под непосредственным влиянием протестантизма возникает в результате деятельности Приможа Трубара, Себастьяна Креля, Юрия Далматина и других словенский литературный язык

на основе доленьского («краньского») наречия. С необычайной интенсивностью и жизненностью развивается словенская, по преимуществу конфессиональная литература, лишенная до того какой бы то ни было национальной языковой традиции. В короткий срок, охватывающий около четырех десятилетий, начиная с 1551 г., появляется около пятидесяти печатных книг на словенском языке, в том числе и знаменитая словенская грамматика Адама Богорича (1584)¹². Параллельно со словенской литературой формируется хорватская протестантская литература (Vušar, 1910), опирающаяся, правда, на литературно-языковые традиции хорватской «глаголяшской» письменности (Jagić, 1913). Реформация вызывает к жизни литературу у сербов-лужичан, в 1548 году Николай Якубиц переводит Евангелие (перевод остался в рукописи) на нижнелужицкий язык, а в 1574 году в Будышине выходит первая печатная лужицкая книга «Катехизис» Альбина Моллера (Jenč, 1954).

В пределах «греко-славянского мира», а в то же время также и в связи с реформацией возникает румынский литературный язык (Rosetti, Cazacu, 1961), обслуживающий довольно значительную литературу, хотя в пределах Трансильвании, Валахии и Молдавии еще широко бытует древнеславянский язык. Южные соседи южных славян — албанцы и греки также переживают процесс развития народных литературных языков. В связи с деятельностью римской Конгрегации пропаганды в 1555 г. появляется первая печатная книга на албанском языке (гегском диалекте) Meshari — служебник Гьона Бузука (Roques, 1932).

В ортодоксальной Греции, в стране с богатой литературно-языковой традицией, идущей от времени античности и блистательной Византии, в той же середине XVI в. обнаруживается целый ряд случаев, когда книжники и проповедники отказываются от кафареуса и обращаются к димотике (Hesseling, 1924).

В эту же эпоху, в «славяно-латинском мире», в Чехии успешно развивается чешский литературный язык, прочные основы которого были заложены еще в предшествующем веке Яном Гусом и его соратниками. Деятельность «чешских братьев», которая распространялась отчасти и на Польшу,

¹² См.: Zgodovina slovenskega slovstva, I. Там же см. обширную литературу предмета, с. 259–260; см. также: Kidrič, 1929.

во второй половине XVI в. привела к созданию стилистически образцовой чешской прозы («Кралицкая библия», 1545–1599), послужившей много позже примером для филологов и писателей чешского национального возрождения. Этот язык был лингвистически зафиксирован Яном Благославом в его известной грамматике 1571 г. (Navránek, 1936). Очень бурные и сложные процессы литературного и литературно-языкового порядка проходят в пределах Речи Посполитой накануне и после ее возникновения, т. е. после Люблинской унии 1569 г. Для польской литературы и литературного языка вторая половина XVI столетия была, как и в Чехии, «золотым веком». Здесь тоже шел процесс упорядочения правописания и грамматических форм, формирование прозаического и поэтического языка, поиски новых, «совершенных» норм, опирающихся, в основном, на узус краковского центра. Этот процесс отражался также и в соседних землях, прежде всего в различных опытах переводов Евангелия¹³. К блестящим образцам светской литературы — произведениям Рея, Кохановского, Бельского, Оржеховского — была близка по языку «духовная», проповедническая и переводная литература таких авторов, как Петр Скарга, Яков Вуек и др.

Земли, сопредельные с польскими и объединенные с ними в 1569 г., переживали общий процесс восприятия идей реформации и сопротивления им. В 1547 г. в Литве М. Мажвидас перевел лютеранский катехизис и положил этим начало своеобразной полемике поисков переводческих норм. Затем следовал перевод кальвинистского катехизиса М. Петкявичуса (1598) и, наконец, католического катехизиса М. Даукши (1595), который во многом определил дальнейшие нормы литовского литературного языка. Кальвинист Симон Будный, ставший впоследствии арианом, переводит в 1562 г. кальвинистский катехизис на белорусский язык, а арианин Василий Тяпинский около 1570 г. издает текст Евангелия параллельно на белорусском и древнеславянском. Происходит весьма значительный акт: в кон-

¹³ «Кажется, наверно, на первый взгляд парадоксальным, что спекуляция с догмами и с евангельскими текстами была в XVI веке во многих отношениях более смелой и более радикальной в Польше, которая оставалась в основном католической, чем в странах, где протестантизм укоренился, так сказать, с первого шага и достаточно крепко» (Bacvis, б. г.).

фессиональной литературе, считавшейся священной, наряду с принятым и освященным традицией древнеславянским, вводится новый литературный язык, близкий к народно-разговорному субстрату. Двуязычие воспринимается как законное явление. Несколько иначе, возможно, не без влияния известной ему практики в отношении чешского литературного языка того времени, еще в начале XVI столетия (в 1517 г. — за пять лет до лютеровского перевода Евангелия!) разрешал эту проблему Франциск Скорина: сохранив церковнославянскую базу текста, он подновил ее живой, народной в основе своей, белорусской речью.

К этому же времени относятся выполненные на Волыни первые опыты перевода Евангелия на украинский язык, знаменующие собой значительный отход от церковнославянской традиции, но еще не окончательный разрыв с нею. В период между 1556 и 1560 г. появилась Пересопницкая рукопись, затем в 1571 г. Житомирская рукопись, в 1581 г. рукописное евангелие арианина Валентина Негалевского — перевод с польского евангелия Мартина Чеховича (Раков, 1577). Сюда же можно отнести и рукопись Летковского евангелия, появившегося в 1595 г.¹⁴ Так как все эти переводы остались в рукописи, то для дальнейшего формирования литературного языка на Волыни и в Западной Руси вообще большого значения они не имели. Тем не менее они указывают на интенсивный процесс складывания литературного украинского языка на новой основе, порывающей с общими традициями древнерусской письменности и обращающейся к национальным источникам, к народно-разговорному субстрату. Эти явления можно было наблюдать и раньше в деловой письменности, юридических кодексах, грамотах и т. п., однако их следует несколько отграничивать от общей истории литературного языка, основу которой составляет прежде всего язык литературы. Во второй половине XVI и в начале XVII в. на Украине и в Белоруссии был в принципе единый литературный язык, не считая древнеславянского, однако к его характеристике мы обратимся несколько позже. Отметим только, что для территории Украины, так же как и Белоруссии, характерно для этой эпохи

¹⁴ Обширная литература вопроса до 1938 г. тщательно собрана и в целом ряде случаев прокомментирована в превосходной монографии Антуана Мартеля. См.: Martel, 1938.

двуязычие или даже многоязычие. В эту же пору начинает формироваться литературный русский («московский») национальный язык, хотя в Московской Руси этот процесс не столь ярко выражен и «скачкообразен», как, например, на Руси Западной, и осложнен устойчивым бытованием древнеславянской (церковнославянской) традиции¹⁵.

Подводя итоги беглой характеристики языково-литературного «ландшафта» в середине XVI в. в Центральной и Восточной Европе, мы можем разделить все нами перечисленные литературные языки на несколько групп:

I. Литературные языки, вновь возникшие, не имевшие ранее (или почти не имевшие) своей литературно-языковой традиции: словенский, лужицко-сербский, литовский, румынский, албанский. Здесь устанавливалось многоязычие: в Словении — латинско-немецко-словенское, в Лужицкой Сербии — латинско-немецко-лужицкое, в Литве — латинско-польско- (отчасти русско-) литовское, в Валахии, Молдавии и Трансильвании — славяно-румынское. Такой билингвизм был гетерогенным.

II. Литературные языки, продолжавшие свою письменную традицию, основа которой была заложена в предшествующие эпохи: чешский, польский, хорватский. Здесь наблюдалось латино-славянское двуязычие, а в некоторых случаях и латино-славяно-немецкое¹⁶, латино-славяно-итальян-

¹⁵ «Начальный этап образования национального русского языка (устного и письменного) мы относим к длительному промежутку со второй половины XVI в. до середины XVIII в. (...) Важным характерным признаком образования национального языка надо считать органическое, проникающее сближение ранее противопоставленных и обособленных систем письменного и разговорного языка» (Ларин, 1961, с. 25).

¹⁶ Следует, однако, отметить, что влияние немецкого литературного языка в то время было гораздо менее значительным, чем влияние латинского. Можно говорить о значительном влиянии на упомянутые языки (не литературные) и на их диалекты со стороны немецкой народно-разговорной и диалектной речи (что не одно и то же!), а затем уже о проникновении отдельных элементов в литературный язык. На принципиально важное различие во влиянии литературного и разговорного языка (а для более отдаленных эпох это различие особенно ощутимо!) указывал на московском съезде славистов Б. Гавранек: «Если мы говорим о влиянии разговорного языка на разговорный, то это означает не влияние литературного языка на литературный, а лишь то, что элементы, заимствованные из другого языка, как и свои, не заимствованные явления, постепенно проникали в народный язык, а из него — в литературный язык. Например, в чешский литературный язык проникли

ское триязычие. Этот би- и три-лингвизм был также гетерогенным.

III. Литературные языки, также продолжавшие свою письменную традицию при наличии иного типа двуязычия — гомогенного: греческий, русский (великорусский), болгарский, сербский, отчасти «западнорусский» (украинский и белорусский). Принципиальное отличие такого двуязычия от упомянутого выше заключается в том, что компонентами его являлись литературные языки одной ветви, близко родственные генетически и формально. В некоторых случаях, как для греческого языка и в известной степени для старославянского (древнеславянского) и, например, русского или болгарского, можно говорить о том, что компонентами этого гомогенного двуязычия — двумя его членами — оказывается один и тот же язык (чаще литературный) на разных стадиях его исторического развития: архаический и современный. Аналогичное соотношение, как мы уже указывали, наблюдалось между классическим санскритом, с одной стороны, и буддийским гибридным санскритом, джанайским санскритом и, наконец, различными среднеиндийскими диалектами, — с другой стороны. Применительно к восточно- и южнославянским языкам подобный характер двуязычия дает достаточное основание некоторым исследователям говорить о двух «типах» литературного языка¹⁷.

В Греции и в греческих культурных центрах (Константинополе и др.) употребляется «кафаревуса» и «димотика» (при разграничении сферы функционирования), в Московской Руси — древнеславянский и русский (при все более значительном смешении сфер функционирования), в Сербии и Болгарии — древнеславянский наряду с сербским и болгарским; в Западной Руси (Белоруссии и Украине) — древ-

факты чешского просторечия, вместе с ними вошел и ряд немецких слов, которые в литературном языке отсутствовали и которые по своему оформлению относятся не к литературному немецкому языку, а диалектам или жаргонам» (см.: Съезд славистов, 1962, с. 65).

¹⁷ Нами не используется терминология «два типа» — «книжно-славянский» и «народно-литературный» (см.: Виноградов, 1958), так как мы видим в ней известное разграничение в сфере функционирования, справедливое для древнерусского языка, но уже трудно применимое к языковому состоянию в Западной Руси (Белоруссии и Украине) во второй половине XVI в.

неславянский и «западнорусский» (белорусско-украинский), а также польский и отчасти латинский.

Таким образом, для ареала «греко-славянского мира» в предшествующий и рассматриваемый периоды было характерно гомогенное двуязычие (исключение составляет румыно-славянский билингвизм), для остальных же языков, т. е. для центральноевропейского ареала, охватывающего восточную половину широко понимаемого латинского ареала, было характерно гетерогенное двуязычие. Западная Русь — Украина и Белоруссия, где смыкались «греко-славянский» и «славяно-латинский» миры, в середине XVI в. была территорией с очень сложным лингвистическим ландшафтом в смысле употребления литературного языка. Здесь в основном также наблюдалось гомогенное многоязычие, осложняющееся иногда употреблением латинского языка и переходящее в гетерогенное.

Языковая ситуация в Западной Руси во второй половине XVI и в XVII в. нас интересует в первую очередь потому, что в эту эпоху, как отмечалось выше, эта территория являлась центром, где определялись нормы древнеславянского языка, оказывающие воздействие на весь греко-славянский ареал. Во второй половине XVI в. и начале XVII в. этот центр находился в северо-западном крае (условно назовем таким центром город Вильну), в начале и середине XVII в. он сместился на юг (условно обозначим центром Киев), а со второй половины XVII в. господствующее положение занимает Москва. Изложенную в самых общих чертах миграцию центра не следует понимать прямолинейно: нужно учитывать, что в определенные периоды существовала конкуренция центров (Вильны и Киева, Киева и Москвы), параллельное их функционирование, что, наконец, в Западной Руси, в отличие от Московской, где был только один центр — Москва, существовали и менее значительные очаги древнерусской книжности, такие как Острог, Львов, Кутейно и др.

Во второй половине XVI в. и в самом начале XVII в. языковая ситуация в Западной Руси была очень своеобразной. Едва ли можно на территории греко-славянского мира для этого периода, а также последующего и предшествующего обнаружить аналогичное положение, где бы бытующие «типы», «варианты» или лучше сказать — различные манифестации литературного языка образовывали столь широкий спектр, с многочисленными переходами и оттенками, в

котором на одном фланге находился польский язык (тоже славянский!), а на другом — древнеславянский в довольно чистом виде (т. е. близкий к языку эпохи второго южнославянского влияния — XIV—XV вв.). Среднее приблизительно положение занимал западнорусский литературный язык — «для простыхъ людей языка руськаго» (см. Несвижский катехизис 1562 г.), в одних случаях более приближающийся к белорусскому народно-разговорному субстрату, в других — к украинскому, но в принципе никогда не являющийся фиксацией того или иного белорусского или украинского диалекта, а представляющий собой часто эксперимент создания своеобразного литературного койне, основными носителями и потребителями которого были нарождающаяся городская мелкая и средняя торговая буржуазия, военное сословие, отчасти городское и сельское духовенство и мелкая шляхта. Если для польского литературного языка того времени установление нормы (грамматической и лексической) не представляло особых трудностей, если для церковнославянского языка той поры также в конечном итоге была предложена норма (см. грамматику М. Смотрицкого, изданную в Евю), то промежуточные звенья спектра оказывались менее нормализованными и представляли собой часто компромиссные опыты литературного языка: древнеславянско-западнорусские, западнорусско-польские, древнеславянско-западнорусско-польские и т. п.

Пестрота лингво-литературного спектра в Западной Руси во второй половине XVI и начале XVII в. отражала собой значительную свободу филологического обращения с текстами, в том числе и конфессиональными, вольность, не допускавшуюся ни в пределах Московской Руси, ни у южных православных славян. Этот факт говорит об известной толерантности в этом отношении в эпоху правления Сигизмунда II Августа, Стефана Батория и Сигизмунда II Вазы. Свобода выбора литературного языка и свобода норм западнорусского литературного языка, находящегося в стадии становления, во многом устраивала все воюющие и полемизирующие стороны — православных, католиков, протестантов (кальвинистов, антитринитариев и др.).

Не следует полагать, что древнеславянский язык был основным орудием борьбы православных¹⁸ украинцев и

¹⁸ Следует отметить, что за употребляемыми нами дефинициями: православие, протестантизм, католичество, — соответствующими дефиници-

белорусов за свою национальную самобытность и культуру против католиков и иноземной шляхты, владеющих языками латинским и польским. Такое мнение может сложиться в результате ряда свидетельств современников, хотя бы известных высказываний Петра Скарга и возражений Ивана Вишенского. В своем знаменитом сочинении «О jedności Kościoła Bożego» (1574) Скарга писал, что «со словенским языком никто ученым стать не может. И теперь уже почти никто его досконально не понимает», что «словенский» не имеет ни правил, ни грамматик, ни словарей, и если нужно что-либо понять, то толкуют по-польски, а «счастливый костел Римский» основывается на школах латинских и тем осущестляет свое единство (Skarga, 1882, кол. 485–486). Со страстью истового полемиста Иван Вишенский возражал, что «діаволь толикую зависть имаеть на словенскій языкъ, же ледво живъ отъ гнѣва... А то для того діаволь на словенскій языкъ борбу тую маеть, занеже есть плодоноснѣйшій отъ всѣхъ языковъ и Богу любимѣйшій: понеже безъ поганскихъ хитростей и руководствъ, се же есть, кграматикъ, риторикъ, діалектикъ и прочіихъ ихъ коварствъ тщеславныхъ, діавола вѣмѣстныхъ» (Вишенский, 1865, с. 210, 225, ср. новое издание: Вишенский, 1955, с. 23).

Однако следует заметить, что в Западной Руси и древнеславянский, и греческий, и латинский были в какой-то мере более символами, за которые боролись, хоругвями, осенявшими ратующие станы, что вообще было свойственно духу того времени, сама же борьба велась более светским, более острым оружием — языком, близким к народно-разговорному: «простой русской мовой», польским языком. Древнеславянский язык, функционировавший в сферах «высокой» литературы, не был и не мог быть полностью приспособлен к полемическому жанру. Безусловно, ряд деятелей католической реакции в Речи Посполитой, в том числе и Петр Скарга, пытались проводить политику прямого запрета или ограничений древнеславянского языка и даже «про-

ям того времени, кроется не только, а иногда и не столько религиозное различие, сколько различие социальное. Православие в условиях жизни в Речи Посполитой было религией в основном социально низких слоев, так как западнорусская аристократия довольно быстро, хотя и не без борьбы, покидала веру своих предков, а католичество — религией (и можно сказать шире — нормой поведения, характером духовной культуры) господствующего класса.

стой русской мовы». Однако общая ситуация и результаты борьбы к началу XVII в. оказались иными, чем, например, в Словении, где контрреформация добилась ощутительной парализации литературы на словенском языке¹⁹.

Достаточно стабильное положение «простой русской мовы» и древнеславянского языка, борьба за распространение унии и другие пропагандные интересы побуждали часто католическую партию в Речи Посполитой и даже папский престол в Риме обращаться к языку «простому русскому» и древнеславянскому²⁰, а защитников восточного обряда и приверженности к Константинопольской патриархии — пользоваться языком польским и латинским.

Тот же Петр Скарга уже во втором издании своей знаменитой книги «O jedności Kościoła Bożego» (1590), несколько изменив свою политику, писал: «Если бы мы были прозорливыми, мы бы могли давно иметь русские школы, просмотреть всю их письменность и иметь своих католиков, обученных их славянскому языку», а одно из самых боевых полемических произведений в защиту западнорусской (украинской и белорусской) народности и православия *Өрђвос* (1610) было, как известно, написано на польском языке. Следует отметить, что с 20-х гг. XVII в. вообще письменная полемика с униатами велась в основном по-польски.

Сколь бы ни были резко противоположны основные догматические и общественно-социальные взгляды полемизирующих сторон и как бы ни была велика их стойкость в борьбе и полемике, именно полемика давала основание для выработки общих стилистических приемов, общих композиционных и языковых конструкций и оборотов. Двуязычие (или многоязычие) в лингво-литературном плане оказалось своего рода ареной для риторических турниров, наиболее

¹⁹ «После литературного подъема, который связан с именем Хрена, наступил печальный застой и перерыв: более чем за полвека не вышло ни одной словенской книги» (см.: *Zgodovina slovesnekega slovstva*, I, глава «Protireformacija in Barok»).

²⁰ Известно, что еще в XIV—XV вв., до острого столкновения католической и православной партии в Литовской Руси, вероятно, и в Кракове, западнорусские католики пользовались в известной мере древнеславянским языком. Однако прямой связи между более древним периодом и более поздним обращением к древнеславянскому языку со стороны униатов и Конгрегации Пропаганды, видимо, не было. См. Соболевский, 1910.

удобной почвой для языковых влияний, заимствований прямых и скрытых (кальки и т. п.).

Одной из характерных для «западнорусской» (белорусской и украинской) литературы особенностей, не известных ранее во всем греко-славянском мире, было появление книг с параллельным древнеславянским и «западнорусским» текстом или сравнительно частые публикации одного и того же текста и на польском, и на «западнорусском» языке (на «простой мове»). Наконец, ряд переводов с польского напоминает местами своеобразную транслитерацию с латиницы в кириллицу, с изменением только некоторых фонетических соответствий и сохранением устойчивых морфологических восточнославянских черт.

Таким образом, как мы отмечали, создавался многосегментный языковой спектр и большая свобода нормы, при которой соотношение между различными типами или, лучше сказать, манифестациями «западнорусского» литературного языка было весьма скользким. Это положение становится очевидным даже из примеров, не исчерпывающих всего разнообразия фактов.

Первым памятником²¹, где славянский и «западнорусский» (белорусский) текст печатались в две колонки, было евангелие социанина Василия Тяпинского (около 1570 г.).

Образец языка*:

<p>Зачало евангелиа и́суса хри́стова сына божия́ такоже е́сть пи́сано въ пророцѣхъ. се азъ посылаю а́нгела моего́ предъ́ ли́цемъ твои́мъ, и́же зготovitъ пѣть твою́ предъ́ тобою. Гласа вопи́ющаго въ пѣс-</p>	<p>Початокъ евангелии́ и́суса хри́ста сына божьего. Я́къ е́сть написано въ пророцѣхъ. что́ я́ посылаю́ а́нгела моего́ передъ́ бѣ́лиць-емъ твои́мъ, который зготovitъ доро́гу твою́ передъ́ тобою. Голоса</p>
--	--

²¹ Сведения об упоминаемых ниже памятниках (старопечатных книгах), их авторах и литература о них могут быть почерпнуты из справочников: Махновец, 1960; Ластоўскі, 1926. Образцы языка некоторых из этих памятников в довольно обширных отрывках опубликованы в книге: Хрестаматія, 1961; см. также Хрестоматія, 1952. Тексты на польском и параллельно на западнорусском языке в большинстве своем опубликованы в IV, VII и XIX томах «Русской исторической библиотеки» (далее РИБ) в серии «Памятники полемической литературы в Западной Руси» (кн. 1 — 1878 г.; кн. 2 — 1883 г.; кн. 3 — 1903 г.). См. также обстоятельную библиографию в книге А. Мартеля (Martel, 1938).

* В образце текста строчная буква е оригинала передается буквой є.

тыни. Уготовайте пъть господень, п'равы т'ворите стеза его. Бысьтъ иб'ан'нъ к'ресьта в' п'устыни. и проповедаѣа к'рещеніе покаѣннѣ во ѿп'ущеніи г'реховъ. Нисхожд'аше к' немѹ в'са иудейс'каѣ с'трона, и иер'усолим'лане. и к'рещах'сѣ в'си во иб'рдан'и рец'ѣ ѿ него исповедающе грех'ї свои. (л. 43)

к'ричачого в' п'устыни. гот'уйте дорогу паньс'к'ю, п'ростые чините сътеж'к'ї его. Был' иб'ан'ъ к'ресьтечи в' п'устыни. и проповедающе к'рещеніе покаѣннѣ на ѿп'ущеніи г'реховъ. И вых'одила к' немѹ в'са юд'с'каѣ с'трона, иер'усолим'лане. и к'ресьтилисѣ в'си въ ир'дане рец'ѣ ѿ него выгнающе грех'ї свои. (Марка V гл. 1-5 ст.) л. (43)

Того же рода (однако изданная уже православными) старопечатная книга, вышедшая в свет в Остроге в 1607 г. под заглавием: «Лекарство на оспалый умысль челоув'чїи а особанне на затверд'ѣлыѣ людскїѣ заведеныѣ св'ѣтомъ, альбо такими грѣх'ами, до Деодора Мниха, а въ особ'ѣ его до кождого челоув'ка, кто въ такомъ кольвекъ есть грех'ѹ, съ приложеніемъ при концѣ тестаментѣ Васиїѣ Царѣ Греческого сынѹ своему Львѹ Философѹ; переложено съ Греческого Дамїаномъ Пресвентеромъ». Приводим для иллюстрации начало первой главы.

На древнеславянском языке:

Иже въстыхъ ѿца нашего Іѡан'на архіепіскопа константіна града златооустаго слово шпокаѣннїи, к'де ѡдѡрѡ мнїх'ѹ испад'ашемоу.

Ктѡ дастъ главѣ моеї водѹ, и ѡчїма моїма истѡчникъ слезѹ. бл'го время имнѣ есть ннѣ реши. имнѡжае паче, нежели прѡркоу ѡномоу. аще бо инеграда мнѡгы, ниже с'вер'шены страны ѣзыкъ хот'ѡца плакатисѣ, ѣкоже ѡнъ. но мнѡс'ѣхъ таковыѣ ѣзыкъ д'ша достѡйна, пачеже ич'тн'ѣйша. ибо лоу'чшии ест'ѣ едїнъ творѡй волю г'дню, нежели тмы законопрестоупныхъ. лоу'чшии оубо б'ѣ иты п'ерв'ѣ ѿтѣмъ иудейскїхъ. тѣмъ да ни-ктоже мнѣ зазрїт' ннѣ, аще ирыдан'їѣ ѣже въ прѡрц'ѣ писаннаѣ множайша съпишоу, и с'ѣлан'ѣйшїи

То же «русской мовой»:

Тѡежъ слово дожд'аго ктѡ впалъ в'такїи коль векъ грѣх'ѹ.

Ктѡ дастъ головѣ моеї водѹ, и ѡч'ом' моимъ жрѡдло слез'. прїстѡйный ест' часть имнѣ ннѣ тѡе мѡвннн, идалеко бол'шей, ан'ѣжли ѡномѡ прѡркоу. если бо в'ѣмъ ине м'ѣста мнѡгы, ан'ѣ цѣлыѣ повѣты нарѡдовѹ хоч'оу ѡплаковати, ѣк' ѡнъ. еднѡже таковыѣ мнѡгыѣ нарѡдомъ рѡвное д'ши, албо снатъ изацн'ѣйшей. абов'ѣмъ лѣпшїи ест' едїнъ котѡрый чинит' волю б'жїю, ан'ѣжли т'сѣсѣа злостливыхъ. лѣпшїи бов'ѣмъ иты бл'гесъ прѣт'ымъ на т'сѣсѣи жидѡв'скїѣ. апрѣто жаденъ мнѣ в'тѡмъ нех'ѡи немаетъ зазле если и на ѡписанныи оупрѡроковѹ лѡментъ, шн'ршїи и бол'шїи напишоу, и жалостн'ѣй-

покажоу плачь. нибѣ града разбрѣнѣ плачу азъ. ниже законопрестоупныхъ мѹжѣй плѣненіе. но дѣши сщєнныа ѡпоустѣнїе. и храма хрѣстонѣснаго низложенїе и погочєленїе. красотоу бо помысла твоего, юже попалѣ дїаволь нїгѣ ...

шю оукажоу причїнѣ плачь. не мѣста бо вѣмъ зєбрѣе ѡплакю, анѣ злостанвыхъ людѣй зєоваѣе, але дѣши стѡблївое спѣстошеѣе, и цркви хѣ всебѣ маючю оупакоу и згїбєли. цоудности вѣвѣмъ оумьслѣ твоего которюю попалѣвъ дїаволь тепєр ...

В 1596 г. в Вильне одновременно на польском и «западнорусском» (белорусском) была издана книга Стефана Зизания «Казанье святого Кирилла патриарха іерусалимьского, о антихристѣ и знакахъ его з розширенїемъ науки противъ ересей розъныхъ». (Текст на польскомъ языкѣ: Kazanie ś. Cyrylla Patryarchy Ierozolimskiego, o Antychryście y znakoch jego, z rozszerzeniem nauki przeciw herezyam roznyim).

Образецъ языка:

Coż tu uczynimy? Dziwowalibyśmy się temu, kiedybyśmy nie wiedzieli, że ten, który raz przystoyności y wstydlivości granice przeskoczył, pospolicie nader niewstydliwymъ zwykł bywać; a kto się raz przysięgę zgwalcić ochynie, temu y potomъ zawsze krzywo przysiędź, iak iagodkę połknąć. Ganiłibyśmy wamъ to y przywodziłiśmy do obaczenia y do pokuty, kiedybyśmy tego skutek iaki v was sobie obiecowali, abo kiedybyśmy dalej w tak niepewnych osobachъ waszychъ korzystowali.

Штожь тутъ учинимо? Дивовалибысмы тому, кгда бысмы не вѣдали, же тотъ, которїй разъ пристойности и встыдливости границу перескочилъ, посполите наддаръ невстыдливъ звыкъ бывати; а кто ся разъ присягу згвалтити охинеть, тому и потомъ завше криво присягнути, яко ягду проколкнути! Ганилибысмы вамъ то и приводилибысмы до обаченья и до покуты, коли бысмы того skutokъ який y васъ собѣ обѣцвали, албо коли бысмы далѣй въ такъ непевныхъ особахъ вашихъ користили (РИБ. VII, 1181–1182).

Вслед за ней, также в полемическихъ целяхъ защиты «восточного обряда» и народности, вышелъ в 1597 г. в Вильне на польскомъ знаменитый «Апокрисисъ» Христофора Филалета («ΑΠΟΚΡΙΣΙΣъ abo odpowiedź na xiązki o synodzie brzeskim, imieniemъ ludzi starozytney religiey greckiey, przezъ Christophora Philaletha w porywczą дана»), переведенный два года спустя, в 1599 г., на «западнорусский» языкъ и изданный тоже в Вильне («Апокрисисъ албо отповѣдь на книжки о

соборъ берестейскомъ, именемъ людей старожитной релги греческой, черезъ Христофора Филялета врихлъ дана»).

«Апокрисис» Х. Филалета вызвал ответное сочинение со стороны противной партии — «Антиризис» Ипатия Потя²², напечатанный на «западнорусском» языке, вероятно, в Вильне, в 1599 г. и на польском языке — тоже в Вильне в 1600 г. (ANTI'P'P'HEIS abo APOLOGIA przeciwko Krzysztofovi Philaletowi, który niedawno wydał książki imieniem starożytney Rusi religij Greckiey przeciw książkom o synodzie Brzeskim napisanym w roku Pańskim 1597, W Wilnie. Roku Pańskiego 1600.)

Образец языка:

Ачь кольвекъ бы слушная речъ была для тыхъ, которые Латиньскаго езыка не розумеють, а звлаца наша Русь милая, на тые его выкруты одъписати, и не треба бы много въ томъ працювати, только, знашедъши вси тые противные выкруты (которыми Филалеть, яко недошлый ремесникъ, выбравши съ кузни геретическое, робить), тамже отказы на каждую речъ написанные — переложити на Руское, — але волелемъ то кому ученшому zostавити...

А што поведаетъ: же бито, до везенъя сажано, кгвалтомъ до тое единости примушано, — то неправда, Филялете! Дано было одному шевчыкови, а снать томужъ предотечы, ки-

Aczkolwiek by słuszna rzecz była dla tych, którzy Łacińskiego ięzyka nie umieją, a zwłaszcza nasza miła Ruś, na te jego wykręty odpisać, y nie trzeba by się pracować, tylko, nalazszy wszystkie te obiekcye (w księgach Bellarminowych) (ktoremi Philalet, iako niedoszły rzemieśnik, wybrawszy z kuźni heretyckiey, robi), tamże responsa na każdą rzecz napisane — przełożyć na Ruskie, — ale wolałem to komu wcześniejszemu zostawić...

(РИБ, XIX, 899—900).

А со powiadasz: że бито, до więzienia sadzano, gwałtem do tey iedności przymuszano, — to nieprawda, Philalecie! Dano było iednemu szewczykowi, a snać temusz, co się to precursorem

²² Перу того же Ипатия Потя принадлежат еще два полемических сочинения в пользу унии: «Ответ клирику острожскому» («Отписъ на листъ ниякого клирика острожского безъименного, который писалъ до владыки володымерского и берестейского», 1598 г.; то же на польском языке — «Odpis na list nieiakiiego kleryka ostrozskiego bezimiennego, ktory pisał do wladyki Włodzimierskiego y Brzeskiego» 1599) и «Лист к князю Константину Константиновичу Острожскому 3 июня 1598 года» (опубликован также на двух языках).

емъ отъ старосты; але не за то (хотя бы за таковое блюзнерство огня былъ годен!), але за то, ижъ до вряду замкового, будучы заволаный, ити не хотелъ, и слугу подъстаростего зсоротилъ.

vdziełał, (a inszego Krystusa wskazował) od starosy kiiem; ale nie za to (chocia by za takowe bluźnierstwo ognia był godzien!), ale za to, isz do vrzędu zamkowego, będąc pozwany, iść nie chciał, sługę podstarościiego zesromocił.

(РИБ, XIX, 941–942.).

Отрывок из «Отниса»:

Блазенъ бы то кождый таковой быти мусель, если бы для того, ижъ недавно выдруковано, о речи добре ведомой мель вонтьпити!

Błazen by to każdy taki bydź musiał, ieśliby dla tego, isz niedawno wydrukowano, o rzeczy dobrze wiadomey miał wątpić!

(РИБ, XIX, 1105–1106).

Наиболее популярными полемическими произведениями католиков были сочинения иезуита Петра Скарги, издававшиеся на польском языке. Из переводов на «западнорусский» нам известно только «Описание и оборона събору русского берестейского, въ року 1596, мѣсеца октебра, пристойне одъ старъшихъ згромаженого. У Вильни. Року Божего нароженья 1597»²³.

Образец языка:

Rzeczecie: «nie może trwać to ziednoczenie, iako y inne trwały». A kto wie darow Bozych hoyność e szafowanie? Dali Bog, ta będzie trwała. Bo iuz Grekowie y patryarchowie Carogrodzcy (czego się, Boże, pożał) poniżeni barzo od Pana Boga, zapalać was y burzyć do odszczerpieństwa iuz nie mogą.

Речете: «не можетъ трвать такъ тое зъедноченье, яко иные не трвали». А хто ведаеть даровъ Божыхъ гоиность и шафованье? Дастъ ли Богъ, тутъ будетъ трвала. Бо вжо Кгрекове и патриярхове Царогородские (чого се пожалъ, Боже) понижени барзо отъ Пана Бога, запалять васъ и бурыть до отщепенства вжо не могутъ.

(РИБ, XIX, 311–312).

²³ Следует отметить, однако, что авторство П. Скарги в отношении упомянутого сочинения не установлено окончательно. П. Гильтебрандт, редактор третьей книги «Памятников полемической литературы в Западной Руси» (СПб., 1903) не ставит авторства П. Скарги под сомнение. А. Мартель (Martel, 1938, p. 133) сопровождает указание автора — П. Скарги — знаком вопроса. Сама книга вышла без указания автора.

Даже при достаточно беглом взгляде на приведенные выше отрывки становится ясным, что «западнорусский» язык тяготеет в одних случаях более к древнеславянскому (ср., например, сохранение в языке В. Тяпинского дательного самостоятельного²⁴); в других — к польскому (ср. не только полный параллелизм в синтаксисе и лексике, но и передачу ряда фонетических черт, например, *вонтъпнѣти* — *wątpić* и т. п.). Наиболее непроницаемой в «русской мове» была морфология, но и она — не едина, не вполне устойчива и не лишена, в ряде случаев, некоторых инославянских (польских, древнеславянских) черт. При всей своей показательности, наглядности и характерности для того времени, параллельные тексты не отражают достаточно полно общего многообразия типов «русской мовы», принятой в литературе (исключая, однако, юридические акты, административные и хозяйственные документы, т. е. деловой язык).

Время бытования параллельных текстов непродолжительно: с конца XVI в. до 30-х гг. XVII в. Однако этот период очень важен для процессов формирования древнеславянского языка позднего периода (виленского и киевского центров), «русской мовы» и проникновения польского литературного языка на территорию Белоруссии и Украины. Параллельные тексты, написанные на «русской мове» и польском языке, характерны только для полемической литературы, которая, начиная с 30-х гг. XVII в. и вплоть до 60-х гг. того же века, ведется почти исключительно на польском языке (в том числе и православными). Одноязычные тексты, т. е. известные только на одном «западнорусском» языке, часто демонстрируют более тесную связь с традицией, сохраняют значительную близость к древнеславянскому литературному языку. Таким памятником, например, является рукописное «Списание против люторов» (1580) и ряд других произведений. «Проста мова» Ивана Вишенского, деятельность которого связана с Афоном, изобилует церковнославянизмами. Противоположным по своему характеру, хотя и близким по субстратно-диалектной основе можно считать язык Захарии Копыстенского, который в своей знаменитой рукописной «Палинодии» (1621) продемонстрировал довольно чистую «русскую мову», почти лишенную церковнославянизмов и базирующуюся на украинской народной речи.

²⁴ О церковнославянизмах в языке В. Тяпинского и Ф. Скорины см.: Жураўскі, 1958.

К компромиссному решению стремился их современник и земляк Кирилл Транквилион Ставровецкий, пытавшийся даже обосновать в предисловии к книге «Зерцало богословия» (1618) необходимость синтеза «простого» языка и «словенского»²⁵. На Украине и в Белоруссии литература конца XVI и особенно начала XVII в. изобиловала различными опытами создания нового литературного языка. Основным материалом все чаще выступает народная диалектная речь, однако она фиксируется не в чистом виде, а сильно препарированная для нужд литературного языка (возможно, подобную «препарацию» подготавливало львовское, виленское и киевское койне), часто с меньшим или большим (иногда и преобладающим) числом церковнославянизмов или полонизмов²⁶.

В этой ситуации, так же как и в «кризисе» церковнославянского (древнеславянского) языка и литературы, было бы неправильным видеть что-либо предосудительное. Напротив, шел интенсивный процесс формирования новой литературы и новых литературных языков, процесс, сопутствующий развитию гуманистических идей, освобождению от средневековой схоластики. Историк литературного языка вряд ли сможет без вреда для своих исследований игнорировать процессы, наблюдавшиеся в истории литературы того времени. Возникновение новых задач, ставших перед литературой, новых жанров, расширение и в значительной степени изменение ее функций; ее более светский и полемический характер, наконец, появление массового читателя —

²⁵ «Вѣдѣи ѿгнѣ ласкавыи читѣнникѣ дѣлѣ чѣгѣ покладѣлосѣ въ той книзѣ прѣстыи ѿзыкъ и словѣнскѣи, ѿне всѣ по прѣстѣ. та причина ѣсть по словѣнскѣи сѣ клѣли слова бѣгословцевѣ и доводѣ письма стѣгѣ. а дрѣгое ѿжь слова нѣкѣторѣи словѣнскогѣ ѿзыкъ трѣдныи на прѣстыи ѿзыкъ таже неладно понѣтын ѿко тѣ качество ѿбо ѿкости по прѣстѣ. и много таковоухѣ найдѣтсѣ, лѣчь прѣстѣковѣи всѣ крѣво хотѣи и напростѣйше, а мѣдрѣи и крѣвоѣ справити мѣже». «Зерцѣло Бѣгословѣи» из «Предмовѣи» (цитируется по Уневскому изданию 1692 г., стр. ѿ оборот).

²⁶ Следует отметить также обратный процесс: в польском языке «во второй половине XVI в. начинают усиливаться восточнославянские и украинские и белорусские влияния ..., им предстояло сыграть в будущем большую роль по сравнению с мимолетными воздействиями итальянского или французского языка ... Особенно возрастает число этих заимствований, равно как и пришедших через Русь заимствований из восточных языков (татарского и турецкого), во второй половине XVII в.» (см.: Лер-Сплавинский, 1954, с. 199–200).

все это отражалось на судьбах литературного языка. Процессы, происходившие на Украине и в Белоруссии, находили свое типологическое соответствие в большей или меньшей мере и в центральной Европе, и в Московской Руси, и у южных славян, и, естественно, в Польше. Описывая ход истории польского литературного языка, Т. Лер-Сплавинский отмечал, что «около середины XVI в. постепенно наступил перелом: наряду с латинской письменностью, которой суждено было еще развиваться и дальше, в течение почти всего XVII в., возникает и начинает развиваться литература на польском языке. Она не ограничивается теперь одними псалтырями и молитвенниками, предназначавшимися преимущественно для женщин и для простого народа, но дает произведение разнородного содержания, как духовного, так и светского, предназначенные для всего образованного и жаждущего знаний общества» (Лер-Сплавинский, 1954, с. 159).

Если попытаться в самом схематическом и упрощенном виде представить жанровое разнообразие литературы, бытовавшей в интересующий нас период на Украине и в Белоруссии, и функционирование в ней различных языков (древнеславянского, «русской мовы», польского), то это можно выразить в таблице, данной на с. 130.

Возникшими, в общем неизвестными до второй половины XVI и начала XVII в. жанрами была достаточно многочисленная полемическая литература (около 140 произведений, сочиненных православными, униатами и католиками), отдельные виды церковно-ораторской литературы (погребальные слова, недельные проповеди и т. п.), новые виды исторических сочинений, почти вся виршевая, драматическая и сатирическая литература; в сфере конфессиональной литературы появился новый и важный тип произведений — катехизисы, расширилась сфера собственно гомилетической литературы. Во всех этих жанрах широко применялась «русская мова», иногда почти без церковнославянизмов, иногда, как, например, в церковно-проповеднической литературе, число церковнославянизмов было уже столь значительно, что следует говорить об использовании древнеславянского литературного языка. Показательно, однако, что «русская мова» проникала и в сферу конфессиональной литературы, в каноническую, евангельскую литературу: иногда лишь в частичном симбиозе с церковнославянским языком (переводы Ф. Скорины), иногда же и в более значи-

Литературный жанр	Язык		
	др.-слав.	русск. мова	польск.
Конфессиональная литература			
Литургическая (служебники, требники, часословы и т. п.)	+	—	—
Каноническая («Священное писание»)			
а) псалтырь, апостол	+	+*	+*
в) евангелие, библия	+×	+	
Гомилетическая (включая учительные евангелия)	+×	+	
Агиографическая	+×	+*	+
Дидактическая (катехизисы)		×+	+
Конфессионально-светская литература			
Церковно-ораторская	+×	+	+
Полемическая	×	+	+
Светская литература			
Исторические сочинения	×	+	+
Переводные повести	×	+	+
Виршевая	×	+	+
Драматическая		+	+
Сатирическая		+	+

Примечание. Знак * обозначает единичность случаев; знак × указывает на переходно-смешанный тип.

тельном (переводы В. Тяпинского, Пересопницкое, Житомирское евангелия, евангелие Негалевского). Нарративный характер «Нового Завета» и «Ветхого» этому способствовал. Но определяющим был здесь, пожалуй, другой дифференциальный признак — вероисповедный (см. таблицу ниже). Наиболее устойчиво сохранялся древнеславянский в псалтыри, служившей основой при овладении грамотой и выдержавшей около 30 изданий. Ф. Скорина в своем издании псалтыри решил дать лишь некоторые глоссы «не рўшаючи самое псалтыри ни в чемъ же», но нам известны два рукописных опыта перевода псалтыри с польского на «западнорусский» язык (Карский, 1896).

В связи с вопросом о языке псалтыри, евангелия и вообще книг рассматриваемого периода следует подчеркнуть важность применения статистического критерия: было бы полезно учесть все известные нам издания на древнеславянском языке и «русской мове» и установить их приблизительное количественное соотношение по жанрам. Рукописные тексты нужно учитывать отдельно. Правда, незнание нами тиражей отдельных книг сделает такой подсчет приблизительным, однако это не снимает необходимости подобной работы. Наконец, несколько различно было отношение к древнеславянскому литературному языку, «русской мове», польскому языку, смешанному «русско-древнеславянскому», смешанному польскому с «русской мовой» в среде представителей разных вероисповедных групп. Некоторое представление об этом может дать опять-таки значительно упрощенная и схематическая таблица на с. 132, в которой сознательно не учитываются дипломатика, памятники юридического и хозяйственно-экономического характера и т. п.

Обе приведенные таблицы свидетельствуют о том, что многоязычие в Западной Руси — Украине и Белоруссии не носило характера совершенно стихийного и функционально не упорядоченного явления. Наблюдается определенная закономерность в разделении сфер функционирования, отмеченная, кстати, еще современниками. Известно указание униатского епископа Иосафата Кунцевича (см. его «Уставы свѣтго Иосафата архієпископа Полоцкаго списаны для презвитеровъ», рукоп. 1700 г.) о том, что «кгда тежь читаю^т свѣа^нгеліе, або какю молитву в голб^ѣ, або ектеніи, не маю^т выклада^т словѣ^нски^х словъ по рѣ^нкѣ, але такъ читати яко написано. Читаніе свѣа^нгеліе або житіе свѣа^нгеліе читаючи люде^м, могу^т выкладати...» (цит. по кн.: Карский, 1921, с. 143). Все же необычайная широта языкового спектра в Западной Руси (Украине и Белоруссии), начиная от древнеславянского и доходя через различные переходные типы и варианты «русской мовы» до польского, появление новых литературных жанров и использование в них бурно развивающегося «западнорусского» литературного языка («русской мовы»), наконец, проникновение последнего в сферу традиционной конфессиональной литературы, где раньше безраздельно господствовал древнеславянский язык, вызвало кризис древнеславянского языка и необходимость борьбы за его нормализацию и стабилизацию. Именно этот факт, а не упадок образованности и

Литературный жанр	Вероисповедание			
	право-славные	униаты	като-лики	протес-танты
Конфессиональная литература				
Литургическая (служебники, требники и т. п.)	др.-сл.	др.-сл.	лат.	—
Каноническая				
а) псалтырь, апостол	др.-сл.	др.-сл.	лат., польск.	русск.*
б) евангелие, библия	др.-сл., русск.	др.-сл., русск.	лат., польск.	русск.
Гомилетическая (включая учительные евангелия)	др.-сл., русск.	др.-сл., русск.	лат., польск.	русск.*
Агиографическая	др.-сл., русск./ др.-сл.	др.-сл., русск./ др.-сл.	польск. (русск.)*	—
Дидактическая (катехизисы)	русск., др.-сл./ русск.	русск., др.-сл./ русск.	лат., польск. (русск.)*	русск.
Конфессионально-светская литература				
Церковно-ораторская	др.-сл./ русск., русск., польск.	др.-сл./ русск., русск., польск.	лат., польск.	
Полемическая	русск., польск., русск./ польск.	русск., польск., русск./ польск.	русск., польск., русск./ польск.	
Светская литература				
Исторические сочинения] не дифференцировались по вероисповедному признаку			
Переводные повести				
Виршевая				
Драматическая				
Сатирическая				

Примечание. Знак * обозначает единичность случаев.

малопонятность языка²⁷, как полагали многие исследователи, явился главной причиной кризиса и основным стиму-

²⁷ А. С. Архангельский отмечает, что «во времена Курбского в Литовской Руси, по-видимому, легче можно было найти человека, знающего греческий или латинский язык, чем знающего язык славянский; по край-

лом, побудившим Лаврентия Зизания, Мелетия Смотрицкого, деятелей Острожского кружка и других приняться за нормализацию древнеславянского языка в плане лингвистическом, за защиту его авторитета и распространения в плане общественно-политическом. Не случайно поэтому возникновение первых грамматик древнеславянского языка произошло именно на территории Западной Руси (Украины и Белоруссии), т. е. там, где в этом особенно остро ощущалась необходимость, и не случайно, что на территории всего греко-славянского ареала вплоть до середины XVIII в. не появилось ни одной грамматики отдельного славянского «народного» (литературного) языка, подобной многочисленным грамматикам, возникшим вне этого ареала: чешским — Бенеша Опата и Петра Гзеля (1533), Матвея Бенешовского (1577), Яна Благослава (1571), Лаврентия из Нудождер (1603) и др., словенской — Адама Богорича (1584) и др., хорватской — Бартола Кашича (1604) и др., польской — Петра Статориуса (1568), Франциска Менинского (1649)²⁸ и др. Авторитет древнеславянского литературного языка был еще достаточно силен и на нем по-прежнему зиждилось начальное обучение и дальнейшее образование (уже наряду с греческим и латинским) (См.: Харлампович, 1898; 1902; Каптерев, 1889; Соболевский, 1892). Способ нормализации

ней мере такое мнение выражал сам Курбский» (см. Архангельский, 1888, с. 8). Это положение основывается на известном высказывании князя Курбского о том, как трудно найти переводчика на древнеславянский язык — «аще ... и добуду грецкимъ умъюшаго, або латинскимъ: но словенскій не будутъ умѣти» (см. Сказания князя Курбского, 1868, с. 224). Однако для интересующего нас периода, вероятно, в полной мере справедливо замечание М. Н. Сперанского: «Что же касается жалобы Курбского, что трудно найти человека, хорошо знающего по-славянски, то, если это не преувеличение со стороны ревностного деятеля, эту жалобу приходится признать не особенно существенной; конечно, далеко не одно и то же списывать аккуратно славянские тексты, каких много дошло до нашего времени от этой эпохи и из западных областей, и вновь переводить на мертвый, притом близкий еще к родному языку. Но не надо забывать, что мы имеем дело с концом XVI века, когда славяно-греческие школы уже широкой сетью раскинулись по краю, когда деятельность того же Курбского и Острожского продолжалась в интересах охранения старого языка уже не одно десятилетие; жалоба же Курбского относится к начальному периоду этой деятельности» (Сперанский, 1904, с. 386).

²⁸ Полную библиографию старых польских грамматик и словарей см.: Мауенова, 1955.

древнеславянского литературного языка в начале XVII в. был двойким. Один — более древний, который по терминологии того времени можно назвать «исправлением книжным», заключался в филологической обработке древних текстов, преимущественно канонического содержания, в работе, основанной на соблюдении принципа «святой старины» и ставящей своей задачей в общем сохранение архетипа. Всякая филологическая вольность и отклонение от представлений о норме рассматривались как «растление» и «бляденіе діавольское» и могли повлечь за собой в Московской Руси жестокую кару вплоть до острога и заточения. В довольно многочисленных, хотя и отрывочных свидетельствах о текстологической работе на Руси вопросы, которые нам сейчас кажутся чисто филологическими и грамматическими, идут наравне или перемешиваются с вопросами догматическими, т. е. наиболее важными и авторитетными. Сравнить хотя бы уже упоминавшееся прение в Московской книжной палате, где наряду с вопросами о формах аориста *собра* и *изведе*, опатива *да освятится*, *да приидет*, *да будет*, лексических *купина* и *куст* разрешались злободневные для того времени догматические вопросы о «единстве Троицы», о «кратности суда божия» и т. п. (Прение, 1859, с. 81, 88, 95 отд. пагинации). Здесь нет нужды в дополнительной аргументации и иллюстрации, — каждый, кто знакомился с обстановкой вокруг никоновской реформы и начала старообрядчества, хорошо себе представляет ситуацию в Московской Руси. В Западной Руси, как уже отмечалось, филологическая вольность не влекла за собой какой-либо строгой физической кары²⁹, однако и здесь многие ревнители восточной церкви и ее «святой старины» понимали свою задачу в том же плане, — достаточно вспомнить хотя бы уже приведенную цитату из раннего Ивана Вишенского,

²⁹ Согласно указу от 1 июня 198 [1689] г. «а буде за симъ великихъ государей указомъ тѣ книжные справщики самовольствомъ на чистыхъ переводѣхъ стануть реченія перемѣнять или убавливать или прибавливать или переправливать вновь не противъ нынѣшнихъ печатныхъ книгъ и о тѣхъ ихъ переправкахъ наборщикомъ всѣхъ становъ извѣщать въ приказѣ книгопечатного дѣла начальнымъ людемъ а имъ начальнымъ людемъ о томъ потому же докладывать святѣйшаго патріарха и книжнымъ справщикомъ въ тѣхъ переправкахъ за непослушаніе къ великимъ государемъ быть въ жестокомъ наказаніи...» (см.: Мансветов, 1883. Приложение В, с. 58–59).

утверждавшего, что «языкъ простымъ прилѣжнымъ чтаніемъ безъ всякаго ухищренія к Богу приводитъ, простоту и смиреніе будуетъ и Духа святаго подѣмлетъ», и потому не нужна ни грамматика, ни риторика, ни тому подобное³⁰. Естественно, что такая «текстологическая» работа вела к нормализации древнеславянского литературного языка в основном в сфере канонических текстов и текстов, унаследованных от предшествующих эпох³¹, главным образом от второго южнославянского влияния; все, что оказывалось вне этой сферы (в основном сферы конфессиональной лите-

³⁰ См. Акты, 1865, с. 210; впоследствии (после 1604 г.) Иван Вишенский несколько изменил свою точку зрения: он призывал «въ первыхъ, ключъ, или грецкую или словенскую грамматику, да учать», а в посланиі к старице Домникии писал: «Не бо азъ хулю грамотичное ученіе и ключъ къ познанію складовъ и речей, яко же нѣцыи мнать...». См.: Вишенский, 1955, с. 163, 249. В Московской Руси во второй половине XVII в., во всяком случае после выхода в Москве грамматики Мелетия Смотрицкого, считалось недостаточным лишь текстологическое изучение древнеславянского языка («простообычное») и ставилась задача овладения правилами грамматическими. Это мнение отражено в «Панисия Лигарида опровержении челобитной попа Никиты» (1666), где между прочим говорится: «Иллирическа, или славенска языка весьма учитися подобаетъ Россомъ, но со правиломъ грамматическимъ, а не просто — обычно и кромѣ основанія обычаемъ... [одно слово не разобрано]. Ибо языкъ истинно преславный есть, и зѣло преславенъ, якоже отъ самого реченія слава явѣ есть, аще что и противно повѣствуетъ Прокопій, отъ имени Греческаго ... оно производяще, отъ плѣнниковъ прешествія. Ибо сей языкъ вамъ матерній нещуется и отъ дву святую отцу, Меѳодіа и Кирила, пречудно расширенъ же и просвѣщенъ» (см. Материалы для истории раскола, 1894, с. 240). Любопытно употребление термина «иллирический» как синонима «словенский», свидетельствующее о том, что идеи славянского единства, пробудившиеся в XVI в. и широко распространенные в XVII в. у южных славян (особенно в западной их части), проникали разными путями и в Московскую Русь. Одними из посредников могли быть венецианские греки. Таким образом, Юрий Крижанич в этом отношении не был в «Московии» одинок. Термин «иллирический» довольно широко употреблялся и в петровскую эпоху, но больше применительно к южным славянам.

³¹ Весьма важно учитывать, какие книги предшествующих эпох считались «справочными, правильными» при «исправлении книжном», каков был библиотечный арсенал «правщиков». Известно, что в начале и в середине XVII в. в Москву выписывались рукописи из Пскова, Новгорода, Кирилло-Белозерского монастыря и других мест «на Печатный Дворъ для книжные справки». В нашем распоряжении покамест имеется только одно, образцовое в своем роде исследование: Покровский, 1916.

ратуры), с трудом поддавалось нормализации: были жанры и контексты, не имевшие своего стилистического, лексического и даже грамматического соответствия в конфессиональной литературе. Это было обширное поле для смешения двух стихий — древнеславянской и народно-разговорной.

Второй путь нормализации, до начала XVII в. почти не применявшийся в ареале греко-славянского мира и принятый не без влияния филологических традиций, установившихся в мире славяно-латинском, — путь создания грамматик, выработки грамматических норм для древнеславянского языка и фиксация его словарного состава в лексиконах. Дело в том, что до появления грамматики Мелетия Смотрицкого у восточных и южных славян фактически не было грамматической кодификации древнеславянского языка, так как известные, собранные почти все И. В. Ягичем (Ягич, 1885–1895) грамматические труды, начиная от «Восьми частей слова» и рассуждения Константина Философа «О письменах» и кончая грамматическими трудами Максима Грека, касались главным образом орфографии, правописания «иноземных имен и речений», преимущественно греческих, и частных, отрывочно взятых грамматических вопросов. О том, что нужда в достаточно полных грамматических пособиях на Руси была велика, свидетельствует перевод Доната, который также не может считаться кодификацией древнеславянского языка. Не выполнили этой задачи, хотя и гораздо ближе подошли к ней, предвосхитившие труд Мелетия Смотрицкого «Букварь» Ивана Федорова (1574), «Грамматика» Львовской Братской типографии (1591) и виленская «Грамматика» Лаврентия Зизания (1596), возникшие в рассматриваемый нами период тоже в Западной Руси (см. Шолом, 1958).

К концу XVI и в самом начале XVII в. в Западной Руси были успешно применены упомянутые мною два способа нормализации древнеславянского языка — текстологический и грамматический. Первый нашел свое яркое выражение в деятельности Острожского кружка (Харлампович, 1897), с которым были связаны усилия и князя Курбского, и отчасти старца Артемия, увенчавшиеся великолепным изданием знаменитой Острожской библии (1581). Текст этой библии, соответствующий в основном фундаментальной Геннадиевской библии 1499 г., оказался для позднего периода истории древнеславянского литературного языка канониче-

ским; он воспроизводился почти без изменения в Москве в 1663 г. и был известен во всем греко-славянском мире как образец вплоть до появления новой редакции в XVIII в., на основе указа Петра I от 14.XI.1712 г. (См.: Евсеев, 1916, с. 74–101; Евсеев, 1916а; Иконников, 1915, с. 33–34). Текст и язык Острожской библии, принятый не только восточными славянами, в том числе и старообрядцами, но и южными славянами — сербами, болгарами, отчасти хорватами и, наконец, валахами и молдаванами, — послужил моделью-эталоном для языка канонических древнеславянских текстов позднего периода (Сперанский, 1914, с. 86–88; Евсеев, 1916, с. 107–137). Естественно, что этот язык не только сильно отличался от языка ранних канонических текстов старославянской эпохи, но он отличался и от языка среднего периода истории древнеславянского языка XIV—XV в. и был ярко выраженным образцом позднего восточнославянского извода, без юсов и ряда других характерных старо- и среднеславянских черт. Однако такой извод в рассматриваемую нами эпоху оказался авторитетным образцом для всего греко-славянского ареала: вот почему мы его принимаем за общую и в какой-то мере обязательную для всех норму позднего периода истории древнеславянского литературного языка.

Литература, в жанровом отношении подчиненная классическому каноническому кругу, но входящая в следующий ярус, более близкий к светскому фундаменту, была проникнута еще более восточнославянскими, особенно западнорусскими элементами, хотя и оставалась по своему языку, в общем, церковнославянской (древнеславянской). Нормированием такого языка во многом и занималась грамматика Мелетия Смотрицкого, отразившая собой, при всем ее сопротивлении стихии «простой мовы», языковую ситуацию Западной Руси. Но грамматика Мелетия Смотрицкого отразила и филологические воззрения своего времени, требующие взгляда на древнеславянский язык сквозь призму греческого языка³². По справедливому замечанию проф. П. М. Ви-

³² Паисий Лигарид в своем опровержении челобитной попа Никиты писал: «Рѣчь, яко первіе языку греческому изучитися льпотствует того ради, занеже бо есть корень и прискрій языкъ. Ти бо, иже гречески писанія, яко же святїи и евангелистове, духа святаго вдохновеніемъ писанія греческая изобразиша. Ибо болшая есть чистота источника, нежели потока. Отнюдуже, къ началу греческихъ реченій, аки къ твер-

цилли, на которое обратил внимание В. В. Виноградов в своем исследовании о языке М. В. Ломоносова, «каждый национальный язык начинается с того, что является “вульгарным” простонародным языком и развивается по образцу другого, “высшего” языка, языка, служащего для него “классическим”. Таким классическим языком был в свое время (...) для староболгарского — греческий “общий” язык; позже для всех православных славян — уже тот же староболгарский, ставший для них “классическим” в качестве языка церкви, “церковнославянского”. Структуры данного “вульгарного” языка и соответствующего “классического” определяют собою отношения второго к первому, а тем самым характер эволюции “вульгарного” языка» (Бицилли, 1932, с. 221–222; Виноградов, 1961а).

Деятельность в Западной и отчасти Московской Руси по установлению грамматических и даже лексических норм древнеславянского литературного языка была по отношению к «классическому» греческому языку в какой-то мере ренессансом Кирилло-Мефодиевской миссии и ситуации³³, с

дыни, въ недоумѣнныхъ вещьхъ прибѣгаемъ, паче же аки къ источнику нетлѣнному жаждущи притекаемъ...» (Материалы для истории раскола, 1894, с. 236). Число подобных высказываний современников, притом отнюдь не только греческого происхождения, можно было бы значительно умножить.

³³ Любопытно отметить, что в Западной Руси (на Украине и в Белорусии) в полемике с «латинянами» и «папезниками» прибегали к авторитету Кирилла и Мефодия, подробно излагали, цитировали и комментировали некоторые места из их жития (см., например, «Палинодию» З. Копыстенского — РИБ. СПб., 1878. Т. IV, кол. 986–990). К их же авторитету пытались прибегнуть и сторонники католической партии (см., например, «Оборону унии» Л. Кривзы — РИБ. СПб., 1878. Т. IV, кол. 225–226). П. Скарга, как известно, упрекал православных в незнании греческого языка (см. его «O Jedności ...» — РИБ. СПб., 1882. Т. VII, кол. 486) и утверждал фактически превосходство латинского как одного из самых богатых и функционально интерлингвистического. Этой концепции противостояла другая, хорошо выраженная З. Копыстенским: «И слушне: маеть бо вѣмъ языкъ славенскій таковую въ собѣ силу и зацность, же языку грецкому якобы природне съгласуетъ, и власности его съчиняется: и въ перекладъ свой приличне, и не яко природне онъ беретъ и пріймуетъ, въ подобныи спадки склоненій и съчинения падаючи; венць, и найзвязнѣйшее сложное грецкое слово, подобнымъ такъже вязнымъ, и сложнымъ по словенску выложити есть можно, чого доводомъ есть, же латинскій переводники таковыи слова, обширне зъ околичностями на свой прикладають языкъ, многими око-

той только разницей, что отдельные ультра-«грекофильские» опыты были иногда еще более крайними, но, к счастью, в конечном итоге почти всегда окказиональными. Это вызвало в ту пору ряд протестов, среди которых, как известно, был и голос Ю. Крижанича³⁴.

Выход в свет грамматики М. Смотрицкого в Москве в 1648 г. можно считать значительной вехой, символизирующей победу московского центра и утверждение за ним доминирующего авторитета в отношении норм древнеславянского литературного языка во всем греко-славянском ареале³⁵. Дата выхода совпадает с началом ратных походов за объединение Руси Малой и Великой (Украины и России — 1648–1654 гг.), с периодом максимальной экспансии польского шляхетства и, скажем, одновременно польского языка на Руси Белой (см. Martel, 1938). Московское анонимное издание 1648 г. не было, как известно, простой перепечаткой: в грамматику вводился ряд общевеликорусских черт, например, значительно изменились парадигмы склонения (см. Кузнецов, 1958, с. 33–36). Впрочем, следует отметить, что эти «нововведения» фиксировали то, что уже бытовало в древнеславянском языке позднего московского «извода».

Рамки настоящего раздела не дают возможности охарактеризовать подробно менее сложную, чем в Западной Руси, но все же достаточно своеобразную языковую ситуацию на Руси Московской. Ряд новых исследований, посвященных

личностями ширити мусят». Копыстенский отмечает, что латинский язык недаром сравнивают «до ученой конской едноходы: а грецкий до приржоной», славянский же «есть знаменить... и славный быть: для чого отъ славы славянскимъ названный естъ» (см. «Предмову» к беседам «Иже въ святыхъ отца нашего Иоанна Златоустаго ...». Киев, 1623, типогр. Киево-Печерской Лавры, л. 4).

³⁴ Ю. Крижанич писал: «како сѣт Греки нашѣ бесидѣ на своѣ копито набѣли: сѣ јест, вѣс состав и обличје нашего језика (: по обзорѣ на своѣ језик:) изо дна извратили и претворили: тако да ни он јест Грецкиѣ, ни он Рѣскиѣ језик. Гледи раздѣла јд. (см. Крижанич, 1859, с. IV).

³⁵ К сожалению, еще нет единого обобщающего труда, в котором бы исследовалась богатая традиция и история изданий и переделок грамматики Мелетия Смотрицкого во всем греко-славянском ареале. Однако существует ряд предварительных работ, где излагается судьба грамматики Смотрицкого или ее влияние на грамматическую мысль в разных локальных ареалах — Сербии, Далмации, Болгарии, Валахии, Молдавии, Закарпатье; см.: Засадкевич, 1883; Кулаковский, 1903, с. 162–165 отд. оттиска; Stojković, 1930; Дылевский, 1958; Strungaru, 1960; Панькевич, 1927.

начальному этапу формирования русского национального языка, довольно полно осветил интересующую нас эпоху³⁶.

По общему признанию, литературный язык Московской Руси в эту эпоху не был единым. В общих чертах можно признать наличие двух типов — «народно-разговорного» и «книжно-славянского», однако, с одной стороны, каждый из них в отдельности существенно отличался от соответствующего «типа» предшествующей эпохи, с другой стороны, становились иными их соотношения и функциональная валентность.

Существенное расширение состава литературы в конце XVI в. и особенно в XVII в. привело к демократизации языка значительной ее части. Бытовавший и в прежние эпохи канцелярский, теперь «приказный» язык и уже достаточно оформившийся разговорный язык — «московское» койне нашли свое яркое выражение в демократической литературе, в повествовательной прозе: в «гишториях», «сказаниях», «баснословных повестях» и «смехотворных письмах»³⁷.

Этому языку противостоял древнеславянский, приукрашенный западнорусским казнодейским «барочным платьем» и продолжавший, в значительной мере, хотя и в несколько иной, частично латинизированной, форме традицию «плетения словес» эпохи второго южнославянского влияния. В сфере древнеславянского языка московского типа в интересующий нас период более в области стилистической, или синтаксической и лексической, чем в формально-грамматической, существовала также двойственность — два «типа», или две разновидности. Во-первых, уже упомянутая разновидность с цветистым «барочным платьем» и, во-вторых, разновидность со сравнительно строгой «чистотой древних риз», не принимавшая крайностей стилистической системы барокко и стоявшая на том, чтобы, по словам Зиновия Отенского, «не премѣняти простыя рѣчи на краснѣйшія» (Зиновий Отенский, 1863, с. 967). Подобно тому как народно-ли-

³⁶ Из работ после IV съезда славистов см. дискуссию «Об образовании восточнославянских национальных литературных языков» в ВЯ за 1959–1962 гг.; Начальный этап, 1961; Вопросы образования, 1962.

³⁷ Терминология взята нами в основном у современника — стольника Ивана Бегичева (см. его «Послание о видимом образе Божиим» 1640 г.). О соотношении «московского» койне с древнеславянским языком, приказным языком, диалектной речью и языком фольклора см. Толстой, 1963б.

тературный язык и книжно-славянский распределялись в общем по разным жанрам, две разновидности древнеславянского языка также имели свою жанровую дистрибуцию.

Древнеславянский без «краснейших» речей обслуживал унаследованную от предшествующих эпох каноническую и примыкающую к ней литературу конфессионального характера, а также вновь возникающие произведения, близкие к этому кругу. Такая разновидность древнеславянского языка представлена, например, в «Синодике» XVII в. (Петухов, 1895). Древнеславянский, преисполненный «красных слов», барочного красноречия, обслуживал исключительно новые произведения и жанры, в основном ораторского и ораторско-полемиического типа с большей степенью западнорусского влияния, например, сочинения Епифания Славинецкого, Симеона Полоцкого, или с меньшей — например, сочинения раскольника Герасима Фирсова³⁸.

И. П. Еремин справедливо отмечает, что «“славенский” язык в эти годы обнаруживает тенденцию к своеобразной изоляции, к выделению в особый, рафинированный язык, призванный обслуживать преимущественно “высокие” формы литературы ... Сугубо книжный, рассчитанный на узкий круг знатоков и ценителей, он подчас наглухо замыкается в своей собственной системе, искусственно, теплочно взращенной»³⁹.

Это стремление к изоляции справедливо связывается с жанровой дистрибуцией. Однако ни изоляция древнеславянского языка, ни жанровая дистрибуция не были достаточно четкими и устойчивыми. Были гибридные образцы, из которых наиболее любопытны почти мозаично разнородные по языку памятники старообрядческой литературы (см. Виноградов, 1923; Sørensen, 1957). На некоторую условность жанровой дистрибуции указывают отдельные произведения и жанры (например, переводная историческая литература, см. Иссерлин, 1961), которые служили своеобразным полем для соперничества древнеславянского и народно-литературного русского языка. Был, наконец, новый деловой, науч-

³⁸ См. Никольский, 1916. См. краткую характеристику языка Фирсова в «Очерках по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.» В. В. Виноградова (Виноградов, 1938, с. 34).

³⁹ См. ответ И. П. Еремина на вопрос «Какова была роль художественной литературы в развитии русского литературного языка со второй половины XVI в. до начала XVIII в.?» (ВЯ, 1960, № 6, с. 64).

ный жанр: таковой явилась, например, возникающая специальная, частично переводная, литература — «Арифметика, сиречь наука числительная» Магницкого, «Козмография», «Аристотелева экономика» и др., где делалась попытка применения древнеславянского языка, но широко был представлен и «народно-литературный», наряду с «иноземными речениями» (см. Соболевский, 1903).

В Московской Руси постоянно скрещивались и сталкивались две противоположные тенденции — тенденция к сближению с народно-разговорным языком и тенденция к нормированию и моделированию «словенского» «высокого» языка, к его обособлению, и вытекающее из этого обращение к неизвестным в народно-разговорном субстрате лексемам и грамматическим формам. В этом отношении показателен трактат того времени «О исправлении в преждепечатных книгах», где почти всегда при наличии двух древнеславянских синонимов — русского (или общевосточнославянского) и южнославянского по происхождению — дается рекомендация и предпочтение последнему. Так, например, в соответствии с «греческим речением нефру́с», в некоторых минеях, по мнению автора трактата, неправильно пишется «Ѹтрѡбы», «славѣнски же не нѡвѡ, нѡ ѡздрѣвѣ преводѡмъ глѣтсѡ вѡбрѣги, пѡчки, ѡтѣси, нѡрки, тѡки, токоношѣнѡ». Перечисляя ряд синонимов, автор предлагает остановиться на одном синониме вѡбрѣги⁴⁰.

Перейдем к беглому обзору языковой ситуации на славянском Юге.

Если строго придерживаться установленных рамок «греко-славянского» ареала и оставить в стороне рассмотрение положения в землях Далмации⁴¹, Боснии, собственно Хор-

⁴⁰ См. Никольский, 1896; краткий анализ дифференциации синонимов в этом памятнике дан В. В. Виноградовым (см. Виноградов, 1938, с. 14, 18), который отмечает также соответствие форм времени, приводимых в трактате, нормам грамматики М. Смотрицкого.

⁴¹ XVII в. был для небольшого локального ареала хорватской глаголической письменности также поворотным моментом, с этого времени и здесь началось влияние языка восточнославянских центров древнеславянской письменной культуры. По свидетельству В. Штефанича, «второй решительный момент наступил в конце XV и в XVI столетии, когда книжный репертуар богослужебных и дидактических книг стал репро-

ватии и Славонии и ограничиться Сербией, Воеводиной, Черногорией, Македонией, Болгарией, а также Молдавией, Валахией и Трансильванией, то следует отметить, что именно интересующий нас период — вторая половина XVI в. и XVII в. — был периодом самым тяжелым и трудным для книжной образованности и письменности, порой лихолетья и глубокого застоя, который даже нельзя назвать кризисом, так как он был вызван чисто внешней причиной — усилением турецкого гнета. Битва под Веной 1683 г. была кульминацией турецкой экспансии в Европу; затем начался постепенный спад и движение вспять, которое ложилось тяжелым бременем на бесправную «раю» — христианских подданных султана. Литература в славянских землях, подвластных туркам, в этот период почти не развивалась, и многие литературные процессы, свойственные в эту эпоху восточным славянам, она переживала, правда, в ускоренном темпе, уже в XVIII в. и отчасти даже в начале XIX в. (Толстой, 1962; Гачев, 1958).

Сербское книгопечатание, предвосхитившее русское⁴², испытало в первой половине XVI в., частично на своей, частично на чужих территориях (Венеция, Тырговиште) процесс быстрого роста⁴³, почти прервавшийся, однако, к концу 60-х гг. XVI столетия, с тем чтобы возродиться с новой силой уже в XVIII столетии. В ту пору печатались книги

дуцироваться при помощи печати. Глаголяши, правда, пользовались дальше, наряду с печатными, и старыми рукописями, с незначительными нововведениями, но это не могло продолжаться долго. Рукописи окончательно вытеснил новый момент, а именно тридентская ревизия церковных книг, которой должны были подчиниться и глаголяши. Глаголические литургические книги в ревизированном виде были отпечатаны в 1631 и 1648 году, а кроме того, они удалились от старых глаголических текстов и в отношении языковой редакции — русской. Так произошел окончательный разрыв между старыми рукописями и новыми изданиями». См. Štefanić, 1960, s. 25.

⁴² Первые кириллические печатные книги появились в 1491 г. в Кракове (Швайтпольт Фиоль), в 1494 г. в Черногории (иеромонах Макарий), в 1517 г. в Праге (Франциск Скорина), в 1564 г. в Москве (Иван Федоров); первая глаголическая книга была напечатана в 1483 г. в Венеции. См. Каратаев, 1883.

⁴³ Основные центры сербского книгопечатания: Цетине — 1494, 1495; Руйно — 1537; Грачаница — 1539; Милешево — 1544, 1556; Белград — 1552; Мркшина Црква — 1562; Горажде — 1519, 1521, 1523; Венеция — 1519, 1520, 1536–1540, 1546, 1547, 1554, 1561, 1566, 1597; Скадар — 1561. См. Медаковић, 1958.

исключительно канонические — евангелия, псалтыри, минеи, служебники, октоихи: В этой сфере конфессиональной литературы средневековья южнославянская редакция довольно быстро сменяется русской, так как уже в начале XVII в. восточнославянские издания проникали на славянский Юг, а затем хлынули туда обильным потоком⁴⁴.

Влияние древнеславянского языка московского центра особенно сильно сказалось в XVIII в. на возрождающейся сербской и болгарской литературе. Оно было столь глубоким, что оставило некоторый след даже в народных говорах⁴⁵. В XVIII в. произошло восприятие южными славянами особенностей древнеславянского литературного языка позднего московского «извода», а во второй половине XVI в. и в XVII в. все еще во многом продолжались традиции средневекового славянского языка, тырновского и ресавского «изводов». Не слишком многочисленные, но все же широко распространенные в Старой Сербии, Македонии, Западной Болгарии, а отчасти Воеводине, Молдавии и Валахии и Трансильвании списки произведений, унаследованных от предшествующих эпох, были преимущественно ресавской редакции⁴⁶; язык их в основном оставался древнеславян-

⁴⁴ См. Снегаров, 1953, с. 109–120; Кулаковский, 1903, с. 74–75, 158–160 отд. оттиска; Стојановић, 1923; см. описания Б. Цонева Софийской и Пловдивской библиотек и др. Очень любопытное обследование было произведено в приходах северной Трансильвании в окраинной области древнего «греко-славянского мира». По свидетельству П. Олтяну, «недавно в двухстах церквях Бихорского района было найдено больше 900 книг, из которых: 277 были изданы в Валахии — и в том числе 115 в Рымнику Выльчи; 12 напечатаны в Москве; 2 — во Львове; 2 — в Венеции» (Олтяну, 1958, с. 79). Чем дальше на юг, тем число московских книг должно быть значительнее. К сожалению, слависты почти не занимаются такой важной отраслью истории культуры, как география книги.

⁴⁵ Так, например, в говоре южномакедонского села Дъмбени (Костурско) зафиксирована лексема *крест*, хотя согласно общей звуковой системе следовало бы ожидать *крѣст* (запись от бабы Манушевой — собств. наблюдения).

⁴⁶ «В первое время, в XVI в., болгары и сербы как будто сознают, что имеют общий книжный язык, и когда они вынуждены писать на [языке] русской редакции, они как будто извиняются, что нашли не сербский или болгарский, а русский источник. На этом сербско-болгарском языке пишется очень много сочинений, которые в первое время ближе к сербскому, чем к болгарскому языку. Так что этот язык мы можем разделить: в первый период сербизмов больше, а во второй — меньше» (Цонев, II, с. 289–290).

ским, и новые черты народно-разговорного субстрата проникали в него спорадически. Существенно иную языковую картину демонстрировали «дамаскины» — сборники поучительного содержания, возникшие по образцу новогреческого сборника «Сокровище» (Θησαυρός) Дамаскина Студита⁴⁷ (первое издание 1557–1558, Венеция) и распространявшиеся преимущественно в Болгарии и Македонии.

Они часто хорошо отражали народно-разговорную речь, своим лексическим фондом и особенно грамматическим строем сильно отличавшуюся от древней болгаро-македонской (переход от синтетизма к аналитизму, возникновение членных форм и т. д.). Вместе с тем целый ряд списков отражает гибридный язык, проникнутый иногда в весьма значительной степени церковнославянскими элементами⁴⁸. Тем не менее, от языка ряда дамаскинов, через язык Паисия Хилендарского, Софония Врачанского и других писателей конца XVIII и начала XIX в. можно провести довольно прямую линию к болгарскому национальному литературному языку.

В собственно Сербии во второй половине XVI и в XVII в. не существовало литературы на языке, достаточно ярко отражающем народно-разговорный субстрат (в отличие, например, от Дубровника, Далмации, Хорватии и Боснии). Средневековый «сербульский» тип, во многом отличный от средневекового древнеславянского в более чистом его виде, был представлен в небогатой литературе переписчиков, сохранив свою традицию до начала XVIII в., до плеяды «рачан». Из этой литературы в языковом и культурно-историческом отношении особый интерес представляют списки сербских летописей. Сербская канцелярская и дипломатическая письменная традиция (грамоты), широко распространенная в предшествующую эпоху и бытовавшая, как известно, даже при дворе турецкого султана (см. Костић, 1924), в интересующий нас период была достаточно жизненной толь-

⁴⁷ См.: Лавров, 1899.

⁴⁸ «Язык дамаскинов не представляет единства в отношении того, что мы можем назвать народными элементами, потому что дамаскины пишутся разными лицами, употребляются в различных местностях и тем самым в них вносятся различные элементы болгарского языка. Дамаскины — народные книги, и их передавали из города в город, переписывали от руки разные священники и учителя, вносившие разные элементы» (Цонев, II, с. 296).

ко в валашских и молдавских господарских и воеводских канцеляриях.

Молдавия и Валахия еще с эпохи второго южнославянского влияния, с деятельности Григория Цамблака и др. выполняла роль активной культурной посредницы между южными и восточными славянами. Эта роль во многом за ней осталась и во второй половине XVI в. и в XVII в. Несмотря на параллельное развитие литературы на румынском языке, славянская письменность и литература в этих областях продолжили свое существование. Если исключить обширную дипломатику, изучение которой, вероятно, следует производить автономно от исследования литературного языка вообще, но не исключать летописи, остается значительный круг рукописных памятников (среди них и ряд оригинальных) и печатных книг, отражающих (и это вполне естественно), то восточный, то южный типы древнеславянского литературного языка, однако преимущественно последний. В XVII в. с укреплением киевского центра древнеславянского литературного языка (см. Panaitescu, 1926), с приездом в Молдавию киевских учителей и мастеров-печатников, при господарях Василии Лупу и Матее Басарабе, устанавливается восточнославянский тип, и он сохраняется до конца бытования древнеславянского литературного языка в пределах будущей Румынии (до второй половины XVIII в.).

В XVIII в. усиливается приток церковнославянских книг из Москвы и отчасти из Киева в южнославянские земли и на Афон, распространяются нормы, установленные грамматикой М. Смотрицкого, происходит последняя в истории древнеславянского литературного языка централизация и нормализация на основе языка московского центра. Рассмотрение этого периода, чрезвычайно важного для истории восточно- и южнославянских литературных языков донациональной эпохи, уже выходит за хронологические рамки настоящего раздела.

Важно, однако, подчеркнуть одно обстоятельство. Можно, по нашему представлению, говорить о едином древнеславянском литературном языке и его истории именно на том основании, что в разные периоды его развития язык доминирующего центра становился наиболее авторитетным и почти обязательным во всем греко-славянском мире, т. е. во всех локальных ареалах. Так было в эпоху второго южнославянского влияния, так было при обратном воздействии

на южных славян в XVII и XVIII вв. Таким образом, в конечном итоге, не было локально замкнутого, независимого и параллельного развития древнеславянского языка в отдельных странах или локальных ареалах, а шел процесс развития, при котором соотношения между отдельными изводами устанавливались по принципу сообщающихся сосудов, с обнаружением стремления к общему уровню.

Старинные представления о народно-языковой базе древнеславянского литературного языка (XVI—XVII вв.)

Филологи-слависты, и в первую очередь русисты, уже неоднократно обращали внимание на то, что сведения о некоторых древнерусских нравах, представлениях и институтах оказывались более полными у иностранных писателей-современников, чем у авторов своих, русских. Удивляться этому не приходится. Для чужеземца, попавшего в «далекую» Московию XVI или XVII веков, богатую пушниной и юфтью, медом и воском, смолой и коноплей, мускусом и бобровой струей, почти все было новым, своеобразным, диковинным, требующим объяснения, а для русского человека того времени многое казалось обыденным, известным, само собой разумеющимся, не нуждающимся в толковании и описании. Многие на Руси основывались на традиции, и традиция эта строго оберегалась и соблюдалась¹. «Святой старине» следовали, ее передавали как духовный и житейский опыт следующим поколениям без анализа, исследования и описания. В нее верили. Ибо за анализом, по представлениям того времени, обычно крылось сомнение, а за сомнением могло следовать отрицание или неприятие незыблемости, сакральности, непреложности традиции². Такой подход к древнеславянской (церковнославянской) культуре, прежде всего к ее книжности, делал долгое время ненужным (или нежелательным) обращение к грамматиче-

¹ На непреложности традиции зиждется отношение к текстам у русских старообрядцев, из которых некоторые до сих пор не пользуются при богослужении книгами, изданными после Никоновской реформы, хотя, как известно, существуют и старообрядческие издания послениконовского периода: тексты никоновской справы нарушали правильность религиозных действий и сознания. К подобным нарушениям причислялись и моменты бытового плана (бритье бороды, «питие» табаку, употребление в пищу «чертова яблока» — картофеля и т. д. и т. п.).

² В письме XVI в. о «нелюбках» (неприязни) старцев Кириллова и Иосифова монастырей сказано: «Всѣмъ страстемъ мати мнѣние; мнѣние — второе падение» (это изречение В. С. Иконников взял в качестве эпиграфа к своей книге «Максим Грек и его время». См. Иконников, 1915).

скому описанию и опытам лингвистической (внетекстовой) кодификации литературно-книжного языка в пределах восточного — «греко-славянского» мира. В то время как в западном — «латино-славянском»³ мире уже был целый ряд грамматик для разных славянских языков: словенского, польского, чешского⁴, в православной Московии и в странах, где господствовал древнеславянский (церковнославянский) язык, появлялись лишь отдельные, иногда встречавшиеся с недоверием филологические трактаты, разговорники, микролексиконы — «тлъкования неудоѣ познаваемомъ рѣчьемъ» и т. п. К такому относился известный трактат Константина Костенечского (XV в.) «Сказаніе ѣзъѣвлкннѣ ѡ пісменех», в котором, однако, не описывается грамматическая система, а лишь графико-орфографическая, вкуче с филологическо-текстологическими суждениями о переводе отдельных слов; небольшие трактаты и толкования Максима Грека (XVI в.), вроде «Слова о книжном исправлении», которые, по точному определению И. В. Ягича, «касаются главным образом отдельных греческих слов и оборотов и входили, стало быть, скорее в лексикон, чем в грамматику» (Ягич, 1885—1895, с. 590); перелицованные с латинского краткие грамматические руководства, типа «Донатуса» и т. п., разговорники, вроде «Рѣчи тонкословїа гречьскаго», и азбуковники, содержащие фактический материал и служащие практическим целям.

Все упомянутые и другие памятники свидетельствуют о довольно интенсивной филологической мысли в пределах греко-славянского мира, для которой был характерен текстологический подход к книжному языку в отличие от грамматического, проявлявшегося в мире латино-сла-

³ К греко-славянскому миру из славян, как известно, относились русские (вкуче с белорусами и малороссами-украинцами), сербы, болгары (вкуче с македонцами), романцы — валахи и молдаване, пользовавшиеся древнеславянским языком, а к латино-славянскому — поляки, чехи (вкуче со словаками), лужицкие сербы, словенцы и хорваты. Особую позицию, приближающую их к греко-славянскому миру, занимали хорваты-глаголиты («глаголяши»).

⁴ В XVI и XVII вв. были изданы чешские грамматики Бенеша Опата и Петра Гзеля (1533 г.), Матвея Бенешовского (1577 г.), Яна Благослава (1571 г.), Лаврентия из Нудождер (1603 г.), польские — Петра Статориуса (1568 г.), Франциска Менинского (1649 г.), словенская — Адама Богорича (1584 г.), хорватская — Бартола Кашича (1604 г.) и др. Все они были написаны по-латыни.

вянском⁵. Это противопоставление в известной степени терминологическое, а тем самым и несколько условное (оно не охватывает всех нюансов), но термины эти, на наш взгляд, отражают суть лингво-филологических концепций, бытовавших в двух основных славянских культурных ареалах⁶. Довольно очевидно, что лишь после контактов с латино-славянским миром, откуда доходили отголоски реформации и контрреформации в результате униатского движения, равно как и борьбы с ним, в конце XVI в. в греко-славянском мире, точнее в Западной Руси, появился ряд кратких грамматик, а затем уже в начале XVII в. увидела свет знаменитая грамматика Мелетия Смотрицкого⁷, которую, однако, нельзя считать грамматической кодификацией литературного великорусского или белорусско-украинского языка, болгарского или сербского, а следует воспринимать, как она воспринималась в свое время, их общей грамматикой, кодексом межславянских языковых норм книжного, как писал инок Авраамий (XVII в.), «широкаго и великославнаго, совокупительнаго и умиленнаго и совершеннаго паче простаго и ляцкаго» языка «словенскаго».

Термин *словенский язык* (языкъ словѣньскъ) то в значении 'populus slavicus, славянский народ', то в значении 'lingua slavica, славянский язык' известен еще со времен Нестора Летописца, и его употребление и смысл в течение многих веков мало менялись. Все же он мог обозначать славянские языки вообще (т. е. всю группу славянских языков) и славянский книжный сакральный язык, функционировавший в греко-славянском мире. В конкретных, довольно редких случаях встречались и другие значения (например, отдельного славянского языка у южных славян), и потому важно проследить семантику этого термина, выяснить, с какими этническими группами он связывался, как соотно-

⁵ Ср. возражения противников Константина Костенечского, сводившиеся к такому тезису: если есть хорошие, исправные («цѣлыя») книги, то не нужна по этому поводу никакая теория, и ответ Константина, не защищавшего теорию, а лишь морализирующего: какая польза от исправных книг, если их не ценят по достоинству? Привожу по изложению текста «Сказания изъясненнаго о письменех», предложенному И. В. Ягичем (см. Ягич, 1885–1895, с. 501).

⁶ О различии двух подходов (текстового и грамматического) несколько подробнее см. Толстой, 1963; наст. изд., с. 102–147).

⁷ Из новых исследований о грамматике М. Смотрицкого и ее переизданиях см. ценный труд: Horbatsch, 1964.

сился с другими этническими терминами, каким терминам противопоставлялся (в аспекте родо-видовых, синонимических и других отношений), к какой сфере книжности и культуры он причислялся, с какими терминами конкурировал (например, *иллирический*, *сарматский* в XVI в.), где, когда и при каких условиях (у каких авторов). Такое разыскание, надо полагать, возможно лишь при расчленении материала по эпохам, так как объем источников и проблем весьма значителен и связан с целым рядом нефилологических вопросов, в первую очередь исторических, историко-культурных и т. п.⁸ Поэтому наше внимание в основном будет направлено только на один период — XVI—XVII вв., и то будут использованы далеко не все случаи применения термина *языкъ словѣньскъ*.

Языком «словенским» многими древними авторами, русскими и иностранными, назывался литературный язык на Руси, по сути дела древнеславянский литературный язык. В филологической литературе часто цитируется высказывание Генриха Лудольфа о том, что «точно так же как никто из русских не может писать или рассуждать по научным вопросам, не пользуясь Славянским языком, так и наоборот, — в домашних и интимных беседах нельзя никому обойтись средствами одного Славянского языка, потому что названия большинства обычных вещей, употребляемых в повседневной жизни, не встречаются в тех книгах, по каким научаются славянскому языку. Так у них и говорится, что разговаривать надо по-русски, а писать по-славянски» [Sed sicuti nemo erudite scribere vel disserere potest inter Russos sine ope Slavonicae linguae, ita è contrario nemo domestica et familiaria negotia sola linguâ Slavonicâ expediet, nomina enim plurimarum rerum communium, quarum in vita quotidiana usus est, non extant in libris, è quibus lingua Slavonica haurienda est. Adcoque apud illos dicitur, loquendum est Russicae et scribendum est Slavonicae]⁹.

⁸ К исследованиям такого типа принадлежит интересный труд Т. Улевица «Сармация», где учитывается широкий общественно-политический план при взгляде на определенное историко-культурное движение сквозь призму одного термина *Sarmacja*, *sarmacki* (Ulewicz, 1950; ср. также историческое разыскание В. Джерича с большим иллюстративным материалом: Ёерић, 1914).

⁹ Нами использован перевод Б. А. Ларина: Ларин, 1937, с. 114. Фототипическое издание с предисловием Б. О. Унбегауна см. Ludolf, 1959. См. также Tetzner, 1955.

Этот пасус привел В. В. Виноградов в своих «Очерках» (Виноградов, 1934, с. 7–8; 1938, с. 5–6) для иллюстрации тезиса о «словенско»-русском двуязычии на Руси XVII в., двуязычии функционально неоднородном: «словенский» был языком книжным, литературным, русской же была разговорно-бытовая речь и русским был письменно-деловой и публицистическо-повествовательный язык. В данном случае В. В. Виноградов поддерживал и развивал традиционный взгляд¹⁰, утвердившийся в первой трети XX в. в классической русской филологической науке и хорошо выраженный А. И. Соболевским в самом начале его лапидарной речи в память 200-летия со дня рождения М. В. Ломоносова. «Старая Россия, — говорил А. И. Соболевский, — пользовалась двумя языками. Один из них был литературным, другой живым и деловым. Первый в своем основании был не русский, а церковнославянский язык, язык древнего перевода Священного Писания, язык богослужебных книг, язык многочисленных произведений, составлявших литературу старой России» (Соболевский, 1911, с. 1).

Что же касается свидетельств Г. Лудольфа, то они, как известно, не ограничиваются приведенными выше словами. Они довольно обширны, и в них, помимо прочего, утверждается, что «в России есть не одно издание Славянской грамматики, но для иностранцев она мало пригодна. Она написана главным образом для Русских, изучающих Славянский язык, поэтому грамматические правила там не приводятся ни на каком иностранном языке, и самая грамматическая терминология скорее затемнена там, чем разъяснена славянскими наименованиями: так, например, Declinatio называется Склонение (Sclonenie), Numerus число (Tschislo) и т. д. Для Русских же знание Славянского языка необходимо потому, что не только Св. Библия и остальные книги, по которым совершается богослужение, существуют только на славянском языке, но невозможно ни писать, ни рассуждать по какому-нибудь вопросам науки и образования, не пользуясь Славянским языком» [Extat quidem Slavonica Grammatica non semel in Russia edita, sed exteris parum utilis. Pro Russis enim linguae Slavonicae studiosis imprimis conscripta est, adeoque in nullo extero idiomate regulae ibi traduntur, verum ipsi termini Grammatici Slavonicis vocabulis potius obscurati

¹⁰ Об эволюции мнений В. В. Виноградова, касающихся двуязычия на Руси, см. Толстой, 1974.

quam explicati sunt v. g. Declinatio vocatur Склонѣніе (Sclonenie), Numerus число (Tschislo) etc. Ideo autem Russis cognitio linguae Slavonicae necessaria est, cum apud ipsos non tantum S. Biblia et reliqui libri impressi, quibus sacra peraguntur, Slavonico idiomate solummodo extent, verum etiam de materiis eruditionem vel scientias spectantibus neque scribere neque disserere liceat, nisi lingua Slavonica in usum advoce- tur] (Ларин, 1937, с. 47 и 113).

Следует оговорить, что далеко не все иноземцы, предшественники Г. В. Лудольфа, различали употреблявшиеся на Руси *словенский* и *русский* языки. Многие из них ограничивались вообще указанием на общность славянских языков. Они, не вдаваясь в подробности, называли каждый из них славянским. Так, например, в анонимном итальянском донесении о Московии XVI в. (приписывавшемся некоторыми историками Марку Фоскарино) сообщается, что «Москвитяне говорят и пишут на Славянском языке (in lingua Schiavona), как Долматинцы, Чехи (Bohemi), Поляки и Литовцы. Передают, что язык этот весьма распространен: ныне он хорошо известен в Константинополе при дворе Султана, и даже в Египте у Султана Вавилонии (il Soldano di Babilonia) его обыкновенно можно было слышать в устах Мамелюков (Mamelucchi)» (Огородников, 1913, с. 8).

Это место несколько неточно заимствовано (или умышленно перефразировано) у Павла Иовия, автора «Книги о Московитском посольстве» (XVI в.), который писал об «употреблении» языка и «писмен», а не о разговорном и письменном языке («говорят и пишут» — у анонимного автора). Согласно Павлу Иовию, «Московиты, подобно Славянам, Далматам, Богемцам, Полякам и Литовцам, употребляют Иллирийский язык и Иллирийские письма. Утверждают, будто этот язык самый распространенный изо всех. Он хорошо известен в Константинополе при дворе Оттоманов, а недавно его охотно слушали в Египте у Мемфисского Султана и Мамелюкских всадников» (Павел Иовий, 1836, с. 46–47; 1908, с. 270–271). Отметим, что в книге Павла Иовия язык иллирийский трактуется как язык всей славянской ветви — славянский. При этом он не совсем точно отождествляется с письменами (азбукой), ибо, если говорить об особых славянских письменах (азбуке), то они в XVI в. не бытовали уже у богемцев (чехов) и поляков. Они (кириллические или глаголические) могли быть у славян (неясно, к какому сла-

вянскому племени или народу относит Иовий этот этноним), у далматов (вероятно, хорватов-глаголитов или сербов-далматинцев) и у «литовцев», если только под этим этнонимом подразумевались белорусы. Любопытно, однако, что в книге Павла Иовия *иллирийский язык* противопоставляется *московитскому*. Это видно из сравнения приведенной цитаты со следующей: «Там (в Московии. — *Н.Т.*) ловится также черноватая птица с пунцовыми бровями, величиной с гуся, мясо которой по своему вкусу и достоинству превосходит фазанов; на *Московитском языке* (курсив наш. — *Н.Т.*) она называется Тетеръ (Tether), а Плиний именует ее Eregthrao...» (Павел Иовий, 1836, с. 50; 1908, с. 272 АБ)¹¹. Что же касается «иллирического языка», употреблявшегося при дворе турецкого султана, то это был язык сербский, в некоторых случаях сближенный с древнеславянским (церковнославянским), вероятнее всего, юридический язык «сербульского типа» и т. п.¹²

О том, что книжный литературный язык и язык богослужения на Руси, как Великой (Московской), так и Малой и Белой, именовался *словенским* и что этот термин относился прежде всего к древнеславянскому языку, существует немало свидетельств. Достаточно указать на названия грамматик М. Смотрицкого (1619, 1648, 1721 гг. и др.), Л. Зизания (1596), анонимной виленской (1621), И. Ужевича (1643) и др., где древнеславянская (церковнославянская) основа бесспорна, но не во всем последовательно сохранена из-за ряда отступлений в пользу «простой мовы» (т. е. народно-разговорного субстрата) или, наоборот, в пользу слишком искусственной «славянщизны», на многочисленные приписки и свидетельства о переписке и переводах текстов и т. п.¹³ В последних, правда, бывают некоторые отступления от «правил», требующие особых объяснений и специального анализа, но тем не менее термин *словенский* был, как ясно из древних свидетельств, всеобщим в греко-славянском мире:

¹¹ Неизвестный автор «Донесения о Московии» (XVI в.) повторил и этот пасус Иовия, но ничего не написал о языке, отметив только в конце пасуса: «она называется тетерев (therao)» (Огородников, 1913, с. 9).

¹² Сведения об употреблении сербского языка при дворе турецкого султана см.: Костић, 1924.

¹³ Много ценных сведений содержится, например, в предисловиях и послесловиях славянских старопечатных книг (см.: Строев, 1829; 1836; Титов, 1924).

Современник Г. В. Лудольфа, знаменитый филолог «поп Юрка Крижанич, презванѣм Сѣрблянин», сделал попытку и в этом случае, как и во многих других, пойти против общего мнения. Будучи иноземцем и иноверцем, но в то же время славянином (хорватом), т. е. единоплеменным с русскими, он не считал себя непричастным к делам допетровской Руси — к делам книжным, духовным и мирским. В своем вынужденном уединении в Тобольске, где, однако, Крижанич имел не только досуг, но и очень значительное государственное жалованье («7 рублевъ с полтиною на мѣсяць»¹⁴), не только возможность писать филологические, экономические и политические трактаты, но и наблюдать судьбы Руси, общаясь с людьми московскими, «литовскими» (т. е. западно-русскими) и польскими, «никонианами» и староверами (известна его дружба с подьяком Федором Трофимовым, знакомство с попом Лазарем и встреча с протопопом Аввакумом), Крижанич сочинил свое знаменитое «Грамаѣчно изказанѣ об руском језіку...» (писано въ Сибѣри, літа ≠ ѓрод. — 1666). Последний абзац в предуведомлении читателя («Ко чтѣтелемъ предопомѣнокъ») и начало предисловия («Предгѣворѣе») содержат также утверждение: «Пусть будет известно и следующее: что и я по общему заблужденію заблуждался в этой книге, говоря о главном и книжном нашем языке, я везде писал и именовал его словенским, а следовало писать русским...» («Знано буди и сѣ: јеже и ја со ѓбщением блудом јесем поблудилъ въ сѣх кнѣйжицахъ: гди говорѣцъ об прѣднѣем и кнѣйжном нашем језіку, вездѣ јменовалъ и написалъ ѣи јесем Словинским, а достојаше написатъ Руским...» — Предуведомление). И далее: «О языке этом, о котором разыскание здесь вести с божьей помощью мы намерились, прежде всего знать следует, каким именем годится его звать. Учинена ошѣбка, что этот наш язык, на котором мы книги пишем и богослужение совершаем, зовется словенским; в то время как по правде он должен был бы называться Русским...» («Об језіку сѣм, об кѣем разпрѣву овдѣ чинѣт, зѣ бѣжым посѣбом, наминѣхом, наипѣрвльѣ знѣт јест трѣби, кѣым јменом годѣтсе јѣго звѣт. Сѣ погри-

¹⁴ Ю. Крижанич получал 90 руб. в год, в то время как высшее сословие — дети боярские получали в Тобольске от 14 до 18 руб. в год, кроме хлеба, овса и 3 пудов соли (подробнее об этом см. Белокуров, 1902, с. 120–121).

шѣнѣм бо јест учинѣно да језик наш се, кѣим мѣ кнѣиги пѣшѣм, и бѣжѣе слѣжби отправлѣјем, зовѣтсе словѣнским: гди по правѣ морал би се звѣт Рѣским» — Предисловие (Крижаниц, 1859, с. 1. текста грамматики).

О причинах, побудивших ученого хорвата главный и книжный язык (прѣднѣи и кнѣижнѣи), на котором писались книги и совершалось богослужение (бѣжѣе слѣжби отправлѣјут се), предложить переименовать в *русский*, скажем несколько слов ниже. Сейчас же отметим, что, не соглашаясь с термином *словенский* (*словински*), Крижанич, однако, им пользовался как общеупотребительным, но возникшим, по его мнению, в результате общей ошибки (ѣбцѣним блудѣм). Наконец, само настойчивое утверждение Крижанича, что *словенский язык — русский* и что название его словенским неверно, показывает, что эти понятия, эти термины были в свое время неоднозначны, несмотря на их синонимическое употребление некоторыми авторами¹⁵, что они противопоставлялись, и притом, вероятно, именно так, как это делал Г. В. Лудольф и некоторые его единомышленники.

Но если на Руси в XVI—XVII вв. «словенский» язык и русский язык были в сознании многих филологов и книжников не одно и то же, то каково же было представление древних историков, писцов и грамотеев о диалектной основе книжного древнеславянского языка и было ли такое представление вообще? Наконец, осознавалось ли противопоставление книжного языка разговорному, ощущалось ли их существенное различие, а тем самым и двуязычие на Руси?

На последний вопрос как будто отвечают приведенные выше соображения Г. В. Лудольфа. Но нам известно и более раннее, и притом русское свидетельство о книжном и разговорном языке. Это рассуждение Зиновия Отенского, ученика Максима Грека, в котором он между прочим говорит следующее: «Полагаю, что это коварная выдумка христорбцев и примитивно мыслящих — уподоблять и образовывать книжные слова от общенародных слов. Правильнее оказывается, я полагаю, книжной речью общенародную исправлять, а не книжную народной бесчестить (портить)» (Зиновий Отенский, 1863, с. 967)¹⁶.

¹⁵ Ср. также на с. 157–159 терминологию, которой пользовался Зиновий Отенский, и на с. 161 терминологию Нила Курлятева.

¹⁶ Инок Зиновий, автор этого трактата, жил в Отенской пустыни, бедном монастыре Новгородской области с 1526 по 1570 г.

Приведенное выше высказывание было сделано иноком Зиновием в связи с употреблением в переводах Максима Грека слова *жду* вместо *чаю* в небольшом контексте из Символа веры — *чаю воскресенія мертвымъ*. По свидетельству инока Зиновия, это место вызвало в XVI в. ряд споров, особенно потому, что некоторые толкователи, которых автор «Истины показания» называет «христорборными вельможами» (вероятно, последователи ереси Феодосия Косого), неправильно толковали глагол *чаяти* и находили в словах *чаю* и *жду* неполную синонимичность. *жду*, по мнению этих толкователей, означало уверенное ожидание, а *чаю* — ожидание с неполной уверенностью. Инок Зиновий поясняет, что различие между *чаю* и *жду* не в семантике (оба слова означают «уверенное ожидание»), а в разном языке или стиле («рѣчи»), в принадлежности первого слова *книжной* речи, а второго *общей народной*, т. е. сакральному языку и языку несакральному. Смысл «неполной уверенности» слову *чаю* приписали «христорборные вельможи». Это слово «отъ христорборныхъ вельможъ яко двоемышлено (как двусмысленное. — Н. Т.) внесено въ народъ». Опасаясь такой двусмысленности, Максим Грек принял перевод *жду*. Но он, продолжает инок Зиновий, не знал «опаснѣ (вполнѣ) языка русскаго». Нужно же говорить *чаю*, как святые первоначально перевели с греческого языка на русский язык — «чаю воскресенія мертвымъ» («но глаголати намъ тако, якоже святїи исперва преложиша отъ греческаго на русскїй языкъ: чаю воскресенія мертвымъ»).

Считая эти высказывания Зиновия Отенского важными и редкими свидетельствами филологической жизни на Руси XVI в., привожу их в более полных выдержках, чем это делалось до сих пор в лингвистических трудах¹⁷. Все они взяты из главы 53-й сочинения «Истины показания...»:

Глава НГ. Въ немже разсмотрѣніе о словеси, еже: “жду воскресенія мертвымъ”.

Вопроси мя паки Захарія, глаголя: чесо ради отвращаются нѣцци глагола, еже въ конецъ “Вѣрую во единого Бога”: “чаю воскресенія мертвымъ” и вмѣсто тогда глаголются: “жду воскресенія мертвымъ”? Рѣхъ же ему: отвращаются они глагола: “чаю воскресенія мертвымъ” ничесогоже, мню,

¹⁷ Теологическая и гомилетическая сторона деятельности инока Зиновия рассмотрена в исследовании: Калугин, 1894.

иного ради, токмо или непознавши силы слову, или кому хотящу составити себѣ въ своемъ разумѣ и заеже не покоритися иже от святыхъ привоженію (переводу. — Н. Т.) отъ греческаго языка книгъ на русскій, еже близъ гордости есть и самомышленія, отнюдуже не трудно кому развратитися въ ереси и кромѣ прельщающихъ; понеже таковіи отъ Святаго Духа благодати пріяти не могутъ, оставляетъ бо ихъ високоумія ради и не даетъ благодати осіятися уму ихъ лучею Святаго Духа, ибо гордымъ Богъ противится, якоже писано есть (Іак. 4, 6). Разсмотряю убо, яко и еще живу кому сущу и глаголати: “жду воскресенія мертвымъ” нѣсть прилично (Зиновий Отенский, 1863, с. 961–962).

... И рѣша же крылошане: нѣцци глаголють, еже: “жду воскресенія мертвымъ”, Максимъ Грекъ тако повелѣ глаголати, рекъ, чаяти — рѣчь не тверда; ибо чаетъ еще что, или будетъ или не будетъ, а еже еще что ждетъ, будетъ, твердо есть. Рекохъ же имъ: Максимъ Грекъ въ разумѣннихъ воспитався и многоченъ есть мужъ, искусенъ и книги прелати отъ греческаго языка на латынскій. Егда бо прииде отъ Святыя горы Максимъ, повелѣнъ великіимъ княземъ Василиемъ преводити Псалтырь толковую отъ греческаго языка на русскій; Максимъ же тогда зыска толмачевъ латынскихъ и преведе Псалтырь толковую отъ греческаго языка на латынскій, и толмачи латынстїи преложиша греческую псалтырь отъ латынскаго языка на русскій, понеже Максимъ русскаго языка мало разумѣя бѣ (там же, с. 964).

... Чаяніе бо отъ христорборныхъ вельможъ яко двоемышлено внесено въ народъ; сего ради Максимъ “жду” глагола; а не по книжной рѣчи глагола вмѣсто “чаю” “жду”, мяше бо Максимъ, по книжнѣй рѣчи у насъ и обща рѣчь. Мню же и се лукаваго умышленіе въ христорборцѣхъ или въ грубыхъ смысломъ, еже уподобляти и низводити книжныя рѣчи отъ общихъ народныхъ рѣчей. Аще же и есть полагати приличнѣйши, мню, отъ книжныхъ рѣчей и общія народныя рѣчи исправляти, а не книжныя народными обезчещати. Максиму же нѣсть зазрѣнія, не познавшу опаснѣ языка русскаго; но зазрѣніе на христорборцевъ, лукавновавшихъ на священное писаніе. Намъ же любящимъ Христа, знающимъ языкъ свой и народа общую рѣчь и вѣдущимъ въ богодуховенномъ писаніи лежащи о извѣстнѣй надежди чаяніе, не подобаетъ глаголати: “жду воскресенія мертвымъ”; но глаголати намъ тако, якоже святїи исперва преложиша отъ греческаго языка на русскій языкъ: “чаю воскресенія мертвымъ”. Иже бо кто извѣстився о нейже вещи чаетъ ея; неиз-

вѣстенъ же кто о обѣщаніи, отчаявается. Тако и о воскресеніи, по непреложному Господню словеси, живуще и еще жизнь сію, чаемъ воскресенія мертвымъ; егда же успнемъ и во гробы вселимся, тогда ждати хоцемъ архангельска гласа трубы Божія воскреснути и предстати предъ Господемъ на судъ (там же, с. 967–968).

В этих высказываниях можно особо подчеркнуть характерный для древней Руси авторитет древних переводов, ощущение их сакральности — *исперва преложиша святіи*, а также отметить, что термины *русскій языкъ* и *языкъ словенскій* употребляются как синонимы. Вместо второго — *словенскій* встречается у инока Зиновия только один — *русскій языкъ*. Известны случаи¹⁸, когда употреблялся и только термин *словенскій языкъ* или сообщалось — «русскій языкъ, сирѣчь словенскій». Все три случая можно найти и в разных списках такого небольшого памятника, как «Сказаніе о преподобнѣмъ Максимѣ философѣ, иже бысть инокъ святыя горы Афонскія преславныя обители Ватопедскія». Ср. в связи с этим упомянутое выше рассуждение Ю. Крижанича об ошибочности называния главного и книжного языка *словенскимъ* и о необходимости считать его русским. Правда, Ю. Крижанич писал свое «Граматично изказанје» в XVII в., а списки «Сказания» восходят к XVI в., но дело не только в этом.

В первом, приведенном из «Истины показания» отрывке ясно видно авторское противопоставление книжного и народного языка («рѣчи»), иерархическое неравенство этих двух коррелятов и признание примата книжного языка над общим народным. Любопытно также употребление термина «общие народные речи»¹⁹, позволяющее полагать, что инок Зиновий и его современники осознавали наличие некоего койне и отличали его от локальных диалектов. Хотя, строго говоря, последний момент следует отнести к разряду домыслов.

Диалектную основу книжного древнеславянского языка, бытовавшего на Руси, отмечал польский историк XVI в.

¹⁸ См. публикацию Сказания о Максиме философе в кн.: Белокуров, 1899, с. IV—XXXVIII приложений. Разночтения по спискам очень интересны, и о них следует написать особо.

¹⁹ Об этом же термине в древнеюжнославянской филологической практике и о койне см. кратко Толстой, 1963б.

Матвей Меховский (Maciej z Miechowa, 1960; 1972). В «Трактате о двух Сарматиях» он писал следующее: «В русских церквах при богослужении читают и поют на сербском, то есть славянском языке» («In ecclesiis Rutenorum lingua Seruiorum, quae est Slaunonica, divina celebrant, legunt et cantat»). И далее: «... в Новгороде, Пскове, Полоцке, Смоленске и затем к югу за Киев живут все русские, говорят по-русски или по-славянски, держатся греческого обряда и подчиняются патриарху Константинопольскому» («...ut in Nowygrad, in Pleskouia, in Smolensko et in meridiem usque post Kiow Ruteni sunt omnes et Ruthenicum seu Slaunonicum loquuntur ritumque Graecorum observant et obedientiam Constantinopolitano patriarchae praestant»; еще далее: «Московия — страна весьма обширная в длину и ширину ... и речь там повсюду русская или славянская» («Moskouia est regio longissima latissimaque ... er sermo per totum est Ruthenicus seu Slaunonicus»), наконец, обращаясь к читателю, Матвей Меховский настойчиво утверждал: «Знай ... что в Московии одна речь и один язык, именно русский или славянский, во всех сатрапиях и княжествах» («accipiat ... in Moskouia unam linguam et unum sermonem fore, scilicet Ruthenicum seu Slaunonicum in omnibus satrapiis et principatibus») (Матвей Меховский, 1936, с. 98, 109, 112, 116, 175, 185–186, 188–189, 192).

Таким образом, Матвей Меховский, видимо, различает сербский, или славянский, принятый в церквах, и русский, или славянский, употреблявшийся вообще в Московии (т. е. на Руси Великой) и Руссии (т. е. на Руси Белой и Малой). Географические понятия Московии и Руссии им также не отождествляются.

Хорошая осведомленность Матвея Меховского и значительная точность сведений, приводимых в его «Трактате», отмечались многими исследователями, и тем не менее одного его сообщения о том, что «в русских церквах при богослужении читают и поют по-сербски» было бы мало, если бы это известие не подтверждалось другим свидетельством, исходящим уже из уст двух московских филологов XVII в. — игумена Ильи Богоявленского монастыря, что «на Москве, из ветошного ряду», и справщика Григория — «Гришки от книжные справки». Этим двум лицам «в лѣто 7135 (т. е. 1627. — Н. Т.) Февраля въ 18 ден по указу государя святѣйшого кир Филарета, патриарха московског і всеа Руси» бы-

ло велено полемизировать с западнорусским («из Литвы») православным протопопом Лаврентием Зизанием, автором известной грамматики и словаря, и настоять на исправлении составленного им катехизиса. Чрезвычайно любопытный протокол или почти стенограмма этих прений сохранилась до наших дней. Среди вопросов, касающихся сущности св. Троицы, человеческой плоти Христа, сошествия покаявшихся душ во ад, кратности суда Божия и других богословских проблем, волновавших в ту пору обе стороны, были и вопросы филологические, вопросы точности перевода с польского, по важности своей и значению не уступавшие, как полагали спорящие, богословским, ибо, по словам игумена Ильи и справщика Григория, «единым словом азбучным (т. е. буквой. — Н. Т.) ерес о божествѣ вводится»²⁰.

В довольно объемистом тексте записи этого уникального богословско-филологического спора (46 страниц рукописного текста) особый интерес для нашей темы представляет один момент, которым окончился первый день прений.

Да у Лаврентеяж в книге, как убогая жена в сокровищное хранилище ввергла двѣ лѣптъ: ино у него вмѣсто двухъ лѣптей написано два хлѣба. Да у негож в книгѣ, как Господь Богъ явися Моисею в купинѣ, и у него написано во пнѣ, гдѣ рещи: в купинѣ. И как игумен Илья спросил у Лаврентия про тѣ имена: для чего он их переменял, а написал за лѣпти хлѣбы, а за купину пень? И Лаврентіи, розсмѣявся, молвил: Я де купину купиною пишу, а не пнем, а лепти лѣптями, а не хлѣбами; вы де вѣдаете, что купина. И мы ему рекли: Вѣдаем сербским языком купина, а по рускии кустъ. И потом учал говорить, чтобы де я толко вѣдал, и я бы де свою книгу подал всю на словенском языке государю святейшему патриарху, а то де много переводчик не так поставил (Прение, 1859, с. 88).²¹

²⁰ Речь шла о тексте: *оба существо свое имут*, что считалось правильным, у Лаврентия было написано — *«оба существа свое имут: Сын рождением, а Духъ Святой исхождением»*, что считалось неверным. Лаврентий отвечал, что его написание — ошибка переводчика с польского (см. Прение, 1859, с. 86, и литографическое издание рукописи «Заседание в Книжной палате 18 февраля 1627 года по поводу исправлений Катехизиса Лаврентия Зизания», изд. ОЛДП. СПб., 1878. XVII).

²¹ Сам спор протопопы Лаврентия с игуменом Ильею и справщиком Григорием окончился благополучно. После выяснения вопроса о том, как следует писать — *купина* или *куст*, произошло следующее: «И потом игумен Илья, востав с книгою, и рекль ему: Да уж то де ты, Лаврен-

В этом отрывке из «стенограммы» XVII в. особенно интересны три момента. Во-первых, выделение синонимических слов *купина* — *пень* — *куст* и *лѣпти* — *хлѣбы*; во-вторых, определение слова *купина*, правильного для книжного (словенского) языка как *сербского*; в-третьих, название нормированного (правильного — «прямого») книжного языка *словенским*. Для слов *куст* и *купина* устанавливается противопоставление «русское» — «словенское». Исходным языком для «словенской» лексемы указывается «сербский». В иных же случаях, когда речь идет о грамоте (письменности) или переводах, видимо, допускалось синонимическое употребление слов *русский* и *словенский*, что наблюдается и в тексте тех же «Прений». Так, например, игумен Илья и справщик Григорий восклицали:

Да что нам о том и многословити? Долго, уже тому осмое столѣтъ идет, как на *рускои языкѣ* греческая грамота переложена (курсив здесь и далее мой. — Н. Т.) (там же, с. 95)...

По другому поводу Лаврентий Зизаний спрашивал о канонических положениях, связанных с таинством крещения, и его московские оппоненты отвечали ему.

Лаврентиі рече: Да гдѣ у вас взялися греческия правила? Мыж паки рѣхом: Киприян, митрополит киевскіі і всеа Русіі, егда приіде ис Константина града на рускую митрополию, и тогда с собою привез правилныя книги християнскаго закона греческаго языка правила и перевел на *словенскіі* язык и божиею милостию пребывают и донныне без всяких смутов и прикладов новых вводов; да многіе книги греческаго языка есть у нас старых переводов... (там же, с. 99).

Принцип святой старины отстаивался и в отношении греческих переводов (текстов). Игумен Илья и справщик Григорий сообщили, что

ныне к нам которые книги входят печатныя греческаго языка и будет сойдутца с старыми переводы и мы их приемлем и любим; а будет что в них приложено ново и мы тѣх

тие, и не кручиня: для того тѣ статьи тебѣ и объявлены, которые были в твоей книге не прямо написаны, и тѣ всѣ статьи государь святейший кир Филарет, патриархъ московскіі і всеа Русіі, самъ исправил и, изправя, нам велѣл напечатати и, напечатав, тебѣ отдати. И говоря ту рѣчь, книгу ему отдал. И Лаврентий книгу взял чесно и целовал любезно и говорилъ: Спаси Богъ государя святейшего Филарета, патриарха московскаго и всеа Русіі, что он, великий государь, наше прошение исполнил» (там же).

не приемлемъ, хотя они и греческим языком тиснуты, потому что Греки живут ныне в великихъ теснотах в неверных странах и печатати им по своему обычею невозможно. Лаврентій рече: И мы новых переводов греческаго языка книгъ не приемлем же... (там же, с. 99).

Отношение в Московской Руси при патриархе Филарете к церковным догмам, обрядам и требованиям их неукоснительного исполнения было близким к тому, которого придерживались впоследствии старообрядцы. Подозрительность к православным из Западной Руси (из Украины и Белоруссии или, как нередко тогда говорили, «из Литвы и Польши») была очень значительна. Достаточно сказать, что выходцев из западнорусских земель в московских пределах перекрещивали: крещенных через обливание или униатским священником крестили вновь в три погружения и миропомазывали и т. п. Этого «правила» не могли избежать даже архипастыри и монахи-старцы²². Испытательный срок (когда не пускали в церковь, а только в трапезную или притвор) устанавливался для всех православных южнорусов, но к грекам и к православным южным славянам — сербам, болгарам, а также к «волохам» (румынам) это правило не относилось, и они в церковь пускались и не перекрещивались (Каптерев, 1913, с. 3–5). Константинопольские греки осуждали такие московские порядки: «Июня в 6 день (1650 г. — *Н. Т.*) патриарховъ (патриарха Константинопольскаго. — *Н. Т.*) черной попъ Іоасафъ и прочіи грѣки гаварили старцу Арсенію (Суханову. — *Н. Т.*): недобро на Москвы дѣлают, что в другой ряд крестят христіян» (Белокуров, 1891, с. 162).

В представлении московских грамотеев XVII в. книжный (богослужебный и небогослужебный) язык в Западной Руси был также «словенский». Это видно из записи спора об одном месте молитвы «Отче наш». Протопоп Лаврентій предложил чтение *да освятится имя твое*. Патриарх Филарет, от имени которого выступали игумен Илья и справщик Григорій, отстаивал традиционное *да святится имя твое*. При этом игуменом Ильей и справщиком Григорием был выдвинут такой аргумент:

²² Поэтому на Руси в XVII в. и появлялись такие прозвища (от них позже могли образовываться фамилии); как *Двокрещен*, *Новокрещен*, *Новокщен* (см. Селищев, 1968а, с. 112).

Да и у вас во всей Полшѣ и Литвѣ, которые словенскимъ (здесь и далее выделено мной. — Н. Т.) языком говорятъ, *да святится имя твое*: говорят, а не: *освятится*. Да у вас же много печатных книгъ выходит і ни в которой друкарне не бывало: *да освятится*; вездѣ: *да святится имя твое* (Прение, 1859, с. 95–96).

Однако когда вставал вопрос противопоставления московской норме (разговорной или книжной), тогда нередко язык, бытовавший в Западной Руси (в том числе и литературно-книжный), назывался *литовский*. Можно предположить, что этот термин был характерен для разговорного стиля речи (на что как будто указывают и сопутствующие ему слова вроде просторечной частицы *де* и т. п.). Об этом свидетельствует все тот же текст прения:

И князь Иван Борисович спросил Лаврентья: По литовскому де языку как вы говорите: собра? И Лаврентий сказал тож и по литовскому языку собра. И потом спросил: А изведе как? И Лаврентей сказал: по нашему и изведе (там же, с. 81).

Что касается форм *собра* и *изведе*, то очевидно, что они относились к «словенскому», т. е. древнеславянскому (церковнославянскому) языку, хотя бы из-за приставок *из-* и *со-* (вместо *вы-* и *с-*) и форм аориста, которые к XVII в. уже совершенно исчезли в белорусских («литовских»), украинских и великорусских говорах²³.

Некоторого пояснения требует приведенный выше в двух контекстах XVI и XVII вв. термин *сербский*. По нашему мнению, его не всегда нужно понимать буквально, а следует в ряде случаев воспринимать несколько шире, как южнославянский. Известность на Руси XVI—XVII вв. именно сербского языка была связана с довольно большой распространенностью памятников сербской ресавской редакции, которая и на славянском Юге, в том числе и в среде болгар и македонцев, была в большой чести. Несомненную роль в укреплении термина *сербский язык* на Руси сыграла дея-

²³ Прение литовского протопопа Лаврентия Зизания — чрезвычайно любопытный документ начала XVII в., увы, в целом до сих пор не исследован. А между тем он содержит интересные высказывания о различиях в значении слов *лице* — *образ*, *страсть* — *похоть*, *повеление* — *суд*, *да святится* — *да освятится* и др. и может послужить хорошим источником для суждения о филологической культуре Руси начала XVII в.

тельность таких выходцев из южнославянских земель, как Пахомий Серб Логофет и др. Крупный авторитет церковной жизни на Руси и книжно-богослужебной справы, митрополит Киприан (ум. 1406 г.) (см.: Мансветов, 1882) часто назывался Сербином, хотя его болгарское происхождение не исключается. Несколько позже поп Юрка Крижанич писал, что он «презвѣнѣм Сѣрблянинъ» (будучи, как известно, хорватом-католиком), так как этот этноним был, видимо, более понятен и привычен для русского человека XVII в.

В связи с приведенными выше свидетельствами интересно вспомнить о часто цитируемом предисловии к переводу Псалтыри (1552 г.) Нила Курлятева, ученика Максима Грека, в котором он писал о редакции митрополита Киприана:

а Киприанъ митрополитъ по гречески извѣстно не оумѣлъ, и руского языка довольно не зналъ же. словене аще с нами и единъ нашъ языкъ словенскіи. и наша рѣчь руская чиста и шумка, а они говорятъ моложаво и въ писаніи рѣчи наши с ними не сходятся. и онъ мнилъ что по нашему рускому языку поисправилъ псалмовъ. и онъ болши въ нихъ неразуміе написалъ в рѣчехъ и въ словахъ все по сербски написалъ. и инѣ многие оу насъ въ рускомъ языкѣ книги пишутъ отъ неразумія все по сербски, и говорити по писму, по нашему языку не оумѣютъ прямо, и многыя не разумныя смущаются²⁴.

Этому пассажи у Нила Курлятева предшествовал другой, хорошо известный в филологической литературе:

... а прежніи преводницы нашего языка извѣстно не знали, и они перевели ово греческі, ово словенскы, ово сербьски, и ино болгарски ихъже не оудовлишася преложити на рускіи языкъ (Описание рукописей, 1881, с. 19).

Л. С. Ковтун справедливо заметила, что этот текст в значительной части (от слов *ово словенскы* до конца) дословно совпадает со второй половиной заглавия словаря XV в., приложенного к «Лествице Иоанна Синайского» — «Тлъкованіе неудобъ познаваемомъ въ писаныхъ рѣчехъ, понеже положены суть рѣчи въ книгахъ отъ начальныхъ прѣводникъ ово словѣнски и ино сръбскы и другаа блъгарскы, их же не

²⁴ Из Псалтыри XVI в. (1552 г.) бывш. библиотеки Соловецкого монастыря [№ 13 (753)]; см.: Описание рукописей, 1881, с. 19; ср. также близкий текст в Псалтыри XVI в. бывш. собрания И. Н. Царского (№ 327) (см.: Строев, 1848, с. 323) и текст рукописи 1602–1605 гг. из бывш. Погодинского собрания (Гос. Публ. библиотека в Ленинграде, шифр Погод. 1143), цитируемый в статье: Ковтун, 1971.

удоволишася прѣложити на рускыи» (Ковтун, 1963, с. 421). Не возникает сомнения, что эти слова Нил Курлятев взял как определенный устоявшийся отрезок текста (книжный штамп), указывающий при этом, что лексика «словенского» (т. е. церковнославянского) книжного языка была сербского и болгарского происхождения²⁵, равно как и греческого. Существенно для выясняемого нами вопроса то, что, продолжая свое предисловие, после слов «и многыя не разумныя смущаются», Нил Курлятев приводит непонятные слова опять-таки из словаря к Лествице (наблюдения Л. С. Ковтун) и почти всегда называет их сербскими, иногда болгарскими (хотя большая их часть, вероятно, моравизмы):

гдѣ надобеть. а. а по сербски ѣ, или ж, по руски, о. а по сербски ж. по руски. ы. а по сербски и. а рѣчи по нашему не замедли. а сербски или будѣтъ болгарски незамуди. по руски медлѣно или косно или гугниво-языченъ. а сербски мудноязыченъ: и протчие рѣчи намъ не разумны. бохма. васнь. рѣснотивие. цѣщи. ашуть. и многа иныхъ таковыхъ мы не разумѣемъ. ино сербски. и ино болгарски. (Описание рукописей, 1881, с. 19–20).

Эти же места из предисловия Нила Курлятева процитировала Л. С. Ковтун для того, чтобы сделать вывод, что «русским писателям XVI в. было присуще ощущение высокого стиля (как стиля русского литературного языка) и сознание необходимости отбора отвечающих ему речевых средств (Ковтун, 1971, с. 23). Я полагаю, что здесь речь должна идти не о русском литературном языке и его высоком стиле, а о древнеславянском (церковнославянском) литературном языке, бытовавшем на Руси, хотя он мог называться тогда некоторыми книжниками *русским* или то *русским*, то *славянским*.

П. С. Кузнецов справедливо отмечал, что некоторые древнерусские книжники использовали термины *словенский* и *русский* как однозначные в аналогичном контексте. Так, Дмитрий Толмач, писал П. С. Кузнецов, даже термины «словенский» и «русский» употребляет не дифференцированно, а как синонимы. Это можно видеть на основании сопостав-

²⁵ Правда, и этот текст требует некоторого комментария и сравнительного анализа с другими текстами, так как термин *словенскы* употреблен в ряду с названиями других языков. Термин *македонский* в те времена не употреблялся. Также и о моравском происхождении некоторых слов не упоминалось.

ления хотя бы следующих мест: говоря об употреблении в латинском языке *sacerdos* как в мужском, так и в женском роде, он указывает, что «в нашем же словенскомъ языкѣ сие ѿма священникъ не ѿбщаго рода, но мужскаго, и не вращается ѿз рода в род...»; а немного ниже о роде латинских *aquila* и *milvus* он пишет: «А идѣже здѣ аквила и мил'вусъ не преведѣни на руское, ту подобаетъ по латыньскій (тѣ) имена смѣстна рода, а по рускии же сѣ ѿба мужска рода...» Таким образом, здесь по совершенно подобному поводу говорится в одном случае «словенский», а в другом «русский» язык (Кузнецов, 1958, с. 11)²⁶. К тому же, видимо, Нил Курлятев принадлежал к одной, не очень ярко выделявшейся по результатам филологического труда партии (группе), которую условно можно назвать «русификаторской», и выражал мнение далеко не всех писцов и переводчиков (по терминологии Л. С. Ковтун — «русских писателей») того времени. Различно было в ту пору и отношение к переводческой деятельности Максима Грека и к филологическим реформам митрополита Киприана. Это пункт требует отдельного рассмотрения и довольно объемистого исследования²⁷. Много места заняла бы и полемика с интересной статьей Л. С. Ковтун. Оставляя за собой право вернуться к этим вопросам в будущем, отмечу лишь, что помимо мнения Нила Курлятева о том, что Максим Грек хорошо знал язык, на который он переводил, было и другое мнение (ученика Максима Грека Зиновия Отенского и др.) о том, что он этого языка как следует не знал.

Сравните у Нила Курлятева:

...Занеже сеи переводчикъ (речь идет о Максиме Греке. — Н. Т.) по великому Златоусту добръ вѣренъ и пріятенъ во всѣмъ и до конца извѣстно вѣдалъ руской языкъ. и аще возлюбитъ сеи переводъ и по нему глаголетъ и молится и Богъ подасть ему благодать разума познати истину. Понеже все сыскано и справлено доблим переводникомъ еилософомъ инокомъ Максимомъ грѣкомъ сыномъ воеводскимъ постриженникомъ святыя горы аеонскыя монастыря Ватопеда доб-

²⁶ Дмитрий Толмач (XVI в.) был переводчиком латинской грамматики Доната на славянский язык и современником Максима Грека, возможно, даже инициатором вызова последнего в Москву. Его перевод сохранился не в подлиннике, а в двух списках XVI в. — Казанском (Соловецком) и Петербургском.

²⁷ Первым этот вопрос поставил архимандрит Амфилохий, см. Амфилохий, 1891; 1878.

рѣ оумѣющимъ грѣчески и латынски и руски и словенски и болгарски и сербски языкомъ и грамотамъ. и все перевелъ з греческие грамоты на рускую грамоту без украшенія по рускому языку. что повелительно или сказательно. или вопросительно. или будущее или минувшее и настоящее. все инокъ Максимъ грѣкъ сказалъ извѣстно потонку и исполнено на русской языкъ. и кому будетъ помнится что во многихъ рѣчахъ пременено. и то онъ розсказывалъ потонку въ коеждо грамотѣ по своему языку своя рѣчь. и не единъ разумъ рѣчемъ. но которые рѣчи единъ разумъ вездѣ. то вездѣ едино. а иные рѣчи двоеразумны. или на три разумы говорятъ. якоже по нашему пишутъ произвольники. тако и онъ розсказывалъ разумы извѣстно и преврачалъ всякую рѣчь по рускому языку на русскую грамоту потому что русской языкъ и грамоту зналъ до конца. и вы господа и братие аще кто восхоцетъ сия псалмы оу себя держати и по нихъ пѣти и молитися. и ни въ чемъ не сомнися. но все реченно въ нихъ разумно и въ рѣчахъ исполнено. и отнюдь никтоже не дерзни что въ нихъ поправить (Описание рукописей, 1881, с. 20).

Сравните у Зиновия Отенского:

Максимъ Грекъ (...) въ разумѣннихъ воспитався и многоученъ есть мужъ, искусенъ и книги прелогати отъ греческаго языка на латынскій. Егда бо приде отъ Святыя горы Максимъ, повелѣнъ великимъ княземъ Василиемъ преводити Псалтырь толковую отъ греческаго языка на русскій; Максимъ же тогда взыска толмачевъ латынскихъ и преведе Псалтырь толковую отъ греческаго языка на латынскій, и толмачи латынстїи преложиша греческую псалтырь отъ латынскаго языка на русскій, понеже Максимъ русскаго языка мало разумѣя бѣ (Зиновий Отенский, 1863, с. 964).

Так же в «Сказанїи о преподобнѣмъ Максимѣ философѣ, иже бысть инокъ святыя горы Афонскїя преславныя обители Ватопедскїя»:

Нужда же ему (Максиму Греку. — Н. Т.) бысть молити государя чтобъ в помощь далъ римскихъ толмачей Димитрія и Власїя, понеже Максимъ не у совершенно словенскаго языка клоненїя словесъ грамматическою хитростїю знаеше. Благочестивый же государь моленїя мниха не презрѣ, но вскорѣ повелѣ сему быти. Сам же православный государь множество доброписцовъ повелѣ собрати, да удобно дѣло совершается и оброки довольни отъ царскихъ своихъ хранилицъ сему старцу Максиму даяше и сущихъ с нимъ неисповѣдимымъ челоуѣколюбїемъ милосердуя (Белокуров, 1899, с. XXXV приложений).

Наконец, в сказании «о премудромъ и многотрудномъ Максимѣ инокѣ Святыя горы» изложена средняя позиция, согласно которой Максим Грек постепенно овладел «словенскимъ» языком:

А переводиль онъ Максимъ книги тѣ, сказывалъ з греческаго языка полатини преводчикомъ тѣмъ, а преводчики тѣ сказывали книгописцомъ порускіи, и тѣ писцы писали книги порускіи. По малѣ времени и самъ онъ Максимъ грекъ навикъ достовѣрно словенскому языку; являетъ бо его разумъ многое писаніе его есть, бѣше бо зѣло остръ естествомъ и хитрословесенъ. Пишуть бо о немъ знающіи его, яко во всей философіи до конца извыче (там же, с. XIV приложений).

Не следует также забывать, что, судя по письменным памятникам, одиноко прозвучавшему голосу Нила Курлятева против переводческой деятельности митрополита Киприана противостоит множество голосов в пользу Киприановых трудов над переписанием и предложением греческих книг «на славенскій языкъ». А. И. Соболевский свидетельствует, что митрополит Киприан, митрополит Григорий Цамблак и иеромонах Святой Горы Серб Логофет «сделали для России лишь одно: они своею властью или влиянием много способствовали замене у нас более или менее неисправных богослужебных книг, бывших до них в общем употреблении, исправными, только что перенесенными в Россию от южных славян. Во всяком случае, современники охотно делали списки с принадлежавших Киприану богослужебных текстов и хвалили его за его заботы об «исправлении книжномъ» (Соболевский, 1903, с. 12²⁸).

Суть спора заключается, вероятно, в некоторых особенностях школы Киприана по отношению к школе Максима Грека, которые пока определить трудно, так как с лингвистической точки зрения они плохо изучены. Известно, что школы эти относятся к разным эпохам (XIV и XVI вв.) и хотя бы поэтому они могут быть отличны в своей направленности и филологической манере. Однако общего у них, пожалуй, значительно больше, чем разграничивающего. Обе они стремились к нормализации книжной древнеславянской речи, обе, в общем, ее норму видели в образцах «старых преводников». Поэтому можно с полным основанием ска-

²⁸ Ряд древних свидетельств об авторитете киприановской книжной справы см. там же на с. 80–81.

зять, что книжная традиция митрополита Киприана и его соратников продолжалась Максимом Греком и его учениками. И та, и другая школа несла в себе дух афонской («святогорской») учености, и обе они шли в русле древнеправославной греко-славянской образованности.

Были попытки охарактеризовать киприановскую школу как школу, всецело опирающуюся на южнославянскую традицию, а крыло максимовской школы, к которой принадлежал Нил Курлятев, — как пытающееся нормализовать поздний — московский (русский) тип древнеславянского языка с привлечением элементов великорусского языкового субстрата. Именно в этом направлении и велись рассуждения некоторых авторов, хотя они опирались на очень ограниченный по объему и по существу случайно выбранный материал²⁹. Поэтому все эти вопросы, как я уже говорил, требуют специальных разысканий и обращения прежде всего к самим текстам. Сейчас же отмечу только, что и Нил Курлятев, как и многие другие, употреблял термин *сербский* для южнославянских элементов, притом в эту рубрику попадали и генетически неславянские слова, но пришедшие на Русь, как правило, со славянского Юга.

Лидеры старообрядческого раскола в XVII в. не усматривали существенной разницы между книжной школой митрополита Киприана и Максима Грека, признавая тексты киприановской и максимовской редакции в равной мере правильными и богоугодными (в отличие от текстов Никоновской sprawy) и часто ссылаясь на них. Так, Никита Добрынин-Пустосвят, суздальский протопоп, писал:

Согласно же всёмъ и Максимъ Грекъ, Святыя Горы инокъ, въ болшой толковой псалтыри пишетъ къ великому князю Василию Ивановичю, всея Росіи самодержцу, въ началъ предисловія сице: всяко даяніе благо и всякъ даръ совершенъ свыше есть сходя отъ отца свѣтомъ. А не тако еже

²⁹ Некоторые выборочные примеры из текстов переводов Псалтыри Максима Грека и беглые замечания И. Я. Порфирьева, А. В. Вадковского и И. Ф. Красносельцева, данные в «Описании рукописей Соловецкого монастыря» (Описание рукописей, 1881, с. 13–14), служили часто единственным основанием для изложенных выше суждений (см. Ковтун, 1971, с. 16–17; Виноградов, 1938, с. 15; Иконников, 1915, с. 172). Наиболее убедительным примером «русификаторской» деятельности Максимовых переводчиков является замена в «Символе веры» слова *чаю* словом *жду* (см. выше, с. 157–158), но и этот пример недостаточен для широких обобщений.

онъ Никонъ напечаталъ (из свитка, известного под № 1129 бывш. Синодальной библиотеки) (Румянцев, 1916, с. 340 приложений)³⁰.

А по свидетельству Федора Иванова, диакона Благовещенского собора, данному на допросе 9 декабря 1665 г. митрополиту Сарскому и Подонскому Павлу,

онъ же священникъ Никита, приносилъ къ нему служебникъ, переводу Кипріяна митрополита Кіевскаго и всея Русіи и тотъ служебникъ съ новыми не сходитца. А въ челобитной писано, которую приносилъ священникъ Никита, обличеніе на новые догматы: а величествомъ та челобитная — двѣмя пядми объяти мочно (там же, с. 13).

Тот же старообрядческий протопоп Никита в одной из своих челобитных поместил целое текстологическое исследование, касающееся разночтений в старопечатных и никонианских новопечатных книгах. Привожу из него для иллюстрации небольшой отрывок:

А что онъ, Никонъ, въ прочихъ своихъ новопечатныхъ книгахъ словенское нарѣчіе превращалъ и будто лучшее избиралъ, и печаталъ вмѣсто креста — древо, вмѣсто церкви — храмъ, вмѣсто тельца — тельцы, вмѣсто обрадованная — благодатная, и прочіе рѣчи изменить: и то ево измененіе само ся обличаетъ, — посему, что крестъ ли лучше и честнѣе глаголати или древо? и церковь ли честно писати, или храмъ? Ей, всяко речется что крестъ честнѣе древа глаголати, а церковь — храма. И въ писаніи крестъ и церковь подъ титломъ пишется, а древо и храмъ безъ титла. А что онъ вмѣсто обрадованная — благодатная напечаталъ: и о той, государь, архаггельской рѣчи истое во евангельскихъ толкованіи свидѣтельствуется сице: то бо есть обрадоватися, еже обрѣте благодать предъ Богомъ... (там же, с. 337–338 приложений; из свитка № 1129)³¹.

³⁰ См. в том же свитке высказывание о Максиме Греке как о крупном текстологическом авторитете на с. 331, 334–336 приложений и такое же свидетельство об ученике преподобного Максима Грека иноке Зиновии Отенском на с. 331 приложений.

³¹ Обычай писать сакральные слова под титлом в отличие от несакральных, которые пишутся без титла, идет, видимо, еще от времени первых славянских переводов. Так, по наблюдению Е. Э. Гранстрем, в Зографском евангелии слово доухъ в смысле святого духа дано под титлом, сокращенно, а доухъ нечистым пишется полностью, без титла (Мф., VIII, 16; X, 1). Впрочем, конечно, встречались под титлом и несакральные слова: днь 'день', мць 'месяц', нечѣсть 'нечист' и т. п. (см.: Гранстрем, 1954).

Кроме того, любопытно отметить, что старообрядцы в своих доводах охотно опирались на авторитет *сербских* «старописанных» книг. Протопоп Никита в одном из своих сочинений, обращаясь к поездке старца Арсения Суханова в Иерусалим и на Афон, между прочим пишет:

И во Афонской горѣ обрѣтесе старописанная сербская книга, иже писана по арсеніевъ приходѣ Суханова за сто тридцать лѣтъ: и в той книгѣ двѣма же персты написано знаменоватися.

Ср. другой вариант того же отрывка текста:

И тамо же тому старцу Арсенію вѣдомо учинилось, что былъ во Афонской горѣ, въ скитѣ живетъ, старецъ, сербинъ родомъ, святъ житіемъ, и у того старца была старописанная сербская книга: и въ ней писано двѣма персты крестъ на лица воображать повелѣваетъ (Румянцев, 1916, с. 224–225 приложений; из свитка № 1130 б. Синодальной библ.)³².

В заключение укажу, что у некоторых южных славян, прежде всего у сербов и хорватов, были иные представления о диалектной основе древнеславянского (церковнославянского) литературного языка. Таким языком-основой они иногда называли язык русский. Этого мнения был и представитель ресавской школы Константин Костенечский (XV в.), признававший смешанный, несколько искусственный, интерславянский характер древнеславянского (церковнославянского) языка. По его хорошо известному в филологической литературе представлению, создатели древнеславянского литературного языка для передачи особенностей и смысла греческого (равно как и сирийского или древнееврейского) языка «выбрав тончайший и красивейший язык русский, ему в помощь придали черты (части) болгарского и сербского, и боснийского, и словенского, и чешского, и хорватского языка, чтобы воплотить божественные писания» —

избравше тѣнчайшии краснѣишии роушкии кзыкъ, къ нкмуже помощь вѣда^се блъгарскыи и сръбскыи и босньскыи и словѣнскыи и чешскаго че^с и хръватскыи кзыкъ въ еже вѣмѣстити бж^ствнаа писаніа (Ягич, 1885–1895, с. 396).

К этому мнению очень близка точка зрения попа Юрка Крижанича о том, что «словенский» язык следует считать русским (см. выше на с. 155–156).

Эта статья не претендует и не может претендовать на полноту сведений о древних свидетельствах, касающихся цер-

³² Сообщение о том же факте см. в кн.: Белокуров, 1891, с. 131–132.

ковнославянского (древнеславянского) языка и его соотношения с другими славянскими языками, на полноту примеров с употреблением терминов «словенский», «русский», «сербский», «болгарский», «литовский» и т. п.³³ Такие исследования по странам и по эпохам (столетиям, десятилетиям и т. п.) могут пролить свет на историю древнеславянского языка и на его, как удачно определил П. Житецкий, «объединяющее начало умственной жизни» (Житецкий, 1889), на судьбу локальных типов этого языка и их роль в формировании и истории отдельных славянских литературных языков.

Едва ли можно сомневаться, что подобные разыскания появятся в скором времени, так как они будут продиктованы насущными потребностями современной славянской филологии. Довольно обширный материал XVI—XVII вв. по этому вопросу могут представить предисловия, послесловия и комментирующие отрывки из старинных восточнославянских книг (см., например: Строев, 1848; Титов, 1924), равно как и приписки к рукописям, азбуковники и еще не использованные иностранные свидетельства о славянских, в том числе и восточнославянских землях.

³³ Л. С. Ковтун отмечает в азбуковниках второй половины XVI в. частое употребление помет «се(рбское)» для слов южнославянского происхождения типа *брадовъ*, *белчюгъ*, *бошию*, *благолепно*, *бдѣние*, *витааетъ*, *вскую*, *выспрь*, *доблесть*, *дебело*, *дебрь* и т. д., см. Ковтун, 1975а, с. 22; Ковтун, 1975.

Языковая ситуация в западных пределах восточного и южного славянства в XVII веке (опыт сопоставительного рассмотрения)

Лингвистические идеи в современной славистике все больше развиваются в направлении культурологии и семиологии, ставя новые проблемы и цели научных исследований. Такими актуальными вопросами лингвистической культурологии и социологии являются вопросы языковых ситуаций в современных условиях¹ и в прошлом, потому что последствия прежних ситуаций ощущаются и по сей день. Эти прежние ситуации еще плохо изучены — не только с лингвистической точки зрения, но и с точки зрения литературно-исторической и культурологической.

Между тем если обратить внимание на прошлое славянских народов, скажем, на исторические события в XVII веке, можно увидеть, что славяне входили в состав пяти крупных держав, из которых только две были славянскими. Это Османская империя, Габсбургская монархия, Венецианская республика, Польское королевство (*Rzeczpospolita*) и Русское (Московское) царство. Общественные, культурные и языковые условия были в этих государствах достаточно сложными, и потому их сейчас трудно изложить даже в общих чертах. Поэтому для сопоставления мы обратимся только к двум удаленным друг от друга регионам — к Польше и к Европейской Турции, более того, сосредоточим внимание на восточной части Речи Посполитой и на Боснии и Герцеговине.

В религиозном отношении в Польше, особенно в землях, где жили восточные славяне (*genus Ruthenorum*), наблюдалось значительное разнообразие: помимо православных и униатов (после Брестской унии 1596 г.), было немало католиков, в основном поляков, и в меньшей мере протестантов,

¹ В качестве удачной попытки оценки и описания социолингвистической ситуации в современной Европе можно привести сборник «*Politique et aménagement linguistique*» (Paris, 1987), где ситуация в Югославии изложена известным лингвистом Р. Бугарским.

мусульман (татар и караимов), евреев и армян. Сакральными языками большинства жителей были церковнославянский (древнеславянский) и латинский язык; у религиозных меньшинств — арабский, иврит, древнеармянский (Rezek, 1982).

Латинский язык не был исключительно сакральным (церковным) языком у поляков, он был также языком науки, а отчасти и языком литературы, литературным языком (Otwińska, 1974). И притом не только у поляков, но и у русинов, или рутенов, т. е. украинцев и белорусов, которые пользовались этим языком в литературно-художественных и научных целях². В Юго-западной Руси у русских-русинов (рутенов) — православных и униатов — церковнославянский язык употреблялся не только в качестве языка церкви, но и как язык науки (к примеру, в грамматике Мелетия Смотрицкого) и в значительной степени и как язык литературы. В Юго-западной Руси у украинцев и белорусов, помимо церковнославянского, бытовал и так называемый *простой* язык, упрощенный язык — «проста мова», который не был языком одного диалекта, возведенным в ранг литературного (каковым был для Вука Караджича восточногерцеговинский диалект), или языком, позволяющим использовать разные диалекты (как это практикуется в современной чакавской поэзии), а языком почти что без славянизмов, но не лишенным нормы и наддиалектной формы и функции. Любопытно, что в Юго-западной Руси в XVII веке даже печатались книги на двух языках — церковнославянском и «простом», а текст располагался на одной странице в две колонки. В качестве примера можно привести «Лѣкарство на оспальный умысль чловѣчїи...» (издано в Остроге в 1607 г.). Таким же образом еще в XVI веке, в 1570 году, было издано евангелие Василия Тяпинского на церковнославянском и западнорусском (белорусском) языке и немного позднее в Вильне «Казанье святого Кирилла патріарха іерусалимского...» Стефана Зизания на польском и западнорусском (белорусском)

² В XVI и XVII веках и позже иностранцы называли нынешних украинцев и белорусов *рускими* (*русинами*, *рутенами*), а современных русских — *московитами*, потому что они жили в Московской державе — Московии. Позже вплоть до Октябрьской революции были известны полуофициальные названия *великорус*, *малорос* (*украинец*) и *белорус*, и все эти народы назывались *рускими*. Эти названия никогда не были достаточно устойчивы и общеупотребительны.

языке (Толстой, 1963; наст. изд., с. 102–147). Книги, выходявшие в свет на двух языках, свидетельствовали о том, что в западнорусской («рутенской») среде в XVII веке наблюдалась тенденция к двуязычию, а не к диглоссии (т. е. не к взаимодополняемости двух языков). Все же употребление церковнославянского языка в среде православных и униатов³ и латинского у поляков создавало ситуацию диглоссии в классическом смысле этого слова (Martel, 1938).

Два широко распространенных сакральных языка — латинский и церковнославянский — сохраняли в Речи Посполитой свои прочные позиции: латинский язык, как и во всем католическом мире, церковнославянский — как у всех православных славян и в Московии-России, и на православном славянском Юге. Путем контакта церковнославянского языка с «простым» языком создавался целый ряд переходных типов литературного языка или опытов такого создания нового литературного языка. Эти языковые типы и опыты литературно-языкового нормирования в тех случаях, когда они не были окказиональными, случайными, создавали определенную ступенчатую иерархию и были предтечами той литературно-языковой ситуации, которая позже, в XVIII в., выдвинула Григория Сковороду, а затем в середине XIX в. Тараса Шевченко, а в Белоруссии во второй половине XIX века — Францишка Богупевича.

Если же перенестись на юг европейского континента, на Балканы, в западную часть Балкан, где в XVII в. еще господствовала власть турецкого султана, и попытаться оценить языковую ситуацию этого региона, то мы увидим, что она еще сложнее, а это значит, что для лингвиста она еще интереснее. Религиозное разнообразие в Боснии и Герцего-

³ Униаты и католики, связанные с Ватиканом и с римской организацией *Congregatio de propaganda fide*, проявляли немалую заботу о церковнославянском языке. Известна энергичная деятельность в этом направлении Рафаила Леваковича, Юрка Крижанича, семья которого происходила из Боснии. Рафаил Левакович сохранял тесную связь с писателями-униатами из Галиции — Иосафатом Исаковичем, Филипом Боровичским и Мефодием Терлецким. Известно, что в начале XVIII века католики в Далмации, стремясь укрепить традицию «глаголяшей», использовали грамматику Мелетия Смотрицкого и пытались ввести в употребление церковнославянский язык поздней русской редакции. В этом отношении особенно активной была Иллирская семинария в гор. Задар (*Seminarium Zmajoilliricum*) и семинария в Прице около гор. Омиш (Stojković, 1930).

вине и в соседних пределах в общих чертах можно обрисовать следующим образом. Существовали три больших конфессии — православная, католическая и мусульманская, которая была государственной конфессией, т. е. пользующейся всеми преимуществами. Православными были сербы, католиками — хорваты, мусульманами — отуреченные славяне, преимущественно сербы, и турки. Однако в XVII веке еще ощущалось и нередко преобладало старое племенное сознание и территориальная или исконнославянская общность. Поэтому для рассматриваемого этнического и языкового региона типичными были этнонимы: *словинци, бошняци, босанци, народ босански, народ словински, босански језик* и т. п.⁴. Этот *босанский (боснийский), словинский (словенский), сербский* народ в Боснии и Герцеговине говорил на едином штокавском наречье, с незначительными для южнославянского языкового ландшафта диалектными особенностями (екавскими и икавскими). Народная языковая база в Боснии и Герцеговине была по сути дела единой и монолитной, и на ее основе объединялись все остальные языковые идиомы (Јаһић, 1991).

В то же время национальное самосознание было тесно связано с конфессиональным признаком, с религиозной принадлежностью и в меньшей мере с социальной средой. Сакральный язык православного населения был церковнославянский, католического — латинский, мусульманского — арабский. Геврейский был священным языком еврейского меньшинства⁵, а у относительно малочисленных в ту пору протестантов, противостоящих контрреформации и живших по большей части вне пределов Боснии, было стремление создать или сохранить Священное писание на народном

⁴ Известный турецкий путешественник Эвли Челеби, который не был славянином по происхождению, но хорошо знал славянскую среду, употреблял название *босанский язык* для штокавского диалекта, который он слышал и вне пределов Боснии (Челебија, I—II). Это же название употребляли и некоторые славянские писатели, например, И. Грличич, бискуп гор. Джакова и автор книги «Пут небески... то јест наук крстјански и кратко, обилато и разборито истумачен у језик босански» (Venetiis, 1707).

⁵ Разговорным языком польских и западнорусских евреев был идиш (на основе немецкого языка), а боснийских и вообще балканских евреев — сефардский (на испанской основе) и в меньшей мере для ашкенази — идиш.

языке. Это же можно сказать и о небольших группах унитаров, которые возникали на так называемой Военной границе, вне пределов Турецкой империи. В их среде шел процесс постепенного отхода от церковнославянского языка. Высший культурный и литературный слой боснийских мусульман, мусульманские писатели и поэты знали помимо арабского еще персидский язык, не говоря уже о турецком языке, который был хорошо известен и широко распространен в границах Оттоманской державы почти во всех слоях общества и среди всех этнических групп (Башагић, 1913). Православная паства пользовалась церковнославянским языком сербской редакции, но уже в XVII веке началось проникновение в сербскую церковь русских печатных церковных книг на церковнославянском языке русского типа. Все же в XVII веке еще хорошо сохранялся так называемый «сербульский» тип церковного и книжного языка. Этот язык, как и в России, имел свое ответвление — язык права и дипломатии, язык грамот, дарственных актов, дипломатической переписки и торговых соглашений, имел свою отдельную и давнюю традицию, идущую от Грамоты бана Кулина (см. Ильинский, 1906) до поздних актов и документов XVII и XVIII веков. Не следует забывать, что Герцеговина, да и вся Босния, были тесно связаны с Адриатическим побережьем — с Дубровницкой республикой и всей Далмацией, что только одна Дубровницкая канцелярия сохранила значительную часть этого огромного исторического, культурного и языкового богатства.

Вспомним также еще один хорошо известный факт. Сербский деловой язык, который иногда назывался *slavica lingua*, употреблялся в качестве дипломатического языка в Царьграде при дворе султана наряду с турецким и арабским, персидским и греческим языком (Костић, 1924). Пользовались им и дворцовые и владетельные канцелярии Австрии, Венгрии, Венецианской республики, Молдавии, Валахии и Албании⁶.

У боснийско-герцеговинских католиков, как уже отмечалось, латинский язык функционировал в качестве сакраль-

⁶ В первой словенской и в то же время общеславянской грамматике Адама Богорича (1584) первая таблица имеет следующее заглавие: «Prima tabella de orthographia cyrilica, qua utuntur hodie in aula Turcici imperatoris vel maxime praetoriani milites, quos lanizaros appellant. Item Bossnenses omnes, Ruteni et Maschovitae» (Bohorizh, 1584).

ного языка, но принимая во внимание ситуацию в сопредельных регионах, нужно добавить, что тот же латинский язык был в XVI и XVII веках языком науки и языком изящной словесности эпохи Ренессанса и барокко. Таким образом, в этом отношении ситуация на западе Балканского полуострова была сходной с ситуацией в Польше и в соседних Чехии и Венгрии.

Хорватская литературно-языковая действительность в XVII веке складывалась в условиях регионализма, носила ярко выраженный локальный характер, представляла собой некоторую сумму в значительной мере автономных по языку и культуре литератур, образующих все же определенное целое. Эти локальные литературные особенности имели в своей основе диалектное членение западного ареала хорватско-сербского, или сербскохорватского языка. В этом ареале в XVII веке и в начале XVIII века бытовали севернодалматинская глаголическая, дубровницкая штокавская, кайкавская, славонская и боснийская штокавская литературы. В течение предшествующего XVI века происходил подъем чакавской далматинской литературы (Марко Марулич, Петр Зоранич, Ганнибал Луцич, Петр Гекторович) и зарождалась хорватская протестантская литература (Анте Сенянин, Степан Консул Истрианин и др.). Наше особое внимание привлекает католическая боснийская литература, возникшая в начале XVII века во францисканской монастырской среде и продолжавшая свое развитие до второй половины следующего столетия. Францисканские боснийские писатели пользовались в основном штокавским икавско-екавским диалектом или чисто икавским наречием и писали свои произведения в строго определенных рамках религиозных поучений, бесед, эпистолий, исповедальных книг и катехизисов (Толстой, 1987; Georgijević, 1969).

Формальной особенностью первых боснийских францисканских книг была специфически стилизованная кириллица. Она называлась «босанчицей» или «сербскими буквами» (*српска слова*, по Матии Дивковичу), которые относительно скоро были заменены латиницей. Глаголица в XVII веке в Боснии и Герцеговине не была в употреблении, но помимо обычной сербской кириллицы, принятой православными, и латиницы, принятой у католиков, было известно и употребление в мусульманской среде арабского письма для текстов на сербскохорватском языке. Такое письмо встречается в

так называемой «алхамиядной» литературе, а в качестве любопытной параллели к этому явлению можно указать применение арабских букв к белорусским диалектным текстам, известное у белорусов-мусульман в XVI и XVII веках (Антонович, 1968). В то же время сербская курсивная кириллица функционировала не только в сербской православной среде, но и среди мусульман, чей родной язык был язык сербскохорватский. Такое использование кириллицы мусульманами было одно время столь обычным делом, что даже некоторые турецкие тексты писались в Боснии той же кириллицей. Боснийская мусульманская знать («беги»), ведшая переписку с Дубровницкой республикой и другими краями, пользовалась кириллицей, и она в определенной среде называлась одно время «беговским письмом» или «беговицей».

Представленная в самых кратких чертах языковая ситуация в двух крупных европейских регионах с основным славянским населением — восточнославянским (с вкраплением западнославянского этноса) и южнославянским — относится к истории культуры, литературы и литературного языка современных белорусов и украинцев, равно как и нынешних сербов, хорватов и мусульман, живущих в горячей точке Европы — в Боснии и Герцеговине. По сути дела для всех вышеупомянутых народов XVII век был веком поиска и опытов создания новых форм литературного языка, новых форм и жанров, новых возможностей развития языка и литературы. Этот век был веком возникновения новых идиомов, или «стратов» языка, веком конкуренции предварительных, временных или условных норм, литературных жанров, литературно-языковых опытов и их результатов (Толстой, 1985). Эта конкуренция имела свое продолжение в XVIII веке. В стороне от литературно-языковых экспериментов и опытов применения различного письма и опоры на разные традиции и диалекты оставались только сакральные языки (церковнославянский, латинский и арабский) и польский язык, который пережил резкий подъем в свою «золотую эпоху», в XVI веке, после своего литературно-языкового становления в XV веке. Относительно поздно возникший польский литературный язык имел свое непрерывное и традиционное развитие и не переживал в своей истории никаких революционных изменений, подобных тем, которые происходили с сербским и хорватским литературными язы-

ками. В старой Речи Посполитой, в ее западной и северной части, помимо ранее упомянутых языков, бытовали языки немецкий и литовский, в то время как в граничащей с Боснией и Герцеговиной Далмации был распространен итальянский, а в удаленной от Адриатического побережья так называемой Банской Хорватии — язык немецкий. Древнейшие литовские литературно-языковые памятники относятся к XVI веку.

Босния и Герцеговина с примыкающими землями находится на границе Востока и Запада, на меже, которая в 1054 году поделила христианство на два мира — православный и католический, дав тем самым начало двум культурным ареалам-мирам: *Rex Slavia Orthodoxa* и *Rex Slavia Latina*. Позже, с приходом турок на Балканы, на той же территории пролегла Военная Граница с ее пограничными Краинами и пограничными «краинцами». Здесь противостояли две мощных в военном и культурном отношении державы: Габсбургская монархия и Османская Порта. На этой земле постоянно встречались Восток и Запад, Византия и Рим, здесь до прихода турок пустило свои корни богомилство в качестве третьей «босанской» (боснийской) религии, здесь постоянно лилась кровь и возникали трагические конфликты и ситуации, но здесь же создавалось большое духовное богатство, находившее свое выражение в искусстве, литературе и языке.

III

Культурно-языковая ситуация у южных славян

Этническое и культурное самосознание сербов в связи с развитием письменности (литературы) и литературного языка в XII—XIV вв.

Историческая, этническая и языковая ситуация в сербских землях в период, предшествующий рассматриваемому, т. е. до XII в., сводилась к следующему.

На территории, занятой пришедшими на Балканы славянскими племенами, называемыми Константином Багрянородным одновременно то славянами, то сербами, существовали, так же как в окрестностях Солуни и в других зонах, небольшие полугосударственные, полуплеменные образования — Славинии¹. В недрах определенной части этих Славиний, по свидетельству того же августейшего хрониста, постепенно зарождалась древнесербская государственность, которая в середине IX в., после ликвидации аварского господства над славянами, достаточно окрепла, так что в правление сербского архонта Властимира и его сына Мутимира даже смогла противостоять болгарскому хану Персияну, а затем и Борису. Все же болгарскому царю Симеону в конце IX в. удалось на короткое время распространить власть над Сербией, но после его смерти в 927 г. Сербия при Чаславе Клонимировиче возрождает свою государственность и сохраняет ее до тех пор, пока в начале XI в. (в 1014–1018 гг.) влияние Византии не сменяется ее прямым господством. В XI в. лишь небольшая территория, примыкающая к Адриатике, в районе от Скадарского озера до реки Неретвы, известная под названием Дукли, Зеты и Травунии, при князе Стефане Воиславе (1037–1051) и его сыне Михаиле (около 1052 — около 1082 г.) обладала относительной, временами почти полной независимостью от византийцев. Таким обра-

¹ Венценосный историк пользуется термином *Славинии* и для восточнославянских племенных образований, в частности для указания на Славинии кривичей, дреговичей, северян и др. (см. Латышев и Малицкий, 1934).

зом, в IX—XI вв. внешнеполитическая ситуация — сначала власть аваров, затем соперничество Болгарии и Византии и стремление последней к безраздельному господству на Балканах — препятствовала созданию прочной, длительной и вполне самостоятельной сербской государственности.

В этот период большое значение для формирования сербской народности и сербского этнического самосознания имело принятие христианства. Оно, по свидетельству того же Константина Порфирогенета, происходило дважды: первый раз в царствование византийского императора Ираклия (610—641) и второй раз в царствование Василия I (867—886). Второе крещение понадобилось, видимо, потому, что первое дало малые результаты. По авторитетным расчетам Дж. С. Радойчича, оно могло произойти в промежутке между 867 и 874 гг. (Радойчић, 1963, с. 31—34). Первый, ранний период христианства у сербов проходил под знаком двойного влияния — из Рима и Константинополя, т. е. церковного влияния латинского и греческого образца, о чем свидетельствует ряд источников, в том числе и письмо папы Иоанна IV сербскому князю Мутимиру, датированное маем 873 г., о неканонических действиях некоторых священников и о необходимости церковного подчинения сербских земель Паннонскому диоцезу, во главе которого стоял знаменитый просветитель славян епископ Мефодий. Можно даже с известной долей вероятности говорить о преобладании до XI в. латинской сферы влияния, прежде всего в административном отношении, так как в ту пору сербские земли тяготели к двум церковным центрам — к Сплиту, центру фемы Далмации, и Драчу, центру Драчской фемы (см. Ђирковић, 1969). Сербские земли как раз находились у той границы, по которой в 1054 г. произошло разделение христианской церкви на западную и восточную (католическую и православную). Граница эта в общих чертах сохранилась до нашего времени. Постепенно все более обостряющееся противопоставление западного и восточного церковного канона и обряда и связанных с ними конфессионально-культурных традиций сглаживалось во многом наличием у сербов, хорватов и болгар славянской письменности и книжности — важного объединяющего фактора, действующего во многом независимо от религиозной ориентации ее хранителей и потребителей. Эта письменность в течение всего средневековья поддерживала и укрепляла важный компонент сербского этнического

самосознания и сербской этнической культуры — славянский. Славянский этнокультурный ареал был противопоставлен не столько географически, сколько структурно (даже внутрискруктурно) одновременно и латинскому, и греческому культурному и религиозному массиву. Это противопоставление означало во многих отношениях сосуществование и близкое соприкосновение, о чем более подробно будет сказано ниже и что в полной мере относится не только к периоду IX—XI вв., но и к рассматриваемому историческому промежутку XII—XIV вв.

Этническая структура сербов в период их предьстории и самой ранней истории (VII—IX вв.) изучена слабо, что объясняется не столько недостаточным вниманием к этому вопросу, сколько почти полным отсутствием исторических данных. Этот пробел во многом восполняется работой Е. П. Наумова (см. РЭС, 1982, с. 181—195). Опираясь на эту работу и ряд других трудов, можно с большой долей вероятности предположить, что славянский этнос, отличающийся от близкородственных ему славянских этносов, заселивших Балканский полуостров, этнос, носящий, по свидетельству Константина Багрянородного, этноним «сербы», делился на ряд племен, имевших свои названия, подобно тому как делились восточные славяне, по данным «Повести временных лет», на полян, древлян, дреговичей, северян, вятичей и т. д. Однако сербские этнонимы, отражающие древний тип номинации по особенностям географической среды (такие, как у восточных славян «древляне, зане съдоша в лѣсъх», поляне, дреговичи и т. д.) или по другим, нетопонимическим показателям, в большинстве нам неизвестны. До нас дошел лишь письменно засвидетельствованный, более поздний тип оттопонимических названий сербских племен, явно связанный с новыми географическими и историческими условиями. Притом большинство топонимов, на основе которых возникли древние сербские этнонимы, — неславянского происхождения [*неретвяне* по р. Неретве от древнего *Narion*, *дукляне* по городу Дукле (из *Dioclea*), *коновяне* от лат. *canale* 'водопроводный канал', *тимочане* от р. Тимок (от античного *Timacus*)], но были и славянские этнонимы типа *захлумы* (от города и местности Хлум и Захлумье — «местность за Холмом»). В первой половине X в. при этом помимо собственно Сербии существовали в достаточной мере самостоятельные приморские сербские княжества — Траву-

ния, Дукля, Захумье и соседняя Пагания. К концу X в., после гибели князя Часлава (960 г.), известную независимость приобретает и Босния, которая затем в XI в. аннулируется сначала византийским господством, а потом, со второй половины XI в., возвышением сербского Зетского государства. Государственные и «полугосударственные» образования и их функции, изменения границ как самой Сербии, так и примыкающих к ней и повременно обособляющихся княжеств и областей вызвали действие двух противоположных процессов: дивергенции, т. е. усиления областного сознания, и конвергенции, т. е. формирования общесербского народного сознания.

Эти процессы находили отражение как в этнической структуре сербского народа, так и в характеризующих ее отдельных топонимах и связанных с ними этнонимах, значение и географическая привязанность (географический охват) которых менялись. Так, некоторые топонимы, как и образованные от них этнонимы, расширяли сферу своей территориальной привязки, как это было, например, с Боснией, название которой относилось первоначально к сравнительно небольшому центральнобоснийскому региону².

Сербских памятников письменности до XII в. не сохранилось, и потому, вероятно, не следует идти путем догадок и восстанавливать книжный язык того времени. Памятник старославянского языка XI в. Мариинское евангелие содержит, по мнению И. В. Ягича, П. Ивича и других ученых, отдельные сербские языковые черты, и это указывает на то, что он мог возникнуть в сфере древнесербского языкового (диалектного) влияния.

Сербские диалекты IX—XII вв., по мнению А. Белича, переживали такой период развития (по его классификации — четвертый), когда уже обрисовывавшиеся в VII—VIII вв. чакавский и штокавский диалекты будущего сербскохорватского языкового массива продолжали развивать ряд общих

² Аналогичным образом небольшая область в Центральной Боснии — Раша в титулах венгерских королей (в XII—XV вв.) означала Боснию в целом, точно так же, как этникон *rac* (серб), употребляемый венграми, по всей вероятности, восходит к названию сербской земли Рашки, со столицей в Расе (сравни также название р. Рашки, притока р. Ибар). Латинские источники по отношению к средневековому сербскому государству применяли название *Rascia*, *Raxia*, а к ее жителям — *Rasciani*, *Rassani*.

черт и тем самым скорее приближались, чем отдалялись друг от друга. Большинство этих общих черт, однако, обособляли сербскохорватский языковой массив от других славянских языковых зон (Белић, 1958). Этот процесс продолжался и в течение XIII—XIV вв., и о его отличительных особенностях будет сказано ниже. Сам же сербскохорватский язык (как язык, а не как определенная диалектная сфера общеславянского — праславянского языка) образовался, по мнению П. Ивича, не ранее XI в., что, надо полагать, вполне соответствует действительному положению дел и мнению о распаде праславянского языка таких крупных ученых, как Н. С. Трубецкой, Н. Н. Дурново и др. (Ивић, 1981, с. 139).

Историческая обстановка в период со второй половины XII в. до конца XIV в. резко изменилась по сравнению с обстановкой предшествующего периода. Она ознаменовалась подъемом сербского государства и расширением его территории, усилением его международного и внутреннего положения, возникновением и укреплением позиций династии Неманичей, правившей со второй половины XII в. до 1371 г., созданием сербской автокефальной церкви (1219 г.) и усилением ее авторитета, развитием жанров древнесербской литературы, обогащением литературного языка, этнической консолидацией сербской народности. Всем этим процессам был нанесен в конце XIV в. мощный удар османской агрессией: в 1389 г. на Косовом поле сербы были разбиты, а предводитель сербского войска царь Лазарь убит. Поражение это, как известно, не привело сразу к полной потере сербской государственности, а тем более к ликвидации сербской церкви, книжной образованности (литературы), сербского национального самосознания. На протяжении последующих пяти веков Косовская битва, как и культ св. Саввы Сербского и Неманичей, являлись символами сербского духовного единения и борьбы за национальное возрождение и освобождение. Сербский героический эпос и другие фольклорные жанры воплотили эти символы во многих произведениях.

Возвышение династии Неманичей, связанное с именем великого жупана Стефана Немани (1166–1196), привело к объединению большинства сербских земель вокруг Рашки — политического и культурного центра Сербии конца XII — начала XIII в. Пограничное расположение Сербии между двумя крупнейшими европейскими конфессиональными

массивами сказывалось во многих сферах ее политической и культурной жизни. Можно привести известные факты, что сам Стефан Неманя был крещен дважды: первый раз, при рождении, в Рибнице (в Зете) по западному обряду и второй раз — в Расе (в Рапшке) по обряду восточному, что сын Стефана Немани Стефан Первовенчанный принял в 1217 г. корону от римского папы, а его младший брат Савва получил автокефалию от константинопольского патриарха, находившегося в Никее. Достаточно обратить взор на памятники знаменитой церковноархитектурной «рапшской школы», гармонично объединившей строгие черты византийского монументального зодчества с живостью романского стиля, чтобы понять, сколь глубоким и органичным было восприятие культурных ценностей двух соприкасавшихся миров и сколь самобытно было их воплощение в сербской культурной среде. В религиозно-догматической и обрядовой сфере в итоге правления династии Неманичей и развития сербского самосознания той поры окончательно утвердилась приверженность сербской церкви (с 1219 г. автокефальной, а с 1346 г. возглавляемой патриархом) и ее паствы к восточному христианству, к его православной разновидности, чему немало способствовала деятельность первого сербского архиепископа Саввы и его последователей³. Именно этот вероисповедный признак стал впоследствии основным, в некотором отношении и в некоторых условиях единственным дифференциальным признаком, отмежевывающим хорватов от сербов. В качестве такового он сохранился вплоть до XX в. Этот же признак определил характер древнего сербского литературного языка и древнесербской литературы, развивавшейся в тесной связи с византийской литературой и другими литературами славянского мира.

³ В Законнике Стефана Душана уже говорится о латинской «ереси» и строго запрещается обращение православных подданных в католичество. Ср. § 6–8 по Призренскому списку (XV в.): «О ереси латињској. И за ересь латињскую; што (се) су (о)брали христијане въ азимство (от греч. ἄζιμον 'опреснок'. — Н. Т.); да се възврате опетъ въ христијанство, ако ли се кто обрѣте прѣчювъ (= ослушавшийся) и не възвративъ се въ христијанство, да се каже (= пусть будет наказан) како пише у законнику светыхъ отць. ... И поць латињскы, ако се наиде обративъ христијанина въ вѣру латињску да се каже по закону светыхъ отць» (Новаковић, 1898, с. 11).

Период XIII—XIV вв. А. Белич не без основания считает очень значительным и «центральным» периодом эволюции сербскохорватского языка. Основные языковые процессы этой поры начали протекать еще раньше, в XII в. Они привели к изменениям как фонетического строя (прояснение редуцированных в сильной позиции в *a*, появление различных рефлексов *ятя*, отраженных и в современном народном языке, переход конечнослового *l* в *o*: *pisal* → *pisao* и др.), так и грамматической структуры, и придали сербскохорватскому языку новый ряд специфических черт, отличающих его от других славянских языков. Процессы эти охватили основную массу сербскохорватских диалектов, не достигнув, однако, отдельных окраинных, периферийных говоров, сохранивших во многих случаях более архаические языковые черты. В то же время они привели к более четкому выделению ряда диалектных зон, в первую очередь чакавской, западноштокавской и южной, или юго-западной, штокавской. Существенно, что еще до османско-турецкого нашествия штокавский диалект начал свою экспансию на юг и юго-запад. Все это осложнило диалектную картину, преимущественно в приморских и хорватских и в меньшей мере — в сербских землях (Белић, 1958, с. 6–8).

Диалектная дифференциация слабо отражалась в книжном языке сербов XII—XIII вв., который в это время был уже достаточно нормирован и упорядочен. До нас дошел ряд замечательных памятников древнеславянского языка сербской редакции, демонстрирующих непосредственную преемственную связь с кирилло-мефодиевскими протографами. Это сакральные тексты: Мирославово евангелие (XII в.) и Волканово евангелие (около 1200 г., писанное «в Печи в граде Раса»), Псалтырь из Синая (начало XIII в.), Апостол Матицы Сербской (XIII в.), Требник Груича (вторая половина XIII в.) и др. Для текстов этого типа характерно наличие отдельных сербских языковых черт, таких, как замена ж (юса большого) *ѣ* (*оу* или *Ѹ*), *ѡ* (юса малого) *ѣ*, написание вместо *ѣ* и *ь* одного *ь*, смешение *ы* и *и* и т. п., о чем говорится подробнее в разделе о функции древнеславянского языка у славян (см. наст. изд., с. 90–101). Тот же извод господствует в текстах, примыкающих к упомянутому, — в минеях, паримейниках, гомилиях, кормчих и типиконах (Оливерова минея 1342 г., Дечанский паримейник середины XIII в., Печский патерик конца XIII в., Иловицкая кормчая

1262 г., московский Шестоднев Иоанна Экзарха 1263 г., ленинградская Беседа Константина Пресвитера 1284 г., гомиляр Михайловича конца XIII в. и др.) (см. Богдановић, 1982; Ђорђић, 1971). Наряду с упомянутыми видами текстов, характерных для всех зон культурного и конфессионального ареала *Slavia Orthodoxa*, у сербов отмечается рано возникшая деловая письменность, язык которой близок к диалектам, к разговорной речи, но в то же время, безусловно, обладает многими чертами нормированного языка.

Уже древнейшая датированная грамота — грамота боснийского бана Кулина 1189 г., по справедливому замечанию П. Ивича, «написана так, что она могла звучать одинаково на почти каждом штокавском говоре того времени», потому что ее язык «очень архаичен и унифицирован, а дифференциация штокавских говоров тогда еще была слабо выражена» (Ивић, 1971, с. 127)⁴.

Обобщенность черт делового языка, прежде всего языка сербских грамот, которые, в отличие от болгарских, сохранились в большом количестве (до 1000 грамот), не стерла некоторых локальных особенностей, выступающих в ряде случаев довольно четко. Так, выделяются группы грамот и деловых документов в рапской (собственно сербской), боснийской и дубровницкой канцеляриях (Долобок, 1914). В рапских грамотах можно найти следы косовско-ресавского диалекта, в боснийских — боснийской штокавщины, а в дубровницких — некоторые специфические элементы сла-

⁴ Следует отметить, что текст грамоты бана Кулина понятен и сейчас внимательному русскому читателю не в меньшей мере, чем современному сербскому, из-за архаизмов и славянизмов, сохранившихся в русском, и, конечно, из-за значительного общего славянского словарного фонда, существующего и поныне. Приводим первую половину грамоты с некоторыми упрощениями в орфографии: «У име отца и сина и светаго духа: Я банъ босьньски (= боснийский) Кулинь присезаю (= клянусь) тебѣ кнеже Крѡвашу и всѣмъ грађамъ дубровъчамъ (= дубровницким) правы (= истинный) приятель быть вамъ отъсель и довѣка и прави гои (= мир) дрѣжати съ вами и праву вѣру докола съмъ (= емъ) живъ. И вси дубровъчане кире (= которые) ходе (= ходят) по моему владанию, тръгуюће (= торгую), годѣ си кто хоће (= кто хочет) крѡвати (= пребывать, проживать), годѣ си кто мине (= кто минует, пройдет) правовъ вѣровъ (= с истинной верой, доверием) и правымъ сръдцемъ держати е (= принимать их) безъ всакое зледи (= зла)» (Ильинский, 1906). Слово *крѡвати* вышло из употребления в сербском языке, *всѣмъ* изменилось в *свим*, *всако* в *свако*, исчезли и слова *гои*, *кире*, а сочетание *годѣ ... кой* стало устойчивым в форме *ко год* — 'кто-нибудь, кто угодно'.

вянской речи знаменитого города-республики. Общий, достаточно нормированный деловой язык, часто в сочетании с языком книжно-возвышенным, отражен в дарственных грамотах монастырям разных сербских владельцев, — церковнославянизмов в них больше, чем в обычных светских грамотах. Сербские державные правители пользовались и греческим языком для своих государственных, административных и прочих нужд (см. Грчке повеле, 1936). Такое греко-славянское параллельное функционирование языков аналогично латинско-славянскому в хорватских землях, где, однако, латынь в этот период в деловой письменности почти полностью преобладала, как преобладала она, в общем, абсолютно в западнославянских землях.

В произведениях древнесербской литературы региональные, диалектные черты часто малоприметны, и потому в большинстве памятников несакрального и неделового характера XIII—XIV вв. представлен древнесербский книжный язык литературного образца. Языковые различия в этих памятниках — в основном различия не междиалектного характера, а книжного—некнижного порядка, в каком-то отношении высокого и невысокого (среднего) стиля. Под книжными языковыми особенностями при этом понимаются слова и формы древнеславянского языка сербского извода, а под некнижными — особенности древнесербского языка, близкого к народному. Различия книжных и некнижных элементов на сербской почве не были резкими и значительными, во всяком случае они были более слабыми, чем в книжном и некнижном языке древней Руси, где все южнославянизмы относились к книжному языку, к сакральному и высокому слогу, а в сербском и в соседних славянских языках такие элементы, естественно, к нему не относились.

Различия в языке памятников рассматриваемого периода чаще всего наблюдаются в текстах разного жанра, т. е. зависят от жанра памятников, а не от места их написания. Наиболее последовательный древнеславянский язык сербского извода наблюдается в книгах церковных (богослужбных и небогослужбных), а наиболее близкий к народному язык — в текстах деловых, в грамотах, записях и повествованиях, близких к фольклорным. Некоторые произведения древнесербской литературы написаны или переписаны языком, синтезировавшим древнеславянские и сербские языковые черты.

За два столетия, с начала XIII и до конца XIV в., древнесербская литература развила богатую систему жанров, в широкий спектр которых помимо переводных (преимущественно с греческого и некоторого числа из других славянских литератур, преимущественно из болгарской) произведений вошло немало оригинальных сочинений. Помимо традиционного состава книжных текстов — богослужебных (служб святым и т. п.), патристических и гомилетических сочинений, корпуса переводных церковно-юридических книг, наконец, переводной агиографической, апокрифической и исторической литературы (хроники и т. п.), в Сербии существовали оригинальные произведения разных жанров, прежде всего яркие по поэтической форме и богатые содержанием жития сербских святых и службы им, повести, поучения, похвалы и плачи, слова, послания и письма, летописи, родословные, записи, судебники («законики»).

Едва ли не самым значительным жанром древнесербской литературы, рельефно очерчивающим ее самобытность, четко выражающим характер сербского этнического самосознания и идею средневековой сербской государственности, был жанр житий, авторами которых нередко были сербские правители и архиепископы; им же, как правило, и посвящались жития. Жития эти возвеличивали знаменитую «лозу» (династию) Неманичей, прославляя их духовное благочестие и попечение о могуществе сербской державы и независимости сербской церкви. Так возникла серия агиографий: Житие св. Симеона (Стефана Немани), написанное в 1200 г. его сыном Саввой Сербским, и другое Житие св. Симеона, сочиненное в 1216 г. старшим братом Саввы Сербского королем Стефаном Первовенчанным; в 20-х или 30-х годах XIII в. появилось и Проложное Житие св. Симеона, принадлежащее, вероятно, монаху Спиридону из Студеницы. Эти тексты представляют собой так называемый Жичский (по монастырю Жича) круг житий в отличие от Хиландарского (по монастырю Хиландару) круга текстов — Жития того же св. Симеона, принадлежащего Доментиану (середина XIII в.), и Службы св. Симеону, сочиненной младшим современником Доментиана Феодосием. Перу Доментиана и Феодосия принадлежат также два разных Жития св. Саввы, написанные соответственно в 1243 г. и в конце XIII в. Продолжением этой серии в сербской агиографии оказался сборник сербского архиепископа Даниила начала XIV в. «Жития ко-

ролей и архиепископов сербских», включающий в себя, помимо житий Симеона и Саввы, жития королей Уроша, Драгутина, Милутина, королевы Елены и ряда архиепископов.

Култ Неманичей нашел свое отражение не только в агиографической, но и в гимнографической литературе, в довольно многочисленных службах, так как многие авторы создавали одновременно житие и службу новоканонизированному святому. Так возникли службы св. Симеону (авторы — св. Савва Сербский, Феодосий), служба св. Савве (автор — Феодосий, неизвестные авторы хиландарского круга), службы на перенесение мощей св. Саввы и на его усупение, общий канон св. Симеону и св. Савве (автор — монах Феодосий) и др. (см. Трифуновић, 1970). Все эти службы, в отличие от житий, написаны на строго нормированном древнеславянском (церковнославянском) языке сербского извода, т. е. в языковом отношении подчинены слогу и нормам литургического языка.

До нас дошла богатая иконография Неманичей (см. Милошевић, 1970) в виде фресок, икон, отдельных книжных миниатюр. Сохранилось также немалое число монастырей, ктиторами которых были Неманичи. С деятельностью Саввы Сербского, Стефана Первовенчанного и Стефана Немани (в иночестве Симеона) связано основание таких крупных монастырей (центров сербской архиепископии или письменности), как Жича (основан в 1208 г.), Печ (основан в 30-е годы XIII в.), Хиландар (получен от византийского императора в 1198 г.). Монастырь Хиландар был духовным, а не административным центром сербской церковной и книжной образованности и литературы. Может показаться парадоксальным тот факт, что именно территориальная оторванность Хиландара от сербских земель, его «надстроенность» над сербской государственной, социальной и экономической структурой и жизнью сделали этот монастырь «всесербским» объединяющим центром, призванным осуществлять прочную и прямую связь с византийским культурным ареалом и с ареалом *Slavia Orthodoxa*, т. е. со всем греко-славянским миром в целом и с каждым входящим в него этнически обособленным культурным ареалом в отдельности. Вне круга агиографических текстов о Неманичах стоит Житие св. Петра Корышского, сочиненное Феодосием в 1310 г. Оно преисполнено символики, психологической углубленности и тонкой словесной поэтики. Это едва ли не лучшее про-

изведение сербской средневековой агиографии повествует не о венценосных правителях и церковных владыках, а о простом сербском пустыннике, подвизавшемся в конце XIII в. в окрестностях Призрена.

Общее развитие сербской агиографии в рассматриваемый период шло параллельно с возникновением и активизацией деятельности скрипториев в Хиландаре, Студенице, Милешеве, Жиче и Пече, где в принципе придерживались одной общей (общесербской) литературно-языковой нормы — рапшской (см. Богдановић, 1980, с. 142–173). Сербская агиографическая литература выработала высокий книжный слог, называемый «плетением словес». Книжники, пользующиеся этим слогом, отличались большим вниманием к слову, к его звучащей стороне (аллитерации, ассонансы) и к стороне смысловой (этимологические связи, глубинная семантика), к синонимическим связям и к параллелизму слова и значения, к тавтологии и т. д. Слог этот, характерный прежде всего для афонской (хиландарской) сербской традиции, отвечал философским и духовным исканиям, «уравновешенному психологизму» того времени, имевшему широкое распространение в Византии и в сопредельных с ней единоверных странах и известному под названием «исихазм». Таким образом, обладая прочными византийскими корнями и образцами, сербская житийная литература разрабатывала свой славянский оригинальный стиль, нашедший, как известно, отклик и отчасти свое продолжение в русской житийной литературе. Естественно, что «плетение словес» опиралось не на народный слог, а на языковой наддиалектный фонд, прежде всего на древнеславянскую (церковнославянскую) книжную традицию, во многом искусственную и приспособленную для высокого и тонкого поэтического выражения смысла, осложненного абстрактной символикой и метафорическим иносказанием. Все это приближало литературный древнесербский язык того времени к древнеславянскому языку любой локальной разновидности, делало его достаточно сложным, несколько различающимся по жанрам, но не по локальным (диалектным) особенностям, и тем самым, в общем, единым в системном и функциональном отношении. Что касается области функционирования древнесербского книжного языка, то он, как и всякий литературный язык донационального периода, был ограничен письменной сферой и то не во всем ее объеме.

Наиболее яркие представители исихазма в Сербии вступили на книжное поприще в 50—60-х годах XIV в., незадолго до трагических битв на Марице (1371) и Косовом Поле (1389). Это были чернецы Ефрем, автор христовых и богородичных канонов и стихир, а также «Молебствия о деспоте Стефане Лазаревиче»; Силуан, сочинитель Проложного Жития св. Саввы и сборника писем «Эпистолии кир Силуяновы»; старец Исая, переводчик псевдо-Дионисия Ареопагита, популярнейшего византийского теолога. Их именами не ограничивается исихастская литература в Сербии (см. Богдановић, 1980, с. 182—189). Любопытно отметить, что старец Исая превозносит не только псевдо-Дионисия Ареопагита и других византийских писателей, что было характерно для книжников его круга, но и греческий язык, который, по его мнению, превосходит славянский. «Богом хорошо сотворенный наш славянский язык», рассуждает старец Исая, не удостоился такой искусности, как греческий, «из-за отсутствия любви к книжному учению» у тех, кто им пользовался (см. Кашанин, 1975, с. 282). Можно предположить, конечно, что эти слова старца — скорее риторическая фигура, ставящая целью побудить собратьев к книжному труду, чем твердое убеждение. Однако при всех обстоятельствах авторитет греческого языка как некоего образца был очень высок в южно- и восточнославянской книжной среде. Второе южнославянское влияние на Руси было, как свидетельствуют новые факты, не просто восприятием ряда южнославянских текстов и книжных норм, но и своего рода возрождением кирилло-мефодиевской ситуации, когда греческий язык был эталоном для создаваемого славянского литературного языка.

Тенденция к нормализации сербской государственной жизни и жизни феодального общества на началах, отличающихся от древних славянских народных юридических обычаев, ярко выражена в известном памятнике древнесербского права и в то же время древнесербского языка, в Законнике Стефана Душана. Язык этого крупного кодекса близок к народному, хотя и не лишен целого ряда древнеславянизмов, число которых в более поздних списках нередко увеличивается. Во многих отношениях он приближается к языку деловых грамот и в то же время расходится с ним из-за наличия целой серии специальных юридических клише, вероятно, достаточно давнего не книжного происхождения (см.

Законик, 1975—1981, кн. 1, с. 125—160, 213—219; кн. 2, с. 67—72, 107—110, 155—168). Резкой противоположностью светскому юридическому языку является язык церковных, преимущественно переводных, юридических кодексов и сочинений — кормчих, номоканонов, церковных и монастырских уставов, типиконов. Он почти во всех отношениях глубоко книжный, как и в литургических текстах, иногда, правда, с отдельными сербизмами. Именно на примере светских и церковных юридических текстов рельефно выступает литературно-языковое двуязычие в Сербии в рассматриваемый период. Двуязычие это было различно по жанрам: в некоторых жанрах, в жанрах более высокого ранга, связанных с сакральными функциями, двуязычие отсутствовало и употреблялся лишь древнеславянский язык сербской редакции, так же как в деловой письменности бытовал лишь древнесербский язык, близкий к народному (см. Толстој, 1982). Однако обе языковые стихии постоянно взаимодействовали, что благоприятно сказывалось на развитии древнесербской системы стилей языка.

В XII—XIV вв. помимо сербской державы Неманичей существовало и отдельное от нее Боснийское государство. Оно возникло как объединение ряда жуп на территории между Дриной и Врбасом, входило то в состав соседних славянских государств, то, при усилении византийского господства на Балканах, подпадало под власть Византии, то было вынуждено признавать верховную власть венгерских королей. Зависимость от венгерской короны в XIII в. была значительной. В первой половине XIV в. при правлении бана Степана II Котроманича (1322—1353) эта зависимость как будто сошла на нет, но во второй половине того же века племяннику Степана бану Твртку пришлось вести с венгерским королем Людовиком (Лайошем) длительную борьбу с переменным успехом. В последнее десятилетие своего правления Твртко добился немалых успехов, венчался в 1377 г. в Милешеве королем «Срблем и Боснии» и значительно распространил границы своего государства за счет сербских и хорватских земель. В 1390 г. он уже именуется королем Рашки, Боснии, Далмации, Хорватии и Приморья. Однако в самом конце XIV в. у границ Боснии помимо Венгрии появляется новый опасный враг — османы.

Босния с конца XII в. и до укрепления власти турок, т. е. до второй половины XV в., была средоточием богомиль-

ства на Балканах. Позиции этой ереси в Боснии были сильными, так как ее временами поддерживали и боснийские правители (баны), и крупные феодалы (властела). По свидетельству хронистов, они были искусны в «латинских и славянских книгах», но не поклонялись «святым иконам и кресту». Наиболее яркий след они оставили в искусстве сооружения и орнаментации каменных надгробий, из которых многие наделены богомильской символикой. Такие надгробья сконцентрированы в Центральной Боснии и Герцеговине (Хуме).

Памятники письменности, которые предположительно атрибутируются как богомильские (евангелия Никольское конца XIV — начала XV в., Груичево конца XIII — начала XIV в., Копитарево второй половины XIV в. и др.) или просто боснийские, по тексту и языку мало отличаются от других древнесербских текстов соответствующих жанров⁵. Собственно богомильских сочинений, систематически излагающих их вероучение, не сохранилось: они либо были уничтожены, либо отражались только в устных преданиях и в отдельных апокрифических текстах, частично до нас дошедших, но имеются памятники антибогомильской литературы, относящиеся ко времени распространения богомильства в Болгарии и в других странах.

Богомильство было третьей религией в Боснии и прилегающих землях, как позже третьей религией оказался ислам. Это делало средневековую Боснию не просто пограничьем православия и католицизма, зоной их столкновения или смешения связанных с ними культур и обычаев, а зоной своеобразного и довольно устойчивого сосуществования и конкуренции трех конфессий, в которой ни одна из них в рассматриваемый период не одерживала верх. Это, видимо, сказалось на том, что Босния и ее население, хотя и имели свой, пусть не всегда прочный, институт государственности и свои отличительные этнографические черты, не вырабо-

⁵ А. И. Соболевский пишет: «Сербы, придерживавшиеся богомильской ереси, жившие в Боснии, выработали в своих книгах несколько иной вид церковнославянского языка сербского извода. Из их кирилловской письменности дошло до нас всего несколько книг, все XIV в. и начала XV в.». В качестве особенностей орфографии этих книг, отражающих местные фонетические явления, А. И. Соболевский отмечает написание и вместо ѣ, отсутствие юсов, йотированного а и др. (Соболевский, 1908, с. 80–81).

тали собственного, отдельного самосознания, а сохранили сербское (православное) самосознание или римско-католическое (хорватское), а позже приобрели и самосознание, базирующееся на принадлежности к исламу. Некоторые характерные локальные черты, вроде боснийского типа кириллицы у католиков и т. п., относятся к периоду османского владычества.

Отношение древнесербского книжного языка к древнеславянскому языку (в связи с развитием жанров в древнесербской литературе)

Как видно из названия, целью данной работы является попытка дать краткий ответ на следующие три вопроса.

1. Существовал ли в древнесербской литературе (в древнесербских текстах) билингвизм (двуязычие)? В чем состояла суть, какого типа и какого происхождения был этот билингвизм?

2. Существовала ли в древнесербской литературе (resp. текстах) жанровая дифференциация? Какова была система жанров в древнесербской литературе и как она развивалась?

3. Было ли связано употребление одного из двух языков с системой жанров в древнесербской литературе? Если эта связь существовала, как она развивалась исторически?

Все эти проблемы не новые, они возникли давно. В течение уже почти десяти лет русская филологическая наука изучает древнерусскую литературно-языковую ситуацию. До сих пор по этому вопросу ведется ожесточенная полемика, приводятся новые аргументы, собирается новый богатый материал. Сербские филологи уделяли гораздо меньше внимания этим вопросам, которые для русских славистов были очень актуальны. Это довольно странно, потому что древнесербская ситуация в значительной мере сходна с древнерусской. Древнесербская и древнерусская литература (так же, как и древнемакедонская, древнеболгарская, древневлахомолдавская) входили в один культурный ареал — *Pax Slavica Orthodoxa*. Мы еще будем говорить в связи с поставленными вопросами о значении этого культурного ареала для развития древнесербской, как и древнерусской, древнеболгарской и других древних литератур и древнего книжного (письменного) и литературного языка, а сейчас коротко об истории изучения древнесербской ситуации.

Южнославянские элементы в современном русском языке настолько многочисленны, что невозможно оспаривать их

важной роли в современной структуре и истории русского литературного языка. Невозможно поставить под сомнение и существование литературно-языкового церковнославянско-русского билингвизма в древней Руси, которое продолжалось до XVIII, а может быть, и до начала XIX в. Существуют различные мнения о том, функционировал ли древнерусский литературный язык начиная с того времени, когда сложилась древнерусская литературная традиция (X—XI в.), или же первоначально литературным языком у русских был церковнославянский¹, а древнерусский возник и развивался как отдельный язык позже. Первой точки зрения (об автохтонности древнерусского литературного языка) придерживался С. П. Обнорский (с 1934 г.) и его последователи (Ф. П. Филин и др.), а второй — значительное число ученых XIX в., а в XX в. — А. А. Шахматов, А. И. Соболевский, В. М. Истрин, Л. В. Щерба, Б. Унбегаун, А. В. Исаченко и др. Концепция В. В. Виноградова была близка взглядам Шахматова, но с течением времени она изменялась, а в последние годы вернулась к своей исходной точке (см. Толстой, 1974; 1978). Среди сербских лингвистов только А. Белич уделял большое внимание полемике между русскими учеными, а среди хорватов — Кравар (Белић, 1951–1952; Симпозиум, 1970, с. 111–121).

Другая проблема — это проблема структуры жанров в древнерусской литературе, и эта проблема, как и первая, становилась предметом обсуждения на международных съездах славистов. Целый ряд видных ученых, таких как Р. Ягодич, Д. С. Лихачев, С. Вольман, Д. Чижевский и др., уделяли особое внимание решению этого сложного вопроса (Jagoditsch, 1957–1958; Лихачев, 1973; Wolman, 1968; Čiževsky, 1954). Р. Ягодич указал на невозможность применения западноевропейской схемы разделения литературных родов

¹ В русской научной традиции различают старославянский язык и церковнославянский язык как язык, вышедший из старославянского и продолжающий его традиции и функции. Ряд ученых заменяет термин *церковнославянский* термином *древнеславянский*, притом что и старославянский включается в его историю в качестве раннего, начального этапа развития этого литературного языка. В сербской терминологии русской паре *древний* и *старый* соответствует одно лишь слово *стари*. В сербском оригинале этой статьи употребляются соответственно термины *старословенски*, *црквенословенски*, *стари словенски*. В редких случаях для старославянского употребляется и термин *староцрквенословенски*. См.: Ђорђевић, 1957; Копыленко, 1966.

(эпика, драма, лирика) к древнерусской литературе, которая имела другую «духовную систему» и «тяготела к единству, органической целостности, ее компоненты находились во взаимосвязи». О функционировании жанров и их историческом развитии в связи с развитием всей древнерусской культуры и древнего «литературного этикета» писал Д. С. Лихачев в ряде своих работ. С. Вольман расширил рамки темы, включив в свои исследования и древнюю западно- и южнославянскую литературу. Пришло время предложить конкретное разделение текстов древнерусской (сербской, болгарской и т. д.) литературы по жанрам, дать рубрикацию произведений (т. е. текстов) и иерархическую систему рубрик.

Вопрос билингвизма и система литературных жанров в древней Руси не обсуждались во взаимосвязи как историко-литературная, литературно-языковая проблема². Это, вероятно, имеет несколько объяснений, одно из главных, по нашему мнению, состоит в следующем: в русской филологии и лингвистике до сих пор не решен и даже не поставлен вопрос о том, каким реестром (корпусом) текстов должен располагать исследователь, изучающий историю литературного языка в древней Руси или жанровую систему древнерусской литературы. Выбор текстов (примеров) часто достаточно субъективен, и эта субъективность оказывает значительное влияние на концепцию истории литературного языка, или истории жанров, или на решение вопроса об их взаимосвязи³. Идеальным подходом к решению поставленной проблемы был бы тот, при котором принимались бы во внимание все тексты, не только оригинальные, но и переводные, как и все существующие варианты и копии (списки). В настоящее время в применении к русским литературным и языко-

² Д. С. Лихачев ближе других исследователей подошел к этой проблеме. По его мнению, «литературная структура жанров резко выступает и в следующем явлении: древнерусские жанры в гораздо большей степени связаны с определенными типами стиля, чем жанры нового времени» (Лихачев, 1963, с. 61).

³ Обращает на себя внимание, что Обнорский для анализа древнерусского литературного языка обратился всего к четырем литературно-языковым памятникам (Моление Даниила Заточника, Слово о полку Игореве, Поучение Владимира Мономаха, Русская Правда), Ефимов — менее чем к десяти, Ларин — менее чем к двадцати, а Виноградов пошел по пути оценки общей ситуации и общего развития, не прибегая к детальному анализу отдельных текстов. См.: Обнорский, 1946; Ефимов, 1957; Ларин, 1975; Виноградов, 1938.

вым памятникам это почти невыполнимая задача. Положение дел с сербскими памятниками значительно более благополучно, но также достаточно сложно. Хотя желаемой полноты достичь невозможно, к ней все же следует стремиться.

Если речь идет о полноте материала, необходимо уточнить, что входит в древнесербскую или древнерусскую литературу. Ответить на этот вопрос — означало бы дать определение древнесербской или древнерусской литературы в целом⁴.

Древнесербская и древнерусская литературы не были настолько автономны и самостоятельны, насколько самостоятельны и даже изолированы друг от друга в языковом, структурном и типологическом отношении современные сербская и русская литературы.

Понимание единства древнерусской и древнесербской литературы невозможно без признания существования общей для культурного ареала *Rex Slavia Orthodoxa* литературы — древнеславянской литературы, моделью для которой служила современная ей византийская литература⁵. От византийской литературы ее отделяет не только состав (корпус) текстов, но и язык, имеющий решающее значение для функционирования литературы в определенном этническом ареале и являющийся основным связующим звеном между древней общеславянской литературой и литературами древнесербской, древнерусской, древневлахомолдавской и т. п. Древняя общеславянская наднациональная (или межнациональная) литература, существуя как отдельная и независимая целостность, одновременно входила своей большей частью в состав отдельных древних национальных⁶ литератур:

⁴ Начиная с XIX в. историки литературы в каждой древней славянской литературе обращали внимание на национальную специфику или искали корни того, что появилось в конце XVIII в. или в начале и середине XIX в. Этот исключительный интерес к специфике приводил к одностороннему взгляду на древнюю литературу, при котором терялось ощущение системности ее структуры и целостности. А между тем, к древнерусской (соответственно сербской и др.) литературе относилась и вся литургическая и нелитургическая церковная литература, которая у некоторых историков древней литературы в лучшем случае предполагается и упоминается мимоходом, а в худшем случае полностью отбрасывается. В большинстве случаев это общеславянская литература.

⁵ Весьма серьезный и конструктивный подход к созданию истории общеславянской (церковнославянской) литературы находим в работах А. Наумова. См.: Naumow, 1973, s. 149–156; Naumow, 1976.

⁶ В этом случае слово *национальный* не следует понимать как «тот, который относится к нации», но во французском значении этого слова

русской (начиная с XV века великорусской, малорусской — украинской и белорусской), сербской, болгарской, македонской, хорватской глаголической и славянской влахомолдавской. Некоторые из упомянутых национальных литератур подразделялись в течение известного времени и в известной степени на локальные, региональные литературы: псковскую, новгородскую, ростово-суздальскую у русских (великороссов), зетскую, рашекую, боснийскую у сербов и т. п. Таким образом, славяне, принадлежавшие к ареалу *Pax Slavica Orthodoxa*, пользовались почти в каждом национальном ареале тремя литературами или, согласно другой точке зрения, одной литературой со сложной тройной структурой (иерархией). У славян, относившихся к другому культурному ареалу, *Pax Slavica Latina*, была иная культурно-литературная иерархия.

Произведения древней «межнациональной» славянской литературы были приняты почти в каждой «национальной» среде без перевода, иногда с незначительной языковой адаптацией⁷. Это тот момент, который отличал внутриславянскую ситуацию от ситуации греческо-(византийско)-славянской, требовавшей перевода текстов с греческого на славянский. Во внутриславянской ситуации древняя «национальная» (лучше сказать «преднациональная») литература понималась как локальная по отношению к общеславянской литературе. Те же отношения были и на языковом (литературно-языковом) уровне.

До сих пор речь шла об иерархии в литературе (общеславянской, «национальной» и локальной) и иерархии литературных (письменных) языков с близкой структурой. Теперь необходимо подчеркнуть, что в древней литературе православных славян существовала и достаточно строгая и разветвленная иерархия жанров. Эта иерархия переживала исторические изменения, развивалась и усложнялась, потому что для всех древних литератур православных славян, как и

(*national*) — 'народный'. Я не употребил слово «народный», потому что оно терминологически связано с устной (неписьменной) литературой.

⁷ Это, в сущности, означает, что целый ряд текстов может быть одновременно отнесен к древнеславянской (общеславянской) и древней русской или сербской или какой-либо другой литературе (евангелия, псалтырь, Ветхий Завет, апокрифы, жития, хроники, романы и т. п.). Составление единого реестра (корпуса) таких текстов является важной задачей современной славянской филологии.

для общеславянской литературы культурного ареала *Rax Slavia Orthodoxa*, была характерна одна общая, существенная для их формы, структуры и функционирования особенность: произведения, которые появлялись в течение восьми столетий (начиная со времени Кирилла и Мефодия), как правило, не терялись, не заменялись, не исчезали из состава литературы, а существовали и сохранялись не в виде литературно-исторических памятников, но как живое и современное творчество⁸.

На основании всего сказанного можно предложить схему жанровой системы древнесербской литературы. Она могла бы представлять собой пирамиду из 14 частей (слоев, рубрик, сегментов), в основании которой находится древняя устная народная литература (см. с. 206).

Данная схема жанров древнесербской литературы является панхронической и суммарной, т. е. общей для достаточно большого литературно-исторического периода⁹. Схема может быть полезна в качестве инструмента для сравнительно-исторических исследований, но при этом необходимо помнить, что это не синхронный срез — система жанров сербской литературы определенного столетия или еще более короткого периода. Для каждой рубрики можно определить, иногда со значительными, а иногда с меньшими трудностями состав текстов. В некоторых случаях этот состав оказывается достаточно обширным, и тогда возникает необходимость в дальнейшей детализации отдельных рубрик¹⁰.

⁸ В этом заключается одно из важнейших различий между древней и новейшей (новой) литературой у славян. Начиная с XVIII века в литературе наблюдается последовательная смена одного литературного направления другим, которая влекла за собой модификацию, перестройку всей жанровой системы. Как известно, ода была связана с классицизмом, элегия — с сентиментализмом, баллада — с романтизмом, роман — с реализмом и т. д.

⁹ Предложенная схематическая классификация опирается на последние фундаментальные работы Димитрия Богдановича, Джордже Трифуновича и Биляны Йованович-Стипчевич, чей вклад в изучение древнесербской литературы имеет решающее значение для дальнейшего развития палеосербистики.

¹⁰ Из-за недостатка места я вынужден ограничиться кратким комментарием к отдельным рубрикам. Состав рубрик 3, 7, 10 и 12 (жития святых, апокрифы, описания путешествий — «хождения» в Святую Землю и светские юридические кодексы-законники) не нуждается в пояснениях. Рубрики 1 и 2 непосредственно связаны с церковным богослужением — утренним и вечерним, с текстами, помещенными в Минеях,



Осьмогласнике и Триоди, а также с Евангелием, Апостолом, Псалтырью и др. («Священное Писание»). Рубрика 4 содержит похвальные слова и т. п., рубрика 5 — толкования Евангелия, Псалтыри, книг Ветхого Завета, а также сочинения отцов церкви (послания) и т. п. В 6-ю рубрику входят церковные и монастырские уставы (типичи), кормчии, номоканоны и т. п. 8-ю — составляют хронографы, хроники, летописи, родословные, девятую — романы, повести, рассказы (Александрия, Варлаам и Иоасаф, Троянская война, Акир Премудрый, Притчи Соломона и т. п.). Одиннадцатая рубрика гетерогенна по своему составу, так как в нее входят естествоведческие (Физиолог, Христианская топография Козьмы Индикоплова, медицинские кодексы-лечебники и т. п.), философские (Пчела и др.), а также филологические (Сказание изъявлено о писменех Константина Философа и др.) тексты. К рубрике 13 относятся грамоты, дипломатические и торговые письма, завещания и т. п., а в последнюю, четырнадцатую рубрику входят личные письма, различные заметки, описания колдовства, ворожбы, заговоры, гадательные книги (как, например, громовник, лунник и т. п.).

Почти для каждого текста в каждой рубрике можно установить ряд обозначений в зависимости от того:

а. где этот текст появился (написан) — место возникновения;

б. когда этот текст появился (написан) — время возникновения;

в. оригинален этот текст или переведен с другого языка;

г. как, т. е. в каких условиях и с какой целью функционировал текст.

Примечание. Для лингвистической характеристики важны также и орфографические, и палеографические особенности текста.

Таким образом, каждый текст может получить определенные индексы. Их суммирование для достаточно большого количества текстов, относящихся к одной рубрике, позволяет дать более полную характеристику каждого отдельного жанра. Эта характеристика была бы различной для разных периодов времени и для разных зон внутри ареала *Slavia Orthodoxa*. Например, жанр «хождения» в древней Руси берет свое начало в XII в., а у сербов — в XIV в. (если только речь не идет об утраченных текстах), поэтому и число русских текстов этого жанра больше, и их литературная и стилистическая разработанность выше. Сходная ситуация и с летописями. Но в «национальной» агиографии положение уже иное. В начале XIII в. сербы создали свою замечательную агиографическую традицию, которая во время «второго южнославянского влияния» в России придала новое художественное качество русской агиографии (например, творчество Пахомия Сербя Логофета).

В целом жанровая система, символически изображенная в виде пирамиды или равнобедренного треугольника, представляет собой, как мы уже указали, строгую иерархию. Первая рубрика занимает самое высшее, доминирующее положение как наиболее сакральная и авторитетная по отношению к остальным рубрикам и текстам. Состав текстов этой рубрики в течение столетий оставался стабильным и неизменным, а язык эволюционировал в наименьшей степени. Тексты этой рубрики относились к древней общеславянской литературе: ни один из них не имел «национальных», локальных специфических черт. В отличие от первой, во второй рубрике содержалось известное число «националь-

ных» текстов (службы сербским святым; см. Србљак). То же можно сказать и о третьей (жития сербских святых; сочинения Св. Саввы, Доментиана, Феодосия, архиеп. Данилы и др.) и четвертой (Похвальное слово Св. Симеону и Св. Савве, Похвальное слово князю Лазарю и др.) рубрике. Достаточно яркие национальные черты характерны для ряда текстов светских, неконфессиональных рубрик: исторических (рубрика 8 — сербские летописи, родословные и т. п.), паломнических (рубрика 10), повествовательных (рубрика 9 — Мучения блаженного Гроздия и т. п.), филологических (рубрика 11 — Сказание изъявлено о писменех Константина Философа), светско-юридических (рубрика 12 — Законник царя Душана и др.), относящихся к деловой (рубрика 13) и бытовой (рубрика 14) письменности. Последние две рубрики занимают в известном смысле автономное положение по отношению к двенадцати остальным. Именно к ним относятся почти исключительно национальные тексты, но эти тексты принадлежат не к сербской литературе, а к сербской письменности, потому что их художественная ценность в большинстве случаев минимальна. Функция этих текстов — деловая или практическая, поэтому они составляют не определенный литературный жанр, а нечто, что уже по своему деловому характеру может быть противопоставлено остальным жанрам и жанру вообще. Можно даже сказать, что эти тексты написаны не на литературном языке, а на деловом древнесербском книжном языке, который обладал и некоторыми чертами древнеславянского литературного языка, но этот вопрос достаточно сложен, так как язык текстов этих рубрик приближается к языку светско-юридических текстов, который тоже в известном смысле был деловым¹¹.

Может быть, эти замечания о языке текстов двух последних рубрик являются несколько преждевременными, так как необходимо оценить их с точки зрения времени, места возникновения, того, являются ли они оригинальными или переведены с другого языка, а также их сакральности.

¹¹ В. В. Виноградов и Б. Унбегаун не признавали за языком древнерусских юридических текстов статус литературного языка, считая его только письменным, в то время как А. Исаченко считал, что весь древнерусский язык был письменным, а не литературным. Однако в отдельных сочинениях трех знаменитых славистов мы находим и иные точки зрения.

Как видно из определения рубрик, первые шесть жанров имеют церковный, конфессиональный характер. Это подтверждается содержанием (семантикой), назначением (функцией), формами, а также языком текстов — древнеславянским сербской редакции. Степень сакральности текстов постепенно уменьшается от первой до шестой рубрики, что можно объяснить и функцией текстов различных жанров в церковном ритуале и жизни. Седьмая рубрика — апокрифическая — официально является неконфессиональной, даже антисакральной («ложной», запрещенной), но тексты, входящие в седьмую рубрику, должны были имитировать сакральные тексты, прежде всего Священное Писание, и эта имитация должна была быть «правильной» со всех точек зрения, а значит, и с точки зрения языка. Поэтому язык этих текстов также был древнеславянский литературный язык той же сербской редакции. Начиная с девятой рубрики мы имеем дело с неконфессиональными, светскими текстами, которые в большинстве случаев имеют свою определенную функцию и могут поэтому быть отнесены к различным жанрам с большей четкостью и точностью, чем конфессиональные тексты. Заметим, что тексты десятой и одиннадцатой рубрики (о седьмой мы уже говорили), т. е. тексты хождений и философско-филологические (следовательно, только часть текстов одиннадцатой группы), были тематически связаны с первыми шестью группами, что отразилось на их языке и стиле: иногда это скорее древнеславянский язык, а не древнесербский книжный язык. Даже в исторических и светско-юридических текстах (например, Душанов Законник) встречается значительное число славянизмов, на что более сорока лет тому назад указал А. М. Селищев (Селищев, 1968, с. 132–135) в связи с дискуссией о древнерусском литературном языке.

Что касается вопроса места и времени появления и перевода текстов первых шести рубрик, надо сказать, что почти все эти тексты за исключением тех, которые неразрывно связаны с сербской национальной традицией (начиная с XIII в. службы, жития, похвальные слова), появились довольно рано (частично во времена Кирилла и Мефодия, частично несколько позднее), переведены с греческого, возникли у южных славян (небольшая часть — в Моравии и в России). Чисто русская национальная традиция была представлена в Сербии незначительным количеством текстов (Житие

Феодосия Печерского и др.). Большое значение имело создание так называемой Светосавской Кормчей (конец XII — начало XIII в.), вероятно, на основе уже переведенных текстов (рубрика 6). Тексты первых шести рубрик (конфессиональные) вместе с текстами седьмой и частично восьмой и девятой в то же время входили в общеславянскую (ареала *Rex Slavia Orthodoxa*) литературу. Неконфессиональная, светская часть общеславянской литературы была намного меньше, чем конфессиональная. Однако к такой количественно небольшой части относились значительные произведения, такие как «хроники» византийского происхождения (Амартола, Зонары), произведения древней беллетристики — Александрия, История Троянской войны, Стефанит и Ихниллат, Варлаам и Иоасаф и др. и почти все апокрифы. Отдельные произведения беллетристики значительно выделялись в языковом плане, потому что были написаны на древнесербском книжном языке, близком народному. Неархаичный, с многочисленными диалектизмами, народными формами и словами, этот язык типичен для большей части исторических (рубрика 8), для известной части натуралистических и почти для всех светско-юридических текстов. Нужно иметь в виду, что это сочинения довольно позднего происхождения: XIV—XV в. и даже XVII в., например, басни Эзопа, так же как и тексты хождений (начиная с XIV в.) и национальные светско-юридические (начиная с XIV в.). Все так называемые «национальные» тексты являются оригинальными (непереводными) и имеют чисто сербское происхождение. Число таких текстов значительно возрастает в XIV и XV в., так что общее количество произведений древнесербской литературы в этот период почти удвоилось. Этот факт можно сопоставить со «вторым южнославянским влиянием» в древней Руси, которое имело место приблизительно в то же время, когда также вдвое возросло количество произведений литературы. Увеличение числа литературных произведений у сербов и у русских (Соболевский, 1894, с. 15–16) шло за счет расширения в основном групп (рубрик) 8–14 и частично групп (рубрик) 3–4. В отношении группы 9, а частично и группы 13 необходимо принимать во внимание языковое влияние текстов на сербскохорватском языке, созданных вне культурного ареала *Rex Slavia Orthodoxa*.

Таковы, в самых кратких чертах, характерные особенности древнего славяно-сербского двуязычия в связи с жанро-

вой системой древнесербской литературы. С развитием системы жанров и ростом числа текстов в отдельных рубриках (т. е. жанрах) менялась природа этого двуязычия, а центр тяжести самой древнесербской литературы от первых групп (рубрик) в пирамиде смещался все более и более к центру, т. е. возрастала роль национального сербского начала в общей системе текстов. Тем самым и отношение древнеславянского литературного языка к древнесербскому книжному языку изменилось в пользу древнесербского (сербульского) языка, приобретающего все большее значение, несмотря на тяжелую ситуацию, сложившуюся в результате турецкого нашествия.

В заключение необходимо подчеркнуть, что проблема определения двуязычия для древнесербской литературно-языковой ситуации очень сложна и при этом приходится сталкиваться со значительно большими трудностями, чем для той же древнерусской ситуации. Древнеславянский (общеславянский, церковнославянский) литературный язык имел южнославянскую диалектную базу. А это значит, что многие языковые черты, отличавшие старославянский язык от русского (праслав. **tort*, **tolt*; **ort*, **olt*; начальное **je* и **o*: *jezero* — *озеро* и т. п.), не различались (совпадали) в древнеславянском и в древнесербском литературном (или книжном) языке¹². Для всех славянских литературных языков ареала *Slavia Orthodoxa* необходимо составить реестр (список) различий между каждым отдельным древним «национальным» языком и древнеславянским (общеславянским) языком. Эти реестры были бы важным показателем для типологической характеристики древних и более молодых славянских литературных языков.

¹² См. список славянизмов в русском языке, приведенный А. А. Шахматовым: 1. группы **tort*, **tolt* и т. п. (*град, глад*); 2. группы **or*, **ol* в начале слова (*разум, ладья*); 3. группа *жд* из **dj* (*между, одежда*); 4. аффриката *щ* из **tj*, **ktj* (*мощь, помощь*); 5. гласный *e*, не изменяющийся в *o* (*небо* вместо *нёбо, одежда*, ср. диалект. *одёжка*); 6. *ю* в начале слова (*юноша, юдоль*); 7. твердое *з* (из *g*) (*польза*); 8. гласные *o*, *e* вместо старых слабых полугласных **ъ* и **ь*; 9. гласный *ы* вместо напряженных **ъ* и **ь*; 10. формы прилагательных в род. п. ед. ч. и им.-вин. множ. ч.; 11. старославянские словообразовательные модели (*-тель, -ство* и др.); 12. старославянская лексика (*стезя, образ, созерцать* и др.) (Шахматов, 1941, с. 70—90). Из этих 12 пунктов только в пункте 3, 4 и 8 и частично в пунктах 11 и 12 сербские формы отличаются от старославянских.

К историко-культурной характеристике «славяно-сербского» литературного языка

В истории сербского народа и его культуры четко выделяется период, охватывающий в основном середину и вторую половину XVIII в., отчасти начало XIX в., называемый нередко «славяно-сербским». Этот своеобразный период, очень любопытный сам по себе и важный также для понимания последующего крупного этапа истории сербской культуры — этапа национального возрождения, до недавнего времени оставался малоизученным и односторонне освещенным. Одну из причин такого положения можно видеть в том, что лингвисты, литературоведы и историки, исследующие сербский XVIII век, подходили к нему не сообща, а порознь, каждый со своим, иногда довольно ограниченным каноном. Ослабленный в прошлом интерес лингвистов к «славяно-сербскому» литературному языку объяснялся прежде всего взглядом на него как на язык далекий от диалектной («народной») речи и от последующего «вуковского» языка (давшего начало современному литературному), язык «искусственный», чужой, мало что дающий для изучения по-настоящему сербской речи¹. Литературоведов долгое время настораживали во многом аналогичные мотивы. «Славяно-сербская» литература казалась многим литературой, принесенной извне, не имевшей глубоких национальных кор-

¹ Преодолению этого одностороннего и по сути дела неверного взгляда в последние годы способствовал ряд весьма ценных работ А. Младеновича и его коллег и учеников — Й. Кашича, А. Альбина и др., посвященных «народному» языку («народному» варианту литературного языка) таких писателей, как Йован Раич (1726–1801), Захарий Орфелин (1726?–1785), Стефан Раич (1763–1813), Милован Видакович (1770–1841), и языку первой сербской газеты, редактируемой Стефаном Новаковичем, — «Славено-сербскія вѣдомости» (1792–1794). Эти исследования, особенно книги А. Младеновича «О народном језику Јована Рајића» (Младеновић, 1964), продемонстрировали прежде всего неоднородность (характерную и для многих других славянских языков XVIII в.) «славяно-сербского» литературного языка.

ней и, главное, почти лишенной художественной ценности. Среди историков сербской литературы долго авторитетным и справедливым считалось мнение Йована Скерлича о том, что «за небольшим исключением вся наша (т. е. сербская. — Н. Т.) литература того времени — литература только по названию, из-за убожества, из-за недостатка чего-либо иного и лучшего; все это только первая подготовка и закладка фундамента для настоящей литературы, которая возникнет (придет) только в XIX веке» (Скерлић, 1923, с. IX).

Много лет и постепенно вырабатывался довольно устойчивый взгляд на сербский XVIII век сквозь призму конца XIX — начала XX в., сквозь призму представлений о литературе реализма и языке этой литературы², едином (не стилистически, а грамматически-нормативно) для всех жанров, о языке одинаковом в устной и письменной разновидности, в художественной, публицистической и деловой сфере. Для большинства сербских лингвистов XX в. к тому же путь значительного разрыва с традицией³ при образовании национального литературного языка казался в определенных литературных условиях неизбежным и принципиально обоснованным. По их представлениям, литературный язык должен строиться исключительно на определенной диалектной основе, которая может быть даже не главным компонентом, а единственным материалом формирующегося литературного языка. Все же остальное отбрасывается как «чужое», причем чуждые элементы в диалекте (турцизмы и т. п.) воспринимаются как «свои»⁴. Естественно, что такой путь нельзя считать универсальным и единственно возможным даже для славянских языков, о чем свидетельствует хотя бы история

² О связи программы реалистического словесного искусства с принципами норм и стилей национального литературного языка см. Виноградов, 1959.

³ Разрыва значительного, но не полного, так как полный разрыв, на мой взгляд, невозможен (см. об этом, в частности: Толстој, 1966).

⁴ Любопытно, что сторонники противоположной тенденции (еще в XVIII и XIX вв.) в «славяно-сербском» и даже в «славяно-русском» языке не без некоторых оснований (исторических прежде всего) видели язык «более чистый», чем диалектная («засоренная и испорченная» иноземными заимствованиями) речь. Таким образом, проблема «своего» и «чужого», а также «чистого» и «нечистого» оказывается не только и не столько лингвистической, сколько социально-исторической, историко-культурной.

современного русского литературного языка (путь органического слияния традиционных древнеславянских и народных элементов, даже без четкой диалектной базы).

В 1939 г. А. Белич в статье «Народный и литературный язык» писал, что «точно так же, как чужеземная власть может распространиться над отдельным народом, так же может распространиться и чужой язык» (Белић, 1951, с. 183). «Мы, — продолжал А. Белич, — тоже, как одно время чехи и словаки, затем русские, — все приняли старославянский язык, сначала как язык своей церкви, а затем и — своей литературы! Был же в употреблении у части наших народов этот все же чуждый их языковому восприятию церковный язык до середины XVIII в., чтобы потом оказаться замененным еще более отдаленным от этого восприятия церковно-русским языком того времени. Конечно, в XIX веке он был заменен чистым народным языком, который ныне господствует в нашей литературе, но понадобилось пятьдесят лет нечеловеческой борьбы Вука Караджича, чтобы достичь этой победы» (там же). В другой своей работе 1940 г. «Начало нашего литературного языка» А. Белич допускал иной, русский ход развития литературного языка, считая, однако, это совершенно непригодным для сербских условий, так как «старославянский язык сербской редакции не вошел так глубоко в сербскую культуру и в литературный язык, как это было на Руси (в России)» (там же, с. 44). Четверть века спустя М. Стеванович в исследовании «Значение и нужды детального исследования языка Вука», утверждая ошибочность мнения, что Вук не знал славяно-сербского языка, писал: «Безусловно, можно сказать, что Вук знал и этот (славяно-сербский. — Н. Т.) язык, хотя это не был установившийся язык, такой, который бы мог кто-либо вполне знать. Мы хотели только сказать, что Вук должен был быть знакомым с той языковой мешаниной (курсив мой. — Н. Т.), на которой до него писались книги и которая была в употреблении в общественной и культурной жизни сербов до тех пор, пока он в общем не завоевал это право для чистого народного языка» (Вуков сборник, 1966, с. 6). Число подобных высказываний довольно значительно, и они все в общем близки к приведенным выше.

Итак, многие литературоведы рассматривали XVIII век как период подготовительный к XIX в., лингвисты — тот же период как эпоху, от которой произошло отталкивание при

формировании национального литературного языка⁵. Поэтому издавна в XVIII веке филологов больше интересовали явления, сближающие XVIII век с XIX — ростки нового, а не факты, объединяющие его с предшествующими веками, не структура и элементы прежнего порядка вещей. Не случайно литературоведы и лингвисты в равной мере проявляли повышенный интерес к творчеству и языку Досифея Обрадовича, видя в нем предтечу, предшественника новой сербской литературы и нового литературного языка⁶.

Лишь историки и историки культуры, как нам представляется, были относительно свободны от взгляда, который можно условно назвать «обратно проекционным», от трактовки XVIII века по мерилам и канонам века XIX и даже XX⁷. В этом плане особенно интересны работы историков искусства, изучающих сербский XVIII век (и начало XIX в.) на широком фоне развития европейской живописи, графики, архитектуры и скульптуры (барокко, ранний классицизм и др.)⁸

Возвращаясь к лингвистическим проблемам, следует вновь подчеркнуть, что страстная нетерпимость Вука и его немногочисленных приверженцев первой половины XIX в. по отношению к литературным противникам, публицистически-полемическая, а потому не всегда конкретно-историческая аргументация сторонников «чистого» народного языка в литературе была принята многими филологами последующих поколений и дожила до наших дней. Структура сербского литературного языка XVIII в., структура его сти-

⁵ Типологически сходный процесс наблюдался при формировании словацкого национального литературного языка — отталкивание от чешского и «бернолаковщины» конца XVIII в., украинского и белорусского — отталкивание от русского и от своей традиции — языка Г. Сковороды и И. Некрашевича и др. Применительно к истории белорусского литературного языка можно говорить о некотором перерыве в его развитии в XVIII в., так как белорусские интермедии того времени — жанрово сильно ограниченное явление.

⁶ Из последних лингвистических работ см. очень значительную по разработке материала монографию: Купа, 1970. Из исторических исследований следует выделить следующий фундаментальный труд: Костић, 1952.

⁷ См. работы историков, начиная с братьев Димитрия и Иллариона Руварцев, затем Радосава Груича, Йована Радонича, Миты Костица и др., и кончая Душаном Поповичем и др.

⁸ См. исследования Миодрага Коларича, Деяна Медаковича и др.

лей и норм, зависимых от жанров, норм, пусть даже в свое время еще не полностью определившихся, находившихся в стадии становления, воспринималась адептами Караджича как «мешанина», как чужой, неродной язык, как нечто пришедшее с иноземной книжно-литературной модой, нечто вызванное внешними обстоятельствами — в первую очередь стремлением защитить национальную культуру и религию. Безусловно, нельзя отрицать существенной роли этого внешнего фактора — необходимости борьбы с ассимиляторской политикой Габсбургов, с униатско-католической пропагандой, хотя следует признать, что славяно-сербский (и церковно-русский и т. п.) язык, равно как и литература на этом языке, не могли быть единственным, неизменным и незаменимым словесным орудием в этой борьбе. Дело, видимо, заключается также (а может быть, более всего!) в другом моменте, моменте скорее «внутреннем», литературном, чем «внешнем», конкретно-историческом. «Славено-сербский» литературный язык, вернее «славено-сербская» система подязыков (одним из которых оказывался несколько осербленный «славяно-русский»), была принята во второй половине XVIII в. почти всеми сербскими писателями и переводчиками потому, что она отвечала требованиям литературного процесса XVIII в., что ее принятие культивировало в сербской среде систему литературных жанров XVIII в. с ее довольно четкой языково-стилистической противопоставленностью. Вместе с языком воспринималась определенная сумма культурных ценностей, характерная для русской и европейской литературы XVIII в. Жанрово-стилистическая дифференциация и связанное с ней разнообразие норм не означает мешанину норм. К тому же к концу XVIII и началу XIX в. в языковом отношении эта дифференциация у сербов стала постепенно ослабевать, и устанавливался, как хорошо показал в своих последних исследованиях А. Младенович, некий стандарт норм с довольно единообразным инвентарем. Генетически этот инвентарь был двоякого плана: его источники — сербский народный язык (диалектная речь) и «славяно-русский» (книжная письменная речь) (Младеновић, 1974, с. 27–28).

XVIII век был настолько же «противоречив», насколько «противоречивы» любые периоды становления новых основ и норм литературного языка. В славянском мире, пожалуй, самым характерным примером в этом отношении оказыва-

ется пример русских литературно-языковых процессов в век барокко и классицизма. Их движущей силой было противоборство двух тенденций: тенденции к развитию системы «подъязыков» (resp. стилей) и тенденции к созданию «общего» языка чаще всего на компромиссной основе. На этой почве возникал спор «шишковистов» и «нешишковистов». Типичным «шишковистом» в сербской культурной среде был Йован Раич, а путь Досифея Обрадовича напоминает путь Карамзина. В несколько суженной проекции на сербской почве можно проследить те же основные тенденции и формы развития, что были характерны и для русского XVIII века.

Литературно-языковые особенности русского XVIII века в кратких чертах метко охарактеризовал Б. В. Томашевский. «Ломоносов, — писал Б. В. Томашевский, — твердо признавал, что русский язык и церковнославянский — это разные языки, что только часть церковнославянского словаря усвоена русским письменным языком. Для Шишкова уже нет двух языков. Он считает, что существует один славено-русский язык и что отличия церковнославянского языка от русского языка — это только стилистические отличия. При этом в понятия “стиль”, “стилистическое” он вкладывает содержание, характерное для человека XVIII в. В наше время под стилем понимают нечто индивидуальное, свойственное лицу, творящему в данных условиях. Эта индивидуальность стиля отрицалась в XVIII в. Люди XVIII в. насчитывали три стиля: “высокий”, “средний” и “низкий”. Для них стиль — это замкнутая система, следуя которой можно написать целое произведение. Ода — от начала до конца пишется одним стилем; комедия от начала до конца пишется другим стилем. Стиль XVIII в. — это своеобразные подъязыки, подразделения в языке. Если стиль всегда обнаруживает говорящего, субъект речи, то эти субъекты речи в XVIII в. были зафиксированы, т. е. образ одописца был заранее задан, и он с начала до конца должен был свой восторг выражать определенным языком, который тогда и назывался стилем» (Томашевский, 1959, с. 39).

Попытаемся рассмотреть, как складывалась и сложилась ли в полной мере подобная ситуация у сербов в XVIII и в начале века XIX.

Стилистическая система славяно-сербского литературного языка XVIII в. оформилась не сразу. Ей предшествовал

определенный период времени, определенный подготовительный процесс. В науке до сих пор известна лишь одна периодизация сербского литературного языка XVIII в. Она была предложена в 1935 г. известным русским ученым Б. Г. Унбегауном. «Эволюция литературного языка до реформы Караджича, — писал Б. Г. Унбегаун, — позволяет нам выделить три периода: 1-й, от 1690 г. до 1740 г., — литературный язык церковнославянский сербской редакции, продолжающий средневековую традицию; 2-й, с 1740 г. до 1780 г., это язык церковнославянский русской редакции или русский церковнославянизированный, с которым начинают конкурировать сербский церковнославянизированный и эпизодически русский литературный; 3-й, в течение двадцати последних лет XVIII в. и в начале XIX в. — мы видим триумф сербского церковнославянизированного и русифицированного языка в качестве языка литературного и попытки его заменить языком крестьянским, совершенно лишенным славянизмов» (Unbegaun, 1935, p. 15).⁹

Эта периодизация, основанная на ряде исторических, историко-культурных и лингвистических фактов, была принята в науке и до сих пор не пересматривалась и не подвергалась резкой критике. Как видно, она удовлетворяла требованиям научной практики и потому ее принимали все слависты, правда, иногда с некоторыми поправками и дополнениями. Так, А. Белич сразу же после ее появления отмечал, что творчество отдельных писателей, пользовавшихся тем или иным «типом» языка, не всегда укладывалось в хронологические рамки, отведенные Б. Г. Унбегауном для конкретного типа. Например, произведения Йована Раича, написанные на русско-церковном (по А. Беличу) языке, появились в третий период, хотя их языковая форма очень близка к русскому церковнославянизированному языку, т. е. к языку второго (по Б. Г. Унбегауну) периода¹⁰. К справедливым замечаниям А. Белича можно добавить также, что в первый период, определяемый Б. Г. Унбегауном как период

⁹ Вслед за приведенной цитатой следует пояснение автора: «Эта хронологическая схема представляет собой, естественно, план нашего исследования. Добавим, что этот план учитывает только эволюцию литературного языка; его не следует применять без изменения к исследованиям самой литературы» (там же).

¹⁰ См. рецензию А. Белича на книгу Унбегауна (Белич, 1933–1934).

языка церковнославянского сербской редакции, уже наблюдалось проникновение русско-церковнославянских и русских элементов в язык сербских писателей¹¹. Дело, конечно, не в противоречии отдельных фактов общей периодизационной схеме. Схема может быть снабжена поправками и несколько модифицирована. Дело в том, отвечает ли периодизация общему положению вещей и можно ли русское языковое влияние, т. е. его наличие или отсутствие, считать достаточно ярким и релевантным показателем для характеристики процессов XVIII и начала XIX в. На этот вопрос следует ответить положительно. Так называемое русское, равно как и русско-церковнославянское, влияние было столь значительным и глубоким, что на него можно вполне опереться при выделении основных этапов развития славяно-сербского литературного языка XVIII — начала XIX в.¹²

Однако следует признать, что эта периодизация, как и большинство периодизаций подобного рода, не раскрывает многих причин эволюции литературного языка сербов в донациональный период, не объясняет в полной мере процесса развития, становления, кратковременного апогея и довольно рано начавшегося затухания (кризиса) славяно-сербского литературного языка XVIII в. Остается неясным, почему ранние стремления (начала и середины XVIII в.) ввести живой народный язык в литературу, например, попытки Гаврилы Стефановича Венцловича (см. Павић, 1972), оказались напрасными, не принятыми и не поддержанными, а аналогичные опыты почти век спустя (в начале и середине XIX в.) были восприняты многими авторами и одержали верх в языковой борьбе.

Ответить на эти вопросы с чисто лингвистической точки зрения трудно. Для их выяснения необходимо обратиться к проблемам несколько иного характера — историко-литературного, историко-культурного и чисто исторического.

¹¹ Так, например, у Ерофея иеромонаха Рачанинского в его «Путьшастви къ граду Јерусалиму» (1727) встречаются такие русизмы (и русские церковнославянизмы), как: *орелъ, соборъ, сограждена, востани, мѣсяца, вода святая, отъ грядущихъ, чернъ, горькую смерть, крестъ, по святымъ церквамъ, волны, три холма, держаше руками, погрузи се у море (но на морю) и т. п.*, наряду с сербизмами *валаза и излаза, велми много множаство, предъ крстожъ, свеће* (но и *свеща и свѣще*) и т. п. (см. Ерофей Рачанинский, 1861).

¹² Из новых работ на эту тему см. Мокутер, 1972 (там же богатая литература вопроса).

В самых кратких чертах они сводятся к следующим моментам. Сербская литература XVIII в., подобно некоторым другим славянским и неславянским литературам, переживала период ускоренного развития. Эта ускоренность у сербов была весьма значительной. Сам момент ускоренности, а также степень ее интенсивности может служить существенным, релевантным показателем при типологических (или сравнительно-типологических) исследованиях литератур и литературных языков. Сербский литературный язык развивался в XVIII в. значительно более быстрыми темпами, чем русский литературный язык той же эпохи. Но и русский литературный язык той поры, если его сравнивать, например, с французским, переживал в эпоху Просвещения более скоропалительный процесс смены норм (при одновременном их сосуществовании в какой-то период), становления их, выработки изобразительных средств, формирования стилистических систем и т. п. Это же можно сказать и о литературе. При этом скорость развития находится, в принципе, в отношении обратно пропорциональном к степени развитости и богатства литературы и литературного языка.

Сербский читатель XVIII в., подобно болгарскому читателю XVIII и начала XIX в., в массе своей (в общем не очень значительной) был приучен, благодаря системе церковно-школьного обучения (Грујић, 1908), к чтению конфессиональных, конфессионально-дидактических и агиографических книг, наряду с книгами нового направления и веяния — с «Исторіей о житіи и славныхъ дѣлахъ... Петра Перваго самодержца всероссійскаго» Захария Орфелина, с «Велізаріємъ» Мармонтеля в переводе Павла Юлинца и др.

Дуалистичность художественно-эстетических, религиозно-нравственных и философских представлений православного южнославянского образованного читательского круга в XVIII в. несомненна: старое сочетается или сосуществует с новым. Но, говоря о старом, важно учитывать один момент, который ярко оттенил Георгий Гачев, исследуя болгарскую литературу первой половины XIX в. «Вступая в XIX в., — писал он, — в новую фазу, литература начинает не с того, чем кончил XIV век, но в некоторых звеньях как бы повторяет цикл древней литературы. В XIX веке мы встречаем такие жанры, как житие, слово, сборник поучений, псалтырь, часослов, катехизис и т. д. И в XIX веке в стране, где литературная традиция была прервана, приходилось писать

отчасти по-средневековому. Эта архаика имела свою новизну, поскольку она создавала фундамент для последующего органического развития литературы» (Гачев, 1958, с. 126).

Аналогичное положение наблюдается в сербской литературе XVIII в.

Творчество «рачан» (Киприана Рачанинского и Ерофея Рачанинского), монастырских переписчиков и писателей, последних представителей средневековой книжной — «сербульской» школы, в жанровом отношении еще близко к канонам шестисотлетней сербской рукописной традиции. Это та «архаика», которая в условиях обостряющейся борьбы с турками и габсбургскими ассимиляторами, в условиях новой среды в Угрии (в Воеводине) начинает звучать по-новому. «Путьшаствие къ граду Јерусалиму Јероѳея іеромонаха Рачанинскаго» (1727) еще пишется в старом духе, хотя и на сильно обновленном языке. Оно продолжает жанр хождений, известный в литературе православных славян с XII в., но одновременно предвещает «Животъ и приключенія Димитрія Обрадовича нареченога у калуѣрству Досіѳеа» (1783) и «Житіє Герасима Зелића архимандрита» (1817). Гаврило Стефанович Венцлович, как и Киприан и Ерофей Рачанинские, занят перепиской часослова, тропарей, псалмов, житий, поучений и т. п. Но наряду с перепиской предметом его книжных занятий оказываются и вирши, и переводы проповедей Лазаря Барановича и Ионикія Галятовского, переводы и компиляции, часто вольные и субъективные. В переписываемых литургических и канонических текстах иеромонах Венцлович сохраняет церковнославянский язык, в проповедях же — он приближается к народному языку и умело им владеет¹³. Его деятельность, локально довольно ограниченная, протекает в 30-е и 40-е годы. Слабо намечившийся переход от сербульского типа языка к сербскому народно-разговорному не осуществился в широких масштабах — он был связан с одним лишь проповедническим жанром (и то воспринятым Венцловичем достаточно утилитарно, а не на фоне сложной и цветистой стилистической системы

¹³ На этом основании было бы неверно видеть в лице Гаврила Стефановича Венцловича сторонника только народно-разговорного языка, как это делают некоторые исследователи. Подобно многим южнорусским писателям и полемистам XVII в., Венцлович был сторонником применения «двух стилей» (двух языков) — книжного и простого, о чем существует и его собственное высказывание (см. подробнее: Толстой, 1962, с. 16).

барокко) и с замкнутым территориально и почти индивидуальным скрипториумом (списков компиляций и «переводов» Венцловича очень мало). Решительную роль в истории литературного языка должна была сыграть печатная продукция и развитие литературы — в первую очередь литературных жанров.

Если обратить взор на сербскую печатную продукцию XVIII в., то легко заметить, что до 1741 г. (с 1701 г.) вышло в свет только 16 книг, в основном букварей и катехизисов (в том числе и букварь Феофана Прокоповича «Первое учение отрокомъ», 1726, 1727, 1734), а с 1741 по 1780 год — 135 книг (см. Михайлович, 1964), среди которых немалое число светского содержания. Список этих 135 книг открывается «Стематографіей» Х. Жефаровича (1741) и продолжается «Описаніемъ стаго бжїа града Јерусалима» иеромонаха Симеона Симоновича (1748), «Исторіей о Черной Горы» Василия Петровича (издана в Петербурге в 1754 г.), «Грамматікой» М. Смотрицкого в переработке Ф. Поликарпова (1755), «Калліграфіей» (1759), «Одой на воспоминаніе второго Христова пришествіа» (1760, 1763), «Горестнымъ плачемъ, славныя иногда Сербїи» (1761) Захария Орфелина, «Православнымъ исповѣданіемъ» митрополита Петра Могилы (1763), рядом молитвословов, псалтырей, требников, часословов, октоихов и т. п., «Краткимъ введеніемъ въ історію происхожденіа славеносербскаго народа» Павла Юлинца (1765), «Пѣснію історическою какосу Сербли съ Турци на Косовомъ Полю побилисе» (1765), «Славено-Сербскимъ восточныя церкве календаромъ» (1766), «Славено-Сербскимъ магазиномъ» (1768) и фундаментальной «Исторіей о житїи и славныхъ дѣлахъ великаго Государя Императора Петра Перваго» (1772) того же Захария Орфелина, переводом «Велизарія» Мармонтеля Павла Юлинца¹⁴ и др.

¹⁴ Переводные сочинения играли в определенные периоды истории литературного языка не меньшую роль, чем оригинальные. Ср. значение для русского литературного языка и русской литературы XVIII в. «Езды в остров любви» — любовно-галантного французского романа Поля Тальмана в переводе В. К. Тредиаковского. В свое время А. Л. Бем писал, что «в ходе национального литературного развития чужое (иностранное) влияние чаще всего сказывается в моменты переломные, когда на почве общего культурного развития происходит смена литературного направления» (см. Бем, 1939а, с. 109).

Следует отметить, что многие изданные в XVIII в. для сербов книги играли разную роль в истории сербской литературы и литературного языка. Так, например, букварь Прокоповича, грамматика Смотрицкого или катехизис Петра Могилы могли оказать минимальное влияние на развитие сербской литературы, ее жанров и направлений и значительное — на становление норм литературного языка.

Если же обратить взор на период 1740—1780-х годов, то нетрудно заметить, что в это именно время сербская литература, идучи путем ускоренного развития и пользуясь для этой цели переводами-заимствованиями и оригинальными произведениями, разрабатывала систему жанров в духе литературного *credo* 40-х годов в России, вызвавшую в русской литературе, по словам Г. О. Винокура, «переворот, заново поставивший вопрос о литературном языке и придавший ему совершенно новое значение. Это был поворот к тому иерархическому распределению различных литературных жанров, которое является основной чертой литературного развития классицизма во вторую половину XVIII в.» (Винокур, 1959, с. 133). В сербской литературе в отмеченный период появляется ода и переводный роман, журнальный очерк и историческое сочинение («Исторія о житіи...», «Краткое введение въ історію...» и т. п.), улично-школьная драма (правда, локально ограниченная) и барочная проповедь (последние два жанра унаследованы от более раннего периода).

Внедрение славяно-русского языка, или, точнее, согласно терминологии Б. В. Томашевского, «подъязыка», наряду со славяно-сербским и сербским, близким к народно-разговорному, в литературу и возникновение некоторого разноязычия или разноподъязычия было продиктовано, на наш взгляд, новой структурой литературы XVIII в.¹⁵ В России подобное разнообразие (более, однако, нормированное и упорядоченное) старались вложить в рамки теории трех стилей,

¹⁵ Ранее в одной из статей мною отмечалось, что на сербскую почву были перенесены материально не все три русские стиля XVIII в., а лишь «высокий» стиль и часть «среднего» — деловой историографический «слог», занявший в «славяно-сербской» шкале стилей позиции «высокого» стиля (см.: Толстой, 1962, с. 12–17). Однако если говорить о системе трех стилей, то ее можно наблюдать в сербской литературе XVIII в.: помимо «высшего», общего с высшим «славяно-российским», был «низший», сербский народно-разговорный и «средний» — смешанный «высший» и «низший» (там же, с. 16–21).

которую принято называть «ломоносовской», хотя она была провозглашена задолго до деятельности этого великого ученого¹⁶. Эта трехстилевая иерархия, существовавшая в общем непродолжительный период, сменилась, как известно, в период русского Просвещения и особенно сентиментализма тенденцией к слиянию двух стихий — церковнославянской и народно-разговорной. Нечто подобное происходило и в сербской литературе, но шло, как я уже отмечал, ускоренным темпом¹⁷.

В последние два десятилетия XVIII в. были еще сильны позиции «славено-сербского», иногда почти «славено-русского» по своей сущности (и форме) языка. Этот язык представлен в монументальной раичевой «Исторіи разныхъ сла-

¹⁶ Русский материал четко изложен в кн.: Вомперский, 1970.

¹⁷ Интересные сравнительные наблюдения над языком трех авторов конца XVIII в., вернее трех произведений, принадлежавших разным авторам, сделаны А. Младеновичем. Этими произведениями были: «Краткое введеііе въ історію происхожденія славено-сербскаго народа...» (Въ Венеціи, 1765) П. Юлинца, «Искусный подрумарь...» (Въ Віеннѣ, 1783) З. Орфелина и «Терговци. Комедія у три акта...» (У Лаипсигу, 1787) Э. Янковича. Статистические выкладки и сопоставления показали, что «русско-славянские черты в большей степени присущи языку П. Юлинца (73,33%), а народные — языку Э. Янковича (80%). Язык З. Орфелина характеризуется наличием отдельных смешанных черт в русско-славянском и народном духе (56,25%). Результаты исследования позволяют конкретнее говорить о различных типах литературного сербского языка XVIII в. в Воеводине: русско-славянском, смешанном (славяносербском) и народном» (см. Младеновић, 1969, с. 51). Нетрудно заметить, что тут дело не столько в разных авторах, сколько в разных жанрах. Первый случай касается жанра исторического сочинения, жанра достаточно отработанного и «высокого», второй — руководства по виноделию, т. е. «жанра», требующего популярно-технического языка, где должны содержаться и терминология, и пояснения для простых крестьян, третий — жанра комедии, где почти обязателен язык «подлый», «простонародный» для усиления комического эффекта и доходчивости, доступности массовому зрителю или читателю. Полагаю, что если бы наблюдения проводились над произведениями трех разных авторов, но одного жанра, например, над «Краткимъ введеііемъ въ історію...» П. Юлинца (1765), «Исторіей о житіи... Петра Перваго...» З. Орфелина (1772) и «Исторіей разныхъ славенскихъ народовъ...» Й. Раича (1794), процентные показатели были бы значительно единообразнее и ближе друг к другу. В различии показателей, полученных А. Младеновичем, некоторую роль сыграл и хронологический фактор (годы 1765–1783–1787). В более поздней работе того же автора (см. Младеновић, 1973) жанровая специфика произведений учитывается в полной мере, но статистические показатели не приводятся.

венскихъ народовъ...» (1794), в ряде других произведений. Но в 1783 г. появляются «Животъ и приключенія Димитрія Обрадовича, нареченога у калуѣерству Досіѣеа» и послание «Любезный Харлампе, здравствуй. Христось Воскресе» того же автора, означающие переход к концепциям Просвещения, концепциям рационализма. И эпоха Просвещения, и эпоха классицизма на сербской почве резко не выделялись, так как в ту пору еще продолжалась синкретичность восприятия разных направлений, синкретичность самой литературы в целом, сосуществование разных форм и борьба, хотя еще не столь острая, как во времена Вука, но все же борьба норм.

С 1780 по 1800 г. вышло из печати 260 книг и изданий, что больше чем в полтора раза превышает число изданий за предыдущие 40 лет. При этом объем, тираж и литературное значение многих из них сильно возросли по сравнению с предшествующим периодом. Среди этих изданий были: комедия Гольдони «Терговци» в переводе Э. Янковича (1787), эпическая поэма «Бой змаа са орлови» Й. Райча (1791), газеты «Сербскіа новины повседневныа» (1791–1792) и «Славенно-сербскія вѣдомости» (1792), «Трагедія сирѣчь печальнаа повѣсть о смерти... Уроша Патагѡ» Э. Козачинского (1798), «Повѣсть житія... фельдмаршала графа отъ Суварова» в переводе с немецкого Н. Лазаревича (1799).

Появление прессы — газет и журнала («Магазинъ» З. Орфелина, 1768) поставило вопрос об общем «среднем» языке, тяготение к которому к концу XVIII в. ощущалось и в других жанрах, и прежде всего в сочинениях Обрадовича. Начиная процесс слияния «славено-сербского» (и «славено-русского») на сербской почве) и сербского народно-разговорного языков на основании единой, еще очень широко понимаемой и компромиссной нормы. Этот процесс продолжался и в первой половине XIX в. до реформы Караджича.

Ускоренное развитие сербской литературы, формирование системы жанров и их видоизменение шли наряду с форсированным процессом становления сербской нации.

Сербская литература XVIII в. и литература XIX в. эпохи романтизма выполняли по сути дела одну и ту же важную национальную программу. Они способствовали созреванию национального, политического, культурного и литературно-языкового сознания. Литература, сама будучи формой национальной культуры, содействовала развитию других ее

форм, устанавливала с ними коррелятивные связи¹⁸. Поэтому не следует удивляться, что в идейном отношении сербская литература XVIII в. и литература XIX в. эпохи романтизма имели много общего. Так, и та, и другая охотно обращались к национальной истории, затем к народной поэзии, к так называемым славистическим (общеславянским) проблемам, к идее славянского единства¹⁹.

В качестве характерных в этом отношении произведений XVIII в. можно привести исторические сочинения П. Юлинца, Й. Раича, И. Радича, затем «Троношскую летопись» («Троношский родослов»), опирающуюся на сербскую народную эпическую традицию, книги З. Орфелина о Петре Великом, «Стематографию» Х. Жефаровича с гербами разных славянских и балканских земель и др. В XIX в. в эпоху романтизма историческая тематика и особенно тематика народно-поэтическая ярко выступает в сочинениях Милана Миличевича, Вука Караджича, славянская идея у Николы Томазео и в произведениях многих других авторов — писателей, публицистов и очеркистов.

Однако в эпоху сербского барокко, классицизма и Просвещения, с одной стороны, и в эпоху сербского романтизма и особенно реализма — с другой, помимо ряда общих идейных устремлений имелись и существенные отличия. Одним из таких отличий в историко-культурном плане было различное понимание границ своей культуры, разное восприятие и отношение к факторам «свое» и «чужое». В XVIII и в XIX в. у сербов (да и не только у сербов, но и у русских и у многих других славян) по-разному оценивалась и ощущалась связь, замкнутость и открытость, зависимость и независимость отдельных культурных ареалов (нелокальных, локальных и узколокальных) друг от друга. Сам термин «славяно-сербский язык» (это словосочетание широко применялось в XVIII в. наряду с «славяно-болгарский», «славяно-российский») и связанное с ним понятие «славяно-сербская литература» указывает на их принадлежность к более

¹⁸ Можно указать на связь сербской литературы барокко с сербским барочным изобразительным искусством и архитектурой XVIII в. Барочные формы можно усматривать и в науке, прежде всего в историографии XVIII в.

¹⁹ См. об этом подробнее в кн.: Павић, 1970, а также в двухтомном труде: Поповић, 1973.

широкой культурной сфере, к так называемому греко-славянскому миру, миру православному, миру *Slavia Orthodoxa*. Причастность славяно-сербской литературы к общей литературе мира *Slavia Orthodoxa* ощущалась в XVIII в. еще достаточно сильно и явственно.

Сама русская литература XVIII в. в лице таких ее представителей, как Феофан Прокопович, Стефан Яворский, Геден Криновский, Лазарь Баранович, Иоаникий Галатовский и др.²⁰, ощущала себя продолжательницей единой славянской православной средневековой литературы, берущей свое начало от Кирилла и Мефодия (Толстой, 1963а, с. 34–38).

Среди литератур мира *Slavia Orthodoxa* в XVIII в. самой развитой, многогранной и богатой была литература русская. Сербы в XVIII в. не воспринимали ее как чужую ни по содержанию, ни по языку. Отсюда столь сильное прямое и опосредованное русское влияние (ср. «русские» школы Максима Суворова и Эммануила Козачинского, покупка русских книг, учеба и служба в России и т. п.). Сербское литературное творчество XVIII в. можно воспринимать во многом как суженную и несколько видоизмененную проекцию русской литературы XVIII в. на сербскую почву, подобно тому, как средневековую славянскую литературу можно воспринимать в известном отношении как суженную и адаптированную в славянских условиях проекцию литературы византийской. В различной иерархии и соотношении культурных центров — ведущих и более периферийных — в пределах единого общего и весьма обширного культурного ареала кроются существенные причины типологических и конкретных (материальных) различий и сходжений литературы и литературных языков (Толстой, 1963; наст. изд., с. 102–147).

Сербский литературный язык не стал развиваться в середине XVIII в. по тому направлению, по которому он пошел в середине XIX в. Между языком Гаврилы Стефановича Венц-

²⁰ Многих западнорусских (украинских) авторов можно считать русскими (общерусскими, общевосточнославянскими) писателями на основаниях, близких к тем, по которым Гоголь причисляется к русской литературе, или мы можем относить их к русской и украинской литературе (в принципе, во многих звеньях общей), подобно тому, как мы относим творчество Григория Цамблака и к болгарской, и к сербской, и к славяно-влахо-молдавской, и к русской, а точнее — к общеславянской литературе ареала *Slavia Orthodoxa*.

ловича и языком Вука Стефановича Караджича, хотя они и очень близки друг другу, пролегает период далекого от народной основы языка «славяно-сербского». Но «славяно-сербский» язык был такой же исторической необходимостью, какой оказался и более поздний сербскохорватский литературный язык на основе герцеговинского штокавского диалекта. Это можно утверждать потому, что сербский народ, носитель достаточно древней культуры, литературы и литературного языка как их орудия, ощущал свою неотъемлемую принадлежность к ареалу *Slavia Orthodoxa*, и его духовное развитие и преуспевание в XVIII в. не мыслилось вне границ этого ареала.

XVIII век у славян восточных и южных (исключение отчасти составляют хорваты и словенцы) был не только веком новых «гражданских» устремлений, рационалистических представлений и художественно-литературных обобщений, выразившихся и в содержательном, и в формальном (языково-стилистическом) плане, но также и веком прежних представлений и жанров, связанных с многовековой и устойчивой церковнославянской традицией, пестовавшейся в подвижнических скрипториях и школах с богатым арсеналом устоявшихся идейно-эстетических и морально-этических представлений, без которых нельзя оценить и воспринять ни творчества Андрея Рублева или Дионисия, ни пафоса Максима Грека или протопопа Аввакума.

К вопросу об историографическом слого сербского («славеносербского») литературного языка

**(Савва Владиславич — Иоанн Раич — Милован
Видакович)**

Утверждение, что в культурном мире *Slavia Orthodoxa* литература и литературный язык XVIII века принадлежали, с одной стороны, древнему периоду, являясь как бы завершающим этапом его развития, а с другой стороны, новому периоду XIX и XX веков, едва ли вызывает сомнение у современных филологов-славистов. Дискуссионными оказываются вопросы путей перехода к новому от старого, принадлежности авторов и их произведений к старым традициям или новым направлениям, характера этих направлений и их смены, жанрового состава литературы и соотношения литературного языка с народными диалектами и церковнославянским языком в разные хронологические отрезки и этапы эволюции (или революции) литературного языка и литературы. На фоне широкого круга этих проблем хотелось бы подчеркнуть одну характерную особенность литературно-языковой ситуации XVIII — начала XIX в., а именно консервативное, почти средневековое отношение к ряду текстов, стремление к их сохранению, к соблюдению преемственности текстов, к текстуальной связи новых произведений с произведениями предшествующими, нового, измененного языка с языком предыдущего периода. В средневековой литературе православных славянских народов такое архаическое отношение к тексту поддерживалось принципом анонимности, не обязательным, но предпочтительным, свидетельствующим, как правило, об авторском смирении и отказе от славы мирской. Как результат соблюдения этого принципа оказывались допустимыми различные операции с текстом, его редактирование, комбинирование с другими текстами, включение в иной текстовый ансамбль и т. п. Иными словами, во многих жанрах древнеславянских лите-

ратур, и прежде всего в жанре летописей и исторических хроник, понятие плагиата отсутствовало, как отсутствовала и четко обозначенная граница между переписчиком, компилятором и сочинителем. Весьма любопытную картину в этом отношении представляют русские летописи с их изначальными центрами летописания, локальными традициями и летописными сводами, однако и сербская историография эпохи средневековья и более поздней поры вызывает не меньший интерес. Естественно, что в XVIII веке и в России, и в сербских землях авторские исторические сочинения абсолютно преобладают, но все же наряду с «Хроникой» графа Георгия Бранковича и другими известными трудами сербских историков и писателей появляется и анонимный «Троношский родослов», памятник весьма интересный и по языку, и по своим источникам, в первую очередь народным.

Устойчивость исторического текста создает лингвисту — историку литературного языка благоприятные условия для исследований, подобных тем, которые проводятся над языком переводов сакральных текстов Нового и Ветхого Завета, относящихся к разным славянским языковым зонам, к разным скрипториям, религиозным и культурным центрам и разному времени. Единый текст, подобно единой матрице или температурной таблице больного, позволяет следить за историей развития («историей болезни») литературного языка, что особенно важно для исследования периода до окончательного становления национального литературного языка¹. Мне уже приходилось подчеркивать важность изучения литературного языка и его истории в связи с развитием литературных жанров, целесообразность изучения эволюции литературного языка в пределах одного жанра и при этом иллюстрировать свои положения сербским материалом (Толстој, 1982; см. также наст. изд., с. 200–211). Однако все более фокусируя, конкретизируя предмет исследования и концентрируя свое внимание на определенных текстах отдельного жанра, следует обратить внимание и на аналогичные, повторяющиеся у разных авторов и в разное время тексты.

¹ Известно, что переводы Священного Писания Вука Караджича и Джурь Даничича венчали усилия сторонников вуковской реформы и были свидетельством их окончательной победы. В связи с этим следует признать достойным сожаления отсутствие работ по языку альтернативно-го перевода Священного Писания Атанасия Стойковича.

Проиллюстрируем это примером, избранным мною довольно произвольно, — отрывком исторического текста о короле Вукашине. С этой целью мною привлекается далеко не весь имеющийся в моем распоряжении материал, а лишь материал «этапный», соответствующий этапам развития литературного языка у сербов в XVIII в. и начале XIX в., и пример из «российского» (славяно-российского) языка (перевод герцеговинца Саввы Владиславича в редакции митрополита Феофана Прокоповича).

Савва Владиславич (1722 г.) [сокращ. СВ]:

Вукашѣнъ Углеца, и Гоїко, родѣлся въ Глѣвнѣ отъ отца по имени Маргнава, убогаго шляхты, возвысѣвшагося съ сынами чрезъ суемыслѣ фортуны отъ Стефана Царя Сербскаго. Его же воспрѣялъ и чествовалъ воедѣну ноцъ Маргнава въ дому своемъ, онъ же возлюбѣвъ его ради чѣнныхъ его порядковъ, взялъ его съ собою въ домъ свои съ женою и съ сынами и съ тремя дщерми. Вукашѣнъ же и Углеца быша храбры, и обучены во оружїи паче всѣхъ протчѣхъ бароновъ Королевства. Углеца покорѣлъ оружіемъ Градъ Фессалонїку, учѣнївъ его даннїкомъ: воевалса непрестанно съ Турками порубежными своему правѣтельству, и прїнудѣлъ ихъ содержать себя въ мѣрности.

Книга Исторїограеїя початїя имене, славы, и разшїренїя народа славянскаго ... Собрана изъ многѣхъ книгъ Исторїескѣхъ чрезъ Господїна Мавроурбїна Архїмандрїта Рагужскаго. СПб., 1722, с. 237.

Иоанн Раич (1794) [сокращ. ИР]:

§ 1. *Вукашинъ* хищникъ и Убица Царскїй котораго подлость нравовъ засвидѣтельствовала низкость благородїа. Неточїю бо былъ, по словеси Фрешотову чис. 56. прелестной природы, но ниже особеннаго имѣлъ дара къ Царствованїю, или еже прочая достохвалная дѣла отправляти. Каковымъ же образомъ достиглъ Вукашинъ Царскаго двора, и великая получилъ достоинства отъ *Стефана I. Императора* Мавроурбинъ и Дюфрессе согласно пишутъ, оный на стр. 237 своея Исторїи, а сей въ Гл. IV, § 1, стр. 63 тако: «Вукашинъ, Углеца и Гойко родилися в Хлѣвнѣ (которая есть в Далмацїи выше Наренти) подлой веси, отъ Отца Мрनावы убогаго Шляхты, возвысѣвшагося съ сынами зрезъ [sic!] суемыслѣ Фортуны отъ Стефана Царя Сербскаго, егоже воспрѣялъ и чествовалъ въ едину ноцъ Мрнява въ дому своемъ: онъ же возлюбѣвъ его ради чинныхъ его порядковъ, взялъ его съ собою въ домъ свой и съ женою и съ сынами, и съ трема дщерми». Сыны Мрнявини, найпаче же

Вукашинъ и Углеша помаломъ времени великая получили во дворѣ Стефановомъ достоинства. Вукашина бо поставилъ онъ Царскимъ вѣночерпѣемъ. а брата его Углешу Протоспатарскимъ (Царскаго Оруженосца) почтилъ достоинствомъ. Мимоходящю же времени отъ Уроша Царя получилъ достоинство Деспоты, по томъ и Кралемъ отъ тогожь проглашенъ, на уничтоженіе его достоинства, и на зависть прочихъ Велможей Сербскихъ.

§ 2. Помянутїи два Ауктори похваляютъ Вукашина и Углешу, яко они были храбри и оружїи паче всѣхъ прочихъ Бароновъ Кралевства, а найпаче Углеша, своимъ военнимъ Искусствомъ завоевалъ Эссалонику, и Данникомъ своимъ сотворилъ. Безпрестанныя брани велъ съ порубежными его правительству Турками, коихъ многаци побивъ принудилъ въ мирѣ пребывать. Фрешотъ же на противъ не точїю похвалъ Вукашину не приписуетъ, но паче къ Царской власти дара неимуца сказываетъ.

Исторїя разныхъ славенскихъ народовъ наипаче Болгаръ, Хорватовъ, и Сербовъ изъ тмы забвенїя изятая и во свѣтъ историческїи произведенная Іоанномъ Раичемъ. Въ Вїеннѣ, 1794. Часть вторая. Книга VII. Глава XIV, 684—686.

Милован Видакович (1835) [сокращ. МВ]:

§ 1. Злонаравный Вукашинъ, хищникъ и убица Царскїи, кои є дѣломъ освѣдочио нискость своегъ благородїя, не само да є быо (по Фрешоту) природе простѣйше, но никакова ни дара имао нїе за єдногъ владѣтеля, или за висока и достохвална дѣла оправляти. Случай само и щастїе тако є и съ нїмъ, као и съ многими на овомъ свѣту, поступило, да се онъ кодъ Стефана силна оне милости удостои, и онога се достоинства сподоби, да наипосле и на тронъ возведенъ буде, но недостойнъ такового нїе се долго на нѣму славію, како што ћемо далше видѣти. Мавроурбинъ и Дуфресне согласно о нѣму овако пишу: «Вукашинъ, Углѣша, и Гойко (три брата) родили су се у Далмаци, у мѣсту маломъ Хлѣвни, выше Наренте (рѣке), отецъ ихъ звао се Мр'ня: благороданъ тобожь, но убогъ. Царъ Стефанъ путуюћи, дойде у село Хлѣвну, ухвати га ту ноћ, и случайно найде и истогъ Мр'ню, кой га прїими, као странногъ Господара (и незнаюћи да є Царъ) на принощїе. Царъ видѣћи нѣкїи у дому Мр'нѣ порядокъ, возлюби домаћина толико, да га узме собомъ са женомъ, и съ три сына, съ три кѣри, и съ цѣлымъ домомъ, доведе ихъ у свой дворъ. Сынови єгови млади люди, и духа бодра, а найпаче Вукашинъ, и Углѣша, по маломъ времену получе у двору Стефановомъ лѣпа достоинства. Вукашинъ поста-

не Виночерпиемъ, а братъ еговъ Углѣша Оружіеносцемъ. Касніе съ временомъ Вукашинъ получи отъ Царя достоинство Деспота, а отъ младога Уроша на зависть свимъ Велможамъ, поставленъ буде и за Краля, но судба ѣе га по маломъ времену съ овогъ високогъ достоинства стермоглавъ низринути и уничтожити.

§ 2. Истина да Вукашина и Углѣшу за храбрость похвалю, особито Углѣшу за нѣгово у оружію искусство: но пуста храбрость безъ разумногъ у дѣлы расположенія, безъ добродѣтели, и благородногъ, за общу ползу намѣренія, праве се похвале лишава. Углѣша є непрестанно ратовао на Турке, кои се подъ егову власть подчинити нису хотѣли. Онъ є често ове побѣждавао, побіо, и на миръ ихъ принуждавао.

Исторія славено-сербскаго народа, изъ разныхъ Ауктора по Раичу и другихъ нѣкихъ собрана, и на простый діалектъ сербскій отъ Царя Стефана Силнаго до смерти Стефана Деспота Сербскаго, списана Милованомъ Видаковичемъ, Профессоромъ. У Бѣограду, 1835. Часть втора. Глава III, 57–59.

Даже при довольно поверхностном взгляде ясно, что представленный в отрывках язык, которым пользовался Савва Владиславич, и язык «Истории» Йована Раича по своему грамматическому облику и лексическому составу близки друг к другу, вернее, почти идентичны. Обращает на себя внимание совпадение целых выражений и отрывков текста, сохраняющих одинаковый формальный облик: «отъ отца по имени Маргнава, убогаго шляхты» (СВ) — «отъ Отца Мрnavы убогаго Шляхты» (ИР); «возвысѣвшагося съ сынами чрезъ суемыслѣ фортуны отъ Стефана Царя Сербскаго» (СВ) — «возвысѣвшагося съ сынами чрезъ суемыслѣ Фортуны отъ Стефана Царя Сербскаго» (ИР); «его же воспрѣялъ и чествовал воедѣну ноць Маргнава въ дому своемъ» (СВ) — «егоже воспрѣялъ и чествовалъ въ едину ноць Мрnavа въ дому своемъ» (ИР); «онъ же возлюбѣвъ его ради чѣнныхъ его порядковъ. взялъ его съ собою въ домъ свои съ женою и съ сынами и съ тремя дщери» (СВ) — «Онъ же возлюбѣвъ его ради чѣнныхъ его порядковъ, взялъ его съ собою въ домъ свой, и съ женою и съ сынами, и съ тремя дщери» (ИР).

Параллельное рассмотрение двух отрывков из сочинения, переведенного Саввой Владиславичем, и сочинения, написанного Иоанном Раичем, показывает технику текстового и языкового восприятия источника и его адаптации, которой

пользовался Иоанн Раич. Он воспринимал почти целиком и дословно (со всеми особенностями языка, но не орфографии) текст Мавро Орбини в переводе «на російской языкъ», но расширил его за счет других указанных им источников. Язык переводов Саввы Владиславича — русский историографический слог начала XVIII века — стал для Иоанна Раича основой для языка всего его исторического сочинения.

Иначе поступил Милован Видакович, писавший свою историю «изъ разныхъ Ауктора по Раичу и другихъ нѣкихъ». Он занялся переводом сочинения Раича на современный ему сербский язык с сохранением ряда лексических архаизмов и церковнославянизмов = русизмов, но с более свободным и присущим сербскому языку синтаксисом, лексикой и грамматическим (морфологическим) строем. Те места, которые мы сравнили выше и которые в переводе Саввы Владиславича и в книге Иоанна Раича оказались одинаковыми в языковом отношении, Милован Видакович изложил так: «отецъ ихъ звао се Мр'ня: благороданъ тобожъ, но убогъ ... Царъ Стефанъ ... случайно найде и истогъ Мр'ню, кой га прими на принощіє. Царъ видѣши нѣкій у дому Мр'нѣ порядокъ, возлюби домаѣина толико, да га узме собомъ са женомъ и съ три сына, съ три кѣри ...» (МВ). По сути дела Видакович занялся не столько последовательным переводом, сколько последовательным пересказом текста, и в этом сказалось уже более свободное, авторское отношение к языку, тексту и содержанию, характерное для XIX века. Все же в языке Видаковича еще ощущается довольно прочная связь с традицией XVIII века и более ранних веков, что отражается в таких формах, как *отецъ*, а не *оца*, *принощіє*, а не *преноѣиште*, *долго*, а не *дуго*, *далше*, а не *даље*, *никакова*, а не *никаква*, не говоря уже о таких лексических русизмах или церковнославянизмах, как *порядокъ* (вместо *ред*), *возлюби* (вместо *заволе*), *щастіє* (вместо *среѣна*), *владѣтель* (вместо *владар*), *тронъ* (вместо *престо*), *хищникъ* (вместо *пльчкаш*), *благородіє* (вместо *племенитост*) и другие².

² В весьма солидной монографии Й. Кашича (Кашић, 1968) вопросы лексической специфики языка известного сербского романиста первой половины XIX в. не рассматриваются. Между тем лексическая сторона реформы Вука Караджича и процесс перехода от «славеносербского» языка к языку вуковского типа в сфере лексики — малоизученная проблема.

Сопоставление отрывков перевода Саввы Владиславича и сочинения Иоанна Раича показывает, что Раич воспринимал русский историографический слог непосредственно через текст, и что в этом отношении он следовал многовековой традиции, бытовавшей у православных славян в отношении соблюдения нормы и способов кодификации книжного (литературного) языка. Мне уже приходилось писать о двух способах нормализации древнеславянского литературного языка, о более древнем способе — текстологическом, называвшемся «исправленіемъ книжнымъ», и более новом для православных славян способе грамматическом, заключающемся в создании нормативной грамматики и следовании ее нормативным предписаниям (Толстой, 1963; см. наст. изд., с. 102–147). Второй способ оставлял, как правило, в стороне значительный лексический пласт языка, в то время как первый на него опирался. Первому из упомянутых способов (восприятие грамматической и лексической нормы через текст) следовал ряд сербских и болгарских писателей XVIII века, хотя эта кодификация и нормализация не была долговечной и устойчивой. И у сербов, и у болгар в XVIII веке изменения в книжном (литературном) языке все еще происходили в рамках культурной традиции мира *Slavia Orthodoxa* с ориентацией на единый славянский — церковнославянский язык, с оглядкой на развитие «славенороссийского» языка, в котором первая часть его названия как бы напоминала об общности всех славянских языков, пользующихся кириллическим письмом и продолжающих кирилло-мефодиевскую традицию. Нужно отметить, что в Петровской России в начале XVIII века исторические сочинения, в особенности сочинения чужеземных авторов, переводились и на «славенскій» язык, и на язык «россійской». Безымянный переводчик «Дѣяній церковныхъ и гражданскихъ» Кесаря Барония (Москва, 1719) переводил с польского языка на «славѣнскій» (церковнославянский того времени), а Савва Владиславич («Книгу историографию» Мавро Орбини, СПб., 1722) «со італіанскаго на россійской языкъ» (на историографический слог со значительной долей церковнославянских низмов).

Болгарский монах Хилендарского монастыря на Афоне неоднократно обращался к петербургскому переводу Мавро Орбини и использовал широко и московский перевод книги Цезаря Барония. Как показал софійский профессор Велчо

Велчев (Велчев, 1943), отец Паисий заимствовал из «Дѣяній церковныхъ и гражданскихъ» ряд пасусов, сохранив язык московского перевода.

Так, в «Предисловіи къ православному читателю и о сей лѣтописной книзѣ сказаніи» (т. е. о книге Цезаря Барония) написано:

Исторїа не токмо въсакому ко оуправленію себѣ или дому, но и великимъ властителемъ к' доброму обладанію подаѣтъ разумъ, како возможно Бгомъ врученыхъ подданныхъ содержати в' страсѣ Бжїи. в' послушанїи, тишинѣ, правдѣ, блгочестїи ... (лист 3а).

У отца Паисия:

Исторїа не токмо въсакому ко управленію себѣ или дому но и великимъ властителемъ къ доброму обладанию подаѣтъ разумъ: како възможно. Бгомъ врученыхъ подданныхъ съдржати в' страсѣ Бжїи. въ послушанїи тишинѣ правдѣ благочестіе ...

Московский перевод книги Цезаря Барония³ был известен и другому болгарскому историку XVIII века — иеросхимонаху Спиридону, написавшему свою историю. Так, к примеру, сообщая о прениях греков с латинянами о болгарях, он пишет:

Глаголетъ Баронїй: Василїй кесарь и патріарси восточнии имѣяху прѣние немалое с латинами, зане хотяху, дабы болгары в епархїи константинополстѣи под патріархомъ и греками, а не под папою и латинами были. Того ради, яко земля сія яже завладѣша болгары прежде бѣше под греками и яко недостоитъ дабы латїни иже за кесари франгов имѣють а грековъ за госодарей имѣти не хоцуть⁴.

В этом примере мы снова сталкиваемся с фактом непосредственного приятия языка «оригинала» (т. е. славянского перевода). В данном случае речь идет о прямом цитировании, но бывают и «скрытые» цитаты также с сохранением языка оригинала. Так, язык цитат влияет непосредственно на язык самого автора, составляя с ним единое лингвистическое целое, единый текст. Источниками «Истории» Иоанна Раича интересовались историки (Радојчић, 1952), истока-

³ Дѣянія црковна и гражданска ѿ ржствѣ Гсда нашего Іиса Хрста. Из' лѣтописанїи Кесара Баронїа собраннаа преведѣнаа съ полскаго языка на славѣнскїи ... напечатанаа ... въ Москвѣ (1719).

⁴ «Исторїа во кратцѣ о болгарскомъ народѣ славенскомъ, сочинися въ лѣто 1792 Спиридономъ иеросхимонахомъ». Стѣнками за издание В. Н. Златарски. Софія, 1900. (Лист 31 рукописи, с. 45 издания).

ми текста «Истории славяноболгарской» отца Паисия Хилендарского и рассмотрением его на фоне православной славянской культуры того времени занимался, помимо упомянутого проф. В. Велчева, профессор Риккардо Пиккио (Picchio, 1958). Последний, пожалуй, подошел ближе всего к языковой проблематике знаменитого болгарского памятника литературы и культуры в широком аспекте. Хотелось бы заметить, что изучение источников отдельных произведений и механика их лингвистического использования — особый и очень важный для эпохи XVIII века вопрос, отличный от проблем перевода и проблем языкового влияния и заимствований в традиционном смысле. Кроме того, у сербов и у болгар в определенный период шли общие процессы усвоения и адаптации церковнославянского языка русского образца, и параллельное или одновременное исследование этих процессов в истории сербского и болгарского литературных языков было бы весьма полезно. Естественно, что мы себе не ставили в этой статье целей анализа болгарского материала и болгарской ситуации, мы двумя отрывочными болгарскими примерами лишь обратили внимание на идентичность отношения к тексту-источнику у сербских и болгарских книжников и историков XVIII века, на одну из сторон культурно-языковой ситуации православного XVIII века.

Проблема цитат, особенно скрытых цитат, цитатных вкраплений и просто заимствований текстов, их отрывков и фрагментов, внесенных в основной авторский текст, осложняет и без того нелегкую задачу выявления славянизмов в славяно-сербском языке XVIII века, задачу составления словаря этих славянизмов. Наш уважаемый юбиляр⁵ Александр Младенович справедливо ратует за их полное выявление. Он пишет: «Како су славенизми (рускословенска, руска и делимично српскословенска лексика) чинили основни неспски (ненародни) језички слој у славеносрпском језику, то је потребно у речничком проучавању српског преддуковског књижевног језика њима посветити посебну пажњу. Наиме, њиховим уочавањем и потпуним регистравањем, односно издвајањем од остале лексике, сагледаће се, пре свега, целокупни фонд тих речи које су, с једне стране, сметали Вуку,

⁵ Статья была написана для юбилейного сборника, посвященного известному исследователю истории сербского литературного языка проф. А. Младеновичу. — *Прим. ред.*

а које су, с друге стране, славеносрпском језику давале ту његову, славеносрпску боју, што је у основи чинило онај “негативни” део овог језика, како се деценијама сматрало. Поменути славенизми морају се, при стварању речника књижевног језика нашег славеносрпског периода, сви ексцерпирати. Ово комплетно “извлачење” поменуте лексики не мора важити и за остале речи славеносрпског језика, али за славенизме је неопходно» [Поскольку славянизмы (славяно-русская, русская и отчасти славяно-сербская лексика) составляли основной “несербский” (не народный) языковой слой в славяно-сербском языке, то при лексикографической обработке довуковского сербского литературного языка им необходимо уделить особое внимание. Их выявление, их сплошная регистрация, отделение от остальной лексики позволит получить представление о полном корпусе слов, которые, с одной стороны, мешали Вуку, а с другой стороны, придавали славяно-сербскому языку ту особую окраску, которую долгое время принято было расценивать как “негативную” сторону этого языка. Упомянутые славянизмы должны при составлении словаря литературного языка славяно-сербского периода эксцерпироваться полностью. Такое сплошное “извлечение” не должно распространяться на другие слова славяно-сербского языка, но для славянизмов оно необходимо] (Младеновић, 1984, с. 98). Не следовало ли бы при этом указывать на скрытые первоисточники типа переводов «Историографии» Мавро Орбини и «Деяний церковных и гражданских» Цезаря Барония?

Литературный язык сербов в XVIII — начале XIX в.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

XVIII век в литературно-языковом развитии славянских народов мира *Slavia Orthodoxa* был веком репительных перемен, которые в XIX в. в разных странах по-разному приводили к формированию национальных литературных языков. Исторические условия, необходимые для перехода от ряда языков или «подъязыков» к одному и притом поливалентному литературному языку, возникали в восточно- и южнославянских странах указанного культурного ареала не одновременно, и потому можно говорить о более или менее ускоренном процессе развития отдельных литератур и литературных языков (Гачев, 1964). Момент ускоренности/неускоренности зависит от «места» отсчета, т. е. от того, какой процесс, в какой стране следует считать неускоренным. Если, скажем, считать развитие французской литературы и французского литературного языка в XVIII в. не ускоренным, а нормальным, то развитие русской литературы и литературного языка этого времени уже окажется ускоренным. И если французская литература может служить подобным измерительным эталоном для всех европейских литератур того времени, то для «греко-славянского мира» таким эталоном окажется русская литература, а для славяно-латинского, пожалуй, — польская. Пользуясь терминами литературных направлений и стилей, отметим, что в период XVIII—XIX вв. до образования национальных литературных языков славянские литературы, в том числе русская и сербская, проходили следующие этапы развития: барокко, классицизм (просвещение), сентиментализм, романтизм, реализм. Именно реализм был конечной фазой, закреплявшей нормы языка и стиля «современных» славянских литературных языков, фиксировавшей их конечное становление, а с эпохой романтизма связывалось их бурное развитие, «завоевание позиций», проникновение во все сферы, где функционирует слово, — в художественную и деловую. Хорошо

осознавая, что история литературного языка и история языка художественной литературы — дисциплины, различающиеся по своим задачам и даже методам исследования (Виноградов, 1958), и не настаивая на прямой причинно-следственной связи разных этапов развития литературы с этапами истории литературного языка, отметим все же одну важную особенность бытования и литературного языка, и литературы в преднациональный и ранний «национальный» период. Сербская литература, или, точнее, письменная словесность, которой пользовались сербы до XVIII в., представляла собой значительное, шестивековое наслоение разных эпох и разных форм книжно-литературного творчества, часто анонимного, которое передавалось и было современно читателю более, чем современна нам русская или сербская литература XIX в. В этой литературе (и литературном языке) сосуществовали и были равноправны в синхронном (одновременном) плане (но не функционально) произведения разных веков, из разных источников, с разными генетическими и диахроническими показателями.

Древнесербскую книжность или письменную словесность в литературно-языковом отношении можно условно разделить на четырнадцать разрядов или классов (иначе — видов или «жанров»), построенных по определенному иерархическому порядку (в виде некоей пирамиды и т. п.) в определенной последовательности: 1. конфессионально-литургическая литература; 2. конфессионально-гимнографическая литература; 3. агиографическая литература; 4. конфессионально-учительная литература и патристика; 5. панегирическая литература; 6. конфессионально-юридическая литература; 7. апокрифическая литература; 8. историческая литература; 9. повествовательная литература; 10. паломническая литература; 11. натуралистическая и философско-филологическая литература; 12. светско-юридическая литература; 13. деловая письменность; 14. бытовая письменность. Этой последовательности в значительной мере, особенно в первых разрядах, соответствует степень авторитетности, сакральности текста (и разряда — «жанра») и связанная с этим степень строгости и устойчивости литературно-языковой нормы¹.

¹ В одной из моих работ перечисленные разряды подробно комментируются относительно: а) текстового состава рубрик; б) переводности/непереводности текстов; в) места возникновения (происхождения) текстов; г) времени возникновения текстов; д) функционирования тек-

Хронологические границы и временные расстояния возникновения и бытования отдельных текстов (resp. разрядов) слабо ощущались и были мало существенны, в то время как релевантными были рубежи конфессиональные (католицизм — православие — ислам, а также позже униатство и т. п.) и в определенном отношении языковые (греческий — древнеславянский — латинский, но не древнеславянский — старосербский и т. п.). В древней литературе, вернее в литературной, книжной жизни не ощущалось столь резкой и быстрой смены литературных направлений и стилей: новое обычно уживалось со старым и не вытесняло его. Сама книжность и литература, как уже отмечалось (см. Толстой, 1961; см. наст. изд., с. 66–89), была не чисто сербской, а входила значительной своей частью в международную, межславянскую литературу мира *Slavia Orthodoxa*, которая по своим традициям и духу была близка к византийской литературе, калькировала ее частично и частично ее продолжала (ср. литературно-политические идеи Третьего Рима в Москве XVI в. или ранее, в начале XIV в., культурно-политические усилия сербского царя Стефана Душана и связанные с этим литературно-книжные устремления в Сербии и их результаты).

XVIII век демонстрировал процесс перехода от синкретизма к художественности (Гачев, 1958), от межнационального, или точнее, наднационального (но не полинационального) к национальному. Эти две противопоставленные пары слов, понятий и сущностей не синонимичны и даже не во всем взаимообусловлены, но изохронны. В еще меньшей мере синонимичны понятия или, вернее, признаки ускоренности/неускоренности развития и неоснащенности/оснащенности литературы. Однако процесс происходил тем быстрее, чем была менее оснащенной литература (или письменность), чем была меньше «сопротивляемость материала», чем меньше было самого материала. В этом нас убеждают истории литературных языков — русского (великорусского), белорусского, украинского, сербского, болгарского и валахо-молдавского². В отношении белорусского материала многие иссле-

стов и, наконец, с учетом вышеизложенных моментов — е) языка текстов (см. Толстой, 1982; наст. изд., с. 200–211).

² Для древнеславянского языка валахо-молдавского типа условия функционирования и соотношения с письменным языком, близким к народно-разговорному, были иными, чем в других зонах греко-славянского

дователи говорят даже о перерыве в развитии литературного языка в XVIII в. В нашу задачу сейчас, однако, не входит сравнительное изучение процессов развития славянских литературных языков «греко-славянского» макроареала. При рассмотрении периода XVIII в. придется, однако, сопоставлять ряд фактов сербского и русского языкового развития, так как последнее играло большую роль в истории сербской литературы и литературного языка. И в сербской, и в русской литературе наблюдался переход от синкретизма к художественности (вернее художественной дискретности), хотя у русских он начался раньше, еще в XVIII в., а у сербов его начало можно отнести к середине XVIII в. И той, и другой литературе — «синкретической» и «художественной» — был присущ процесс развития, однако этот процесс проходил у них далеко не одинаково. «Синкретическая» литература в гораздо меньшей мере, чем художественная, испытывала момент устарения, несовременности текстов, манеры письма (чтобы не сказать «метода» и «направления»), в то время как «художественная» литература оказалась в своей эволюции самосменяющейся, этапной. При этом переход от одного этапа к другому мог иногда носить и достаточно революционный характер.

На славянский XVIII век многие историки литературы и историки литературного языка смотрели как на эпоху, предвестившую и предопределившую век XIX и даже XX, как на начало «новой» литературы и нового литературного языка. Такой взгляд правомерен и возможен, но в то же время он и несколько односторонен. При всей быстроте развития славянских литератур и литературных языков в XVIII в. этот век не терял тесной связи с предшествующими эпохами и по своим идеям и представлениям, и по формам и произведениям, и по языку. И, наконец, при всем стремлении сербского народа противостоять унии, католицизму, ассимиляторской политике габсбургского и оттоманского абсолютизма, контакты с западным миром и особенно с миром *Slavia Latina* усиливались, расширялись и крепились. С западным миром они были прямыми (прежде всего с германцами)

мира, ибо в валахо-молдавской зоне общий народно-разговорный язык был генетически неродственным (если не учитывать широкой индоевропейской перспективы), и создание литературного языка на компромиссной основе, как и само существование переходных идиомов (типов), было невозможно.

или идущими через Россию (более всего с французами), а с миром *Slavia Latina* оказывались непосредственными, ибо буквально рядом существовала далматинская, боснийская и хорватская литература на языке, диалектная основа которого была очень близка или почти идентична диалектной основе сербского городского разговорного койне XVIII в. Процесс развития национального литературного языка вел также к преодолению конфессионального барьера.

XVIII век был неоднороден и по структуре и соотношению видов (типов) литературного языка, соотношению «стилей», и по периодам, хронологическим отрезкам, в которые эта структура менялась.

Проблема периодизации литературного языка XVIII в.

Процесс становления сербского национального литературного языка был длительным и сложным. Он представлял собой не просто переход от древнесербского «сербульского» языка, бытовавшего еще в конце XVII и начале XVIII в., к литературному языку на народной основе, кодифицированному Вуком Караджичем, а был связан с попытками формирования разных структур литературного языка — церковно-славянской на русской основе, русской литературной XVIII в. (историографический слог и т. п.), средней или смешанной русско-церковнославянско-сербской или русско-сербской и т. п. структур, известных главным образом под названием «славяно-сербского» языка.

В научной литературе давно принята и известна периодизация бытовавшего у сербов в XVIII в. литературного языка, предложенная Б. О. Унбегауном (см. выше, с. 218), который выделяет три периода: 1) с 1690 г. до 1740 г.; 2) с 1740 г. до 1780 г.; 3) последнее двадцатилетие XVIII в. и начало XIX в. (Unbegaun, 1935, p. 15). Целый ряд литературоведческих, лингвистических, библиографических и исторических работ, выпедших за четыре десятилетия после появления парижской книги известного русского слависта, подтвердил уместность и обоснованность этой периодизации. В основе своей она адекватна материалу, и лишь отдельные моменты, отмеченные еще А. Беличем, а затем другими исследователями, не укладывающиеся в предложенные Б. О. Унбегауном периодизационные рамки, свидетельствуют скорее о сложности литературно-языкового процесса XVIII в., чем о дефектности или умозрительности предложенной схемы.

Периодизация Унбегауна выработана на языковом материале и выражена лингвистическими дефинициями. Она считается с «типами» языка, или языками, «подъязыками» (по терминологии Б. В. Томашевского), в определенное время сосуществовавшими и менявшими свою функциональную и формальную природу. Однако она имеет и свою историческую и историко-литературную основу. Нетрудно заметить, что дата 1690 год является датой Великого переселения сербов при патриархе Арсении III Черноевиче, когда культурный и религиозный центр сербского народа переместился на север, за Дунай и Саву, в Воеводину, в пределы Австрийской империи. 1740 год — это год оставления Белграда австрийскими войсками после более чем двадцатилетней оккупации и управления Сербией (1718–1739)³. В этом же году вступает на престол Мария Терезия, известная своей склонностью к католицизму и унии, своими стремлениями централизовать власть⁴. В 1780 г. ее окончательно сменяет на венском престоле Иосиф II, упразднивший деятельность различных религиозных комиссий, издавший в 1781 г. указ о веротерпимости и равноправии религий и прекративший тем самым столетние правительственные усилия по обращению сербов в унию. В 1788 г. Австрия вновь вступает в войну с Турцией и вновь, но на сей раз на короткий срок (до Свиштовского мира 1791 г.), она захватывает северную Сербию. Так последние два десятилетия оказываются периодом подготовки двух крупных событий в истории Сербии — первого (1804) и второго (1815) национального восстания против турок.

С историко-культурной и историко-литературной точки зрения эта периодизация также представляется нам оправданной. До 1740 г. сербская литература носила еще характер «письменности», не предназначавшейся широкому читателю, сохранявшей во многом традиции феодального периода, и лишь немногочисленные писатели из духовной (монашеской) среды в своих единичных оригинальных и компилятивных сочинениях, дошедших до нас в уникальных автографах, отражали барочные тенденции православной по-

³ По Белградскому миру 1739 г. граница между Габсбургской и Османской империей пошла по Саве и Дунаю.

⁴ Ко времени ее единоличного царствования (1740–1765) и относится переселение десятков тысяч сербских семейств из Поморшья и Потисья в Новую Сербию, т. е. в Россию.

луконфессиональной литературы начала XVIII в. Светское барокко, уже более западной окраски, вперемежку с французским классицизмом, воспринимаемым в основном через русское посредство или русскими «глазами» и языковым стилем и слогом, характерно для второго периода. Третий же период, в котором выступил Досифей Обрадович со своими сочинениями, можно характеризовать как период сербского рационализма и просвещения, хотя, естественно, писались и сочинения, не относящиеся непосредственно к этому направлению. Ниже при рассмотрении отдельных фактов истории литературного языка мы вернемся к анализу литературного процесса у сербов в XVIII в., равно как и кратко затронем вопрос о развитии стилей и жанров художественной поэзии и прозы, деловой прозы, канцелярских документов и т. п., а также истории сербской книги той поры.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК У СЕРБОВ ДО 1740 г.

В конце XVII в. и в первые четыре десятилетия XVIII в. в сербских землях, в том числе и в северных задунайских и засавских, именуемых Воеводиной, сохранялись традиции древнесербской литературы и литературного языка. Древнеславянски й язык сербского типа использовался при переписке произведений почти всех разрядов верхнего яруса (см. с. 240, разряды 1–6) — часослова, псалмов, тропарей, служб, житий, поучений и ряда разрядов нижнего яруса (разряды 7–9, 11, 12) — апокрифов, летописей и родословных, «Законика» Стефана Душана и др.⁵ Переписка текстов была характерной для ряда монастырских скрипториев, среди которых уже в новых условиях вне турецких пределов особо выделялись монахи-беженцы из монастыря Рача, что на Дрине в Сербии. Эти чернецы, известные в сербской истории литературы под именем «рачан», имели свой скрипторий в сербском местечке Сент-Андрее (на Дунае севернее Будапешта) и

⁵ Эта переписка не прекращалась в течение всего XVIII в. и велась и в XIX в. Впрочем, в России в старообрядческой среде она была известна и в XX в. К XVIII в. относится, например, восемь сербских списков «Законика» Стефана Душана (из общего числа 25 сохранившихся списков — 14 сделаны в XIV—XVII вв., а два — в XIX в.), не менее десяти списков и переделок летописей, ряд списков повестей, житий, похвал и т. п. Перепиской, т. е. созданием новых списков и копий занимался в XVIII в. и Йован Раич.

других городах тогдашней Венгрии. В Сент-Андрее подвизался Киприян Рачанин и одно время его последователь Гавриил Стефанович Венцлович. В других венгерских городах и в сербских монастырях на Фрушкой Горе трудился Ерофей Рачанин, автор оригинального хождения в Святую Землю.

Для сравнительно небольшого числа оригинальных и компилятивных произведений начала XVIII в. характерно, во-первых, что они относятся либо к жанру хождений, ожившему еще в XVII в., либо к новому жанру народных проповедей, которые следует отличать от средневековых текстов того же предназначения (разряд четвертый), и, во-вторых, что они носят черты довольно смешанного языка, где помимо древнеславянских элементов сербского, а спорадически и русского типа, ощущается очень значительный пласт сербского народного разговорного языка. Этим, однако, не изменяется и тем более не разрушается ни жанровая структура всей литературы, восходящая еще к сербскому средневековью, ни иерархия жанров, ни языковая дистрибуция, которая возникла на основе этой структуры.

Язык Иерофея Рачанинского

«Путьшаствiе къ граду Иерусалиму Иерофея Иеромонаха Рачанинскаго...» было написано в 1727 г. во Фрушкогорском монастыре Велика Ремета. Единственный список этого хождения исчез, но мы можем судить о его языке по довольно внимательному изданию О. Бодянского (Ерофей Рачанинский, 1861)⁶. Автора этого сочинения едва ли можно, вслед за Й. Скерличем, назвать «простоватым человеком с очень скудным образованием и узким горизонтом стародавнего монаха» (Скерлић, 1923, с. 167). Описание мест, событий и собственных переживаний, слог и авторская экспрессия во многом напоминают манеру письма протопopa Аввакума, стиль аввакумовского «Житiя». И хотя можно с полной уверенностью сказать, что сочинения русского старообрядческого писателя были Иерофею Рачанинскому неизвестны, наблюдается общность языка обоих произведений, общность не фактическая, а структурная. «Путьшаствiе» написано на языке, в котором, если учесть значительный общий

⁶ См. исследование языка этого памятника в краткой монографии: Грицкат, 1976.

лексический, грамматический и даже фонетический фонд, сочетаются «сербульские» черты (т. е. черты древнеславянского языка сербского типа) с чертами книжно-московскими (т. е. позднего древнеславянского языка русского типа) и чертами чисто сербскими — народно-разговорными. На первый, поверхностный взгляд, эти черты, или компоненты, довольно бессистемно смешаны и произвольно употреблены. Однако внимательный анализ показывает, что все три указанных компонента очень часто служат стилистическим целям — для выделения отдельных участков текста или отдельных описаний, для оттенения возвышенных, духовных моментов и моментов обыденных, повседневных, мирских и вещных. «Книжно-московский» (древнеславянский позднего русского типа) подъязык находим иногда и в обычных, нейтральных констатациях — «И сподобисмо се благословенія от святыхъ отецъ и общаго собора, паки прощєніе пріємше пойдохомъ вспять въ Егѳптъ мѣсяца Декем. 4 день» (с. 12) и всегда в цитатах из Св. Писания — «Востани, яждь, яко далекъ ти есть пусть 40 днїи и 40 ношїи» (с. 25), сербский народно-разговорный — в описаниях мест и достопримечательностей — «И ту мало по далѣ, рецы 10 аршина, мѣсто, гдѣ су воду просули, кадѣ су Христа окупали, и ту кандило горе, и мало прођи на врата те има мѣсто замржено гвоздіемъ...» (с. 26), в рассказе о действии автора и его спутников — «И ту у граду на святаго Пантелеимона видѣх гроздіе носе у котарица на магарци много Турци купую, а Христїяне не до Преображенія, зато питасмо и чудисмо се доброму дѣлу ихъ» (с. 2). «Сербульский» подъязык в отдельных частях текста и в отрывках не встречается, но во многих словах он представлен иногда наряду с русско-славянскими элементами и сербскими народными (*вазнео*, *вазнесао*, *вазираше*, *сакрывающе*, *раждающе се* и т. п., наряду с *воздасмо*, *воздыханіе*, *соборъ*, *ту се крестїо*, *крестъ*, *черн*, *входу*, *моря*, *воистину воскресе*, *облечен в одежду*, *раждающе се солнцу*, *пресвятое* и т. п. и с формами *виђу*, *виђаше се*, *скидаю*, *улѣзосмо*, *црвенога* и т. п.). Так как описания мест и достопримечательностей в тексте «Путьшаствія» абсолютно преобладают, преобладает в целом и сербский язык на народно-разговорной основе. Любопытно, однако, что в рассказе о буре на море и близости смертного часа Иерофей Рачанинский прибегает к славянизмам: «паде облакъ чернъ на море, тогда се живота очаясмо, криченіе и гласи великіи

изхождаху, призивающе Пречистую Богородицу и святого Отца Николу, и правитель вѣтриломъ позна градъ Ливно» (с. 5). Бог, по представлению Иерофея, требует обращения по-славянски — «Слава Богу, сподобившему насъ узрѣти святая сія мѣста и поклонити се, и узрѣти дивную красоту» (с. 10), но к своей чернеческой братии он обращается уже по-сербски: «О братіе (по-сербски бы следовло *О браћо!*), тѣсна и прискорбна пута и неволна живота на той земли!» (с. 10).

Таким образом, в языке «Путьшаствія» Иерофея Рачанинского наблюдается уже довольно сильное русское влияние, которое исследователи обычно относили ко времени после 1740 г. Влияние это было спорадичным, оно выражалось в восприятии отдельных элементов древнеславянского языка позднего русского типа, а не всего языка как целого, как системы. Иерофей Рачанинский допускает в духе языка светских жанров сербской средневековой письменности смешение разных подъязыков в одном тексте, иногда в одном слове или словосочетании. В представлении Иерофея элементы подъязыков, видимо, воспринимались как варианты одного языка.

Язык Гавриила Стефановича Венцловича

Современник Иерофея и воспитанник тех же рачанских чернецов монах Гавриил Стефанович Венцлович, видимо, уже воспринимал три упомянутых выше идиома не как варианты инвентари одного языка, а как два разных (сербский «простой» и древнеславянский «сербульского» и «московского» типа) или даже три языка, сознавая при этом их близость и возможность сближения в определенных условиях. Об этом можно судить по творчеству и по высказыванию самого Венцловича, содержащемуся в послесловии к первой части перевода «Меча духовнаго» Лазаря Барановича — «И се же вѣдомо буди, яко не вѣса проста сут, понеже яже къ Богу глаголют се сіа по писанію книжномъ вѣмѣщено ест, а яж е къ людем, сіа по просту. Нѣ и тая недостиженіем ум'ным и невѣждаством не вѣзмогох вѣса ни изредно протл'ковати, нѣ емуже от вас чатуцихъ дае Богъ бистроуміе досто'дл'жно может извѣствовати...» (Стојановић, 1901, с. 86; см. также Unbegaun, 1935, р. 22). Суждения Венцловича близки к представлениям южнорусских (украинских) книжников XVII в., различавших «словенский» язык и «простую

мову» и пользовавшихся нередко и тем, и другим. Наличие западнорусских параллельных текстов на двух языках типа «Лекарства на оспальный умысль челоѡчи...» (Острог, 1607) говорит о том, что эти языки ощущались как разные и притом не связанные отношениями дополнительной дистрибуции. Что касается «произведений» Венцловича, то в них дополнительная языковая дистрибуция наблюдается, ибо одна часть их написана на древнеславянском языке позднего сербского типа с некоторыми чертами русскими — «книжно-московскими» или даже «книжно-киевскими», а часть — на языке, очень близком к сербскому народно-разговорному⁷. В общем, некоторые произведения инок Гавриил просто переписывал, некоторые при переписке перерабатывал и приближал к народному языку, некоторые переводил на язык, очень близкий к народному. По поводу оригинальности венцловичевых текстов существуют разные мнения. В. С. Йованович писал, что «Гавриил не имеет ни одного своего оригинального произведения, а все его произведения — или списки, или переработки, или переводы. Он сам не написал ничего, кроме вставок и объяснений в церковных беседах» (Йовановић, 1911, с. 109). М. Павич, учитывая литературные условия той поры, когда проблема авторства, «своего и чужого» носила иной, чем в наше время, характер, а момент выбора текстов, характера компиляции и языка во многом определял сущность литературы, еще не перестававшей быть и просто письменностью, так оценивал положение: «Глядя широко, Венцлович был оригинальным литературным явлением, хотя бы потому, что его образцы (источники) не всегда оказывались взятыми вне сербской литературы, более того, иногда в его произведениях оказывалось переработанным на народный язык произведение какого-либо древнего сербского писца, который свой текст писал по-сербскославянски» (Павић, 1972, с. 245). Не включаясь в полемику о самобытности и оригинальности произведений в древних славянских литературах и в литературе XVIII в., отметим, что в истории литературы и в истории литературного языка, особенно для периодов становления новых норм, новой системы стилей, этот вопрос должен ставиться по-разному. Как раз пример славянского XVIII в. показы-

⁷ См. обстоятельное исследование языка Венцловича: Costantini, 1972, p. 163–186.

вает, что иногда переводные произведения играли большую роль в становлении норм и стиля литературного языка, чем некоторые произведения непередаваемые. Это же можно сказать и о проблемах литературного вкуса. Но при этом важно учитывать еще один, не лингвистический, а скорее социологический момент — на общий литературный вкус и на языково-литературный слог влияла распространенность произведения, в определенных случаях несущественно какого — переведенного, непередаваемого или компилированного. Для произведений Венцловича этот момент был почти редуцирован, они были очень мало распространены и дошли до нас все лишь в автографах. О возможности существования некоторых неавторских списков можно говорить только предположительно. Произведения Венцловича разделили судьбу сочинений Крижанича — они были открыты лишь в XIX в.

И все же эксперимент Венцловича интересен для нас с нескольких точек зрения. Во-первых, он свидетельствует о назревшем кризисе древнеславянского языка в сербских землях, ибо подобные опыты и эксперименты возникают при определенных кризисных ситуациях (ср. опыт языка Ю. Крижанича в России в XVII в., более поздние опыты у словенцев [Толстой, 1965, с. 261–265], болгар, русских — Третьяковский и т. п.), во-вторых, он предвещает ряд более поздних опытов, закончившихся опытом Караджича, в-третьих, как отмечалось выше, он повторяет в иных условиях южнорусскую (украинскую) языковую ситуацию XVII в. с употреблением «словенского» и «простого» языка. Исследование языкового эксперимента Венцловича очень затруднено отсутствием критического издания его автографов или даже части их. Переводы на современный язык без комментариев, указаний на литературный источник многих текстов инока Гавриила (Венцловић, 1966) делают строгий языковой и филологический анализ невозможным. Все же по косвенным данным нам известно, что переписанные рукою Венцловича в 1711–1740 гг. Служебник, Минеи за март-апрель, Минеи за август, Часослов, «Богородичник», «Пресађеница» и Каноник сохраняют древнеславянский язык сербского типа, в то время как переводы книги проповедей Лазаря Барановича «Мачъ духовный», «Поученіа и слова разлика и пролози нарочитым светым и празником», «Великопост'ніикъ», «Пен'तिकости трѣода поученіа съ синазари Сказиваніе из книге зовомыи Ключъ», «Слова из'бран'на

праздником светых отъць наших», «Поученіе избран'ное ѿ светаго еѵгеліа и ѿ многіх божастав'ных писаніи», некоторые житія, слова и поученія переведены на сербский язык, очень близкий к народно-разговорному. Эти переводы относятся к периоду 1732–1746 гг.; они сделаны, по свидетельству Венцловича, «на просто уразумительное знаніе србское за селяне и просте люде», «на србски ѳзик ради разуменіа простым чловѳкомъ», «простым диалектом», или «от московскаго» или часто с произведений «російскаго архіепископа Лазара Барановича». Нетрудно заметить, что переводы касаются лишь текстов нелитургического характера (ибо проповедь — только внешняя вставка в литургию, явно обращенная к другому адресату — к прихожанам), текстов для келейного чтения или для устной проповеди (разряды 3, 4). Все же любопытно, что впервые в истории сербской письменности беседы Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Иоанна Дамаскина переводятся на сербский «простой» язык. Инок Гавриил находит для этого оправдание в библейском тексте. Бог, — пишет он, — повелел Моисею собрать людей, сынов своих и говорить им ясно, «а не в маглѣ и чрез облак учти и глаголати неvěщїк в писмѣ, но простим языком им вѣщати, яко да вса разумѣют людїе» (Скерлић, 1923, с. 169–171). Как видно из приведенных нескольких строк, язык Венцловича не столь «чистый» народный сербский, как писали некоторые исследователи. Несколько «чище» он в переводе «Меча духовнаго», который был сделан Венцловичем для его собственных воскресных проповедей в 1736 г. в венгерском городе Дьёр. Приводим вслед за В. С. Йовановичем отрывок из перевода «Меча духовнаго» Лазаря Барановича:

[Лист 86б]. Непрелюби твори. каконо онай коисее збезаконїе^м уутроби мѣр'ніѡй зачѣв, изгрѣхо^мсе ук^дно наошвай свѣт родїѡ. живѡт'ни овому мїру. гдѣсе свѣ зло доконава ане добро, щѣе го^д умїру. пр'вомуе жел'но^{ст} тѣла, дасе насити блуда. иѡтом нас пр'во учи слово бжїе ч^{то}, чуватисе ѿ пл'таске скр'но^{сти}. зацо кото^м грѣху посамои своїѡй натура члч^{кой}, ла^{но}се предае чл^къ низара^д тога грѣха найвыше и найвѣ^ѣзма лю^д: ѡпадаю ѿ ба. по свѣдоча^{ст}ву стга ап^{ла} петра како пише...

Ему соответствует оригинал:

Не прелюбы твори; Въ без^аконїи зачатаго и въ грѣсе рождѣнн^а, жителя мїру, идеже вса наже суть въ мїрѣ, первое су^т похот' пл^т'скаа учи^т въ первы^х слово бжїе ч^{то}ее хранитиса ѿ

плотскоа нечистоты: къ сему бо грѣху по е^стству самому члкъ у^добъ прекланаетьса, и ради сегω грѣха найпаче, члци живота вѣчнаго не наслѣдуютъ посвидител'ству Ап^сла стгω Петра глѣща: [Мечъ духовный, Киев, 1666].

Русские школы у сербов

Эксперимент Венцловича с переводом «Меча духовнаго» был сделан через десять лет после начала русских школ у сербов, а «Путьшаствiе» Иерофея Рачанинского было написано, видимо, в 1727 г. (а не в 1721 г., как полагают многие), т. е. год спустя после основания в Карловцах (X 1726 г., с II по XII 1727 г. в Белграде, затем снова в Карловцах) русской школы Максима Суворова, воспитанника Московской славяно-латинской академии. Деятельность школ Максима Суворова (1726–1731 гг.) и Эммануила Козачинского (1733–1738 гг.) хорошо известна по обстоятельной монографии П. Кулаковского (Кулаковский, 1903; из новых работ см. Costantini, 1972, p. 187–208) и ряду других источников и потому сейчас нет нужды подробно на ней останавливаться. Важно лишь напомнить об одном факте. Максим Суворов был предварительно оснащен для обучения сербских юношей значительным по тому времени числом грамматик Мелетия Смотрицкого в издании Феодора Поликарпова 1721 г. (70 экз.), букварей «Первое учение отрокомъ» Феофана Прокоповича в издании 1723 г. (400 экз.) и словарей Поликарпова (10 экз.). Сербы не имели в ту пору своей типографии и добивались ее всеми силами. Все же для своих нужд и нужд православных соседей — славян и румын они за период с 1701 г. по 1741 г. издали три книги, вернее, в Рымнике трижды печатали букварь Феофана Прокоповича «Первое учение отрокомъ» (1726, 1727, 1734)⁸. В период же с 1741 г. по 1780 г. было напечатано около 130 книг (Михаиловић, 1964)⁹. Таким образом, в 1741 г. рукописная традиция пре-

⁸ По справедливому замечанию Д. Кириловича, «Букварю» Прокоповича выпало на долю «стать одной из тех книг, при помощи которых старый сербский, сербульский литературный язык преобразился в русско-славянский, т. е. в славяно-сербский литературный язык» (Жириловић, 1956, с. 18).

⁹ Г. Михаилович приводит в своем труде за период 1701–1741 гг. 16 книг, из них одну печатанную латиницей (Ispovid karstianska, 1701), одну по латыни (Privilegia, 1732), три — указанные буквари и 11 книг католических букварей и катехизисов, предназначавшихся для бос-

обладала, а затем она была уже сменена новой практикой — типографским «тиском», печатанием. Нет нужды говорить о значении этого момента. Разнобой в написании одних и тех же слов, одних и тех же морфем оказался некорректным и мало допустимым. Потребовалось упорядочение языка, орфографии, фонетики, морфологии и лексики в пределах одного текста, а затем и в пределах жанра, позже всей системы жанров. Потребовалось то, что на Руси еще в XVII в. называлось «исправлениемъ книжнымъ». И если для жанров с устойчивым и предопределенным составом текстов (разряды 1, 2, 3) для соблюдения определенных норм достаточно было следования «образцовому» тексту, то для создания новых текстов, особенно текстов новых жанров, важно было знание грамматических правил и нормированного лексического фонда. В период второго сорокалетия XVIII в. такой «грамматической» литературе придавалось большое значение. Ее роль в формировании литературного письменного языка и в обучении грамоте осознавалась и ранее, в период деятельности «рачан». Так, известно, что старший из рачан, бывший «общим духовником» при патриархе Арсении III Киприан Рачанинский в 1717 г. переписал «Букварь словенских писмен» (с московского букваря 1701 г.) и внес в один из своих сборников. И все же основное внимание обращалось на литургические и близкие к ним тексты. Русские богослужебные книги начинают проникать в сербские земли с XVI в.; их привозят к сербам и в XVII в., но в XVIII в., в особенности в областях, где опасность унии усиливалась, они уже поступают во множестве, и скоро, как видно из разных сообщений (ревизий, инвентаризаций), они начинают преобладать почти во всех церквях и монастырях. Русское влияние, вернее влияние древнеславянского литературного языка позднего русского типа, начало сказываться еще в первой половине XVIII в., хотя и не повсеместно и не очень интенсивно. Это видно по сочинению Иерофея Рачанинского «Путьшаствие», по текстам, переписанным и компилированным Гавриилом Венцловичем, по деятельности «рачан» и других.

нийцев-католиков и сербов-униатов (10 издано в Венеции и 1 книга — в Риме). Дальнейшие сведения о сербских книгах XVIII в. даются по библиографии Г. Михайловича.

Появление первых русских школ у сербов справедливо считается той датой, когда в церковном обиходе, а в значительной мере и в обиходе гражданском, древнеславянский (церковнославянский) язык сербского образца был заменен древнеславянским языком русского образца. Следует при этом отметить, что в сознании сербов и в их практике XVIII в. этот факт не осознавался как замена одного языка другим, а лишь как принятие другого варианта того же языка, имеющего более широкое распространение и ведущего к объединению со всей остальной культурной сферой *Slaviae Orthodoxae*. То же отношение наблюдалось в других южнославянских православных землях и у восточных славян. Как два языка — церковнославянский сербского и церковнославянский русского образца — позже в XIX в. трактовал их Караджич, и то скорее преследуя полемические цели, признавая при этом русский образец церковным (а не светским) языком сербов и не выступая против такого положения.

Язык деловой и частной переписки у сербов в начале XVIII в.

Была, однако, одна сфера письменной деятельности, которая в начале XVIII в. осталась мало или менее затронута русским влиянием. Это — язык частной и деловой переписки, хозяйственных документов и т. п. Воеводины и Белграда и собственно Сербии в бытность там австрийской администрации (1717–1739 гг.). В качестве образца приводим начало договора архимандрита Исаии Антоновича и Янка Арнецкого о постройке погреба во дворе (3.VIII 1728. Белград):

За болѣ вероватие васакому како я Исаия архимандрит по-
годих са Ианком Арнецким да ми ископа подрум под землю о
свему негову трошку а ми за клофтер да му имамо дати коли-
ко буде по два форинта и сврх тогаа 1 хаков вина, и по одну
чашу ракие т. е. одну ицу свега. И у тои вишеписанои погодби
стои да буде подрум широк 2 калофера и висок 18 шухов. И
тако погодисмо пред сим сведетели и тому сведочимо. поп
Петар Димитриевич, Арсение ђакон (Грађа 1958, с. 38)¹⁰.

¹⁰ Документы передаются современной графикой. Нами возвращено старое написание только в пяти случаях (*je* — *ѣ*, *ja* — *я*, *ju* — *ю*, *j* — *й* и *шт* — *щ*), остальные случаи не всегда ясны и реконструкция ненадежна (к ним относятся написание *ь*, *ѣ*, *ы*, прописной буквы и др.).

Однако и в этом тексте можно найти такие русские славянизмы, как *болѣ вероватие* (народная этимология от *вѣроятіе*, или плохое прочтение текста?), *васакому* (осербленное *всѣякому*), *сведетели*.

Ряд документов, и притом более поздних, уже ярче отражают русско-славянские языковые элементы. К ним относится завещание «обер-капитана» из Осека Станиши Марковича (14. V. 1741. Осек):

Во имя Отца и Сина и Святаго духа Амин. Аз долу именовати видећи себе в тѣшкѣ немощи и болести боящи ся напрасная смерти или языку моему завезание и док сам еще в целом разуму чиним свои тестамент и уредование имения моему, како ће се направити по смерти моеи и одержати и право изыалуем при што сиромаства мога обретае ... (Грађа, 1958, с. 253–254).

Сюда же можно отнести сообщение о кончине митрополита Викентия Йовановича, писанное епископом темишварским Николаем Димитриевичем и епископом себешским Максимом Несторовичем (7. VI. 1737, Белград):

Преосвященѣиши и словесѣиши господин владыко нам господине брате всѣлюбезнѣиши. Свячески ускорихом в. б. со сим поизвестиити да текушчаго месеца юния 6 дне в пятом часѣ утренем их преосвящени господин архиепископ и митрополит здѣ в Белиградѣ како всему во Христѣ брату, тако и обще всем православним християном последнее со благословением целование отдавши, от времени жизни сея к вѣчнеи отшедши. Богу дух предаде. Ему же вѣчная память буди ... (Грађа, 1958, с. 250).

Естественно, что извещение о смерти духовного пастыря, писанное двумя архиереями, насыщено славянизмами. Существенно, что они уже не сербульского, а русского типа. Но любопытно, что даже такое бытовое происшествие, как драка двух диаконов с тасканием «за власы» описана (в виде жалобы) также с употреблением славянизмов:

1734 октомря 5-ти. Тужба Йоаниѣя дякона проти Антония дякона. А прво. 1-во. Летос по отшествии во Белиград когда ся Йаничие от болесног мало воздвигао бист узео му Антоние линию (линейку — *Н. Т.*). И он искао. Не получивших же улезао кроз пенцер у собу да узме линию. Он же его бил, и за косе по соби вукао ... (Грађа, 1958, с. 248).

При достаточно внимательном исследовании текстов частной и деловой переписки, добрая часть которых связана с

сербской митрополичьей канцелярией, можно заметить все же, что язык писем 20-х годов отличается от языка 30-х и 40-х годов. Еще Б. О. Унбегаун, процитировав отрывок из письма 1721 г., посланного карловацким митрополитом Викентием Поповичем белградскому митрополиту Моисею Петровичу, писал, что язык этого письма — «причудливая амальгама, очень далекая от разговорного сербского языка» (Unbegaun, 1935, p. 26). Приводим часть этого отрывка:

... есмо разумели, ... да се кое некторе главне и нами и свему клеру и народу нашему потребне пунктове како пишете намь ваше преосвещенство славна администрація белиградска преюдицировати и противи се интендируе сада, и да тако чрезь горнихь врховнихь ищанція наветствують и говореть ви, нища манше него ако би то тако истином се чинило, да знате ваше преосвещенство, да то бива преко и перь експресе супротивно общенароднимь нашимь привилегіамь ... (Ср. Карловци, 1721).

Нетрудно заметить в письме владыки Викентия обилие многочисленных латинизмов и германизмов, которые позже были оттеснены на второй план или вытеснены славянизмами, что сделало приватно-деловой язык более монолитным, хотя и во многих случаях по-прежнему достаточно далеким от народно-разговорного. Наконец, последний пример свидетельствует о нестабильности принципов (чтобы не употреблять слова «норм», так как нормы не успевали складываться) в первой половине XVIII в.

Мы остановились подробнее на рассмотрении языка частной и частно-деловой переписки потому, что оно важно по ряду причин. Тексты корреспонденций и хозяйственных документов, естественно, нельзя считать литературными памятниками или памятниками литературного языка своего времени. Однако также нельзя отрицать, что в ряде случаев они могут быть источниками для истории литературного языка, особенно при рассмотрении его функциональных аспектов, при определении того, какой тип литературного языка (при наличии ряда «подъязыков», или языков) доминировал, был популярен или авторитетен и какие формы (фонетические, грамматические, лексические и стилистические) литературного языка были более устойчивыми, прочно воспринятыми и т. п. На Руси в развитии литературного языка в XVII в. и отчасти в XVIII в. большую роль играл достаточно четко нормированный и почти лишенный ярких локальных особенностей государственно-канцелярский, де-

ловой «приказной» язык. Поскольку он обладал своей нормой, он противопоставлялся языку с древнеславянской (церковнославянской) нормой и входил в определенную систему отношений с народно-разговорным койне и диалектами, а также с фольклорным языком (Толстой, 1962, с. 8; Толстой, 1963б, с. 45–46). В Сербии, Болгарии и в некоторых других странах греко-славянского мира в XVII—XVIII вв. он почти отсутствовал, так как языком государственных канцелярий был латинский, немецкий, турецкий. Его отсутствие сказалося на условиях и результатах перехода от древнего языково-литературного состояния к новому, на процессе формирования национального литературного языка. У черногорцев, правда, в течение всего XVIII в. продолжала действовать папштровская деловая канцелярия, но она носила столь локальный характер, что не могла повлиять серьезно на литературно-языковое положение во всех сербских землях и тем более в Воеводине (и в Венгрии), куда в XVIII в. сместился центр сербской культурной жизни.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК С 1740 г. ПО 1760 г.

Сорокалетний период с 1740 г. по 1780 г. справедливо принято считать порой почти полного господства «славяно-сербского» литературного языка на русской основе. Под русской основой, однако, следует понимать не просто русский язык, а древнеславянский язык позднего русского типа, русский «высокий» литературный слог XVIII в. и русский историографический слог той же поры. Не считая некоторых непосредственных сербских перепечаток русских книг того времени и написания или публикации книг в России, в русской среде, предназначавшихся прежде всего для русского читателя (В. Петрович, позже С. Пипчевич и др.), следует сказать, что этот славяно-сербский, точнее русско-славяно-сербский, язык не был однородным в течение своего господства и функционирования в сербской литературе. Эта неоднородность была вызвана двумя моментами: уже отмеченным разнообразием русского литературного языка XVIII в., точнее той его части, на которую бытующий в сербской среде язык («подъязык») равнялся, и различной «дозой» сербского элемента — отчасти народного, отчасти унаследованного от предшествующих эпох от древнеславянского языка сербского типа, от сербульского слога. Сербиз-

мы в эту эпоху более всего обнаруживались в лексике, затем в акцентной системе, отчасти в морфологии. Для рассматриваемого периода была очень существенна и перестройка структуры литературных разрядов (сегментов, жанров), перемена их иерархии, «секуляризация» некоторых жанров, появление новых жанров в связи с новыми литературными направлениями. Правда, в сербской литературе XVIII в. эта перестройка происходила не сразу, и результаты ее могли быть отмечены лишь начиная с 1760 г., т. е. с 70-х годов. Это дает нам право второе сорокалетие разделить на два подпериода — до 1760 г. и от 1760 г. до 1780 г. В первый, как и во второй, период господствовал славяно-сербский язык на русской основе¹¹. Это видно из текстов сербских печатных книг, которые, в отличие от предшествующих эпох, издавались чаще всего в Вене, затем в Сремских Карловцах (единичные случаи в Румынии — в Рымнике и Блаже, и в Венеции). Количество выпущенных за этот период книг еще незначительно: их всего тринадцать, не считая печатанных на латыни (5 книг) и повторных сербских изданий (3 издания «Стематографии» 1741 и после 1741 г.). В это число, однако, входят перепечатки шести русских книг без языковой редакции, т. е. без изменений. Сам состав этих русских книг показателен для истории литературного языка у сербов гораздо больше, чем для истории их литературы. Это: 1. «Букварь», напечатанный Х. Жефаровичем (Вена 1742–1744?), 2. «Грамматика» Мелетия Смотрицкого, изданная «настояніемъ, прилѣжаніемъ и иждивеніемъ Павла Ненадовича» (Рымник, 1755), 3. «Первое ученіе отрокомъ...» Феофана Прокоповича (но только катехизис без букваря под заглавием «Краткое толкованіе законнаго десатословіа...», напечатанный Д. Феодосием — Венеция, 1759), 4. «Поучение стлское (святительское. — Н. Т.)» — перепечатка с русской книги, изданной в 1696 г. в Москве, выполненная Х. Жефаровичем (Вена, 1742), 5. «Орѣодѣос' омологіа сирѣчь Правослѣвное исповѣданіе...» — перепечатка книги Петра Могилы (по Г. Михайловичу), выполненная З. Орфелиным (Ср. Карловци, 1758; 2-е изд. — 1763),

¹¹ Этот язык современники называли по-разному: «славѣнскій» (еписк. Партений Павлович и митроп. Павел Ненадович, 1760), «славено-сербскій» (Христофор Жефарович, 1741), «іллуріческо-славѣно-сѣрбскій» (Константин Филиппиди, 1773) и т. п. в отличие от «просто-сербского» (Стефан Раич, 1793) (см. подробнее Толстой, 1996 — *Ред.*).

6. «Мъсадословъ» (Вена, 1743–1744), который был, вероятно, перепечатан Жефаровичем с русского, но установить это трудно, так как все экземпляры утеряны и не описаны. Как видно из заглавий книг, в основном это литература пропедевтическо-педагогическая, как в области филологии (языка), так и в сфере теологии. Остальные книги, более оригинального характера, печатанные на славяно-сербском языке, носят или светский, или не строго конфессиональный характер. Их всего пять и они могут быть рассмотрены каждая в отдельности.

Деятельность Христофора Жефаровича и Симеона Симоновича

Список книг, выпшедших в интересующее нас двадцатилетие, открывается знаменитым трудом «Изображеніе оружія Иллуріческихъ...» (Вена, 1741), известным под названием «Стематографія» «иллуріко-рассіанскаго общаго зѡграфа» болгарина родом Христофора Жефаровича. Его появление довольно ярко знаменует новый этап в развитии сербской литературы и литературного языка не только потому, что он оказывается первой сербской печатной книгой чисто светского содержания. «Стематографія», продолжая прерванную в XVII в. традицию сербского книгопечатания, впервые в сербской локальной зоне мира Slavia Orthodoxa демонстрирует прямую связь с миром Slavia Latina. Жефарович отмечает в своей книге, и это подтверждается фактами, что «Изображеніе...» написано «Павломъ Ріттеромъ в' діалектѣ Латінскомъ» и им самим «издано на свѣтъ и по егò (Жефаровича. — Н. Т.) уражденію на Славено-Сербскій ъзыкъ преведенное». Таким образом, в данном случае перевод сделан не с русского, «славяно-российского» или церковнославянского, который часто оказывался обычной перепечаткой, а с латинского, что обеспечило переход текста из латинославянской культурной сферы в сферу греко-славянскую. Впоследствии эти случаи в славяно-сербской литературе повторялись (ср. «перевод» Стефаном Раичем на «просто-сербскій ъзыкъ» сочинения М. А. Рельковича «Сатвръ или дивій човекъ», 1793). Идеи славянской взаимности и единства получили в мире Slavia Latina в борьбе с турецкой, а отчасти и с венецианской экспансией свое яркое выражение в XVI—XVII вв. в Польше в литературно-политическом течении «сарматов», а в Далмации и Хорватии — «иллиров».

Этот литературный барочный «панславизм», уже в новом, но подходящем для него славяно-сербском облики, продолжал свое развитие в сербской среде, не теряя своей прежней сущности, но обращая свое оборонительное «иллирическое оружие» не только и не столько против турок, сколько против германизации, унии и габсбургских притеснений и притязаний. От сочинений Винко Прибоевича, Ивана Гундулича, Мавро Орбини и Павла Ритера Витезовича идет прямая идейная, а для произведений двух последних авторов и текстовая связь с историческими сочинениями славяно-сербской литературы XVIII в., о чем ниже будет речь. Важно, что «Стематографія» Жефаровича в сербской среде дала этому начало, а «Троношская летопись» (рукопись середины XVIII в., возникшая, видимо, в Карловацком митрополичьем окружении), установила связь всего жанра не только с сербской средневековой летописной и родословной традицией, но и с традицией народно-эпической. Так возник по сути дела новый «исторический» жанр в славяно-сербской литературе, переживший стилевую и языковую эволюцию и закрепившийся рядом значительных произведений.

Для переводов Х. Жефаровича и для стихов сотрудничавшего с ним Павла Ненадовича характерен силлабический тринадцатисложный виршевой стих:

Дво́е гла́вни^м орле́мъ зла́тимъ Мо́сква украше́нна.

К' На́роду к' супоста́т^ω Око́мъ приложе́нна.

На́родъ де́ржитъ пра́вильн^ω, мече́мъ супоста́ти,

побѣждае^т ѿ страха вра́гъ несме́еть ста́ти.

(«Стематографія». На герб Москвы, л. 28 об.)

или:

усердіе ели́ко Тебѣ́ обѣщае́тъ

Христо́форе почте́нне! Книга ѿкрива́еъ

Иже то́кмо руко́ю сію раз'гиба́еъ

Сице Вѣща́еъ

(П. Ненадович, «шкóль ино́гда Карловачки^х Козачински^х ученик^ь». — Там же, панегирик Жефаровичу).

Следующая книга из упомянутого списка — «Описаніе стаго Бѣіа Града Іерусалима» архимандрита Симеона Симоновича (Вена, 1748) продолжает в славяно-сербской литературе жанр хождений (хотя в ней отсутствует момент путешествия). Она демонстрирует уже довольно чистый поздний древнеславянский язык русского типа, сильно отличающийся от языка Иерофея Рачанинского:

...И къ востóку ꙗ́ко верже́нiе ка́мене ѿ пала́тах двѣдыхъ е́сть вели́кій, и преславный хра́мъ ста́го грóба г^сдна прекра́сный, и круговидный, имѣ́й тру́лли три во обра^з стѣа тр^сцы, и зво́ницу краснѣйшу и високу ... (с. 9).

Тексты Жефаровича и Симоновича обнаруживают сознательное употребление четко нормализованного языка, далекого от народной основы и лишенного связи с сербульской традицией.

Опыты нормализации делового церковного и гражданского языка в середине XVIII в.

Нормализаторские цели не только в сфере графики (печатной и рукописной), но и в области стиля и просто литературного языка преследовала «Калиграфия» Захария Орфелина (Карловац, 1759), выполненная в духе барочной манеры середины XVIII в. По сути дела эта книга была кратким письмовником, дающим образцы почерков и текстов. К одному из таких относится отрывок текста о некоем Канторе:

Во Фрiсландiи в' Мѣстѣ Грѣнингу живяше нѣкій Мужъ и́менемъ Iо́аннъ Кáнторъ, иже родилъ единаго Сына, который та́кой разумъ имѣлъ, да онъ удобъ нѣчто в' умъ принять, разумѣти, и в' Ползу свою употрѣбити мѡжаше...» (л. 4).

Язык этого прозаического отрывка довольно строго нормирован, так же как и язык заключительного стихотворения — вирш, начало которых приводим:

к' Гаждателю:

Кто болшѣ знаше той можетъ Грѣшки исправити,
аще токмо ѿ Любви хочеть сотворити.

В' злѡбѣжъ тебе сущаго к' сему азъ не ищу
ниже завистлива тя ко исправку взычу

(л. 1а)

В славяно-русскую ткань языка умело введены сербизмы *грѣшки* 'ошибки', *исправка* 'исправление' и т. п., но число их невелико. Еще меньше их в послании-инструкции митрополита Павла Ненадовича «Краткое ѿ Бгѡподобяющемъ тѣлу и крови хр^стовой поклонѣнiи и врѣмени тогѡ наставленiе...» (Карловци, 1758), изданной Орфелиным. Наставление это написано тем же книжным языком, но отличается своеобразным приподнятым церковно-административным слогом:

Иакоже звáнiа нáшегѡ, и при Митрополiи сѣй б̄говрученнаго на^м кормителства и Правленiа главное дѣло быти знаемъ и признаемъ, еже б̄говѡвѣренны намъ Овцы и Пажитъ д̄ховную изводити, и иако Словесныя и душу разумную имущыя путе- водити, какѡ бы Творца своегѡ б̄негоже и бытiе и житiе свое имуть, подобающе славили и почитали, и такѡ себѣ земная и небесная, временная и вѣчная б̄лга снискавали ... (с. 4).

Число сербизмов в тексте Наставления (объемом 15 с.) очень незначительно (*звонцемъ* 'звонком' *пнраворцемъ* 'монастырским крестьянам', *да наложитя* 'обязать' и др.), и они встречаются, как правило, в тех случаях, когда им в позднем «словенском книжном обоюдном языке» нет соответствия, нет эквивалента. Церковно-административному языку в Воеводине и вообще в «Австрийских пределах» был противопоставлен, но не очень сильно от него отличался язык светско-административный, вернее, государственно-административный, язык декретов высшей «цесарской» власти, в отличие от иного, более повседневного, судебно-административного и ему подобного языка.

Пятым и шестым славяно-сербскими изданиями в рассматриваемое двадцатилетие, не имевшими отношения к русской книжной продукции и традиции, были «Привилегий диплома покровителна...» Леопольда I, в переводе с латинского Павла Ненадовича младшего (Вена, 1745) и «Регуламентъ с̄рбскомъ войничкомъ», напечатанный Димитрием Пандовичем «типографом» (Блаж, 1748). В то время как перевод Павла Ненадовича младшего выполнен в цветистом и правильном «словенском» слого, как и подобало для столичного издания, провинциальный «Регуламентъ» еще носит в орфографии следы сербульского периода, и язык его, ослабленный в значительно меньшей степени, чем язык «Привилегий», сохраняет сербскую народно-языковую основу.

Приводим начало-обращение из «Привилегий» и первые положения из «Регуламента»:

Ўщенный клѣре и славный народѣ! Всеблаженнѣйшій, пре-
осщеннѣйшій, б̄голюбивїи, всеч̄стныи, преподобныи б̄лгоговѣн-
нѣйшїи высѡкѡ-и-б̄лгѡ-родныи б̄лго-племянитѡ-родныи, б̄лгѡ
пѡчтенныи, всї вс̄кагѡ чїна, сана, степенѣ, ч̄сти, достоинства,
и имене въ славномъ народѣ с̄рбскомъ ...¹² («Привилегии...», с. 1);

¹² Любопытно, что в пространном заглавии «Привилегий», занимающем, как часто было в XVIII в., всю титульную страницу, значится: «слав-

Перво. у ѿвому нагледѣ ва́ше буду́ће дужно́сти наивіше са-стоисе тако́һерь На́ша Млѣтвѣиша во́ла имиса́ль естѣ да би упѣть Регимѣнти Разделѣни Славо́ниски наро́дни кра́ишни Вои́ници на свѣхъ мѣстахъ и кра́ю кúда то На́ша наивіша слúж-ба изаповѣсть Собо́мъ носіла бúде ... («Регуламентъ», л. 2б).

Что касается влияния латинского и немецкого синтаксиса, то он достаточно ярко обнаруживается в обоих текстах и вообще во многих деловых (канцелярских) документах.

Устная сфера функционирования литературного языка.

Язык проповедей и драмы

С середины XVIII в., как отмечалось выше, печатные книги уже довольно полно и четко отражают языковую ситуацию того времени, хотя число этих книг еще невелико. И все же наши представления были бы обедненными и несколько односторонними, если бы мы не учитывали и отдельные, пусть даже единичные, рукописные тексты и устную сферу, устное употребление языка. Последний вопрос, вопрос устного языкового функционирования, очень важен для оценки роли «славено-сербского» языка в сербском литературно-языковом процессе XVIII в. и начала XIX в.

В наше время можно с уверенностью сказать, что с первого десятилетия своего утверждения в сербских землях под австрийским имперским управлением, «славено-сербский» язык употреблялся и в устной форме. Эта устная форма не относилась, видимо, к разговорному языку, а была скорее устной формой текстов славяно-сербской литературы, которые могли быть зафиксированы письменно, а могли и не фиксироваться таким образом. Речь идет о двух важных и новых для сербской литературы жанрах — проповеди и драме. Оба жанра имели ярко барочный характер и оба возникли под так называемым «русским» влиянием.

О характере проповедей того времени можно догадываться по сочинениям Иоаникия Галятовского, Лазаря Барановича, Стефана Яворского и Феофана Прокоповича. Вместе с другими филологическими науками и художествами в сербские земли была привнесена риторика, значение которой,

ному народу Илльѣрико-Рассіанскому» (от древней сербской столицы *Рас* и страны *Рашка*). Так дано в изданиях Дворцовой канцелярии и Венгерской дворцовой канцелярии, а в издании Дворцовой военной канцелярии только — «Иллѣрическому».

как и в России (см. Вомперский, 1970), хорошо сознавалось. Приехавший к сербам в 1733 Эммануил Козачинский был ректором всех школ Белградско-Карловацкой митрополии, учителем риторики и проповедником карловацкого митрополичьего собора. Его предшественником был, как известно, Максим Суворов. Несколькими годами позже русский учитель иеромонах Петр Михайлов был проповедником в белградском митрополичьем соборе. Совершенно очевидно, что русские деятели сербского просвещения начала второй трети XVIII в. проповедовали по-«словенски», хотя есть основания предполагать, что «словенский» русского типа был в их устах немного осерблен¹³. Сремские Карловцы и Белград были в ту пору центрами сербского образования, просвещения, духовной культуры. Печ была далеко, и годы Печской патриархии были уже почти сочтены (она была упразднена в 1766 г.). Ближе и в культурном, и в географическом отношении были Комаром и Дьер на средне-верхнем Дунае, на границе сербского рассеяния (диаспоры) в Венгрии, где на языке очень близком к народно-разговорному проповедовал Гаврило Венцлович. Его опытам создания сербской литературной речи на народной основе суждено было укрепиться и победить лишь век спустя, во времена Вука, а до той поры представления об авторитетности «словенского» языка, зависимые от принятия и признания литературно-разговорной диглоссии, а несколько позже — от стремления установить определенную систему жанров и связанную с ней систему «штилей» (языков), препятствовали введению народного языка не только во всю сербскую литературу, но в некоторые периоды и в отдельные ее части. Сербский народный язык временно был оттеснен на периферию литературы и на периферию диаспоры, как это случилось с проповедями

¹³ На эту мысль наводят отдельные факты употребления «сербизмов» (сербизмов — по отношению к русскому типу позднего древнеславянского языка) в некоторых, правда, не проповеднических текстах. Петр Михайлов, «школы бѣлградскія магистеръ и слова Божія проповѣдникъ», в своем письме Василию Димитриевичу, епископу Будимскому (гор. Буды), писанном 14.VI.1738 г. на русско-славянском языке, употребляет такие выражения и слова, как *немира ватра*, *стояти не имам зачим*, *Турци поробили и поарали* (Графа, 1958, с. 251). В письмах и донесениях в Синод М. Суворова встречаются такие слова, как *кров* 'крыша' (что может быть и славянизмом), *чувати* 'стеречь', *снабдѣвались* 'снабжались' (впрочем, последнее слово могло и не быть сербизмом, его следует поискать в русском деловом языке начала XVIII в. См. Кулаковский, 1903, с. 101, 119).

Венцловича или с текстом «Регуламента», изданного Пандовичем. В России того времени, да и несколько позже, народный язык не получил литературных прав вообще, несмотря на отдельные попытки писать «подлым» языком (в XVIII в. В. К. Третьяковский и др., в XIX в. В. И. Даль и др.).

Язык драмы¹⁴ был в рассматриваемый период во всех случаях славяно-сербским¹⁵, т. е. таким, как и проповеди М. Суворова и Э. Козачинского. Драмы разучивались школярами и исполнялись в школе под руководством учителей, и потому этот вид театрального представления назывался «школьной драмой». Эта драма была хорошо известна в XVII в. в Польше, затем в Юго-Западной Руси и на Руси Московской; позже ее сохранила петровская и послепетровская Россия. Киево-Могилянская Академия, воспитанником которой был Э. Козачинский, пестовала этот вид барочного искусства. Естественно, что Э. Козачинский постарался его перенести к сербам и с этой целью написал в 1736 г. «Трагедокомедию», названную позже его учеником Иоанном Райчем «Трагедія сирѣчь печальная повѣсть о смерти послѣдняго царя сербскаго Уроша пятаго и о паденіи сербскаго царства». Э. Козачинский выбрал исторический сюжет и притом из сербской истории, что характерно для общей историческо-барочной тематики сербской литературы XVIII в. Соответственно цветистым, возвышенным, «книжно-славенским» был, вероятно, и язык драмы. Приходится употребить слово «вероятно» потому, что текст Козачинского до нас не дошел: был лишь список Саввы Райковича (1780 г.), а позже, в 1795 г., трагедия «пречищена и исправлена» И. Ра-

¹⁴ Исследование сербской исторической драмы дано в обстоятельной монографии: Ерчић, 1974.

¹⁵ Термин «славено-сербский язык» возник в XVIII в. по образцу термина «славено-российский» язык (позже был известен и «славено-болгарский») и означал, видимо, чаще всего книжный, обычно смешанный язык, противопоставленный языку простому, не книжному, который, однако, допускался отдельными писателями. К концу XVIII в. и в начале XIX в. этот термин во многом десемантизовался и мог означать, как у Вука (см. его «Пъсмарицу» 1814 г.), сербский язык вообще. Некоторые сербские лингвисты (в последнее время А. Младенович и др.) этот термин стали употреблять для определения языка конца XVIII в. смешанного, «среднего» типа (см. Толстой, 1978а, с. 309; наст. изд., с. 326). Нами он употребляется в обоих значениях и случаях. Но в первом случае, когда сохраняется термин XVIII в., обычно нами добавляется конкретизация, например, «славено-сербский» («славеносербский») язык на русской основе.

ичем (см. Толстой, 1978а, с. 303; наст. изд., с. 320). Русско-славянская основа и плоть этого языка не подлежат сомнению, но были, надо полагать, и некоторые сербизмы, к которым можно причислить и характер ударения. Такие «славенские» слова, как *глава*, *врата*, имели чаще всего ударение на первом слоге *гла́ва*, *вра́та* (как в сербском народном языке: *гла́ва*, *вра́та*), а не на конечном, как в русском «славянском» стиле XVIII в.

Об этом могут свидетельствовать стихотворные тексты типа:

Подъ милостивѣйшую римскую державу
Ей же и днѣсь смиренно приклоняемъ главу.

(Э. Козачинский. Из «Пролога» к «Трагедокомедии»)

Ка́кω Коè Црѣтво бѣ, Коєа̀ природы
Какі́мъ щі́томъ ору́жно, Ка́цы Егò плòди

(Х. Жефаровичъ. Стематогрaфия, л. 12)

Возможно, что именно ударение и произношение были одними из важных черт, отличающих сербский тип позднего древнеславянского языка от типа русского и сербский вариант «высокого штиля» русского литературного языка XVIII в. от русского оригинала. Следовало бы с этой точки зрения исследовать все акцентуированные и стихотворные тексты славяно-сербской литературы.

На несоответствие звуковой формы слова и его графического «славено-сербского» (русско-славянского) облика в узусе сербов того времени указывал Орфелин в своем букваре «Пѣрвое учѣніе хота́щимъ учі́тиса кни́гъ пі́смены Славѣ́нскими называ́емое Буква́рь... Венеция, 1767). Он отмечал, что вместо *во имя* (как написано *во има*) произносят *ва име* или *у име*, вместо *хвала*, *хваляю тя*, *Христосъ* — *вала*, *валю те*, *Ристос*, вместо *лѣпота*, *лѣпный*, *лѣпъ* — *лепота*, *леп* (имеется в виду, вероятно, отсутствие смягчения перед ятем) и др. (см. Успенский, 1968, с. 29–35)¹⁶.

Йован Скерлич считал, что в XVIII в. со временем «славено-сербский» язык стал разговорным языком высших сословий. Он писал, что «славено-сербский язык перешел не

¹⁶ В сентябре 1975 г. я наблюдал подобное явление в фрушкогорском монастыре Крушедоле. Вместо «и нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ» произносилось на вечерне «И нѣне и ѱвек и ва вѣки вѣковъ». Подобные отклонения неканоничны и «диалектны». К тому же они касаются лексической стороны языка.

только в литературу, но из церкви, школ и книг он стал переходить и в народ, и к интеллигентным людям; особенно учащиеся и те, кто получил образование, стали употреблять его как живую речь... В Сомборе, например, в пору, когда Вук Караджич начал борьбу за народный язык, за речь “подлейших людей”, русско-славянский был так распространен среди тамошних сербских горожан, что и женщины “славяновствовали”» (Скерлић, 1923, с. 152).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК У СЕРБОВ С 1760 г. ПО 1780 г.

Вторая половина второго сорокалетия, т. е. годы 1760–1780, отличались резким подъемом печатной продукции у сербов, укреплением позиций славяно-сербского языка с ярко русской окраской, во многих случаях лишь в малом ряде черт отличающегося от русского языка определенных текстов XVIII в., расширением жанрового репертуара сербской литературы, увеличением числа оригинальных сочинений, резким усилением светской струи в переводных и переводно-компилятивных произведениях. В это двадцатилетие соотношение печатной и рукописной продукции резко изменилось в пользу первой, которая стала абсолютно преобладать, и с этой поры, как и в России, сербская рукописная традиция начала сходить на нет, а в XIX в. вовсе прекратилась практика копирования списков. Едва ли не последним крупным рукописным произведением была Трношская летопись. Почти вся сербская книгоиздательская деятельность в эти два десятилетия была связана с двумя типографиями — с венецианской Димитрия Феодосия (с 1758 г.) и с венской Иосифа Курцбека. С появлением (в 1770 г.) типографии Курцбека печатание сербских книг в Венеции испытало резкий спад, а затем и вовсе прекратилось. Несколько книг и карт было напечатано в Сремских Карловцах.

Если за период 1740–1760 гг. вышло в свет, как отмечалось выше, 13 книг, то в период 1760–1780 гг. их было напечатано более ста¹⁷.

Из этого числа около сорока книг — еще церковного, конфессионального характера. Но и эти сорок книг по своему содержанию отражают веяния семидесятых и восьмидеся-

¹⁷ В библиографии Г. Михайловича приводится 112 номеров, но под отдельным номером идут и вторые издания, и книги, вышедшие на латыни (6 книг).

тых годов просвещенного века. В их числе помимо евангелия (1764), псалтыри (1761, 1764, 1770, 1771, 1779), октоиха (1764), требника (1761), часослова (1766, 1777), месяцеслова (1765, 1771, 1778), утренних и вечерних молитв (1771), пасхальных служб (1772) и тому подобных текстов на древнеславянском (церковнославянском) языке позднего русского извода были изданы такие книги, как «Православное исповѣданіе вѣры» («Орѣодозос' омологіа — 2-е изд. 1763), «Краткаа сказаніа» (1767) и «Диалогіонъ» (1775) Феофана Прокоповича, синодальный «Катихизисъ малый» (1776) и «Проповѣдь или слово ѿ ѿсужденіи» и «Слово о грѣшномъ человѣку» Гедеона Крыновского (1764)¹⁸.

Особо следует выделить изданные в Рымнике (1761) и переизданные в Венеции (1765) «Правила молебнаа Стыхъ сербскихъ Просвѣтителей», известные под названием *Србљак*, содержащие службы сербским святым. Не только предисловие, писанное издателем Синесием Живановичем, епископом Арадским, но и сам текст, источником которого была рукопись (1714) монаха Максима из Раковицы, отражает позднюю церковно-русско-славянскую языковую норму. Аналогичны в языковом отношении и «Канѡны прѣпѣбныхъ и бѣгосныхъ оцѣ Нашихъ Сумео̀на и стѣтела Саввы сербскихъ» (1776), отредактированные хиландарским иеромонахом Феодосием. «Канѡны» заключаются характерным для средневековой традиции послесловием, отмечающим произведенную замену редакции: «Любѣзно же молю и колѣнъ касаяюса всѣхъ прочитающихъ, или преписующихъ сѣа тетрадѣйцы, ѿ погрѣшеніи, аще нѣгде ѡбращетса исправляйте и прощѣнію насъ сподобляйте: понѣже имѣхъ изводъ не токмо в' сложѣніи, но и в' рѣчи сѣдо дрѣвней и сегѡ ради великѣ трудъ имѣхъ, исправляа погрѣшности егѡ». Совершенно оче-

¹⁸ На титульном листе «Проповѣди» Гедеона Крыновского было напечатано: «изъ Руссїйскаго на Славено-Сербскїй азыкъ преведенное въ Новомъ Садѣ» (вероятно, Захарием Орфелиным), а после заглавия «Слова» Крыновского значится: «изъ Московскаго на Славено-Сербскїй азыкъ преведенное ѿ І. Р. (Иоанном Раичем. — Н. Т.) въ Карловцѣ Сурмїискомъ». Нужно заметить, однако, что в те времена в понятие «перевод» входило и простое редактирование текста, замена отдельных слов, форм и выражений другими, а не только транспонирование текста с одного языка на другой. Характерно к тому же, что такому переводу были подвергнуты лишь проповеди, в которые, при учете их функциональной стороны, допускалось введение народных языковых элементов.

видно, что обе эти книги служили не только и не столько богослужебным целям, сколько целям укрепления национального самосознания. Они напоминали, так же как и Трношская летопись, «российский» перевод книги Мавро Орбини «Книга историография» (1722) и другие книги исторического содержания, в трудных условиях турецкого владычества и австрийско-венгерского господства о славном прошлом, о эпохе сербской государственности, о духовной и политической независимости сербского народа. «Каноны св. Симеона и св. Саввы» готовились к изданию Феодосием Хиландарцем приблизительно в то же время, когда в той же «ставропигиальной чудотворной славено-сербской Лаврь», после поездки в Сремские Карловцы (1761 г.), один из первых и крупных деятелей болгарского возрождения отец Паисий Хилендарский писал свою «Исторію Славеноболгарскую» (завершенную в Зографском монастыре в 1762 г.).

Приток русских книг конфессионального и неконфессионального характера за этот период не ослабевал, а усиливался. Насколько значителен был авторитет русской книги, показывает хотя бы такой факт, как издание в Венеции (в типографии Феодосия) «Апоѳегматы то есть краткихъ витѣватыхъ и нравоучительныхъ рѣчей...» с указанием внизу титульного листа «В Санктпетербургѣ 1765 года». В Петербурге, действительно, с 1711 г. по 1781 г. было девять изданий (в Москве только одно издание — 1716 г.) этой переведенной с польского популярной книги. Издание 1765 г. с пометой «переведены съ польскаго на Славенскій азыкъ» было, однако, не петербургским, а венецианским, хотя текст и язык текста соответствовал русским изданиям¹⁹. Сербы охотно принимали этот фальсификат, но с большой осторожностью относились к униатским «подделкам» и на этом основании с подозрением отвергали букварь, изданный в Вене И. Курцбеком в 1774 г. («Началное учѣніе челоувѣкомъ хотащымъ учѣтиса славенскому чтѣнію»), где помимо букваря Феофана Прокоповича, молитв и стихов из Катехизиса митрополита Платона (Левшина) внесен немецкий бук-

¹⁹ Подобный случай был с другим изданием того же Димитрия Феодосия — «Послѣдованіе молебна за болащаго» (Венеция, 1763). Место издания на первом листе не значилось, а в самом конце брошюры на 12 л. указывалось: «Печатано въ црѣтвующемъ Градѣ Москвѣ аѣѣ г. Находится (т. е. имеется в продаже. — Н. Т.) въ Типографіи Грекоправославной код' Димитріа Феодосіа».

варь, в то время как изданный в Вене тем же И. Курцбеком в 1770 г. «Букварь или начальное учение хотащымъ учитиса книгъ писменнѣ славѣно-сербскими», по сути дела точное и дословное переиздание русского букваря Киево-Печерской Лавры²⁰, пользовался у сербов доверием²¹.

Учебные книги и гражданские постановления, их виды и язык

Начально-грамматическая, учебная литература занимала значительную часть всех изданных сербских книг за упомянутый период. Их было пятнадцать, а это значит, что на каждые три книги конфессионального содержания приходился один букварь или начальный учебник. Помимо названных букварей издавались латинские буквари. Такими были «Латинскій букварь» Орфелина, печатанный в два столбца с латинским и русско-церковнославянским («славено-сербским») текстом (1766), «Первые начатки латинского языка» Орфелина, в которых объединялась Ренцевская грамматика — Донат и словарь-лексикон Целлария «въ пользу и употребление Сербской юности на Славяно-Сербскій языкъ» переведенные. Учебники немецкой грамматики также были написаны на русско-славянском, т. е. на «славено-сербскомъ языкѣ» («Нѣмецкая грамматика» Стефана Вуяновского 1772 и «Начало Ученіа ... писмены нѣмецкими» Саввы Лазаревича, 1774 г.). Параллельный немецко-«славеносербский» текст был применен и в особом руководстве для учителей по письму, чтению, арифметике, немецкому языку, прилежанию и т. п., названном «Ручная книга потребнаа магистромъ Іллуріческихъ Неуніатскихъ малыхъ школъ ...» (1776). Перевод этой книги И. И. Фелбигера на «славянскій» и редактирование текста были выполнены Теодором Янковичем де Мириево²². Таким образом, и при пре-

²⁰ Киево-печерский букварь 1751 г. имел такое же заглавие, лишь вместо слова «славѣно-сербскими» значилось «славенскими».

²¹О букваре, изданном И. Курцбеком в 1774 г., Г. Михайлович пишет: «Сербы не хотели покупать этот букварь, а требовали киевское издание, которое Курцбек перепечатал в 1770 г. (Михайлович, 1964, с. 121). С издания киевского букваря и началась деятельность Курцбековой типографии. Учтя популярность Киевского букваря 1751 г., Д. Феодосий не замедлил переиздать его в 1775 г.

²²Этому известному деятелю просвещения, занимавшему при Екатерине II в России высокий пост и деятельно организовывавшему народные

подавании латинского и немецкого языка вводился и использовался «славеносербский», что делало его своего рода живым интеллигентским языком, языком обучения во всяком случае.

Особый интерес представляет букварь Захария Орфелина «Первое учение хотащымъ учйтиса книгъ писмены Славенскими...» (1767). Несмотря на его компилятивность, выразившуюся в следовании немецким и иным источникам, а иногда и в их прямом использовании и копировании, букварь надо признать очень интересным и по замыслу, и по исполнению, и по строго нормированному языку, и по ряду высказываний, содержащихся в «Предъувѣдомленіи», о которых речь уже была выше. Существенно и введение в букварь элементов точных наук — арифметики, астрономии, географии и, наконец, истории. Помимо книг переходного церковно-светского содержания, какими были месяцесловы (изд. 1765 — перепечатка с московского оригинала, 1771, 1776, 1778 — два издания), печатались календари (1766, 1767), сопровождаемые светскими материалами, наконец, книги чисто мирского содержания. Часть из них была переводная, часть — оригинальная.

Для понимания языковой ситуации в 70-х и 80-х годах XVIII в. надо учитывать, что и официальные венские гражданские и юридические постановления — законы, рескрипты, правила издавались на славяно-сербском языке русско-славянского образца²³. Известно несколько печатных текстов довольно разнообразного содержания и предназначения: законы («Преданія» или «Регуламенты»), школьный устав, установление о таксах за церковные требы.

Приводим образцы этого языка:

Мы Маріа Оерезіа бжїею млѣтію римскаа кесарица, вдова²⁴.
(л. 1а). Между многими иными, по изисканью Намъ ѿ Бга дарованнаа Власти, и мѣющымиса старанїями незабываемъ такожде и ѿ произведенїи блгополучїа, во веденїи же добріа наредбы. Нашего вѣрнаго Іллѳріческаго Народа, матерное имѣти попеченїе ...

(начало закона, л. 2а. Вена, 1771; текст параллельный латинский и славяно-сербский).

школы, принадлежит также «Азбучнаа дщица» (Вена, 1776–1777) — лист с изображением славянских уставных кириллических букв.

²³ Первым их переводчиком на «славеносербский» язык был Павел Недадович младший, карловацкий митрополичий секретарь и поэт.

Мы Маріа Өерезіа ... [и т. д.] На всакомъ мѣстѣ провинціалнаго прѣдѣла Нашега Темішварскаго Баната идѣже домовитїи биватели и неунїтскаго исповѣданїа людіе свою собственную парохїю имѣють тамъ къ наставленїю юности ихъ и неунїтскаа трївіална школа да будеть...

(из школьного устава, с. 1 и 3. Вена, 1776; текст параллельный немецкий и славяно-сербский).

Уставленіе. Парохїалныя штоларныя плаћи за неунїтскїй воинственный и провинціальный предѣлъ, Митрополїтскїа, Бачкїа, Будимскїа, Аркадскїа, Вершачкїа, и Темішварскїа Епархїахъ, такожде же и за Провинціальный предѣлъ Пакрачкїа епархїи.

За вѣнчанїе безъ разнствїа первога, второга или тре҃нега брака, аще и удовица младога момка, или удоваца дѣвицу узме, во обще 1 фл. 8 кр. || За погребъ дѣтета до 7 година съ водоосщєненїемъ заедно 1 фл. 12 кр. || За погребъ нѣкоего ѿ 7 година старїега лица, или мужескаго или женскаго пола ѿ больїхъ газда 5 фл. 8 кр. || ѿ среднихъ газда 3 фл. 30 кр. || ѿ слабыхъ газда 48 кр. А ѿ верло сиромашнихъ ништа, него такови да се погребу туне и безъ сваке плаће и власть, коа се находи у мѣсту, или Ре҃ементскїй и Компанїйскїй Коммендантъ да има на то опасно позорствовати.

(«Уставленїе», с. 1. Вена, 1777–1778).

Языковые различия между двумя первыми отрывками и последними очевидны. Если первые два придерживаются достаточно строго «славеносербского» языка русского книжно-славянского образца, то третий представляет собой смешение «славянского» с сербским при преобладании последнего. В «Уставленїи» целые фразы написаны на сербском народном языке (*«а од врло сиромашних ништа, него так(о)ви да се погребу... без сваке плаће»*), само же заглавие распоряжения и его первая строка выдержаны в «славенском» духе. К «славенскому» штилю следует отнести и слова типа *туне, опасно, позорствовати, нѣкоего, мужескаго*.

Различную функциональную направленность, авторитетность и стилистическую сущность первых двух и третьего текста также нетрудно заметить. Существенно, однако, что «славеносербский» русского образца был признан и принят не только православным митрополичьим двором в Сремских Карловцах, но и венским цесарским двором, что придавало ему несомненный авторитет. Если язык букварей, грамматик и разных грамматических и филологических руководств был «славеносербским» русского образца в довольно

чистом виде, то язык руководств по точным наукам, по наукам математическим, язык учебников по арифметике был языком смешанным. В нем «славеносербский» выступал в некоторых случаях ярко, в некоторых же случаях бледнее на фоне народного языка. Такая амальгама ощущалась больше в лексике и в меньшей степени в грамматике и фонетике. Как известно, в России в XVIII в. пользовались двумя основными руководствами — «Грамматикой» Мелетия Смотрицкого (и ее переделками) и «Арифметикой» Леонтия Магницкого. Обе книги были написаны на древнеславянском языке позднего русского (московского) образца, обе до Ломоносова, т. е. до его «Российской грамматики» и других сочинений, были в большом спросе. Если грамматика Смотрицкого оказала на сербов, безусловно, большое влияние и появилась в их среде довольно рано, то с «Арифметикой» Магницкого этого не произошло. Арифметические учебники возникли у сербов сравнительно поздно, и на их содержание и структуру повлияли соответствующие немецкие образцы. Язык же их, как видно из приводимого ниже отрывка, был создан на собственной, компромиссной с русским языком основе:

Предсловіе до Читателя: Мое намѣреніе небыло отнюдь на ову маленькую книгу, Титулованную АРИѦМЕТИКА Предсловіа правити, потому что она сама по моему мнѣнію довольна есть за себе читателя увѣдомити, что она сирѣчь способна есть єднога свога невѣжду наставити на свой путь, кромѣ коега почти неможно никакву трговину отправлати, или кратко сказати: кромѣ коега нитисе ща може купити ни продати; но между тымъ пришло мени на память нѣкоихъ нашихъ науке лишенныхъ а Богатствомъ снабдѣнныхъ Сербовъ рѣчь, що Они противъ АриѦметиковъ Обычай имаду говорити; Ласное прохесапити, кадъ человекъ само новаца имаде.

(Василіе Дамановичъ. Новаа сербскаа АриѦметика... Въ Млеткахъ 1767, с. 3).

Написание предисловий и рассуждений об арифметике не имело традиции у сербов. Возможно, и по этой причине приведенный отрывок лишен единства языка прежде всего, как отмечалось, в лексическом отношении. Однако наблюдаемое разнообразие не хаотично, а в какой-то мере мотивировано. Речь «наделенных богатством, но лишенных науки сербов» сохраняется почти без изменения — *«ласно је прохесапити, кад человек (следовало бы човек. — Н. Т.) само*

новаца имаде) (форма типа *имаде* — характерная воеводинская черта), авторская же речь в некоторых местах очень близка к русской речи XVIII в. — «*потому что она сама по моему мнению довольна есть за себе* (сербизм, по-русски следовало бы *о себе*) *читателя уведомити*», а в некоторых местах к сербской народно-разговорной — «*кроме* (следовало бы *осим*) *којега нити се шта може купити ни продати*». Макаронизм языка предисловия симптоматичен, но существеннее язык арифметических терминов, язык специальный. Он также лишь пронизан славянизмами, но не может быть назван «славеносербским», так как в нем немало латинизмов, германизмов, турцизмов и, конечно, народных сербских слов. Таковы: *цифра*, *броење*, *знамење*, *тежина*, *мѣра*, *шпециесъ* ('фактор'), *пропорција*, *рачунъ*, *ракамъ* ('счѣт') и т. п.²⁴ Впоследствии эта терминология очистилась от ряда иностранных заимствований и стабилизировалась, но этот процесс относится уже к началу и середине XIX в.

Если научный математический (арифметический) слог был лишь в стадии зарождения и представлял собой пестрое сочетание генетически разных элементов, то научный исторический слог к рассматриваемому периоду довольно прочно стабилизировался. Его нельзя, однако, назвать «научным» в строгом смысле этого слова, ибо исторические описания того времени были повествованиями и в качестве таковых они приближались к повествовательным произведениям, что дало даже основание, вероятно, не совсем оправданное, некоторым литературоведам (М. Павичу) считать «Житіе и славныя дѣла ... Петра Великаго» первым сербским романом (Павић, 1963, с. 103). Тем не менее этот слог обслуживал во второй половине XVIII в. в сравнении с другими жанрами большой круг почти всегда объемистых произведений.

Исторический слог у сербов

Историографический слог имел свою историю и традицию в русском литературном языке XVIII в. Это же можно сказать и применительно к литературному языку сербов той эпохи. Не теряя связи с языком и духом средневекового сербского летописания, граф Георгий Бранкович в самом начале XVIII в. в своих «Славено-сербских хрониках», оставшихся по сей день в рукописи, предложил новый историче-

²⁴ Иностранные слова XVIII в. см. в словаре: Михајловић, I—II.

ский подход к прошлому, основанный на внимании к источникам и построенный на множестве цитат и новой манере письма и стиля языка. Тронешский «родослов» (или «летопись»), созданный, видимо, в середине или даже во второй половине XVIII в., как будто в еще большей мере сохранял средневековые летописные традиции, что и приводило некоторых исследователей XIX в. к ошибочной датировке текста (Шафарик, 1853; см. также Радојчић, 1931), но источники его по сравнению с древними летописями XVI—XVII вв. уже иные, полнота (объем) текста значительно бóльшая и язык — древнеславянский (церковнославянский) позднего русского извода с некоторыми сербскими и сербскими элементами.

Этот язык был уже несколько архаичен для времени, когда возникал текст, но, видимо, сербская монастырская среда повлияла на его выбор:

Сіа исторіа іо сербскихъ царѣхъ и кралѣхъ, юже преписахъ азъ іеромонахъ Іосифъ тронешацъ, на пользу всѣмъ желающымъ знати; тѣмже молю вы оцы и братіа, ѿ погрѣшеніи аще негдѣ ѡбрещете, прочитающе или преписующе сіа тетрадійцы, исправляйте и мене прощенію сподобляйте понеже и во письменахъ есть весьма грубо, ѡбаче во словахъ есть жалостно, и умилно, можеть бо (са) изъ ѿ каменныхъ сердець слези пролити (са), понеже и во мнѣ бѣ сердце затверждено, ѡбаче преписую и чтећи, много горкихъ суза проливахъ; тако и ти любезный читателю со усердіемъ сіа прочитай и будещи слези проливати. ѿ рождества Христова 1791 месеца фервара у монастиру тронеши.

(предисловие иеромонаха Иосифа, с. 20).

Мати же уроша цара по лѣтѣ единомъ, чрезъ пастирей овчихъ иже видѣ на томъ мѣстѣ, идеже бѣ светый урошъ, столпъ огненъ досажущъ къ небеси чрезъ всю ноцъ; также сказавъ многимъ, еже и прочіа ноци такѡ видѣша, и ѡбшедше холмъ той челоуѣци веси ближайшіа неѡбретоша ...

(Шафарик, 1853, с. 75).

На смену этому слогу и языку пришел уже светский «славеносербский» язык русского образца, который в данном жанре исторического повествования в 80-х—90-х годах XVIII в. мало чем отличался от русского литературного языка того времени. Не очень значительные и не часто встречающиеся отличия от русского касаются в основном лексической сферы, о чем речь будет идти ниже. Такому переходу

на «славеносербский» русского образца в историографических текстах помимо общего процесса развития литературного языка XVIII в. у сербов, вероятно, способствовало и наличие перевода «съ італіанского на російской языкъ» герцеговинца Саввы Владиславича Рагузинского книги Мавро Орбини «Книга історіограеія початія имене, славы, и разширенія народа славянскаго...» (СПб., 1722). Этот труд, как известно, повлиял на многих южнославянских историков XVIII в. (см. Радојчић, 1956, с. 21–31).²⁵

В 1765 г. в Венеции вышла книга под названием «Краткое введеніе въ історію происхожденія Славено-Сербскаго народа. Бывшихъ въ Ономъ владѣтелевъ Царевъ, Деспотовъ или владетельныхъ Кназевъ Сербскихъ, до времени Георгіа Бранковича, послѣднаго Деспота Сербскаго. Сочинено и изъ разныхъ Авторовъ нотами изаснено Павломъ Юлинцемъ находящимся въ Россійской Императорской Службѣ Военной. 1765.»

Как видно и из текста довольно пространного заглавия, язык этой книги «славено-сербский» русского образца. Такого же типа и язык исторических сочинений двух крупных сербских писателей и культурных деятелей XVIII в. — Захария Орфелина и Иоанна Раича, о которых речь будет ниже.

Прозаические переводы П. Юлинца и их язык

Литературная деятельность Павла Юлинца не ограничилась его «Краткимъ введеніемъ», а продолжилась в следую-

²⁵ Любопытный и, вероятно, единственный случай изданий «славено-сербской» книги латинской графикой произошел в 1770 г. в Будапеште, где была напечатана (за неимением кириллических букв?) *Kniga istoriografia o narode slavenskom, I o xitii ih irazssirenija derxavstva ih Sobranaja izmnogih Istoriceskih knjig Csrez iz deveniem Raba Boxia Joanna Radicha Kotori rodilsa vo Bossanskoj zemli vo Grade novo prozvanom Saravee, sei on potrudilsja privesti siu Istoriu so Italiceskago i Grecseskago jazika na Slaveno-Serbski Jazik, za spomen svoemu Otecestvu i napescatanna vo Kralevskei svobodnoi varossi Pesti bliz reki Dunava priamo stolicsnago Grada Ungarskago Budima leto Gospodne 1770 Ju 6. U Pesti sa slovi Ejtzenbergovi 1770.* Фактически эта книга является перепечаткой с очень незначительными текстовыми (сокращения и вставки), но не языковыми, изменениями части русского перевода книги Мавро Орбини «Книга Історіограеія», касающейся истории Боснии. Сам издатель Иван Радич был православный боснийский серб. Его издание — первый опыт перенесения сплошного печатного русского гражданского текста в латинскую графику.

пцем десятилетия изданием двух переводных книг — исторического романа французского писателя Жана Мармонтеля «Велізарій» (Вена, 1776) и нравоучительно-философической книги другого француза — Шарля Роллена, которая в переводе была обозначена как «Путь къ постояннѣй славъ и истинному величеству то есть: часть нѣкаа изъ книгъ, парізікѣа Академіи бывшаго ректора Роллена ѿ еже како предати, и учитиса добрымъ наукамъ. Изъ французскаго на славено-Сербскій языкъ преведена ... Въ Віеннѣ Аустрійскої 1775».

Переводы П. Юлинца, введенные в обиход сербского читателя, сильно расширили жанровый состав произведений и ярче обозначили переход сербской словесности к новым литературным направлениям. При переводе «Велізарія» Жана Мармонтеля значитса «изъ французскаго на славенскій языкъ преведенъ» и в обоих случаях (т. е. и при переводе книги Шарля Роллена) не упомянуто имя переводчика. «Перевод» книги Мармонтеля был произведен по всей вероятности с русского перевода (в России было несколько изданий, и в русском переводе участвовала и Екатерина II) и заключался, видимо, в значительном редактировании и архаизации русского текста.

Приводим отрывок из романа «Велізаріи»:

Во время старости Императора Юстиніана, греческаа держава истоцившіаа силы своа, приближашеса паденію. Всакій образъ правленія пренебреженъ бысть: законы въ забвеніи, приходи цѣркѣа въ разграбленіи, войнство же въ бездѣліи разлабѣ. Императоръ войною утружденій покупа же со всѣхъ странъ миръ цѣною злата... («Велізаріи гѣдина Мармонтеля Академіи Французскаго азыка члена изъ французскаго на славенскій языкъ преведенъ... Напечатанъ в Віеннѣ ... 1777», 2-е изд., с. 9).

Й. Скерлич по поводу этого «перевода» высказался весьма скептически²⁶, а Б. О. Унбегаун справедливо заметил, что пока не произведены сличение и анализ русского текста «Велизария» Мармонтеля и текста, изданного П. Юлинцем, рано выносить категорические суждения (Unbegaun, 1935, р. 44). Однако, не вдаваясь в детали и в вопросы происхождения текста, можно сказать, что «переводы» Юлинца отражают «славеносербский» язык ярко выраженного русского

²⁶ «В этом переводе («Велизария». — Н. Т.), как и в своей Истории, Юлинец выдает себя плохим знатоком языков и посредственным писателем» (Скерлић, 1923, с. 212).

образца и по этому признаку примыкают к славяно-сербским текстам Захария Орфелина и Иоанна Раича.

Деятельность и языковая практика Захария Орфелина

Захарий Орфелин в рассматриваемый период 1760–1780 гг. был самым плодовитым, разносторонним и оригинальным по замыслам и их исполнению сербским писателем. Среди писателей своей поры он был первым светским лицом, склонявшимся, правда, к концу жизни к монашеству, но так и не принявшим его. Будучи по условиям того времени человеком без специального образования, он сумел довольно рано стать хорошим ученым, писателем, теологом, художником, гравером, каллиграфом, издателем и популяризатором знаний из многих областей духовной и материальной культуры. Достаточно сказать, что из 106 книг и изданий (не считая шести на латинском языке), вышедших в рассматриваемый период, 27 книг и изданий появилось либо при участии Захария Орфелина, либо из-под его пера или граверного резца, т. е. не менее четверти общего числа. Именно поэтому его роль в истории сербского литературного языка XVIII в. очень значительна.

В 1760 г. в Венеции Захарий Орфелин издал «Оду на воспоминаніе втораго Хр^стова пришествіа по образѣ пѣсны Лва премѣдраго Царя Греческаго Ёллінски Стіхами по Алфавітѣ Сложеннаа А на славѣнски Г^сдиномъ Парѣніемъ Еп^скпомъ Приведеннаа, Стіхами же Славѣнскими Захаріемъ Орфеліномъ Архі: Еп^ско: Мітрополитски^м Ёллѣрїчески^м Канцѣллістомъ оустроеннаа». И хотя источник этой оды был русский и тем самым, как и многие другие произведения XVIII в., она с чисто литературной точки зрения не оригинальна, это — первая ода в сербской словесности²⁷.

²⁷ Нужно отметить, что у сербских литературоведов начала XX в. Й. Скерлица, Т. Остоича и др. был слишком критический и односторонне осуждающий взгляд на развитие сербской культуры и литературы XVIII в. и на условия этого развития. Так, разбирая поэтическое творчество Орфелина, Т. Остоич писал: «Он выходит на необработанное поле, появляется перед обществом, у которого нет интереса к искусству; дилетанты, до которых никому нет дела, начинают сочинять стихи на языке, не подходящем для стихосложения, писать стихом чужеземным и необычным. В творчестве нет и следа самостоятельности. Все — имитация русского: и литература, и язык, да и вся культура. В таких стесненных обстоятельствах мы не можем ожидать появления большой

Год спустя тоже в Венеции, но уже анонимно он издает на славяно-сербском эпическое стихотворение, состоящее из 26-ти четверостиший, под заглавием «Горестный Плачь славных иногда Сербии своих царей, князей, вождей, Градов же и земель лишенных и на чужих Предѣлахъ въ жалостномъ подданствѣ сѣдация».

Еще через год или два эта же книжечка вновь выходит в Венеции под несколько измененным и сокращенным заглавием «Плачь Сербии Елже Сыни в' Различныя Государства разсѣлиса. Обавленный ѿ С.С.С.», но уже не на славяно-сербском яркой русской окраски, а на сербском языке, близком к народно-разговорному. Помимо различия в языке, есть и некоторые текстовые изменения (слово *Венграми* заменено *врагами*, слово *вселенна* — словами *восток, запад, полуноћ* и т. п.)²⁸.

Различие в языке видно при параллельном чтении двух изданий:

По ланитѣ бють
Скрежещуть зубами,
Власи на мечь вють,
Топають ногами:
Чада расхищаютъ
Марсу люту дають
На жалость мнѣ горку²⁹

Косе мое на Саблю врази мои вють
и ногами тлачуме а по лицу бють
чада моа прогоне, марсу люту даю
и тимъ Срѣцу моему жалости задаю.
(четверостишие 17)

Следует отметить, что и во втором — сербском тексте есть ряд славянизмов и русизмов типа *руки* (им. мн.) вм. *руке*, *вють* вм. *вију*, *терзамъ* 'терзаю' вм. *трзам* (но также и *трзаю*; вероятно, *ер* орфографическое и произносилось *трзам*), *друзи* вм. *другови* (впрочем, допустимо и *друзи*),

творческой личности. Орфелин по своему темпераменту и таланту — не человек больших деяний и больших концепций...» (Остојић, 1923, с. 95). При подобном подходе пришлось бы во многом отказаться в самостоятельности и русской литературе XVIII в. О проблеме «своего» и «чужого» см. несколько подробнее: Толстой, 1977, с. 276; наст. изд., с. 213. Новые авторы уже не отказывают Орфелину в оригинальности и подчеркивают его стремление проложить новые пути в истории сербской литературы, см.: Цонсон, 1966.

²⁸ Эти текстовые изменения приведены у Т. Остоича в его книге «Захарије Орфелин» (Остојић, 1923, с. 98–99).

²⁹ Единственный сохранившийся текст в современной транскрипции помещен в кн.: Лесковац, 1955, с. 279. Текст мною дан в релитерации (предполагаемом оригинале).

мечемъ вм. *мачем*, *непроѣзжаютъ* вм. *не пролазе*, *не пугују* и т. п., *са вои* вм. *са војницима*, *руками* вм. *рукама*, *возлюбилѣ* вм. *заволели*, *враговъ* вм. *врагова*, *ногами* вм. *ногама*, *надежде* вм. *наде* и др. Есть и воеводинские «диалектизмы» (по отношению к более поздней вуковской и по-слевуковской норме): *гледѣ* вм. *гледају*, *саде* вм. *сада*, *неймаду* вм. *немају*. Некоторые из перечисленных форм вызваны требованиями версификации и рифмы.

Таким же сербским языком с отдельными, не очень многочисленными славяно-русизмами написаны и другие стихотворные лирические произведения Орфелина — «Мелодіа къ пролеѣью кою за 1765 лѣто сочинивши при желаніи многолѣтства всѣмъ представляетъ З. О. въ Новомъ Садѣ» и «Сѣтованіе наученнаго младаго челоуѣка изъ Русскогъ на Сербскій азыкъ преведено ѿ З. О. въ новомъ Садѣ 1764».

- (1) Дично време намъ приходитъ
 зима прогонявасе
 что пролеѣе веѣхъ доходитъ
 лѣто приближавасе
 небо часто намъ навласе
 и свѣтлѣ издаесе
 ѿ ЗЛАТОЕ ПРОЛЕѢЕ!

(Мелодіа къ пролеѣью, с. 3).

- (2) Быо бѣ Монахомъ, ѿрекшись свѣта
 али боимсе, что млада лѣта
 лажливе сирене
 лѣпотне жене
 ПРЕВАРИТЕ

(Сѣтованіе, с. 5).

Стихотворный период творчества Захария Орфелина длился, однако, недолго — пять лет (с 1760 г. по 1765 г.). Как и у многих других писателей, он был начальным. Открылся он «Одой на воспоминаніе» и закончился поэмой, состоящей из 53 строф-четверостиший «Пѣснь історическаа Какосу сербли съ турци на Косовомъ Полю побилесе, на комъ Полю Сербска Майка Кназа Лазара съ многима Сынми Сербскими изгубивши, и державе Сербске конечно лишившисе горке сузе пролива»³⁰.

Приводим начало «Пѣсни»:

³⁰ Впрочем, Н. Радойчич в отношении «Пѣсни історической» отклонял авторство Орфелина, и оно остается спорным.

Ѡ Сербіе! что за сіе
 такω оскорблена;
 ни ли страна та попрапа
 туркамъ попалена;
 Мѣсто зрачно, людма злачно
 то Поле Косово,
 въ немже Кнази лежать нази
 всѣмъ сердце готово.

(с. 1—2).

Язык этой поэмы можно было бы характеризовать как славяно-сербский на сербской основе с рядом фонетических, морфологических и лексических русизмов и славянизмов русской окраски (*козни, князи, оскорблена, Турковъ, лежатъ треклати, дочекаютъ, поадаеть, тражитъ* и т. п.) (Стијовић, 1970, с. 28—30). «Славенский» ярко выраженного русского образца использован Орфелиным в одном из ранних отдельно изданных стихотворений под названием «Тренодіа въ міръ челоуѣка вшедшаго а Ѡ всѣхъ и свойственныхъ презрѣннаго» (Венеция, 1762):

- (1) Знаю причину сѣтовать болнω
 весь я грозюса в' мысли доволнω;
 бо какъ родилса
 на свѣтъ навилса
 ТО МНѢ БѢДА, 2.
- (2) Ахъ! самъ начатокъ былъ мнѣ нещастливъ
 что я родилса, всакъ былъ завистливъ:
 вси удручали
 дыхать недали
 МНѢ БѢДНОМУ, 2.

В четырнадцати четверостишиях «Тренодіа» нет ни одного специфически сербского слова, но зато есть немало таких русских слов, как *дыхать, я пребѣдной, свѣтъ великой, не знайду, большой, худо, щастіе, разлучуса* и др.

Таким образом, Захарий Орфелин писал стихи, пользуясь тремя языками или «штилями» — славяно-сербским, сербским и русским, часто значительно их смешивая. Поэтому последние два языка в его употреблении не были чисто народными³¹. Два варианта, две языковых редакции «Плача

³¹ См. об этом также: Стијовић, 1970, с. 27. С. Стијович применил анкетный метод А. Младеновича (см. Толстой, 1978а, с. 310; наст. изд., с. 327). Существенно, однако, учитывать и лексические показатели.

Сербии» позволяют предположить, что Орфелин в славяно-сербском и сербском видел не один язык, а два.

Тексты орфелинской поэзии — небольшие, неоднородные и ранние в его творчестве — интересно сопоставить с текстами его прозы, которая была значительна и по замыслу, и по объему и создавалась им в зрелые годы, десять лет спустя после поэтических опытов.

Одним из самых значительных произведений в творчестве Орфелина и, можно сказать, во всей сербской литературе XVIII в. было «Житіе и славныя дѣла Государя Императора Петра Великаго Самодержца Всероссійскаго съ предположеніемъ краткой Географической и политической Исторіи о Россійскомъ Царствѣ. Нынѣ первѣе на Славенскомъ языкѣ списана и издана. Въ Венеціи. Въ Типографіи Димитрія Θεодозія 1772»³². Эта двухтомная книга общим объемом около 800 страниц с 61 листом разных гравюр сразу же привлекла внимание читателей и была переиздана два года спустя в России. Некоторые обстоятельства и характер этого русского переиздания становятся очевидными из его заглавия, и потому приводим его сполна: «Житіе и славныя дѣла Петра Великаго самодержца Всероссийскаго с приложеніемъ краткой географической и политической исторіи о Россійскомъ государствѣ. Первѣе на Славенскомъ языкѣ изданное въ Венеціи, а нынѣ вновь съ пополненіемъ и поправленіемъ какъ самой исторіи, такъ и съ преложеніемъ нѣкоторыхъ Славено-сербскихъ словъ на Россійскій, съ гравированными планами баталій и взятыхъ крѣпостей на всѣ великія дѣйствія медалями напечатано ... Въ Санктпетербургѣ при Императорской Академіи наукъ 1774 года». Уже пространные, в духе просвещенного столетия заглавия книги говорят о характере ее языка, по сути дела русского литературного языка XVIII в., его возвышенного слога с обилием

³² В ином варианте венецианского издания эта книга названа «Исторія о житіи и славныхъ дѣлахъ Великаго Государя Императора Петра Перваго самодержца Всероссійскаго, которую съ предположеніемъ краткой географической и политической исторіи о Россійскомъ царствѣ и съ многими медалями чертежами и другими разными принадлежащими собственною рукою грыдорованными фигурами и генеральною сея великія Имперіи картою нынѣ первѣе на славенскомъ языкѣ сочинилъ Захарія Орфелинъ Цесаро-Королевской Венской Академіи Художествъ членъ. Въ Венеціи. Въ Типографіи Димитрія Θεодосія. 1772».

славянизмов и некоторым (весьма незначительным) числом сербизмов.

Приводим отрывок из посвящения Екатерине II:

Какъ иногда Звѣзда появившись на Востоцѣ, вела оныхъ троицъ Царей изъ Персидскихъ земляхъ къ Спасителю міра рождшемуся въ Віелеемѣ: такъ слава Вашего Императорскаго Величества возсіявшая на Сѣверѣ и распространившаяся уже черезъ всю вселенную, ведетъ меня черезъ сію книгу изъ дальнихъ Югозападныхъ Сербскихъ странахъ къ Такой Высокой Особѣ, въ которой вся Европа и пространѣйшая часть Азіи съ удивленіемъ видятъ изображена Онаго Великаго Императора, коего сія Исторія въ главизну себѣ имѣетъ и кои былъ образцомъ лучшихъ Государей и удивленіемъ мудрѣйшихъ политиковъ. («Исторія о житіи...», с. 10).

Наличие двух изданий, венецианского и петербургского, одного, по свидетельству самих издателей, писанного «на Славенскомъ языкѣ», а другого «съ преложеніемъ нѣкоторыхъ Славено-сербскихъ словъ на Россійскій» дает возможность выяснить, насколько язык Орфелина, употребленный в «Исторіи о житіи...», был близок к русскому литературному языку 80-х годов XVIII в. и в чем именно было отличие русской петербургской редакции от орфелинского подлинника. Наблюдения, проведенные в 1962 г. мною и в 1973 г. В. П. Гудковым (Толстой, 1962, с. 18–21; Гудков, 1973, с. 48–50), показали, что правка текста, выполненная «коллегским Секретарем» В. А. Троепольским, была не очень значительной. Исправление слога коснулось некоторых иностранных слов, принятых тогда у сербов в Воеводине, но не употреблявшихся в России, некоторых сербизмов и ряда русских слов.

Например:

Текст Орфелина: Осталося еще *каштиговати* Царевну Софію, яко главнаго заводчика *сего предательства* (с. 182).

Правка Троепольского: Осталось еще *наказать* Царевну Софію, яко главнаго заводчика *онаго злоумышленія* (с. 169).

Итальянизм *каштиговати* (ср. итал. *castigare*) заменен русским, славянским словом *наказать*, но тут же типично русское (хотя и по происхождению древнеславянское) выражение *сего предательства*, известное и современному русскому языку, заменено словами более высокого стиля

онаго злоумышленія. Были случаи и обратные, когда слова *единъ*, *единаго* заменялись Троепольским словами *одинъ*, *однаго*, но прилагательные муж. р. ед. числа с безударным конечным *-ой* — *языческой*, *христіанской*, *первой*, *дикой*, употреблявшіеся Орфелиным, всегда заменялись соответствующими формами с *-ii*; что же касается славянской (и сербской) формы инфинитива на *-ти*, типа *вѣдати*, *дивитися*, то они последовательно заменялись русскими формами на *-ть* — *вѣдать*, *дивиться*. Замен и небольших правок вообще было немного. Так, на 16 страниц посвящения и предисловия приходилось менее ста поправок, из коих многие незначительны (*Азіатическими* исправлено на *Асіатическими*, *высвободить* — на *освободить*, *не уничтожалось* — на *не уничтожилось*, *писати* — на *писать* и т. п.). Большая часть правки оказывалась в пределах колеблющихся норм русского литературного языка XVIII в., случаев же с исключением сербизмов (типа исправления *четыре шалаша или колебы* на *четыре шалаша*) совсем мало (подробнее см. Толстой, 1962, с. 19–21). Все это свидетельствует об одном. Захарій Орфелин стремился писать «Житіе и славныя дѣла...» на русском языке XVIII в. с очень незначительным числом сербизмов, которые он изредка вводил, преимущественно для толкования русских слов (*четыре шалаша или колебы*). Это он делал с определенной целью — облегчить сербскому читателю понимание текста. «В протчемъ, — писал он в предисловии к “Житію”, — сколько мнѣ было возможно, старался вести такой слогъ, какой сербскимъ народомъ понятен» («Житіе и славныя дѣла...», с. 7). Свое «Житіе и славныя дѣла ...» Орфелин, как значитсѣ в заглавии, «на славенскомъ языкѣ сочинилъ». Под «славенскимъ» он понимал и русский литературный язык XVIII в., что явствует из его списка книг «Книги на нѣмецкомъ и славенскомъ языкѣ»³³. Пользовался он и понятием «русскій языкъ» и «сербскій языкъ», как видно из заглавия его стихотворной

³³ Этот список содержит: «1. Библия, 2. Трѣязычный лексиконъ (Поликарпова. — Н. Т.), 3. Вейсмановъ лексиконъ, 4. Целларій латинскій, 5. Целларій Россійскій, 6. Вояжировъ лексиконъ, 7. Морская путешествія, 8. Исторія о китайскомъ морѣ, 9. Исторія сибирская, первый томъ, 10. Исторія о рѣкѣ Амурѣ, 11. Грамматика нѣмецкая петербургская, 12. Исторія о Псевдодимитриі, 13. Исторія Азовская» и т. д. — всего 21 название. См. Остојий, 1923, с. 202.

книжицы «Сѣтованіе...». Но русский литературный язык второй половины XVIII в. был, вероятно, для Орфелина «обоюдным» (т. е. употребительным во всех зонах греко-славянского мира), каковым был, по представлениям Максима Суворова, язык «словенский» («словенскій книжный яко обоудный языкъ»). В нем не только Орфелин, но и многие другие видели естественное продолжение более раннего «словенского» и, в общем, они были не далеки от истины.

Еще одним серьезным начинанием Орфелина, повлиявшим на развитие сербской литературы и культуры, литературного вкуса и языка, было издание литературного журнала под названием «Славено-сербскій Магазинъ то есть: Собраніе Разныхъ Сочиненій и Преводовъ къ пользѣ и увеселенію служащихъ» (том первый, часть 1. Въ Венеціи, 1768). Журнал состоял из нескольких рубрик. Согласно программе, изложенной Орфелиным в предисловии к первой книге, должны были быть рубрики для истории, искусства (архитектуры, музыки, живописи), увеселения (нравоучительные рассказы, повести, стихи). Орфелину удалось издать только один номер с «Предисловіемъ» (с. 3–16), «Мнѣніемъ пресвященнаго Теофана Прокоповича, архіепископа Новгородскаго» (отд. I, с. 17–28), «Отеческимъ наставленіемъ къ сыну желающему опредѣлится въ военную службу» (отд. II, с. 29–44), «Письмомъ о важности женъ» (отд. III, с. 45), «Отвѣтомъ на письмо о важности женъ» (отд. VI, с. 46–47), «Письмомъ Ахмета, сына Солиманова, къ младому Али, сыну Ибраимову» (отд. V, с. 48–69), «Письмомъ кесаря Діоклетіана къ далматійскому народу» (отд. VI, с. 70–71), с заметкой «Добродѣтели смоквы» (отд. VII, с. 72–74), с «Епиграммами» (отд. VIII, 75–76) и «Извѣстіями о ученыхъ дѣлахъ» (отд. IX, с. 77–95). Дальнейшие номера «Магазина», к сожалению, не последовали. Источники его текстов давно определены исследователями — это петербургские академические «Ежемесячныя сочиненія», редактировавшиеся акад. Феодором Миллером, и некоторые другие русские и немецкие тексты (Гудков, 1977). Что же касается языка, то хотя он и производит, в общем, впечатление почти чисто русского слога XVIII в. (см., к примеру, заглавия статей), Орфелин его осербил. Однако осерблен он, как показало ценное исследование А. Младеновича, в разных отделах по-разному. Наибольшему осербливанію подверглось «Письмо Ахмета, сына Солиманова...», а наименьшему, естественно, «Мнѣ-

ніе» Феофана Прокоповича, а также текст эпиграмм и «Извѣстій объ ученыхъ дѣлахъ» (подробнее см. Младеновић, 1970).

Для образца приводим начало эпиграммы «О женидѣбѣ»:

Жениться въ свѣтѣ семъ,
 Такъ счастья сего нельзя равнять ни съ чѣмъ
 А паче ежели сердца у двухъ согласны.
 Когда спраженныя вѣнцемъ, другъ другомъ страстны...

(с. 75)

В целом осербливание было незначительным и касалось преимущественно отдельных слов и их форм (*задуго*, *сербскогъ народа*, *произвео*, *найдублю* и т. п.)³⁴.

Захарий Орфелин дважды — в 1766 и в 1767 гг. — издавал «Славеносербскій Восточныя церкви календарь», а 16 лет спустя он создал очень популярный «Вѣчный то есть ѿ начала до конца міра трающій Календарь» (I изд. Вена, 1783), который в известном отношении и прежде всего по составу материала приближался к «Магазину». Характерно, что Орфелин старался придать своему «Календарю» как можно более светский характер, и это ему в значительной степени удалось. О составе «Календаря», объемом в 366 страниц, кое-что говорит и его подзаголовок: «содержащій въ себѣ Сватцесловъ ѿ краткаа, по Восточныа Црѣве исчисленію, ѿ кругахъ годовыхъ, и прочихъ принадлежащихъ вещей изъясненіа; къ тому фѣзическаа ѿ тѣлахъ міра, ѿ водныхъ и воздушныхъ, приключеніахъ разсужденіа съ прибавленіемъ спѣнныа и свѣтскіа Хронологіи нынѣ первѣе на славенскомъ языкѣ въ ползу славеносербскихъ народѣвъ, написанъ Захаріемъ Орфелиномъ Цес. Крал. Віенскіа Академіи художествъ членомъ... 1783».

Помимо календарной части, торжественника, священной и светской истории, большой раздел занимает физика (182 страницы) с астрономией и географией. Язык «Календаря» также неоднороден, но основа его, как и в «Магазине», — «славянская», т. е. — русский литературный язык XVIII в. книжного, возвышенного стиля, что видно из предисловия:

³⁴ Орфелинов «Магазинъ» был одной из первых сербских книг, напечатанных гражданским шрифтом, а не церковной кириллицей (ранее была издана и Орфелинова «Каллиграфія», 1759). Использование церковной кириллицы в светских целях продолжалось у сербов весь XVIII в. и было еще и в начале XIX в.

Изданіемъ сегò вѣчнагò Календара Орфелинъ къ службѣ своего дражайшагò отечества опать является. Можно быти, что многіи общыя ползы желателіе давнò ожидали чтолибо ѿ трудѡвъ его полезное видѣти, обаче скудость здравіа присоединеннаа его ницета, ѡ котóрой никтоже помышлѣтъ... (с. 3).

В том же году Орфелин издал еще одну объемистую книгу (494 с.) весьма практического содержания, написанную, по его свидетельству, «на сербскомъ языку». Это — руководство по виноделию, которым были заняты многие сербы в Воеводине: «Искусный Подрумари, вѣрнò наставляющій како Подрумъ, Бурадъ, и новаа и стараа вѣна содержавати, различнаа художественнаа дѣлати, поквареннаа поправлати; различнаа ѿ травъ, кореніи и плодѡвъ къ здравію служащаа вѣна, и другаа деликатнаа воденаа питіа, и мажуне ради прохлаждающихъ питіахъ, и притомъ различне художественне ракіе, Шербете и оцетъ правити. Ннѣ первѣе на сербскомъ языку списанъ...» (Напечатанъ въ Царствующемъ градѣ Вѣеннѣ... въ лѣто 1783). Язык «Искуснаго Подрумара» довольно значительно отличается от языка других его нестихотворных произведений. Он изобилует сербскими элементами, в особенности, когда дело касается конкретных предметов и терминов, связанных с виноделием (*мотика, кречъ, ланацъ, грозђе, бадемъ, бурадъ, дудови, пупольки, мустъ, кречана вода, стискивати, процѣхавати, бистри ти се* и т. п.). Сербская фонетико-грамматическая система ярко отражается в написании отдельных слов и в морфологии, и все же «русско-славянская» литературно-языковая база, на которую привык опираться и которой часто следовал Орфелин, проступает и в этом произведении, специфическом по своему содержанию и функциональной направленности. В связи с этим представляются любопытными выводы А. Младеновича, по которым у Орфелина в его сербских формах наблюдается определенное стремление к норме, которая при сопоставлении с современным языком ближе к нему, чем сербский язык Венцловича (начало XVIII в.) и Обрадовича (конец XVIII в.) (Младеновић, 1960). Естественно, эти выводы касаются не вообще языка произведений Орфелина и даже не языка «Искуснаго Подрумара» в целом, а лишь сербской его части, которая сплетена с частью русско-славянской не только в лексике, но и в фонетике и морфологии.

Строго нормированный древнеславянский (церковнославянский) язык позднего русского типа прослеживается в изданном Орфелиным «Краткомъ да простомъ ѿ седмьхъ тайнствахъ оучителском наставленіи ... 1763». Это издание — по сути дела перепечатка «Поученія святительскаго...», появившегося в свет в 1742 г., которое в свою очередь восходит к русскому (московскому) оригиналу 1696 г. Но тот же поздний древнеславянский язык — язык «словенский», слегка русифицированный, а в отдельных случаях и сербизированный, употреблен Орфелиным в его педагогическо-грамматических сочинениях, прежде всего в его букваре «Пѣрвое оученіе хотѣщымъ оучитиса книгъ писмены Славѣнскими, называѣмое Букварь. Съ многими полѣзными ѿ потрібными Наставленіями по котѣрыма возмѣжно въ краткомъ врѣмени Отрака, не токмо Церковныа, но ѿ Гражданскіа Славѣнскаго ѡ ѡзыка Писаніа совершѣнно читати Обучити; къ прѣмому Бѣгопознанію ѿ Бѣгопочитанію наставити: ѿ къ понатію рѣзныхъ в' Гражданскомъ житіи нѣждныхъ вещей привести: Нынѣ пѣрвѣ ради оупотребленіа Сѣрбскаго Юношества ѿзданъ» (Венеция, 1767; 2-е изд. 1792). Букварь Орфелина был первым в его эпоху оригинальным букварем, не перепечатанным непосредственно с русского и составленным применительно к нуждам «Сѣрбскаго Юношества». Более компилятивным был его «Латинскій Букварь, содержащій начало ученія и единъ краткій словникъ Латинскаго языка съ Преводомъ Славено-Сербскимъ, ради Сербскихъ дѣтей. И всѣхъ, которые Латинскому языку учитися желаютъ, изданъ. 1766». Обе эти книги Орфелин издал анонимно.

Мы остановились подробнее на творчестве и языке Орфелина по ряду причин. Прежде всего, как уже отмечалось, потому, что Орфелин был центральной творческой фигурой в рассматриваемый период, значительно обогатившей жанровый состав сербской литературы (художественной и нехудожественной), затем потому, что он выработал определенную языковую систему применительно к своим произведениям (а также «переводам» и компиляциям), и еще по той причине, что период 1760–1780 гг. был временем кульминационным для развития и функционирования славяно-сербского, по сути дела русско-славянского (по терминологии А. Младеновича) литературного языка. Употребление этого языка продолжалось до XIX в., но ему в последнем двадцатилетии XVIII в. все более противопоставлялся язык, воз-

никавший на сербской народной основе с элементами русско-славянскими или, как иногда говорилось в те времена, — «обоюднославянскими» («средний» язык), наконец, язык, почти лишенный этих элементов.

Семидесятые и восьмидесятые годы XVIII в. (1760–1780 гг.) ознаменовались развитием светской литературы и появлением ряда жанров — оды, романа, лирических стихов, исторического повествования и моралистическо-повествовательной прозы, наряду с уже имевшимися и унаследованными от предшествующего периода церковными песнопениями, службами сербским святым, проповедями и т. п. Характерен рост числа учебной литературы и возникновение журнала («Магазинъ»), научно-познавательной литературы («Вѣчный календарь» и т. п.), появление светских писателей и переводчиков (Орфелин, Юлинац) и формирование круга читателей в городах с сербским населением, среди так называемого гражданского сословия («грађански сталеж»). Последние два десятилетия XVIII в. еще резче определили пути развития сербской литературы и сербского литературного языка: со сменой литературных направлений и вкусов началась и смена литературного языка, его основной базы и структуры, началось проникновение народного языка в литературу. Процесс этот развивался постепенно и не беспрепятственно.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК У СЕРБОВ В 1780–1800 гг.

Последнее двадцатилетие XVIII в. в истории сербского литературного языка может быть охарактеризовано как переходный период от славяно-сербского или, вернее, русско-славянского литературного языка к литературному языку на народной основе, хотя само понятие и формы «народной» основы были в то время достаточно расплывчаты и требуют дополнительного определения.

Для этого периода можно считать еще характерным наличие трех основных компонентов или трех основных моделей, или типов, в принципе даже трех разных языков — русского (или «русскословенского», т. е. определенного вида русского языка XVIII в.), древнеславянского (церковнославянского) русского типа и сербского (народно-сербского). Эти три языка или три типа, согласно терминологии и определенному локальному (внутреннему, внутренне сербскому) подходу некоторых исследователей (Младеновић, 1973), мо-

гут быть выделены довольно четко и определенно как некие модели или даже нормативные системы, но не как конкретный язык конкретных произведений и памятников.

Что касается языка отдельных произведений, то он в рассматриваемый период лишь в редких случаях отражал в чистом виде один из трех упомянутых языков (или типов), представляя собой в каждом конкретном случае определенную смесь или определенную переходную, нюансовую языковую картину, часто специфическую не только для того или иного писателя, но и для того или иного произведения отдельного писателя.

Такая ситуация может быть условно названа ситуацией конкуренции опытов нормирования и кодифицирования литературного языка, и она характерна лишь для определенных периодов — периодов борьбы за становление норм национального литературного языка. Именно в «преднациональный» период эта конкуренция обостряется, а ее прекращение знаменует собой начало нового этапа, этапа стабилизации норм национального литературного языка.

Для последнего двадцатилетия XVIII в. характерно не столько наличие и использование трех языков, трех языковых систем, что наблюдалось и в более ранние временные отрезки, сколько определенное соотношение текстов, написанных на этих языках, или приближающихся к ним в языковом отношении. Это соотношение свидетельствует об активном процессе вытеснения древнеславянского (церковнославянского) языка из литературной, в первую очередь светской сферы и о все большей противопоставленности «русско-славянского» (русского) языка в сербском употреблении и сербского языка на народной основе — «народно-сербского» литературного языка. Такая более резкая противопоставленность, ведущая, естественно, к решительной конкуренции, отклоняющей в конечном итоге возможность сосуществования, была вызвана как раз «уходом с основной сцены» древнеславянского языка, осуществлявшего роль координатора, нормализатора и основного связующего звена между «русско-славянским» и «народно-сербским». С отстранением «славянского» (церковнославянского) общая система связи распалась, и несовместимость отдельных языков и языковых элементов оказалась более очевидной. Система трех языков, воспринятая на какое-то время (40—80-е годы XVIII в.) как система трех стилей, и то не всеми и не в

полной мере, распалась, и процесс сближения этих трех родственных литературно-языковых образований, укреплявшийся рядом переходных форм, сменился процессом их отталкивания. Весь вопрос уже в XIX в. сводился к степени интенсивности этого отталкивания. Этому во многом способствовало расширение и изменение системы литературных жанров, а также быстрое развитие, обогащение и осложнение стилистической системы сербского литературного языка конца XVIII в. Конец XVIII в. ознаменован стремительным ростом сербской книжной продукции. Если, согласно библиографическому исследованию Г. Михайловича (Михайлович, 1964), с 1700 г. по 1740 г., как уже отмечалось, вышло около десятка книг, а с 1740 г. по 1780 г. — немногим более 130, то за двадцать последних лет их было напечатано более 250. Примечательно также и то, что стремительный рост произошел в последнее десятилетие: с 1790 г. по 1800 год вышло в свет 187 сербских изданий, немногим менее половины всех изданий за XVIII век. Известно, что количественные показатели сами по себе еще недостаточны и должны дополняться другими показателями. Именно этому и будут посвящены дальнейшие рассуждения. Отметим только заранее, что как раз к концу XVIII в. относится деятельность таких известных сербских писателей и переводчиков, как Досифей Обрадович, Йован Раич, Эммануил Янкович, Йован Мушкатирович, Григорий Терлаич, отчасти Захарий Орфелин и др.

Число книг, изданных в рассматриваемый период на древнеславянском (церковнославянском) языке, еще довольно значительно: оно не уступает числу книг, выпущенных за предшествующий период (около 30 книг), но в процентном отношении их удел оказывается значительно меньшим, чем в более ранний период. Состав этих книг довольно традиционен: псалтырь, евангелие, деяние апостолов, часослов, сборники молитв, акафисты, ирмологии и т.п.

Язык учебно-теологической и житийной литературы

Весьма характерен тот факт, что не богослужebная, а церковно-учительная литература, предназначавшаяся для учащихся духовных и светских школ различных уровней, писалась в конце XVIII в. уже на языке, близком к народному. Так, знаменитый катехизис Йована Раича, выдержанный с 1776 г. по 1797 г. пять изданий, хотя и изобиловал

церковнославянизмами, но в общем отражал язык торгово-интеллигентской среды Воеводины, своеобразное воеводинское койне³⁵.

В качестве примера можно привести начало «Вступленія» в «Катихісісъ малый...» по рукописи автора 1774 г.:

«Приидіте чада послушайте менѣ страху Бжію научу васъ»
Уал. 33, 12.

В[опросъ]. Чему насъ ты ѹчити хоѣшь, ка^д насъ тако ка-
жѣшь

Ѡ[говоръ]. Я васъ намеравамъ научити да будете добри
хр^стіани, и поштени члцы.

В. То ми желимо и хоѣмо слышати.

Ѡ. Ако желите и научитесе тако сатворите хоѣте бити блго-
получни на овомъ свѣту а на ономъ блажѣни.

Нетрудно заметить в приведенном отрывке элементы древнеславянского (а не русского) языка, типа члцы, элементы того же языка, общие с русским — слышати, и формы, характерные для сербского локального типа древнеславянского — сатворите. По поводу языка «Катихісіса малаго...» (в рукописи «Катихісмъ меншій...») известный сербский исследователь А. Младенович писал: «Поскольку это произведение написано для простого народа и детей-школьников, очевидно, что в нем следует ожидать народный язык (ср. Руварац. Арх. Ј. Рајић 69). И действительно, язык Раича в «Катихісмъ меншемъ» в значительной мере — народный, что, впрочем, уже известно. Но в «Катихісмъ меншемъ» немало элементов и церковнославянского языка, что, конечно, понятно, если принять во внимание характер самого произведения (ср. напр. *будетъ* КМ 4, 23, *будутъ* КМ 4, *самаго спасителя* КМ 8, *вѣчнаго грѣха* КМ 8, *жизнь* 10 и т. п.)» (Младеновић, 1964, с. 15).

В принципе тем же языком пользовался Раич в своих переводах с русского таких книг, как «Собраніе рѣзныхъ и праздничныхъ правоучительныхъ поученіи въ трѣхъ частехъ по ѡсобъ состоящее...» (Вена, 1793; рукопись датирована 1789 г.) митр. Гавриила Петрова и митр. Платона Левшина и «Свещѣнна Истѡріа ради малолѣтне дѣчице краткіма вопросама и ѡвѣтама сочинена у Москвѣ 1782 лѣ-

³⁵ Следует отметить при этом, что сами диалекты Воеводины не отличались и не отличаются и в наше время большой дифференциацией и составляют с собственно сербскими («сербянскими») диалектами одно диалектное целое — шумадийско-воеводинскую группу говоров.

та а на прѳстѳый сѳрбскѳй езѳкъ рѳди сѳрбске дѳчице пре-
ведѳнна въ лѳто 1792. Въ Монастырѳ Ковѳлѳ. Въ Вѳеннѳ,
1793» митр. Платона Левѳшина.

А. Младенович справедливо замечает, что речь в этом случае должна идти не столько о переводе, сколько об «осербливании» (*посрбљивању*) русских слов, форм и отчасти предложений (там же, с. 12). Но следует добавить, что это осербливание нередко вело к вольному пересказу оригинала, к более пространному его изложению. Так, если в русском оригинале «Свещенной Исторіи» находим — «Помраченіе ума и превратность вожделѳній», то в «переводе» Раича дается и перевод, и толкование: «Помраченіе ума и развратность воли, то есть склонность на свако зло, и одним словомъ зло срѳдце» (там же, с. 14).

Язык упомянутых произведений Й. Раича нельзя считать чисто народным, хотя он и называл его «простымъ срѳбскимъ езѳкомъ» и старался максимально приблизить к таковому, за что он значительно позже, уже в XIX в., снискал похвалу Вука Караджича. Говоря о «Свещенной Исторіи» Й. Раича, Вук отмечал: «Книга эта в наше время чрезвычайно важна для Сербского языка хотя бы потому, что ни в одной другой книге нет такого числа признаков подлинного Сербского языка, сколько есть в ней, и, во-вторых, что эта книга о Божественном и потому никто не может сказать, что ее какие-то еретики писали и в свет выпустили» (Караѳић, 1894, с. 262–263).

К языковой системе или, точнее, к гаммам языков и стилей, которыми пользовался Й. Раич, мы еще вернемся, когда речь пойдет о сербском «историческом слоге», о стихотворных произведениях и драме XVIII в., сейчас же отметим, что наряду с проникновением народного языка в церковную литературу чисто учебно-дидактического и проповеднического характера, наблюдалось и утверждение позиций древнеславянского (церковнославянского) языка русского типа часто со значительной долей элементов русского литературного языка XVIII в. за счет «сербульского» типа, принятого еще в начале XVIII в. и ранее. Довольно ярким примером этого процесса может служить «очищение» и сокращение Феодосиева «Житія... Сѳмѳона и Саввы...» (в тексте ошибочно авторство жития приписывается Доментиану), выполненное епископом Кириллом Живковичем.

В качестве примера такого «очищения» приведем начальные строки «Житія»:

Савва Святый пѣрвый Архїепіскопъ Сѣрбскій, Просвѣтитель и великій Чудотворецъ, бѣ сынъ великаго Кнѣза, Стефана Немани самодержавнаго владѣтеля Дїоклітіи Далмаціи, Травуниї, Босны, Славонїи, Рѣссїи, и всѣхъ Сѣрбскихъ, и во Іллїрицѣ обрѣтающихся Народовъ, иже первѣе Святѣмъ Апостоломъ Павломъ проповѣдь Евангелїа прїѣша крестїшаса (с. 3).

Историографический слог у сербов в конце XVIII в.

Как известно, утверждение древнеславянского языка русской редакции в богослужении продолжалось и в XIX в., и его церковный узус сохранился и в наши дни. Однако уже в конце XVIII в. начал ощущаться процесс обособления церковно-сакрального языка (древнеславянского русской редакции) от языка несакрального, который мог применяться и в церковной, и в светской сфере.

Таковыми несакральными текстами в конце XVIII в. были тексты исторического содержания. Довольно значительное число исторических сочинений в сербской литературе XVIII века отмечено до последнего двадцатилетия. Этот завершающий период, однако, был не менее богат книгами, посвященными отечественной сербской, южнославянской и русской истории.

Фундаментальным трудом в этой области было знаменитое четырехтомное разыскание Й. Раича «Исторія разныхъ славенскихъ народовъ наипаче Болгарь, Хорватовъ и Сербовъ изъ тмы забвенїа изытая и во свѣтъ историческіи произведенная Іоанномъ Раичемъ архимандритомъ во Свято Архаггелскомъ монастырѣ Ковилѣ, часть I–IV. Въ Виеннѣ. 1794–1795».

Язык этого произведения близок к тому языку, которым написана орфелинская «Исторія о житїи и славныхъ дѣлахъ ... Петра Великаго ...» (1772 г.). По сути дела такой язык был одной из разновидностей русского литературного языка XVIII в. («историографический» его слог) с таким же, как и у русских писателей того времени, осложненным на латинско-немецкїи лад синтаксисом и еще с отдельными словами сербско-книжного происхождения. Морфология же и графико-фонетический облик слов за некоторыми редкими исключениями носят типично русский характер, что видно хотя бы из следующего отрывка из «Исторїи» Й. Раича:

Славянъ, или Славиновъ имя прежде шестаго столѣтствія и время Іустиніана Великаго Императора Римскаго Греческимъ и Латинскимъ Исторіографомъ свѣдомо небыло по свидѣтельству Кромера (Кн. I. Гл. I) но ниже мѣсто кое в Земляхъ или въ Человѣцѣ каковомъ въ древныхъ Географіяхъ, или Исторіяхъ обрѣтается, откуда бы сей Славенскій Народъ порѣкло свое произвести могль... (т. I, с. 2–3).

Русский характер языка этой книги подтверждает, как и в случае с историческим сочинением о Петре Великом З. Орфелина, переиздание с незначительными исправлениями первого тома раичевой «Исторіи» в России, в Петербурге в 1795 году. Как известно, «Исторія» Раича дождалась своего выхода в свет около тридцати лет (Радојчић 1952, с. 63–65), и если учесть этот момент, станет ясно, что большие исторические разыскания Орфелина и Раича возникли почти одновременно. Первого интересовала новая по тому времени история, второго — преимущественно древний и средневековый период.

Однако установившийся к последней трети XVIII в. язык исторических сочинений оказался очень сильно сербизированным в переводе Николая Лазаревича «Повѣсти житія славнаго и побѣдоноснаго Россійско-императорскаго Фелд-маршала Графа отъ Суварова Рымникской Ніколаемъ Лазаревичемъ иногда бывшимъ Нормальныхъ Школъ Наставникомъ съ Нѣмецкаго на Славеносербскій языкъ преведена» (Въ Будимѣ, 1799) (см. Албин, 1969). Показательна при этом тематика книги, свидетельствующая о неослабном интересе сербов к русской воинской славе, к русским «державным персонам» — правителям и полководцам (см. Мокутер, 1972; Mokuter, 1965).

Еще один вопрос был актуален для сербов в Габсбургской империи во второй половине XVIII в. — вопрос, поднятый итальянцем Мавро Орбини в его известной книге «Il regno degli Slavi» (Pesaro, 1601), о христианизации славянства при Кирилле и Мефодии. Орбини полагал, что оно было проведено по римскому образцу, и поэтому к переводу Саввы Владиславлевича (СПб., 1722) было добавлено обширное послесловие Феофана Прокоповича, где мнение рагузинского (дубровницкого) бенедиктинского монаха оспаривалось. Точку зрения Феофана Прокоповича изложил и поддержал в своей «Исторіи» Й. Раич. Не приходится удивляться поэтому, что всего лишь два года спустя после выхода первых

томов раичевой «Исторіи» в переводе еписк. Петра Петровича с немецкого вышла книга Х. С. Смиды «Историческое разсмотреніе вопроса есть ли христіанство въ Бохеміи и Моравіи чрезъ Мееодія по учению греческія или латинскія церкви введено?» (Въ Будимѣ, 1796). Языкъ этой книги — также русский историографический слог с некоторыми элементами древнеславянского и сербского языка.

К числу исторических сочинений рассматриваемого периода можно присовокупить еще довольно краткие описания истории «пречанских» (задунайских и засавских со стороны Белграда) сербских монастырей Викентия Луштины «Краткая повѣсть ѿ общежителномъ монастырѣ Златицѣ во Валахо-Иллѳріческой Региментѣ сущемъ: ѿ егѡ началѣ и приключеніяхъ ѿ 1225 даже до 1797 лѣта (Въ Будинѣ, 1798) и «Краткая повѣсть ѿ общежителномъ монастырѣ Мѣсичѣ сущемъ въ Банатѣ Темишварстѣмъ...» (Въ Будинѣ, 1798) и Викентия Ракича «Исторія монастырѣ Фенѣка...» (Въ Будинѣ, 1799). Языкъ этих кратких исторических очерков не очень удален от историографического слога Й. Раича, но и не лишен своеобразия. Он изобилует сербизмами: у Луштины прежде всего лексическими (*планина, шума, воденица* и т. п.), а у Ракича и грамматическими. Сочинение В. Ракича написано десятистопным силлабическим стихом и потому оказывается одновременно и поэтическим произведением барокко-виршевого типа.

Административно-юридические документы и их язык

В конце XVIII в. текстами, относительно близкими по своему стилю и содержанию к историческим, были рескрипты, распоряжения и документы юридического, административно-юридического и административно-хозяйственного характера. И хотя основными деловыми и канцелярскими языками в пределах Австрийской империи были, как отмечалось выше, латинский и немецкий язык, некоторые указы, узаконения и установления печатались на «славено-сербском». Этот «славено-сербский язык» был в отдельных случаях таким же, как и в исторических сочинениях, а в других случаях он содержал меньшее число русизмов, будучи своеобразным симбиозом сербского городского разговорного языка, наделенного грамматическими и иными чертами воеводинских говоров, с древнеславянским языком русского образца, приспособленного к административным нуждам и от-

раженного больше в орфографии, чем в лексике и грамматике. Как правило, эти тексты были очень краткими (от 10 до 25 страниц) и не очень многочисленными (за последнее двадцатилетие XVIII в. их насчитывалось менее двадцати). К ним относились: указ о крестьянах, брачное узаконение, распоряжение о служителях, указ о золотых деньгах, наставление помещикам, закон о выезде из империи, закон о бродягах, закон о преступлениях, школьные ученические правила, положение о тушении пожара и др.

В качестве образца славяно-сербского языка на русской основе приведем отрывок из «Школскихъ ученическихъ правилъ» (Вена, 1793):

І Какъ ученицы пре^д бгѡмъ и въ цркви стоати имѡють. А. Пре^д бгѡмъ: 1. Начало премудрости есть страхъ бжій. Страху сему ученицы наипаче въ школъ да обучаются; ибо той есть крѣпчайшее побужденіе къ блгосодержанію, и служить ср^дцамъ страха тогѡ исполненнымъ ѿ грѣха удержатиса, емуже страстный чело^вкъ немалую склонность имать (Начало «Правилъ», с. 2).

Аналогичным языком писан рескрипт Иосифа II о «греческом» богослужении в Вене (1783).

В качестве образца языка, приближенного к народному, приведем отрывок из указа Иосифа II о золотых деньгах (1786):

Мы Юсифъ второй, бжіею млтію избранныи Императоръ Римскіи ... Понеже не само в' общей торговини по целой Европи, но и по издатимъ в' чужихъ державахъ заради новаца уредбамъ, злато спрошу сребра в' цѣни много выше повишено есть, нежели какое досадъ по Нашим узаконѣніамъ злато Нашихъ державъ оцѣнѣно было ... (Начало указа, с. 1).

Таким образом, к концу XVIII в. деловой официальный язык оказывался не монолитным: в нем соперничали идиомы — русско-«славяно-сербский» и «средний», значительно сближенный с народным, но чисто народный еще отсутствовал.

Язык сербской журналистики конца XVIII в.

Язык указа о золотых деньгах близок к языку сербских газет того времени. Появление «Сербской новины» и «Славено-сербскихъ вѣдомостей» в Вене в 1792 г. и регулярный выпуск последних в течение 1793–1794 гг. свидетельствует о возникновении к концу XVIII в. если не массового, то все

же немалочисленного сербского читателя, которому и пред-назначалась газета. И хотя из-за ограниченного числа подписчиков «Новина» почти сразу, а «Вѣдомости» на третьем году прекратили свой выход в свет, сам факт их существования явился важным звеном в истории сербской культуры и сербского литературного языка.

Как образец газетного языка приводим отрывок сообщения о России:

РОССІА. Изъ Петербурга являсе, да Началныи Генераль Графъ Суваровъ кои э у финланду Команду водіо, отъ Императрице отржеденъ есть за Комменданта надъ цѣлимъ войнствомъ Губерніи Екаѳерінославской, Крѣма, и другихъ отъ Турковъ недавно отузетихъ Земаля. Прежде нежели э войнство сего славнаго Коменданта на зимне Конаке отишло, держао Г. Генераль у предѣлу отъ Иммола мустерунгъ, гдисусе све Регѣменте къ великому удовольствію нѣова Комменданта владале (Славенно-сербскія вѣдомости, № 1, 28. Декаврѣа. 1792, с. 8).

Уже в приведенном отрывке можно заметить, помимо русизмов, некоторые «диалектизмы» по отношению к современной (и поздней вуковской) норме, вроде икавских форм *гди* (*гдисусе*), *нѣова* (ср. форму с *x* — *нихова*), славянизмы типа формы *отржеденъ*, соответствующей нынешней *одређен* (возможно, что такое чтение при написании *жд* и существовало), *славнаго* (ср. русское дореволюционное написание *славнаго* и нынешнее сербское *славнаго* и *славног*), *нежели* и др., варваризмы *мустерунгъ*, *регѣментъ* и т. д.

Исследователь сербского литературного языка того времени А. Албин пришел к выводу, что в языке сербских газет 1792–1794 гг. «мы находим смешение языковых слоев, то есть сербско-славянских, русско-славянских, шумадийско-воеводинских и народных (общих) сербских черт» (Албин, 1968, с. 107), подобно тому, как это наблюдается в языке некоторых произведений Орфелина, Раича и даже в языке Обрадовича. Хотелось бы, однако, отметить, что, если уж различать шумадийско-воеводинские черты и черты народные «общие» (что вызвано, вероятно, ретроспективным взглядом от караджичевской или даже современной нормы), то следует, безусловно, отграничивать и русский язык XVIII в. от древнеславянского (церковнославянского) языка русской редакции, хотя сербскими писателями и журналистами в конце XVIII в. употреблялись преимущественно такие русизмы, которые были общи русскому языку XVIII в. и древнеславянскому поздней русской редакции.

Смешение языковых слоев в газетном языке не было четко нормировано или хотя бы достаточно упорядочено. Вообще можно даже говорить об отсутствии газетно-языковой нормы в современном ее понимании не только в формальном (фонетико-морфологическом и синтаксическом), но и в лексическом отношении. Так, в «Вѣдомостяхъ» наряду с более употребительной формой *человѣкъ* можно иногда встретить и сербское народное *човекъ*, или помимо слова *соборъ* изредка бывает сербульское (древнеславянское сербского типа) *саборъ*, помимо русского (и древнеславянского русского типа) *конецъ* — и сербизированное *конацъ*, которое позже в вуковом и современном литературном языке заменено словом *крај* (Албин, 1968, с. 109). Все же некоторое преобладание русско-древнеславянско-русских (т. е. русских и церковнославянских русского образца) элементов в формальной стороне слова было очевидным: *конецъ*, *князь*, *священникъ*, *любезный*, *темница*, *отечество*, *соборъ*, *полнъ*, *солнце*, *долги*, *пепелъ*, *пишу*, *воуетъ* и т. п. Указанный разноречивой мог быть связан и с темой газетной заметки или сообщения, и с ее источником, хотя подобные колебания были известны в то время и в текстах и языке одного автора.

Особый интерес представляет стиль и язык прокламаций, распространявшихся австрийскими военными и гражданскими властями либо во время временной оккупации сербских территорий, находившихся под турецким владычеством (1788–1791), либо в пределах своих владений. Естественно, они предназначались более широкому кругу читателей, чем круг читателей газет, однако их язык очень близок к газетному и юридическому (языку постановлений, рескриптов и т. п.), что видно хотя бы из следующих отрывков:

... Будући да Оттомáннїческаа Пóрта Царицу Моско́вскую неприáтелски оувреди́ла естѣ, а Вели́чество Имперáтора ка́ко вѣрнѣйшїи союзникъ Царицы Моско́вскїа, принуждена себѣ на́ише и ѿ своѣ стране ору́жїе дїзати и войску свою́ протїву Пóрте ступáти дáти...

... А кои бы дóмъ сво́й, или́ другóе своѣ жили́ще и звáнїа своегò дѣла́ оставили, побѣгли, и за крáтко врѣме не бысе паки возвратили, хо́теду свѣга свога бл́га и имѣнїа во вѣки лишѣни, и та́ нїова имѣнїа дрúгимъ оне исте цр́кве хр́тїаномъ, ко́и ко́дъ дóмовъ при дѣлѣхъ своихъ мирно се влáдаю, абїе явнò подѣлена быти... (1788).

Однако «доза» различных элементов и тем самым степень смешанности языка в текстах указанного типа не была стабильной. Так, например, в прокламации, распространявшейся в Среме в 1795–1798 гг. на разных языках в связи с эпидемией чумы, преобладает русско-славянорусский язык с довольно ограниченным числом сербизмов и с громоздким, характерным и для русского «славянского» высокого стиля синтаксисом, что очевидно из приводимого отрывка — начала прокламации:

Краткое поученіе како отъ куги сачуватися мощи.

1. Куга, аще паче другихъ Болъзней смертоноснѣиша есть, ничегоменше имѣеть она паче другихъ добро сіе въ себѣ, да Богъ человѣкомъ во обще власть далъ есть въ свирепствѣ ея наивяцшемъ угнетати, особенноже всякому отъ ея сачуватися мощи. 2. Собственному токмо пренебреженію, собственной токмо предосудительности, яже чрезъ надежду на недѣйствителна не само, но и шкодлива средствія, отъ употребленія истинно полезныхъ употребленіяхъ удержаютъ, человѣци да припишуть, аще Куга опустошеніи между ими творити будетъ. Они еще к тому противу самага Промисла Божіа грѣшатъ, понеже средствіямъ отъказываютъ, кои ихъ къ избѣжанію страшнѣшаго зла упутствуютъ.

Грамматическое оформление слов в этом тексте преимущественно русское и русско-славянское, лексика того же происхождения за исключением ряда слов или сербских, или созданных по сербскому образцу (*куга, сачуватися, упутствуютъ*), синтаксис же — латинско-немецкий с обязательной постпозицией глагола. Едва ли сербский простолудин понимал эту сложную контаминацию книжных форм, слов и их сочетаний.

Учебные книги, словари, школьные и иные похвальные слова и их языковая характеристика

Язык учебников, число которых к концу XVIII в. стало значительным, был близок к средне-смешанному типу, присущему газетному языку. Довольно ясно проступающая народная основа, принятая в Сремских Карловцах, в сербской митрополичьей столице, не без влияния венских правительственных кругов, в учебниках теологического характера и прежде всего в «Катихисѣсѣ» Й. Раича, о котором речь была выше, может быть прослежена и в ряде отдельных пособий по языку (грамматики иностранных языков и т. п.) и особенно по точным наукам (арифметике и т. п.).

Довольно чистый «славено-сербский» язык русско-славянского образца сохранился, однако, в букварях, переиздававшихся неоднократно после 1770 г., и в грамматике А. Мразовича («Руководство къ славенстѣй грамматіцѣ во употребленіе славено-сѣрбскихъ народныхъ Училищъ издано трудомъ Авраама Мразовича иждивеніемъ же общества Новосадскаго. Въ Віеннѣ, 1794).

Это видно из приводимых отрывков из грамматики, взятых из «Предисловія» и раздела «G) Глаголь»:

Съ начала ещё мною воспріятаго оуправленія повѣренныхъ мнѣ Народныхъ Оучилищъ единое ѿ главныхъ моихъ попеченій, бѣ между прочими оученическими предметы и наставленіе къ Славенстѣй Грамматіцѣ въ тѣхъ вѣсти; и сегѡ ради къ произведенію сегѡ полезнаго намѣренія потщѣхса многоразлична здѣ и индѣ ѡбрѣтаемыя Славенскія Грамматіки, и наже лучшаа тѣхъ избрати: (стр. III). G) Глаголь. А. Из'ясненіе глагола. Глаголь есть часть слова скланаемаа, ѡже состояніе каковыаго лица или вѣщи купно съ временемъ показуеть; нако азъ есмь, онъ почиваетъ, мы пишемъ, они любятъ. Б. Раздѣленіе глаголовъ. 1. Въ смотреніи знаменованія еже имбють, и сѣтъ такови, а. Дѣйствителни, иже дѣйство каковыа вѣщи внѣ тоа бываемое знаменуютъ. Н. п. Пытаю, бію. Здѣ не пребываетъ дѣйство во вѣщи, наже дѣйствуетъ, но простыраетса къ другѡй вѣщи (с. 96).

Таким образом, в конце XVIII в. у сербов «словенский» (древнеславянский позднего типа) был грамматически кодифицирован, в то время как сербский письменный язык на народной основе оставался грамматически некодифицированным до времен Вука Караджича.

Нечто вроде опыта грамматической нормализации славяно-сербского языка, приближенного к «среднему слою» (т. е. русско-славянского, приближенного сербскому русифицированному), опыта, сделанного, правда, в целях объяснения форм и структуры значений итальянской грамматики, было произведено Викентием Лупштиной, который отмечал, что его книга «списана есть общимъ нарѣчіемъ (діалектомъ) Иллуріческимъ обыкновенно Славенносербскимъ назоватимъ» и, притом, приспособленная для понимания «обучающейся Юности» («Грамматика италіанская ради употребленія Иллуріческія Юности собрана Вікентіемъ Лупштиной». Въ Вѣннѣ, 1794). Раздел, касающийся лексики, и в особенности

разговорник Лупштины, пронизаны сербской речью (подробнее см. Costantini, 1976).

Попыткой, хотя и не очень удачной, лексической кодификации славяно-сербского языка на русской основе было издание словаря, приписываемого Теодору Аврамовичу («Нѣмецкій и сербскій словарь на потребу сѣрбскаго народа въ Кра́л. державахъ». Въ Ви́еннѣ, 1 изд. 1790; 2 изд. 1791). Следует заметить, что помимо русских и «славянских» (церковнославянских) слов, взятых, как известно, из рижского немецко-русского словаря Я. Родде (1784) (см. Гудков, 1972), Т. Аврамович внес немало сербских народных слов (часть из них с чертами воеводинских и локальное — сремских говоров (Албин, 1970) и тем самым отразил состояние литературного сербского языка конца XVIII в., допускающего смешанный тип в различных пропорциях смешения. Лексическую кодификацию языка на народной основе произвел почти три десятилетия спустя Вук Караджич, издав свой «Српски рјечник» (1818) (см. Ивић, 1966).

В конце XVIII в. в сербской задунайско-савской среде («преко») возник особый вид или жанр произведений, связанных с деятельностью средних школ или учреждений, близких к митрополичьему двору, жанр приветственных и похвальных слов. Сохранилось около полутора десятков опубликованных слов этого типа, что свидетельствует об особом интересе и внимании к этой форме торжественного красноречия. Среди них следует упомянуть «Слово благодарственное по окончаніи испытаніа господамъ посѣтителемъ и родителемъ ꙗкоже и Господину Локал-Директору ученикомъ Илію Живанновичемъ изговоренное 1799-го года во первомъ теченіи Мѣсаца Марта дня» (Въ Будинѣ писмены Кралевскаго Всеучилища [1799]), автором которого был Яков Пеякович, «Слово на торжественный праздникъ Народнѣ Осѣчке школе Наставникомъ» (Въ Вѣннѣ, 1792), «Слово тержественное Егѡ Высокородію Господину Іакову Петы Егѡ сѣценнѣйшаго Ц. К. и Ап. Величества Совѣтнику и Народныхъ училищъ кралевскому надзирателю такожде и благороднымъ из средѣ славнаго Пештанскаго Магістрата судіамъ, Г. Міхаилу Крегару гражданоначалнику, Г. Іоанну Мушкатиновичу старѣйшинѣ ꙗкоже и ѡбранномъ граждановъ кругу. Случаемъ ꙗвнаго въ наукахъ Испытаніа въ Собственномъ Народу Сѣрбскаго Училища изговорено. На той наипаче конецъ, во еже убѣгихъ училищъ Юношъ нужд-

нымъ недостаткомъ изъ Общїа казнѣ спомоществовати. Въ Пештѣ. 4/15 Септѣмвриа 1799» Космы Йосича, «Слово въ день торжественна инцаллаціи Езцелленціи Православнаго Архиеп^скопа Карловачкаго, всегѡ Славено-Сѣрбскаго народа Митрополита, Егѡ спѣннѣйшаго Цесаро-кравлевскаго и Апостоліческаго Величества Тѣйнаго Совѣтника Г^сдина Мовсеа ѿ Путьникъ. Проповѣданое во Всенарѡдномъ Собраніи въ Каѣдральной Митрополїи цркви Димїтрїемъ Геѡргїевичъ проповѣдникомъ ѿ Протопресв^ттеромъ... Карловачкимъ М^сца Юніа 29 дни 1781 лѣта (Напечатано во Вїеннѣ при Іосифѣ блгородномъ ѿ Курцбекъ востѡчномъ дворномъ Тѣпографѣ въ лѣто 1781)», «Слово в' предѣ избраніе Архі-Еп^скопа и Митрополита Авраамомъ Петровичъ прото-пресв^ттеромъ Конзїсторїума епархїй Бѣчкіа подѣ 29-мъ Октобвриа 1790 лѣта въ Темисварѣ сочинено (Въ Вїеннѣ, 1791)» и др.

Уже сами заглавия «слов» многое говорят о их языке, а в некоторых случаях и о таких элементах языка, как акцентная система. «Слово» Стефана Раича, наставника Осечской школы, сплошь пронизано народными элементами (Албин, 1963), в то время как «слова» пештских и карловацких казнодеев — очень далеки от народного языка и преисполнены витийства, присущего высокому «славенскому» слогу. Латинский синтаксис, типичный для «славянщины» XVIII в., в них ярко обнаруживается, а часть этих «слов», например, «Слово торжественное» Космы Йосича, или «Слово въ день... инцаллаціи...» Дмитрия Георгиевича, имели параллельные латинско-славянские тексты.

В качестве иллюстрации приведем еще одно «слово», одно из самых коротких, — «Слово предѣ Испытомъ Іоанномъ Мушкатиновичъ глаголаное»:

Вседражайшее присутствїе Ваше, егоже насъ удостоили есте, Высокопочтеннѣйшїи Благодѣи! Толикаа въ сердцахъ нашихъ дѣйствуетъ движенїа, да мы таковое, за многоцѣнный даръ нѣкїй почитовати имама; обаче еликѡ вацшее днесъ веселїе: толико болше страху подверженїи есмы, боящеса, да не како вмѣсто веселїа, еже ѿ Вашеѡ съ нами удовольствїа получитьи уповаемъ; печаль не малую приобращемъ, ибо несумнѣнно будетъ здѣ, ихже ожиданїю труди наша негли ѡвѣствовати не будутъ; ничто менше, мы доволнїи суще тѣми, иже возвратъ и слабость такожде нашу въ разсужденїе благонаклонно прїемлютъ въ прописанныхъ предмѣтахъ учебныхъ, ѡвному испыту, дерзновенно подвергаемса («Торжественный испытъ четыреде-

сать и пать учениковъ въ Національномъ неунитскаго закона Училищи Пештанскомъ до окончаномъ теченїи лѣтномъ месеца августа дне 31 лѣта г^сдна 1793 явнѣ производимїи. По полудне ѿ 3 до 6 Часовъ — Въ Вїеннѣ. При б. Г. Стефанъ Новѣковичъ...).

Русский возвышенный слог с древнеславянскими (церковнославянскими) элементами (*имамы, есмь, обаче* и т. д.), изредка с сербской локальной окраской (*испыту, почитовати*), но почти без типично сербских фонетических черт, характерен для «слова» И. Мушкатировича.

К сожалению, на эти витийственные тексты исследователи обращали мало внимания, между тем как они, на наш взгляд, хорошо отражают языковые нормы, принятые в практике сербских училищ и влиявшие, несомненно, на развитие литературного языка. И хотя следует признать, что эти тексты имеют малую литературную ценность, их значение как памятников литературного языка немалое.

Дифирамбическая и «гражданская» поэзия и ее язык

Наряду с похвальными словами среди сербов в ту же пору бытовали и дифирамбические стихи. К таковым принадлежали «Стїхи сочинени на похвалу Его Величеству Государю Леополду Второму Императору Римскому Кралю Унгарскому и прочаа и прочаа. Иждивенїемъ Міхаила Владиславлевича, Нормалногъ учителя» (В' Вїеннѣ, 1791) неизвестного автора, «Пѣснь похвѣлнаа благоу́дному Господару Димитрію ѿ Анастасїевичъ и прочимъ жителѣмъ карловачкимъ за ревность къ наукамъ и основанїе Народнаго гимназіума Карловачкаго сложена ѿ народолюбца» (Въ Вїеннѣ, 1793) Николы Стаматовича, «Стїси на похвалу Преосвященнѣйшаго и Высокодостойнѣйшаго-Господина Стефана отъ Аввакумовичъ Жезль архіерейскїй въ Карловцѣ Сремстѣмъ приѣмлющаго. Сочинены Гавріиломъ Храниславлевичъ въ К. Університетѣ Пештанстѣмъ правъ слышпателемъ» (Въ Будимѣ... 1798), «Славопѣніе въ жѣртву ѿбщаго благодаренїа пречестнѣйшему Господїну Архімандрїту Раичу при случай трудѣвъ Егѣвъ въ Дѣписанїи славанскихъ народѣвъ на свѣтъ испѣдшихъ принесѣнное родосинѣвнею благодарностїю Григ. Терлайча. Мѣсаца Листопада 22. днѣ 1794» (Въ Вїеннѣ) и другие. Были случаи, когда дифирамбические стихи сопровождали слова того же плана, как это сочеталось в сочинении иерея Максима Рашича «Слѣво купнѣ с пѣснїю. Въ день пришествїа

Егò Еѣцеллѣнцій Гѣдна Петра ѿ Петровичъ... (Въ Будимѣ, 1799).

Приводим финальные строки этого сочинения:

Ѡ! Владыко ТЕБѢ желимъ
 здравствуй всегда и бодерствуй
 съ нами долгоденствуй.
 Все торжествуйте
 и днесъ воспойте
 ПЕТРА ПЕТРОВИЧА.

Естественно, что помимо печатных стихотворных дифирамбов было известное число рукописных, зафиксированных песенниками XVIII в. и начала XIX в. Одним из таких было «Привѣтствіе высокопреосвященнѣйшему и высокодостойнѣйшему Господину Г. Викентію Іоановичъ ѿ Видакъ во врѣмя избранія на архиепископство. Сочинилъ Іоаннъ Аввакумовичъ в Карловцѣ»³⁶.

Приводим первых два четверостишия (из пяти) этого стихотворения:

Видакъ Сербїи имя умилно,
 радость и славу днесъ изобилно
 тебѣ вѣщаетъ
 та прославляетъ
 ТОРЖЕСТВУЙ.

Иди, воужи съ жезломъ, сапоги
 облекъ крыловни, Меркуръ, на ноги:
 воструби ясно
 востоку гласно
 ВИКЕНТІЙ!

Довольно четко выраженный русский литературный язык XVIII в. с некоторыми сербизмами и типичными русизмами, которые, однако, для сербов в те времена были лишены сниженной стилистической окраски (*сапоги* и т. п.), язык, очень близкий к похвальным словам, но почти лишенный типичного для них латинизированного синтаксиса, был ха-

³⁶ Цит. по изд.: Остојић и Ђоровић, 1926, с. 17. Текст предположительно ретранскрибирован с современной орфографии. Избрание Викентия Иовановича Видака митрополитом произошло 5 июня 1774 г. Таким образом, традиция подобных приветствий у сербов идет во всяком случае от начала 80-х годов XVIII в.

рактен не только для дифирамбических стихов, но и для многих стихов иного назначения.

В качестве примера недифирамбической поэзии приводим начало из книжечки «Стіхи о нѣдели честь субботи пріемшей» (Въ Виеннѣ, 1792) неизвестного автора, изданные «иждивеніемъ Міхаила Владиславлевича»:

Въ началѣ мѣра, егда созидаше,
Творецъ вся, яже видитъ око наше.
Въ шесть дней изволилъ, всю тварь совершити,
Благоволиже, въ седмый день почити.
Еже новыя преста, твары созидати,
Но не преста, о тѣхъ промышляти...

На формирование сербской поэзии XVIII в. и ее поэтического языка большое влияние оказали тексты южнорусских школьных духовных песен и вирш, принесенных русскими учителями еще в первой половине XVIII в. Так, сербами был воспринят целый цикл праздничных церковных песен, в числе которых только рождественских было семь («Слава во вышнихъ Богу», «Шедше тріе цары», «Богъ предвѣчный народился», «Ликуй днесъ Сиѡне» и др.). Сборник этих песен был издан «иждивеніемъ Г. Даміана Каулиціи Новосадскаго книго-продавателя» под названием «Пѣсни разлічныа на Господскіа праздники» (В' Виеннѣ, 1790).

Т. Остоич и В. Чорович собрали большую коллекцию (133 номера) сербских рукописных стихов XVIII в. (Остојић и Ђоровић, 1926), которая в последние годы пополняется новыми публикациями (Сучевић, 1956). Любопытно, что эти стихи демонстрируют по сути дела все типы (виды) литературного языка, или, точнее, литературных языков, бытовавших в сербской среде во второй половине и к концу XVIII в. — русского, славяно-русского (т. е. церковнославянского русского типа с элементами русского, а иногда и сербского языка), смешанного славяно-русско-сербского (очень часто со значительным преобладанием последнего) и чисто сербского языка, т. е. языка, близкого к народному или народному. Существенно, что выбор языка (или «типа» языка) очень часто определяется поджанровым показателем или тематикой стихотворения. Стихи на евангельские и подобные сюжеты написаны русским и русско-славянским языком преимущественно, в то время как лирические любовные (иногда даже несколько фривольные) стихи сочинены на на-

родном языке. Чистый сербский язык представлен в стихах, писанных народным размером и в народной манере. Однако иногда и в текстах первой группы встречаются духовные стихи, отличающиеся народным слогом:

Стаде Госпа ядовати
Христось съ крста вопияти:
“Ти отиди майко моя
Теже су ми сузе твое
Нег на крсту муке мое!”

(«Пѣснь во Великій постъ». Остојић и Ђоровић, № 8; орфография здесь и далее восстановлена мною предположительно).

И наоборот, в любовной лирике может быть представлен русский язык, пронизанный сербизмами:

Ах, нещастна моя младость
мѣняешся ты днѣсь [въ] жалость:
Престаетъ днѣсь союзъ любви
ибо люта смерть мя уби.

(Остојић и Ђоровић, № 74)

Таким образом, «рукописная» лирика в принципе оказывалась наименее нормированным жанром в отношении языка, что и естественно, так как она находилась на грани устной и книжной словесности и отражала разные традиции — духовных песнопений, народных духовных стихов, народной лирической поэзии, дифирамбической поэзии, русско-западноевропейских образцов.

Влияние рукописной и народной традиции сказалось и на языке печатных поэм и баллад на духовные и «исторические» темы. Довольно ярким народным языком окрашены поэмы Стефана Стратимировича и Викентия Ракича:

Любосава или совѣтъ матере ко дшери. Пѣснь 1-я.
Сербска Майка Кт'ѣрку совѣтуе:
Любосава мое мило дѣте!!
Кр'ви моа!! тыси ветъ велика,
Дойде време да ти майка каже...

(«Любосава и Радванъ или Пѣсни нравоучителны по начину простонародныхъ сербскихъ пѣсней». Въ Будимѣ, 1800, с. 3. Автор — митр. Стефан Стратимирович — не указан).

или:

Жертва Авраамова.

Аггѣль: Пробудѣсе и дѣгни Авраа́ме,
И ѡбрати твоѣ лице на ме.
Донесѡхъ ти заповѣдь ѿ неба
Бѡдру тебѣ сада бѣги треба...

(«Жертва Авраа́мова ѣ собесѣдованіе грѣшника съ Бого-
матерію. Превѣденное съ Грѣческаго на Сѣрбскій ѣзыкъ
Вѣкѣнтѣемъ Ракичемъ Проигуменомъ Фѣнечкимъ...» Въ
Будинѣ, 1799).

или:

Пѣснь с̣ : в̣: мученицы Варвары:

- (1) Оу времена Маѣміанъ цара,
без'божнога елинскогъ цесара
- (2) Славанъ богатъ родомъ елинъ беше
у Илиполю Дѣоскоръ се зваше.
- (3) Родиму се кѣрца единаца,
Варвара е то башъ мученица...

(«Пѣснь историческаа ѡ житіи Сватаго и праведнаго
Алеѣія Человѣка Божіа ... сочиненнаа Викѣнтѣемъ Ра-
кичъ ... Въ Будимѣ [1798])

Народный язык с очень незначительными славянизмами присутствует, как видно, и в произведении с национальным сюжетом («Любосава и Радованъ»), и в произведениях с библейскими или христианскими агиографическими сюжетами. Такой же язык обнаруживается в «перевод» на «простосербскій ѣзыкъ» Стефана Раича поэмы «Сатуръ или дивій човекъ» Антона Рельковича (Вена, 1793). «Перевод» этот фактически был с такого же «простого» языка, но в икавском диалектном облике (Алексић, 1930–1931), — говоря современным языком, осуществилась передача одного варианта сербскохорватского языка другим вариантом.

Любопытно, что в большинстве случаев заглавия книг и песен даются на русско-славянском, а текст — на сербском. Интересна и орфография в поэме Стратимировича с передачей *ћ* в виде *т* с паерком (при одном случае — *ћешь*) и слогового *р* в виде *р* с паерком, иногда, вероятно, в виде *ер* (*сербска*), и принятый в ней размер — «десетерац». Характерно и указание в самом заглавии поэмы «Любосава и Радованъ» на то, что она написана тем же способом, что и «простонародные» песни (см. подробно: Младеновић, 1971). Та же «простонародная» манера была принята в рукописном прозаическом сказании о битве на Косове поле, известном под заглавием «Житіе св. князя Лазаря», основанном на

сербских народных эпических песнях (Гудков, 1974). Текст его возник, вероятно, в первой четверти XVIII в., а списки известны начиная с 1746 г. Следует помнить, однако, что возникшая на основе тех же сербских эпических песен Трношская летопись была писана поздним древнеславянским языком русского извода.

Черты народного языка довольно ярко проступают и в известном стихотворении Йована Раича «Бой змаа са ѓрлови на краткѡ ѡписанъ ѿ I. P. A. в' Лѣто 1789» (Въ Виѣннѣ, 1791), аллегорически прославляющем победы русского и австрийского оружия над турецким (над «змеем»):

Зма́й се лю́тый го́тови
 съ ѓ́рли воева́ти:
 Не́кага не́къ се лю́ти
 хо́ће ихъ позна́ти:

—
 Араві́тскій лю́тый змай
 потре́суе крѣ́лы,
 Оштрѣ́ зу́бе ѣ но́кте
 и ѡ́вѣѣ́тъ се си́ли

(с. 3)

Б. О. Унбегаун отмечал близость языка и стиля этого стихотворения к языку и стилю сербских народных песен. Исследователи обращали внимание на употребление в «Бое» народных пословиц и постоянных эпитетов. А. Младенович справедливо указал, что в этом стихотворении «читатель сразу же встречается с народной лексикой, которую он не найдет в остальных трудах Раича» (Младеновић, 1964, с. 18). Есть у Раича и слова, которые позже, в конце XIX в. и в XX в., стали ощущаться как диалектизмы (*гдино* 'где', *јербо* 'ибо', *погледитиш* и др.), связанные со сремской территорией.

Наконец, следует сказать, что такой типичный для классицизма поэтический жанр, как ода, продолжал бытовать у сербов и в конце XVIII в. и сохранял популярность в первые десятилетия XIX в.³⁷ Известны «Ода юже преосвященнѣйшему Господину Стефану отъ Аввакумовичъ въ достоинство епископства ступившему. Посвятилъ Лука Емушицкѣй во Всеучилици Пештанстѣмъ правахъ слышатель» (Въ Будинѣ,

³⁷ Первая ода в сербской литературе XVIII в. была написана, или, вернее, издана Орфелиным в 1760 г.

1798), «Ода о будущемъ заведеніи наукъ філософическихъ въ Карловцѣ Сремстѣмъ и е слѣдствіяхъ сего заведенія сочинена отъ Д. Ф. А. С. [А. Стойковича]» (Въ Будинѣ Градѣ, 1800), оды «О щастіи нынѣшняго вѣка», «О чистой совѣсти» и в честь митрополита Иосифа Шкабенты Алексея Везилича в его книге «Краткое сочиненіе о частныхъ и публичныхъ дѣлахъ» (Вена, 1783), «Ода на взятіе Измаила 11 Декабря 1790 года, сочиненная Иваномъ Янковичемъ де Мирѣво Двора Ея Императорскаго Величества Пажемъ» (СПб., 1790) и др. Последняя фактически принадлежит русской литературе и написана на чисто русском языке. Что же касается языка отдельных од, то он очень близок к языку дифирамбических стихов, о которых речь шла выше. Близость эта объясняется и большой схожестью или почти идентичностью жанра. Ее можно продемонстрировать небольшим примером:

Оружіе крѣпко правую радость
 Человѣку даетъ чистая совѣсть.
 Возлюбимъ достойно совѣсть нескверну
 Мысль незлобну.

(А. Везиличъ. О чистой совѣсти)

Возвышенному языку оды противостоял простой язык вельской переводной комедии.

Народность языка переводных комедий

Для конца XVIII в. характерно появление у сербов драматических текстов чисто светского содержания. И хотя они не оригинальные, переводные, значение их для истории литературного языка этим не умаляется. Речь идет о пьесе «Терговци»³⁸, которая была «приведена с' италіанскогъ изъ Карла Голдонини Комедія отъ Е. Іанковича студента медицине (щампано у Лаипсигу 1787 године)», о комической пьесе-диалоге с педагогической направленностью «Зао отаць и невалло синъ или родител'и, учите вашу децу познавати! Една наравоучителна весела игра за децу; у четири дѣиствіа списана Францомъ Ксавер. Старкъ и преведена с' Немецкогъ Еман. Іанковичемъ Натуре-испитаемогъ дружества у Халли членомъ» (Вена, 1789) и о комедии «Благодарни синъ. Сео-

³⁸ Вероятно, в этом, как и во многих других случаях, написание *er* читалось как *r* слоговое. В противном случае следовало бы ожидать *торговци*. Об этом свидетельствует и написание *Трговци* в предисловии к переводу пьесы «Зао отаць...» (с. 5) и в самом тексте комедии.

ска весела игра у єдномъ дѣйствию ставлѣна на просто Србски...» (У Лаипсигу, 1789). Последняя комедия не переведена Э. Янковичем, а «ставлѣна на просто-сербски» язык, т. е. во многом осерблена, так как и имена действующих лиц даны сербские, и действия перенесены в Банат, и язык в ней довольно типичный для сербского крестьянства из «Преко».

Характер языка переводчика можно проиллюстрировать начальным и заключительным пасусом его оригинального (непереводного) вступления к комедии «Терговци»:

Прологъ. Нималосе неустручавамъ, ови николико листа шампи предати кадъ на ползу нѳову посмотримъ. Наивеѣна часть націонални мои, и данас јоше мисли, дасу Комедіе несамо младости но и старимъ людма шкодне и само за немецко измишлѣнѣ и држе, гдису Ћѣаволи Швабе измислили какоѣду варати новце отъ люди ... (с. 1); ... Италіанска имена, персона ове комедіе нисамъ хотео са Српскима променути, эрѣ э име име, или било Италіанско или Српско; а друго опоминѣмъ дасе нисам непрестано италіанскогъ аутора речи држао, него кадъ кадъ ицелу конструкцію променуо, за датиои (дати јој — *H. T.*), српски ликъ. Ащо нисамъ писао у славенскимъ негъ у матернимъ Езику, тоѣми сваки опростити, кадъ помисли, да я нисамъ Славянинъ негъ Срблинъ, и данепишемъ за Славяне, негъ за Срблѣ (с. 4).

Аналогичный простой разговорный язык сохраняется в текстах перевода Э. Янковича:

Актъ други. Сцена десета. Коралина и Фаченда.

Кор. Отъ кудъ ви знате мое послове?

Фач. Э' Богомъ остаите, морамъ иѣи у банку.

Кор. Кажитеми отъ кудъ знате, дасамъ дала новце младомъ господару.

Фач. Казаоміе Пасквиніо, вашъ драги, вашъ младоженя. Жене, жене тко вамъ може помоѣи, кадъ сами щое горе избирате (оде). («Терговци...», с. 71).

Таков язык предисловий и текста других комедий. Нет сомнения, что не только и не столько сербское национальное самосознание побудило Э. Янковича выбрать довольно чистый сербский народный язык для своих переводов и переделок. Сам жанр комедии решительно требовал «простого» языка, а не возвышенного слога. Язык Э. Янковича был довольно точной фиксацией воеводинского диалекта с некоторыми элементами нормализации и искусственности, без которых невозможно формирование литературного языка. Следует отметить, что отдельные черты воеводин-

ского диалекта не ощущались в ту пору как диалектизмы (см. у Э. Янковича *наѣћеду, знаду, умеду, разумеду, променуо, ѿоце, нѿову, гди, национални* [род. мн. без *x*], *людма* и др.), поскольку они употреблялись у многих писателей того времени в «народном» варианте литературного языка и входили, вероятно, в еще не совсем установившуюся норму, в потенциальную норму, в «преднорму», которая позже была заменена несколько иной, вуковской. Кроме того, эта «преднорма» была не единственной, так как существовали и иные нормы, более стабильные, созданные в XVIII в. на иной основе.

Число русизмов, вернее славяно-русизмов, в языке Э. Янковича невелико. Они связаны в первую очередь с приставками *со-*, *вос-* (*содержава, возбудили*) и с отдельными лексемами (*ожидава, част* 'часть' и т. п.). Довольно чистый народный характер языка переводов Э. Янковича отметил и А. Младенович на основе анализа текста комедии «Терговци» (Младеновић, 1969, с. 47–48; см. также Herrity, 1972). Можно даже говорить о выдержанности в переводах Э. Янковича типично разговорного стиля языка, надо полагать, воеводинского городского койне.

Естественно-научные и моралистические тексты и их языковые особенности

К оригинальным, непереводаемым трудам Э. Янковича относится его «Физическое сочиненіе о изсишенію и раздѣленію воде у воздухъ, и изясненіе разливаніа воде из' воздуха на землю отъ Е. Јанковича Кандидата медицине и Содружника халскаго ученнаго и Натуре-испитаемогогъ дружества (у Лаипсигу, 1787)», написанное на том же народном языке, что и язык переводов того же автора. Это можно проиллюстрировать следующим отрывком:

Свако тѣло на земли можесе у маня тѣла разделити, коесе онда назива, талъ, часть или парче. Напримеръ: одну ябуку можемо у два, у три, у четири и више тали разсеѣи, пакъ опеть свако ново парче на ново у манѣ части оделявати и тако непрестанно делѣнѣ повтаравати докъ недостанемо врло мала парчета (с. 5).

Следует отметить осторожность, с которой автор вводит новые слова и понятия, неизвестные народному языку, либо давая их синонимы (*частъ, талъ, парче*), либо толкуя их (*Океанъ* — наивеће море у свету и т. п.). «Физическое сочи-

неніе» Э. Янковича можно причислить к первым опытам создания оригинальной научной прозы и научного языка, научной терминологии.

Среди переводных текстов конца XVIII столетия был еще один круг педагогическо-моралистических и нравоучительных сочинений, нередко на библейские темы, выполненных в духе «века Просвещения» и исходящих из среды французских, немецких, английских и греческих авторов средней руки. Некоторые из этих переводных сочинений пользовались успехом и выходили несколькими изданиями, либо в виде продолжения, либо как переиздания. К таковым принадлежали «Руководство къ честности и правости» И. И. Фелбигера в переводе Атанасия Деметровича Секереша, переиздававшееся с 1782 г. по 1798 г. пять раз (1 изд. — Вена, 1777), «Поучительный Магазин за дѣцу. Просвѣщенію разума и исправлѣнію сердца ѿ госпожи Маріи ле Пренсь де Бомонтъ сочиненъ а саде славенносербске ради юности съ нѣмецкаго на сербскій языкъ преведенъ Авраамомъ Мразовичемъ» (Вена, кн. I, 1787 и кн. II, 1793; кн. III и IV, 1800) и ряд других текстов. Язык этих текстов не всегда был одинаков. Если А. Д. Секереш переводил на довольно четкий «славянский» (славяно-русский) язык, то переводы А. Мразовича отличались языком, лишь в незначительной степени славянизированным, который им даже считался «чисто сербским», «простым» (Албин, 1970а). А. Мразович призывал и других писателей следовать примеру Досифея Обрадовича, чтобы они «на простомъ езику дѣла и сочиненія своя на ползу рода своего писали и издавали...»

Литературно-языковая деятельность Досифея Обрадовича

Досифей Обрадович был крупнейшим сербским писателем конца XVIII в., ознаменовавшим не только зрелость сербской литературы, но и ее довольно решительный переход к более самостоятельному пути, обращение к чисто светской тематике, использование языка, близкого к народному, во всех литературных сферах и жанрах. Литературному наследию Обрадовича, которое справедливо связывается с общеевропейским направлением рационализма и просвещения, посвящен ряд исследований и монографий³⁹. В нашем крат-

³⁹ Помимо неоднократно упоминавшейся классической для своего времени книги Й. Скерлича «Српска књижевност у XVIII веку» (Београд, 1923), где есть большой раздел о творчестве Обрадовича, и книги

ком очерке трудно дать даже беглый анализ произведений Обрадовича. Можно отметить лишь, что они не очень разнообразны в жанровом отношении и могут быть подразделены на оригинальные и переводные или компилятивные со значительной долей собственного творческого момента, что вполне отвечало духу XVIII века. Активный период творчества у Обрадовича длился недолго — с 1783 по 1789 год. Его начало ознаменовано изданием оригинальной автобиографии «Животъ и приключенія Димитрія Обрадовича нареченого у калуѣрству Досіѣеа: нимъ истимъ списать и издать» (у Лайпсіку, ч. I — 1783, ч. II — 1788), носящей явно нравоучительную направленность, а конец — патриотическим и патетическим стихотворением «Пѣсна о избавлѣнїю Сербїе» (Вїаннѣ, 1789). В этот промежуток времени написаны еще «Совѣти здраваго разума» (У Лайпсіку, 1784) и «Езопове и прочихъ разнихъ баснотворцевъ съ различни езика на славеносербски езикъ преведене садъ први редъ съ нравоучителними полезними изяснѣнїями и наставлѣнїями издате и сербской юности посвеѣне басне» (У Лайпсіку, 1788), а также сделан перевод — «Слово поучително господина Георгїа Їоакима Цоликофера, при реформатовъ обществу, немецкога предикатора. Съ немецкогъ езика преведено Досіѣеемъ Обрадовичемъ» (У Лайпсіку, 1784). «Совѣти здраваго разума», носящие довольно яркую дидактическо-моралистическую направленность, построены в виде ряда рассуждений о любви, злобе, добродетели, скупости и т. п. с приложением двух назидательных автобиографических очерков, напоминающих о пользе просвещения. «Басне», назидательность которых предусмотрена самим жанром, сопровождаются второй частью «Живота и приключенїй...», изложенной уже в виде писем. Сюжеты басен, как отмечал сам автор, взяты из Лессинга, Эзопа, Федра и Лафонтена, форма же их не стихотворная, а прозаическая, и к тому же их мораль у Обрадовича нередко длиннее основного текста. «Совѣти» изобилуют изречениями и сентенциями философов и моралистов, анекдотами, историческими рассказами и библейско-евангельскими текстами.

К. Ф. Радченко «Досифей Обрадович и его литературная деятельность» (Киев, 1897), характерных для раннего периода исследования творчества известного сербского просветителя, отметим из новейших работ книгу Й. Дерегича «Доситеј и његово доба» (Београд, 1969), где дана и литература вопроса. Литературу вопроса см. также в кн.: Купа, 1970.

Еще более компилятивные, а частично и просто переводные — книги второго, последнего периода творчества Досифея Обрадовича (1793–1808). К ним относятся «Собрание разныхъ нравоучительныхъ вещей въ пользу и увеселеніе Досіеоемъ Обрадовичемъ» (В Виеннѣ, 1793), часть первая, а часть вторая под заглавием «Мезимаць» издана посмертно (Будимъ, 1818), «Етика или філософія нравоучителна по свстеми Г. Профессора Соави» (У Венеціи... 1803) и некоторые менее значительные сочинения. «Собрание...» как бы продолжает традицию орфелинского «Магазина» и напоминает по своему общему «оглавлению» литературные европейские журналы конца XVIII в.⁴⁰

Таким образом, все основные сочинения Обрадовича имеют одну, довольно четко выработанную моралистическую, отчасти этико-философскую, отчасти дидактико-практическую направленность, подчиненную его рационалистическо-педагогическим взглядам. Секуляризация народного просвещения становилась целью его литературной и общественной деятельности. Проблемы выбора и формирования литературного языка у сербов были также подчинены этой задаче, ибо Обрадович считал: «езикъ има свою цѣну отъ ползе, кою онъ узрокуе (производит. — Н. Т.)». Народный язык, по его мнению, — «дѣло веома полезно», ибо, когда ученые люди свои мысли «на общему целога народа езику пишу», тогда «просвѣщеніе разума и цвѣтъ ученія» не остается только у тех, кто понимает старый литературный язык, а распространяется на крестьян, преподается и самому простому народу и пастухам. Как известно, этим же принципом руководствовался впоследствии и Вук Караджич. Язык Обрадовича был в общем единым в его произведениях. Этот момент очень важен и для понимания его литературно-языковой концеп-

⁴⁰ Нами не отмечены некоторые ранние сочинения, которые Обрадович не готовил к печати, как-то: «Првенаць, Vжица, или Досіеоева Буквица» (у Карлштату, 1830), ранняя (1770 г.) выборка-компиляция и переводы из толкования Иоанна Златоуста на Деяния Апостольския, рассуждения «из некоторых эллиногреческих» книг нравоучительного характера, сокращенное изложение басен Эзопа, «Христоиѳа, сирѣчь Благи обычаи и Вѣнаць отъ алфавита» (В Будинѣ, 1826), переведенное (около 1770 г.) с греческого наставление, касающееся внешнего поведения, своего рода книга хорошего тона, проповеди (числом пять, около 1770 г.), оды и несколько стихотворений позднего периода. Некоторые из них, проповеди прежде всего и стихи, сохранились в чужих списках, возможно, не отражающих точно языка Обрадовича.

ции, и для определения в языковом плане места его произведений в общей системе и соотнесенности произведений его современников-сербов.

В качестве образца языка Обрадовича можно привести начало из его известного краткого сочинения «Любезни Харлампиє здравствуи Христосъ воскресе» (Лейпциг, 1783), которое было написано и издано одновременно с «Животомъ и приключеніями...» и переплетено в одной книге. Это обращение к Харлампию было своеобразным литературным манифестом знаменитого сербского просветителя.

Вот его начало:

Нећу я чекати да проћу две Године, за одговорити Чловеку любезнику и прїятелю, законоти неки обићавају. Ябити біо, нама по прїятїю твоега писма, одписао: да нисам судїо за болъ, чекати да проће време плача и сѣтованя; време глада и увивиканя едним словом, време великога поста, кадъ пасуль царствуе и негова Сестра сочивица. Гра и купушь земліом управляю.

Ево време златно ѝ весело,
Кадъ нам нїе забранѣно Ело!
Евангелска царствуе Свобода,
Събацивши ярамъ съ чловеческогъ рода
Давидъ пророкъ у тимпане Свира
Некъ попъ више у трїодъ Недира.

Довольно чистый народный язык достаточно четко выступает и в приведенных строках. Наряду с ним ощущаются, если судить по современному или вуковскому языковому восприятию, книжные элементы (*човек*, но не *человѣкъ*, что ближе к народному *човек*, или *любезникъ*, *сѣтованя*, но не *сѣтованїя*) и элементы родного банатского говора (*каконо*). О языке Обрадовича написано несколько статей и монографий, из коих самая значительная и новая — книга Герты Куны⁴¹, подведшей итог прежним исследованиям и самостоятельно анализировавшей большой материал.

«Если принять во внимание, — пишет сараевская славистка, — что литературное творчество Досифея связано исключительно с одним стилем литературного языка, который для того времени может считаться народным, и что, таким образом, у него нет языковой двойственности, которая характерна для остальных писателей Досифеевой поры и более

⁴¹ Купа, 1970. — Там же и анализ других работ (Сучевича, Прибича, Барьяктаревича и др.).

раннего времени, становится ясным, почему Досифей знаменует собой столь решительный поворот в воеводинской литературе XVIII в.» (Kuna, 1970, с. 263). Это заявление в принципе справедливо, хотя можно указать на ряд сербских авторов, писавших, как и Досифей, в конце XVIII в. только на сербском «народном» языке с некоторыми славяно-русизмами (Э. Янкович и др.), и на ряд авторов, писавших исключительно на «славенском» (или «славено-российском») языке (Г. Терлаич, К. Живкович, К. Йосич и др.). Естественно, что все дело сводилось во многих случаях к жанровой ограниченности произведений (или переводов) отдельных авторов, но и у Обрадовича жанровый диапазон не столь широк, как у Орфелина или Раича (о чем речь будет ниже). Тем не менее большая заслуга Обрадовича в том, что он закрепил язык, близкий к народному, на большом числе объемистых текстов (частично оригинальных, частично неоригинальных — компилятивных, переводных), притом текстов с определенной идейной программой, новой и перспективной для того времени, и потому популярных в широких читательских кругах и в первой половине XIX в.

Язык Обрадовича не был «народным» в такой степени, в какой был язык Караджича, хотя и сам Караджич не мог отказаться от книжных элементов и использовал их, зная, что они «народу мало известные» или «посербленные»⁴². В борьбе с книжными элементами, со славянизмами Обрадович был умерен и сохранял в своих прозаических произведениях ту долю славянизмов (славяно-русизмов), которая была необходима и для понимания текста «простым народом и пастухами» и для выражения абстрактных, философских и научных понятий, почти так же, как это делал более чем полвека спустя в своих поэтических произведениях Негош. Если обращаться к национальным аналогиям, которые всегда приблизительны, а во многих случаях и рискованны, то в истории сербского литературного языка Обрадович выполнял ту же роль, что у русских Карамзин, а Негош — что и Пушкин; Караджич же и его сторонники пошли дальше, настаивая на более радикальных мерах, ко-

⁴² Известен большой список слегка осербленных слов (в основном по признаку рефлекса *ѣ* и *ѵ*) Йована Раича, которые Вук привел в статье «Главне разлике између данашњег славенскога и српског језика» (Караџић, 1894, с. 263).

торые, на наш взгляд, не могли не привести к значительному сокращению стилистических возможностей литературного языка. В старом «славянском» или сильно славянизированном языке Обрадович видел источник обогащения нового языка. Он считал так: «Неће наш стари (язык. — Н. Т.) пропасти, зашто учени люди у народу всегда ће га знати и сь помоћу старогъ нови ће се од данъ до данъ у боле состояніе приводити» (Д. Обрадовичъ. Любезни Харлампије ..., с. 9; см. также Обрадовић, 1961, с. 65). Элементы «старого» языка в произведениях Обрадовича не столь значительны. К ним относятся прежде всего русско-славянские лексикализованные формы, которые автор даже не считал нужным сербизировать или сербизировал в малой мере (*собрание, совершеніе, восхищенъ, воздвигнути, вешчи, погибель, орудія, каменя, цветући* 'цветущий' и т. п.) и довольно архаическое правописание тоже русско-славянского типа. В морфологии имени русско-славянское влияние ощущается в малой мере (*ногами, заслугами* наряду с *ногама; злѣйши, мудрѣйши* и т. п.), а в глаголе оно почти отсутствует. Слабо отражено русско-славянское влияние и в синтаксисе и sporadично — в словообразовании (суффиксы *-ски, -ство* и др.). Вообще же, как и у многих других писателей XVIII в. и начала XIX в., у Обрадовича довольно четко проступает воеводинская, главным образом, банатская, диалектная основа, которая только в отдельных случаях (преимущественно в случаях рефлекса *ѣ*), и то лишь в ранних произведениях, сочеталась с северно-далматинскими икавскими чертами. К воеводинским особенностям относятся *бићеду, валеду, разумеду, морату, приїму, кричу, живу* (3 л. мн. ч.), *трети, гребати* ('тереть', 'погребать'), *нарастіо, умрео, поћемо* (1 л. мн. ч. повел. накл.), *некадеръ* и др. (Куна, 1970, с. 135, 142, 151, 267 и др.).

Отмеченные особенности в языке Обрадовича не всегда регулярны, многие из них sporadичны, непоследовательны. Абсолютное большинство грамматических черт языка известного сербского просветителя совпадает с чертами вуковско-и современного литературного языка. Но едва ли не самым главным в языковом новаторстве Досифея было обращение к народной лексике, которая, по удачным и показательным подсчетам Х. Куны, на 85–88% была сербскохорватской («народной»), на 0,5–6% была русской, на 1,3–10% была «общей» (сербско-русской) и на 1,5–3% — заимство-

ванной (не считая русской). Колебания в процентах зависят от произведений и от характера текста (повествовательного или философически-рассудительного). Процент русизмов и так называемых «общих» слов был, естественно, меньшим в живом повествовательном слого (там же, с. 260).

Языковая система произведений Й. Раича

Исследователи сербского литературного языка XVIII в. уже обращали внимание на отличия языка и языковых воззрений Обрадовича от языка и языковой системы Раича и Орфелина. Это отличие наблюдается прежде всего в том, что язык Обрадовича монолитен, относительно единообразен во всех произведениях, а язык Раича и Орфелина у каждого довольно резко различается в зависимости от жанра. Именно в этом аспекте выше и анализируется язык Орфелина; что же касается Раича, то язык его отдельных произведений рассматривался в связи с общей языковой характеристикой жанра. Поэтому важно дать суммарную схему раичевого языка.

Однако прежде чем к этому обращаться, следует вспомнить один существенный факт. Сочинение Й. Раича, написанное в 1793 г. и изданное в Буде посмертно (1802 г.) — «Цвѣтникъ въ двѣстѣ и двадесять и четыре избранныхъ исторіяхъ насажденный, и изъ источниковъ ійлевыхъ напоенный, въ немъ же крины оудолніи добродѣтелей посредь терній пороковъ растутъ и цвѣтутъ, въ ползу и оукрашеніе всѣхъ любителей честности предложенъ 1793. за 67 лѣто дарованная жизни трудъ сей въ благодареніе Богу принесенъ І. Р. въ Будинъ Градъ» очень близко по своей тематике, жанру и общей идейной направленности к таким сочинениям Обрадовича, как «Совѣты здраваго разума...», «Собраніе разныхъ нравоучительныхъ вещей...» и под. Тем не менее «Цвѣтникъ» Раича, являющийся переводом немецкой книги «Aesopa philologica...», возникшей еще в XVII в. и переиздававшейся в XVIII в., отличается довольно архаическим языком, церковным славяно-русским слогом.

Раич так объясняет выбор языка перевода:

Еже стіла касаетса въ книзѣ сей оупотрѣбленнаго, онъ есть дрѣвнѣй славенскій всѣмъ общій иначе называемый церковный. Оупотрѣбленъ же наипаче за то, дабы сходенъ былъ с бѣблическимъ стилемъ въ нравоченіяхъ оупотрѣбленнымъ: Иначе бы слогъ со всѣмъ раздранъ былъ и непріа-

тенъ, аще бы помѣшани были дїалекты. Нижѣ еще бы прѡстѣмъ сѣрбскимъ нарѣчїемъ писано было, мѡгль бы инъ кто ѿ благочестивыхъ славанъ ползоватиса («Цвѣтникъ», с. XI).

Однако в этом выборе можно видеть и сторону полемическую, направленную против расстриги Обрадовича, увлеченного идеями иозефинизма, рационализма и антиклерикализма. Й. Скерлич писал, что Раич перевел «Цвѣтникъ», вероятно, по желанию митрополита Стратимировича, «который хотел книгой аналогичного содержания парализовать большое влияние “неблагочестивых” *Басен* Досифея Обрадовича» (Скерлић, 1923, с. 231)⁴³.

Интересно, что Й. Раич, бывший сторонником, как это видно из его практической деятельности, литературного многоязычия, для жанра нравоучительных произведений избрал «церковный слог». В конце XVIII в. еще можно было в одном и том же жанре пользоваться двумя языками. Так, одни торжественные слова писались «высоким слогом», как и «Цвѣтникъ» Раича, другие, например, слова Викентия Ракича, были сильно «осерблены». Многие, однако, зависело и от семантико-стилистической направленности текста в пределах определенного жанра. Славяно-русский и народный сосуществовали, правда, у разных авторов, в сфере нравственно-дидактической литературы. Это же можно сказать в какой-то мере и о драматических произведениях, хотя между комедией (переводы Янковича) и трагедией («Трагедїа сирѣчь печалнаа повѣсть ѡ смѣрти послѣднаго црѣа сѣрбскаго Уроша паѣаго... сочинѣна и произведѣна *ДУАГ. [1733] года въ Кѣрловцѣ Сремскомъ а нынѣ пречїщена и исправлена предлагаѣтся трудѡмъ и тцѣнїемъ I. P. Въ Будїмѣ, 1798», издание и редакция Раича) большое различие не только в плане тематическо-стилевом, но и в хронологическом в данном конкретном случае (издание в 1798 г. Раичем трагедии Э. Козачинского, ставившейся на сцене в 1736 г.⁴⁴). Два

⁴³ Предполагается, что в адрес Обрадовича обращены слова Караджича о «еретиках» в его рассуждении о книге Й. Раича «Свещенная исторїя». См. выше цитату на с. 293.

⁴⁴ Можно, однако, отнести языковую редакцию и даже языковую форму этого произведения к концу XVIII в. по ряду причин. Важно обратить внимание не только на год издания (1798), но и на то, что на полях книги рядом с «Прологомъ» (своеобразным предисловием) значится фамилия «Козачїнскїй», а на полях «Дѣйствїя А (1-го)» значится — «Козачїнскїй и Райчъ». Таким образом скромный Й. Раич, ставивший

языка в конце XVIII в. употреблялись и в повествовательной или повествовательно-занимательной литературе. Так, если для перевода самого объемистого повествовательно-беллетристического текста, появившегося на сербском языке в XVIII в., «Живота и чрезвычайнихъ приключеній Робинзона Круссе» был избран Николаем Лазаревичем язык, сильно приближенный к народному⁴⁵, то переводчик «Велизарія» Мармонтеля Павел Юлинац обратился к языку славяно-русскому с рядом сербских черт. В этом случае снова можно усмотреть некоторое различие в оттенках жанра: в приключениях Робинзона Крузо писалось о современности и о человеке невысокого социального ранга, в романе Мармонтеля речь шла о событиях византийской истории, о давних событиях и судьбах полководца блистательного века императора Юстиниана (VI в.). Но дело, видимо, не только в этом, а и в разной хронологии переводных текстов. Временное расстояние между переводом Юлинаца и переводом Лазаревича — 22 года. Это как раз время, когда не только очень быстро росла продукция оригинальных и переводных произведений, но и шел довольно стремительный процесс формирования сербского национального литературного языка. На смену жанрово обусловленному разноязычию, как это было у Орфелина и Раича, плло одноязычие, независимое от жанра произведения, как это предложил Обрадович и некоторые его современники. Одноязычие в конце XVIII в. возникало на основе инвариантного «среднего» пути. Доза разных элементов в этом среднем языке была различна.

Путь же Й. Раича не был средним. Его можно отнести к сторонникам теории «трех стилей», так как он в своей литературно-языковой практике пользовался довольно четко нормированными различными языками, каждый из которых он называл слогом: «славенским» позднего русского извода («древній славенскій всѣмъ общій, иначе называемый

на титульном листе ряда своих книг лишь инициалы (I. P.), указал на свое соавторство, на свое участие, сказавшееся прежде всего в языковом упорядочении текста («нынѣ пречищена и исправлена»).

⁴⁵ «... И то мыслити неваля, да я преводъ овай не бы у состоянїю біо, и како мыслимъ, іоштъ лакше вышимъ штѣлусомъ сочинити, али самъ отъ племенитодушнаго Книге ове Фунтора произволенїю ню просто, дабы сватко све ясно разумѣвати могао, къ тому обязанъ біо, овако просто составити, кое како што мыслимъ, и више обще похвале заслужити можетъ ...» (Предисловие к книге; без пагинации).

церковный»), русским историографическим слогом XVIII в. и сербским, сильно приближенным к народному («простымъ сѣрбскимъ нарѣчїемъ»). По языковому принципу в первую рубрику можно отнести «Цвѣтникъ», «Трагедїю, сирѣчь печальную повѣсть...», во вторую — «Исторїю разныхъ славенскихъ народовъ...», «Краткую Сербїи, Россїи, Босны и Рамы кралевствъ исторїю» (Вена, 1793), в третью — «Катихисїсъ малый», «Свещенную исторїю», «Собранїе разныхъ ... поученїй», «Бой змаа са орлови» и др. Приблизительно той же схемы на четверть века раньше придерживался Орфелин.

Конкуренция, противопоставленность и нестабильность норм в конце XVIII в. Становление «среднего» языка.

Подводя итог развитию литературного языка у сербов в последние десятилетия XVIII в., можно сказать, что за этот период не только очень значительно возросла и в несколько раз по сравнению с предшествующим периодом увеличилась книжно-литературная продукция, не только умножилось число писателей и оригинальных произведений, но и развилась и укрепилась система жанров, усилилась стилистическо-языковая дифференциация жанров (а иногда и внутри жанров). Именно такую дифференциацию принимали и своим творчеством утверждали Орфелин и Раич. Орфелин, однако, судя по его двойному языковому тексту «Плача Сербїи», не приурочивал строго каждый из трех языков (или в ином понимании «стилей») к определенному жанру, т. е. не считал их строго дополнительно распределенными. Это же отношение к различным языкам, или «стилям» XVIII в. было, видимо, и у других писателей, которые в отличие от Орфелина и Раича не пробовали своего пера в разных жанрах. Любопытно, что в сравнительно короткий срок двух десятилетий в сербском литературно-языковом процессе были испробованы различные пути, поставлены различные опыты стабилизации норм литературного языка. Помимо не очень прочного и четкого сосуществования трех языковых потенциальных норм и литературно-языковых моделей, напоминающих теорию трех стилей, были попытки утвердить «славенский» высокий стиль в качестве литературного (отдельные рескрипты, словарь Т. Аврамовича, «Слова» Я. Пеяковича, К. Йосича, Д. Георгиевича, сочинения и переводы П. Юлинца, Г. Терлаича, А. Везилича, М. Максимовича, оды и стихи Г. Храниславлевича, Н. Стаматовича, Н. Аввакумо-

вича и др., переводы А. Д. Секереша и др.)⁴⁶ и «простое сербское нарѣчје» в том же качестве (отдельные рескрипты, драматические и натуралистические тексты Э. Янковича, переводы Н. Лазаревича, сборник И. Мушкатиновича и др.). Ни высокий «славено-русский» или «русско-славенский», ни «простой» сербский не были строго нормированы, и в каждом конкретном случае, в каждом конкретном тексте часто наличествовали элементы трех основных языковых фондов, языковых слоев или «систем»: русской литературной XVIII в., сербской народной (преимущественно воеводинского типа) и древнеславянской русского образца. Не была еще окончательно забыта и полностью вытеснена и система «сербульская» — древнеславянская сербского образца. Что касается последней, то она не воспринималась как особая, четвертая система, как особый, четвертый фонд и фактически не была таковой — она была вариантом древнеславянской системы русского образца. Иными словами, в XVIII в. у сербов существовал древнеславянский язык в двух вариантах — позднем русском и позднем сербском. Писатели могли выбирать один из этих двух вариантов, даже комбинировать их, но авторитет этих вариантов не был равным, — он менялся в разное время в разных обстоятельствах⁴⁷.

Что же касается других фондов или систем, не древнеславянского, а русско-славянского и сербского «простого», то они не были так четко нормированы и строго очерчены: и в пределах высокого русско-славянского стиля, и в пределах «простого» народного существовал довольно широкий спектр, создававшийся языком отдельных произведений, так что в ряде конкретных случаев возникала ситуация, когда, по справедливому замечанию Б. О. Унбегауна, трудно было ска-

⁴⁶ При этом мы оставляем в стороне случаи использования чистого древнеславянского языка позднего русского типа, заменившего в текстах старый сербульский тип (см. выше, с. 293 о языке К. Живковича).

⁴⁷ Существовало, видимо, положение, проводившееся, правда, непоследовательно, когда подобно экавскому и екавскому вариантам (*лепо, лијепо*) употреблялись слова *совѣтъ* и *саветъ*, *воздухъ* и *ваздухъ*. Экавские варианты локально распределены, а русский и сербский варианты древнеславянского языка, поскольку они функционировали лишь в литературном языке, могли распределяться только по жанрово-стилистическому параметру, если они продолжали сосуществовать. Вук выбрал сербский вариант и тем самым положил конец варьированию. Лишь отдельные слова сохранились ныне в локальном распределении (*точка* и *тачка* и т.п.).

зять, какого характера язык текста — славянский русского образца или ославяненный русский, либо же, добавим, русифицированный сербский или сербизированный русский.

Некоторые современные исследователи говорят о русско-сербских языковых соотношениях в сербском литературном языке XVIII в., исходя исключительно из фактов русского и сербского языка (см., например, Гудков, 1973, с. 49–50) и не учитывая в должной мере третьего — древнеславянского фонда (или системы). А между тем именно он был главной опорой для всей литературно-языковой ситуации и главным фактором, обеспечивающим взаимодействие хотя и близкородственных, но все же разных языковых фондов и систем. И этот фактор оказывался очень действенным и необходимым не только на основании экстралингвистических, историческо-культурных моментов (весьма существенных, авторитетных и определяющих развитие литературного языка), но и на основании чисто языковых моментов — грамматических, историко-фонетических и лексических. Так, общими с народным сербским чертами древнеславянского языка были неполногласие⁴⁸, форма инфинитива на *-ти*, наличие форм аориста, имперфекта и плюсквамперфекта, близость форм прилагательных мужского рода ед. ч. и т. п., а общими чертами с русским языком оказывались некоторые формы в склонении, например, основ на **-ā* (*воды*, *водѣ*), некоторые формы презенса, например, 3 л. ед. ч. (*мыслитѣ*, ср. сербск. *мисли*), 1 л. ед. ч. на *-у*, *-ю* (*мыслью*, ср. ст.-сл. *мысльж*, сербск. *мислим*), 1 и 3 л. мн. ч. (*мыслимѣ*, *мыслятѣ*, ср. ст.-сл. *мыслимѣ*, *мыслятѣ*, сербск. *мислимо*, *мисле*), прич. прош. времени на *-л* (*мыслилѣ*, ср. сербск. *мислио*) и др.⁴⁹ Следует отметить, что именно эти общие с древнеславянским языком элементы были особенно устойчивы в языке сербских писателей XVIII в., хотя были и отклонения в ту или иную сторону. Так, ничем иным, как стремлением к

⁴⁸ Полногласие в сербских текстах XVIII в. — явление редкое. Оно может встретиться в лексикализованных формах, таких как *предосторожность* у Обрадовича или *перемѣна* у Раича (форма **предостражность* была неизвестна).

⁴⁹ К сожалению, не проделана работа по выявлению сходных (и различных) черт с древнеславянским языком отдельных литературных языков греко-славянского ареала, что было бы существенно для определения их соотношения друг с другом и с древнеславянским языком прежде всего. При этом важно было бы рассмотреть и синтаксический, и лексический аспекты.

максимальной русификации, нельзя объяснить употребление Орфелином в «Житїи ... Петра Великаго ...» форм прилагательных и причастий на *-ой* (м. р. ед. ч. им. п. *дикой, лучшей, лишенной*), при сохранении, однако, инфинитива на *-ти* (а не на *-ть*), неполногласия и т. п.

К концу XVIII в., тем не менее, обозначился довольно четко процесс, который можно назвать выбором «среднего» пути, отличавшегося сочетанием народных и книжных (русских и славяно-русских) элементов при общей народной основе. Это направление пришло на смену практике «трех стилей», так же как на смену «среднего» языка пришел язык, близкий к народу, а потом уже народный язык вукковского типа. Однако хронологически эта смена концепций и норм (точнее опытов норм) вырисовывается не столь четко, так как разные решения статуса и характера литературного языка к концу XVIII в. принимались и осуществлялись иногда одновременно, как это видно хотя бы из приведенных выше примеров языка отдельных писателей. Тем не менее, нельзя не заметить общей тенденции и стремления в самом конце XVIII в. и начале XIX в. перейти от разноязычия или «разностилья» (при котором *стиль* \approx *язык*) к одноязычию. Этот переход, осуществлявшийся задолго до Вука, велся двумя путями — эволюционным, постепенным («среднее» решение) и революционным, резким (крайнее решение). В обоих случаях направление пути было одно: к народному языку, к народным диалектам. Наиболее крупной фигурой в сербской литературе того времени, решившей этот вопрос достаточно радикально и вызвавшей своим решением немало число последователей, был Досифей Обрадович. Вероятно, ему, а не Вуку Караджичу следует в первую очередь приписать роль реформатора сербского литературного языка. Вук же закончил, теоретически обобщил, лингвистически обосновал (вкупе с Дж. Даничичем и другими его последователями) и кодифицировал то, что проводил и произвел Обрадович. Безусловно, очень велика роль Вука в реформе правописания, но правописание и структура литературного языка — вещи разные⁵⁰, хотя в известной мере, и прежде всего в социолингвистическом плане, связанные между собой.

⁵⁰ Именно поэтому, считая вопрос орфографии и графики совершенно автономным, мы его в этой работе не затрагиваем.

Было бы совершенно неправильно считать, что до Вука, или даже до Досифея Обрадовича, народного языка в сербской литературе не было. В общем, начиная с Венцловича он употреблялся в литературе почти всегда, но дело в том, что он был не поливалентен, как в эпоху сформировавшегося национального литературного языка, а жанрово ограничен, иногда оттеснен на периферию, иногда смешан с книжным славяно-русским или русским. Изменение жанровой структуры сербской литературы, «секуляризация» отдельных ее сфер, появление новых, чисто светских жанров и их разновидностей, смена литературных вкусов и направлений — все это вело к изменению функций «стилей», или языков, применявшихся в литературе и в письменной практике, к поиску единого литературно-языкового решения, единого языка. Ставилась также очень важная задача объединения форм и норм письменного и разговорного (устного) языка. Этому немало способствовал национально-революционный подъем у сербов, вызванный Первым сербским восстанием во главе с Карагеоргием и зарождением новой сербской государственности.

Единый язык, однако, мог быть построен на двух разных началах: а) при сохранении связи с традицией, с его историческим развитием и б) при разрыве с традицией (который при всех обстоятельствах, как показал удавшийся эксперимент Караджича, не мог быть полным (Толстој, 1966)).

Стремление не нарушать связи с традицией вело к «средним» решениям, которых к концу XVIII в. и особенно в начале XIX в. было все больше и больше.

Внимательные наблюдения А. Младеновича привели его к выводу, что в конце XVIII в. и в начале XIX в. можно выявить средний «тип» литературного языка, названный им вслед за А. Беличем, М. Стевановичем и др. «славяно-сербским»⁵¹, который «не был ни чисто народным, ни чисто русским (resp. русско-славянским), а определенной смесью этих двух языков» (Младеновић, 1974, с. 27). Этот вид ли-

⁵¹ В данном случае, как отмечает А. Младенович, термин «славяно-сербский» употреблен несколько условно, так как современники им пользовались довольно широко применительно к разным литературно-языковым системам. «Славено-сербским» называл свой язык и Г. Терлаич («Идея...», 1793), и Д. Обрадович («Езопове... басне», 1788), и Н. Лазаревич («Повѣсть житія ... Графа отъ Суварова», 1799), и В. Луштина («Грамматика италянская», 1794) и др.

тературного языка был представлен «в первую очередь в печатных текстах светского содержания». «Нельзя сказать, — заявляет А. Младенович, — что славеносербский язык у отдельных писателей употреблялся без всяких правил. Определенные особенности появляются очень часто весьма последовательно, либо в духе сербского народного, либо в духе русского (resp. русско-славянского) языка, что указывает на известную языковую организованность» (там же). К этим особенностям известный сербский лингвист относит ряд русских или русско-славянских черт (ол на месте старого вокалического l, творит. ед. основ на *i типа *милостію, глупостію*, родит. мн. без окончания или с окончанием -ов, -ей: *рукъ, мѣстъ, пророковъ, страстей, дней*, суффиксы *-ьски, *-ьство > -ески, -ество: *мужески, мужество*) и ряд сербских народных (а > е; лъ > о; род. ед. основ на *ā — *жене*, дат. ед. — *жени*, твор. ед. *женом*, местн. ед. *у беседи*, им.-вин. мн. ч. *жене*, местн. ед. основ на *ǫ — *у граду, у селу*) (там же, с. 27–28).⁵²

Таким образом, обнаруживается средний «славеносербский» язык (или «тип», или «стиль»). Конечно, его выявление опирается на другие, более четкие идиомы и нормы — сербские народные, русские и «славянские» русского образца. Это придает «славеносербскому» (среднему) языку определенную расплывчатость очертаний и дает некоторым исследователям известные основания говорить, что существует «славяно-сербская проблема», чтобы не употреблять выражение «славяно-сербский язык», поскольку о таком языке трудно говорить с лингвистической точки зрения (Грицкат, 1966, с. 64).

Метод языковой характеристики текста проф. А. Младеновича

В 1969 г. А. Младенович предложил применить метод статистического обследования русских (и славяно-русских) и сербских народных элементов в конкретных текстах ряда сербских писателей довуковской эпохи, составив при этом список явлений, наиболее типичных для определенного «типа» языка (или просто языка). К числу таких явлений он отнес четыре историко-фонетических (разные рефлексy в/з

⁵² Перечень особенностей можно было бы увеличить, включив «русско-славянские» приставки *со-*, *воз-* и т. д., и т. п.

— а или е/о, рефлексy е — е или 'а, рефлексy слогового l — у или ол, рефлексy конечнoслогового l — о или л); одиннадцать по склонению существительных (род. ед. основ на **-ā*: -е или -ы/-и, дат. ед. -и или -ѣ/-е, твор. ед. -ом или -ою/-ею, местн. ед. -и или -ѣ/-е, зват. ед. м. р. -у/-е или равное им. ед., твор. ед. ж. р. основ на **-ī* — 'у или -ію типа *милошћу* или *милостію*, местн. ед. м. и ср. р. -у или -ѣ, -и, им.-вин. мн. ж. р. основ на **-ā* — -е или -ы/-и, род. мн. тех же основ -а/-у/-и или -о, род. мн. м. и ср. р. основ на **-ǫ* — -а/-и или -о, -ов, -ев, -ей, род. мн. ж. р. основ на **-ī* — -и/-ију или -ей) и два по морфологии глагола (1 л. ед. ч. наст. вр. -м или -у/-ю, образование буд. вр. -у, -еш + инфинитив или формы наст. вр. глаголов сов. в. наряду с формами наст. вр. глагола *быти* + инфинитив) (Младеновић, 1969, с. 44). Год спустя он добавил еще 12 явлений, из коих три относились к историко-фонетической сфере (предлог-префикс *у* или *в* и рефлексy префикса *взз-*, слоговой *р* или сочетания *ер, ор*, группа *цр-* или *чр-*), одно по склонению существительных (зват. пад. ж. р. основ на **-ā* — -о или -а), четыре по склонению местоимений (все формы личного местоимения 1, 2 и 3 л. и возвратного местоимения — *себе* или *себя*) и одно по фонетическому облику предлога *чрез* (Младеновић, 1970, с. 110–116). Таким образом, в вопросниках А. Младеновича, которые он использует применительно к отдельным текстам, содержится 29 пунктов, из коих почти половина относится к формам падежей имен существительных, четвертая часть — к историко-фонетическому аспекту и немного больше четверти — к морфологии местоимения, прилагательного и глагола. Анкетный список, безусловно, можно значительно расширить и дополнить (например, вопросами о рефлексax древних **dj, *tj, *ktj*, о формах тв. п. мн. ч. основ на **-ǫ* — *примерима* : *примѣрами* : *примѣры*, о формах местн. п. мн. ч. основ на **-ā* — *школама* : *школахѣ*, о формах 1 и 3 л. мн. ч. глаголов наст. вр., о причастиях, о приставках *са-/со-* и т. д. и т. п.), однако и в предложенном виде анкета при ее применении дает очень интересные и важные результаты. Было бы целесообразно рассматривать эти результаты не дихотомически (сербское народное : русское), а с выделением древнеславянских (церковнославянских) элементов, которые, однако, очень часто будут совпадать с русскими, т. к. русский язык насыщен древнеславянизмами, но будут иногда и отличаться от него, как в случае *примерима* : *примѣрами* :

примѣры или *кроз* : *черезъ* : *чрезъ*. Очень существен вопрос о синтаксических конструкциях, где наряду с сербскими, русскими и древнеславянскими образцами выступали и латинско-немецкие построения, но, пожалуй, самую большую роль в определении «типа», вида или характера языка играла лексика, о чем уже говорилось выше.

Расширение сферы функционирования народного языка

Помимо «средних» решений, которые, несмотря на стремление к стабилизации форм и выработке нормы, были довольно разнообразны и неустойчивы, существовал и народный язык, опиравшийся преимущественно на воеводинскую диалектную базу и часто приближавшийся из-за определенного количества книжных (прежде всего славяно-русских) элементов к «среднему» языку (типу). К XIX в., надо полагать, почти исчезло ощущение необходимости строить систему литературного языка в сербских землях по принципу диглоссии, вернее, триглоссии (по принципу трех «стилей», о чем см. выше), и сохранилась лишь конкуренция «среднего» и «народного» пути. Однако, если система трех языков (или трех «стилей») требовала, хотя и не достигла вполне, отталкивания трех идиомов для их более четкого противопоставления друг другу, то сложившаяся ситуация «конкуренции» среднего и народного, еще не оформившихся и потому, можно сказать, «потенциальных» литературных языков, вела к их сближению, к размыванию и отсутствию четкой границы между ними. Потенциальный народный литературный язык, очень близкий к литературному языку караджичевского типа, бытовавший сначала в ограниченной сфере в рамках системы «трех стилей», а затем в гораздо более широких и свободных границах, существовал задолго до Караджича. Следует согласиться с А. Младеновичем, изучившим тексты XVIII в. по упомянутому выше методу, что «наличие народного языка в произведениях ряда наших (сербских. — Н. Т.) писателей XVIII и начала XIX века несколько не случайно и не вызвано исключительно появлением Досифея Обрадовича. Появление этого нашего писателя во второй половине XVIII столетия ознаменовало собой, укрепило, а может быть, и форсировало определенный вид литературного выражения, который уже был в практике, выражения народным языком» (Младеновић, 1973, с. 52).

Таким образом, народный язык в качестве литературного прошел путь довольно длительного исторического развития до появления в 1818 году «Српског рјечника» и несколько позже других сочинений Вука. Однако, в этот период он не занимал монопольного положения и, входя в систему языков, позже — стилей, а еще позже — «средних» опытов и решений, был важным, но не единственным фактором эволюции литературного языка у сербов в XVIII в. и в начале XIX в.⁵³

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК У СЕРБОВ В НАЧАЛЕ XIX в. (до 1825 г.).

Деятельность Вука Караджича исследована до деталей, и потому мы ее затронем в самых общих чертах, принципиально важных для понимания общего процесса становления сербского литературного языка. Точно так же будут даны краткие характеристики языка лишь отдельных представителей сербской литературы начала XIX в., творчество которых ярко отразило литературно-языковое развитие той поры.

Первые два десятилетия XIX в. были ознаменованы еще более интенсивным, чем в конце XVIII в., ростом сербской печатной продукции. Если с 1781 г. по 1800 г. вышло в

⁵³ Караджич развитие литературного языка у сербов представлял себе иначе, несколько ретушируя в свою пользу общее положение вещей. Незадолго до смерти он писал (по-русски): «Въ 1814 году я сдѣлался Сербскимъ Писателемъ. Тогда Сербская Литература была почти въ томъ же состояніи, въ какомъ и русская до Петра Великого. Тогда у насъ было всего около сотни книгъ, изданныхъ сербами; но ни въ одной изъ нихъ не было народнаго чистаго сербскаго языка, но болѣе или менѣе онѣ отличались неправильною смѣсью церковнославянскаго съ народнымъ Сербскимъ языкомъ, испорченнымъ до смѣшнаго. Причины тому были слѣдующія: 1) Потому что мы имѣли два языка въ употребленіи, церковный и народный, и были между нами такие люди, даже изъ высшаго сословія и умные люди, — напримѣръ, Архіепископъ Карловицкій Стратимировичъ и Архимандритъ Кенгелацъ, — которые думали, что церковный языкъ есть собственно сербскій, а народный языкъ есть ничто иное, какъ испорченный древній Славянскій, и потому подлежить его совсѣмъ покинуть, и на мѣсто его возвысить и ввести въ употребленіе между народомъ Церковный языкъ. 2) Сербскіе писатели того времени исключительно были австрійскіе уроженцы и подданные, воспитанные въ городскихъ, чужеземныхъ училищахъ и совсѣмъ не знавшіе народнаго языка» («Записка» Вука Караджича Виктору Петровичу Балабину Россійскому послу при Австрійскомъ дворѣ. Вѣна, 1862 года).

свет, согласно Г. Михайловичу, 258 книг, то, согласно С. Новаковичу, с 1801 г. по 1820 г. появилось 362 книги, а если добавить еще пятилетний период, то за первую четверть XIX в. (1801–1825 гг.) вышло 442 книги (Новаковић, 1869)⁵⁴. К этому следует добавить, что объем отдельных книг и изданий в XIX в. очень сильно возрос, так же как и решительно возросло число книг, изданных гражданской азбукой (в XVIII в. книги, напечатанные «гражданкой», исчислялись десятками, с 20-х годов XIX в. это малое число относилось уже к книгам с кириллическим, «церковным» шрифтом). В результате сокращения (не только процентного, но и численного) издания книг чисто духовного (церковного) предназначения в эту пору, наблюдается увеличение числа светских книг, как беллетристического, так и нелитературного содержания. В 1813 г. появляется газета «Новине сербске», выходившая сначала ежедневно, кроме праздников, а затем два раза в неделю. 1824 год был годом рождения сербского периодического (4 раза в год) «толстого» журнала «Сербске лѣтописи» под редакцией Г. Магарашевича. На смену разным начальным учебникам, школьным и популярным руководствам XVIII в. по филологическим и некоторым точным дисциплинам (грамматика, арифметика и т. п.) пришли частью оригинальные, частью переводные, для своего времени довольно солидные и объемистые труды или обобщающие руководства по физике (А. Стойкович, 1801–1803 гг.; Г. Лазич, 1822 г.), естествознанию (И. Вуич, 1809; П. Кенгелац, 1811), медицине (П. Хаджич, 1802; Г. Бечкеречки, 1807), географии (П. Соларич, 1804; В. Булич, 1824; И. Вуич, 1825), хозяйственной экономике, земледелию и домоводству (Й. Мупкатирович, 1805; С. Новакович, 1809; В. Дамъянович, 1814), логике (Н. Шимич, 1808), философии (Г. Бечкеречки, 1809), юриспруденции (Е. Джуркович, 1823), истории (Д. Давидович, 1821; Г. Магарашевич, 1823). Наряду с ними резко возросло число практических руководств-наставлений по отдельным отраслям сельского хозяйства, начало которым было положено «Искуснымъ подрумаромъ» Орфелина. Появились руководства по производству сахара (1813), виноградарству (1818), пчеловодству (А. Максимович, 1810), шелководству (П. Атанацкович, 1823), ветеринарии (Сатмари, 1818) и др.

⁵⁴ Данные С. Новаковича преуменьшены, так как ему были известны не все издания начала XIX в.

Конкуренция языковых норм и литературных направлений в начале XIX в.

Сербский литературный язык уже в самом начале XIX в. стал употребляться далеко за пределами художественной, художественно-нравоучительной и деловой (канцелярской) сферы и начал обслуживать обширные области духовной и материальной культуры и повседневной жизненной практики. В упомянутых выше изданиях господствовал либо язык, очень близкий к народному, как, например, в «Сербскихъ лѣтописяхъ» и других книгах, либо «средний» язык, часто сильно тяготеющий к народному, как, например, в научных текстах. Важно, что научная терминология в начале XIX в. развивалась на фоне народной лексики, которая употреблялась для всех нейтральных, неспециальных понятий, предметов и действий. Этот путь становления специальной терминологии был избран еще Э. Янковичем (см. его «Физическое сочинение», 1787). Большое влияние на становление сербской терминологии оказала уже установившаяся в XVIII в. русская естественнонаучная и философско-гуманитарная терминология, которая, однако, не принадлежала к «высокому» языковому стилю. Язык же прессы в ту пору, по наблюдениям А. Албина, был «ближе современному литературному языку, потому что в нем отсутствует ряд ярких воеводинских диалектных особенностей ...; их отсутствие, как и отсутствие других диалектных черт, приближает язык “Новинъ сербскихъ” к современной норме» (Албин, 1973, с. 123). В этом немалое отличие языка газеты Д. Давидовича и Д. Фрушича от «Сербскихъ новинъ» и «Славенно-Сербскихъ Вѣдомостей» XVIII в.

Первая четверть XIX в. была знаменательна и в литературно-историческом плане. Ее можно характеризовать как пору расцвета нового направления — сентиментализма и дальнейшего развития еще не вытесненного сентиментализмом классицизма. Подобное параллельное протекание разных литературных направлений, а не более или менее решительная смена одного другим, типично для истории национальных литератур, проходивших ускоренный путь развития. Происходила конкуренция литературных направлений, так же как и конкуренция литературно-языковых норм. Истоки сербского сентиментализма можно обнаружить уже в деятельности и творчестве Обрадовича (переводы сентименталь-

ных рассказов Мармонтеля в «Собраниі...», перевод комедии Лессинга «Дамон» и т.п.) (Živković, 1957, с. 33–39). В лице Г. Терлаича это направление нашло своего сторонника (стихотворный перевод Гесснеровой идиллии «Паломон» под заглавием «Забавленіе еднаго лѣтнаго утра...»). Его пропагандировали и ценили и Д. Давидович, издатель «Новинъ Сербскихъ», и Г. Магарашевич, редактор «Сербскихъ лѣтописа». В языковом плане переводы сентиментальных повестей, идиллий и т. п. были довольно разнообразны: от почти народного языка Д. Обрадовича и Д. Давидовича до очень книжного и архаичного славяно-русского с отдельными сербизмами языка Г. Терлаича, наряду с немалочисленными промежуточными «средними» решениями. Более определенным было положение с оригинальными текстами, писанными двумя крупными представителями сербского сентиментализма — прозаиком Милованом Видаковичем и драматургом Иоахимом Вуичем.

Произведения Видаковича

В XIX в. они были очень популярны. Его перу принадлежали романы «Усамленный юноша» (1810), «Благовонный крынь цѣломудренія любви, либо страдателная повѣсть Велимира и Босильке» (1811), «Любомиръ у Елісіуму» (3 части: 1814, 1817, 1824) и др. Видакович считал, что он пишет на языке, свойственном образованным сербам, и отмечал в заглавии своей первой книги: «Усамленный юноша» — «повѣсть нравоучителна — на простому діалекту Сербскомъ сочинѣна». В сопоставлении с языком «Нумы Помпиниуса» Г. Терлаича (1801) и «Цвѣтника» Й. Раича (1802) язык Видаковича, действительно, был близок к народно-разговорному языку, и сербская речевая база проступала в нем достаточно четко и ясно. Однако уже сравнение с языком Обрадовича свидетельствует о значительном числе книжных элементов в языке Видаковича, встречающихся преимущественно в лексике, но проникших и в морфологию (хотя в последнем случае не обходилось, как показал еще Караджич, и без импровизации).

Такой «средний», но все же не очень удаленный от народно-диалектной базы путь известный сербский романист избрал сознательно, желая пользоваться языком, отличным от языка «кухни» или языка «шпяков» (сербов, говорящих

на диалекте)⁵⁵. Однако он считал, что это отличие не должно быть большим:

Сви народи имаду свой особитий книжевный языкъ, на коимъ книге пишу и кой имъ се отъ Куинскогъ мало разликуе, обаче се толико разликуе да га и простъ человекъ разумѣти може: како бысмо и мы таковой имали? ... Дакле нити валя да Славенски пишемо, будутьи да народъ общій овый древний языкъ не разумѣ! нити валя пуко просто писати, као што народъ и найпростѣй говори; понеже у свакој провинціи другоячѣ говоре, следовательно морали бы и писатели у свакомъ предѣлу другоячѣ и книге писати [Все народы имеют свой особый литературный язык, на котором пишут книги и который от кухонного мало отличается; именно он отличается так, что его и простой человек понять может; как же и нам не иметь такого языка? ... Значит, нам не годится писать по-славянски, поскольку народ этот общий и древний язык не понимает, и не годится писать совсем попросту, как говорит самый простой народ, поскольку в каждой провинции говорят по-иному, по-своему, и писатели, следовательно, должны были бы писать книги в каждой области по своему] («Примѣчаніе о сербскому языку»; в кн.: Видаковић, 1814, л. 17 а. б.).

Уже из приведенной цитаты видно, что язык Видаковича близок к народному (с некоторыми типично воеводинско-шумадийскими чертами), морфологически упорядочен на народной основе, а в лексической его части не лишен отдельных книжных (русско-славянских) элементов (*человѣкъ, провинція, следовательно*). Эти элементы, кстати, встречались в языке Караджича того времени. Так, в рецензии Вука на роман Видаковича «Усамленный юноша», помещенной без подписи в «Новинахъ Сербскихъ» (№ 205, 206, 208 за 1815 г.), только на первой странице рецензии (819-й с. газеты) находим: *романтическио, повѣстонравоучителный, благопріятне, чувствованіемъ, желателно, призрѣнїю, вообще* и т. п. Однако дело в том, что язык сентиментальных романов Видаковича отличается, хотя и не в очень сильной мере, от языка его филологических рассуждений, примечаний и т. п. Это видно даже из сопоставления приведенного выше примечания к роману «Любомиръ у Елісіуму» с текстом самого романа. Приводим его начало:

⁵⁵ См. полемику Видаковича с Караджичем в кн.: Караџић, I, с. 81–91, 106–175.

Тиха ноть плаветный Неба сводъ звѣздами бяше веть посула; изъ между коихъ луна, ихъ Царица какъ по синьемъ океану къ западу величественно пливаше, и свое слабога свѣта зраке отъ себе на све по земли предмете низпущая, видъ нѣкій меланхоліческой, обаче за благосовѣстне душе, угодный и за чувствителна сердца пріятный дивно представляше. Сва животна, сви звѣріе, скоти и пернати сладкимъ се веть покоемъ наслаждаваху: глубочайше молчаніе по цѣломъ естеству простерто бяше: і ющъ санъ у сузно Любомира око не ухощаде; ющъ Морфей нѣгове мокре трепавице, отяготити и у санъ придити не могаше!

В этом отрывке легко заметить ряд книжных не сербских черт историко-фонетического (*изъ между, ухощаде; молчаніе, но сузно; благосовѣстна, но санъ*), морфологического (*звѣздами, изпущая*) и лексического характера. Все они отражают так называемый «средний» путь или «среднее» решение, которое, однако, у Видаковича не было достаточно последовательно проведено и упорядочено. Исследователь языка крупнейшего сербского сентименталиста Й. Кашич в своей обстоятельной монографии справедливо замечает, что «большой недостаток языковой практики, которую Видакович проводил, заключался в отсутствии строгих правил и установленной нормы использования “словенского” языка» (Кашич, 1968). «Словенский» же язык, по мнению Видаковича, должен был придать сербскому народному языку «лѣпшій вкусъ», и им следовало сербский «малѡ исправляти». Существенно, что Видакович говорил о едином сербском литературном языке в то время, когда Вук еще призывал писателей писать каждого на своем диалекте⁵⁶, а потом лишь разбираться, какой из них лучше. Он ощущал необходимость создания системы стилей сербского литературного языка и сам, как видно хотя бы из приведенных выше отрывков, старался стилистически дифференцировать разные по жанру и функциям тексты. Но это для него был единый язык, один язык, а не система нескольких языков, как для Орфелина или Раича.

⁵⁶ В 1817 г. Вук писал: «Это простейший и единственный способ, которым можно достигнуть подъема нашей литературы: чтобы каждый писатель начал писать так, как говорят в тех пределах, где он родился и вырос: сремec по-сремски, бачванин по-бачвански, сербиянец по-сербиянски, герцеговинец по-герцеговински, босниец по-боснийски, черногорец по-черногорски, далматинец по-далматински, хорват по-хорватски, славонец по-славонски и т. д.» — Караџић, I, с. 150.

Надо полагать, что и сам метод сентиментализма с его стремлением к чувствительному и добродетельному восприятию мира, к созерцанию природы и к возвышенной любви, побуждал Видаковича обращаться к славянизмам как к необходимому средству выражения ряда абстрактных и книжных по своей сути понятий и сентенций. Совершенно иную — «фольклористическую» позицию занимали представители романтизма, — именно они и стали сторонниками Вуковых реформ.

Вук Караджич, как известно, находил в лице М. Видаковича своего серьезного противника и посвятил ему ряд полемиических статей. Он был за установление фонетико-морфологической нормы без обращения к «славянизмам» (хотя и употреблял их в первый период своей деятельности как лексикализованные формы). Подобную же линию он пытался провести и в лексике, что ему, однако, не вполне удалось.

Укрепление позиций народного языка в драматургии (И. Вуич)

Писателем, с которым Караджич не полемизировал по вопросам языка и язык которого в значительной мере отвечал предъявляемым им требованиям, был Иоким Вуич. Ряд исследователей его также причисляют к сентименталистам, однако, в отличие от Видаковича, он писал, переделывал или переводил и издавал преимущественно литературные произведения («Любовная зависть чрезъ едне ципеле» Рихтера, 1805; «Награждение и наказание» Шлеппера, 1807; «Слепый мышь» Генслера, 1809; «Крешталица (крикунья)» Коцебу, 1814 и др.), продолжая и в области литературы, и в сфере литературного языка традиции Э. Янковича. К концу его жизни вышли в свет его автобиография — «Животописание» (1833) и «Путешествие по Унгарии, Валахии, Молдавии, Бесарабии, Херсону и Крыму» (1845), не оказавшие существенного влияния на сербскую литературу и литературный язык. Множество пьес — переводных и полуоригинальных осталось в рукописи.

Язык Вуича — разговорный сербский язык с очень небольшим числом книжных элементов. Скерлич, очевидно, сравнивая его с сербским театральным языком начала XX в., назвал этот язык плохим, а переводы — лишенными литературной ценности (Скерлич, 1953, с. 138). Учитывая, однако, исторические условия, в которых возник и употреблялся

этот язык, нельзя не прийти к иному мнению. Приведем два отрывка из драмы «Награждение и наказание»:

Исходъ первый. Санда и Марица. (Седе предъ куфомъ и куделю преду).

С а н д а . Есть, есть драга девойко, радовала бы се особито, кадь бы те среѣнномъ видити могла; али —

М а р и ц а . Али ви неѣте, да ми дозволите; да се я за Господина Учителя удамъ, а онъ заиста есть еданъ лепый и любимый младихъ ах!

С а н . Али ты ни си за нѣга жена.

М а р . Зашто ни самъ, та зарь ни самъ ни я учителѣва кѣи?
... (с. 1).

Исходъ третїи. Немиръ и Санда.

С а н . Е! што сте намъ ново донели Госп. Иштванъ?

Не м . Ни самъ много добра могао донети. А знаете ли гди е садъ Радмиръ?

С а н . Мой зеть?

Не м . Да! то Богъ ме онай красній зеть... (с. 10).

Большой заслугой Вуича было не только создание сербского театра, но и закрепление на его сцене и в драматических печатных текстах сербского языка одного определенно-го типа. Традиция, начатая Э. Янковичем, была продолжена и утверждена трудами И. Вуича и развита в дальнейшем Йованом Стерией Поповичем. И. Вуич был в числе тех, к началу XIX в. уже немалочисленных, писателей, которые культивировали тот язык, который некоторое время спустя кодифицировал Караджич (хотя известно, что по вопросам орфографии и по некоторым иным моментам Вуич довольно резко выступал против Караджича). Такой язык, однако, еще не был общепринятым, о чем свидетельствует не только творчество М. Видаковича, но и творчество такого популярного в начале XIX в. поэта, как Лукиан Мушицкий.

Язык позднего классицизма. Оды Л. Мушицкого

Лукиан Мушицкий принадлежал к направлению классицизма. Вероятно, общее литературное средо этого направления требовало от принадлежавших к нему писателей торжественности стиля, высокого слога, приподнятости чувств и мифологической возвышенности образов. Тем более, что излюбленным жанром литературного творчества Мушицкого были оды, которые он писал наряду с эклогами и идиллиями. По меткому определению Д. Живковича, Мушицкий оставался в рамках «школьного классицизма» (Živković,

1957, с. 43), во многом следуя за ломоносовскими представлениями о литературе и языке и придерживаясь теории трех стилей. Все же следует отметить, что для Мушицкого это были стили одного языка, а не разные языки, как ощущали некоторые сербские писатели XVIII в. У сербов в этом отношении в более скромных масштабах и несколько позже повторилась ситуация, бывшая в России в XVIII в. и в начале XIX в., которую очень удачно определил Б. В. Томашевский (см. выше на с. 217).

Именно по этой причине Мушицкий в своих одах не мог отказаться от многих славянизмов и писать тем языком, которым писал, например, Вуич. И все же дух XIX в. и общее направление развития сербского литературного языка той поры побуждали Мушицкого к употреблению некоего «усредненного» стиля со значительной долей славянизмов, но и с определенным числом сербизмов одновременно и в то же время и языка с сильно уменьшенной дозой славянизмов.

В качестве примера высокого стиля Мушицкого можно привести начало его «Оды на смерть благороднаго господина Саввы Вуковича земледержца берексовскаго, представляшагося 30-го Марта. Л. 1810 го» (Въ Будимѣ, 1810):

Судбю Луро намъ тажа премѣна сбѣса.
Съ восторгомъ сладкимъ чѹвши ты
(Ещё луна три кратъ во кругъ не обратѣса)
Въ честь Мѹзамъ Саввы даръ златый (1).

Со мною возжелà (ѿ дѣль тебѣ противныхъ
Егда ѿторгну') ублажать
Его народный дѹхъ: лѣпъ образъ нравъ гражданскихъ
Дакощему жизнь усладать (2).

Мушицкий пытался вопреки канонам классицизма, о которых писал Б. В. Томашевский, использовать два стиля (два языка) внутри одного жанра. В одном из своих писем Вуку (от 28.X.1817) он писал: «Словенских од у меня до сих пор 18, а сербских 30 ... Оды я разделил на книги. В первые книги я поместил высших лиц и высшие предметы, а во вторые низших лиц и друзей и низшие предметы» (Карацић, 1908, с. 198–199). Так, стихотворение, посвященное Караджичу, «Вуку Стефановичу Серблину отъ Серблянина» написано на сербском языке со сравнительно небольшим числом славянизмов. Того же характера был и язык известной поэмы Мушицкого «Гласъ Народолюбца» (1819).

Народный язык как стиль поэтической речи начала XIX в.

В отличие от Л. Мушицкого, обращавшегося к классическим стихотворным формам, другой сербский не менее в свое время популярный поэт, Гавриил Ковачевич, писал свои поэмы на народном языке, подражая языку народных песен и пользуясь народным размером — «десетерцем»⁵⁷. Налет славянщины был у него незначителен (*а по сему, полную, церкви, всакоме*), и стремление писать стихи на народном языке было своеобразным поэтическим *stredo*, поэтической манерой, напоминающей отношение Вука к сербским народным песням и его редакцию их языка.

Приведем краткий отрывок из «Пѣсни ѿ случайномъ возмученіи въ Сербіи приключившемся, и ѿ изображеніи дѣлъ Сербіановъ въ дѣйствиі произведенныхъ. Исторически поведена и оу стѣхове сложена ...» (Въ Будимѣ, 1804):

Када чуше она три Даіе
 такву песму башъ ѿ Аганліе
 Свисе они гнѣвомъ запламтише
 пакъ кодъ Паше у градъ Ђидоше
 (с. 21).

О том, что почти чистый сербский язык воспринимался в самом начале XIX в. многими, и в частности самим Г. Ковачевичем, как определенный литературный стиль, свидетельствует не только заглавие, писанное по-славяно-сербски («по-славянски»), но и отдельные ремарки, данные автором в тексте. Например: «Котораго Богъ праведно награди́лъ: имѣлъ бо 3 сыны и 5 дщерей, бѣ же въ богатствѣ изобиленъ имѣа злата и сребра рудокопіа заводы» («Стіхи ѿ поведеніи и намѣреніи Сербскаго великаго Кназа Лазара противъ Турскаго ѿполченіа, съ разными егѡ Велможей разговоры: и ѿ Изображеніи Страшнаго, и грознаго онаго между Сербами, и Турками на полю Косову Сраженіа, Случившагоса во 1389-мъ лѣту, Іуніа 15-го дне...» [Въ Будинѣ Градѣ, 1805, с. 5])⁵⁸. Любопытно, что, подобно Мушицкому, который пользовался

⁵⁷ См. обстоятельное исследование: Реметић, 1975.

⁵⁸ О том, что такой подход и такая практика существовали в начале XIX в., свидетельствует выведенный в комедии Й. Стерии Поповича «Покондирена тиква» поэт Ружичич, который говорит по-«славено-сербски», а сочиняет стихи на чистом народном языке. На это положение обратил внимание и Д. Живанович, но иначе его истолковал. См. Живановић, 1964, с. 151.

двумя типами языка (или двумя языками) в зависимости от «высоты» лица или предмета, Ковачевич также, когда писал о своих современниках, сербских повстанцах против дахий, обращался к чисто народному языку, а когда воспевал князя Лазаря — насыщал свой язык, хотя и не чрезмерно, славянизмами:

А по сему Кназь Лазарь
 скуптръ царства прѣемла
 И со царствомъ владѣти
 полну власть имѣа
 Царско има, и тѣло
 собственно имаше
 А зватиса во Кназа
 всѣмъ повелѣваше,
 Царствомъ Сербскимъ премудро
 нача управлати...

(«Стіхи о поведеніи...», с. 4).

Таковы были в общем стилистическо-жанровые различия, обуславливающие употребление народного языка в период до реформационных усилий Вука Караджича. Сам Караджич пережил эволюцию своих взглядов, менявшихся с первого выступления в печати в 1814 г. и до времени издания сербских народных песен в 1823 г. В дальнейшем, как известно, эта эволюция продолжалась.

Ранний период деятельности Вука Караджича

Остановимся кратко на некоторых фактах научно-литературного творчества Вука. В 1814 году вышла в свет «Писменица Сербскога іезика по говору простога народа написана Вуком Стефановићем Сербіанцем» (У Виенни, 1814), в которой делался первый опыт кодификации фонетических и грамматических норм сербского народного языка как языка литературного. «Писменица» эта тем самым противопоставлялась известной и широко распространенной у сербов грамматике А. Мразовича, написанной под влиянием знаменитого труда Смотрицкого (бытовавшего в модифицированном виде в сербской среде в XVIII в.) и оказавшей немалое, в первую очередь структурное воздействие на первый лингвистический труд Вука (Стојановић, 1924, с. 73–82). Эта грамматическая кодификация, с изменениями и значительными дополнениями, повторилась в первом издании словаря «Српски рјечник истолкован њемачким и латинским ријечима скупио га и на свијет издао Вук Стефановић» (У Бечу,

1818), где давалась также и прежде всего лексическая кодификация защищавшегося Вуком литературного языка⁵⁹. В том же 1814 г., немного раньше «Писменицы», появилась «Мала простонародња Славено-Сербска пѣснарица издана Вукомъ Стефановичемъ» (У Віени, 1814), положившая начало классическому караджичевскому корпусу сербских фольклорных текстов. Ровно через год (1815) вышла вторая книга песен «Народна србска пѣснарица издана Вукомъ Стефановићемъ, часть втора» (У Віенни, 1815). Первая содержит 108 песенных текстов, а вторая — 117. Менее чем через десять лет Караджич приступил к упорядочению текстов народных песен, значительно пополнив свое собрание, классифицировав песни и распределив их в четырех книгах под общим заглавием «Народне српске пјесме». Первые три книги этого собрания вышли в 1823—1824 гг. Двумя годами раньше увидели свет «Народне српске приповијетке» Вука. В 1815 г. началась и литературно-критическая и полемическая деятельность Караджича рецензией на роман «Усамленный юноша» М. Видаковича, которая была продолжена рецензией (1817) на роман «Любомиръ у Елісіуму» того же автора. Эта деятельность позволила Вуку изложить свое сredo и начать решительную борьбу за свои взгляды на сербский литературный язык и правописание.

В общих чертах и в конечном итоге они сводились к следующему. Сербский литературный язык, по мнению Вука, должен быть единым в лингвистическом отношении и, как бы сказали в наше время, поливалентным, т. е. обслуживающим все сферы литературной, культурной, общественной и деловой жизни. Языковые различия (фонетические, морфологические, лексические) в разных «стилях» литературного языка должны быть устранены. Число славянизмов следует свести до минимума, все они должны быть «осерблены», турцизмам во многих случаях отдавалось предпочтение перед славянизмами. Воеводинская диалектная база народного языка подлежит замене восточногерцеговинской базой с екавским (а не экавским) произношением. Эти взгляды, изложенные нами в более краткой и категорической форме, чем самим Караджичем (что могло привести

⁵⁹ См. обстоятельную монографию: Ивић, 1966. П. Ивич между прочим указывает на отсутствие в этом словаре многих характерных для современного литературного языка слов (*веза, глуп, значај, искрен, награда, напор, побуна, проба, победа, пораз, устанак* и др. — с. 159–160).

к некоторой схематизации), как известно, затем постепенно модифицировались, принимая менее резкие очертания и согласуясь с конкретными задачами развития литературного языка. Шагом к некоторой «архаизации» и возвышению литературного языка над диалектами явилось введение звука *x*, ликвидация альтернации типа *дијете* : *ђетета*, признание ряда книжных лексем и т. п. (см. Ивић, 1965). Но все это уже происходило в сороковые годы, когда, по меткому выражению Йована Суботича, для Вука родная ему по языку «Герцеговина была всюду, где говорят по-сербски».

Вук и сербский литературный язык

Вук, не будучи писателем в современном понимании этого слова, а лишь филологом, видимо, понимал, что для утверждения нового литературного языка необходим корпус текстов, его представляющих. Грамматическая и лексикографическая предварительная, или «проектная», кодификация уже существовала, нужна была и кодификация текстовая. Такой текстовой кодификацией были «Сербские народные песни», которые Вук подвергал известному редактированию (Стојановић, 1924, с. 105–109; 158–164), и перевод Нового Завета, выполненный Вуком еще в 20-е годы, но увидевший свет лишь в 1847 г. Однако и без редактирования язык сербского эпоса и сербской лирической поэзии был в каком-то отношении наддиалектным. Он был своеобразным поэтическим койне, что делало его удобным для использования в функции литературного языка.

Сербский литературный язык на вуковской основе не был строго нормирован в сфере лексики. Караджич, отказавшись вскоре после своего высказывания о праве каждого сербского писателя писать на своем диалекте (1817 г.) от этого положения, все же допускал (хотя бы молчаливо) присутствие областной лексики в языке разных писателей. Областную лексику он приводил и в своем словаре. Это допущение, эта относительная свобода лексической нормы сохраняется до сих пор. Применительно к лексике основной пафос полемической борьбы Караджича был направлен, как уже отмечалось, против славянизмов. Видимо, по этой причине он первоначально, в предисловии к «Писменице», похвально отзывался о языке Обрадовича, говоря, что «этот первый сербский писатель начал 30 лет тому назад на простом сербском языке писать и печатать и других ученых

сербов побуждать следовать ему» (Караѿић, I, с. 9). Эти вопросы, однако, не относятся к нашей теме, как не входит в нашу задачу и рассмотрение истории литературно-языковой борьбы идей и направлений после 1825 г. Все же важно отметить, что вопреки замыслам Вука, относящимся уже к 30-м годам, установились два равноправных варианта — экавский и екавский, и оказался допустимым ряд грамматических (особенно синтаксических) и лексических дублетов. С изменением жанровой структуры сербской литературы изменилось и соотношение сил в борьбе за народную основу литературного языка. В следующей после кратко рассмотренной нами четверти века полемика шла уже не столько между сторонниками и противниками народной основы литературного языка, — этим народным литературным языком пользовалось абсолютное большинство, — сколько между сторонниками и противниками вуковской орфографии (и графики)⁶⁰, между сторонниками и противниками вуковских «крайних» решений в области лексики и словообразования. Шел выбор между более умеренным (в новых условиях «средним») и более крайним «вуковским» путем.

Романтизм отменил систему жанров, бытовавших в эпоху почти параллельного существования сентиментализма и классицизма, и дал возможность народному языку целиком войти в литературу, стать подлинно литературным и поливалентным. Однако не следует думать, что решение, прокламированное Караджичем, требовавшее «полного» разрыва с традицией, со славянщиной, было единственно возможным. Полного разрыва с традицией не произошло и у Вука, и как заметил А. Белич, «и Караджичев язык, с течением времени, начал в какой-то мере приближаться к этому гипотетическому среднему стилю» (Белић, 1948, с. 35). Был вполне допустим и реален другой, в каком-то отношении более

⁶⁰ Д. Живанович справедливо отмечал, что «народным языком писали и слагали стихи и до Вука, и во времена Вука — и Йован Раич, и Досифей Обрадович, и Григорий Трлаич, и Павле Соларич, и Лукиян Мушицкий, и Стерия, Йован Суботич, Джордже Малетич, Никола Бороевич, Никанор Груич и многие другие; борьба Вука с его противниками велась прежде всего за новое правописание, а не за «новый» язык, потому что на «старом», «полуцерковном» языке никто не сочинял стихов уже в тридцатых и сороковых годах прошлого века». — Живановић, 1964, с. 151. См. также: Толстој, 1976, с. 496.

«средний» путь, избранный Негошем, при котором фонетика и морфология были нормализованы целиком на народной штокавской (той же восточногерцеговинской) основе, а лексика кодифицировалась на базе симбиоза народных и книжных (славянских) элементов. Такой путь был близок к «карамзинско-пушкинскому» пути, известному в исторической практике русского литературного языка. Он был вполне возможен, но он был в середине XIX в. в одном отношении менее прагматичен, чем путь, предлагавшийся Караджичем. Он затруднял быстрое, почти немедленное сближение с языком, создававшимся и кристаллизовавшимся на той же штокавской основе в Хорватии (Брозовић, 1965, с. 31–32). Для скорейшего создания единого сербскохорватского литературного языка был, естественно, более приемлем вуковский вариант.

Этническое и культурное самосознание хорватов в связи с развитием письменности (литературы) и литературного языка в XII—XIV вв.

Ранний период исторического развития той части славянского этнического массива, который позже четче обозначился как хорватский, период IX—XI вв., был отмечен, во-первых, процессом вхождения в общеевропейскую культурно-религиозную сферу, выразившимся в крещении хорватов; во-вторых, борьбой за независимость против иноземного и иноплеменного владычества; в-третьих, постепенным формированием и утверждением хорватской государственности.

Принятие христианства славянскими племенами, жившими по побережью Адриатики и в пределах более северных — по правобережью и левобережью реки Савы, которые в те времена и позже назывались Славонией (Sclavonia), можно со значительной долей вероятности отнести к VII—VIII вв., притом это принятие, вероятно, было, как и у сербов, не единовременным. Во всяком случае, археологические материалы свидетельствуют, что еще в VIII в. среди хорватской знати было широко распространено язычество. Окончательное принятие христианства хорватами, несомненно, относится к началу IX в. и связано с основанием в Нине епископской кафедры.

Как и почти все иные южно- и западнославянские племена и более крупные этнические образования, хорваты испытали в начальный период своей религиозно-культурной истории влияние двух церковно-политических и церковно-административных центров — Рима и Константинополя. Однако недолгое соперничество велось при полном преобладании Рима, окончательно утвердившемся после разделения церковью в середине XI в.

Деятельность солунских братьев Кирилла и Мефодия во второй половине IX в. коснулась, судя по косвенным книжным данным, по всей вероятности, и хорватских земель, в первую очередь северно- и среднеприморских, куда через

кирилло-мефодиевских учеников рано проникла глаголическая славянская письменность, сохранявшаяся затем вплоть до XX в.

Достаточно древнее разделение хорватских земель на два крупных региона — далматинский (приморский) и посавский (северный), — характерное и для современного географического контура Хорватии, повлияло на историческую судьбу хорватов и на автономность ряда культурных, этнических и социально-политических процессов в упомянутых ареалах. Освободившись в конце первой трети VII в. от аварской зависимости, славяне Посавья и части Приморья начали переживать процесс социального расслоения племенного общества и зарождения феодальных отношений (Бромлей, 1964). Это создавало условия для возникновения хорватской государственности, которое осуществилось значительно позже — в середине IX в. (Акимова, 1985, с. 219). Хорватская государственность появилась в сложных условиях противостояния двух могущественных держав — Византии, которой ряд веков (до XII в.) принадлежала то бóльшая, то менее обширная часть Далмации, и Франкской империи, распространявшей свою власть на Посавье довольно длительный период времени.

Хорватское суверенное государство переживало период своего подъема и расцвета в X—XI вв. при династии Трпимировичей, при королях Томиславе (910—928), Степане Держиславе (969—997), Петре Крешимире (1059—1074), Звонимире (1075—1089) и других правителях. Однако на границах хорватских земель с конца IX в. появляются два новых мощных соперника Хорватского государства: в Далмации — Венеция, а в Посавье — Королевство Венгрия. Соперничеству Хорватии, Византии и Венеции в Далмации особую окраску придавали далматинские города, имевшие сначала неславянский (романский), а затем не чисто славянский (романо-славянский) характер. Эти города далеко не всегда и не все входили в состав хорватского государственного объединения.

Историко-политическая обстановка, изложенная нами предельно кратко, определяла культурно-религиозную и литературно-языковую ситуацию в Далмации и Посавье в период до XII в. Несмотря на присутствие византийской власти в Далмации, присутствие переменное и разнохарактерное, постоянная церковная ориентация на Рим, ставшая

еще более стабильной после разделения церквей в 1054 г., окончательно закрепила католичество в Далмации и Посавье и сделала религиозную принадлежность основным, а в целом ряде случаев и единственным признаком, отличавшим хорватов от единоплеменных и в основном абсолютно единоплеменных сербов. Тот же фактор способствовал широкому распространению латинского языка как языка церкви, общеевропейской средневековой литературы и деловой переписки в славяно-хорватской среде. С началом венгерского династического и политического господства в 1102 г. позиции латинского языка и латинской образованности укрепились в еще большей степени, так как этот надэтнический язык, как и конфессия и элитарная (не народная) культура, объединяли хорватов с венграми и другими западными соседями. Все же в Северной и Центральной Далмации и в некоторых прилегающих к ним землях сохранилась славянская глаголическая и в малой мере кириллическая письменность, обслуживавшие литургическую («славянская служба», «глаголическое пение», «глаголание»), юридическую, деловую и литературную сферы. Эта характерная особенность хорватско-далматинской среды, в первую очередь ее приверженность к глаголице, уже в XII в., не говоря при этом о более поздних временах, выделяла хорватов или определенную их часть из среды южных славян, воспринявших славянское письмо, но довольно рано перешедших от глаголицы к кириллице и сохранивших кириллицу в несколько видоизмененном виде до наших дней. Приморские же хорваты вели борьбу за глаголицу, видимо, почти с начала ее распространения на их территории. Во всяком случае, документы свидетельствуют, что славянская глаголица подвергалась гонению в первой трети X в. На локальном церковном соборе в Сплите латинское духовенство выступило решительно за ее запрещение, настаивая на исключительно латинском богослужении¹. Тем не менее можно гово-

¹ Десятым пунктом решения Сплитского локального собора 925 г. было: «Пусть ни один епископ нашей провинции не решится рукополагать в какой бы то ни было священнослужительский чин для служения на славянском языке. Те, кто уже рукоположены, могут все же вести богослужение в качестве клириков и монахов. Он (епископ. — Н. Т.) не может разрешить им служить мессу за исключением того случая, когда ощущается нехватка священников. В этом случае нужно получить разрешение от папы и на основании этого разрешения допустить его к богослужению» (Novak, 1957, s. 52-53).

рять, что в рассматриваемый нами период XII—XIV вв. хорватская глаголица и глаголическая литература испытывали даже некоторый подъем. Это можно объяснить и усилением славянского элемента в приморских городах и поселениях, и укреплением славянского (хорватского) этнического самосознания, утверждающегося в противовес венецианской и венгерской культурной, экономической и политической экспансии. Экспансия Арпадовичей, сопровождающаяся развитием феодальной системы венгерского типа, основные представители которой в Далмации и Посавье были далеко не всегда славянского происхождения, привела в XIII в. (в 1260 г.) не только к довольно резкому административному разделению, идущему по горному массиву Гвозда, но в ряде случаев и к более дробному членению на основе автономии отдельных жуп. Так постепенно стала возникать характерная для хорватских земель картина довольно значительного областного дробления — наличия ряда культурных и этнических микроареалов, в которых, однако, сохранилось общее славянское или хорватское народное самосознание, выражающееся особенно ярко перед лицом иноземной агрессии. Такое положение сохранилось почти до XIX в., т. е. до хорватского (и южно- и западнославянского) национального возрождения.

Диалектный ландшафт западной части хорватско-сербского языкового ареала в период, предшествующий XII в., и в XII—XIV вв. демонстрирует активное протекание процессов, ведущих к все более четкому выделению особенностей трех основных хорватско-сербских диалектов — чакавского, штокавского и кайкавского. Последний был, по мнению П. Ивича и ряда других ученых, первоначально ближе к словенскому языковому массиву, чем к хорватско-сербскому, имел с этим массивом общую основу, но довольно рано стал сближаться с хорватско-сербскими говорами, чему также способствовало хорватское этническое самосознание его носителей (Ивић, 1971). Как и кайкавское наречие, распространенное на северо-западе Хорватии, чакавский диалект целиком включается в хорватскую этническую зону, занимая в наше время довольно узкую прибрежную зону Адриатики и несколько островных зон в штокавском и кайкавском окружении. В прошлом ареал чакавских говоров был обширнее и компактнее, — он постепенно сужался в результате штокавской экспансии. Штокавская хорватская зона в

наше время больше кайкавской и чакавской, вместе взятых, и охватывает всю Славонию, часть Далмации, Лику, Крбаву, Кордун и Банию. Черты различия трех основных хорватско-сербских диалектов — чакавского, кайкавского и штокавского — весьма значительные и довольно древние, т. е. могут быть отнесены к праславянскому периоду. В принципе они — более глубокие и очевидные, чем между белорусским и русским (великорусским) языками или наречиями. Изложенная языковая ситуация и историческая обстановка способствовали созданию и длительному сохранению локальных этнических различий в хорватских землях, что отражалось помимо прочего и в наличии региональных литературных традиций, большинство которых, однако, возникло и развивалось в период после XIV в. Таким образом, хорватский этнический ареал отличался и отличается бóльшим диалектно-языковым разнообразием, чем ареал сербский. Это отразилось и на путях развития хорватского литературного языка, и на самоназвании хорватов, которое и в Далмации, и в Посавье звучало то как *hrvat*, то как *sloven* (*slovin*, *narod slovinski*, *jezik slovinski*)² и дало в конечном итоге области, простирающейся севернее реки Савы, имя Славония.

Развитие древнехорватской литературы и древнехорватского литературного языка начиналось и проходило первое время в условиях романско-(латинско-)славянского и в меньшей степени греко-славянского симбиоза, при котором славянский компонент был представлен в виде так называемого глаголитизма, т. е. глаголического письма, связанного со славянским языком и богослужением, сохранявшим черты и традиции кирилло-мефодиевских текстов. Симбиоз этот осуществлялся в Далмации, в северной и средней ее части, главным образом на Кварнерских островах, в условиях византийского господства и постоянной духовной и церковно-административной связи с папским престолом в Риме. Ряд исторических документов как бы повторяет постановление Сплитского собора 925 г. о том, что уже рукоположенные славянские священники могут совершать славянское бого-

² В рассматриваемый период у сербов самоназвание «словен», «словенски» встречается редко. Между тем книжный язык, которым пользовались сербы, обычно назывался «словенским», и тех же сербов другие народы, прежде всего греки, называли «славянами» (*slavus* и т. п.).

служение и что впредь не следует рукополагать кандидатов, не знающих латинского языка (решение местного Сплитского собора 1060 г., решение муниципалитета в Риеке 1455 г. и др.) (Hercigonja, 1975, s. 18–22).

Следует, однако, заметить, что эпохи гонений на славянскую глаголическую церковную службу иногда сменялись периодами, когда такая служба признавалась (например, в XIII в. папа Иннокентий IV дал привилегии глаголитам: в Сене в 1248 г. и в Омишле в 1252 г.) или допускалась, хотя и неохотно. Сами представители глаголической книжной культуры, которая была, как показывают новейшие исследования, в общем высокой, чтобы поднять престиж своего письма и древнеславянского богослужебного языка, часто аргументировали приверженность к глаголице тем, что ее изобрел Блаженный Августин, согласно книжной легенде, «просветивший, прославивший, обогативший и возвысивший язык свой славянский» (Hercigonja, 1975, s. 25).

Древнейшим хорватским датированным глаголическим текстом считается «Башчанская плита» — надпись на камне 1100 г., свидетельствующая о том, что хорватский король Звонимир дал церкви св. Люции земли, а аббат Добровит с девятью братьями построил церковь. Графика этой надписи — переходная глаголица от древнего, «круглого», образца к новому, угловатому, типу, а язык — смешанный церковно-славянско-старочакавский, характерный для богослужебных текстов того времени. На основе сходных палеографических особенностей XI веком датируется и Валунская надпись, а также Кркская надпись, которые считаются старше Башчанской (EJ, I, s. 388).

К хорватским глаголическим текстам XII в. принадлежат также Венские листки и Башчанские отрывки, к этому же кругу памятников относятся и возникшие на сербско-хорватском культурном пограничье отрывки апостола Грковича и Михановича. Последние являются общесербскохорватскими памятниками, как общим и единым в течение всей своей истории был и штокавский диалект, а в принципе и сербскохорватский язык в целом.

Сохранился ряд текстов XIII в. и более позднего периода, протографы которых восходят к более ранней поре. Это прежде всего глаголические миссалы (литургические служебники) и бревиарии (книги ежедневного чтения для католических священников, содержащие фрагменты библейских тек-

стов, псалтыри, отдельные легенды, гомилии, апокалипсис, молитвы): отрывок миссала Кукулевича, Бирбинский отрывок миссала и отрывки бревиариев Лондонский и Врбничский, отражающие старый тип миссалов и бревиариев.

В начале XIII в. в результате деятельности францисканцев западная церковь произвела реформу в области репертуара литургических текстов, что отразилось на составе глаголических литургических кодексов и бревиариев, тексты которых обновились новыми переводами или адаптированными в соответствии с Вульгатой.

Среди древнейших не фрагментарно сохранившихся, так называемых полных («пленарных») глаголических миссалов XIV в. находятся Омишальский (Ватиканский) миссал начала XIV в., Хрвоев миссал, Миссал князя Новака и другие и значительное число (до 12) бревиариев, в том числе Бодленский, Лобковича, Ватиканский, Парижский, Люблянский бревиари. Омишальский фрагмент древнего хорватского глаголического апостола и ряд других богослужебных книг свидетельствуют о близости в XIII—XIV вв. структур церковнославянской хорватско-глаголической литургической книжности и книжности кириллической того же вида и того же и более раннего времени (Štefanić, 1960, s. 322).

Для хорватской глаголической литературы до XV в. характерно наличие целого ряда повествовательных прозаических произведений, таких, как легенды и апокрифы, дошедших до нас, вероятно, неполно, в ряде случаев лишь в виде отдельных отрывков или даже обрывков или обрезков листа, употребленного для переплета и т. п. Именно к таким обрывкам относятся два листа Легенды о св. Макарии (Будапештские листки) XII в., интересные помимо содержания еще и тем, что они, по предположению И. Хамма и Э. Херцигони, возникли не в прибрежной или островной Далмации, а в материковой зоне Крбавы, Лики или Покупья (Nercigonja, 1975, s. 102–103). Три сохранившихся пергаменных листка XIII в., содержащих отрывки из легенд о сорока себастианских мучениках, о св. Юрии и Легенду об апостоле Иоанне на Патмосе, свидетельствуют о наличии в древнехорватской литературе различных легенд и житий-мартирологий. Ко второй половине XIII в. относится и глаголический фрагмент Жития св. Феклы, равно как и апокрифические Сочинения апостола Павла, связанные с болгаро-македонской и русской традициями минейных чтений. К

началу XIV в. относятся глаголические «Пазинские фрагменты», содержащие несколько апокрифов («О крестном древе Господнем», «О мучениях Якова Персиянина», «Евангелие от Никодима», «Об успении Богородицы») и легенд (Легенда об Евстафии), объединенных в одном большом сборнике переводных текстов, отражающих как восточно-, так и западнохристианскую культурно-религиозную традицию. Глаголический отрывок коллекции Загребской академии середины XIV в. представляет собой «Прения Иисуса с дьяволом». Приведенным перечнем, вероятно, не ограничивался корпус апокрифических и легендарных переводных текстов хорватской глаголической литературы рассматриваемого периода, так как некоторые из апокрифов и легенд могли сохраниться в более поздних списках или не сохраниться вообще. Эта же оговорка относится и к текстам гомилиетического (проповеди) и нравоучительно-дидактического («Трактат о семи смертных грехах» — отрывки XIV в.) характера, равно как и к произведениям поучительной прозы, встречающимся в сборниках довольно разнообразного содержания (Сборник Бориславича 1375 г., Сборник Иванича XIV—XV вв. и др.).

Почти все перечисленные выше произведения и тексты являются переводными и потому носят неоригинальный характер. Однако именно эта литература — славянская по языку и глаголическая по написанию — в большей мере, чем скромная кириллическая литература в Далмации и только еще нарождающаяся в XIV в. литература с латинской формой письма (но не языка), послужила основой, отправной точкой и стимулом для развития богатой оригинальной литературы на народном языке отчасти уже в XV в. и в особенности в XVI в.

В рассматриваемый период на всей территории, где бтовала глаголица, и шире, где она не была распространена или спорадически появлялась и исчезала, разумеется, существовала литература в общем тех же и иных жанров на латинском языке: богослужебные книги и книги для религиозного чтения — миссалы, бревиарии, гомилиетические, агиографические и легендарно-апокрифические тексты.

Непереводными в рассматриваемый период XII—XIV вв. были юридические кодексы приморских городов и общин, писанные глаголицей. К ним относятся: Винодольский статут, или законник 1288 г., и Кркский (Врбничский) статут,

формировавшийся в период от 1362 до 1526 г. Широко известен историкам и филологам Полицкий статут, древнейший дошедший до нас список которого, писанный кириллицей-босанчицей, относится, по предположению И. В. Ягича, к периоду между 1567 и 1605 гг. и восходит к более раннему, утраченному списку 1444 г. Однако и по содержанию, и по слогу он отражает еще более ранний период юридического законодательства и должен рассматриваться в общем кругу ранних и поздних памятников славянского права далматинско-приморского ареала. К этому кругу принадлежат также статуты городов и общин XV—XVII вв.: Кастава (1490), Вепринца (1507), Моштениц (1501), Трсата (1640). Тексты статуты Кастава и Моштениц дошли до нас в латинском графическом облике, но их протографы были глаголическими. Все эти тексты, по справедливому свидетельству В. Мажураича и Й. Братулича, насыщены исконно славянскими народными юридическими представлениями, языковыми формулами и фрагментами фольклорного мировосприятия и отношения к социуму (Mažuranić, 1912, s. 102–103; Bratulić, 1976, s. 363–382). Их общеславянская правовая основа хорошо показана в классических работах Б. Д. Грекова (Греков, 1951; 1953).

Отчасти по своему содержанию и во многом по языку к глаголическим статутам примыкает довольно объемистый памятник «Истрийский развод» — глаголическая рукописная межевая книга, юридически документирующая границы владений Аквилейской патриархии, пазинских (от г. Пазии) графов и Венеции, сохранившаяся в глаголическом списке XVI в., имевшем протографом список 1325 г., восходивший в свою очередь к тексту 1275 г. Текст этот свидетельствует, во-первых, о параллельном употреблении чакавской глаголицы с латинским и немецким языками и, во-вторых, о довольно широком функционировании глаголицы в деловой, особенно юридической, сфере. Латинские и немецкие списки не сохранились, но глаголический список свидетельствует о том, что стороны избрали трех нотариусов «еднога латинскога, а другога нимшкога, а третога хрвацкога... да имамо... всаки на свой оригинал писат поимено од места до места» (Die istrische Grenzukunft, 1983).

Наряду с кодексами, писанными по-славянски (по-старохорватски), на Адриатическом побережье были в употреблении латинские кодексы далматинских городов и островов.

Таковы известные нам статуты Сплита (1240 г.; дошел до нас в списке XV в.), Корчулы (1265), Дубровника (1272), Скрадина (XIII в.), Задра (1305), Брача (1305), Млета (1310), Трогира (1322), Раба (1330), Хвара (1331), Котора (1332).

Многочисленная городская, церковная и монастырская документация велась также по-латыни. Среди памятников такого типа сохранился так называемый Супетарский картулярый — сборник имущественных актов, записей и свидетельств первой половины XII в., принадлежавший монастырю св. Петра в Селе на Полицком приморье.

Средняя Далмация, где расположена Полица, известна как область, где бытовала кириллица, графика, малоупотребительная в хорватской среде, если не считать Боснию, где в более поздний период, чем рассматриваемый, в католической францисканской среде господствовала кириллица-босанчица. Древнейшие сохранившиеся хорватские кириллические памятники связаны с деятельностью бенедиктинского монастыря в Повле на о-ве Брач. К этим памятникам принадлежит надпись конца XII в. (после 1184 г.) и грамота 1250 г. (со вступительной частью, относящейся, вероятно, к 1184 г.). Эта грамота представляет собой довольно объемистое описание земельных вкладов и имуществ монастыря³. По графике и слогу к ней близки надгробная надпись князя Мирослава Качича из Омиша, что в устье р. Цетине, начала XIII в. (князь Мирослав правил на о-вах Брач и Хвар) и грамота омишского князя Джуры Качича 1276 г. Традиция выдачи кириллических грамот сохранялась в этой зоне и позднее: так, в XV в. князья цетинские и клисские пользовались таким видом канцелярского письма. Бытовала кириллица в Далмации и в XVI в.

Первые хорватские тексты с использованием латинской графики появились также на территории, занятой примор-

³ Повельская грамота — древнейшая хорватская кириллическая грамота и один из старейших памятников чакавского диалекта, хотя язык ее — не чисто народный, а со значительной долей древнеславянских канцеляризмов и штампов, характерных также для боснийских, захумских, травунских, дубровницких и зетских канцелярий. Приводим начало грамоты: «Въ име ѿѿа и сна и стаго дѿа: Лето ѿ роцения га нашего исхво. тисушьно и сто осъмьдесеть: и (д). Бы въ дни края (= короля) Бель: бискупа Микули с отокомъ (= островом) Хуарским (= Хвар) и Брачьскимъ (= Брач): Бречько кнезь...» (Vrana, 1962).

ской чакавщиной, притом довольно поздно, лишь в XIV в. Среди них особое место занимает «Шибеникская молитва», названная так по месту своего открытия, а вероятно — и возникновения в г. Шибенике (Северная Далмация). Судя по ряду фактов, она возникла в 1347 г., ее протограф неизвестен, и не найден аналогичный или близкий латинский текст, который мог бы послужить образцом. В то же время ряд церковнославянских (древнеславянских) языковых черт в морфологии и лексике «Шибеникской молитвы» как будто свидетельствуют в пользу того, что она могла иметь протограф, написанный славянским письмом — глаголицей или кириллицей-босанчицей. Это в принципе оригинальное произведение состоит из нескольких синтаксически и ритмически не вполне однородных частей⁴. Своим содержанием и формой оно вполне отражает период восприятия западных влияний и идейной и художественной контаминации исконной литургической и нелитургической книжной кирилло-мефодиевской традиции с новым, в значительной мере светским, направлением литературного, культурного и эстетического развития. Начиная со второй половины XV в. эти новые веяния становятся преобладающими, придающими хорватской книге и по внешнему виду, и по содержанию все более латинизированный характер, хотя с появлением книгопечатания на Адриатике и с общим развитием культуры и образования глаголическая литература тоже испытывала подъем.

⁴ По предположению ряда исследователей, «Шибеникская молитва» могла возникнуть в духовной монастырской среде, близкой к брибирским (от крепости Брибир близ Шибеника) феодалам Шубичам, самым крупным хорватским феодалам XIII—XIV вв., которые помимо латинского письма пользовались кириллицей-босанчицей и для которых в ту пору была типична открытость к нескольким традициям. Первая часть молитвы — похвала Деве Марии, которая начинается со слов: «O blažena, o prisvećana, o umiljena, o pričista Divo Marije! moli za nas i vas pulk (= весь народ) karstjanski sina božna (= божьего) sina tvoga, ki prije sega vika (= который до сего века) od Voga Oca na nebesih brez matere rodil...» Текст дан в новой транскрипции. Оригинал писан готическим курсивом, которому, вероятно, предшествовал готический минускул. По правдоподобному предположению Э. Герцигони, культ Девы Марии имел антибогомильскую направленность и был связан с борьбой Шубичей с боснийскими богамилами. Таким образом, не исключено, что «Шибеникской молитве» предназначалась роль «боевой молитвы», подобно чешской песне-молитве «Hospodyne, pomiluj ny!», а возможно, и польской «Bogurodzicy» (Hercigonja, 1975, s. 177–186; Malić, 1973).

Двумя годами раньше «Шибеникской молитвы», в 1345 г., был написан на довольно чистом чакавском диалекте готическим минускулом устав доминиканского женского монастыря в г. Задре под названием «Порядок и закон» («Red i zakon»), представляющий собой отрывок текста в 62 строки. Латиницей написан и старохорватский текст «Житий святых отец» — переводы из латинской книги «Verba seniorum», восходящей в свою очередь к греческому Патерику, повествующему об отшельнической жизни египетских монахов-пустынников и их духовных подвигах. Старохорватская книга житий относится к концу XIV в. и содержит всего 135 притч (из 742 в «Verba seniorum»). Язык этой книги содержит, в отличие от языка глаголических текстов, сравнительно небольшое число церковнославянизмов, которые все же, как и славянизмы «Шибеникской молитвы», указывают на связь хорватской литературы, писанной латиницей, с литературой глаголической (см. Ivšić, 1939).

К концу XIV в. появилась, отпочковавшись от глаголической традиции, группа сакральных текстов, писанных постарохорватски латинской графикой. К ним относятся дошедшие до наших дней памятники письменности: «Ватиканский хорватский молитвенник» XIV в. — сборник псалмов, возникший в районе Дубровника, фрагментарно сохранившийся «Корчуланский лекционарий» XIV в. и ряд более поздних аналогичных текстов. Все они свидетельствуют, во-первых, об активном «охорвачивании» древних церковнославянских текстов; во-вторых, о начале процесса конкуренции языковых норм различных славянских текстов, опирающихся на ту или иную диалектную зону, и, наконец, на сохранение в новых условиях определенной достаточно древней и устойчивой традиции.

Приведенные факты показывают, что авторитет глаголической письменности в период XII—XIV вв. был высоким и преобладающим над престижем письменности кириллической и хорватской, использующей латинскую графику⁵. В то же время необходимо признать, что глаголическая пись-

⁵ Любопытно, что глаголические хорватские писцы и переводчики, группировавшиеся вокруг типографии и скриптория в г. Сень, латинскими называли книги, писанные по-итальянски, а латинские книги назывались «дьячками», т. е. учеными, клерикальными. См. в загребском академическом словаре слово *djački* (RSHJ, II, s. 955). См. Hercigonja, 1975, s. 431.

менность XII—XIV вв. была локально ограниченной и более изолированной, чем южнославянская кириллическая письменность (сербская, восточно- и западноболгарская, македонская, боснийская). Эта локальная ограниченность глаголизма и преимущественная или почти исключительная его связь с чакавской диалектной зоной, с приморской чакавщиной прежде всего, обусловила в последующий исторический период XV—XVII вв. и в XVIII в. существование ряда областных литератур со своей жанрово-языковой спецификой (Толстой, 1987).

Авторитет глаголизма базировался во многом на древней и традиционной для большинства славянских этносов связи с кирилло-мефодиевской первоосновой славянской письменной и литературно-языковой культуры. Среди тех же глаголитов славянской Адриатики бытовала легенда о происхождении св. Кирилла (Константина) и Мефодия Солунских из Далмации, из г. Солина (античной Салоны около г. Сплита), от рода императора Диоклетиана и святого папы Кая⁶, что не мешало тем же глаголическим клирикам и их пастве, к которой относились обычно и местные феодалы, придерживаться другой легендарной версии о том, что славянскую глаголицу изобрел блаженный Иероним, знаменитый учитель и «столп западной церкви» IV в., родом из Стридона, что находился на границе Далмации и Паннонии.

Легендарная версия об изобретении глаголицы блаженным Иеронимом — достаточно древнего происхождения. Во всяком случае, в XIII в. она была известна папе Иннокентию IV, который в письме Филиппу, епископу сеньскому (г. Сень находится в Северной Далмации), в 1248 г. писал: «В Славянской стране есть особое письмо, которое духовенство страны считает доставшимся ему от блаженного Иеронима и которым пользуется в богослужениях» («In Slavonia est littera specialis, quam illius terr[ae] clerici se habere a beate Jeronimo asserentes, eam observant in divinis officiis celebrandis») (Jelić, 1906, раес. XIV, 5). Век спустя Карл IV, основывая Эммаусский монастырь в Праге, в фундаментальной грамоте 1347 г. отметил, что в этом монастыре будет совер-

⁶ В глаголическом бревиарии попа Мавра 1460 г. значится: «В Длмации в Солине гр(а)дѣ роиство (= рождение) ст Курила и б(ра)та юго Методик от рода Дѣоклицѣтна ц(а)ра и с(ве)т(а)го Каѣ п(а)пи (Pantelić, 1965, s. 133).

шаться служба на славянском языке «из почтения и в память славнейшего христианского исповедника блаженного Иеронима Стридонского, славного проповедника и непревзойденного толкователя и переводчика священного писания с гебрейского на латинский и славянский языки» («ob reverentiam et memoriam gloriossimum Confessoris Beati Ieronymi Strydoniensis Doctoris egregii et translatoris interpretisque eximii sacre scripture de Ebraica in Latinam et Slavonicam linguas») (там же, раес. XIII, 9–10). В том же Эммаусском монастыре по указанию Карла IV была освящена церковь, посвященная св. Иерониму, св. Кириллу и Мефодию и другим святым. В последующую эпоху о Иерониме как создателе глаголицы писал знаменитый гуманист Марко Марулич, а в XVI в. — Винко Прибоевич, доминиканец и дворянин с о-ва Хвар, в речи «De origine successibusque Slaugum» («О происхождении и успехах славян») после ссылки на Марко Марулича отмечал, что «св. Иероним, рожденный в городе Стридоне, который Птоломей называет “Sidrona” и который находится на границе Паннонии и Далмации, был не итальянцем, а славянином» («Illyricam esse nationem diuunque Hieronymum ex oppido Stridonis, quod Ptolomeus Sidronam uocat, Pannoniae Dalmatiaeque [...] confinia complectente natum non Italum, sed Slauum extitisse») (Pribojević, 1951, s. 66), а также, что св. Иероним, «чтобы прославить свой родной язык (как об этом свидетельствует Сабелик), придумал новые буквы, которыми в наше время пользуются соседи нашего края в священных и светских делах. Он на этот новый язык (как указывают Биондо и Филипп из Бергамо) перевел и литургический обряд, который употребляется католиками и который был одобрен папой Евгением IV» («Is enim, ut patrium idioma (Sabellico teste) illustraret, noua literarum elementa commentus est, quibus in sacris et prophanis rebus regionis accole nostra tempestate utuntur. Sed et offitium quoque diuinum, quo Catholici utuntur christiani, in id nouum idioma (ut Blondus et Philippus Bergomas refferunt) traduxit, quod Eugenius quartus Romanus Pontifex approbavit») (там же, s. 86).

Мнение о происхождении глаголицы от св. Иеронима сохранилось до XIX в. включительно, как можно судить по изданному в Венеции в 1812 г. букварю П. Соларича, носящему название «Букварь, содержащий азбуку славено-иллу-

рическую сватагѡ Иеронума Стрідонскагѡ». В этом пособии имеются ссылки на букварь Карамана 1753 г. и букварь, напечатанный в Венеции в 1763 г. В 1911 г. И. В. Ягич писал: «Много столетий продолжалась эта вера в Иеронима как изобретателя глаголического письма не только дома, т. е. в Далмации и Хорватии, не только в Риме, через проживавших там южных славян (например, еще в XVII столетии было это убеждение у Рафаила Леваковича), но также и на западе. В Чехию предание занесено в XIV столетии хорватскими монахами-глаголитами, которым поверил даже император Карл IV. По мнению Добровского, на западе много содействовало распространению этого мнения известное сочинение Постеля» (Ягич, 1911, с. 52). Речь идет о французском ученом XVI в. Вильгельме Постеле (Постеллусе), авторе книги «Linguarum duodecim characteribus differentium alphabetum», изданной в 1539 г. В ней под заглавием «De lingua Hieronymiana seu Dalmatarum aut Illyriorum» подразумевалась глаголическая письменность (Ягич, 1910, с. 15–16). В самой глаголической среде глаголица нередко называлась «иеронимовым письмом» (Štefanić, 1963, s. 34–35; Banac, 1984, p. 196–198).

Легенда о письме блаженного Иеронима не только повышала авторитет глаголицы в глазах ее сторонников, но и оказывалась аргументом в пользу автохтонности славян (хорватов) в Далмации и древности их самобытной книжной и этнической культуры. Существенно, что эта легенда передавалась из века в век, от поколения к поколению вместе с глаголической письменностью и глаголическим богослужебным пением («глаголанием»). Стремление видеть в автохтонах своей земли тех же славян ярко сказалось в культурно-политическом течении XVI в., возникшем в той же Далмации и известном под названием «иллиризма», которое, однако, не следует смешивать с иллиризмом XIX в. Иллиризм XVI в. созвучен по духу и идейной направленности польскому сарматизму того же времени. При этом поляки под словом *сармат* видели древнее название славян и даже определенную этимологическую связь со словом *слава*, *славянин*, как и хорваты полагали, что слово *иллир* является древним славянским этнонимом.

Регионализм и литературно-языковая ситуация в хорватских землях в XVI—XVIII вв.

Понятие и сущность литературного регионализма оказываются различными в разные исторические периоды, ибо они определяются не сами по себе, а путем противопоставления нерегиональным явлениям или явлениям разного регионального масштаба. Это означает также, что регионализм всегда связан с определенной культурной, литературно-языковой и литературной системой или системами, имеющими некоторую иерархию и соподчинение по ряду параметров. С другой стороны, регионализм всегда привязан к конкретному, довольно ограниченному географическому локусу, подобно диалектной речи (говору), этнической единице (как правило, небольшой) либо к относительно замкнутой конфессиональной группе. Говор (диалект) и его письменно (и графически) обработанная субстанция является одной из формальных характеристик региональной литературы, ее наиболее яркой внешней отличительной чертой, в то время как этнографизм, а иногда и конфессиональность (в большей или меньшей мере) окрашивает ее содержание или почти целиком его определяет.

Та или иная региональная славянская литература возникла, некоторое, иногда длительное, время развивалась, затем исчезала, чтобы часто в иной форме возродиться вновь или оставить свой след в общенациональной (resp. общенародной) литературе. Ее антиподом была надэтническая (или межэтническая) макроареальная литература в двух крупнейших славянских культурных и литературно-языковых ареалах — в греко-славянском мире (*Pax Slavia Orthodoxa*) и в латино-славянском мире (*Pax Slavia Latina*).

Оба макроареала в течение длительного времени сохраняли различие в традиции, в организации механизма культурных и литературно-языковых ценностей и в иерархии этих ценностей, начиная с IX—XI вв. и кончая XVIII в. Рассматриваемая нами группа южнославянских культурных микро-

регионов (составляющих в наше время хорватский культурный регион), и особенно Далмация, в период до XVI в. и несколько позже находилась на пограничье двух упомянутых макроареалов, была в зоне их соприкосновения и обоюдного влияния. Таким образом, она в известном отношении принадлежала к двум славянским культурным мирам одновременно и потому имела осложненную литературно-языковую и культурно-конфессиональную структуру внутренних связей и соотношений. При этом принадлежность к миру *Slavia Latina* с годами все крепла, а связи с миром *Slavia Orthodoxa* время от времени ослабевали, и сохранялась лишь определенная (главным образом глаголическая) традиция.

Для ареала *Pax Slavia Latina* было характерно гетерогенное литературно-языковое двуязычие и существование славяноэтнических литератур наряду с надэтнической, неславянской по языку средневековой латинской литературой. Эта в принципе единая субрегиональная латинская литература имела исторические (средневековые, ренессанс, барокко) и территориальные рамки, которые, однако, были очень широкими. Как и древнеславянская (церковнославянская) литература, она была общей для многих регионов и этносов (одноплеменных и разноплеменных). Латинская литература объединяла всю Западную Европу, часть Юго-Восточной и какое-то время даже часть Восточной Европы в один культурно-литературный макроареал, закрепляя при этом тесную связь литературы и науки, литературы и теологии и т. п. Для ареала *Pax Slavia Orthodoxa* было характерно гомогенное литературно-языковое двуязычие, допускающее ряд промежуточных, переходных форм не только в языковом, но и в стилистическом и жанрово-литературном отношении. Единая древнеславянская литература в эпоху средневековья занимала главенствующую позицию по отношению к функционирующим вместе с ней славянским литературам — древнерусской, древнесербской и др.¹ В право-

¹ Термин «литература-посредница» применительно к древнеславянской литературе нам представляется не очень подходящим по той причине, что он отражает только одну из функций древней общеславянской литературы — объединяющую — и только в этом смысле и «посредствующую». Эта литература, в особенности на ранних этапах ее истории, была скорее литературой-основой, литературой базисной и стержневой, от которой ответвлялись сначала «изводные», региональные, а со временем уже и народные, и национальные литературы.

славных южнославянских и восточнороманских землях ее унифицирующая роль сказывалась на развитии литературных языков и литератур вплоть до XVIII в., в то время как в землях восточнославянских эта роль начала сходиться на нет веком раньше. В ее истории, однако, задолго до XVIII в. периоды центростремительных процессов сменялись периодами центробежных устремлений. Именно благодаря последним еще в средневековье возникали областные (региональные) особенности в древнерусской, древнеболгарской и древнесербской литературах. Особенности эти выражались неярко, были, как правило, жанрово ограничены, и, если говорить о языке, то складывались они больше в сферах нелитературных (деловой, юридической, бытовой и т. п.), чем в литературных. При этом следует учитывать, что само понятие и объем (границы) литературы для разных эпох были различными и в каком-то отношении условными (см. Толстой, 1982; наст. изд., с. 200–211).

Литература ареала *Pax Slavia Latina* была в славянской ее части более этнически разграниченной и специфичной, чем литература другого славянского культурного макроареала. Это сказалось и в жанровом составе отдельных славянских литератур донационального периода, и в особенностях развития их региональных форм. Оставляя в стороне проблемы западнославянского регионализма до XIX в., связанные с кашубским, лужицким и другими микрорегионами, обратимся к территории, которая в наше время безусловно определяется как хорватская. Отметим, что в конфессиональном отношении писатели, о которых далее пойдет речь, были католиками (лишь в ограниченное время и на ограниченном пространстве действовали протестанты), нередко духовными лицами — «жупниками» и «фратрами», что накладывало отпечаток на их произведения. В отношении же их принадлежности к литературным направлениям можно сказать, что часть писателей относится к последним представителям славянского ренессанса, часть воспринимала барочную вычурность, а часть не чуждалась идей и форм, характерных для рационализма и просветительства, хотя были и продолжатели церковно-схоластического направления, придерживавшиеся традиций, близких к средневековым (особенно в XVI в., в период контрреформации).

Что касается смены литературных направлений, то этот процесс характерен для нерегionalных литератур, в то

время как региональные литературы его в полном объеме не переживали, — в лучшем случае они его частично отражали, а то и вовсе оказывались в стороне от этого процесса в силу своей жанровой ограниченности. Для региональной литературы в ее наиболее классическом, или «чистом», виде была характерна обособленность разных планов — языковая, территориальная, жанровая, тематическая, конфессиональная, в каком-то отношении даже графическая (тип азбуки). Последнее было лишь внешним показателем, формальным знаком. Показатели (признаки) эти могли присутствовать не все сразу — региональная литература могла выделяться лишь по некоторым показателям, к тому же набор признаков мог исторически меняться, как могли и смещаться литературные и литературно-языковые центры; наконец, нерегиональная литература могла постепенно превращаться в региональную и, наоборот, региональная могла становиться нерегиональной, общеэтнической (национальной). От понятия регионализма следует отличать понятие «литературное гнездо» (или «литературный круг» — термин хорватской литературоведческой традиции), так как «литературные гнезда» (в нашем литературоведении это понятие употребляли Н. К. Пиксанов и др.) отличаются от общеэтнической и национальной литературы вообще лишь географическим признаком, географическим ограничением. Помимо перечисленных признаков, для литературного регионализма характерно и необходимо параллельное наличие литературы на том же языке (но не на том же диалекте!), функционирующей шире и имеющей более развитую систему жанров, стилей, литературных связей и динамично развивающей свою традицию, т. е. наличие нерегиональной литературы, которой региональная сопутствует в той или иной мере. Эту корреляцию следует отличать от функционирования разноязычных литератур на одной и той же территории в одном ареале, которое было характерно для многих европейских и неевропейских зон (в том числе и для рассматриваемой зоны) в прошлом, но не исчезло и в настоящем. Так называемое литературное многоязычие могло быть характерным для одной среды и для одного писателя, чему примеров достаточно и в рассматриваемой нами литературной продукции. Регионализм, таким образом, может зависеть от той или иной литературной и литературно-языковой ситуации и

во многих отношениях может придавать этой ситуации особую специфику.

Для того чтобы очертить положение в древних хорватских и некоторых исторически связанных с ними землях, кратко охарактеризуем бытовавшие в них литературы как нерегionalного, так и regionalного характера. Последние, естественно, будут освещены несколько подробнее, хотя тоже с большим ограничением: будут, по сути дела, перечислены лишь состав писателей и их основные произведения.

К этим литературам относятся: а) латинская литература, б) глаголическая литература, в) чакавская неглаголическая литература, г) дубровницкая штокавская литература, д) боснийская штокавская литература, е) славонская штокавская литература, ж) кайкавская литература, з) протестантская литература, и) градишчанская чакавская литература².

Латинская литература функционировала как надэтническая и «надъязыковая» и «общеeвропейская», как прямая наследница литературы античного культурного мира (Pax Romana), охватывавшего до средневековья весь западный культурный и цивилизованный мир (omnia pax). Античная греческая культура и литература воспринималась как ее предшественница, и потому в течение всего ренессанса делались повсюду, в том числе и в рассматриваемом регионе, переводы древнегреческих авторов. Латинская литература, таким образом, воспринималась как литература большой исторической глубины, территориальной распространенности и функциональной широты. Эта литература противостояла в ряде регионов другой надэтнической — древнеславянской (церковнославянской) литературе, которая в рассматриваемом регионе была представлена целым рядом текстов глаголической литературы, имевших немало своих специфических особенностей, но тем не менее часто воспринимав-

² Термины «чакавский», «кайкавский» и «штокавский» взяты из современной хорватско-сербской диалектологии, по данным которой ареал распространения хорватско-сербских говоров делится на три основные группы: чакавскую, кайкавскую и штокавскую. Чакавские диалекты распространены главным образом на адриатических островах, на довольно широкой полосе побережья и на материке в районе г. Карловац. Кайкавские — в северо-западной Хорватии массивной большой зоной с г. Загреб в центре, а штокавские — на остальной территории распространения языка. Эти термины приняты и в югославянском литературоведении.

шихся ее носителями как общедревнеславянские, о чем свидетельствуют и отдельные книжно-языковые реформы, например, реформа Рафаила Леваковича (1597 — ок. 1649), приблизившая язык этих текстов (этой литературы) к языковой норме русского («западнорусского») варианта церковнославянского языка XVII в. Язык глаголической литературы, как правило, был сочетанием (смесью) старославянской языковой основы с множеством чакавских элементов (при разной пропорции этих компонентов). В отличие от универсальной (полиэтнической, полифункциональной и поливалентной) латинской литературы (и литературного языка) глаголическая чакавская литература (и литературный язык) была связана преимущественно с сакральными или ярко духовно окрашенными текстами, а также с текстами юридическими, в которых элемент чакавщины часто превалировал.

Неглаголическая чакавская литература, пользовавшаяся и пользующаяся латиницей, была во многом светской, и по признаку светскости/несветскости она, хотя и не всегда резко и четко, противопоставлялась глаголической литературе. Для XVI в. она была новой, расцветшей в связи с ренессансом. Она дала начало ренессансной литературе на славянской Адриатике, повлияла на дубровницкую литературу, и потому, несмотря на ее территориальную ограниченность, она не может считаться региональной. Лишь позже, после перемещения центра ренессансной литературы южнее, в Дубровник (Рагузу), роль чакавской неглаголической литературы заметно сократилась, и она постепенно приобрела основные региональные черты.

Дубровницкая штокавская литература с самого возникновения в эпоху ренессанса и до конца существования Дубровницкой республики (1808) была литературой преимущественно светской, нерегиональной по своей функции и жанрово-тематической структуре. Тем не менее это еще не была общештокавская литература типа хорватской литературы второй половины XIX в. или типа польской литературы XVI—XVIII вв., хотя бы потому, что наряду с ней существовали штокавские литературы иного — регионального — порядка: боснийская францисканская штокавская и славонская штокавская. Позже чакавской, но почти одновременно с боснийской штокавской появилась кайкавская литература, которая в XVIII в. и в самом начале XIX в. в каком-то отношении претендовала на роль ведущей хорватской и тем

самым объединяющей литературы, но в свое время зародилась как региональная, сохраняла в своем развитии эти черты и как таковая выступает и в наши дни наряду с современной чакавской региональной литературой. Не так легко определить статус по показателю региональности/нерегинальности для протестантской литературы. Ее создатели явно стремились придать ей нерегинальный и даже надэтнический (или полиэтнический) характер, опираясь в то же самое время на народную речь, что, казалось бы, вызывало с социально-лингвистической точки зрения противоречивую ситуацию. И, возможно, эта ситуация в каком-то отношении разрешилась бы (как, например, в XVI в. у словенцев), если бы этот процесс не приостановило мощное контрреформационное движение. Специфика и обособленность протестантских изданий и произведений побуждают многих филологов выделять ее на общем фоне регионализма в особую литературу. И, наконец, самой обособленной и в этом отношении «классической» региональной литературой является градишчанская (бургенландская) чакавская литература, носители которой географически отделены и этнически несколько обособлены от своей хорватской «матицы» (основы, источника, основного этнического ядра), так как Градишче, или Бургенланд, находится в Восточной Австрии, юго-восточнее Вены, на северном австро-венгерском пограничье. Эта литература существует с XVII в.

Таким образом, все эти литературы взаимно соотносятся и противопоставляются не только и не столько географически, сколько функционально, структурно-тематически, жанрово и, наконец, лингвистически, т. е. в языковом (диалектном) отношении. Все они создавали в каждую эпоху определенное сложное целое (части которого были иерархически неравноправны, но соподчинены), целое достаточно динамическое, исторически изменяющееся, в общем не замкнутое, а скорее открытое, что и привело в конечном итоге в XIX в. — в эпоху иллиризма Людевита Гая и его соратников — к объединению их литературного языка с литературным языком сербов. Историческая перспектива хорватского регионализма будет рассмотрена в конце статьи после изложения предельно кратких фактических сведений, касающихся перечисленных литератур.

Латинская литература эпохи средневековья, ренессанса и даже постренессансного периода была характерна

для всех зон макроареала *Rex Slavia Latina*, в том числе и для западной части южного славянства (см. Голенищев-Кутузов, 1963). И дело не только в том, что эта литература функционировала в славянской среде, занимая нередко доминирующее и престижное положение в читательском восприятии, а в том, что многие славянские авторы писали исключительно на латыни (даже когда обращались к чисто славянской тематике, как Винко Прибоевич в XVI в.) или были двуязычны, т. е. писали на латыни и по-славянски. Факт этот общеизвестный, и примеров тому очень много и в польской, и в чешской, и в хорватской литературах. Одной из особенностей периода XVI—XVIII вв. можно считать исключительный рост числа латинских авторов в анализируемом нами регионе, хотя писатели-латинисты были и ранее, начиная во всяком случае с XII в. (ср. латинский список «Летописи попа Дуклянина» конца XII в. и «*Historia Salonitiana*» Фомы Архидьякона Сплитского). Только в период XV—XVI вв. в Дубровнике и его округе на латыни писало более пятидесяти авторов, в числе которых были и такие известные, как поэт-энциклопедист, философ и богослов Юрай Драгишич (*Georgius Benignus*, XV в.), автор эпиграмм Дамьян Бенешич (*Damianus Benessa*, 1477–1539), Илья Приевич (*Aelius Lampridius Cervinus*, 1463–1520), эпический поэт Яков Бунич (*Jacobus Bonus*, 1469–1534), историк Людовик Црневич Туберон (*Ludovicus Cervo Tubero*, 1459–1527), поэт Карло Пуцич (*Carolus Puteus*, 1458–1522). Один из первых крупных писателей славянского ренессанса Марко Марулич большинство своих произведений поэтического («*Davidijada*», 1517) и богословско-философического характера («*De institutione bene vivendi per exempla sanctorum* 1506» и др.) писал на латыни. Его «*De institutione...*» пережило до XVII в. 15 изданий на латыни и 21 в переводе на итальянский, немецкий, португальский и даже чешский. О своем сочинении «Юдита», написанном по-чакавски, Марулич сказал, что ему «влезло в голову написать его нашим языком, чтобы понимали и те, которые не приучены читать на латыни». Таким образом, для Марулича, как и для очень многих двуязычных далматинских и недалматинских писателей, латынь и родной хорватский язык находились как бы в дополнительном распределении (явление диглоссии) в зависимости от жанра произведений. Тот же Марулич едва ли бы писал в свое время моралистические трактаты по-ча-

кавски, он сочинял их на латыни, так же как и поэтические произведения типа «Давидиады», и эти произведения оказывались принадлежностью другого культурного ареала — европейского — и другого, значительно более широкого круга читателей. Его старший современник Юрай Шипгорич из Шибеника написал элегические стихи «*Elegiarum et carminum*» (1477) и похвалу своему городу, народным обычаям и народной поэзии «*De situ Illyriae et civitate Sibenici*» тоже на латыни.

Ренессансные писатели-латинисты и двуязычные латинско-славянские писатели были представлены не только в Далмации, но и в Истрии и в землях севернее Адриатического побережья. Многие из них сосредоточивались в других странах: при дворе Корвинов в Буде или при польском дворе в Кракове. В XV в. в их среде выделялся уроженец Истрии Петар Павао Вергерий, уроженец Крижевской жупании Иван Витез и далматинец Никола Модрушки (авторы ренессансных стихов, комедий, жизнеописаний, церковно-политических и педагогических сочинений).

В Польше длительное время пребывали и участвовали в литературной жизни хорватские поэты, философы и историки Фране Транквил Андреис, Стйефан Бродарич, Фране Нигретич, Бернардин Галлус, братья Миховил и Антун Вранчичи, Михаил Обраткович и др. Их труды печатались в Кракове на латыни. Хорватские латинисты были и при венгерском короле Иване Запольи и при загребском бискупе и бане Юрае Драшковиче. Крупнейшим хорватским писателем-латинистом XV в. был Янус Паннониус (Иван Чесмицкий), автор ряда стихов, этических сочинений, переводов с греческого Демосфена, Плутарха и «Илиады» Гомера. Януса Паннониуса в равной мере относят к венгерской и итальянской литературе. В XVI в. выделялись такие латинисты, как славонец Стйефан Бродарич, автор книги о битве (1526) мадьяр и турок при Мохаче (Краков, 1527); чакавец Б. Георгиевич ди Кроацья (Бартол Джурджевич), автор книги о турецких нравах и обычаях «*De Turcarum ritu et ceremoniis*» (Антверпен, 1544) и первого хорватско- (штокавско- и кайкавско-) латинского словаря (1544); А. Дудитиус (Андрия Дудич); Ф. Патрициус (Франьо Петришевич); протестант, теолог и философ Маттияс Гарбициус Иллирикус (Матия Грбац); далматинец Марк Антун Доминис (М. А. Господнетич), автор направленной против клерикальных зло-

употреблений книги «De republica ecclesiastica» (1617–1622). Из загребских латинистов XVI в., помимо кардинала и бана Юрая Драшковича, следует отметить авторов панегириков в честь кардинала Драшковича Юрая Вирффеля и Гашпара Петричевича, затем поэта Стйепана Бериславича, а также прозаических писателей, обращавшихся к исторической теме, Франьо Чрнко, Ивана Томашича, Николы Микца. В XVII в. историческую тематику разрабатывали загребские латинисты Павао Ягустич, епископ Бенко Винкович и др.

В XVII и XVIII вв. некоторые кайкавские, боснийские и славонские писатели писали свои сочинения также и на латыни, т. е. были двуязычны. Крупнейшим двуязычным поэтом-латинистом в Славонии в XVIII в. был Матия Петар Катанчич, автор сборника стихов «Fructus auctumnales», выдержанных в духе Горация, а в кайкавской среде — Балтазар Адам Крчелич, автор ряда латинских исторических трактатов и панегириков, писавший также по-кайкавски. Многие писатели и поэты пользовались только латинским языком: например, в Дубровнике в XVII в. поэт и философ Степан Градич (Stephanus Gradus), описавший катастрофическое землетрясение в Дубровнике в 1667 г., и ряд других авторов.

В XVIII в. выступила целая плеяда дубровчан-латинистов: поэт Игнат Джуржевич (Ignatius Georgius), библиограф Саро Цриевич (Saro Cervinus), автор монументального труда «Bibliotheca Ragusina...», поэт и ученый-естествоиспытатель Рудже Бошкович (Rogerius Boscovich), поэт Бено Стай (Benedictus Stay), поэт, переводчик «Илиады» Раймунд Кунич (Raumundus Cunichius), переводчик «Одиссеи» Бруно Джаманич (Bernardus Zamagna), поэт Джуро Ферич, сатирик Джоно Растич и др. Таким образом, в развитии латинской литературы рассматриваемого региона начиная с XV в. и вплоть до начала XIX в. большую роль играл Дубровник. Лишь в XVII—XVIII вв., в эпоху барокко и просветительского классицизма, стал выделяться и Загреб. В эпоху ренессанса далматинской латинизм носил общеевропейский характер, позже он имел уже скорее локальное значение.

Глаголическая литература XVI—XVII вв. и более раннего периода может быть названа областной очень условно, скорее она была продолжением или своеобразным реликтом надрегиональной и надэтнической, «межъязыковой» древнеславянской литературы, хотя ее функционирова-

ние и развитие осуществлялось преимущественно в Северной Далмации и Истрии. В интересующий нас период она постепенно уступала свои позиции сначала чакавской ренессансной литературе, а затем литературе, ориентирующейся все более и более на штокавский языковой тип. Свое начало глаголическая литература берет от старославянской кирилло-мефодиевской письменности и традиции, что отражается в ее языке, содержании и функции. Однако, будучи сначала в значительной степени изолированной от раннеглаголической, а затем и кириллической традиции в других славянских землях, эта во многих отношениях уникальная литература со временем все более приобретала местные, прежде всего чакавские, языковые черты и особенности, близкие к особенностям параллельно с ней и на той же территории развивавшихся литератур, конспективная характеристика которых дается ниже. Довольно рано (не позже XIII в.) далматинская глаголическая письменность расширила свою функцию на деловую и юридическую сферу (статуты Винодола, 1288; Крка, 1388, и др.) и тем самым, несмотря на периодически возобновлявшиеся гонения, укрепила свои позиции. Достаточно сказать, что с появлением книгопечатания число глаголических книг в XVI в. превышало число книг неглаголических (не считая писанных на латыни), а первой печатной книгой у южных славян вообще был глаголический Миссал (служебник) 1483 г. До XIV в. глаголическая письменность обслуживала церковные, юридические и деловые сферы (богослужебные, религиозно-канонические книги, религиозные легенды, описания чудес, жития, апокрифы, городские статуты, грамоты, записи, документы, протоколы и т. п.). В XIV в. появляются компилятивные сборники и переводные светские тексты («Роман о Трое» и др.), затем несколько художественных прозаических и драматических произведений, как правило, анонимных. С XVI в. глаголическая письменность начинает вновь возвращаться в рамки религиозной литературы, разделяя и здесь свои функции с литературой неглаголической, в первую очередь с литературой на латинском языке. В этой сфере, однако, ее авторитет и значение остаются немалыми, о чем свидетельствует хотя бы обращение к глаголице сторонников реформационного движения (типография в Урахе) и католиков-контрреформаторов, включая и Конгрегацию пропаганды в Риме (Р. Левакович и др.). Язык глаголических текстов,

как уже отмечалось, в основном был древнеславянский (церковнославянский) с большей или меньшей долей чакавщины, реже — и других хорватских говоров. В 1648 г. в результате деятельности Р. Леваковича, целью которого было создание букварей и новых норм церковнославянского языка для объединения славянской паствы в рамках Унии, он был значительно приближен к русской («западнорусской») редакции древнеславянского языка. Церковная глаголическая традиция на севере Адриатики сохранялась вплоть до XX в. Литература, пользующаяся чакавщиной (кроме градишчанской), таким образом, выступала с конца XV и до XVIII в. в двух формах: глаголической и неглаголической (латинской), что во многих отношениях соответствовало двум содержательным параметрам: несветское (духовное) / светское.

Чакавская неглаголическая литература зарождалась в XV в. в рамках глаголической литературы и включала в себя первоначально богослужебные и юридические тексты и сборники (Корчуланский лекционарий, Доминиканский статут, кириллический Полицкий статут 1440 г.). Первым печатным сборником богослужебных молитв был «Лекционарий» Бернардина из Сплита (1495), изданный латинскими буквами (готикой) по-чакавски и послуживший образцом для последующих изданий такого рода. Расцвет чакавской неглаголической литературы, пользующейся уже исключительно латиницей, приходится на XVI в. Он связан со славянским ренессансом, захватившим сначала среднюю, а затем и южную Далмацию, где особенно выделился Дубровник. В средней Далмации ренессансная чакавская литература развивалась в трех центрах — в Сплите и Шибенике, затем в Задаре и, наконец, на острове Хваре. Самым крупным писателем сплитско-шибеникского круга и вообще начала славянского возрождения в Далмации был Марко Марулич, автор религиозной поэмы «Юдита» (Judita, 1501, изд. 1521) и ряда латинских моралистических сочинений, написанных еще в духе средневековой схоластики. Остальные писатели этого круга, а их было не менее десятка, писали по-чакавски стихи, переводили религиозно-моралистические произведения и издавали катехизисы. Большинство их сочинений, однако, было написано на латыни.

Яркими представителями задарского писательского круга были Петар Зоранич, автор путевого описания в духе па-

сторального романа «Горы» (Planine, 1536, изд. 1569), посвященного его родным краям; Брне Карнарутич, переводчик и поэт, создавший эпическую поэму о сражении с турками под Сегедином в 1566 г. «Взятие Сигета града» (Vazetje Sigeta grada, изд. 1586) и лирическую поэму-компиляцию в духе и стиле Петрарки «Необычайная любовь и смерть Пирема и Тижбы» (Izvrstna ljubav i smrt Pirema i Tižbe, изд. 1586); Юрий Баракович, отразивший новые, барочные веяния в патриотической поэме «Славянская вила» (Vila Slovinka, 1613) и в ренессансной поэме «Ярула» (Jarula, 1605, изд. 1618); Шиме Будинич, переводчик псалмов «Смирненные и многие иные псалмы Давидовы» (Pokorni i mnozi ini psalmi Davidovi, 1582) и автор «Наставления для иереев» (Ispravnik za jereje, 1582), пытавшийся свой чакавский язык дополнить штокавскими, церковнославянскими глаголическими и даже некоторыми чешскими и польскими элементами.

Писатели Хвара внесли серьезный вклад в чакавскую ренессансную литературу. К ним относились: Ганибал Луцич (1485–1553), автор лирических стихов, посланий, панегирика Дубровнику (U pohvalu grada Dubrovnika), драмы в стихах «Рабыня» (Robinja, 1585); Петар Гекторович, известный по своей эклоге «Рыбная ловля и рыбацкие поговорки и присловья» (Ribanje i ribarsko prigovaranje, 1556) и по ряду других стихотворных посланий, эпитафий и переводов из Овидия (1588); Микша Пелегринович, сочинитель маскарадной комедии «Цыганка» (Jejurka, 1525), и Мартин Бенетович, комедиограф, из произведений которого сохранилась лишь одна комедия dell' arte «Аварка» (Avarkinja, конец XVI в.).

Особенностью чакавской ренессансной и постренессансной литературы, так же как и литературы дубровницко-штокавской, было сочетание приемов и форм поэтики возрождения с формами народной поэзии («дванаестерац» — 12-сложный стих, характер эпитетов и т. п.) и даже элементами глаголическо-церковнославянскими (см. Vončina, 1983). Это же сказывалось на содержательной стороне произведений. П. Гекторовичу принадлежат первые записи эпической хорватско-сербской народной поэзии, Ю. Бараковичу — патриотические идеи взаимного сближения славян, их солидарности в общей борьбе с турками, их самосознания и обращения к народным традициям. Эти идеи ярче и полнее

были выражены несколько позже в творчестве И. Гундулича, Мавро Орбини и А. Качича-Миошича. Они свидетельствуют о сознательном преодолении локальных этнических рамок и представлений.

Дубровницкая штокавская (или южнодалматинская) литература, так же как и чакавская неглаголическая ренессансная среднедалматинская литература, хотя и была территориально ограничена, представляя собой географически довольно замкнутое «литературное гнездо», по своему значению и функции, по своим международным связям и внутриславянской роли, наконец, по своим большим художественным достоинствам не имела узкого регионального характера. Отсутствие замкнутости сказывалось и в том, что эта литература была на штокавском наречии, на диалекте, которым пользовалось абсолютное большинство представителей хорватско-сербского диалектного массива. Нельзя не учитывать и политической и культурной роли Дубровника (Рагузы), этой славянской Венеции на Адриатике, независимой, хотя и миниатюрной республики, успешно противостоящей турецкой и венецианской экспансии. Дубровницкая литература XVI—XVII вв. была литературой ренессанса и барокко со всем богатством жанров и поэтических средств, которое было присуще этим литературным эпохам (лирика, эпическая поэзия, эпистола, пасторальная эклога, мифологическая драма, комедия, сатира и т. д.). Не исключается возможность существования в Дубровнике в прошлом какого-то чакавского языкового субстрата и какой-то поэзии, близкой к народной, до последней четверти XV в. Однако этот вопрос спорный, и начало дубровницкой литературы следует вести именно с конца XV в., со времени творчества двух крупных славянских поэтов — Шипко Менчетича и Джоре Држича и небольшой плеяды поэтов, представленных в сборнике Ранины. Любовная лирика Ш. Менчетича (более 500 стихов) и Дж. Држича возникла в традиции трубадуров и Петрарки, испытав также влияние народной поэзии. Язык этой поэзии — штокавский, с некоторыми элементами чакавщины.

XVI век был веком расцвета дубровницкой литературы. Первая его половина ознаменована творчеством Мавро Ветрановича, поэта и драматурга религиозно-моралистического и философского склада, склонного, однако, и к карнавальным и мифологическим сюжетам (что отвечало духу того

времени), затем Николы Налешковича, известного своими лирическими эклогами, фарсами и комедиями в духе Плавта, стихами (их более 170) и поэтическими посланиями; Николы Димитровича, духовного поэта, автора книги стихов «Семь смиренных песен царя Давида» (*Sedam pjesni pokornijeh Davida kralja*, 1549), и крупнейшего комедиографа своего времени Марина Држича — создателя пасторальных пьес, фарсов и комедий «Дундо Марое» (*Dundo Maroje*, 1550), «Тирена» (*Tirena*, 1548), сборника «Новелла из стансов» (*Novela od stansa*, 1551) и цикла эротических стихов в духе Петрарки — «Песни любовные» (*Pjesni ljuvene*, 30-е годы XVI в.). Во второй половине XVI в. происходит постепенный, еще мало приметный и у разных дубровницких писателей в разной степени выраженный переход от ренессанса к барокко. Ренессансные идеи и манера письма еще устойчивы и ярко выражены у Антуна Сасина (1518–1595), автора лирических, эпических и драматических произведений (лирические поэмы «Морячка» — *Mrganica* и «Рабыня» — *Robinjica*, эпическая поэма-хроника «Сражения с турками» — *Razboji od Turaka*, комедия-фарс «Маленькая свадебная комедия» — *Malahna komedija od pira* и пасторальные сценки «Филид и Флора» — *Filide i Flora*), у лирических поэтов Мароя Мажибратича, Сабо Бобалевича, Михо Бунича, Динко Ранины («Разные стихи» — *Pjesni razlike*, 1563); у Горация Межибратича (духовные, моралистическо-сатирические и философские «Разные стихи» — *Razlike pjesni* и комедия «Цыганка» — *Jedjurka*) и особенно у поэта и переводчика Доминко Златарича (поэма «Любовь и смерть Пирама и Тизбы» — *Ljubav i smrt Pirama i Tizbe*, пастораль «Любомир» — *Ljubomir*, перевод «Аминты» Т. Тассо и «Электры» Софокла, более ста лирических песен в стиле петраркистов).

Вершиной развития дубровницкой литературы считается творчество Ивана Гундулича (1589–1638), поэта и драматурга, обращавшегося и к библейским сюжетам (поэма «Слезы блудного сына» — *Suze sina razmetnoga*, 1622; «Песни смиренные короля Давида» — *Pjesni pokorne kralja Davida*, 1621), к мифологическим и античным мотивам и героям (барочные мелодрамы «Ариадна» — *Arijadna*, «Похищенная Прозерпина» — *Prozerpina ugrabljena*, «Диана» — *Dijana*, «Армида» — *Armida* и др., пасторально-мифологическая пьеса «Дубравка» — *Dubravka*, 1628), к теме славянского единства и

взаимности, борьбы против турок (эпическая поэма «Осман» — Osman, 1621–1658). В поэме «Осман» ярче всего проявилось дарование автора, сумевшего в форме то героическо-романтического, то идиллически-пасторального барочного изображения действий и лиц создать эпопею об исторических катаклизмах — турецко-польской войне, сражении под Хотинном (1621) и других современных ему событиях.

Лирика первой половины XVII в. была хорошо представлена в идиллических стихах и эклогах Ивана Бунича-Вучича, лишенных чрезмерной барочной напыщенности, но четко отражающих новые постренессансные веяния (сборник стихов «Полуденный отдых» — Plandovanja, сборник духовных песен, эклоги, поэма «Покорная Магдалина» — Magdalena pokornica, 1630). Младший современник Гундулича Юние Палмотич значительно способствовал развитию дубровницкой драматургии своими барочными мелодрамами, часто сопровождавшимися пением и даже танцами по эпизодам из Овидия, Вергилия, Ариосто и Тассо (который сильно влиял и на Гундулича), по древнегреческим эпизодам, но особенно своими драмами с национальной тематикой («Атланта» — Atlanta, 1629; «Пришествие Энеи к Анкизу» — Došastije Eneje k Ankizu, «Армида» — Armida, «Павлимир» — Pavlimir и др.). Его перу принадлежит сатира «Гомниада» (Gomniada) и ряд стихов духовного содержания.

Драматургия Ю. Палмотича вызвала ряд подражателей и последователей, среди которых был его брат Джоре Палмотич, затем Якета Палмотич Дионорич, Вице Пуич Солтанович, Антун Гледжевич и др. Непрерывное развитие дубровницкой драматургии продолжалось и в XVIII в. (Дживо Гундулич и др.). Для этого периода характерны уже новые веяния — влияние Мольера, пьесы которого переводились прозой и приспособлялись к местным условиям. Под этим влиянием и под воздействием итальянского театра возникла и дубровницкая комедия: основные ее представители — Фердинанд Путица («Свадьба Базаты» — Pir od Bazate и «Метущийся шарлатан» — Ciarlatano in moto), Влахо Ступич («Кате Сукурица» — Kate Sukurica), Марко Бруеревич («Неожиданная вера» — Vjera iznenada) и др. Последними поэтами Дубровника в XVIII в. были тот же Марко Бруеревич, француз по происхождению, автор маскарадных пьес, колядных песен, приветственных посланий и стихов по случаю, в которых ощущается сильное влияние народной по-

эзии; Джуро Хиджа, лирик и переводчик Горация, Катулла, Овидия; лирик Джуро Ферич и др.

Таков в самых кратких чертах более чем трехвековой процесс развития литературы Дубровника, процесс, который пережили и крупнейшие европейские литературы, в первую очередь итальянская, а из славянских — польская, отчасти чешская и др. Итальянское влияние в Дубровнике было очень сильно, некоторые дубровницкие писатели писали на своем родном языке, на латыни и по-итальянски. Итальянское языковое влияние усиливалось во второй половине XVII в. и в XVIII в., чем отчасти можно объяснить общий упадок дубровницкой литературы этого времени.

Боснийская штокавская литература возникла в начале XVII в. и просуществовала полтора века. Она развивалась и бытовала целиком во францисканской среде. Ее внутренним содержанием была контрреформация и утверждение католичества среди как священнослужителей, так и паствы, а внешним признаком — использование, хотя и непоследовательное, довольно своеобразной курсивной кириллицы, которую принято называть «босанчицей», а М. Дивкович называл «сербскими буквами» (*sarbskijemi slovi*). Тому же Матию Дивковичу принадлежит роль зачинателя боснийской францисканской литературы и, пожалуй, самого крупного ее представителя. Он писал церковно-учительные проповеди и наставления («*Наук карстиански*», 1611 и 1616, и «*Сто чудеса алити знамение блажене и славне Богородице*», 1611) и беседы на темы воскресных евангельских чтений («*Разлике беседе*», 1616). Последователями М. Дивковича были П. Посилович, сочинитель религиозно-нравоучительных сборников «*Наслађение духовно*» (1639), «*Цвиет от крипости духовни*» (1647), С. Матиевич, переводчик с итальянского руководства для исповеди «*Исповиедаоник*» (1630), а также авторы, печатавшие книги латиницей, — И. Бандулович, составитель сборника толкований и притч на темы евангельских чтений «*Эпистолии и евангелия*» (*Pištole i evandjelija*, 1613 — переработка аналогичной книги Б. Зборовича 1556 г., писанной на далматинско-чакавском диалекте), наконец, И. Анчич, создатель религиозно-поучительных контрреформационных книг «*Врата небесные и жизнь вечна*» (*Vrata nebeska i život vični*, I–II, 1678), «*Свет христианский и сладость духовная*» (*Svitlost karstijanska i slast*

duhovna [nasladjenje duhovno], I–II, 1679) и «Зерцало служебное» (Ogledalo misničko, 1681).

Эта литература развивалась в том же чисто конфессиональном духе и в XVIII в., когда те же францисканцы издавали книги религиозного содержания. Так, С. Марковац-Маргитич издал руководство по исповеди и проповеди о ней («Изповид карстианска...», 1701) и проповеди к церковным праздникам вместе со сборником церковных вирш («Фала от свети... алити говоренье от светковина забилизени прико годишта», 1708), Т. Бабич выпустил катехизис с духовными виршами под типичным для своего времени названием «Различные цветы аромата духовного» (Cvit razlika mirisa duhovnoga, 1726), Л. Шитович — церковно-мистическую поэму об аде «Стихи ада. Наипаче об адском огне, тьме и вечности» (Pisna od pakla. Navlastito od paklenoga ognja, tamnosti i vičnosti, 1727), Ф. Ластрич напечатал проповеднические книги «Полезная наука совершать умную молитву. Прямой способ идти путем креста» (Koristan nauk diloovati molitvu od pameti. Kratak način činiti put križa, 1755), «Двойной недельник» (Nedeljnik dvostruk, 1766) и «Светник» (Svetnjak, 1766).

Язык боснийской францисканской литературы был преимущественно штокавско-икавско-йекавский (или чисто икавский), что в общем отличало его от остальной штокавщины. Другой важной особенностью этой типично региональной литературы была ее «одножанровость», что объясняется и совершенно однородным составом авторов (францисканские монахи), и довольно узкими конфессиональными рамками, которыми ограничено ее содержание, и абсолютно конкретной и концентрированной функциональной направленностью литературной продукции в адрес простолюдина, в адрес «непросвещенной» паствы. Именно эта направленность на определенного читателя (или слушателя) делает боснийскую францисканскую региональную литературу особенно интересной с одной точки зрения — с точки зрения ее вклада в «третью» литературу (и культуру), в литературу для народа (по хорватской терминологии — *pučka književnost*), проблемы которой в наше время серьезно волнуют многих славянских литературоведов, особенно польских и хорватских (см.: Zečević, 1978).

Славонская литература возникает в начале XVIII в., так как в предшествующие полтора столетия Славония была

оккупирована турками и всякая культурная деятельность была прекращена. Славонская литература, пользующаяся славонским диалектом (преимущественно посавским икавским говором), была, подобно кайкавской и боснийской региональным литературам того времени, во многом религиозно-поучительной, пропедевтичско-дидактической. Славонский бискуп И. Грличич был автором наставления для паствы «Путь небесный... то есть наука христианская, вкратце обстоятельно и доступно истолкованная языком боснийским» (*Put nebeski... to jest nauk krstjanski u kratku obilato i razborito istomačen u jezik bosanski*, 1707). В том же духе были написаны сочинения А. Бачича («Католическая истина» — *Istina katoličanska*, 1732), С. Вилова («Дружеский разговор между католиком и православным» — *Razgovor prijateljski medju krstjaninom i ristjaninom*, 1736), Э. Павича («Руководство по обращению в католическую веру» — *Ručna knjižica za utiloviti u zakon katoličanski obraćenike*, 1769), толкования Евангелия разных авторов (Н. Кесич, 1740; Э. Павич, 1764; М. Ланошевич, 1794) и жития святых в изложении А. Й. Кнезовича («Житие св. Ивана из Непомука», — *Život sv. Ivana od Nepomuka*, 1759; «Житие св. Оливии» — *Život sv. Olive*, 1761; «Житие св. Геневеты» — *Život sv. Genuveve*, 1761).

Вполне оригинальный и светский характер носит сочинение Матии Антуна Рельковича «Сатир, или Дикий человек в стихах для славонцев» (*Satir iliti divji čovik u verše Slavoncem*, 1762) — стихотворная картина народной славонской жизни, проникнутая духом меркантилизма, просветительства и рационализма. Вслед за М. А. Рельковичем появился ряд авторов, своего рода поэтических хроникеров, писавших в основном народным 10-сложным размером («десетерцем») похвальные стихи и оды по поводу современных им военных событий: И. Павишевич («Краткое описание основных событий современной войны» — *Kratkopis poglavitii događaja sadašnje vojske*, 1762; «Отправление на прусско-баварскую войну светлых областей Славонии, Срема и Потисья в 1778 году и возвращение их в 1779 году» — *Polazenje na vojsku prusku-bavarsku svitlih krajina Slavonije, Srima i Potisja god. 1778 i povraćanje istih godine 1779 — 1779*), В. Бошняк («Описание турецкой войны при царе Иосипе II» — *Isipanje rata turskoga pod Josipom cesarom II*, 1792), А. Иваношич («Стихи о героизме витязя Пехарника оберстара

Огулинского регемента» — Pjesma od junačtva viteza Pehar-nika, regementa ogulinskoga oberstara, 1788; «Стихи... о взятии Турецкой Градишки или Бербира града» — Pisma... od uzetju Turske Gradiške iliti Berbira grada, 1789). Барочные идеи славянской взаимности, славянского единства ярко выражались в панегирических стихах И. Крмпотича «Радость Славонии, находящейся под правлением князя или графа Антуна Янковича от Дарувара» (Radost Slavonije nad knezom iliti grofom Antunom Jankovićem od Daruvara, 1787), в которых Славонии отводилось центральное место. Эти же славонские мотивы характерны и для поэзии А. Т. Благоевича, автора поэмы «Поэт-путешественник и некоторые события в начале и после правления Иосифа II» (Pjesnik putnik, nikoj dogadjaji prvo i posli Josipa II..., 1771) и большого почитателя М. А. Рельковича. Откликом на «Сатира» М. А. Рельковича было и поэтическое произведение В. Дошена «Эхо гор, которые на стихи Сатира и Тамбуриста Славонского откликается и отвечает» (Jeka planine koja na pisme Satira i Tamburaša Slavonskog odjekuje i odgovara, 1767) и «Семиглавый дракон» (Aždaja sedmoglava, 1768). Несколько особняком в славонской литературе оказывается творчество Л. П. Катанича, автора стихотворного сборника «Fructus auctumnalis» (1791), написанного в духе классической поэзии по-штокавски (хорватско-сербски) и на латыни. Л. П. Катаничу принадлежит и перевод Священного писания на штокавский (славонский) диалект, что явилось важным шагом в процессе литературно-языковой кодификации этого наречия.

Кайкавская литература ведет свое начало со второй половины XVI в. Оно связано, вероятно, с протестантской книжной волной, захватившей соседние словенские земли и Истрийскую провинцию. Подобно словенцам Приможу Трубару и Юраю Далматину, кайкавец протестант Михайло Бучич из Белицы (Междумурье) в XVI в. перевел Новый завет, катехизис и написал книгу «О сакраментях» (O sakramentima, сочинение не сохранилось). Иван Пергошич из Вараждина, который, видимо, не был протестантом, перевел на кайкавский трактат венгерского юриста Вербеци «Decretum Tripartitum...» (издан по-кайкавски в протестантской типографии в 1574 г.), а католик Антун Вrameц (из Врбовца близ Самобора) написал по-кайкавски всемирную историю (от сотворения мира до 1578 г.) — «Хроника

краткая повсюду вновь исправленная словенским языком» (*Kronika kratka vezda znovič zpravljena slovenskim jezikom*, 1578) и две «Постилы на все лето...» (*Postile na vse leto*, 1586). Таким образом, католическая контрреформация приняла кайкавщину в своей литературной практике и со временем укрепила ее в этой функции, как это видно из деятельности таких писателей XVII в., как Ю. Габделич, автор религиозно-моралистических книг «Зерцало Марианско» (*Zrcalo Marijansko*, 1662) и «Первый отца нашего Адама грех» (*Pervi oca našega Adama greh*, 1674); Н. Крайчевич Сарториус, сочинитель религиозных песнопений и праздничных евангельских чтений «Молитвенные книжицы» (*Molitvene knjižice*, 1640) и «Святые евангелиемы...» (*Sveti jevan gelijemi...*, 1651); И. Белостенец, написавший сборник религиозных песен «Богомила» (*Bogomila*, 1655) и сборник «Десять проповедей об Евхаристии» (*Deset propovjedi o Euharistiji*, 1672). Ю. Габделич и И. Белостенец были авторами двух кайкавских словарей: первый — «словенско»-(кайкавско)-латинского («*Diktionar ili reči slovenske...*», 1670), второй — латинско-«иллирического» (кайкавского) и «иллирическо»-латинского в 2-х томах («*Gazophylacium seu latino-illyricorum onomatum aerarium...*», 1740). Двумя годами позже выхода словаря И. Белостенца появился латинско-«иллирическо»-(кайкавско)-немецко-венгерский словарь, составленный Ф. Сушником совместно с А. Ямбрешичем под редакцией последнего («*Lexicon latinum interpretatione illyrica, germanica et hungarica locuples...*», 1742), а почти сорок лет спустя, к 1772 г., был закончен, но не издан латинско-«иллирическо»-(кайкавско)-немецкий словарь Адама Патачича («*Dictionarium latino-illyricum et germanicum*»). Создание целого ряда кайкавских словарей свидетельствует о стремлении отдельных писателей и ученых кодифицировать кайкавскую лексику как литературную, кодифицировать ее и саму по себе, и по отношению к латинскому, а также немецкому и венгерскому языкам.

Некоторые кайкавские писатели писали и на латыни (Ю. Габделич, А. Б. Крчелич, Т. Брезовачки), некоторые старались расширить узколокальные (региональные) языковые рамки. Так, тот же Ю. Габделич пытался вводить штокавские и отдельные чакавские слова в свой словарь, стремясь таким образом сделать литературный язык на кайкавской основе наддиалектным, обще-«словинским» (т. е. общеилли-

рийским, или общехорватским, даже общехорватскосербским) и связанным с дубровницкой штокавской традицией. Для словаря А. Патачича это нехарактерно. В период, предшествующий созданию общенациональной литературы, языковой вопрос был немаловажным, подчас первостепенным, но в XVII в. и даже в XVIII в. он еще не вырисовывался так остро, как в XIX в., и иные, в первую очередь конфессиональные, проблемы (борьба с протестантизмом или обратное течение) и проблемы внелитературного и внефилологического плана (борьба с турецко-османской агрессией, позже с мадьяризацией и германизацией) оказывались доминирующими.

В кайкавской литературе XVIII в. выделялись духовные писатели: А. Б. Крчелич, перу которого принадлежит жизнеописание загребского епископа Гразотти («Житие блаженного Гразотти, загребского епископа» — *Življenje blaženoga Grazotti zagrebačkoga biskupa*, 1747) и ряд исторических сочинений на латинском языке; Ю. Мухлин, издавший катехизис «Дело апостольское в виде христианской науки представленное» (*Posel apostolski vu navuku krešćanskoj postavljen*, 1742), молитвенник «Пицца небесная во святых яствах: хлебе и вине...» (*Nebeska hrana vu sveteh jestvinah: kruhu i vinu...*, 1748) и другие сочинения, — и писатели — церковные проповедники: Ш. Загребец, автор проповеди «Пицца духовная для стада христианского...» (*Hrana duhovna ovčic keršćanskih... I–V*, 1715–1734), Ш. Фучек, выпустивший в свет сборник поучений и сказаний «Истории. С кратким духовным разговором» (*Hištorije. Z kratkem duhovnem razgovorom*, 1735), Х. Гашпаротти, создатель сборника «Цвет святителей, или Жизнь и подвиги святых» (*Cvet svetih, ali življenje i čini svetcev*, 1750–1761). Несколько особняком стоит рукописный сборник стихов поэтессы Катарины Патачич «Песни хорватские» (*Pesme horvatske*, 1781), где к довольно чистой кайкавщине добавлены немногочисленные штокавские черты. Для сборника характерна также светская направленность поэзии и поэтических средств.

Первая переводная с латинского школьная драма на кайкавском диалекте «Лисимахус» (*Lisimahus*, 1768) Ш. де Ларю принадлежит Й. Сибенеггу. К концу XVIII в., в 90-х годах, кайкавских переводов школьно-семинарских драм стало больше, в их числе были «Праведников и Честнов» (*Pravednič i Poštenčić*, 1792, 1794) и «Куколь в пшенице» (*Kikolj*

med pšenicum, 1794) К. фон Эркартштаузена, «Папига, или Крепость» (Papiga iliti krepост, 1797) и «Братия Назлоб» (Bratjo Nazlob, 1800) А. Коцебу, «Долг службы» (Dužnost službe, 1798) и «Когда слишком, тогда и сытому нехорошо» (Kaj je preveć ni za kruhom dobro, 1799) А. В. Иффланда и др. Оригинальные кайкавские комедии, возникшие под влиянием школьной драмы, появились в результате деятельности Т. Брезовачкого, автора пьес «Святой Алексей» (Sveti Aleksi, 1786), «Матияш Грабенцияш Дьяк» (Matijaš Grabencijaš Djak, 1804), «Диогенеш, или Слуга двух погубленных братьев» (Diogeneš ili sluga dveh zgubljenih bratov, 1823), писавшего и по-штокавски (стихотворение «Воспоминания» — Urominak, 1804) или допускавшего в кайкавщине штокавские диалогические компоненты.

Позиции кайкавского литературного языка и кайкавской литературы были в начале XIX в. уже довольно крепкими. Этому способствовала и деятельность таких писателей, как Т. Миклоушич, писавший исторические и историко-литературные очерки с дидактической направленностью — «Выбор разнообразных занятий, служащих на пользу и на развлечение» (Izbor dugovanj svakovrsneh za hasen i razveselenje zlužećih, 1821, 1839), И. Кристианович, издатель журнала «Загребская денница» (Danica zagrebačka, 1834–1850), христианско-дидактических сочинений и создатель грамматики кайкавского наречия на немецком языке (1837), а также писатель и поэт Д. Раковац, автор драматической аллегории «Дух» (Duh, 1832) и ряда стихов, Л. Вукотинович, известный по его пьесам «Голубь» (Golub, 1832) и «Первое и последнее изваяние» (Prvi i zadnji kip, 1833). Два последних автора, примкнув в 40-е годы к иллирийскому движению во главе с Л. Гаем, перешли с кайкавского на штокавский литературный язык. Журнал Л. Гая «Даница илирска» (Danica ilirska) до 1836 г. печатал стихи преимущественно по-кайкавски, а затем уже только по-штокавски. В эпоху бурного подъема иллиризма переориентация с кайкавского диалекта на штокавский произошла решительно и в короткие сроки. Лишь И. Кристианович до конца дней своих (ум. в 1884 г.) придерживался кайкавщины.

Таким образом, кайкавская литература пережила процесс непрерывного, хотя и не очень интенсивного развития со второй половины XVI в. до первой трети XIX в. включительно, чтобы возродиться в XX в. в виде специфически ре-

гиональной литературы со своими ярко выраженными формальными и содержательными особенностями.

Протестантская литература в хорватской среде была распространена менее широко и менее продолжительно, чем в среде словенской, где она, однако, в результате контрреформации прекратила свое существование в начале XVII в. Она возникла почти в то же время и в тех же условиях, что и словенская протестантская литература, была в тесной связи с ней и опиралась, как и словенская, на немецкие центры книгопечатания. Первой хорватской протестантской книгой был «Разговор между папистом и одним лютеранином» (*Razgovaranje meju papistu i jednim luteranom*, 1555) Анте Сенянина (или, возможно, П. П. Вергерия) — пропагандистская брошюра в пользу реформы церкви. Хорватские протестанты Стйепан Конзул Истриец и Антун Далматин (вероятно, из г. Сеня) и их сотрудники, работавшие в типографии в Урахе (Вюртенберг) и в других типографиях (в том числе и южнославянских), за короткий семилетний срок (1561–1568) издали в переводе на хорватский первую и вторую части Нового завета (глаголицей, 1562–1563; кириллицей, 1563) и книги ветхозаветных пророков «Всех пророков толкование хорватское» (*Vsih prorokow stumačenje hrvatsko* — латиницей, 1564). Кроме того, были изданы в переводе катехизис «Разумные поучения» (*Razumni nauči* — перевод из Ф. Меланхтона), Артикулы Аугсбургской конфессии, постиллы (по Лютеру, Меланхтону, Брензи), «Брамба» (*Bramba* — апология Аугсбургской конфессии) и другие протестантские пропагандистские тексты глаголицей, латиницей и кириллицей. Урахская группа протестантов преследовала далеко идущие цели, привлекала к работе даже православных книжников, так как рассчитывала на распространение реформации у всех южных славян, в том числе и находящихся в пределах Оттоманской империи католиков, православных и мусульман.

Этим объясняется и употребление трех алфавитов, и стремление придерживаться «общего и понятного хорватского языка», сохранять языковую связь с традицией языка и стиля глаголических сакральных книг, т. е. с церковнославянской стихией. Однако все же язык протестантских книг отражал более всего приморский и истрийский чакавский диалект с элементами (синонимами) других диалектов и, как уже указывалось, церковно-глаголической книжности.

Протестантские книги, издававшиеся М. Бучичем и печатавшиеся (после закрытия славянской типографии в Урахе) в Неделишче (Междумурье), в имени Г. Зринского, до нас не дошли, поэтому трудно судить о их характере и языке.

Градишчанская (бургенландская) литература на чакавском наречии возникла в Градишче (Бургенланде — нынешняя Австрия, а до 1918 г. в составе территории под венгерской администрацией) после переселения туда под турецким натиском хорватов в XVI в. (с 1520 по 1580 г.). Существовавшая в чакавской среде до переселения в Градишче традиция глаголицы нашла свое очень слабое отражение лишь в первых градишчанских текстах. Почти сразу возобладала чакавская латиница, применявшаяся и в первых реформаторских книгах (переводы проповедей Й. Бренца и др.), и в печатных католических исключительно религиозных изданиях XVII в., к которым относились сборники псалмов Г. Моклинича 1609 и 1611 гг., и в XVIII в. — «Хорватское евангелие» (Horvaczko Evanguyelye, 1732), «Лектионар» — недельные евангельские чтения (Lektionar, 1741) Л. Валентича, «Хорватский катехизис» (Horvatszki Katekhizmus, 1747) Я. Ванбека, «Садик духовный» (Duhovni vertlyec, 1746), «Мариинские цветы» (Marijansko cvetue, 1781) Й. Шоштарича, сборник молитв «Дом злата» (Niža zlata, 1754) Л. Боговича, «Кольцо духовное четверичное» (Šetvero-verstni duhovni perstan, 1763) Э. М. Крагеля и др. Почти исключительно духовный характер градишчанская литература сохраняла и в XIX в., когда были выпущены в свет «Imitatio Christi» (1812) и «Изложение большого катехизиса» (Razlaganje velikog katekizmuša, 1836) Й. Фицко и др. Лишь с появлением таких изданий, как «Новый хорватский календарь» (Novi horvaczki kalendar, 1806) и особенно «Наша газета» (Naše novine, 1910), началось сначала в слабой мере, а потом в XX в. более интенсивно развитие светской литературы, ограниченной стихами, заметками, новеллами и пьесами из народной жизни. Самым крупным градишчанским писателем был поэт Мате Мершич Милорадич (1850–1928), сделавший много для сближения градишчанского языка с литературным языком, бытовавшим и бытующим в Хорватии. Градишчанская литература продолжает свое развитие в наши дни.

Попытки чакавско-штокавского, чакавско-кайкавско-штокавского или чакавско-кайкавского литературно-языкового симбиоза (при сознательном отношении к этой проблеме или в известном смысле спонтанные) производились как в XVII в., так и в XVIII в.

Любопытная ситуация, при которой чакавщина смешивалась со штокавщиной, наблюдалась у писателей Озальского литературного гнезда (около замка Озаль в Хорватии), где в XVII в. в условиях возникшей еще в XVI в. Военной окраины (Vojna krajina) — границы с турками — создавалась этнически смешанная зона, в которой жили носители всех трех основных хорватско-сербских диалектов. К писателям литературного гнезда в Озале относились граф Петар Зринский, переведший с венгерского на хорватский язык и частично переработавший поэму своего брата Николы об осаде Сегеда и назвавший ее «Адриатического моря Сирена» (Adrianskoga mora Sirena, 1660), графиня Анна Екатерина Зринская, жена Петра Зринского, составившая молитвенник «Путевой товарищ» (Putni tovariš, 1661), и ее брат Фран Крсто Франкопан, автор сборника «Садочек для времяпрепровождений» (Gartlic za čas kratiti, 1671), более ста эпических, лирических, философических и сатирических стихов и идиллий, возникших не только под влиянием итальянской трубадурской поэзии, но и под воздействием хорватского народного творчества. Ф. К. Франкопан создавал нечто вроде чакавско-кайкавско-штокавского языка на основе его родной чакавщины, у А. Е. Зринской была чакавщина с элементами кайкавщины, а у П. Зринского наблюдалось довольно сильное влияние штокавщины на чакавско-кайкавский симбиоз. Аналогичную позицию занимал и чакавец Павао Риттер Витезович, уроженец Сеня, известный своим историческим сочинением, охватывающим период от сотворения мира до рождества Христова и от новой эры до 1690 г., — «Хроника или воспоминание всего мира и всех веков» (Kronika aliti spomen vsega svieta vikov, 1696), эпической поэмой о героях обороны Сегеда «Осада сегедская» (Odiljenje sigetsko, 1685) и оставшимся в рукописи латинско-хорватским словарем («Lexicon latino-illyricum»). В словаре он в равной мере учитывает все три диалекта — свой родной чакавский, затем кайкавский (он долго жил и работал в Загребе) и штокавский.

С развитием областных штокавских литератур в Боснии и Славонии, особенно с расширением сферы влияния дубровницкой литературы, к штокавщине обращаются писатели других областей и регионов, приспособлявая ее к местным условиям. Так, в северной и средней Далмации в XVIII в. группа церковно-моралистических писателей (по преимуществу францисканцев) создала литературу для народа, с учетом его чаяний и вкусов. В эту группу входил Филипп Грабовац, уроженец средней Далмации (Синьского Поля в предгорьях Динарского хребта), автор стихотворного сочинения «Цвет разговора народа и языка иллирического или хорватского» (*Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti rvackoga*, 1747), где, помимо привычных нравоучений, дается бесхитростный и любопытный обзор всемирной истории с явно патриотическими мотивами, за которые он и подвергся суровому преследованию. Близкую судьбу испытал и его сверстник из Сеня (северная Далмация) Матеша Антун Кухачевич, автор духовных стихов и посланий со значительными чертами чакавщины. Однако самой крупной фигурой из этого круга был Андрия Качич-Миошич, уроженец северной Далмации (Брист около Макарской). Его перу принадлежит известный «Разговор угодный народа словинского» (*Razgovor ugodni naroda slovinskoga*, 1756) — рифмованная и прозаическая хроника-история южных славян и их соседей (сыгравшая очень большую роль в развитии национального самосознания южнославянских народов и в возникновении иллирийского движения в эпоху славянского национального возрождения XIX в.) — и другое, менее известное произведение — «Ковчежец» (*Korablica*, 1760) — прозаическое историческое повествование для паствы («для бедняков, пахарей и пастухов») от сотворения мира до рождения Христова, затем от новой эры до современных Качичу событий. Такой жанр упрощенной всемирной истории был характерен для церковно-дидактической литературы XVIII в. По жанровому составу, функциональной направленности и содержанию литература, представителями которой были Филипп Грабовац и Андрия Качич-Миошич, сильно отличается от произведений дубровницкой литературы, но приближается к сочинениям славонских и боснийских писателей. Еще Ягич в 1864 г. заметил, что А. Качич-Миошич, как и ряд его единомышленников, считал «босанский» (боснийский) штокавский язык «самым красивым, правиль-

ным и благородным», т. е. подходящим для базы литературного языка, но в то же время допускал разные областные нормы, формы и типы произношения, лексического и грамматического варьирования, потому что, по его словам, «каждый хвалит говор и речь своего города: хорват, далматинец, босниец, дубровчанин, серб». По той же причине, заявляет А. Качич-Миошич, «там, где я напишу *što* или *šta*, я не возбраняю далматинцу сказать *ča*» (Jagić, 1963, s. 82).

Известный хорватский филолог Далибор Брозович в 1974 г., анализируя язык художественной литературы XVII в., предложил периодизацию истории хорватской письменности, а тем самым литературы и литературного языка, в которой многовековой процесс хорватского литературного развития делился на шесть периодов. Это представлено следующим образом: 1-й период — средневековая письменность; процесс развития от принятия глаголицы до XV в.; преобладание чакавщины, постепенное употребление кириллицы и латиницы; 2-й период — возникновение и развитие областных хорватских литератур в XVI в.; уравновешенность чакавского, штокавского и кайкавского наречий, возникновение двух территориальных комплексов — северо-западного (северночакавско-кайкавского) и юго-восточного (южночакавско-штокавского); оттеснение глаголицы; 3-й период — увеличение числа областных хорватских литератур в XVII в. и в первой половине XVIII в.; укрепление взаимных связей, преобладание штокавщины в юго-восточном комплексе; затухание кириллицы; 4-й период — икавская и иекавская новоштокавщина (новоштокавский диалект) в качестве письменного (литературного) языка в юго-восточном комплексе во второй половине XVIII в. и в первых десятилетиях XIX в.; начало стандартизации этого языка и усиление его влияния на северо-западный комплекс, победа латиницы при сознательном устремлении к (орфо)графической конвергенции; 5-й период — хорватское народное возрождение; присоединение северо-западного комплекса к юго-восточному, развитие стандарта (литературных норм. — *Н. Т.*), постепенное устранение иекавско-икавского параллелизма (двойственности), борьба с остатками языкового регионализма, конкуренция между морфологическим и фонологическим принципом правописания на стыке XIX и XX вв.; 6-й период — развитие в XX в.: консолидация стандарта (нормы литературного языка. — *Н. Т.*), <...> рождение новочакавской и

новокайкавской диалектной беллетристики в начале столетия и их непрерывное развитие» (Brozović, 1975, s. 75–76).

Интересующие нас литературные процессы происходили во втором, третьем и четвертом периодах, выделенных Д. Брозовичем. Его периодизацию в принципе следует принять, хотя она, как и всякая периодизация, да к тому же созданная для решения лингвистических задач, сильно обобщает факты и потому игнорирует ряд существенных для нашей проблемы моментов. Едва ли удачно разделение чакавских диалектов между двумя комплексами и само оперирование этими комплексами. Тем не менее справедливо и исторически оправдано выделение более чем пятивекового «глаголического» периода, отмеченного отсутствием региональных литератур, и дальнейшее хронологическое деление процесса развития письменности, литературы и литературного языка. Об этом, помимо фактов литературоведческого и лингвистического порядка, говорят и исторические факты. Более чем пятивековой «глаголический» период совпадает с эпохой византийского владычества в Далмации и далматинских городах (Ядар, Задар, Осор, Крк, Раб, Вргада, Трогир, Сплит, Дубровник, Котор и др.) с VII по XI в. (глаголица могла появиться в этих пределах уже во второй половине IX в., в эпоху Кирилла и Мефодия), затем с правлением хорватских королей Крешимира IV, Звонимира и других и, наконец, с эпохой венгерского владычества в Далмации и Хорватии (с 1102 г.) вплоть до появления венецианцев на далматинском побережье (1409–1420) и турок в центральной части Балканского полуострова, в Боснии и Герцеговине (1463). Приводя эти исторические факты, мы отнюдь не стремимся ими объяснять литературные процессы в хорватских землях, однако они являются тем фоном, на котором эти литературные процессы развивались и от которого они в той или иной мере зависели.

Роль глаголицы, глаголической письменности и литературы в культурной истории славян, заселивших западную часть Балканского полуострова, в культурной истории хорватов была очень значительна. До второй половины XV в. включительно она, бытуя наряду с латинской литературой и латинским языком, была основной и, по сути дела, единственной формой выражения родного языка и литературы на родном (славянском) языке. Хотя, как это отмечалось выше, глаголические памятники далеко не всегда и не полно отра-

жали язык того этноса, который ими пользовался и который их создавал и воссоздавал, а скорее структуру языка общеславянского, возникшего на другой южнославянской диалектной базе, тем не менее этот язык и письменность были выражением славянского этнического самосознания и формой той литературы, которая отличалась от латинской. Эта литература, как и родственные ей древнесербская или древнерусская, несла сумму синкретических представлений, знаний и духовных переживаний, которая делала ее стабильной, непреходящей, обладающей большой временной глубиной и традицией, актуальной не только в аспекте далекого прошлого, но и более близкого прошлого, бывшего в рассматриваемый период настоящим. Не случайно поэтому глаголическая литература в XV в. и особенно в XVI в. переживала большой подъем. В северной Далмации, в Сене и в Риеке действовали две глаголические типографии (в то время как почти все книги латиницей и часть глаголических книг печатались в Венеции), глаголические тексты и сборники печатались и переписывались, глаголическая литература имела свой устойчивый репертуар и форму. Поэтому и протестанты обращались к глаголице, чтобы представить читателю свои издания и тексты в привычной для него форме и на более или менее привычном языке. При этом и писатели ренессанса, в какой-то мере отталкиваясь от глаголической литературы, от нее не отказывались, не отрецировались, а наоборот, нередко использовали элементы ее языка (см. Vončina, 1983, s. 28–29), поэтики, мотивы и даже некоторые сюжеты, обращаясь одновременно к сокровищам народного языка и фольклора и к богатому поэтическому арсеналу итальянской ренессансной литературы, служившей для них образцом во многих отношениях. Таким образом, глаголическая литература являлась в XVI—XVII вв. связующим звеном между прошлым и настоящим, между разными локальными формами литературного творчества, между сакральной литературой и литературой несакральной. Но самым существенным было то, что это связующее звено имело ярко выраженный этнический славянский, в известном отношении общехорватский характер в ту пору, когда вопрос о формировании и тем более о существовании единой хорватской нации, как и единой хорватской литературы, еще не стоял и не мог быть поставлен. Но если нация — это формирование более позднего времени и иной, более

поздней социально-экономической формации, то отдельные ее компоненты (язык, национальное самосознание и т. п.) могли формироваться и часто формировались значительно раньше.

Наряду с глаголической литературой функционировала литература латинская. Она охватывала все сферы вплоть до деловой (юридической), разговорной (проповедь, диспут), начиная с высшей для того времени сферы — сакральной, богослужебной. Таким образом, глаголизм и латинщина функционировали в сакральной сфере одновременно, параллельно, временами конкурируя друг с другом. Вероятно, в севернохорватских землях такой конкуренции не существовало, и там господствовала латынь. Но на Адриатике, особенно северной и средней, такая конкуренция была, и тому есть немало свидетельств. Различие между латинской сакральной литературой и глаголической литературой того же рода заключалось тогда лишь в том, что первая воспринималась как общецерковная, общекатолическая, а вторая — как славянская, хотя и та же католическая. Общеславянский дух глаголизма и его представителей — монахов и попов-«глаголяшей» — признавали нередко и в православной сфере (ср. случай участия в переводе Геннадиевской библии в 1499 г. в Новгороде «глаголяша» монаха Вениамина и др.). Таким образом, благодаря глаголизму хорваты длительное время входили одновременно и в культурный ареал *Slavia Latina*, и в ареал *Slavia Orthodoxa*, не будучи при этом православными. Следует учитывать также, что исторические события (турецкое нашествие, господство Венеции и т. п.) вели хорватских «глаголяшей» и глаголическую литературу ко все большему отрыву от Востока и ко все большему влиянию западной духовной и светской литературы, что придавало хорватской глаголической книжности специфический облик.

Чакавская неглаголическая ренессансная литература не означала разрыва с глаголическим прошлым или вытеснения глаголической литературы из ее основных функциональных сфер. Будучи светской, она не могла заменить глаголическую в ее сакральных функциях и не стремилась к этому. Ее представители, воспитанные в духе ренессанса, сознательно или не сознавая этого, создавали новую разновидность литературы средневекового типа, которую многие вслед за Г. Д. Гачевым называют синкретической (Гачев, 1958).

Применительно к нашему материалу эту «синкретическую литературу» можно назвать доренессансной литературой. Такая литература, как известно, «понималась как письменность вообще, была универсальной формой идеологии и практически совпадала со всей сферой общественного сознания, в котором тогда еще, в отличие от нового времени, не развилось «разделение труда» между разными его формами: политикой, религией, наукой, моралью, искусством» (Гачев, 1964, с. 15). Именно по этой причине сакральные тексты на том или ином языке (диалекте) входили в доренессансную эпоху и значительно позже в одно литературное целое, в одну сложную структуру письменности (литературы), пользующейся этим языком, в систему разнообразных литературных жанров, произведений и текстов (см. Толстой, 1982; наст. изд., с. 200–211). В этой структуре они занимали важное, иногда ключевое место, и именно поэтому перевод ряда сакральных текстов (Священного писания и т. п.) входил в задачу многих создателей новой формы литературного языка и новой литературы от Кирилла и Мефодия вплоть до Вука Караджича. В областных и необластных литературах рассматриваемого периода эту задачу ставили себе протестантские писатели, славонский писатель Л. П. Катанич и др.

XVI век определяется Д. Брозовичем как век появления областных хорватских литератур и «уравновешенности чакавского, штокавского и кайкавского наречий». Это в принципе справедливое определение требует ряда серьезных пояснений. Чакавская ренессансная литература с художественной, функциональной и генетической стороны не может быть определена как региональная. Возникнув в результате тесных контактов ее носителей с латинской и итальянской литературой, она затем сыграла большую роль в возникновении и развитии дубровницкой штокавской литературы. По сути дела, можно на весь этот процесс посмотреть несколько иначе и сказать, что возникшая в XVI в. и продолжавшаяся в XVII в. славянская ренессансная литература на Адриатике пережила смещение диалектной базы, т. е. переход с чакавской диалектной основы на штокавскую. Жанровый состав этой литературы, его формально-поэтические особенности были новыми для литературного творчества рассматриваемого ареала, и это было одной из наиболее характерных ее особенностей, не говоря уже об особенностях

языка и об обращении к элементам народного творчества, что уже было отмечено в конспективном обзоре этой литературы. Нельзя не указать на еще одну особенность ренессансной литературы — и славянской, и латинской, и итальянской — в условиях славянской Адриатики. Она была предназначена для высшего социального слоя, в лучшем случае для горожан процветающей Дубровницкой республики и других городов, а не для «пука» — трудового крестьянства. И если в ее создании участвовали «фратры» — католические священники и монахи, то они создавали ее для себя и для своего круга, а не для сельской паствы. Именно этой социальной направленностью на народ и отличались друг от друга возникавшие в XVI в. областные литературы: боснийская францисканская от чакавской неглаголической и штокавской дубровницкой литературы. Протестантская литература XVI в. имела того же социального адресата, что и областные кайкавская и боснийская. Адресат не изменился с появлением контрреформационных сочинений и изданий, дух и влияние которых распространялись на весь XVII в. и XVIII в. Этот дух во многом препятствовал проникновению ренессансных идей и приемов литературного творчества далеко за пределы адриатического центра и значительно ограничивал возможность развития концепций, приемов и поэтики барокко в северных хорватских землях, наконец, он определенным образом подействовал на развитие литературы просветительства и классицизма в том же регионе. Возникшая лишь в XVIII в. славонская областная литература отражала дух рационализма в произведениях ее лучших представителей (М. А. Релькович и др.), однако в массе своей она оставалась религиозно-нравоучительной и «пастырской». Жанровая ограниченность и некоторая отгороженность от основных новых направлений, меняющих общую структуру литературной системы и придающих им динамизм, некоторая нейтральность или даже непричастность к этим направлениям характерны для региональных литератур. Именно поэтому с литературоведческой точки зрения нельзя сказать, что в XVI—XVII вв. чакавское, кайкавское и штокавское наречия уравнивались. Уже в XVI в., в период возникновения дубровницкой литературы первые два наречия уступали первенство последнему. Но это не означает, что эти региональные литературы не участвовали в общем литературном процессе и не повлияли на общий путь

развития хорватской литературы и на ее структуру в позднейшие периоды — XIX в. и даже XX в.

Д. Брозович определяет третий период как «увеличение числа областных хорватских литератур в XVII в. и в первой половине XVIII в.» и как «укрепление взаимных связей и преобладание штокавщины». Он справедливо видит в этом основную особенность эпох, предшествовавших национальному возрождению хорватов. Нужно отметить, что при все более возрастающем авторитете штокавщины (а в этом отношении большую роль сыграла дубровницкая литература, новая славонская литература, деятельность некоторых авторов типа А. Качича-Миошича и других писателей) представители чакавской неглаголической и особенно кайкавской литературы стремились преодолеть локальную ограниченность и поднять свою литературу до уровня общенациональной. Таким образом, в преднациональный период возникла конкуренция разных областных форм литературы и форм литературных языков, конкуренция, которой был захвачен, как известно, и сам глава хорватского «иллиризма» XIX в. Людевит Гай, писавший сначала по-кайкавски, а затем решительно перешедший на штокавщину. Издаваемое Л. Гаем с января 1835 г. литературное приложение «Денница» (Danica) к газете «Новине Хорватске» (Novine Horvatzke) выходила по-кайкавски (в приложении печатались и штокавские художественные тексты), но уже в декабре месяце того же года «Денница» стала выходить по-штокавски.

Аналогичная ситуация в начале XIX в. наблюдалась у словенцев, у которых в XVI в. с появлением протестантской литературы и с деятельностью Приможа Трубара и Юрая Далматина было достигнуто значительное единство литературы и литературного языка, но к началу XIX в. возникло немало областных вариантов литературного языка, которые конкурировали между собой (Толстой, 1965). В период, предшествующий окончательному оформлению сербского (сербскохорватского) национального литературного языка, и становления сербской литературы, т. е. до эпохи романтизма, во второй половине XVIII в. и в начале XIX в. происходила также конкуренция различных типов литературного языка, различавшихся, однако, не на основе региональных, территориально-диалектных показателей (представители этой литературы происходили главным образом из одной диалектной зоны — из Воеводины), а на основе разной степени

книжности этого языка и разного характера и происхождения этой книжности (славяно-сербский сербульского типа, «славено-сербский» русского типа, язык, близкий к народному с элементами архаической славяницы, язык, близкий к народному без архаических элементов) (Толстой, 1978а; 1979; см. наст. изд., с. 239–345).

Для польского литературного языка и польской литературы такая конкуренция не была характерна. Не была характерна она и для русского литературного языка, хотя некоторые литературно-языковые процессы в России в XVIII в. в какой-то мере напоминают такую конкуренцию, так как теория «трех штилей», соотношение этих стилей и развитие жанровой системы русской литературы XVIII в. требовали в конкретных случаях выбора языка и слога, а затем и сведения языкового разнобоя к большему единообразию, к общенациональной литературной норме. Однако едва ли не самым любопытным литературно-языковым и чисто литературным фактом истории хорватской литературы является возобновление, возрождение региональных (областных) хорватских литератур в начале XX в. и их бурное развитие во второй половине того же века, в послевоенный период. Этот процесс, безусловно, имел и свои новые аспекты в связи с новой структурой хорватской литературы начала XX в. и современной хорватской литературой, но это является отдельной и достаточно сложной темой, требующей специального и подробного рассмотрения³.

³ При написании настоящей работы была использована следующая литература, из которой почерпнут фактический материал: Bučar, 1910; Franičević, Švelec, Bogišić, 1974; Georgijević, 1969; Hadrovics, 1974; Hercigonja, 1975; Kombol, 1961; Vince, 1978; Vončina, 1983; Zečević, 1978; Дуличенко, 1981.

Страничка из истории македонского литературного языка

**(Переводы «Любушиного суда» из «Краледворской
рукописи» на македонский язык в XIX в.)**

В «Памятниках и образцах народного языка и словесности» (см.: «Прибавления к Известиям Имп. Академии наук по Отделению русского языка и словесности», изд. 2) И. И. Срезневский опубликовал в 1852 г. два перевода «на болгарское наречие» «древней чешской песни о суде Любуши» совместно с «подлинником» в чтении Шафарика и приложением старославянского чтения А. Х. Востокова, ранее помещенного в «Собрании словенских памятников, находящихся вне России» (СПб., 1827). Первый из переводов, принадлежащий перу К. Дмитриева-Петковича, сделан на македонский язык и является одним из ранних опытов создания македонского литературно-поэтического языка на чисто народной основе; второй перевод, принадлежащий неизвестному автору (или неизвестным авторам), достаточно последовательно отражает черты болгарского языка.

Различия в языке двух переводов явственно ощущал их издатель И. И. Срезневский, высказавший в своих «Замечаниях редактора к болгарскому переводу песни о суде Любуши» (кол. 23), помимо прочих, следующие соображения: «Переводы ее (песни о суде Любуши. — *Н. Т.*) на наречия славянские народные полезны между прочим и потому, что они могут служить пособием для наглядного сравнения наречий, сравнения тем более любопытного, что из них можно видеть, какими средствами может пользоваться тот и другой славянин нашего времени для передачи голоса поэзии славянской, звучавшего за тысячу лет. Опыт перевода этой песни о суде Любуши на наречие болгарское был представлен на предыдущем листе именно с этой целью и, вероятно, занял хоть некоторых из любознательных читателей как образчик наречия, до сих пор еще очень мало исследованного и известного. Впрочем, этим одним опытом нельзя было ограничиться: оттенок болгарского наречия, на котором г.

Дмитриев-Петкович передал древнюю чешскую поэму, заметно отличен от многих других, сохранивших более чистый болгарский тип. Оттенок этот, господствуя в некоторых краях Македонии, в соседстве с сербами, отражает на себе влияние наречия сербского, как это видно из употребления звука *h* вместо *шт* и *ḥ* вместо *жд*. Нельзя было не желать сообщить рядом с ним и еще один опыт перевода — на какой-нибудь из говоров, господствующих в собственно Болгарии. Возможность представилась. Я воспользовался готовностью нескольких природных болгар (из Болгарии) принять участие в переводе — и перевод издается».

Райко Ксенофонт Жинзифов опубликовал одиннадцать лет спустя, в 1863 г., свой перевод песни о суде Любуши (наряду с другими переводами из «Краледворской рукописи») в сборнике «Новобългарска сбирка» (М., 1863).

Таким образом, в начале второй половины XIX в. было два перевода песни о суде Любуши на македонский язык и один перевод на болгарский. Эти переводы представляют несомненный интерес, так как достаточно ярко демонстрируют основные фонетические, морфологические и лексические различия между македонским и болгарским литературными языками середины XIX в., с одной стороны, и относительную неустойчивость норм для македонского и болгарского литературного языков той поры, — с другой. Наконец, конкуренцию между литературной обработкой македонских наречий и литературной обработкой восточноболгарских наречий (наряду с обработкой западноболгарских наречий) можно рассматривать не только порознь, но и совместно, представив ее в рамках одного процесса борьбы за один литературный язык Болгарии и Македонии. В середине XIX в. было еще немало компромиссных решений, опытов и попыток синтезировать черты болгарских и македонских диалектов или утвердить в качестве диалектной основы литературного языка восточноболгарские, западноболгарские или македонские говоры. Процесс этот усложнялся также тем обстоятельством, что церковнославянский язык поздней поры продолжал оказывать заметное влияние на опыты нормализации нового литературного языка (что отражалось хотя бы в попытке избегать членные формы и т. п.), а стремление к эмансипации от влияния церковнославянских норм проявлялось с различной степенью интенсивности и корректности.

Издания, в которых опубликованы интересующие нас переводы «Любушиного суда», являются библиографически редкостями и недоступны широкому читателю, поэтому приводим тексты переводов с сохранением их оригинальной орфографии:

Перевод К. Дмитриева-
Петковича

Анонимный болгарский
перевод

- Въ своя куѣа секи татко глава.
Мажи оратъ, жени руби праватъ.
Акол' умре глава домаѣинска,
тога найдно деца стока владатъ,
5. избирать си владица изъ рода,
кой за користь на собори ходи,
Ходи съ кмети, лехи и владики.
Встаха кмети, леси и владици,
и по законъ правда пофалиха.
-
10. Ай Вълтаво, защо матишь вода?
Защо матишь вода сребропена?
Зар'те люта разборави буря,
истуравши облакъ з'горе неба,
навадивши върхи горъ зеленыхъ,
15. исплакнавши златопесчна земля?
Како быхъ азъ вода не матила,
кога се караятъ родни братья,
родни братья за таткова стока.
Караятъ се злобно меѣу себе
20. люти Хрудошъ на Отава крива,
на Отава крива златоносна.
Стяглавъ храбри на Радбуза ладна,
оба брата, оба Кленовича,
изъ родъ стари на Тетва Попела,
25. кой премина съсъ Чекови пълки
въ тия плодни земи презъ три реки.
Долетеше мирна ластовица,
долетеше изъ Отава крива,
седна на прозорче отворено
30. въ Любушини таткови дворове,
двори златни на Вишеградъ
свети,
жалуе и горко извикуе.
Кога дочу ихна родна сестра,
родна сестра въ Любушини двори,
35. викна кнежна внатре Вишеграда

- Секи башта к глава в своа челнад.
Мъжи орат, жени руби прават.
Ако л' умре глава челадинска,
тога найдно дѣца имот владат,
избират си от род-ат владица,
кои на собори за печала ходи,
ходи с кмети, лѣси и владици.
Стаха кмети, лѣси и владици,
и по законъ правда пофалиха.
-
- Ай Вълтаво, зашто вода мътиш?
Зашто мътиш вода сребропѣна?
Зар тѣ люта въздигнала бурѣ,
де изврѣже облак от небѣ-то,
де нарѣси зелени планини,
та испланка златопѣсна гнила?
Чи как да не штѣ водѣ да мъта,
Когѣ-то сѣ карат родни братѣ,
родни братѣ за баштин имот?
Карат ми сѣ злобно помеждѣ си —
люти Хрудош на крива Отава,
на Отава крива златоносна,
Стяглав храбри на Радбуза хладна,
двама брата, двама Кленовича
от род стари на Тетва Попелов,
кой-то дойде сос Чешски дружини
в тия плодни земи през три рѣки.
Долетѣша лѣстовица мирна,
долетѣше от крива Отава,
сѣдна на отвѣрени прозорец,
на Любушин баштин злат двор,
злат двор баштин свети
Вишеградъ,
та плѣчит сѣ и горко извик'ва.
Когѣ чула тѣхна сестра родна,
родна сестра у Любушин двор,
проси кнежна — вътрѣ Вишеградъ

и почеха да говоратъ тихо,
80. да говоратъ тихо меју себе,
и да фалатъ нейни проговори.

Ста Лютоборъ з' Доброславска
тумба,

поче такво слово да говори:
Славна кнежно на татковъ ти
престолъ!

85. Проговори твои размислихмe.
Сбери гласи по свой-си народъ.

И собраха гласи моми судни.
Сбираха ги у свещени чаши,
и дадоха на лехи да обьяватъ.

90. Ста Радованъ отъ Камена моста,
поче брой на гласи да прегледва.
и већина въ народъ да обьяви,
въ народъ, що ꙗ за судъ въ соборъ
стапиль:

Оба родни брата Кленовича,

95. изъ родъ стари на Тетва Попела,
кои премина съсъ Чехови пълки
въ тия плодни земи презъ три реки!
Смирете се така за иманье:
владайте го обоица ведно.

100. Стана Хрудошъ отъ Отава крива.
Жълчка му се разли по утроба,
отъ лютина снага се тресеше:
Махна съ рака, како лютъ бикъ
ревна:

Горки пилци, що ги змиа найде,

105. горки мажи, що ги жена влада!
Мажъ надъ мажи прилича да влада.
И първенцу стока да се даде.

Ста Любуша отъ татковъ си
престолъ,

рече: Кмети, леси и владици!

110. Чухте овде безчестенье мое.
Суд'те сами споредъ законъ правда.
Веће не ѱу свади да ви судимъ.
Равенъ мажъ си отъ васъ изберете,
кой би владалъ у васъ съсъ железо.

115. Мома слаба да ви заповеда.

Ста Ратиборъ отъ горъ Кърконоши,
поче такво слово да говори:

Срамъ ни отъ Немечко правда да
сакаме:

и почеха да си думатъ тихо,
да си думатъ тихо помежду си
и да фалатъ нейни хитри думи.

Ста Лютобор отъ тумба
Доброславска.

Начна так'возъ слово да говори:
Славна кнежно на престолъ ти
баштин!

Размислихмe твои хитри думи.
Сбери гласове отъ сички твой народъ.

Моми съдни гласове събраха.
Сбираха ги в сваштени съдѱни,
и дадоха на лѱси да обьяватъ.

Ста Радован отъ Камена моста,
начна да прегледва на гласове чет,
и болшина въ народъ да обьяви,
в народъ, што за съд на сбор
дошол:

Двама родни брата Кленовича,
отъ родъ стари на Тетва Попелов,
кой-то дойде сос Чешски дружини
в тия плодни земи презъ три рѱки!
Смиркте сѱ така за имотство:
владѱйте го си двама наядно.

Стана Хрудош отъ крива Отава,
Жълчка му сѱ разли по срѱдце-то,
трѱсише му сѱ отъ злоба снага.
Махна с рѱка, рѱвна катѱ
люот бик:

Горки пилци, што ги змиа найде!

Горки мъжи, што ги женѱ влада.
Прилично ꙗ мъж мъжи да влада,
и прѱвенец да имѱт си земе.

Ста Любуша отъ престолъ си
баштин,

рече: Кмети, лѱси и владики!

Чухте, колко тукъ съм похулкна.
Съдкте сѱ споредъ законъ правда.
Вече не штѱ свади да ви съда.
Равенъ мажъ си отъ васъ изберкте,
кой-то да ви влада сос желѱзо,
Момина рѱка не ꙗ за васъ силна.

Ста Ратибор отъ планини Влетски,
начна так'возъ слово да говори:

Срамъ ни ꙗ да зѱмамъ чужда
правда:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| у нас своя правда споредь законъ | У насъ своя правда според законъ |
| свети, | свети, |
| 120. Що таткове наше донесоха | кой-то наши бапти донесоха |
| Въ тия... | в тия... |

Перевод Райко Ксенофонта Жинзифова:

- Секой татко к глава въ свож челждь
 Мжжи оржтъ, жены рубы правжтъ,
 Акъ ли умрить глава челядинска
 Тогай дѣца наедно стокж владжтъ,
 5. Избирайки изъ родъ-тъ Владыцы,
 Кои за печалбж въ соборъ ходжтъ,
 Ходжтъ съ Кметы, съ Лесы и съ Владыцы.
 Встажж Кметы, Лесы и Владыцы
 И по законъ правдж похвалижж.
-
10. Ой, Вълтаво рѣко || Зѣщо мжтишь водж,
 Защо, рѣко, мжтишь, || Водж сребропѣннж?
 Дали ми те лютый || Разборави вихоръ,
 Кат' порони облакъ || Отъ широко небо,
 Кат' навади главы || На-зелены горы.
15. Кат' исплакна гнилж || Гнилж златопесчнж?
 Како можамъ язъ-ка || Водж да не мжтамъ,
 Кóга скараны сетъ || Два рогѣни брата
 Два рогени брата || За татковскж стокж.
 Скарали ся братя || Люто мегю себе:
20. Оной лютый Хрудошъ || У Отавж кривж,
 У Отавж кривж || Кривж златоноснж,
 Оной юнакъ Стаглавъ || у Радбузж студнж,
 И двамина братя || Оба Кленовичи,
 И отъ стара' рода || Попелова Тетвы,
25. Кой си бѣше дошелъ || Сосъ дружины Чешски,
 Въ овы плодны земи, || Земи презъ три рѣки.
 Птица си долета || Лѣстовица мирна
 Отъ Отавж кривж:
 Лѣстовица седна || На широкъ прозорець,
30. Во Любушинъ татковъ, || Татковъ престоль златенъ,
 Въ Вышеградъ градъ светый;
 Ядове си казвать || Тжжно си наредвать.
 Кóга зачу нея || Сестра ѝ рогена,
 Сестра ѝ рогена || Въ двory на-Любуша
35. Тогай выкна кнежнж || Во Вышеградъ внжтре,
 За да си поставать || На препирня правдж
 И да ся докарать || И двамина брата

- Ихъ тамо да сждатъ || Како законъ даватъ,
 Па повелватъ кнежна || Пратници да прататъ,
 40. По Святославъ отъ Любицѣ бѣлѣ
 Тамо дека горы сетъ зелены
 По Лютоборъ 'з бърдо Доброславско
 Дека Лаба Орлицѣ си пиетъ,
 45. По Ратиборъ отъ горы Кърконошки,
 Тамо дека Трутъ погуби змѣй лютый,
 По Радованъ отъ Камена моста,
 По Ярожиръ отъ бродове чисторѣчны,
 По Стрезиторъ отъ Сазавѣ кладнѣ
 По Самородъ отъ Мжж среброноснѣ
 50. По 'си Кметы, Лесы и Владыцы
 И по Хрудошъ и по Стаглавъ брата
 Размилены за татковскѣ стокѣ.
 Кога ся сбрахѣ Лесы и Владыцы
 Во Вышеградъ, (во престолъ Любушинъ)
 55. 'Секой влезе какъ му бѣше редъ-тъ,
 Влезе кнежна съ бѣло премѣнета ||
 56 а Променѣта съ дрехи бѣлы, чисти,
 Стапна на столъ татковъ въ славенъ соборъ.
 Дигнахѣ ся до двѣ || Паметны дѣвойки,
 Кои знахѣ сждны || Думы Витезовы. (?)
 60. У еднѣ сетъ щипы || Кои правдѣ давѣтъ,
 А у вторѣ мечъ к, || Кой си гонитъ кривдѣ,
 Спротиво имъ пламень || Кой показватъ правдѣ,
 И к предъ нихъ долу || Светочудна вода.
 Проговори кнежна || Отъ столъ златенъ татковъ:
 65. «Ой ве вые Кметы || Лесы и Владыцы!
 Ево отсждѣте || На два брата правдѣ.
 Кой скарахѣ ся || Люто мегю себе
 За татковскѣ стокѣ.
 Какъ що даватъ законъ || На-тѣ вѣчны Бози,
 70. Накдно некъ оба || Земи си повелѣтъ,
 Иль да си раздѣлѣтъ || Земи съ рамнѣ мѣрѣ.
 Ой ви вые Кметы, || Лесы и Владыцы,
 Я ми отсждѣте || Вые мой думы,
 Ако быдѣтъ думы || Мои по вашъ разумъ
 75. Ако ли ми думы || Не сетъ по вашъ разумъ,
 Учинете вые || За нихъ новѣ сѣдбѣ,
 Коя да помиритъ || Размилены брата».
 Кланияхѣ ся Лесы и Владыцы
 И начнахѣ тихо да говорятъ
 80. (-----)
 И да хвалѣтъ нейзины думы.
 Доброславскобърдець || Лютоборъ ся дигна

- И онъ почна такво || Слово да говорить:
 «Наша кнежно славна || На столь татковъ златенъ!
 85. Твои, кнежно, мѣдры || Думы сме разбрали,
 Гласове сберѣ ты || По народъ ти 'сички».
 Гласове си сбрахъ || Сѣдници дѣвойки
 Кладохъ ги послѣ || Въ 'садове свещенны;
 Дадохъ на-Лесы || Нихъ да ги обаджъть.
 90. Вста Радованъ отъ Камена моста
 Брой на гласк да прегледать начна,
 (92а) Да преброить, въ народъ да обадить
 Колку гласа изъ нихъ сетъ отвыше
 Щото народъ въ соборъ да расберить.
 «Кленовичи, братя два рогѣни
 95. Стара рода Тетвы Попелова
 Кой бѣше дошелъ || Сосъ дружины Чешски,
 Въ овы плодны земи, || земи презъ три рѣки,
 Ся смиръте и татковскъ стокъ
 Наедно си оба владѣйте!».
 100. Стана Хрудошъ отъ Отавж кривж,
 Жълчка му ся разли по утробж,
 Тресеше ся отъ лютина снага,
 Махна съ рѣжж, рыкна какъ быкъ лютый;
 «Горко на тѣ пилцы || Що ги змяя квачить,
 105. Горко на тѣ мѣжи || Що ги жена владать!
 Мѣжъ да си повелятъ || Мѣжа к прилично,
 На-първенецъ стока || Да ся дадить правда».
 Па Любуша стана || Отъ столь татковъ златенъ,
 Рече: «Кметы, Лесы и Владицы
 110. Чухте овде поганенк мок;
 Сѣдте самы право спроти законъ.
 Веке нейкю свады да ви сѣдамъ,
 Барайте мѣжъ равенъ по мегю си,
 Кой бы васъ повелялъ сосъ желъзо,
 115. Слаба к да владать дѣвоячка рѣжа».
 Ратиборъ отъ горы Кърконошски
 Начна такво слово да говорить:
 «Срамъ к за насъ въ Нѣмцы || Мы да търсим' правж,
 Има у насъ правда || Спроти законъ светый,
 120. Кож сетъ донесли, || Дѣдови ны въ овы
 (Плодны земи презъ три рѣки)»...

Сравнение трех переводов «Любушиного суда» — К. Дмитриева-Петковича, Р. К. Жинзифова на македонский и анонимного перевода на болгарский (см. далее сокращенно обозначенные названия переводов: Д.-П., Ж. и Ан.) — создает

некоторое представление об опытах нормирования македонского литературного языка в начале второй половины XIX в., об их отношениях между собой и об отношении к аналогичным опытам в сфере болгарского литературного языка. С этой целью отметим наиболее характерные особенности указанных переводов в области орфографии и графики, фонетики, морфологии и лексики. Чтобы яснее определить место двух переводов «Любушиного суда» в общем процессе становления и развития македонского литературного языка, приводим ряд параллелей из других произведений и переводов Р. К. Жинзифова, а иногда и из современного македонского языка.

Некоторые особенности графики и орфографии

I. В переводе К. Дмитриева-Петковича используется гражданский шрифт, в котором отсутствует графема *ѝ*, графема *ѝ* используется в функции традиционного «твердого знака» в конце слова, а графема *ь* — в функции «мягкого знака» в конце слова после шипящих (*матишь* 10, 11, *ножь* 61, *Хрудошь* 100, *мажь* 106, но и *мажь* 113)¹, и, вероятно, в таких случаях, как *користь* 6, *пламень* 62, если не считать, что здесь она служит для обозначения мягкости. В середине слова знак *ѝ* употребляется перед слоговыми плавными *р* (*вѝрхи* 14, *Кѝрконоши* 44, *дѝржи* 60, *пѝрвенцу* 107) и, возможно, *л* (*Вѝлтаво* 10, *пѝлки* 25), если не считать, что здесь он обозначает нейтральный гласный, приближающийся к общеполгарскому *ѝ*. В тексте Д.-П. есть один случай, где, надо полагать, такое качество гласного обозначено знаком *ѝ* — *сѝсѝ* 25, 66, хотя в параллельном болгарском тексте Ан. как раз только в этом случае зафиксирована «вокализация редуцированного» — *сос* 25. Знак *ѝ* после приставки *об-*, возможно, указывает на наличие йота в графеме *я*, которая обычно после согласных манифестирует *а* с предшествующей мягкостью (*обѝяватѝ* 89, *обѝяви* 92). Для тех же целей, очевидно, служит знак *ь* перед *я* (*братья* 17, 18, 77), который в остальных случаях означает только мягкость (*собранье* 36, *иманье* 98, *безчестенье* 110) и лишь перед *л* после шипящего — нейтральный гласный или призвук — *жълчка* 101 (ср. совр. макед. лит. *жолчка*). Единичные слу-

¹ Примеры без указания источника взяты из соответствующих переводов «Любушиного суда». Цифра указывает на строку.

чай употребления графем *ы* и *і* можно, вероятно, отнести за счет механических опечаток наборщика и не считать характерной особенностью графики Д.-П.: *зеленыхъ* 14, *быхъ* 16, но *би* 114, *биде* 74, 75, *бик* 103, *Вишеградъ* 31, 35, 54; *змія* 104, но *тия* 97, 121. Из букв кириллического (церковнославянского) алфавита употреблено только раз йотированное *е* — *к* 93. Буква *щ* означает лигатуру *шт* (так же в тексте Ж., но иначе в Ан., где *щ* отсутствует) — *щици* 60, *що* 61, 93, 104, 105, 120, *защо* 11, *свещени* 88. Наконец, весьма характерной особенностью графики Д.-П. является употребление сербских букв *ћ* и *ђ* для обозначения македонских *ќ* и *ѣ* (*кућа* 1, *домаћинска* 3, *веће* 112, *ћу* 74, 112, *већина* 92, *мећу* 19, 68, 80); Жинзифов в таких случаях пользовался обычными графемами *к* и *г* без дополнительного графического знака для обозначения этих специфических македонских согласных (*мегю* 19, 68; *рогѣни* 17, 18, 94; *рогена* 33; *веке* 112; *нейкю* 112).

Правописание, если учесть особенности употребления *з* и различные позиционно обусловленные манифестации графем *я*, *ю* (то как *а* и *у* с предшествующей мягкостью, то как *ја* и *ју*) — фонетическое, но с некоторыми непоследовательными уступками в пользу этимологического принципа при написании приставок (например, *разрешете* 66, *разделатъ* 71, *разберете* 73, *раскарани* 77, *избиратъ* 5, *изберете* 113, *истуравши* 13, *исплакнавши* 15, но: *безчестенье* 110, *сбраха* 53).

II. Анонимный перевод на болгарский язык использует тот же гражданский шрифт, но с введением графемы *м* вместо *я* (*браты* 18, *раздѣлит* 71, *клѣныха см* 78 и т. п.) и графемы *к* для йотированного *е* (*к* 1, 106, 115 и один случай с йотом: *је* 118, *кдна* 60, *накдно* 99). Графема *к* используется иногда для обозначения мягкости предшествующего согласного (*кикжна* 35, 39, 56, 64; *похѣлжна* 110), а в некоторых случаях можно предположить иное качество гласного по сравнению с *е* на месте этимологического *е*. В императиве 2 л. мн. ч. фиксируются формы *сторкѣте* 76, *смиркѣте см* 98, *сѣдкѣте* 111, *изберкѣте* 113 (здесь, возможно, отражается более широкое произношение *е*, где $e < \frac{1}{2}$), однако трудно объяснимо такое написание, как *стѣдкѣна* 48, *пременкѣна* 56, *Влѣтски* 116, *преглкѣдва* 91 (обозначение некоторой степени мягкости *л*?), но: *влезе* 55, 56, *зелени* 14, *долетѣше* 27, 28. Характерно отсутствие графемы *з* в функции «твердого зна-

ка» (кроме случая *объяви* 92), но наличие этимологического (не всегда последовательного) написания *ѣ*, которое, вероятно, произносилось как *e* (или как *e* широкое): *зѣмам'* 118, *сѣдна* 29, *сѣтло* 56. В целом правописание здесь этимологическое с некоторыми отступлениями при написании приставок: *разсѣдите* 73, но *испланка* 15, *сбери* 86, *сбираха* 88, *сбраха* 53. Звукосочетание *шт* всегда передается двумя графемами: *башта* 1, *зашто* 10 и т. д. Графема *ы* отсутствует.

III. Р. К. Жинзифов для передачи текста своего перевода «Любушиного суда» пользовался несколько усложненной графикой и орфографией, русской гражданкой с графемами *ѣ*, *ы*, *і*, оснащенной также графемами *ж*, *ѣж*, *к*. Графема *ж* манифестирует звук *a*, *ѣж* — йотированное *a*: *коѣж* 120, *раздѣлѣжтъ*, *повелѣжтъ* 70, а *к* — йотированное *e* (*к* 1, 106, 115, 118; *гласк* 91, *мок* 110, *накдно* 70, но *наедно* 99). Графема *ѣ* употребляется лишь в функции «твердого знака» и при слоговом плавном *p* (*Кѣрконошски* 44). В последнем случае этимологически употребляется и знак *ь* (*първенець* 107), который фиксируется и в конце слова как «мягкий знак», согласно этимологическим правилам, в ряде случаев, вероятно, не отражая уже мягкость согласных (*челждь* 1, *вихорь* 12, *матишь* 10)². В сочетании с плавным *л* знак *ь* манифестировал, очевидно, гласный среднего ряда среднего подъема, типа общеполгарского *ѣ* (*жѣлчка* 101). Орфография Жинзифова основана на этимологическом принципе с некоторыми отступлениями в пользу фонетического. Этимологически употребляется *ѣ*, который звучал в живой речи автора как *e*, и *ж* (*ѣж*), звучавшее как *a* (*'a*, *ja*). Употребление *ж* на

² После графем, означающих согласные *н* и *л*, знак *ь* в графике Р. К. Жинзифова указывал на мягкость. Например: *конь* (Бт IV, 45, «Прошетба»), *краль* (Бт IV, 45, «Прошетба»), *леженье* (Бт IV, 56, «Прошетба»), *вѣнчаванье* (Бт IV, 49, «Прошетба»). Наряду с приведенными формами отглагольных существительных у Жинзифова фиксируется: *поганенк* 110, *оране* (Бт II, стихотв. «Гусларь въ соборъ»), *спанк* — *'Сичка Прага жѣлчитъ* || *Въ утренно си спанк* (Нбсб 68, «Олдрихъ и Болеславъ»). Написание типа *леженье*, *вѣнчаванье* характерно для прозы Жинзифова 1862 г., в стихах 1863 г. находим уже формы типа *спанк*.

Для произведений Р. К. Жинзифова употребляются следующие условные сокращения: Бт — ж. «Братски труд», М., кн. I—III, 1860, кн. IV, 1862; Нбсб — «Новобългарска сбирка», М., 1863; СпИ — «Слово о полку Игореве»; К. р. — «Краледворска ржкопись»; К. к. — «Кървава кошуля», Браила, 1870 (написана в 1865 г.). В примерах с указанием источника цифра указывает на страницу.

месте старого *o* в других произведениях Жинзифова довольно непоследовательно: наряду с *мжкж* (Нбсб, СпИ 36) встречается *мака* (Нбсб, К. р. 78), *пжтове* (Нбсб, СпИ 20) и *патове* (Нбсб, К. р. 75). Число таких примеров можно было бы значительно умножить. Это колебание объясняется тем, что, с одной стороны, Р. К. Жинзифов довольно ярко отражал в своем языке черты своих родных центральномакедонских говоров и, избегая осложнений, употреблял соответствующую фонеме [а] графему *a*, а с другой стороны, следуя выдвигаемому им положению о возможности единого литературного языка болгар и македонцев на основе контаминации их языковых черт, допускал наличие двойного произношения *ж* — как *з* (для представителей большинства болгарских и южномакедонских эгейских говоров), как *a* (для представителей центральномакедонских говоров)³ и, надо полагать, даже как *y* (для представителей северномакедонских говоров; ср. также передачу *y* как *ж* в словах *хждожника* [Нбсб 131], *Любушинъ сждз* [Нбсб 5], вероятно, и *кржгз* (Бт IV, 54, «Прошетба») ⁴, где *ж* произносилось как *y*).

³ В предисловии к переводу «Слова о полку Игореве» (см. «Новобългарска сбирка», с. 15–16) Р. К. Жинзифов писал: «И така мые мыслиме, що не к наша погрѣшка, ако на читатели-те ще имъ сж (опечатка? — Н. Т.) паднитъ да четжтъ *ржкá, водá, планинá*, а въ друго мѣсто *рѣжа* и *вóда, плáнина* и пр. Исто така мые писахме *пжть*, и *пать*, *мжчно*, и *мачно*, *ржка* и *рака*; харно ли мые сторихме или лошо — това к друго пытанк, само, сакаме да кажиме що тыѣ разлики на-языкъ-тъ ны, бѣжж намъ помалку или повече познати, и не сетъ погрѣшки от незнаи́е; но со се това мые не щеме ни да помыслиме, а камо ли да кажиме, що изучихме языкъ-тъ си колку що треба. Нека при това забѣлежиме що може бы на читатели-те ще сж показитъ, що нѣкои си слова въ преводъ-тъ ны сетъ замени изъ Русскій-тъ языкъ; мые не казваме да не к влегло въ него нѣкакво си Русско слово, но пакъ казваме що премногу слова ако и еднакви съ Русски-те, не сетъ замени изъ Русскій-тъ языкъ, но има ги въ нашій-тъ языкъ; кой искать да се увѣритъ що това к така, нека прочитатъ наши-те народны пѣсни. Още к далеко това време, кога, си-те Българе ще пишатъ еднакво безъ наймалка разлика. Що ще дойдитъ такво време вѣрваме, и твърдо вѣрваме, но кога, не ся знаитъ; али сега за сега стига и това, що осемъ разбираме единъ друге кога пишиме...» Эта позиция Р. К. Жинзифова вызвала упрек Любена Каравелова, который в одной из своих статей в газете «Врѣмя» писал: «Жинзифовъ хвърля всичката вина върху българския езикъ и неговитѣ наречия ... една и сжца дума се среща най-различно то написана и то въ нѣколко реда: *мжка, макж, мака* и др.» (цитирую по кн.: Здравева, 1927).

⁴ Ср. совр. макед. лит.: *суд, круг, кругол, кружок* и совр. болг. литер.: *художник, художничка* (вероятно, под русским влиянием).

Допустимость наличия такой двойкой или даже тройкой манифестации двух-трех различных вариантов нормы подтверждалась практикой становления и бытования южнославянских литературных языков во второй половине XIX в. (ср. двойкое произношение *ǰ* у болгар — как *e* и как *'a* в определенных позициях, тройкое произношение *ǰ* у сербов и хорватов — как *e*, *je* (*uje*), *u* и т. п.).

В переводе «Любушиного суда» Р. К. Жинзифов в 3 л. мн. ч. настоящего времени довольно последовательно дает написание с *ж* (*ǰ*): *оржтѣ* 2, *правжтѣ* 2, *владжтѣ* 4 (3 л. ед. ч.: *владатѣ* 105), *ходжтѣ* 6, 7, *давжтѣ* 60, *повелжтѣ* 70, *раздѣлжтѣ* 71, *быджтѣ* 74, *обаджтѣ* 89 (3 л. ед. ч.: *обадитѣ* 92а). Однако имеется и написание: *говорятѣ* 79 (3 л. ед. ч.: *говоритѣ* 83, 117), *хвалятѣ* 81⁵. Очевидно, это написание вводилось прежде всего в целях орфографического различения форм 3 л. ед. и мн. ч. спряжения с темой *a* (в современном македонском литературном языке I спряжение — «а-группа») — *владатѣ* : *владжтѣ* — и затем распространялось на все формы 3 л. мн. ч., хотя и не всегда вполне последовательно.

Более последовательно в правописании Р. К. Жинзифова выступает *ж* в окончании 3 л. мн. ч. аориста и имперфекта -*хж*: *встахж* 8; *похвалихж* 9, *ся сбрахж* 53, *дигнахж* ся 58, *знахж* 59, *скарахж* ся 67, *кланяхж* ся 78, *начнахж* 79, *сбрахж* 87, *кладохж* 88⁶. Та же последовательность наблюдается

⁵ В том же сборнике «Новобългарска сбирка» в переводах из Краледворской рукописи («Честмиръ и Влаславъ») находим только *носятѣ* (Нбсб 86), *стоятъ* (Нбсб 86), *безчестатѣ* (Нбсб 85), *върватѣ* (Нбсб 85), *бучатѣ* (Нбсб 88), *велятъ* (Нбсб 85), *отговарятѣ* (Нбсб 85); в переводе «Слова о полку Игореве»: *говоратѣ* (Нбсб 23), *говорятѣ* (Нбсб 25), *летаятъ* (Нбсб 25), *хулятѣ* (Нбсб 29), *звонатѣ* (Нбсб 31), *ся каратѣ* (Нбсб 27), *трескаятѣ* (Нбсб 25), *ораятъ* (Нбсб 38), но также и *показавятѣ* (Нбсб 22), *иджтѣ* (Нбсб 22). В рассказе «Прошетба» исключительно: *плачатѣ* (Бт IV, 49), *велятъ* (Бт IV, 53), *говоратѣ* (Бт IV, 49), *ся поклонатѣ* (Бт IV, 39), *ся гасатѣ* (Бт IV, 38), *постелятъ* (Бт IV, 56), *пиятъ* (Бт IV, 45), *ся прощаваятъ* (Бт IV, 51), *пытаятъ* (Бт IV, 48), *покрываятъ* (Бт IV, 40), *валкаятѣ* (Бт IV, 46), *имаятъ* (Бт IV, 40), *гледаятъ* (Бт IV, 40). В этих случаях категория числа различается формально показателями *a* : *ая* — *иматѣ* : *имаятъ* (ср. совр. лит. макед. *има* : *имаат*).

⁶ Эта орфографическая черта в сборнике «Новобългарска сбирка» проведена последовательно (хотя изредка: *распърснаха* — Нбсб 77). В рассказе «Прошетба» выступают формы на -*ха*: *представиха* (Бт IV, 39), *донесоха* (Бт IV, 47), *наумуваха* (Бт IV, 55) и т. п.

при написании имен существительных и прилагательных женского рода единственного числа на *-а* в функции прямого и косвенного объекта (соответствующих «косвенным падежам»): *правдж* 9, *водж* 10, *сѣ рамнж мѣрж* 71 и т. д.⁷. Чисто этимологическим у Р. К. Жинзифова является и довольно последовательное и правильное⁸ употребление графем *ѣ* и *ы* в соответствии с их историческими корреспондентами: *рѣко* 10, *бѣше* 25, *бѣлж* 40, *жены* 2, *главы* 14, *Владыцы* 5, 7, *зелены горы* 14, *Вышеградѣ* 31, 35 и т. д.

В правописании приставок наблюдается уступка фонетическому принципу, хотя и не совсем последовательная: *избирайки* 5, *испакна* 15, *разборави* 12, *раздѣлжтѣ* 71, *размирены* 52, 77, *разбрали* 85, *да расберитѣ* 93⁹, однако *сбрахж* 53, *скарэхжя* 67, *скаралися* 19.

Некоторые фонетические особенности

В переводе К. Дмитриева-Петковича, так же как в языке Р. К. Жинзифова, К. Миладинова, К. П. Мисиркова и ряда других македонских писателей XIX — начала XX в., старое *o* дает рефлекс *a*, в соответствии с положением в центральных македонских говорах. (В тексте Д.-П.: *мажи* 2, 105, 106; *мажь* 106, 113; *матишь* 10, 11; *матила* 16, *дабрави* 41, *стапиль* 93, *рака* 107, *внатре* 35). В языке Ж. в этих случаях довольно последовательно *a*- (изображаемое иногда графически как *ж*)¹⁰. Ряд лексем, проникших в македонские говоры под сербским влиянием, имеют *y* на месте старого носового велярного. В Д.-П.: *судѣ* 93, *судатѣ* 38, *судебни* 59, *судимѣ* 112, *суд'те* 111, *судни* 87, *светосудна* 63

⁷ Это правило во всех текстах сборника «Новобългарска бирка» проведено последовательно. То же и в поэме «Кървава кошуля», но в «Прошетбе» даны только формы с написанием *a*: *ржака* (Бт IV, 42), *во градина-та* (Бт IV, 51).

⁸ В более ранних произведениях Р. К. Жинзифова можно заметить некоторые отступления, например в рассказе «Прошетба»: *нѣколку си паници сѣ кисело млеко* (Бт IV, 44).

⁹ Эта же особенность орфографии наблюдается в других произведениях Р. К. Жинзифова. Примеры из перевода «Слова о полку Игореве»: *иссуши* (Нбсб 28), *измѣкна* (Нбсб 28), *растурихж* (Нбсб 23), *раздѣлихж* (Нбсб 26, 38); однако — *отстѣпнахж* (Нбсб 23), *отговори* (Нбсб 42).

¹⁰ Очень редко, sporadически встречается рефлекс *ѣ* как уступка общеполгарской, уже устанавливавшейся норме: «Жалость, *тѣга*, айдѣ безѣ трага» (Бт II, «Питанье и отговорѣ»), «Като произнесеше нѣколку си *пѣти* “Кири ленсон”...» (Бт IV, 41, «Прошетба»).

(ср. совр. лит. макед.: *суд, суден, суди*). Подобные примеры в тексте Ж. рассмотрены выше в замечаниях по орфографии; следует только добавить: *кукя* (Нбсб 28), *нейкю* 112, *оружк* (Нбсб 69) (ср. совр. лит. макед.: *оружје* — сербизм? русский церковнославянизм? русизм?). К. П. Мисиров также последовательно употреблял *у* в словах, образованных от *суд*: *судбите, судиата* и т. п. (Корубин, 1956, с. 21).

Не менее характерной чертой языка македонских писателей является рефлекс старого *з* в «сильной» позиции в виде *о* как в корне, так и в суффиксах и приставках, в соответствии с положением в центральных, северных и юго-западных македонских говорах. В Д.-П.: *собраха* 87, *соборъ* 57, 93, *собори* 6, *собрание* 36. В Ж.: *соборъ* 6, 57¹¹.

На месте старых сочетаний **tj* и **dj*, а также **ktj*, **tʃj* выступают фонемы [k] и [tʃ], которые в графике Д.-П. обозначаются сербскими буквами *ћ* и *ђ* (*кућа* 1, *веће* 112, *ћу* 74, 112, *домаћинска* 3, *већина* 92 — сербизм; *међу* 19, 68, 80), а в Ж. — обычными графемами *к* и *г* (*нейкю* 112, *веке* 112, *мегю* 19, 68, *рогени* 17, 18, 94, *рогена* 33)¹². Эта черта объединяет всех македонских писателей и характерна для центральных и северных македонских говоров и современного македонского литературного языка.

О слоговом плавном *р* говорилось в замечаниях по орфографии, и можно предположить, что и в языке Д.-П., и в языке Ж. оно выступало как слогаобразующее без значительного гласного призвука. Что касается рефлексов старого

¹¹ В других произведениях Жинзифова примеров значительно большее число: *сонъ* (Бт IV, 39, «Прошетба»), *вонка* (Бт IV, 41, «Прошетба»), *данокъ* (Нбсб, СпИ 28), *мъртовъ* — «вторичное *з*» (Бт IV, 7), *близокъ* (Бт II, «Гусляръ въ соборъ»), *вопросъ* (Бт IV, 58, «Прошетба» — русизм?), *реколъ* (Бт IV, 44, СпИ). Текст Ж. отражает также характерный для центральных македонских говоров и современного македонского литературного языка процесс аналогического распространения суффикса *-ок-* после палатальных вместо ожидаемого *-ек-* (см. об этом: Селищев, 1918, с. 24–25): *тежокъ, ручокъ* (К. к.), но также и *ручекъ-тъ* (Бт IV, 56, «Прошетба»).

¹² В других произведениях Жинзифова фиксируется *нокъ* (Нбсб 67), *полнокъ* (там же; при этом дается пояснительная ссылка: «Ночь, полночь»), *керка* (Бт II, «Гусляръ въ соборъ») и т. п., хотя встречаются и болгарские формы (чаще в более ранних произведениях): *полнощъ* (Бт IV, 57, «Прошетба»), *къща-та* (Бт IV, 55, «Прошетба»), *щерка* (К. к. 77).

слогового *л*, то он и у обоих переводчиков выступает в виде *ъл* (графически и *ьл*): *жьлчка* 101 (совр. лит. макед. *ол* — *жолчка*)¹³.

Эпентетическое *л*, не свойственное македонским и болгарским говорам, в текстах Д.-П. и Ж. встречается sporadически, чаще всего в слове *земля*. В Д.-П. — *земля* 15, но *зми* 26, 97; в Ж. — *зми* 26, 97, но в других произведениях изредка *земля* (Бт IV, «Прошетба»), *земльо* (Нбсб 22, СпИ) наряду с обычным *земьо* (там же, 21), *земж* (там же, 17, 18, 25, 26, 27 и др.), *земя* (там же, 23, 26 и др.), а также *саби* (там же, 20, 23, 25 и др.), *копк* (там же, 20), *копя* (там же, 25), *кораби* (там же, 29).

Звук *х* (графема *х*) в языке Д.-П. фиксируется в начале, середине и конце слова в исконно македонских и заимствованных словах (*хубави* 41, *тихо* 79, 80, *ходи* 6, *върхи* 14, *храбри* 22, *Хрудошъ* 20, 100; формы аориста: *быхъ* 16, *почеха* 79, *собраха* 87). То же положение наблюдается в языке Ж. (*тихо* 79, *ходжтъ* 6, *Хрудошъ* 20, 100, *начнахъ* 79, *сбрахъ* 87). Сочетание *хв* передается в Д.-П. через *ф*: *пофа-*

¹³ Рефлекс старого *!* в виде *ъл* свойственен многим македонским диалектам. Он зафиксирован не только в основной массе южномакедонских (эгейских) диалектов, но и во многих центральных, а в ряде слов и в северных диалектах, где чаще встречается рефлекс *ол*. Рефлекс *ъл* характерен для велесского говора (родного говора Жинзифова), для центральных и южных пореческих говоров (см.: Видоески, 1950, с. 14–15), для некоторых мариовских говоров (см.: Конеска, 1951, с. 13), хотя в Старом Мариово, как и в соседнем неготинском диалекте, наблюдается стадия *л* > *ъл* > *ѣ* (см.: Филиппоски, 1952, с. 14), а в Малом Мариово, как и в прилепском (см.: Конески, 1949, с. 251), дебарском (см.: Михайлов, 1954, с. 13) и других центральных говорах представлен рефлекс *ол*. См. также несколько устарелые, но ценные сведения у А. М. Селищева в «Очерках» (Селищев, 1918, с. 68–70). Разнообразие этого явления по диалектам отразилось в языке Жинзифова. Следует считаться также и с тем, что Жинзифов время от времени обращался и к общеполгарской норме, пытаясь создать общий болгарско-македонский литературный язык. Ср. *сълзы* (Бт II, «Питанье и отговоръ»), *мълкна* (Нбсб 21, СпИ) наряду с *молчи* (там же), *напълнены* (Бт IV, 43, «Прошетба») наряду с *наполнилъ* (там же). Слово *солнце* у Жинзифова встречается в трех формах: *сълнце* (Бт IV, «Прошетба»), *солнца* (Бт II, «Питанье и отговоръ»), *сонце* (там же). Все эти формы встречаются в разных македонских диалектах (например, все они представлены в Порече; см.: Видоески, 1950, с. 15). Как и в большинстве македонских говоров и в современном македонском литературном языке, Жинзифов часто употребляет форму *Бугаринъ*, *Бугарка* (Бт II, «Гусларъ въ соборъ»), но иногда и *Българка* (Бт IV, 53, «Прошетба»).

лиха 9, фалатъ 81; в Ж. сохраняется *хв*: похвалихъ 9, хвалятъ 81¹⁴. В языке К. П. Мисиркова последовательно *хв* > *ф* (зафати, пофал'ам), как и в современном македонском литературном языке (фали, фати). Отсутствие начального *х* в Д.-П. зафиксировано лишь в слове ладна 22, 48 (в Ж. — хладнъ 48).

Сочетание *вн*, изменившееся в большинстве македонских говоров во *мн* (также и в македонском литературном языке: рамна, рамни, рамно), в Д.-П. сохраняется: равна 71, в Ж. передается через *мн*: рамнъ 71 (то же: рамно Нбсб 77, «Ярославъ»), однако в «Прошетбе» встречаются обе формы: равно (Бт IV, 39) и рамно (Бт IV, 51). Обе формы в разных лексемах фиксируются и в языке К. П. Мисиркова: рамновесие-то, нерамно, но равнодушно, равноправно (Корубин, 1956, с. 29).

Некоторые морфологические особенности

Тексты переводов «Лябушиного суда» отражают довольно последовательно аналитизм, характерный для македонского и болгарского языка. Однако отчасти под влиянием оригинала, отчасти из-за требований версификации и из-за представления о допустимости в поэзии падежных форм¹⁵ в них иногда встречаются отдельные элементы синтетизма — формы родительного падежа. У Д.-П.: *изъ рода* (Ж.: *изъ родъ-тъ*; Ан. *от род-ѧт*), *з' горе неба* 13 (Ж.: *отъ широко небо* 13; Ан.: *от небѧ-то*), *горъ зеленыхъ* 14 (Ж.: *на-зелены горы*; Ан.: *зелени планини*), *отъ Камена моста* 46, 90 (Ж.: *отъ Камена моста*; Ан.: *от Камена моста*), *по Хрудоша и*

¹⁴ Непоследовательность в языке Ж. наблюдается и в этом случае; ср. *зафати* («Гулабъ», 1860 г.), *руво* (Нбсб 75, «Ярославъ») с характерной для македонских говоров заменой *х* на *в*.

¹⁵ В своей предисловии к переводу «Краледворской рукописи» (Нбсб, 64–65) Р. К. Жинзифов писал: «Исто-то казваме и за падежи-те, кои мые употребихме въ нѣколко си мѣста отъ преводы-те си; мыслиме, що мые не престѣпихме законы-те (доколку мые знаеме) Българскаго языка; и читатели-те молиме, нека погледнатъ въ наши-те народны-те пѣсни, и ще видатъ дали нашій языкъ довардилъ падежи или не; а предъ народный языкъ мые не можиме да не кютиме (мълчиме). И найстина, само кога мые Българе-те ще си собериме сичкѧ, сичкѧ, народнѧ устнѧ, така да речиме, книжнинѧ, тога мые ще видиме 'се-то богатство и чистотѧ Българскаго языка, тога мые ще уловиме, 'си-те законы нашего языка и онъ ще ни кажитъ дали сосемъ да исхвърлимѧ падежи-те, или да ги употребимѧ тамо дека и какъ онъ ги искатъ, а до тога... нека читатели-те сами допълнатъ наши-те точки».

Стяглава брата 51 (Ж.: *и по Хрудошъ и по Стяглавъ брата*; Ан.: *и по Хрудош и по Стяглав брата*)¹⁶. В наших текстах Ж. и Ан., таким образом, падежная форма представлена только в случае *от Камена моста* и еще только в Ж. *отъ стара' рода* 24, что, по всей вероятности, вызвано требованиями версификации. Форма *мжжа* 106 для языка Ж. закономерна (см. сноску 16), так же как и для ряда македонских говоров.

Множественное число односложных имен существительных мужского рода в тексте Д.-П. образуется с окончанием *-ове*: *дворове* 30, *богове* 69. Однако наряду с этим выступает и окончание *-и*: *върхи* 14, *гласи* 86, 87, 91, *двори* 31, которое столь широко представлено не без влияния версификационных ограничений (ср. *дворове* 30 и *двори* 31). Форма *мажи* 2, 105, 106 не имеет расширения основы во множественном числе, так же как и заимствованные, инородные слова *кмети* 8, 9, 50, 65, *лехи* 8, 50, *леси* 9, 65, 78 (противопоставление прямых и косвенных падежей передается чередованиями *х : с* и *к : ц* — *лехи : леси*, у сущ. женского рода — *владики* 7, 50 : *владици* 8, 53, 65, 78, 109). У Ан.: *гласове* 86, 91, *мъжи* 2, 105, 106. У Ж.: *бродове* 47, *мъжи* 2, 105¹⁷.

Членные формы в рассматриваемых текстах переводов «Любушиного суда» употребляются крайне редко. В Д.-П. они вовсе нигде не зафиксированы, в Ж. — два раза: *изъ родъ-тъ* 5, *редъ-тъ* 55 (оба случая вызваны требованиями вер-

¹⁶ В других произведениях Р. К. Жинзифова зафиксированы формы винительного-родительного и дательного падежей имен собственных и существительных мужского рода, означающих родство: *млада невѣста тжжитъ мжжа си* (Бт IV, 41, «Прошетба»), *торгна съ сина си за въ градъ* (там же, 43); *сину си я рекохъ* (К. к. 83), *Игорю пѣятъ слава || Сыну Святослава || Буй-Туру Всеволоду* (Нбсб 44, СпИ). Как видно из предшествующей сноски, Р. К. Жинзифов допускал употребление форм родительного падежа существительных мужского рода других семантических категорий: *българскаго языка*, также у *Прилепа града* (К. к.). Из существительных женского рода зафиксирован лишь дательный падеж от *майка*: *ни майцы радость* (Бт IV, «Таен Глас»). Написание типа *женя* в винительном падеже и с предлогами — чисто орфографическое.

¹⁷ Из односложных имен существительных, не расширяющих основу во множественном числе, в языке Ж. нами отмечены еще *конь* — *кони* и *кнезь* — *кнези*, *внукъ* — *внуце*, *быкъ* — *быци*; остальные имеют окончание *-ове*: *щитове*, *мостове*, *сынове*, *зѣброве*, *зидове*, *ножове*, *пжтове*, *мечове*, *градове*, *шлемове* (но и *шлемы*), *стѣлпове*; замечен лишь один пример на *-ови*: *бойови* (Нбсб 44, СпИ).

сификации)¹⁸. В Ан. они встречаются шесть раз: *от род-át* 5, *според род-át* 55, *двѣ-те моми* 58, *от небѣ-то* 13, *по срѣдце-то* 101, *гори-тѣ* 41 (можно предположить, что и эти случаи вызваны требованиями стихотворного размера).

Из морфологических особенностей интересно еще отметить формы спряжения глаголов настоящего времени.

Схематически эти формы можно представить следующим образом:

У К. Дмитриева-Петковича

I. а-группа	II. и-группа	III. е-группа
1. -амѣ, -аме	1. -имѣ, -име	1. *-емѣ, *-еме
2. -ашь, -ате	2. -ишь, -ите	2. *-ешь, *-ете
3. -а, -атѣ, (-аятѣ)	3. -и, -атѣ	3. -е, *-атѣ (*-ятѣ)

Примечание: знак * обозначает, что форма устанавливается предположительно.

У Р. К. Жинзифова

I. а-группа	II. и-группа	III. е-группа
1. -амѣ (-ямѣ), -аме (-яме)	1. -амѣ, -име	1. -амѣ (-ямѣ), -име (-еме)
2. -ашь (-яшь), -ате (-яте)	2. -ишь, -ите	2. -ишь (-еишь), -ите (-ете)
3. -атѣ (-ятѣ), -ятѣ (-яятѣ) или -аятѣ	3. -итѣ, -ятѣ (-яятѣ) или -атѣ	3. -итѣ (-етѣ), -ятѣ (-яятѣ) или -атѣ

Примечание: окончания третьей е-группы, данные в скобках, выступают в тех случаях, когда односложная основа глагола оканчивается на гласный и, у, например: *биетѣ, пиетѣ*.

У анонимного болгарского переводчика

I. а-группа	II. и-группа	III. е-группа
1. -ам, -аме	1. -а (-я), -им	1. -а, -ем
2. -аш, -ате	2. -иш, -ите	2. -еш, -ете
3. -а, -ат	3. -и, -ат (-ям)	3. -е, -ат (-ям)

¹⁸ В других поэтических произведениях и переводах Р. К. Жинзифова членные формы употребляются тоже довольно редко, в прозе же часто — в соответствии с их семантико-синтаксической функцией (см., например, сноску 3, 15). Членная форма только одного типа: *тѣ* (-отѣ) («краткая» форма -ѣ, -о отсутствует), *-та* (-тѣ), *-то*, *-те*; формы типа *-ов*, *-он* не зафиксированы. Например: *славей-тѣ* (Бт IV, 38, «Прощетба»), *старецѣ-тѣ* (там же, 44), *ручекѣ-тѣ* (там же, 44), но *выкотѣ* (Нбсб 21, 27, СпИ); с прилагательными мужского рода единственного числа употребляется также и член *-ий* — *нашій языкѣ* (см. ту же сноску 3), хотя у Жинзифова использованы «сложные» формы *-ий-тѣ* — *последній-тѣ сынѣ* (Бт IV, 41, «Прощетба») и *-и-атѣ* — *горди-атѣ фанариотѣ* (Бт II, «Две думи»), *всичкиатѣ свѣтѣ* (Бт II, «Сон»).

Схемы глагольных парадигм составлены на основании следующих примеров:

Для Д.-П.: а-группа — 3 л. ед. ч.: *прегледва* 91, *влада* 105, 106, *заповеда* 115; 1 л. мн. ч.: *сакаме* 118; 3 л. мн. ч.: *оратъ* 2 (если это не е-группа), *избиратъ* 5, *се караятъ* 17, 20, 67, *владатъ* 4, 70; и-группа — 1 л. ед. ч.: *судимъ* 112; 2 л. ед. ч.: *матишь* 10, 11; 3 л. ед. ч.: *ходи* 6, 7, *държи* 60, *стои* 63, *помири* 77, *объяви* 92, *говори* 83, 117; 3 л. мн. ч.: *праватъ* 2, *поставатъ* 36, *поканатъ* 37, *судатъ* 38, *прататъ* 39, *разделатъ* 71, *говоратъ* 79, 80, *фалатъ* 81, *объяватъ* 89; е-группа — 3 л. ед. ч.: *умре* 3, *жалуе* 32, *извикуе* 32, *каже* 39, *тече* 43, *биде* 74, 75, *даде* 107.

Для Ж.: а-группа — 3 л. ед. ч.: *казватъ* 32, *наредватъ* 32, *повелватъ* 39, *прегледатъ* 91, *владатъ* 105, 115, *повелятъ* 106; 3 л. мн. ч.: *оржтъ* 2, *владжтъ* 4, *докаратъ* 37, *повельжтъ* 70; и-группа — 1 л. ед. ч.: *мжтамъ* 16, *сждамъ* 112; 2 л. ед. ч.: *мжтишь* 10, 11; 3 л. ед. ч.: *помирить* 77, *обидить* 92, *говорить* 83, 117; 3 л. мн. ч.: *правжтъ* 2, *ходжтъ* 6, 7, *поставатъ* 36, *сждатъ* 38, *прататъ* 39, *раздѣлжтъ* 71, *говорятъ* 79–80, *хвалятъ* 81, *обаджтъ* 89; е-группа — *умритъ* 3, *пиетъ* 43, *расберитъ* 93, *дадитъ* 107.

В других произведениях Жинзифова представленная морфологическая система настоящего времени отражена достаточно последовательно. Последовательность наблюдается в сохранении окончания *-т* в 3 л. ед. ч.¹⁹, в употреблении окончания *-ам* в 1 л. ед. ч. всех групп глаголов, как и в современном македонском литературном языке (см. Конески, 1954, с. 154–155), в обобщении тематических гласных групп *е* и *и* в *и* (кроме глаголов с односложной основой на *и*, *у*), характерном для большинства центральных македонских говоров. Так, например, в рассказе «Прошетба» зафиксированы следующие формы: е-группы — *знамъ* (Бт IV, 46), *познаишь* (Бт IV, 55), *знаитъ* (Бт IV, 40, 47), однако *познаеме* (Бт IV, 39), *опишишь* (Бт IV, 55), *донесишь* (Бт IV, 47), *плачитъ* (Бт IV, 48), *можитъ* (Бт IV, 50), *покажитъ* (Бт IV, 51), *рѣчитъ* (Бт IV, 53), *легниме* (Бт IV, 56), *пожѣсиме* (Бт IV, 57), *пренесиме* (Бт IV, 58), *плачатъ* (Бт IV, 49). Известны и формы: *чуетъ* (Бт IV, 38, «Прошетба»), *пиетъ* (Бт IV, 43). Формы 1 л. ед. ч.: *оженамъ* (Бт IV, 46, «Прошетба»), *помнамъ* (там же), *плачамъ* (К. к. 85), *тжжамъ* (там же),

¹⁹ Подробнее см.: Бернштейн, 1948.

лиямъ (там же). Следует также отметить, что Жинзифов употреблял для 3 л. мн. ч. настоящего времени глаголов а-группы, помимо форм *-жтъ* (ср. ед. ч. *владатъ*, мн. ч. *владжтъ*), и форму *-аятъ*, соответствующую современной македонской литературной *-аат*. Например: *кѣде очи гледаятъ* (Бт IV, 40, «Прошетба»), *Игорь чекатъ* (Нбсб 20, СпИ), *Птицы ... чекаятъ* (Нбсб 21, СпИ).

Для Ан.: а-группа — 3 л. ед. ч.: *извик'ва* 32, *повики* 37 (не опечатка ли *и* вместо *а?*), *влива* 43, *преггждва* 91, *влада* 105, 106; 1 л. мн. ч.: *зѣмам'* 118; 3 л. мн. ч.: *владат* 4, *карат* 17, 20, 67; *думат* 79, 80; и-группа — 1 л. ед. ч.: *мѣтя* 16, *сзда* 112; 2 л. ед. ч.: *мѣтиш* 10, 11; 3 л. ед. ч.: *ходи* 6, 7; *постави* 36, *дрѣжи* 60, *стой* 63, *помири* 77, *объви* 92, *говори* 83, 117; 3 л. мн. ч.: *правят* 2, *разсѣдат* 38, *пратат съ* 39, *раздѣлят* 71, *фалят* 81, *объвят* 89; е-группа — 3 л. ед. ч.: *умре* 3, *плачит съ* 32 (любопытная македонская форма, нарушающая систему!), *каже* 39, *земе* 107; 3 л. мн. ч.: *орат* 2, *владѣят* 70.

Нетрудно заметить, что приведенные парадигмы отражают довольно хорошо системы, существующие в македонских и болгарских диалектах. Если анонимный болгарский переводчик (вероятнее — переводчики) отразил систему форм, свойственную основной массе восточноболгарских и ряду западноболгарских диалектов, зафиксированную и в современном болгарском литературном языке, то К. Дмитриев-Петкович отразил систему, характерную для скопских говоров, где сохраняется тематическая гласная в 1 л. ед. ч. всех групп: *сакам*, *платим*, *идем* (Угринова, 1951, с. 28–30)²⁰, а Р. К. Жинзифов довольно точно и последовательно передал систему прилепских центральных говоров (Конески, 1949, с. 286), хотя в его родном велесском диалекте положение было несколько иным (отсутствие *-т* в 3 л. ед. ч., отсутствие обобщения тематических гласных *е* и *и* в *и* и др.).

Формы глагола *сум* у Р. К. Жинзифова следующие:

Ед. ч.	Мн. ч.
1. <i>сумъ (съмъ)</i>	<i>сме</i>
2. <i>си</i>	<i>сте</i>
3. <i>етъ (ѣ)</i>	<i>сетъ (сѣ)</i> .

²⁰ Такая черта свойственна говорам скопской Черной Горы, в ряде других говоров области Скопья наблюдается окончание *-ам* для всех групп глаголов в 1 л. ед. ч. См. также: Селищев, 1931, с. 53.

Формы *к* и *сж* появились в произведениях Р. К. Жинзифова более позднего периода; в ранних произведениях фиксируются чаще *сумъ*, *етъ* и *сетъ*.

Некоторые лексические особенности

Объем и содержание рассматриваемых переводов «Любушиного суда» не дают возможности для достаточно полного сопоставительного лексического анализа. Тем не менее, можно отметить ряд следующих характерных лексем:

сакаме 118 Д.-П. : *търсим'* Ж. : *зъмам'* Ан.; совр. макед. лит. *сака* 'желать, хотеть';

разборави 12 Д.-П., Ж. : *въздигнала* Ан.; совр. макед. лит. *разборави* 'размешать, возмутить, взволновать';

барайте 113 Ж. : *изберете* Д.-П., *изберкте* Ан.; совр. макед. лит. *бара* 'искать', *избере* 'выбрать';

истуравши 13 Д.-П. : *порони* Ж. : *изврѣже* Ан.; совр. макед. лит. *истура* 'выливать, проливать';

штици 60 Д.-П., *щици* Ж. : *дъски* Ан.; совр. макед. лит. *штица* 'доска';

татко 1 Д.-П., Ж. : *башта* Ан.; совр. макед. лит. *татко* 'отец';

татков 57 Д.-П., Ж. : *баштин* Ан.; совр. макед. лит. *татков* 'отцовский'. То же: *таткови* Д.-П. 31, 32, *татковъ* Ж. 31, 32, *баштин* Ан. 31, 32; *таткова* Д.-П. 18, 52, *татковскж* Ж. 18, 52, *баштин* Ан. 18, 52.

Приведенные лексемы довольно характерны для специфически македонской и болгарской лексики (это различие отражено и в современных литературных языках). Можно привести также дублиеты, которые не столь четко дифференцируют болгарскую и македонскую лексику, но все же оказываются показательными для литературных языков XIX в. и для современных языков — для македонского и болгарского:

пламень 68 Д.-П., Ж. : *пламак* Ан.; совр. макед. лит. *пламен*; совр. болг. лит. *пламък*;

ладна 48 Д.-П., *хладнж* Ж. : *студжна* Ан.;

порони 13 Ж. : *изврѣже* Ан.; но типично македонское, хотя и в несвойственной македонскому языку форме деепричастия прошедшего времени: *истуравши* Д.-П.; совр. макед. лит. *истура* 'выливать, проливать';

паметны 58 Ж. : *разумни* Д.-П. : *хитри* Ан.; совр. макед. лит. *паметен* 'умный, разумный'; совр. болг. лит. *паметен* 'памятный';

люди 39 Д.-П. : хора Ан.; у Ж. — пратници.

Интересно отметить в языке Д.-П. заимствование из сербского *вешина* 92 и соответственно из русского в Ан. *болшинá* (ср. совр. болг. лит.: *болшинство*; форма в Ан. «болгаризирована»). Македонско-болгарские различия наблюдаются и в таких формах, как *внатре* Д.-П., *внжтре* Ж. и *взтрѣ* Ан. (совр. макед. лит. *внатре*, совр. болг. лит. *взтре*), и в ряде других менее показательных примеров, которые мы здесь из-за экономии места опускаем.

Перевод «Любушиного суда» К. Дмитриева-Петковича, выполненный в 1852 г. (или несколько ранее), — любопытная страничка из истории македонского литературного языка. Он свидетельствует о стремлении в то время весьма немногочисленной македонской интеллигенции обработать грамматический и лексический материал македонских говоров в целях литературно-поэтических. Нам представляется, что перевод К. Дмитриева-Петковича — первый поэтический перевод на македонский язык, один из самых ранних опытов использования македонской народной речи в поэзии (не считая, естественно, богатого устного творчества, имевшего очень давние традиции, отразившиеся в рассмотренном переводе). Функционально и стилистически он значительно отличается от произведений Хаджи Иоакима Крчовского и даже Кирилла Пейчиновича²¹, имевших дидактическую направленность и сохранявших связь с традициями поучений, поздних македонских и болгарских «дамаскинов», с письменностью, носившей еще достаточно яркую печать церковного характера. Кирилл Пейчинович еще считал высоким «стилем», книжным литературным языком язык церковнославянский, а свою книгу «звoмаa Ѣгледало», напечатанную в Будапеште в 1816 г., писал «ради потребы и польованiа препрoстѣишимъ и не книжнымъ азыкомъ».

Перевод К. Дмитриева-Петковича, так же как и перевод Р. К. Жинзифова, знаменует собой почти полный отказ от церковнославянской традиции и серьезную попытку создания единого македонского (или «болгарского» на македонской основе) языка, призванного обслуживать все сферы общественной и литературной жизни, т. е. быть, по термино-

²¹ О языке Кирилла Пейчиновича см. ценное исследование: Илић, 1961—1962 (там же литература вопроса).

логии А. В. Исаченко, «поливалентным». Эта «поливалентность», как известно, — характерная черта литературных языков эпохи формирования нации, так называемых «национальных литературных языков». Интересно отметить стремление К. Дмитриева-Петковича и Р. К. Жинзифова, наблюдаемое в некоторой мере еще у Кирилла Пейчиновича, отразить не черты какого-либо одного диалекта, а создать нечто вроде наддиалектной модели, обеспечить максимальную коммуникативность литературного языка, раздвинуть границы его территориального функционирования, ввести в свой язык такие диалектные черты, которые достаточно широко распространены (иногда отказываясь от черт своего родного диалекта). Именно поэтому в языке К. Дмитриева-Петковича и Р. К. Жинзифова так много особенностей, свойственных центральным, отчасти северным говорам. Некоторые черты сближают язык К. Дмитриева-Петковича и Р. К. Жинзифова с языком К. П. Мисиркова и современным македонским литературным языком и отличают его от языка многих других нормализаторов македонского языка, современников Р. К. Жинзифова. Если взять хотя бы такой характерный формальный показатель, как 3 л. мн. ч. глаголов настоящего времени, которому Б. Конески в своей интересной и компактной монографии «Кон македонската преродба. Македонските учебници од 19 век» (изд. 2, Скопје, 1959) уделил достаточно места²², то становится ясным, что была тенденция к закреплению западномакедонских форм на *-ет* (*а*-группа: *чекаетъ*), наряду с *-ат* (*е*-, *и*-группа: *приноситъ*, *можатъ*). Такое положение с некоторыми отступлениями (например, *разберетъ*, *молитъ*) представлено в книге «Кратка Священа историја на Ветхо- и Новозаветната Църковъ» (Цариградъ—Галата, 1857 г.) Парфения Зографского (правда, уже в книге «Началное учение за дѣца-та [Цариградъ—Галата, 1858] он последовательно вводит формы на *-атъ*: *праватъ*, *знаятъ*, *кажуватъ*, *сакаатъ*], в предисловии к знаменитой книге «Български народни пѣсни» (Загреб, 1861) Константина Миладинова (*играетъ*, *имаетъ*, *бератъ*, *сѣ слоятъ*, *сѣ вжртатъ*), спорадически у Дмитра В. Македонского в книге «Кратка Священна Историја за училищата по Македоніѣ» (Царійградъ, 1876): *сохраня-*

²² Языковые примеры, приводимые ниже, взяты в основном из упомянутой монографии Б. Конеского «Кон македонската преродба».

ваеѣ наряду с *добриваеѣ*, *милваеѣ* (ср. то же у Р. К. Жинзифова), у Кузмана Шапкарева в его изданиях 1868 г. (краткая священная история, краткая география, букварь, хрестоматия, начальное учение): *имаѣѣ*, *развиѣѣ*, *даѣѣ*, *чинаѣѣ*, *говораѣѣ* (с 1869 г. у Шапкарева уже последовательно встречаются формы без *-еѣ*), наконец, у Георгия Пулевского в его словарях «Речникъ отъ четири језика» (Београд, 1873) и «Речник од три језика» (Београд, 1875): *имајет*, *клавајет*, *можат*, *носаѣ*.

Перевод К. Дмитриева-Петковича, македонца из села Башино Село (около Велеса), остался почти незамеченным²³, тем не менее он является любопытным опытом создания литературного языка на основе центральных македонских диалектов.

²³ Р. К. Жинзифову был известен перевод К. Дмитриева-Петковича, и на это он указал в своем предисловии к переводу «Краледворской рукописи»: «Любушин сѣдъ превель к оше и г. К. Петковичъ» (Нбсб 61).

IV

**Из истории русского
литературного языка**

Язычество и христианство древней Руси

Контакты Руси с Византией начались задолго до Крещения Руси, да и само христианство, как известно, проникло на Русь до всеобщего крещения киевлян Владимиром тысячу лет тому назад. Однако это крещение положило начало многим преобразованиям, структурам и институтам вероисповедного, политического, государственного, социального, социально-экономического, юридического и экономического характера, для которых византийский образец нередко играл решающую роль. Понимая, что Крещение Руси привело восточных славян к решительному историческому повороту почти во всех сторонах их жизни религиозной, обратимся сейчас только к одной сфере, к сфере культурной — смыкающейся и пересекающейся со сферой религиозной. Культура в применении к древности, да и к современности — понятие широкое и глубокое, оно включает в себя и мировоззрение, и мировосприятие, и поведение, одним словом, основные проявления человеческого духа в целом.

Принято считать, что актом Крещения Руси древняя славянская культура, славянское язычество было замещено или заменено на русской земле византийским христианством, воспринимаемым после разделения церквей в 1054 г. как особый вид христианства — православие. Это православие постепенно обрусевало, чему способствовало и богослужение на славянском языке, и появление русской богословской школы и русского церковного быта, а также периодическое ослабление Византии, а затем, почти полтысячелетия спустя после Крещения Руси, и ее падение. Это падение привело к тому, что Москва стала считать себя «вторым Константинополем», «третьим Римом» и «третьим Иерусалимом», т. е. хранительницей и защитницей всего православия перед иноверным и враждебным православию миром.

Таковой была перспектива, созданная актом Крещения Руси. Но какова была культурно-религиозная ситуация в эпоху Крещения Руси и ближайшую эпоху? Привело ли принятие христианства к исчезновению, вытеснению язычества на Руси, или оно продолжило свое существование или сосуществование с христианством, с православием? Было ли

столкновение, противоборство язычества с христианством острым, жестоким и непримиримым или довольно скоро и в общем безболезненно возникли формы сожительства, разделения сфер влияния и бытования? Короче говоря, было ли язычество уничтожено христианством сполна и если нет, не сполна, то в какой мере и на каких условиях? Наконец, в чем различие между русским христианством (православием) и язычеством в структурно-функциональном отношении и плане культурологическом, а не догматическом (теологическом)? Естественно, что в чисто богословском ключе вопросы бы ставились и решались иначе.

Безусловно, все эти вопросы интересны и сами по себе, как вопросы, касающиеся характера и структуры русской культуры прошлого, а в какой-то мере и настоящего, но эти же вопросы оказываются важными для истории древних русско-греческих (византийских) культурных связей и отношений, для определения характера и результатов греческого (византийского) влияния в славянских землях, на Русской земле прежде всего.

Ученые прежних поколений, как и современные ученые, по-разному отвечали на поставленные вопросы. Одни усматривали в акте Крещения Руси не только «большие преобразования, расширение международных связей», но и «большую национальную трагедию», выражавшуюся в «вынужденном отказе от своего языческого прошлого, казавшегося темным и не отвечающим требованиям новой христианской религии». Выход из трагической ситуации они видели в образовавшемся в древней Руси двоеверии, в результате которого «в целом духовная жизнь русского общества оказалась расколотой — с двумя параллельно существовавшими уровнями культурного развития» (Пуцко, 1987).

Другие полагали, что с принятием новой веры «процесс шел более или менее безболезненно... древние боги ушли, а вот язычество в своих земледельческих и бытовых нравственных формах живо до сих пор». Но это не привело к «двоеверию», так как «двоеверие — кабинетный миф» и «двоеверие не могло существовать, потому что вы не можете одновременно верить в языческих богов и быть христианином» (мнение Д. С. Лихачева). Что же касается язычества, то оно оценивается Д. С. Лихачевым так: «Язычество не отрицательная величина. Оно представляет собой определенную культурную ценность, которая с принятием христиан-

ства не обесценивается, а поднимается на высоту иного миропонимания» (Лихачев, 1988).

К приведенным выше вопросам добавляются новые: было ли, если язычество не исчезало в древней Руси (и у древних славян), после Крещения двоеверие? Если оно было, то в чем и как это двоеверие выражалось?

Заметим при этом, что коли язычество сохраняло в основном свои славянские корни, а христианство X века было греческого (византийского) происхождения, возникала еще одна проблема — проблема соотношения «своего» и «чужого» в тысячелетнем периоде истории русской культуры. И по этим, как и по перечисленным выше, вопросам наблюдается различие мнений, и потому, не останавливаясь на их изложении, перейдем к рассмотрению общей культурно-исторической ситуации на Руси в эпоху Крещения и к нашему пониманию этой ситуации.

Тысячу лет тому назад на Руси, а несколько ранее и в других славянских землях, столкнулись две религии, две системы культурных ценностей — старая, языческая, и новая, христианская. Новое должно было сменить старое, но произошла не полная замена одной системы другой, а произошло возникновение более сложной, более богатой и разветвленной системы духовной культуры, произошло неравноправное взаимообогащение культур новой и старой при доминирующем положении новых христианских культурных ценностей и при известной редукции ценностей старых, языческих.

Христианство как религия и культура книжная, зафиксированная в сакральных, строго кодифицированных книгах, религия, в принципе стремящаяся к максимальному сохранению своих догматических основ, символических и ритуальных форм и проявлений, известно нам довольно хорошо и полно, тем более в том греко-византийском варианте X века, который был принят на Руси. Что же касается славянского язычества того же X века, то непосредственных сведений о нем очень мало, источниковедческая база, относящаяся к тому времени, очень узка и слаба, и мы, как это делается в языкознании, черпаем материал из поздних источников, чаще всего XIX—XX вв., и исследуем прошлое путем ретроспективного анализа и метода реконструкции, при которой большую роль играет сравнительно-исторический анализ, опирающийся на данные мифологических систем родственных этносов (балтийского, германского и др.).

Славянское язычество ко времени Крещения славян было локально весьма неоднородным, разноликим. Даже если считать, что киевский пантеон 880 года (Перун, Дажьдбог, Стрибог, Хорс, Симаргл, Мокошь) был не временным изображением князя Владимира, собравшего местных русских богов-покровителей воедино, чтобы демонстрировать единство Русской земли, а общевосточнославянским кругом богов высшего порядка, полная несхожесть киевского пантеона с так называемым Поморским пантеоном на острове Руяне (Рюген), со святилищем Свентовита и другими языческими богами подобного рода убеждает нас в том, что язычество было территориально различным, разнообразным. Славянское язычество было и генетически неоднородным, так как содержало и иранские (Хорс, Сварог), германские и другие элементы. Наконец, славянское язычество ко времени Крещения Руси было некоторым, хотя и диалектным, целым, содержащим многочисленные культурные наслоения и пережитки разных периодов духовного развития, начиная от элементов анимализма и анимизма и кончая этапом приближения к монотеизму. Русское и славянское язычество, как и русский и славянский фольклор, разрастались и эволюционировали в сторону сожительства и почти равноправного совмещения нового со старым. Христианство приостановило этот процесс, заняло доминантную позицию, потеснило язычество на периферию, значительно сократило его функции, в отдельных зонах и его обрядовый и символический инвентарь и установило иерархию культурных ценностей. Христианство греческого, византийского образца утвердило на Руси и в других славянских странах примат «книжной» культуры над культурой устной, примат нормированной культуры над культурой диалектной, ненормированной, примат культуры устойчивой, стремящейся к постоянному сохранению традиции, над культурой, находящейся в относительно свободном движении и постепенном изменении. Так на основе христианства (православия) и вчерашнего язычества в ближайшее время после Крещения Руси произошло первое усложнение и обогащение культуры славян, древнерусской культуры по принципу корреляций «книжный» — «устный», «нормированный» — «ненормированный», «общеэтнический» или «надэтнический» — «диалектный, местный». Произошла своеобразная соединительная реакция «своего» и «чужого» — языческо-славянского и греко- (ви-

зантийско-) христианского. Показатели «книжности», «нормированности» и «надэтничности» принадлежали в начале отмечаемого тысячелетия «чужой», греко-византийской, воспринимаемой культуре, а не «своей», исконной, устной, диалектной, ненормированной.

Некоторые видные историки русской литературы и культуры указывали, что в ходе развития литературы и культуры чужое (иноземное) влияние чаще всего сказывается в моменты переломные, когда на почве общего культурного развития происходит смена направления и мировоззрения (напр. Бем, 1939; 1939а).

Миссионерская мысль и миссионерский принцип Византии и в особенности святых и равноапостольных солунских братьев Кирилла и Мефодия, проповедовавших христианство и вводивших богослужение на родном для славянской паствы языке, снимали для новообращенных остроту восприятия христианской культуры и обрядности как чужой и непонятной слуху. Русская летописная легенда к тому же, как известно, повествует, что при выборе веры русские послы пришли в Греческую землю, и ввели их туда, где служат греки Богу своему, и не знали послы, на небе или на земле они: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знали послы, как рассказать об этом. Красота эта была ославянена и не только в греческом, но и в славянском звучании распространялась по Руси. Ученые-филологи обозначили этот акт и временной период как «первое южнославянское влияние на Руси», ибо священные славянские книги были написаны на старославянском языке. Однако с культурологической и той же филологической точки зрения правильнее бы было назвать этот период и процесс первым греческим или греко-южнославянским влиянием, не только потому, что в старославянском языке содержалось греческих слов не многим менее одной пятой всего словарного фонда (около 1800 слов), значительное число калек, синтаксических оборотов и т. п., но главным образом потому, что старославянский возник и развивался по образцу классического для него греческого «общего» языка, а позже он сам для всех православных славян стал таким классическим, и его в виде образца принимали древние «вульгарные» славянские языки (Бицилли, 1932, с. 221–222; Виноградов, 1961а). Период второго южнославянского влияния XIV в. также, как показывает ряд новых исследований (Worth,

1983 и др.), отличался в лингвистическом отношении не просто заимствованием южнославянских форм и норм, а новыми переводами с греческих образцов, созданием слов и конструкций по греческо-южнославянским образцам, и был по сути дела вторым греческим влиянием на Руси. С полным основанием можно говорить о еще одном повторении кирилло-мефодиевской ситуации на Руси, уже в XVI—XVII вв. — ситуации, которую Б. А. Успенский называет третьим южнославянским влиянием (Успенский, 1987, с. 275), но следовало бы, вероятно, считать скорее третьим греческим влиянием, так как вновь обращение к греческим образцам становится принятым во многих случаях.

Вырабатывается как бы единая «еллино-славянская» модель, нормализуется древнеславянский (церковнославянский) язык по греческому («еллинскому») образцу. В период всех трех влияний русские книжники говорят о «еллинско-славенском» языке.

В эпоху третьего греческого влияния, в эпоху русского раскола грек Паисий Лигарид, опровергая челобитную старообрядческого попа Никиты, писал: «Рѣхъ, яко первіе языку греческому изучитися лѣпотствует того ради, занеже бо есть корень и пріискреній (подлинный) языкъ. Тіи бо, иже гречески писаша, яко же святіи и евангелистове, духа святаго вдохновеніемъ писанія греческая изобразиша. Ибо большая есть чистота источника, нежели потока. Отнюду же началу греческихъ реченій, аки къ твердыни, въ недоумѣнныхъ вещьхъ прибегаемъ, паки же аки къ источнику нетлѣнному жаждущіи притекаемъ...» (Материалы для истории раскола, 1894, с. 236). Таким образом, греческий язык есть источник, а церковнославянский язык — поток. Подобные свидетельства можно найти и у русских авторов, и новые цитаты заняли бы много места. Остановимся кратко на древнерусской многовековой языковой ситуации (вплоть до XVIII века), которая была ситуацией двуязычия или диглоссии, когда параллельно и в дополнении друг к другу существовали церковнославянский (древнеславянский) язык как общий язык православных славян и язык древнерусский, приближенный к диалектному, народно-разговорному.

Аналог этому явлению мы находим в еще более сложной истории греческой литературно-языковой ситуации, получившей свое отражение в современном противопоставлении кафаревусы (καφαρεύουσα) и димотики (δημοτική). Отмечу,

что русский литературный язык, в отличие от других современных славянских литературных языков, более всего и дольше всего следовал этой греческой модели.

Наше внимание к языковому вопросу и некоторое отклонение от культурологических и религиозно-культурологических проблем вызвано тем, что язык есть средство культуры и в то же время одна из форм культуры. Языковые ситуации и мутации можно рассматривать внутри культурных процессов и параллельно с ними, автономно от них. И в том, и в другом случае они достаточно показательны, и они также могут служить аналогом ситуаций культурологического характера.

Возвращаясь к эпохе Крещения Руси, отметим, что от этой знаменательной даты, безусловно, можно вести начало нашей национальной русской литературы, притом акт Крещения приобщил Русь к литературе общеславянской, в значительной мере уже надэтнической, в основе своей переводной с греческого. Переводы с греческого ввели русского читателя в круг византийской литературы и образованности, а элементы античности, принятые с тем же византийским христианством, ввели нас в орбиту мировой литературы. Древняя Русь сама вскоре после Крещения начала вносить свой вклад в эту общую сокровищницу. Достаточно вспомнить имена Кирилла Туровского, митрополита Иллариона, Нестора Летописца и др.

Появление книжной культуры, литературы, церковной догматики и практики не устранило фольклора и ряда языческих представлений и воззрений среди древнерусского народа. Фольклор, как система достаточно открытая и не строго нормированная, воспринял многое от христианства, чему примером могут служить хотя бы духовные стихи, повлиявшие на русские былины и другие жанры народного творчества. Но тот же фольклор сохранил многие языческие представления и образы в народном быту, наделив ими христианские праздники и христианских святых. Так, Илья-Пророк принял функции и облик Перуна, Параскева-Пятница — облик Мокоши, а Никола — или Велеса, или других языческих богов и духов; Троица-Семика, как и Вербное воскресенье, сохранили культ растительности, а Иван Купала (по-христиански — Рождество Иоанна Предтечи) — культ растительности, огня и воды.

Принцип совмещения старого с новым, действовавший в языческие времена, оказался жизненным и после принятия христианства, и после его проникновения в народную среду. Создалась, однако, как говорилось выше, определенная иерархия культурных ценностей, в которой православие занимало высшие ключевые позиции, и произошло, как и в литературно-языковой сфере, о которой мы тоже говорили выше, распределение «книжной» и «устной», «нормированной» и «ненормированной» культуры по жанрам, возникло так называемое «дополнительное распределение», которое мы обычно фиксируем в языковой ситуации диглоссии. Но в принципе эта культурная диглоссия не вела к двум культурам, к существованию двух культурных систем, к двоекультурью или двоеверию, а была результатом функционирования одной осложненной, богатой культурной системы. Этого вопроса мы коснемся позже, а пока попытаемся объяснить, почему после Крещения Руси столкновение двух различных систем — христианской и языческой — не привело к непримиримому конфликту, к исчезновению одной из них, а создало, как говорилось выше, определенные условия для культурного сосуществования и взаимодополнения.

Христианство, в отличие от множества других религий, основанных на мифологии, — религия историческая. Историчны священные христианские книги, исторично и богослужение, проникнутое и земной жизнью Христа, и событиями из истории церкви. Историчность христианства и в том, что оно представляет в нашем сознании судьбу человечества как некоторое долгое странствие (Блок, 1986, с. 6–7). Христианство и его церковный календарь ежегодно побуждает паству переживать земную жизнь Христа и уже тем самым задумываться над своим жизненным путем. Язычество же побуждало человека переживать вместе с природой цикличность ее годового развития, ее пробуждение, цветение, увядание и зимний сон, равносильный временной смерти. Вероятно, это сближало две религии, два восприятия мира, как сближало и то, что обе религии были экологическими: язычество было направлено на экологию природы, а христианство — на экологию человеческого духа. Не потому ли и древняя Русь, восприняв христианство, не делала уже попыток его отвергнуть, и процесс полного закрепления новой веры шел довольно быстро?

В древней Руси, вероятно, не было двоеверия в той его форме, как оно было известно, например, в Скандинавии, где совершались и катехуменические обряды «предварительного крещения» (Кардини, 1987, с. 195). Как отмечалось выше, довольно рано возникла и стала развиваться единая система представлений, где небесная сфера была замещена христианским культом, а земля и особенно преисподняя заселена природной, в большой мере нечистой силой. В представлении древнерусского селянина, да и селянина XX века, это силы противопоставленные, но в одной системе. Селянин этот имеет одну синхронную систему верований, а не две. Если же на эту же систему посмотреть диахронически, посмотреть, из каких генетически различных систем она состоит, то нам придется признать, что древнерусская, как и любая другая древняя православная славянская система, состоит исторически по меньшей мере из трех компонентов: из славянского язычества, из греческого (византийского) христианства и из греческого (византийского) ахристианства, нехристианства, проникшего на Русь вместе и одновременно с христианской культурой. Этот третий компонент древнерусской культуры еще четко не выявлен и мало изучен, но есть основания предполагать, что к нему относятся элементы поздней античности, сохранявшиеся в Византии, и такие, например, институты, как институт скomorошества и юродства. Социально они были больше связаны с городами и имели на Руси свое особое развитие. Юродство, например, возникнув в Византии, где-то у сирийских пределов, проникло в города, а затем и на Русь, где лишь в XVI в. пережило свой расцвет, уже воспринятое как духовный христианский подвиг.

Этническое самопознание и самосознание Нестора Летописца, автора «Повести временных лет»

Этническое самосознание есть результат самопознания, определенного понимания, ощущения, иногда и изучения своей этнической принадлежности, этнических особенностей, складывавшихся и сложившихся в течение веков. Эти особенности в основе своей носят разный характер, они могут быть по преимуществу религиозного (конфессионального), лингвистического, этнографического, этатического (государственного) и географического свойства, но все они относятся к этносу, к человеческому социуму и потому являются характерными признаками и показателями этноса. Каждый представитель этноса сознательно или несознательно оказывается обладателем этих признаков, которые выявляются более четко в результате противопоставления другим признакам, в результате ощущения или осознания «своего» или «чужого» либо в пределах одного «своего» этноса, либо вне этих пределов, в другом этносе. Каждый этнос уже на раннем этапе своего развития обладает целым рядом дифференциальных признаков, образующих некий «пучок признаков», построенный по иерархическому принципу в виде некоторой лестницы, концентрических кругов или фигур с последовательно распадающимися сегментами. Притом сам набор признаков может исторически изменяться. Нетрудно заметить, что нами используется лингвистическая терминология, возникшая на основе фонетических наблюдений начала 30-х годов, однако, как известно, она давно применяется и как формально-логическая ко многим объектам нелингвистического характера.

Время возникновения «Повести временных лет» — XII век, когда на политической карте Европы вырисовывались славянские государства, уже имевшие свою державную традицию, — Польша, Чехия, Сербия, Русь (Киевская Русь). Именно в киевской монастырской среде, за столетие до монгольского нашествия, проявился яркий интерес к отечест-

венной истории и появилось понятие отечества — Русской земли, понятие, со временем ставшее важным компонентом достаточно сложной структуры этнического (национального) самосознания. Вероятно, такая структура была характерна не только для зародившегося древнерусского этноса, но и для других славянских этнических групп — народов, приобретших к тому времени опыт государственного строительства. Об этом мы можем судить по целому ряду источников, в том числе и по хроникам Галла Анонима и Козьмы Пращского, но наследство киевского хрониста и его взгляды, касающиеся славянской, преимущественно восточнославянской этнической ситуации, по своей полноте и цельности уникальны.

Обратимся к свидетельствам Нестора Летописца, многим хорошо известным и неоднократно комментированным, но не рассматривавшимся под интересующим нас углом зрения.

Начнем со знаменитого отрывка о славянской прародине:

Во мнозѣхъ же времанѣхъ сѣли суть Словѣни по Дунаеви, гдѣ есть ныне Оугорьска земля и Болгарьска. [И] ѿ тѣхъ Словѣнъ разидошася по землѣ, и прозвашася имени свѣими, гдѣ сѣдше, на которомъ мѣстѣ. Юко пришедше, сѣдоша на рѣцѣ иманемъ Марава, и прозвашася Морава, а друзии Чеси нарекоша^с; а се ти же Словѣни: Хровате Бѣлии и Серебѣ и Хорутане. Волхомъ бо нашедшемъ на Словѣни на Дунаискиа, [и] сѣдшемъ в ни^х и насилащемъ им^ъ. Словѣни же ѿви, пришедше, сѣдоша на Вислѣ, и прозвашася Лахове, а ѿ тѣхъ Лаховъ прозвашася Полане: Лахове друзии Лутичи, ини Мазовшане, ини Поморане. Также и ти Словѣне, пришедше и сѣдоша по Днѣпру, и нарекошася Полане, а друзии Древляне, зане сѣдоша в лѣсѣхъ; а друзии сѣдоша межю Припетью и Двиною, и нарекошася Дреговичи: [инии сѣдоша на Двинѣ и нарекоша^с Полочане] рѣчьки ради, иже втечетъ въ Двину, иманемъ Полота, ѿ сего прозвашася Полочане: Словѣни же сѣдоша ѿколо езера Илмера, [и] прозвашася свѣимъ иманемъ, и сѣдлаша градъ, и нарекоша Новъгородъ; а друзии сѣдоша по Деснѣ и по Сѣли и по Сулѣ, и нарекоша Сѣверъ. [И] тако разидеса Словѣньскій языкъ, тѣмже и грамота прозваса Словѣньскаа (ПСРЛ, I, стлб. 5–6).

Ограничимся минимальным комментарием к тексту. Летописец перечисляет все известные ему славянские племена и народы (возможно, это были крупные племена или племенные объединения, ставшие впоследствии народами). С

точки зрения наших современных представлений об основном славянском этническом членении кажется странным неупоминание *руских, болгар, лужичан, полабян*. Неясно, о каких хорватах идет речь, скорее всего о южнославянских, так как они находятся в одном ряду с сербами и словенцами — «хорутанами». Но существенно, что поляки названы двумя именами — *ляхи* и *поляне*. Этноним *лях* сохранился почти до наших дней. Существенно и то, что летописец относит к ляхам не только *полян*, но и *мазовшан, поморян, лутичей (ободритов он не упоминает)*¹. Лехитская языковая группа описана полно. Более подробно определены только восточные славяне, у которых сохранялся этноним *словѣне* (в районе Новгорода) и к которым относятся *поляне, древляне, полочане, север*. В другом отрывке летописи Нестора находим *радимицей, вятичей, кривичей* и др. Киево-Печерский монах подчеркивает, что все перечисленные племена относятся к единому славянскому племени, славянскому корню: «Словѣни же ови пришедше сѣдоша...» на Висле, по Днепру, около Илмеря, или «а се ти же Словѣни: Хровате Бѣлии и Серебь и Хорутане» и т. п. В одних случаях, согласно Нестору, славяне получали еще новое имя, новый этноним по принципу: «гдѣ сѣдше на котором мѣстѣ» — *мораване, полочане* «рѣчьки ради... иманемъ Полота», *древляне* «зане сѣдоша в лѣсѣ^х»; в других случаях, опять же согласно Нестору, они сохраняли свой первоначальный общий этноним, как было с теми славянами, которые «сѣдоша около езера Илмера», т. е. с новгородскими словенами.

Таким образом, в «Повести временных лет» четко противопоставляется общеплеменное название (*словѣне*) частноплеменному названию (*древляне, мазовшане* и т. п.), но в ряде случаев имеется и некое среднеплеменное звено и его название, в будущем народ, народность (*ляхи, чеси, серебь*).

Кратко проанализированный нами фрагмент Лаврентьевской летописи может быть дополнен близким по содержанию текстом из того же источника:

¹ По Нестору, *мазовшане* — еще не *поляне*. И те, и другие — от *ляхов* («ѿ техъ Ляховъ прозвашася полане» и «Ляхове друзии ... мазовшане»). Нестор рисует такой путь отпочкования от славянского целого: *словѣни* — *ляхи* — *мазовшане*. Тот факт, что *полянами* — поляками стали называться и другие родственные племена, не единичен. *Хорутанами* вплоть до XIX в. часто называли всех словенцев.

... бѣ единъ языкъ Словѣнскъ. Словѣни же сѣдаху по Дунаєви ихже приаша Оугри и Маравѣ [и] Чеси и Лахове и Полане наже нынѣ зовомаѣ Русь, симъ бо первое преложенъ книги Маравѣ наже презваса грамота Словѣньскаѣ наже грамота естъ в Руси и в Болгарѣхъ Дунаискихъ (ПСРЛ, I, стлб. 25–26).

В этом отрывке вновь отмечается единство славянского племени. При этом можно вспомнить, что вплоть до начала XIX в. словом *язык* в России обозначался и *язык* 'lingua', и *язык* 'народ, родились' (ср.: «Нашествие Наполеона и двенадцатъ языкъ»). Тем самым Нестор подчеркивает единство трех этнических показателей-признаков — славянского племени, языка и письменности (грамоты). Несомненный интерес представляет и утверждение, что *поляне*, в данном случае не *поляне* польские, а восточнославянские — стали впоследствии называться *Русью*. Однако эта проблема в целом достаточно сложна, и одного свидетельства для ее решения недостаточно. Даже рассмотрение всех примеров из «Повести временных лет» с употреблением этнонима или хоронима *Русь* потребовало бы отдельного объемистого исследования. Все же следует сказать, что, судя по летописи Нестора, в его время название *Русь* относилось во многих случаях не к мононациональной этнической единице, а скорее к полиэтническому образованию — государственному, военному (дружинному), может быть. В этом отношении важно привести еще одно объяснение Нестора слова *Русь* в связи с описанием событий 882 г.: «...сѣде Ѡлегъ княжа в Києвъ... [и] бѣша оу него Варазѣи и Словѣни и прочи прозваша Русью...» (ПСРЛ, I, стлб. 23). Возникновению этнонима *русин*, позже *русский*, способствовало существование хоронима *Русьская земля*. Ему структурно противостоял термин *Словѣньская земля* и соответствующий ему этноним *языкъ Словѣньскъ* 'славяне, славянский народ'. Приведем для сравнения еще одно свидетельство:

Словѣньску же языку наже рекохомъ жиоуще <sic!> на Дунаѣи придоша Ѡ Скуфъ рекше Ѡ Козаръ рекомѣи Болгаре, [и] сѣдоша по Дунаєви, [и] населници Словѣномъ быша. Посемъ придоша Оугри Вѣлии [и] наслѣдиша зѣмлю Словѣньску; си бо Оугри почаша быти прѣи) Ираклии цѣри... (ПСРЛ, I, стлб. 11).

Видимо, этноним *болгаре* Нестор Летописец еще не воспринимал как славянский.

В связи с этим уместно напомнить, что в древности и в наше время помимо этнонимов бытовали и бытуют названия

жителей по их принадлежности к государству, к стране, которая может быть моноэтнической (мононациональной), и тогда название страны и название этноса обычно совпадают, и полиэтнической (полинациональной), и тогда названия страны и ее жителей могут быть разного происхождения: по этнической принадлежности правящего верхнего слоя (*болгары*), по территориальному принципу (ср. современные *славяне-македонцы* или *славяне-далматинцы*), по исторической преемственности (ср. *ромеи* 'византийцы' по Византии — «второму Риму»). Исторически ситуация может меняться. Так, вероятнее всего, турецкий этноним *болгары*, пройдя через стадию этнополитонима, т. е. названия жителей государства, стал снова этнонимом, но уже славянским. Летопись Нестора отражает два первых этапа: «...придоша от Скуфь... рекомии Болгаре съдоша по Дунаеви» (ПСРЛ, т. I, стлб. 11) и «...гдѣ есть ныне Оугорьска земля и Болгарьска...» (там же, стлб. 5).

Ценность свидетельств Нестора Летописца, касающихся этнонимов, хоронимов, этнического самосознания и этнической ситуации, заключается еще в том, что автор летописи охватывает довольно большой и важный период истории славян — дохристианский и раннехристианский, хотя вообще, согласно традиции византийских хроник, он начинает свое повествование от Всемирного потопа и кончает событиями, очевидцем которых он мог быть сам («...недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил» — А. С. Пушкин).

Еще один признак этноса, который, вероятно, на Руси до Крещения не был этническим, но после 988 г. стал таковым, — это признак религиозный, признак принадлежности к определенной вере. В противопоставлении иноверцам он обычно оказывается решающим, оттесняя другие этнические признаки на второй план. Тем самым религиозный признак в определенные исторические периоды и в определенных условиях становится главенствующим в иерархии дифференциальных этнических признаков.

Автор «Повести временных лет» не обходит своим вниманием и эту сторону интересующей нас проблемы. Так, описывая мир князя Игоря с византийским царем Романом в 945 г., он сообщает, что люди князя русского клялись по-разному — одни у идола Перуна, другие — в храме св. Ильи:

... и приде на холмъ кде стояше Перунъ [и] покладаша оружье свое... и ходи Игорь ротъ и люди его елико поганыхъ Рус^{си} а хрян(ск)ую Русь водиша ротъ в цркви стго Ильи (ПСРЛ, I, стлб. 54).

Таким образом, языческая «поганая» Русь противопоставлялась Нестором Руси христианской. Но заключенный в 912 г. мир князя Олега с Византией описывается тем же Нестором как мир Руси с христианами: «...на оудержание... ѿ многи^х лѣ^т ме^{жи} хрестианы и Русью бывъшую любовь» (там же, стлб. 33). А договоренность между сторонами относительно убийств определена в том же документе так: «...аще кто оубь^т или хрестьянина Русь^н или хрестьянинъ Роусина да оумре^т» (там же, стлб. 34).

Эти отрывки текста интересны тем, что в них отмечен очень редко употребляемый летописцем термин *русин*, который противостоит термину *христианин*, а не *грек*, как можно было ожидать и как он использован в другом случае в связи с теми же событиями: «Посла моу^{жи} свои Ѡлегъ построити мира и положити ра^д между Роу^с и Грекы» (там же, стлб. 32). Видимо, термин *русин* означал жителя русской земли — русского государства и мог применяться не только к славянину, но и к варягу или чухонцу (к Чуди или Мери). Как пример можно привести свидетельство, помеченное 882 г. (эта дата более чем на столетие предшествует дате крещения Руси): «...сѣде Ѡлегъ княжа въ Киевѣ... [и] бѣша оу него Варазы и Словѣны и прочи прозвашася Русью се же Ѡлегъ нача города ставити...» (там же, стлб. 23).

Что касается термина *христианинъ*, употребляемого Нестором в определенном историческом контексте IX в., то он после крещения Руси в конце X в. стал применяться и к восточным славянам, в массе своей земледельцам, и дожил до наших дней как социальный, классовый термин. У южных славян в условиях турецкого мусульманского господства религиозная принадлежность могла восприниматься как признак этнический, и потому еще в XIX в. в Македонии славяне-македонцы на вопрос, кто они, отвечали: «Ние сме ристјани». Именно в этих условиях произошло противопоставление религий по национальному признаку (ср. серб. *турска вера* 'мусульманство' и *српска вера* 'православие'; то же болг. *турска вѣра*); этноним *турчин* стал применяться к мусульманам, даже если у них родной язык сербский. Современная ситуация в Югославии с ужасающей убедительностью показывает, насколько значим и доминантен религиозный признак в определении национальной принадлежности. Нестор Летописец в свое время также четко делил все этносы на две части: на часть, принадлежащую христианскому миру, и часть, не относящуюся к нему. В летопи-

сях того времени ничего не говорится о разделении церквей, о православном и католическом вероисповедании и о какой-либо дифференциации этноса по этому признаку.

Что касается дифференцирующих признаков на низшей ступени этнической градации, на ступени частноплеменной, то здесь, надо полагать, они выражались в диалектных особенностях, которые, однако, Нестором Летописцем или не воспринимались как различительные черты, или просто не отмечались. Зато Нестор ярко ощущал и отмечал этнографическую специфику различных восточнославянских племен, воспринимал местные обычаи как отличительные признаки и писал о них довольно подробно:

Имаху бо обычаи свои и законъ ѡць свои^х и преданья кождо свои нравъ. Полане бо свои^х ѡць ѡбычаи имуть кротокъ и тихъ и стыдѣнѣ къ снохамъ своимъ и къ сестрамъ къ мѣрмъ и к родителемъ своимъ к свекровемъ^б и къ деверемъ велико стыдѣнѣ имѣху брачн^и и ѡбычаи имаху не хоже^{ше} зать по невѣсту но приводаху вечеръ а завѣтра приношаху по неи что владуче а Древлане живаху звѣринскимъ ѡбразомъ жиоуще скотьски оубиваху другъ друга ѡдаху вса нечисто и брака оу нихъ не бываше но оумыкиваху оу воды двѣца и Радимичи и Ватичи и Сѣверъ ѡдинъ ѡбычаи имаху живаху^у в лѣсѣ ѡкоже [и] всакии звѣръ ѡдуще все нечисто [и] срамословье в ни^х предъ ѡтьци и предъ снохами [и] браци не бываху въ ни^х и игрища межю селы схожахуса на игрища на пласанье и на вса бѣсовская игрища и ту оумыкаху жены собѣ с неюже кто съвѣщашеса имаху же по двѣ и по три жены [и] аще кто оумраше твораху трызно надъ нимъ и по семь т^вораху кладу велику и възложажуть и на кладу мртвца сожьжаху и посемь собравше кости вложажу в судину малу и поставажу на столпѣ на путе^х еже творать Ватичи и нынѣ си же твораху ѡбычаи Кривичи [и] прочии погании не вѣдуще закона Бж^я но твораще сами собѣ законъ (ПСРЛ, I, стлб. 13–14).

Подведем итоги. Цитированный нами материал, при всей его фрагментарности (фактически он гораздо обильнее), позволяет прийти к выводу, что этническое самосознание Нестора Летописца следует рассматривать как довольно сложную и цельную систему, состоящую из иерархически упорядоченных компонентов. Каждый компонент в отдельности обнаруживается в биографии автора «Повести временных лет». Автор был христианином, и этим определялся весь его жизненный подвиг, славянином, полянином, так как Киево-Печерский монастырь был духовным центром полян и Рус-

ской земли. Русская земля была его страной, государством, а киевские князья были его князьями. Изъятие из этой системы-лестницы хотя бы одного компонента нарушило бы общую картину и значительно изменило бы ее. У Нестора Летописца было религиозное сознание (христианское), общеплеменное (славянское), частноплеменное (полянское) и сознание государственное (причастность к Русской земле). Среднеплеменное сознание его — русское — еще созревало и не занимало ключевой, доминирующей позиции.

Таким образом, для характеристики славянского самосознания IX—XII вв. можно предложить условную парадигму или сетку-модель со следующими компонентами-показателями:

1. Религиозный показатель: христианин — язычник;
2. Общеплеменной показатель: славянин — не славянин;
3. Среднеплеменной показатель: лях — не лях;
4. Частноплеменной показатель: мазовшанин — не мазовшанин;
5. Государственный показатель: поляк — не поляк.

Парадигма эта гетерогенная, так как гомогенны только племенные показатели (обще-, средне- и частноплеменные), а религиозный и государственный показатели являются как бы привнесенными, дополнительными к родовому древу. Они — как бы небо и земля для этого древа, если подобная метафора допустима и удачна. Поэтому государственный показатель — не низший, а как бы привнесенный извне. В процессе исторического развития тот или иной показатель (или даже два и более показателя) становится доминантным, и эта смена доминант и их взаимного соположения характерна для истории и развития национального самосознания каждого славянского народа. В эпоху Нестора Летописца среднеплеменной показатель (*русин*) для его народа лишь вырисовывался, формировался; впоследствии он занимал доминирующее положение. Можно предположить, что со времен Нестора Летописца и до наших дней общеплеменной показатель (*славяне*) никогда не был доминирующим, всегда был сопутствующим или даже в отдельных славянских регионах отсутствовал. Однако, если вспомнить о польском сарматизме XVI века, хорватском иллиризме того же XVI века и южнославянском иллиризме XIX века, такое утверждение может оказаться сомнительным.

Я беру на себя смелость сказать, что подобная система-шкала национального самосознания существует и реализу-

ется в идеологии и практике отдельных представителей славянства до сих пор. Относительно недавно я постарался вникнуть в духовно-поэтический мир русского поэта XX в. Николая Клюева, отраженный в его трагической поэме «Погорельщина». И я могу с уверенностью сказать, что Клюев ощущал себя причастным одновременно к нескольким духовным и в то же время географическим мирам: к миру почти вселенской Правды и непротivления злу злом (это роднит его с Львом Толстым), к миру Саронских гор, Индийского поморья, Лидды града — Владычицы Одигитрии, затем к христианскому миру, к православию, к старообрядчеству, к славянской традиции («крепкая кириллица слов»), ко всему русскому и опять славянскому («Русский сад — мужики да бабы. От Норвеги — до смутной Лабы») и, наконец, к своему кровному, исконному севернорусскому олонечскому («Порато баско зимой в Сиговце!»). Столь же широк и клюевский диапазон языка: от церковнославянизмов до олонечских диалектизмов. Клюевская парадигма шире, чем предложенная нами, однако она содержит все компоненты нашей парадигмы как основные. Подобным образом можно было бы рассмотреть культурно-этнический мир Есенина и многих других русских и славянских писателей.

В завершение можно сказать, что проблема этнического и национального самосознания — это во многом культурологическая проблема. Она касается прежде всего носителей культуры, их понимания «своего» и «чужого», которое исторически меняется, их способности ощущать себя причастными к нескольким культурам или культурным слоям одновременно, возможности совмещения нескольких культур в одной интеллектуальной среде. Проблема этнического самосознания не может рассматриваться без постановки вопроса о личности, личности не только в персоналистическом, но и в «евразийском» смысле этого слова. Но все сие требует отдельного и специального рассмотрения.

Источники и литература: ПСРЛ, I; Галл Аноним, 1961; Козьма Пражский, 1962; Хабургаев, 1979; Шевелев, 1991; Корольюк, 1968; Трубецкой, 1927; Шахматов, 1916; Шахматов, 1940; Шахматов, 1919; Шахматов, 1916а; Niderle, 1925; Łowmiański, 1970; РЭС, 1982; РЭС, 1989; Клюев, 1991; Толстой, 1987а.

Два иностранных свидетельства XVI в. о славянах, русских, о церковнославянском и русском языке

Ценные факты о языковой ситуации в русских (восточнославянских) землях в XVI в., содержащиеся в латинском трактате 1517 г. польского историка Матвея из Мехова (Матвея Меховского) (Матвей Меховский, 1936), уже были предметом нашего рассмотрения (см. Толстой, 1976, с. 189–190; Толстой, 1988, с. 115–116; наст. изд., с. 159–160). Однако в предшествующей работе они были изложены и анализированы лишь частично, что позволяет нам снова вернуться к этой теме. К тому же, аналогичный материал в латинских сочинениях итальянца Антонио Поссевино (Поссевино, 1983), иезуита, папского посланника, дипломата и знатока Руси и Польши, еще не подвергался специальному анализу. Поэтому есть основание попытаться также выделить этот материал из общей суммы исторических и этнографических свидетельств, содержащихся в трудах ученого иезуита, и взглянуть на него под историко-лингвистическим и этнонимическим углом зрения.

Иностранные славянские и неславянские хронисты имели достаточно четкое представление об историко-культурном, этническом и языковом единстве славянских народов задолго до XVI в. В XVI в., в эпоху польского «сарматизма» и далматинского «иллиризма», эти представления стали еще более яркими и полными. Матвей Меховский в своем «Трактате» в завершающей части раздела о вандалах, аланах писал об автохтонности славян, расселенных в разных землях: «Надо заметить, в-четвертых, что поляки, богемы, свевы и все славянские племена от потопа до нашего времени остаются на своих местах, в коренных своих владениях, а не прибыли откуда-нибудь из иных мест, как сообщает польская хроника и хроника богемская». В итоге он свидетельствовал: «Заметим, в-пятых, что славянская речь весьма распространена и широко употребляется во множестве стран и областей. Сюда принадлежат: сербы, мизии, расции

или болгары и боснийцы (*Serui, Misii, Rasci seu Bulgari et Bosnenses*), ныне покоренные турками. Точно так же — далматы, кроаты, паннонцы, славя, карны, богемы, моравы, силезийцы, поляки Великой и Малой Польши, мазовиты, померанцы, кассубы, сербы, рутены, московиты (*Dalmatae, Croatae, Pannonii, Slau, Carni, Bohemi, Morau, Slesitae, Poloni Maiores et Minores, Mazouitae, Pomerani, Cassubitae, Sarbi, Ruteni, Moskouitae*). Все это — славя и винделики (*Slau et Vindelici*) и занимают они обширные области. Теперь, впрочем, уже и литовцы говорят по-славянски. Сюда же относятся нугарды, плесковиты и огульки (*Nugardi, Pleskouiensis et Ohulci*): смотри их хроники и космографии» (Матвей Меховский, 1936, с. 78–79, 158).

Кратко комментируя приведенный отрывок, поясним, во-первых, что в русском тексте мы сохранили перевод либо транслитерацию С. А. Аннинского, издавшего в 1936 г. по-русски и по-латыни «Трактат о двух Сарматиях» Матвея Меховского, во-вторых, что Матвей Меховский дал достаточно точное и не слишком дробное деление южных, западных и восточных (именно в такой последовательности) славян на народы или этнические группы (большие и малые). Сербы у польского хрониста разделены на сербов и расциев. Этноним «расции» происходит от названия древней и на Балканах (с VI в.) исконной сербской земли Рашки (*Rascia*), располагавшейся в пределах нынешней Черногории и части соседних земель. Но «рацами» венгры называли сербов еще и в недавнем прошлом, и под ними могли подразумеваться и сербы, мигрировавшие в земли венгерской короны, т. е. в Венгрию и Хорватию, однако союз *sei* (или) указывает на то, что Матвей Меховский расциями называет боснийцев, а мизиями — болгар. В таком случае к южным славянам он причисляет болгар, сербов, боснийцев, хорватов и славов (вероятно, словенцев), присовокупляя к ним далматинцев — теперешних хорватов и других славянских жителей Далмации, паннонцев — тех же теперешних хорватов и, возможно, сербов, живущих севернее течения р. Савы и Дуная¹, и

¹ В другом месте, говоря о раннем расселении славян (библейской эпохи!), Матвей Меховский утверждает: «Вскоре после греков славяне завладели землями к западу: Сервией, Расцией, Далмацией, Мизией, Булгарией, Босной, Кроацией, Паннонией и Славонией (*Slavi itaque... terras possederunt Seruiam, Rasciam, Dalmaciam, Misiam, Bulgariam, Bosnam, Croaciam, Pannoniam et Slauoniam*)» (Матвей Меховский,

выделяя в среде словенцев карнов (Carni — крайнцы), т. е. жителей Верхней и Нижней Краины — центральной зоны современной Словении. Поляки, как и следовало ожидать от польского хрониста, также описаны подробно. На польской этнической территории выделены четыре крупные группы — силезцы, мазовшане, поляки Великопольши и Малопольши, упомянуты примыкающие к ним кашубы и поморяне. Не забыты также и лужицкие сербы (Sarbi).

Что же касается восточных славян, то они в общем перечне славянских племен и народов даны под двумя именами: «рутенон» — русских и «московитов» — жителей Московии. Для XVI в. такое противопоставление очень типично. Рутены — это западные русские (малороссы) — украинцы и белорусы, а московиты — русские Московского царства. После пояснения, что все перечисленные народы — «славы и винделики» (Slauī et Vindelici)², и замечания, что «уже и литовцы говорят по-славянски», называются «нугарды, плесковиты и огульки», т. е. новгородцы, псковичи и вогулы³. Выделение новгородцев и псковичей любопытно в свете того интереса к их диалектам, который возник в русистике в последнее время; однако, надо полагать, их упоминанию в «Трактате о двух Сарматиях» способствовала энергичная торговая и политическая деятельность этих западновеликорусских этнических групп в большей мере, чем их языковые особенности⁴.

1936, с. 73, 152). Здесь указывается Славония — область севернее течения реки Сава. Не исключено, что этноним «славы» (Slauī) связан и с этой территорией, хотя он одновременно относится и ко всем славянам вообще (Hi omnes Slauī... sunt), как это наблюдается и в нашу эпоху (там же, с. 78, 158).

² Этноним *Vindelici* остается неясным. Этимологически его трудно связать с венетами.

³ «Огульками» (Ohulci) называются вогулы — восточнофинское племя, известное сейчас под именем манси.

⁴ Четыре десятилетия спустя после появления книги Матвея Меховского о двух Сарматиях появились «Записки о Московии» Сигизмунда Герберштейна, в которых посол императора Священной Римской империи германского народа описывает Московскую Русь, а в связи с ней в одном пасусе весь славянский мир. Герберштейн пишет: «Славянский язык, ныне искаженно именуемый склавонским (Sclavonica), распространен весьма широко: на нем говорят далматинцы (Dalmatae, Dalmatiner), босняки (Bossnenses, Bossner), хорваты (Chroati, Chrabaten), истрийцы (Istrii, Isterreicher) и далее вдоль Адриатического моря до Фриуля, карны (Carni, Carster), которых венецианцы называют

карсами (Charsi), а также жители Крайны (Carniolani, Crainer), каринтийцы (Carinthii, Khärner), до самой реки Дравы (Dravus, Traa), затем штирийцы (Stirii, Steyrer) ниже Граца (Grätz) вдоль Мура (Muer) до Дуная, мизийцы (Mysii, Mysel), сербы (Servii), болгары (Bulgarii) и другие, живущие до самого Константинополя; кроме них чехи (Behemi, Beham), лужицане (Lusacii, Lausitzer), силезцы (Silesii, Schlesier), моравы (Moravi, Märher) и обитатели берегов реки Вага (Vagus, Waag) в Венгерском королевстве, а еще поляки и русские [властвующие над обширными территориями] и черкесы-пятигорцы (Circasi-Quinquemontani, Circassen in fünf pergen) у Понта и, наконец, остатки вандалов (Vandali, Wenden), живущие кое-где на севере Германии за Эльбой. Все они причисляют себя к славянам, хотя немцы, пользуясь именем одних только вандалов, называют всех говорящих по-славянски одинаково вендами (Wenen), виндами (Windi) или виндскими (народами) (Windische)». Этому довольно пространному пасусу предшествует такое утверждение: «... Но каково бы ни было происхождение имени "Руссия", народ этот, говорящий на славянском языке, исповедующий веру Христову по греческому обряду, называющий себя на родном своем языке Russi, а по-латыни именуемый Rhuteni, столь умножился, что либо изгнал живущие среди него иные племена, либо заставил их жить на его лад, так что все они называются теперь одним и тем же именем "русские"» (См. Герберштейн, 1988, с. 58).

Сигизмунд Герберштейн происходил из словенских земель, хорошо знал словенский язык, и это обстоятельство, наряду с другими, повлияло на то, что он стал во главе императорского посольства, направленного в Москву. Нетрудно заметить, что в приведенном описании Герберштейн подробно характеризует этническую ситуацию северо-западной части южнославянской этнической территории, различая истрийцев — жителей Истрии и далматинцев — жителей Далмации, упоминая при этом хорватов и боснийцев. Словенцы у Герберштейна перечислены полно: крайнцы, или карниоланы, т. е. жители Крайны (современные «гореньцы» и «доленьцы»), карны, карсы, или венецианские словенцы (современные резьянцы, терцы, «крашцы» и др.), штирийцы, т. е. жители Штирии, и помурцы (современные жители словенских Гориз по р. Муре и «прекмурцы»), наконец, каринтийцы (корошцы), известные у Нестора Летописца еще в XII в. под именем «хорутане». Этот этноним часто распространялся на всех словенцев, и им пользовался и И. И. Срезневский в XIX в. Известно и распространение названия «краинский» на весь словенский язык и даже этнос. Немцы иногда называли словенцев, лужицан и других славян вендами, и потому и Матвей Меховский, и Сигизмунд Герберштейн пишут о вендах «или вандалах», ошибочно считая эти этнонимы однокоренными или синонимичными.

Характерно, что первая грамматика словенского языка Адама Богорича, вышедшая в Виттенберге в 1584 году, называлась *Arcticae horulae succisivae, de latino-carniolana literatura, ad latinae linguae analogiam accommodata, unde Moshoviticae, Rutenicae, Polonicae, Boëmicae et Lusaticae linguae, cum Dalmatica et Croatica cognatio, facile deprehenditur praemittuntur his omnibus, tabellae aliquot, Cyrillicam et Glagoli-*

Матвеем Меховскому, как нам уже приходилось отмечать, принадлежит свидетельство, что «в русских церквях при богослужении читают и поют на сербском, то есть славянском языке»⁵ и что «и в Новгороде, Пскове, Полоцке и

ticam, et in his Rutenicam et Moshoviticam Orthographiam continentes, Adami Bohorizh. Witebergae anno M.D. LXXXIII. Здесь среди близких словенскому — «карниоланскому, или крайнскому языку», называемому так по центральной области Словении — Краине, перечисляются: московитский (Moshovitica), русский (Rutenica), польский, чешский (Boemica), лужицкий (Lusatica), далматинский и хорватский. К тому же в том же заглавии и в книге, в таблицах Богорич различает письмо кириллическое (Cyrilica) и глаголическое (Glagolitica). Кириллическое, по свидетельству словенского грамматика, распространено в Турецкой империи у янычар, у всех боснийцев (Bosnsenses), у русских (Ruteni) и московитов (Moschovitae), а глаголическое — у хорватов (Croati). Кириллическое изложено в двух таблицах — в общей и в «рутеноско-витской», глаголическое — в третьей таблице, а «латино-карниоланское», т. е. словенское письмо дано в отдельной четвертой таблице. Латино-хорватское, или латино-богемское (чешское), латино-польское или латино-лужицкое «письмо» (таблицы) не приводятся. В параллельных текстах молитвы «Отче наш» даются, однако, латинскими буквами шесть вариантов: «кириллический» (церковнославянский южнославянского образца), хорватский, польский, чешский, лужицкий, словенский (Carniolana). Любопытно, что Адам Богорич различает «языки» и этносы и даже «орфографии» — московский («московитский») и русский («рутенский»), в то время как Герберштейн этого не делает, причисляя к славянам (русским?) лишь пятигорских черкесов. Точно так же он различает «далматский» и хорватский языки, но не упоминает сербского и болгарского, называет лужицкий, чешский и польский, но не выделяет наречий моравского и силезского, как это делает его земляк Герберштейн. У Богорича нет упоминаний о словенских диалектах и интересующих нас русских наречиях. Его взгляд — взгляд с крайнего славянского юго-запада. Ему важно подчеркнуть единство славян и их языка, и потому на титульном листе грамматики помимо латинского заглавия дано изречение «Всяки языкъ спознати хоче Бога» кириллическими и глаголическими буквами, по-словенски латиницей Vsaki jezik bode Boga spoznal, что означает 'Всяк язык (народ) спознает Бога'. В предисловии к грамматике (стр. *5, на самом деле девятая) Адам Богорич пишет о том, что Священное Писание (Sacra Biblia) существует на германском, испанском, французском (Gallica), итальянском, «вагарском» (Vagarica?), чешском (Boemica), польском (Polonica), русском (Rutenica) и московском (Moshovitica) языках. Словенцам (Carniolanis) же Новый Завет на их язык перевел Примож Трубар (Primus Truberus). Перевод Библии на словенский язык был сделан словенцем Юрием Далматином и вышел в свет тоже в 1584 г.

⁵ В статье «Старинные представления...» (см. Толстой, 1976; наст. изд., с. 148—173) нами пояснялось, что на Руси в XVI—XVII вв. под термином «сербский» понималось не только 'сербский', но и 'южнославянский', 'южнославянского происхождения' применительно к языку и

затем к югу за Киев живут все русские, говорят по-русски и по-славянски, держатся греческого обряда и подчиняются патриарху Константинопольскому» (Матвей Меховский, 1936, с. 98, 109, 175, 185–186)⁶. Речь идет, таким образом, о единстве русского языка на всей восточнославянской этнической территории и о единстве русского языка в Московской Руси. Это подтверждается другими заявлениями Матвея Меховского в том же его «Трактате». Он писал: «Московия — страна весьма обширная в длину и ширину... и речь там повсюду русская или славянская» и повторял это, обращаясь к читателю в завершающем его книгу трактате о Московии: «Знай..., что в Московии одна речь и один язык, именно русский или славянский, во всех сатрапиях и княжествах» (там же, с. 116, 192).

Таким образом, Матвей Меховский различал «сербский», т. е. церковнославянский язык, принятый в церквах, и русский, «или славянский», распространенный в Московии (in

этносу, притом преимущественно к книжному языку. Высказывание Матвея Меховского, что «в русских церквах при богослужении читают и поют на сербском, то есть славянском языке» (In ecclesiis Rutenorum lingua Seruiorum quae est Slauonica, divina celebrant, legunt et cantat — Матвей Меховский, 1936, с. 175), Б. А. Успенский ошибочно отнес в своей книге в раздел «Языковая ситуация Московской Руси», а не в раздел «Языковая ситуация Юго-Западной (Литовской) Руси», что было бы правильной, хотя, конечно, в рассматриваемом нами плане положение было одинаковым в двух близкородственных культурных ареалах (См.: Успенский, 1987, с. 244). При определении места вышеприведенной цитаты следовало обратить внимание на указание Матвея Меховского: In ecclesiis Rutenorum (с. 175), а не Moshouitarum. Кроме того, контекст в целом показывает, что речь идет о такой ситуации, которая была возможна на Западной Руси, а не на Руси Московской: «В русских церквах при богослужении читают и поют на сербском, то есть славянском языке; в армянских церквах — на армянском языке; в иудейских синагогах молятся на еврейском языке. Христиане же римского обряда поют, молятся и читают на латинском языке» (Матвей Меховский, 1936, с. 98).

⁶ При оценке всей литературно-языковой и исторической ситуации в «двух Сарматиях», т. е. в Восточной Европе, следует учитывать, что Брестская уния осуществилась лишь в конце XVI в., в 1596 г., а установление патриаршества в России было при царе Федоре Ивановиче в 1589 г. До этого православная Западная и Восточная (Московская) Русь были под эгидой, в последние два века почти номинальной, патриарха Константинопольского. Культурно-языковые и религиозные процессы, институты и отношения, описываемые Матвеем Меховским и Антонио Поссевино, относятся ко времени до упомянутых событий.

Moskouia, т. е. на Руси Великой) и в Руссии (in Rutenia, т. е. Руси Малой и Белой).

Другой хронист и наблюдатель современной ему русской жизни, папский посланник Антонио Поссевино в своем трактате «Московия», созданном в 1582–1583 годах, постоянно пишет о двух Россиях, находящихся под влиянием московского царя или короля польского. Так, завершая рассуждение о том, «на что нужно обратить внимание при снаряжении посольства от Апостольского Престола... в Московию», Поссевино заявляет: «Таким образом светоч веры будет передан лучшим, и тот, кто искренне жаждет славы Христовой, внесет католическую религию в обе России, и ту, что у польского короля, и ту, что у московского князя» (Поссевино, 1983, с. 68). Это положение находим и в других местах трактата: «Таким путем это (“Диплом” Флорентийского собора 1439 г. — *Н. Т.*) с Божьей помощью сможет дойти до той части России, которая принадлежит польскому королю, и до той, что принадлежит великому князю московскому» (там же, с. 22), или: «Если бы мы... продолжали дело упорно и постоянно, и позаботились, чтобы Россия, которая принадлежит Польскому королевству, впитала католическую веру..., мы имели бы уже как бы очень крепкое орудие, которое смогло бы применяться для покорения московской схизмы. Однако мы выпустили из рук эту часть России» (там же, с. 35), или: «Некоторые русские князья... с распростертыми объятиями примут благость Святого Престола. Когда мы ехали через королевскую Русь в Московию, некоторые знатные люди, отставшие от своей схизмы, доверительно говорили с нами», или: «Киев — область Руси под властью польского короля» (там же, с. 39). Поссевино известны понятия и термины «Белая Русь» и «Червонная Русь», но терминов «Малая» и «Великая Русь» он не употреблял. Так, он писал: «Когда я был в Белой Руси, мне рассказывали, что в той местности, которая зовется Червонной Русью и которая, так же как и Белая, подчинена польскому королю, в Дорогобуже есть колодец с соленой водой» (там же, с. 30).

В своих сочинениях «Московия», «Московское посольство» и «Ливония» (написаны в 1582–1583 гг.) посол Римского первосвященника не дал обзора славянских стран и народов, перечисления славянских народов, что объясняется, видимо, жанром его сочинений, написанных искусно и умело,

с литературным блеском, но являющихся своеобразным отчетом о своих действиях в Московском государстве и инструкцией для будущих посольств в далекую от Италии и центральной Европы и могучую страну. Поссевино использовал в своей работе множество источников и сочинения своих предшественников⁷, но в то же время старался не повторяться, не писать об известном, и потому его труды живы и оригинальны, потому, видимо, в его трудах нет специального раздела о языках и народах славянских. Тем не менее он касается этого вопроса, и мы снова предлагаем подборку цитат, посвященных этой теме. Обращаясь к проблеме церковного языка, Поссевино пишет: «Что касается богослужения и исполнения церковных обрядов, то все это делается на славянском, или скорее, на русском языке, а он почти таков, как язык, принятый у русских подданных польского короля. Все книги они сами переписывают, но не печатают, исключая то, что печатается на станке для самого князя в городке, который называется Александровской слободой, где у государя есть типография» (Поссевино, 1983, с. 27). Несколько далее он пишет о мнении своего предшественника — итальянского путешественника в Московию: «А то, что написал в своих “Записках о Московии” Джовио, именно, что среди этого народа распространены сочинения четырех ученых латинской церкви и других отцов церкви, переведенные на русский язык (он думал, что последний сходен со славянским), этого еще не удалось пока узнать, хотя я тщательно об этом расспрашивал. ... О них, по-видимому, не слыхали даже те из великокняжеского двора, которые обычно составляют окружение государя» (там же). В сочинении «Московское посольство», возникшем из донесения Поссевино генералу Иезуитского ордена и заметок его спутника Джовани Паоло Кампани, сообщается, что «в Московии нет ни одной гимназии, в которой юношество обучалось бы свободным наукам, также нет и ученых богословов,

⁷ Поссевино знал труды Герберштейна, Гваньини, Кобенцеля, Джовио, Кампензе, пользовался донесениями послов, выписками из архивов и другими источниками. Самый значительный труд — «Записки о московитских делах» Сигизмунда Герберштейна впервые вышел в свет полтавыни в Вене в 1549 году. Уже в следующем 1550 году появился итальянский перевод книги, изданный в Венеции, затем следовали латинские издания 1551 и 1556 гг. (в Базеле), немецкое в Вене 1557 г. и многие другие.

которые просвещали бы народ проповедями. У московитов чрезвычайно ученым считается тот, кто знает славянские буквы. ... У них есть много греческих и латинских сочинений Отцов церкви в переводе на русский язык: сочинения папы Григория, причисленного к святым, Василия Великого, Хризостома, Дамаскина и других, гомилии которых в наиболее торжественные праздники читаются народу с амвона» (там же, с. 209).

Приведенные отрывки из книги «Московия» и «Московское посольство» свидетельствуют, что Антонио Поссевино, так же как и ранее в 1517 г. Матвей Меховский и позже в 1696 г. Генрих Вильгельм Лудольф⁸, осознавал различие между русским разговорным языком XVI в. и языком письменным, книжным и богослужебным — церковнославянским, ощущая при этом их близость («это делается на славянском или, скорее, на русском языке»). Некоторые различия между церковнославянским языком западнорусского образца и образца московского замечали и русские книжники XVII века⁹, но ученый иезуит прав, утверждая, что московский славянский язык «почти таков, как язык, принятый у русских подданных польского короля».

Что касается образованности в Московской Руси, тесно связанной с книжным языком, то она казалась Поссевино невысокой помимо всего потому, что была построена на иных, чем в Западной Европе, началах¹⁰, в суть которых римский иезуит глубоко не вникал. Поссевино, однако, наблюдал довольно внимательно разговорный язык, который в нескольких случаях был им назван «языком московитов» или «московитским языком» (см. сноску 11), а в других случаях просто «русским».

Антонио Поссевино интересовался также проблемами книжного славянского языка, его разновидностями и разли-

⁸ Имеется в виду известное свидетельство Генриха Лудольфа конца XVII в., что на Руси говорится: «разговаривать надо по-русски, а писать по-славянски» (apud illos dicitur, loquendum est Russicae et scribendum est Slavonicae). См. Ludolf, 1959, p. A2.

⁹ Достаточно указать на прение Лаврентия Зизания с игуменом Ильею и справщиком Григорием в Книжной палате 18 февраля 1627 г. См. Прение, 1859, с. 86. См. также: Успенский, 1987, с. 281–288; Толстой, 1988, с. 116–118; Виноградов, 1938, с. 17–30.

¹⁰ О высоком уровне древнерусского образования можно судить хотя бы по работе: Соболевский, 1892.

чем славянских языков вообще, что видно из следующего. Ватиканского монаха волновал тот факт, что булла или «Диплом» о единении, составленный папой Евгением IV в пору Флорентийского собора 1439 года и переведенный на греческий, а потом «славянский» язык, оставалась недоступной и непонятной русскому, «московитскому» читателю. По этому поводу он писал: «Ведь переводчик этого “Диплома” на славянский язык не знал особенностей русского языка, но составил какую-то смесь из боснийского и хорватского языков. Это заметили те, кого я привез с собой из русских земель, находившихся под властью польского короля, и из Австрии¹¹. Они же позаботились, чтобы и самый “Диплом” и Символ Веры, изданный Пием IV, были переведены на современный русский язык» (Поссевино, 1983, с. 28). Следует, однако, предположить, что этот «современный язык» был все же не разговорным, а книжным.

Наконец, папский посланец хорошо понимал устойчивость богослужебного «славянского» языка на Руси и сообщал по этому поводу: «Важно, по-видимому, и то обстоятельство, что было бы очень трудно заставить их (московитов. — *Н. Т.*) отказаться от богослужения на славянском языке и заменить его богослужением на латинском или добиться разрешения для нас вести его на греческом языке. Если бы это и удалось через некоторое время, нужно было бы тщательно изучить, правильно ли переведено то, что читается у них из Ветхого Завета или Евангелий. Эта вещь, может быть, никогда не делалась даже и самими греками,

¹¹ Антонио Поссевино в его поездке к Московии сопровождали иезуит Паоло Кампани (Павел Кампанский), схоластик Андрей Модестин, богемец, г. е. чех, по происхождению, коадьютор миланец Микель Моригено и хорват священник, уроженец Загреба Дреноцкий. Поссевино называет Дреноцкого славянином и пишет, что он говорил «по-славянски» (вероятно, на кайкавском наречии хорватско-сербского языка. — *Н. Т.*) и русские его не понимали: «Они не знают славянского языка, хотя он настолько близок к польскому и русскому, что тот священник, славянин по национальности, которого я посылал в Москву, уже очень скоро стал понимать из московитского языка, хотя, напротив, московиты, с большим трудом, по-видимому, понимали по-славянски» (Поссевино, 1983, с. 27). См. также комментарий Л. Н. Годовиковой (там же, с. 235). Во времена Поссевино и позже некоторые хорватские наречия назывались «словинскими», а их носители «словинским народом». Ясно, что здесь речь идет о разговорном, а не книжном или церковном языке.

¹⁵ Толстой Н. И.

да и не легко это сделать, так как я не знаю никого, кто понимал бы язык московитов с особенностями его фраз наряду с твердым знанием греческого и латинского языков и вместе с тем имел бы прочную основу в теологии» (там же, с. 33). Поссевино вновь смешивает проблемы книжного языка и разговорной речи («кто понимал бы язык московитов»), хотя в этом случае может подразумеваться и книжный, сакральный язык жителей Московской Руси — Московии. Интересно отметить, что ученый иезуит своими суждениями предвосхищал программу и деятельность сторонников Никоновской sprawy и говорил о необходимости правки богослужебных текстов.

В связи с названием русского и славянского языка представляет интерес и название православной веры, употребляемое просвещенным иезуитом и папским посланником. Чаще всего православие называется «схизмой», а православные «схизматиками» («...значительная трудность, которая удерживает московитов в схизме, заключается в том, что мощи некоторых схизматиков прославлены тем, что они остаются нетленными...»), но нередко православие называется «русской верой» и противопоставляется «католической вере» как вере «истинной». Поссевино пишет, что «великий князь московский» Иван IV «после покорения большей части Ливонии изгнал оттуда всех католиков до единого силой оружия, насадил повсюду русскую веру и строжайшим образом утвердил ее» (там же, с. 32), или «московит... расширил пределы своих владений и самым ревностным образом насадил в Ливонии русскую схизму» (там же, с. 220), или о том, что он говорил с боярами «о католической и русской религии» (там же, с. 84). Разрабатывая планы приближения всех русских к католицизму и как бы предвещая обращение в унию части западнорусских православных верующих, Поссевино отмечает, что «Московия по традиции чрезвычайной зависит в делах религии от Руси (т. е. так называемых «западнорусских земель» или земель украинских и белорусских — *Н. Т.*), находящейся под властью польского народа (совсем недавно московские епископы утверждались киевским митрополитом русской веры...). Поэтому будет очень важно для обращения Московии, если епископы или владыки королевской Руси присоединятся к католической церкви» (там же, с. 39). Иногда Поссевино ведет речь о «русских обычаях» и «русских догматах», когда

дело опять-таки касается православия. Он сообщает, что «храмы, в которых москвиты в Дерпте и Ревеле исполняли церковные обряды по русскому обычаю, были разрушены лютеранами (однако это нечестивое дело было приписано католикам)» (там же, с. 42), или, перечисляя трудности введения в Московии католической религии, предупреждает, что в Московской Руси «очень жестоко наказывают того, кто осмеливается сказать что-нибудь против русских религиозных обрядов и догматов» (там же, с. 31). Свою веру Поссевино называет католической и опровержению православия, опровержению, в основном, чисто внешнему и довольно безапелляционному, он уделяет много места в своих сочинениях. «Обо всем этом, — поясняет ватиканский посланец, — можно будет узнать как из моей первой книги о Московии, так и из того сочинения о расхождении между католической верой и русской схизмой, которое я передал московскому князю по его просьбе» (там же, с. 70). Естественно, что Поссевино одновременно является непримиримым противником «лютеранской ереси». Именно под влиянием лютеранства, по мнению ученого иезуита, «у московского князя (царя Ивана Грозного — *Н. Т.*) создалось представление, что все католики (которых он зовет римлянами) впали в ересь и поэтому их легко будет покорить» (там же, с. 62). Добавим к этому, что по свидетельству того же Поссевино, Иван Грозный употреблял для католической религии и термин «латинская». Он говорил: «Близок день суда, когда Господь решит, наша или латинская вера основывается на истине» (там же, с. 77). Впрочем, этот термин не чужд и самому Поссевино, сообщающему, что «кроме тех чудотворцев, которых почитает латинская церковь, москвиты имеют мучеников, епископов и монахов, которые, как они хвастаются, вознеслись на небеса» (там же, с. 209).

Таким образом, мы узнаем, что русские во времена Ивана Грозного называли католическую веру римской или латинской¹², а католиков — римлянами, сам же Антонио

¹² В «Московском посольстве» сообщается, что москвиты «к латинской церкви относятся с гораздо большей неприязнью, чем к греческой. Среди них не услышишь поношения Бога или святых, однако слова “латинская вера” — у них самое сильное проклятие для врагов. Правдоподобно, что это и многое другое москвиты сначала получили от греков, а затем пренебрежение и невежество в церковных делах, как это бывает, принесли еще больше ошибок» (Поссевино, 1983, с. 209).

Поссевино в разговоре с грозным московским Государем называл православие и «греческой» верой¹³. Он сказал царю: «Чтобы мне не причинять Тебе досады всем этим, пусть Твоя Светлость прочтет то, что я по Твоему поручению писал о расхождении между католической и греческой верой» (Поссевино, 1983, с. 86). Наконец, молитвы, которые читались в русских церквях, Антонио именует, так же как и веру, «русскими молитвами», а не славянскими [«священники, одетые в священную одежду (если ее можно назвать священной), образовали посредине храма как бы венки и, по своему обычаю, читали русские молитвы» — там же, с. 85]. Однако надписи на иконах в России-Московии он называет славянскими: «... лики святых они пишут с исключительной скромностью и строгостью, гнушаясь тех икон, которые лишены славянской надписи» (там же, с. 211)¹⁴.

Таким образом, свидетельство Антонио Поссевино и других иностранцев, писавших о России XVI века, подтверждают сделанные нами ранее на другом материале выводы об известной синонимичности терминов *словенский* и *русский*, с одной стороны, и о их противопоставленности в некоторых случаях по признакам «книжный» — «разговорный», с другой стороны. Такое положение на Московской и Западной Руси XVI века отмечали не только иностранные, но и древнерусские книжники, воспринимавшие *словенский* язык как язык не только русских, но и южнославянских книж-

¹³ В XVIII в. православие в России официально называлось также «грекороссийской» верой: «Лифляндец Крестьян Иванов, оставя лютеранский закон, принял наш грекороссийский». Ж. Анненк. 778. Бракосочетающиеся лица Грекороссийского исповедания ПЗС, XXI, 996. Защитительнице Святыя Православныя Грекороссийския церкви. Бров. Речи 23. См.: Словарь русского языка XVIII века. Л., 1989. Вып. 5. С. 228.

¹⁴ В разделе «Какие письма и подарки нужно посылать Великому Первосвященнику для Московского князя» во второй книге «Московия» Антонио Поссевино пишет: «Следовательно будут одобрены и охотно приняты: вещи такого же рода, некоторые большие сосуды из серебра с отделкой золотом..., также шелковые ткани, затканые золотом со своеобразным большим искусством, святые иконы, украшенные драгоценными камнями и жемчугом (на которых не должно быть изображения обнаженного тела), с надписью, сделанной греческими буквами, чтобы было ясно, что изображает эта икона, и написанные по греческому образцу» (Поссевино, 1983, с. 73). Не исключена возможность, что в данном случае и кириллические буквы Антонио называет «греческими» или «написанными по греческому образцу».

ников и указывавшие иногда на его южнославянское происхождение (см. Толстой, 1976, с. 197–199; наст. изд., с. 165–166; Кузнецов, 1958, с. 11). Изучение славянских лингвонимов не может не соприкасаться с исследованием этнонимов и терминов, означающих вероисповедание, прежде всего православное и католическое, с разработкой вопросов самосознания отдельных этнических образований и групп. Все это тесно связано с проблемами возникновения и взаимодействия конкретных литературных языков, культурных ареалов и конфессиональных институтов. В этом нас убеждает и материал, почерпнутый из сочинений Антонио Поссевино, Матвея Меховского и их современников.

Взгляды А. Н. Пыпина на историю русского литературного языка

(страничка из истории русской лингвистики)

Наш общий с Виктором Давыдовичем Левиным* научный метр, учитель, старший коллега и язвительный, хотя и внутренне благожелательный, критик академик В. В. Виноградов большое внимание уделял истории науки о русском языке. По сути дела, не изучив досконально историю научной дисциплины, в иных случаях не описав ее заранее, Виктор Владимирович не принимался за собственные фундаментальные исследования. Так была написана известная книга «Современный русский язык», состоявшая в первом издании 1938 г. из двух частей, — в первой была изложена история грамматических идей, во второй — грамматическое учение и описание самого автора; так появилась серия статей и книга по истории русских синтаксических учений и ряд других работ по истории русской лингвистической науки (Виноградов, 1938а; 1958б).

В одной области лингвистических знаний — в истории русского литературного языка, Виктор Владимирович, как будто, отступал от своего обыкновения и не предложил истории дисциплины, ограничившись в своих статьях ссылками на немногочисленные работы С. К. Булича, А. С. Будиловича, А. И. Соболевского. Может быть, он это сделал потому, что в 20-е и 30-е годы, в общем, мало ощущалась необходимость такой отдельной дисциплины, и ее как бы и не было. Была, правда, уже статья Н. С. Трубецкого «Общеславянский элемент в русской культуре», опубликованная в книге того же автора «К проблеме русского самопознания» (1927), однако, по шуточному выражению Виктора Владимировича, «эта книга стоила десять лет», и о ней писать в тридцатые годы было отнюдь не безопасно.

По сути дела, такая дисциплина, как история русского литературного языка, почти не имела предыстории. Она на-

* Статья была написана для юбилейного сборника, посвященного В. Д. Левину.

чалась как бы внезапно в конце тридцатых и серьезно заявила о себе в сороковых и пятидесятых годах и у нас, и в зарубежных славянских странах. В ее становление и возмужание внес свой ощутимый вклад и наш дорогой юбиляр Виктор Давыдович Левин. Но если действительно все случилось так, как изложено выше, то тем более интересны и значительны научные опыты и те небольшие результаты, которые были предложены и достигнуты в области истории русского литературного языка в ее «подготовительный» период.

История русского литературного языка тесно связана с историей русской литературы. Правда, такая связь характерна прежде всего для истории языка художественной литературы, которую тот же В. В. Виноградов считал отдельной лингвистической дисциплиной (Виноградов, 1960), но и процессы развития книжного стандартного языка и развития книжности и словесности, как явления культурологические, при всей их специфичности не намного отдалены друг от друга. Поэтому естественно, что такой крупный историк русской литературы, как А. Н. Пыпин, не мог обойти темы сущности и судьбы русского литературного языка в России. Показательно и то, что эту проблему он затронул и в общих чертах осветил в первой книге своей четырехтомной «Истории русской этнографии», которая была задумана и написана как часть истории русской народности, а главу о литературном языке снабдил подзаголовком «XVIII век. Наука и народность: язык народный и литературный» (Пыпин, I, с. 161).

А. Н. Пыпин в введении к «Истории русской этнографии» пояснял читателю, что «одно историческое явление великой важности мало обращало на себя внимание, — что новейшая образованность и была именно могущественным побуждением и средством к достижению того национального самосознания, которое одно может обещать полноту народного развития (...). Изучения национальные, именно изучения народа и народности с целью научным образом постичь характер и жизнь народа, как основу национальности и государства, и указать истекающие из них начала, особенности и современные потребности общественного развития — стали предметом внимания ученых и политиков только в новейшие времена европейской образованности; национально-политические движения с конца прошлого века сделали теперь эти изучения и предметом общего инте-

реса, и вопросом науки» (Пыпин, I, с. 3). При этом уместно вспомнить, что А. Н. Пыпин был ученым, воспринимавшим литературу как часть общенациональной духовной культуры и искавшим в литературных явлениях прежде всего исторический смысл (Академические школы, 1975 — см. раздел о творчестве А. Н. Пыпина, написанный А. Л. Гришуниным). В его трудах сквозь призму истории литературы выступала история русской общественности, русской культуры и русского национального самосознания. Он считал, что «история литературы входит в целую историю общества, и по литературе мы имеем возможность судить о возрастании общественного самосознания» (Пыпин, 1909, с. VII). В том же духе маститый петербургский ученый оценивал и историю литературного языка и сам литературный язык. Согласно его мнению, «литературный язык есть верное отражение умственного и поэтического содержания общества в данную эпоху, отражение тех путей, которыми это содержание развивалось, и отношений, в каких оно находилось к народной старине и настоящему» (Пыпин, I, с. 161). Аналогичным образом характеризуется и эволюция литературного языка: «История нашего литературного языка в течение прошлого века (т. е. XVIII в. — *Н. Т.*) может стать любопытным дополнением к истории реформы (Петра Великого — *Н. Т.*) со всем ее разносторонним действием на умы и нравы общества, всем новым запасом идей, всей борьбой старого с новым, их совместным существованием в жизни, и все более сильным притоком народной стихии в новую возникшую умственную жизнь» (там же). По справедливому мнению А. Н. Пыпина, литературный язык является орудием литературы, во многом определяющим ее национальный характер и поэтическую окраску. Притом для русского общества проблема создания литературного языка на народной основе была разрешена поздно, так как «у нас только в первой половине XVIII-го века поднимался тот основной вопрос литературы, вопрос о ее орудии, который в западных литературах был решен гораздо раньше: у итальянцев в XIV веке с Дантом, Петраркой и Боккачио; у англичан в XVI веке; у немцев тогда же, с Лютером; у французов в XV—XVI-ом, с литературой Возрождения. В новых славянских литературах (за исключением польской) этот вопрос усердно и часто с большими трудностями разрабатывался с конца прошлого и даже в XIX-ом столетии...» (там же, с. 172).

А. Н. Пыпина интересуют время и условия возникновения национальных литератур и в связи с этим (одновременно с этим) национальных литературных языков в Европе. Но к решению этой проблемы приступает не он, а А. С. Будилович, выпустивший два года спустя после выхода в свет пыпинской «Истории русской этнографии» (вернее, ее первого тома) монографию «Общеславянский язык» (Будилович, 1892). Позднее появление русского национального литературного языка, согласно А. Н. Пыпину, было связано с тем, что «настоящим, нормальным языком книги считался церковный, т. е., собственно говоря, та особая разновидность старославянского языка, которая образовалась с течением веков от неизбежного воздействия русского говора» (Пыпин, I, с. 162).

В принципе такой концепции придерживались почти все русские ученые XIX в. и первой половины XX в., от А. Х. Востокова до В. В. Виноградова, писавшего в 1934 г., что «русским литературным языком эпохи феодализма был язык церковнославянский» (Виноградов, 1934, с. 7)¹; см. также Толстой, 1988, с. 210–220). Как будто эта концепция господствует и в наше время и имеет, несмотря на возражения С. П. Обнорского, Ф. П. Филина и других, наибольшее распространение и признание. Однако и в прошлом, и в настоящем в рамках концепции бытования и развития церковнославянского языка на Руси ставилась проблема взаимоотношения церковнославянской и русской стихий в древнерусской книжности и в языке этой книжности. Вопрос пропорции элементов этих стихий в древнем и новом принятом на Руси литературном языке был и остается основным конкретным вопросом применительно к разным эпохам и разным жанрам книжности и устной нормированной речи. Для периода в канун петровской реформы XVIII века А. Н. Пыпин этот вопрос освещает так: «...В книжном обращении была неопределенная амальгама из двух, хотя по происхождению близких и исторически связанных, но тем не менее различных стихий. Эти стихии, церковная и народная, существовали рядом, но церковная была все-таки чужда самой жизни, и старые книжники до конца не могли выяснить

¹ Во втором издании в 1938 г. в этой начальной для всей книги фразе слова «эпохи феодализма» были заменены словом «средневековья» (Виноградов, 1938, с. 5).

себе их взаимного отношения и выработать живую литературную речь» (Пыпин, I, с. 162). Как нормальным языком книги считался церковный, древнеславянский язык, так «настоящей книгой, заслуживающей внимания, считалась только книга божественная и учительная (то же понятие о книге сохраняется до сих пор в народе, и новейшие охранители, не ведая, что творят, — любят ссылаться на это в укор либеральной литературе, которая старается довести до народа известную долю научного мирского знания). Жизнь, конечно, брала свое, и чем дальше, тем больше в книгу, или вернее в письменность врывается народный язык. Он уже издавна вошел в ту часть письменности, которая передавала реальные дела народной жизни — грамоты и договоры, дела административные и судные, законодательство, наконец, тот отдел литературы, которого при всех усилиях не могла подавить церковная книжность, — в произведения народно-поэтической письменности. Тем не менее он не был признаваем, и до XVIII века ни одно из произведений этой последней литературы не было удостоено печати, да и не помышляло этого удостоиться» (там же, с. 162–163).

В приведенном отрывке обнаруживаются два существенных положения. Во-первых, указание на непосредственную связь характера книжности с характером (или выбором) литературного языка, с определенным его типом, и, во-вторых, выделение юридического языка, языка древнерусского права и связанной с ним документации, из обширной сферы древнеславянского языка и признание в языке права преобладания древнерусских черт. Первое положение получило свое дальнейшее развитие в изучении жанровых структур и особенностей древнеславянских литератур, прежде всего древнерусской литературы (Čiževsky, 1954; Wolman, 1968; Лихачев, 1973), в выяснении специфики языка и стиля отдельных жанров и конкретных памятников, второе положение — в ряде работ, посвященных древнерусскому юридическому языку (Unbegaun, 1969; Живов, 1988).

А. Н. Пыпин умело уловил сложность и разноликость компонентно-языковых отношений в XVII в. и воссоздал литературно-лингвистическую картину допетровской эпохи. По его мнению, «образование нового языка было исторической необходимостью. Литература XVII-го века, хотя слабыми и неверными шагами, несомненно, вступала на новую дорогу: рядом со старой традиционной книжностью появи-

лись произведения совсем нового характера; возникало заметное влияние киевской школы и через нее польской литературы; появляются переводы из западных литератур — книг географических и исторических, наконец, повестей и драматических пьес. Все это вместе произвело в книжном языке чрезвычайную путаницу; он представлял бессвязную массу необработанных элементов: церковно-славянскую или русскую основу с различными варваризмами, особенно, польскими, латинскими и южнорусскими. Наконец, явилось и стихотворство с тем же вавилонским смешением языков, о котором трудно сказать, какому языку оно принадлежало больше: славянскому, великорусскому, южнорусскому или белорусскому; в то же время существовал более или менее чистый славянский язык у церковных стилистов, чистый русский язык у писателей деловых. Это было состояние брожения, где новые элементы заявляли свое присутствие, но еще не срослись ни во что органическое» (Пыпин, I, с. 164). В принципе удачно подмеченная и кратко описанная языковая ситуация слишком резко и в общем неточно оценена как «путаница», «бессвязная масса» и «вавилонское смешение», в то время как весь процесс перехода от старого к новому состоянию, процесс, способствовавший формированию не только русского (великорусского) литературного языка, но и литературных языков украинского и белорусского, на более четкой диалектной (народной) основе развивался во многом последовательно и закономерно. В XVII в. у восточных славян создавались разные модели и опыты литературного языка (литературных языков), происходила конкуренция литературно-языковых норм, обращение к различным диалектным базам. Довольно сложные соотношения литературно-языковых компонентов культурного ландшафта Юго-Западной и Московской Руси XVII века и роль церковнославянского, латинского и польского языков в формировании этого ландшафта были освещены и исследованы в работах Е. Ф. Карского, А. Мартеля, В. В. Виноградова и других намного позже небольшого очерка А. Н. Пыпина в его «Истории русской этнографии» (Карский, 1921, с. 3–16, 214–240; Martel, 1938; Виноградов, 1934, с. 18–26; Толстой, 1988, с. 52–86).

Отметим также, что А. Н. Пыпин в своей литературно-языковой характеристике XVIII века не претендовал ни на полноту, ни на всесторонность освещения вопроса. Это в осо-

бенности касается предшествующего XVIII века периода, т. е. века XVII-го и более ранних веков. Что же касается самого XVIII века, то его языковая характеристика в пыпинской книге сводится к следующему: «Язык петровского времени с его известными свойствами — тем еще неорганизованным смещением славянского и русского, обилием иностранных слов, в сыром виде вставленных в русскую речь, — в сущности не представлял никакой новой ломки языка, как обыкновенно говорят, а был только второй ступенью ранее начавшегося брожения, вторую в том смысле, что продолжалось прежнее неустановившееся положение языка, который, воспринимая новые понятия, еще не находил для них органического выражения. Но вместе с тем это было уже нечто совершенно новое, носившее в себе зародыш будущего могущественного развития» (Пыпин, I, с. 164). В этой характеристике хотелось бы подчеркнуть положение об отсутствии ломки языка, об эволюционном пути развития русского литературного языка, в отличие от революционного, скажем, сербского, пути или украинского и отчасти болгарского. Признак эволюционного и признак непрерывного развития характерны для русского языка в полной мере. В этом отношении вместе с польским и чешским языками он являет собой классический пример такого исторического пути.

Послепетровскую пору, по мнению А. Н. Пыпина, можно определить как время для «муз», время решения вопросов грамматики и стилистики, в центре которого стоял М. В. Ломоносов. Именно ему «образцом при установлении правил языка естественно представлялась общая грамматическая система европейских языков, классических и новейших», и ему же, по мнению А. Н. Пыпина, приходилось иметь дело «с материалом весьма сложным, разнородным по составу и частью совершенно необработанным». При этом «исход из затруднения Ломоносов нашел в средней мере — в простом соединении славянского и русского элементов, которые признавал как бы равноправными, или даже отдавая предпочтение церковному: различную роль их он определял не столько по основаниям филологическим и по значению русского языка в жизни, сколько по основаниям риторическим. Ломоносов представлял себе традицию употребления церковного и русского языка по трем стилям, причем церковный язык особенно служил для стиля высокого, т. е. для

всех возвышенных мыслей и возвышенных предметов поэзии, и известно, как много авторитет Ломоносова содействовал дальнейшему сохранению церковного элемента в литературном языке» (Пыпин, I, с. 168).

А. Н. Пыпин полагал, что церковный язык, будучи «историческим элементом», уравнивал структуру русского литературного языка XVIII века, языка, подвергнутого наплыву «жизненного реализма и иностранных слов». Этот «исторический элемент», пояснял А. Н. Пыпин, был так привычен, что его использование «не возбуждало никаких сомнений и было признано всеми единогласно». Что же касается народного языка, то его враждовавшие литературные авторитеты того времени продолжали считать и называть языком «подлым», допустимым только в «подлых» народных песнях и в «подлых» комедиях и подобных сочинениях, хотя нужно учитывать, что в то время слово «подлый» имело иное значение, чем в современном языке. В кругу подобных рассуждений А. Н. Пыпин обращается ко второй крупной фигуре просвещенного столетия, к Тредиаковскому. Он цитирует ряд высказываний этого русского писателя и переводчика, в том числе и известное заявление о том, что «Езда в остров любви» переведена не «славянским языком... но почти самым простым русским словом, т. е. каковым мы между собою говорим», и добавление, что «язык славянский ныне жесток моим ушам слышится, хотя прежде сего не только я им писывал, но разговаривал со всеми». Приводит А. Н. Пыпин и утверждение В. К. Тредиаковского о том, что «писать так надлежит, как *звон* требует», которое потом было повторено Н. М. Карамзиным, а затем и Вуком Караджичем в форме «пиши, как говоришь!». Весь вопрос, однако, тогда и несколько позже сводился к тому, какая социальная, общественная или литературная среда принималась за основу письменного, т. е. литературного языка. Чья устная речь могла служить образцом? Речь петербургских и московских салонов XVIII в., как полагал Н. М. Карамзин (см. Успенский, 1985, с. 156), или речь сербских пахарей и пастухов («орача и говедара») XIX в., как считал Вук Караджич? А. Н. Пыпин не оставляет без внимания и этот вопрос. Он указывает, что, по заявлению В. К. Тредиаковского, таким образцом должен был быть «язык двора, благоразумнейших министров, премудрейших священноначальников и знатнейшего дворянства» (этого мнения потом не придержи-

вался и сам Тредиаковский), и тут же поясняет, что «общество все-таки не говорило по-славянски», что в своем разговорном языке оно стремилось к среднему уровню, возникавшему «под влиянием книжного знания» и терявшему «патриархальную грубоватость народной речи». А. Н. Пыпин напоминает, что сама разговорная речь высокого общества XVIII в. еще устанавливалась и что представители этого общества и особенно законодатели нормы, по свидетельству Сумарокова, то пугались «грубого языка», то опасались «к превеликому себе посмешеству» пользоваться церковными выражениями «в любовных или геройских разговорах», то сомневались, как приличнее или изящнее сказать — *глаз* или *око*, *лоб* или *чело*, *щеки* или *ланыты*, *опять* или *паки* и т. п. (Пыпин, I, с. 169).²

«История русской этнографии» Александра Николаевича Пыпина вышла в свет столетие тому назад. За это столетие история русского литературного языка не только сформировалась как отдельная научная дисциплина, но и достигла ощутимых результатов и в теории, и в фактографии. Много из того, что было написано известным петербургским литературоведом, и в особенности то, что изложено мною в конспективном плане, видится уже общеизвестным, даже тривиальным и наивным, но вся система взглядов, взятая в целом, и внимание к отдельным деталям, точно характеризующим ту или иную эпоху и процесс становления литературного языка, — заслуживают внимания не только как факт истории науки, но и как определенная концепция, которая выдержала испытание временем и во многом созвучна современным научным взглядам. А. Н. Пыпин писал свою главу о народном и литературном языке в конце 80-х годов, тогда же, когда А. И. Соболевский работал над своей книгой о русском литературном языке (Соболевский, 1980) и

² Любопытно отметить, что еще в первой четверти XX века считали носителями русского литературного языка узкий круг русской интеллигенции. Е. Д. Поливанов писал: «Для стандартного (или «общерусского») языка дореволюционной (и довоенной) эпохи весьма нетрудно дать социальную характеристику: это внетерриториальный язык русской интеллигенции, что в одинаковой мере справедливо и для XIX и для начала XX века, но не для более ранней эпохи — XVIII века» (см. Поливанов, 1931, с. 125). К этим словам автор сделал примечание: «Как мы сейчас увидим, термин “общерусский” мог быть приложим к этому социально-групповому диалекту только условно».

П. Житецкий писал о литературно-языковой ситуации на Украине в XVII в. (Житецкий, 1889), а А. С. Будилович готовил свою книгу «Общеславянский язык», на которую потом А. Н. Пыпин откликнулся обширной рецензией (Пыпин, 1892)³. Поэтому Пыпин был вправе сказать в самом начале изложенного нами сочинения: «История нашего литературного языка со времени реформы (реформы Петра Великого — *Н. Т.*) разработана до сих пор чрезвычайно мало. Кроме книги г. Буслаева “О преподавании отечественного языка” (1844), где намечены многие вопросы этой истории; кроме старой книги К. Аксакова и новой книги г. Будиловича о Ломоносове⁴, и, наконец, кроме отдельных заметок в “Филологических разысканиях” г. Грота, не было предпринято никаких специальных работ, которые выяснили бы эту историю со времен Петра и до нашего времени. Между тем предмет исполнен интереса» (Пыпин, I, с. 161).

А. Н. Пыпин, таким образом, заложил один из первых камней в фундамент науки об истории русского литературного языка, и это не следует предавать забвению. Не следует также оставлять мысли об известном параллелизме и некоторой взаимозависимости развития русского общественного сознания и общественной мысли, русской литературы и русского литературного языка. Эта благодарная проблема еще ждет своего исследователя.

³ В рецензии А. Н. Пыпин сосредоточил свое внимание на политической стороне вопроса и не затронул его лингвистической стороны.

⁴ А. Н. Пыпин имеет в виду монографию А. С. Будиловича «М. В. Ломоносов, как натуралист и филолог» (СПб., 1871), из которой он почерпнул ряд положений и наблюдений. Другим источником сведений о языке XVIII в. ему послужила «История Императорской Академии Наук в Петербурге» П. Пекарского, равно как и сочинения В. К. Тредиаковского, А. П. Сумарокова и др.

Некоторые вопросы текстологии и публикации русских литературных памятников XVIII века*

Своеобразие задач, возникающих при современном издании (или переиздании) художественных текстов XVIII в., до сих пор не привлекало достаточного внимания. Вопрос этот рассматривался или в общем контексте эдиционных проблем литературных произведений нового времени (в этом случае господствует тенденция вообще отрицать наличие серьезных трудностей и предлагается автоматическое переведение всей системы написаний на современные нормы), или в свете текстологических проблем древнерусской литературы (такой подход чаще всего применяется к произведениям петровской эпохи). В последнем случае решения бывают, как правило, компромиссны: применяются нормы, существующие для воспроизведения средневековых текстов, с некоторыми «послаблениями» в сторону модернизации.

Целью настоящей статьи является доказательство тезиса, согласно которому текстолого-эдиционные проблемы литературы XVIII в. (вернее, литературы между Петром I и Пушкиным) являются вполне самостоятельными и в определенном смысле уникальными, что невнимание к этим проблемам наносит ущерб научно-историческому пониманию текстов и в конечном счете приводит к тому, что читатель, интересующийся русской литературой XVIII в., получает в руки произведения, напоминающие полученную из чистки одежду: все как будто в порядке и очень похоже на первоначальный вид, но краски несколько полиняли, свежесть и новизна утрачены.

С самого начала следует подчеркнуть, что спор не идет о том, следует ли в современном издании максимально сохранить «внешний вид» текста XVIII в. или стремиться к предельной модернизации. Такая постановка вопроса таит в себе ошибку, и любой ответ на нее будет ложным. Стремление к безоговорочному и полному сохранению внешнего вида текста XVIII в. может парадоксально приводить к сдвигу

* Статья написана в соавторстве с Ю. М. Лотманом и Б. А. Успенским.

его значений. Когда современное библиофильское издание копирует не только шрифт, но и бумагу XVIII в., оно вводит в текст дополнительные значимые элементы. Внешний вид бумаги, находившийся для автора и современника (как правило) за пределами текста, вводится в текст, получает значение, которое иногда даже выходит на первый план (значение «подлинности» или «древности», естественно, отсутствовавшее у современника и глубоко захватывающее библиофила).

Вопрос должен ставиться иначе: все, что для автора и его читателей входило в текст, т. е. несло значения, было нагружено смыслом, все, что связано с культурной, идеологической, стилистической характеристикой памятника, должно быть сохранено или адекватно передано. Все, что составляет нейтральную по отношению к смыслу систему средств передачи значений, может и должно быть переведено в систему, привычную для современного нам читателя. Специфика и трудности публикации во многом сродни проблемам, возникающим при переводе художественного текста.

Такая постановка вопроса вряд ли кем-либо будет оспорена. Трудности начинаются позже. Дело в том, что соотношение смысловых и формальных элементов текста не есть нечто раз и навсегда данное и неизменное — оно глубоко исторично. Его нельзя приписать тексту *a priori*, а можно лишь извлечь из изучения культурных и художественных представлений эпохи, привлекая высказывания критики, материал полемики и автопризнаний писателей. Прежде чем составлять ту или иную издательскую инструкцию, необходимо проделать исследовательскую работу. Положение это, верное всегда, приобретает особенный смысл, когда мы обращаемся к произведениям художественной литературы русского XVIII в.

Вопрос о том, что и в какой мере значимо в ту или иную эпоху, определяется всей культурной ситуацией времени. Однако для литературы — словесного искусства — особую роль получает соотнесенность с этапами развития языка. Из всех сложных коллизий, возникающих в этой связи, нас в данном случае интересуют те, которые присущи эпохам складывания национального литературного языка как единой, упорядоченной, описанной в целом ряде метатекстов системы. Эпохи эти, как правило, совпадают с периодами мощного культурного подъема и характеризуются тем, что

чисто лингвистические проблемы теряют в это время свой специальный характер, выдвигаются на авансцену общественной борьбы, превращаясь в знамена, под которыми бьются деятели разных идейно-культурных лагерей. Как невозможно понять русского церковного раскола XVII в., если видеть в дву- или трехперстном крещении лишь то значение, которое приписывал обряду либеральный историк-позитивист второй половины XIX в., так нельзя понять и русской культуры XVIII в., если рассматривать яростные споры по вопросам грамматики, орфографии, пунктуации и проч. как внешние по отношению к основным конфликтам духовной жизни.

Период складывания нормы, борьбы за то или иное ее оформление, с одной стороны, и время устоявшихся кодификаций, с другой, дают принципиально различные представления о том, что в той или иной системе является внешним и формальным и что органически связано с основами культуры и не может быть изменено без смысловых потерь, сдвигов или полного разрушения содержания. Хорошим рабочим критерием, который может предостеречь от субъективного решения вопросов, является следующий: во всех случаях, когда мы можем установить, что авторское решение было результатом сознательного выбора, что возможны были другие решения, но они переводили бы текст в иной семантический, жанровый, стилистический (вообще — культурный) план, мы можем говорить о смысловой насыщенности того или иного элемента текста, его значимом, неформальном характере для создателя. Во всех случаях, когда тот или иной аспект текста вызывает активную читательскую реакцию — полемику или восхищение, делается предметом специальных дискуссий, критических боев, задевает читательские эмоции, т. е. становится знаком позиции аудитории, он не может трактоваться как внешний и отбрасываться современным издателем как якобы лишенный значения. Конечно, мы можем воспринимать те или иные тексты, не давая себе труда разобраться в смысле тех боевых знамен, которые авторы расставили перед фронтом своих словесных армий. Можно читать (и любить) «Горе от ума», ничего не зная о борьбе Грибоедова с сентиментальной школой Карамзина—Жуковского и не замечая его полемических стрел, можно смотреть на сцене «Бедность не порок» и ничего не слышать о славянофильстве и «молодой редак-

ции» «Москвитянина». Но к такому ли обедненному и анти-историческому восприятию следует стремиться?

XVIII век — век борьбы и конфликтов, а не устоявшихся незыблемых норм и догм, как его часто рисует себе сознание поверхностного наблюдателя. И специфика его, в частности, в том, что важным полем сражения был русский язык. Все, что касалось языка, представлялось исполненным значения — здесь не было внешнего или незначимого. Ниже мы постараемся доказать на ряде примеров, сколь значимыми казались те аспекты текста, которые послепушкинская норма отнесла к формальным и лишённым самостоятельного значения.

Кроме того, сама борьба за язык не была самоцелью или деятельностью обособленной, автономной — она оказывалась включенной в единое движение за перестройку всей системы литературы как целого, в движение, знаменующее собой окончательный переход от древнеславянской «книжности» к новой для своего времени и современной «литературности», к беллетристике. Переход от одного языкового узуса к другому был связан с необходимостью построения новой жанровой системы, светской системы литературных сочинений, характерной для XVIII в. и резко отличающей его от веков предшествующих. В этом отношении довольно яркую и характерную для культурного ареала *Slavia Orthodoxa* (ареала, в котором в прошлом бытовала единая древнеславянская литература или книжность) ситуацию демонстрирует сербский XVIII в. и начала XIX в., т. е. так называемая «докараджичевская эпоха». Обращение к сербскому материалу XVIII в. для русиста и слависта интересно и показательно потому, что сербская литература XVIII в. может быть рассмотрена как суженная проекция русской литературы той же поры, в которой все процессы, соотношения и результаты и в тематическом, и в жанровом, и в стилистическом, и в языковом отношении оказались аналогичными или изоморфными. Однако в сербском XVIII в. все они выразились рельефнее, ретушированное, обнаженное из-за значительно меньшего числа произведений, из-за редуцированности некоторых важных с художественной (а не структурной) стороны детализирующих моментов, из-за отсутствия того богатого внелитературного и литературного фона, который характерен для литературы французского XVIII в. и в несколько меньшей мере для русской литературы той же

поры. Таким образом, сербский XVIII век указывает нам на те особенности русского XVIII в., которые из-за обилия материала, форм и сложности отношений оказываются для нас или скрытыми, или несколько затуманенными. К ним относятся и вопросы русской орфографии и графики, выступавшие в сербской литературной и филологической традиции неизменно на переднем плане. Вот почему мы позволим себе подкрепить наши рассуждения о русском литературном языке XVIII в. обращением к сербской литературно-языковой ситуации.

Одним из первых вопросов, который следует здесь рассмотреть, является проблема графики, поскольку она вводит нас в самую суть дела, так как именно графика представляется современному издательскому сознанию бесспорным примером внешнего, не относящегося к сути дела аспекта текста, который якобы может безо всякого ущерба модернизироваться. Однако стоит хотя бы поверхностно ознакомиться с материалом, чтобы стало очевидно: именно графика делается в XVIII в. первоочередным знаком культурного самоопределения текста. Вряд ли нужно напоминать, что культурное оформление русского века Просвещения началось с реформы, касающейся именно графики — разделения шрифта на церковный и гражданский. Важно отметить, что аналогичное противопоставление имело место и в предшествующий период, но только в XVIII в. оно сделалось существенным знаком культуры.

Так, например, в немецком руководстве для изучающих русский язык Тенни Фенне (1607 г.) различаются два вида начертаний букв, употребляемых русскими. Одни, по данным автора, применяются для выражения «божественных, или царских, или господских вещей», а другие — для «предметов адских и низменных» (Tönnies Fenne, 1961, p. 23). Но только после реформы графики в 1710 г. сложилось положение, при котором тип текста однозначно определял вид графики — церковный или гражданский. Показательна в этом отношении неудача Третьяковского, пытавшегося напечатать церковным шрифтом светский текст (Пекарский, 1873, с. 203–205).

Примеры такого рода мы встречаем и позднее. Когда в 1830 г. вышел «Юрий Милославский» М. Н. Загоскина, в котором слова «часть первая», «часть вторая» и т. п. были набраны церковными литерами, Синод определил: «Сооб-

щить куда следует, что Священный Синод употребление в романе или других светских книгах церковной печати, существующей для одних богослужебных и духовного содержания книг, находит неприличным» (Котович, 1909, с. 294). В 1912 г. книга стихов В. Нарбута «Аллилуиа» была конфискована только потому, что она была набрана церковным шрифтом. Напротив, в 1843 г. Синод не разрешил печатать службы преп. Арсению Коневскому гражданскими буквами, «так как все службы святым угодникам печатались и печатаются церковными буквами» (Котович, 1909, с. 216–217; ср. Сове, 1970, с. 36–37). О культурной значимости этой границы может свидетельствовать письмо Пушкина Плетневу после получения известия о смерти Александра I: «Я пророк, ей-богу пророк! Я Андрея Шенье велю напечатать церковными буквами». Смысл цитаты таков: стихотворение «Андрей Шенье» со словами «Падешь, тиран!» прежде было поэзией и, следовательно, требовало гражданской печати, теперь оно сделалось пророчеством, и его следует перепечатать церковными буквами.

У южных славян — сербов и болгар, однако, так же как и у карпатороссов (карпатских украинцев), употребление церковнославянского шрифта для светских книг, помимо церковных, было известно и в начале XIX в. Столь долгую жизнь церковной кириллицы можно объяснить ее большей противопоставленностью латинскому алфавиту, чем русской «гражданки»; соответственно в Сербии гражданский шрифт связывался в свое время с обвинениями в униатстве (см. Радойичич, 1966, с. 57). Сопротивление латинизации было настолько сильным, что в XIX в. введение Вуком Караджичем йота в русскую «гражданку» (вместо *й* и лигатур *я*, *ю*) воспринималось как недопустимая уступка и сам *ј* назывался «бесовским». Первой сербской книгой, печатанной «гражданкой», была «История о Черной Горы» Василия Петровича, выпущенная в Петербурге в 1754 г. Академией наук, затем следовала «Каллиграфия» Захария Орфелина (Карловац, 1759) и «Латинский букварь» того же автора (Венеция, 1766). «Гражданка» с трудом и постепенно входила в узус православных южных славян, и то лишь потому, что была освящена авторитетом русской культуры и литературы.

Не менее показательны проходящие через весь XVIII в. споры о характере русского алфавита, числе и начертании букв, протекавшие с исключительным ожесточением и мар-

кировавшие литературные лагеря. Сумароков ввел особое понятие — антоним орфографии — «кривописание», куда включал как равноправные: употребление осуждаемых им графических начертаний, плохой стиль и дурные мысли — все эти явления стояли для него в одном ряду. Связь между понятиями «литература» и «литера» ощущалась как живая и значимая. Поразительно эмоциональное отношение к тем или иным графемам, безусловно исключавшее восприятие их как нейтральных в общественной и культурной борьбе. Когда Карамзин в «Аонидах» ввел букву *ѣ*, это вызвало резкую реакцию со стороны его литературных противников. Показательно, что эта буква настолько раздражала Шишкова, что он — один из первых сановников государства — собственноручно выскабливал точки над *ѣ* в принадлежащих ему книгах (см. Письма, 1867, с. 5–10, 12–13, 16; Шишков, 1824, с. 26). Следуя Шишкову, Российская Академия еще в 1820-е годы считала употребление буквы *ѣ* «погрешностью, к порче языка клонящейся» (Левкович, 1978, с. 156). По употреблению *ѣ* или *іо* читатель сразу же узнавал, с карамзинистом или шишковистом он имеет дело.

Современный издатель склонен видеть в написаниях типа *щастие* или *мущина* простое следование устарелой норме и без колебаний заменяет их на *счастье* или *мужчина*. Однако XVIII век знал замену *щ* на *сч* (или иногда *шч*). Но вопрос этот не отражал рутинного следования школьным правилам — он был предметом острой борьбы, делил литературный мир на партии. Спор этот был начат еще Татищевым, в него энергично включился в середине века Сумароков. Даже в конце 1820-х годов литератор пушкинской поры Филимонов решительно отказывался рассматривать написание *счастьѣ* вместо *щастьѣ* как нейтральную замену:

В нем слова и червя в замену
Я букву *ща* пишу одну...
Иные пусть ползут червями,
Куда ползти им суждено;
А я остануся — со щами...

(Поэты, I, с. 709).

Еще более значимыми оказались споры по вопросам орфографии.

В средние века орфография считалась первоосновой литературного языка, организующим его началом, как в наше

время фонология (фонетика) представляется первичной структурой устной речи, а орфоэпия — фундаментом ее нормативности, ее культуры. Реформы Яна Гуса, как известно, касались не только религиозной и социальной сфер, но и сферы языковой. Они начинались именно с правописания, и свой знаменитый лингвистический трактат ректор Пражского университета назвал «*De Orthographia bohemica*» (Прага, 1422). В ту же эпоху, но в другом культурном ареале — греко-латинском — Константин Философ (Костенечский) пытается кодифицировать и обосновать книжный узус церковнославянского (общеславянского) языка в своем трактате «О письменехъ». По меткому замечанию И. В. Ягича, «неустановившееся правописание в сербской письменности казалось Константину гораздо значительнее тех недостатков в церкви христианской, против которых был когда-то созван местный церковный собор в Кесарию» (Ягич, 1885–1895, с. 380). В начале XVII в. (18 февраля 1627 г. по ст. ст.) в Москве, в Книжной палате, игумен Илья и справщик Григорий спорили по велению патриарха Филарета с протопопом «из Литвы» Лаврентием Зизанием. В этом споре говорилось, что «единым словом (т. е. буквою) ерес о божествѣ вводится», что «есть де иная разнь в писменах между образа и образов, инде де надобно оник маленкой а инде де болшой», с той же страстностью и догматичностью, как и «о божествѣ і воплощеніи, о страсти господни и о всяком дѣйствѣ христианского закона» и т. п. (Прение, 1859, с. 81, 86, 87). XVIII век не отменил этого пиетета, этой «знаковой значимости» орфографии, он лишь подчинил ее функцию не богословско-догматическим, а своим, светским целям. В этом и одно из его отличий от предшествующих эпох. И даже в начале XX в. некоторые слависты не без основания считали, что история литературного языка — это прежде всего история орфографии, так как за ее разными внешними «знаками» скрывались разные сущности. Именно так и рассуждал известный хорватский славист Т. Маретич, когда писал свою монументальную «Историю хорватского правописания латинскими буквами» (см. Maretić, 1889).

Кодификация русского литературного языка началась именно с орфографии. Поскольку процесс этот протекал как сознательное размежевание с церковнославянской традицией, выдвинулся принцип фонетического написания (Адодуров, Третьяков) (см. Успенский, 1975). Однако единой

национальной нормы на протяжении всего XVIII в. не было — она заменялась полемикой и борьбой. Выбор того или иного типа написания неизбежно связывался с принадлежностью к тому или иному из спорящих лагерей. В результате возникала ситуация, при которой по всем узловым вопросам орфографии существовали параллельные, дублетные формы, и выбор той или другой из них становился актом сознательного авторского самоопределения.

Употребление прописных и строчных букв представляется современному издательскому сознанию подчиненным однозначным и формальным правилам. Иным это выглядело в перспективе XVIII в. Прежде всего само это разграничение (не в начале фразы, а, например, в именах собственных) появилось относительно поздно и свидетельствовало об определенной культурной ориентации. В. Е. Адодуров в 1731 г. сообщает, что различие между прописными и строчными буквами соблюдается в русском языке лишь теми, кто особенно привержен к латыни (см. *Anfangs-Gründe*, 1731, S. 6 отд. пагинации). Можно полагать, что это различие непосредственно связано с распространением юго-западнорусской книжности. Воспринимаясь в XVIII в. как новшество, различие это оказалось в высшей мере маркированным и связанным с разными типами культурного самоопределения. Это обусловило и ряд горячих споров о «правильном» употреблении таких букв. Определились две тенденции. Одна стремилась ограничить смысловую роль прописных букв, сведя их к знаку начала фразы, другая ориентировалась на использование их для выражения разнообразных значений и в качестве интонационного знака. Решительный сторонник первой позиции А. П. Сумароков писал: «Я не знаю, дельно ли еще и то, что мы большими литерами все свои страницы излишно шпикуем: а по Правописанию нашему, большие литеры ставятся только после Точек, во начале сочинения, и должны они еще ставиться при каждой строке в начале стиха. И само имя Бога везде ставилось с малой литеры Б, ежели не в начале и не после Точки. Большие литеры введены и в почать; но я не ведаю, дельно ли ето: и не пристойняе ли вместо превеликих литер изображати почать несколько крупными и отменными литерами, как обыкновенно у Французов: а мы великостию литер и Немцов перещеголяли» (Сумароков, 1787, с. 35–36). Здесь интересно указание на связь одной тенденции с французской, а

другой — с немецкой культурной ориентацией. Но еще более интересно, что публиковавший этот текст Новиков расставил в нем прописные буквы прямо противоположным Сумарокову образом: не только *Бог*, но и *Точка*, *Французы*, *Немцы* были напечатаны им с прописных букв. Последнее обстоятельство особенно примечательно еще и потому, что прямо ведет нас к сложной поэтике прописных букв, разработанной Карамзиным. Карамзин не просто «шпиковал» свои сочинения прописными буквами, отводя им значительное место в своем доведенном до степени виртуозности музыкальной партитуре тексте, он разработал сложную систему использования прописных букв. С их помощью передавалась в его произведениях целая гамма значений. Написания типа *Натура* (или *натура*), *Поэзия* (или *поэзия*), с его точки зрения, имеют различное значение. «Шекспир, Натуры друг!» Карамзина и «езде мечтания, а натуры ни на волос» Грибоедова, конечно, дают принципиально различные значения слова «натура». Показательно, как от издания к изданию «Писем русского путешественника» Карамзин колебался между написаниями *революция* и *Революция* и остановился на последнем.

Однако в свете новиковской публикации делается ясен еще один аспект вопроса: карамзинское употребление строчных букв, вплоть до написаний типа *Француз* или *французский*, оказывается связанным с новиковской традицией¹, что, конечно, улавливалось современниками. Можно полагать, что связь эта имела демонстративный характер. Замена в современных изданиях все «аномальные», с нашей точки зрения, прописные буквы у Карамзина строчными, мы совершаем совсем не формальную и не безобидную трансформацию текста — из новиковской языковой традиции Карамзин искусственно перемещается в сумароковскую. Пренебрежение историзмом мстит за себя.

Не имеет смысла перечислять огромное число свидетельств того, что орфографические проблемы занимали в сознании культурного человека XVIII в. не то скромное место, которое отводится им в сознании современного нам человека, а сопоставлялись с важными государственными делами.

¹ В данной связи для нас несущественно, на какую традицию опирался в этом вопросе сам Новиков. Рассмотрение этого увело бы нас слишком далеко.

Ограничимся лишь одним, но ярким примером. Объявляя о своем выходе из Академии наук, Третьяковский в 1758 г. писал: «Невидимый в лице, презираемый в словах, уничтожаемый в делах, прободаемый сатирическими рогами, изображаемый чудовищем, еще и во нравах (что сего бесовеснее?) оглашаемый, всеж то или по злобе, или по ухищрению, или по чаянию от того пользы, или наконец его собственной потребности, чтоб употребляющего меня праведно и с твердым основанием “и” в окончаниях прилагательных множественных мужеских целых всемерно низвергнуть в пропасть безславия, всеконечно уже изнемог я в силах бодрствования: чего ради и настала мне нужда уединиться» (Пекарский, 1873, с. 208–209). Третьяковский, столько сделавший для русской культуры и литературы, видит главную свою заслугу в утверждении частного орфографического правила! Не следует рассматривать этот вопль как комический педантизм кабинетного ученого: вопрос о правописании прилагательных во множественном числе вызывал на протяжении десятилетий горячие дискуссии, язвительность которых Третьяковским не преувеличивалась.

Для того, чтобы занять правильную позицию в отношении к графике и другим, так называемым «формальным» сторонам языка писателей XVIII в., необходимо встать на точку зрения историзма и оценить их деятельность с позиции их собственных критериев. Смысловая нагруженность тех элементов текста, которые мы привыкли рассматривать как формальные и не связанные со смыслом, выглядит в перспективе наших привычных представлений как усложнение текста, внесение в него некоторого момента иррациональности. Однако с позиций культуры XVIII столетия дело обстояло прямо противоположным образом и питалось пафосом упрощения и рационализма, в основе которого лежало отталкивание от культуры барокко с его стремлением превратить смысловые элементы текста в орнаментальные. Писатель XVIII в. считал, что он упрощает графику, отказываясь от построения литературного текста по законам графического орнамента, отказываясь от многоцветности страницы и заменяя весь комплекс разнообразных искусств, трудами которых создавался лист в рукописи барокко, строго словесным текстом, пользующимся средствами только языковой поэтической выразительности. Слово становилось только словом — оно переставало быть рисунком. Но зато

требование «быть словом», т. е. нести значения условной выразительности, приписывалось и всем компонентам слова на всех уровнях. От начертания буквы до выбора грамматической формы ничто не могло употребляться «так просто», все должно было иметь смысл, рациональное объяснение, нечто обозначать. Все в языке принадлежало сферам семантики и стилистики.

В свете сказанного следует решительно расширить применительно к текстам XVIII в. сферу объектов, рассматриваемых в связи с проблемами стилистики. Поскольку далеко не все, что выполняло активно стилистическую функцию в XVIII в., играло такую же роль в литературе XIX в., исследователи часто упускают из виду многое из того, что являлось высоко отмеченным для авторов и читателей. Стилистическая ситуация резко меняется в зависимости от того, имеем ли мы дело с эпохой, в рамках которой существует несколько языковых (в том числе и орфографических) норм, между которыми осуществляется выбор, или периодом господства какой-либо одной нормы, внутри которой писатель реализует свое построение. XVIII век относится к первой. При этом следует учесть исключительную динамичность в смене норм XVIII в. На протяжении пятнадцати—двадцати лет ситуация в области языковых норм в России XVIII в. претерпевала, как правило, значительные изменения. Так, например, в 1773 г. В. П. Светов издает «Опыт нового российского правописания». Считая свою систему «новой», автор противопоставляет ее «старинному правописанию», имея в виду нормы, которые отделены от выхода его книги всего двадцатью годами!

Поскольку основная стилистическая ситуация XVIII в. определялась противопоставлениями: «высокое/низкое», «славянское/русское», «книжное/просторечное», «абстрактное/конкретное», — вся система орфографических средств втягивалась в поле этих значений. Ярким примером является использование дублетных форм *ый/ой* в прилагательных мужского рода. Сочетание типа «маленький сарай» с позиции Ломоносова было бы воспринято как невозможный стилистический ляпсус. Позиция Ломоносова в данном случае отличается от позиции Сумарокова и его последователей. Характерен спор об употреблении пары «благий/благой». Сумароков писал, что слово «благий» знаменует у черни и у невежд *дурный*» (Сумароков, 1787, с. 29), т. е. он допускал

двойное значение этого слова: «блаженный» в высоком стиле и «глупый» — в низком при одинаковом оформлении славянским окончанием «ий». Следуя такому употреблению, ученик А. П. Сумарокова И. И. Елагин писал:

Благий учитель мой, скажи, о Сумароков!
(Поэты, II, с. 372).

Употребление это вызвало резкий протест со стороны Ломоносова, который считал необходимым дифференцировать окончания в зависимости от смысла: «Благий (blahji) bonus (добрый). Благой (blagoi) fatuus (глупый)» (Ломоносов, 1952, с. 619). Соответственно в письме к И. И. Шувалову он писал по поводу елагинского стиха: «*Благий* по-славянски *добрый* знаменует, и по точному разумению писаться надлежит до божества, как оное свидетельствует: “Никто же благ, токмо един бог”. Я не сомневаюсь, что А.(лександр) П.(етрович) боготворить таким образом себя не позволит. Итак, одно нынешнее российское осталось знаменование: “благой” или “блажной”: нестерпимая обида!» (Ломоносов, 1957, с. 494).

Контроверзы по этому вопросу проходят через всю литературу XVIII в. Стилистическая реформа Карамзина не только не отменила, а, напротив, усложнила систему значений прилагательных на *ий-ий/ой*. В «Письмах русского путешественника» мы находим настоящую стилистическую партитуру, построенную на этом противопоставлении: «деревенской Проповедник, в рыжем парике», но «великий Лейбниц», «проницательный Лейбниц». Разительны примеры вроде описания внешности Канта: «Меня встретил маленькой, худенькой старичок, отменно белый и нежный». Двойственность портрета Канта: «маленькой старичок» и мудрец, друг людей, кабинетный мыслитель — раскрывается антитезой окончаний прилагательных.

Сербские источники дают нам любопытные дополнительные факты. Русская по своему происхождению форма с *-ой* совершенно неизвестна южнославянским языкам. Однако в XVIII в. она проникает в литературный язык сербов, в частности оказывается широко представленной в известном произведении Захария Орфелина «Житие и славные дела Государя Императора Петра Великого Самодержца Всероссийского» (Венеция, 1772). Естественно, в противопоставлении общеязыковой и общедиалектной форме на *-ий* в южнославянской среде форма на *-ой* воспринималась как книжная и

возвышенная. Но в русском переиздании той же книги (СПб., 1774) в результате «исправления слога», сделанного коллежским секретарем Василием Алексеевичем Троепольским, формы типа *дикой* (*дикой народ* и т. п.) были заменены на книжные и южнославянские по своему происхождению формы *дикій* и т. п. (см. Толстой, 1962, с. 18–21; 1988, с. 103–106). Как известно, под влиянием орфографии эта форма возобладала и в современной русской орфоэпии.

Остановимся на еще одном примере стилистической роли орфографии. В текстах XVIII в. почти постоянным является написание *русской*. Современный издатель, видя здесь простую графическую условность, повсеместно «исправляет» написание на принятое теперь *русский*. Но в XVIII в. этноним *русской* имел стилистическую разговорную окраску, противостоя книжно-высокому *Росс* (или *Россиянин*). Именно в написании *с — сс*, как и в фонетическом противопоставлении *у — о* (*Русь — Россия*), выражалась оппозиция нейтрального, разговорного, бытового стиля (стилистические оттенки у разных авторов менялись) и возвышенного, поэтического. Поэтому Карамзин писал «русской путешественник», но «история государства Российского». В XVIII в. естественно было слышать «русской язык» и читать «российскаго языка грамматику». Карамзин не мог ни соединить в этом слове фонему *у* с двойным *с*, ни присоединить к корню *рус* церковнославянскую флексию *ий*. Это была бы для него стилистическая какофония. Равным образом и В. Е. Адоурову форма *русский* представляется определенно неправильной. Написание этого слова с одним *с* наблюдается и у Тредиаковского (Успенский, 1975, с. 202). Примечательно, что еще Даль дает лишь форму *руский* (с одним *с*, стилистическое ощущение окончания уже утратилось), указывая: «Только Польша прозвала нас *Россией, россиянами, российскими* по правописанию латинскому». И с возмущением добавляет: «... а мы переняли это, перенесли в кириллицу свою и пишем *русский!*» (Даль, IV, с. 114). Объяснение Дале неточно (см. Фасмер, III, с. 522–523), но исключительно показательное.

Существенные трудности возникают при попытках перевода пунктуационной системы памятников XVIII в. на современные нормы. Еще в 1933 г. Б. В. Томашевский опыт такой перестройки сопроводил скептическим резюме: «Часто самое строение фразы таково, что оно не может быть вы-

ражено знаками препинания, расставленными по правилам нашего времени» (Томашевский, 1933, с. 8).

Это замечание Б. В. Томашевского тем более верно, что современная русская пунктуация вслед за немецкой строится на строго грамматическом принципе, в то время как французская пунктуация и следующие ей пунктуации ряда других литературных языков (в частности, сербского) опираются на так называемый логический принцип, для которого характерна большая свобода действия и факультативность пунктуационного знака во многих позициях, большая зависимость от логического акцента и индивидуального подхода к актуальному членению предложения и текста. Следует отметить, что довольно свободный «французский принцип» был ближе к древнерусскому, для которого характерна и значительно меньшая употребительность, и даже число знаков препинания. Затем у русских постепенно возобладал более четкий и жесткий принцип — «немецкий»². Совершенно очевидно, что в XVIII в. конкуренция пунктуационных узусов и потенциальных норм отражала те же разные тенденции в литературном языке и литературе, что и конкуренция и борьба орфографическая.

Следует учитывать, что в пунктуационной системе индивидуальные черты проявляются наиболее ярко. Характерно, что еще и сейчас в этой области для художественного текста сохраняется значительно большая свобода индивидуальной выразительности, чем в сфере орфографии. Для XVIII в. это безусловный закон³.

Говоря о пунктуации художественного текста, Александр Блок писал: «Душевный строй истинного поэта выражается во всем, вплоть до знаков препинания». «Мы не можем говорить вполне утвердительно, ибо не сверялись с рукописями, — пишет далее Блок, имея в виду стихотворения Аполлона Григорьева, — но смеем думать, что *четыре точки* в

² Очевидно, что применение разных типов пунктуации не связано с типом языка, как показывает пример русского и сербского языков или турецкого, пользующегося французским принципом, и азербайджанского или казахского, следующих в основном правилам, выработанным для русского языка.

³ Расстановка знаков препинания в соответствии с общими каноническими правилами часто оказывается невозможной и за пределами XVIII в. Тексты таких писателей, как Гоголь, Достоевский, Андрей Белый и мн. др., подобной операции не поддаются.

многоточии, упорно повторяющиеся в юношеских стихах и сменяющиеся позже *тремя точками*, — дело не одной типографской случайности» (Блок, 1962, с. 515).

Высказывание Блока, соединявшего чуткость поэта с навыками филолога, знаменательно: даже там, где Блок не может уверенно сказать, какой смысл имеет та или иная черта внешности текста, он предполагает наличие такого смысла и бережно предостерегает от самоуверенного вмешательства в текст. Как это далеко от психологии некоторых из современных издателей, самозванно присваивающих себе права соавторства и считающих, что во всех случаях, когда мотивы автора им непонятны, они могут вмешиваться в текст, править его, обучая классиков грамотности.

Замечание Блока о высокой значимости пунктуации в художественном тексте приобретает особое значение применительно к произведениям XVIII в. Пунктуация в XVIII в. была связана не столько с синтаксисом, сколько с риторикой: ее средствами выражались значения, которые невыразимы современной пунктуацией: интонация, границы между периодами, ритмика и проч. Риторическая и метрико-интонационная природа пунктуации делала ее высоко индивидуальной.

Так, например, Тредиаковский около 1755 г. вводит графическую систему передачи фразовой интонации, выражающуюся в системе дефисов, сочетающихся с выделением ударного слова. Эту систему он последовательно и с исключительным упорством проводит во всех своих сочинениях, даже в частных письмах (см. Пекарский, 1873, с. 177). Нужно ли говорить, что вся эта система, отражавшая не только графику, но и интонацию текста, в которую Тредиаковский, по его собственным словам, был «влюблен», называл «всего нашего провозглашения (декламации) жизнью и душою», в современных изданиях просто снимается.

Черты индивидуальной пунктуации присущи и Радищеву и Державину. Но с особенной яркостью проявляются они в произведениях Карамзина. Именно Карамзин разработал систему курсивов, разрядок и индивидуальных знаков (типа нескольких тире подряд), имеющую целью передачу ритмико-интонационного строя текста. В этом смысле он подготовил графику Жуковского и Пушкина. Г. А. Гуковский писал: «Жуковский неизбежно прибегает к внесинтаксическому, внеграмматическому средству выделения слова — к

шрифту в печати; он выделяет слово-символ, выпавшее из обычных связей речи, значащее больше, чем оно может значить просто в контексте, курсивом, внешним подчеркиванием. Он должен это сделать, чтобы показать, что это слово — не слово, а целая тема, что оно — знак огромных смыслов» (Гуковский, 1965, с. 67).

Пунктуация XVIII в. не только индивидуальна — она динамична: в «Путешествии из Петербурга в Москву» система знаков иная, чем в «Дневнике одной недели», в «Письмах русского путешественника» — другая, чем в «Сиерре-Морене» или «Острове Борнгольме». Однако всегда она результат продуманного и сознательного авторского решения.

Из сказанного вытекает сложность проблем, которые возникают при переиздании литературных памятников XVIII в. Сложность эта усугубляется тем, что мы не имеем достаточно полных и солидных исследований по таким вопросам, как история русской орфографии и пунктуации XVIII в. Это диктует сугубую осторожность в установлении безболезненных границ модернизации.

Просмотр существующих изданий убеждает нас в том, что неясность теоретических проблем имеет прямым следствием неразбериху в издательской практике. Фактически речь должна идти не о том, чтобы отменить какие-то существующие правила, поскольку реально никаких единых правил не существует, а об установлении последовательного и действительно единого подхода к воспроизведению текстов.

В советских изданиях произведений XVIII в. мы можем выделить такие случаи (речь идет лишь о научных и научно-массовых изданиях):

1. Издания типа академического полного собрания сочинений А. Н. Радищева, в основе которых лежит достаточно осторожное отношение к орфографии памятника. В основу издания положены следующие принципы: все тексты, известные нам по изданиям, предпринятым самим Радищевым, или дошедшие до нас в его автографах, воспроизводятся с точным соблюдением орфографии и пунктуации оригиналов (допускается лишь замена букв, устраненных реформой 1917 г., и устранение конечного «ъ»); тексты, известные нам по публикациям других лиц (сыновей Радищева и Мерзлякова, Новикова) и по неавторизованным копиям, даются в современной орфографии. Однако и в этом случае модернизация производится весьма осторожно: «все те написания,

которые имеют сколько-нибудь специфический характер (например, чередующиеся *-ый* и *-ой* в окончаниях прилагательных, заглавные буквы)», все же сохраняются, «так же как все характерные особенности пунктуации (например, обильные тире)» (Радищев, 1938, с. 442).

Аналогичные принципы положены в основу изданных И. П. Ереминым «Избранных сочинений» Симеона Полоцкого (в серии «Лит. памятники») и «Сочинений» Феофана Прокоповича.

На сходных позициях, хотя и не столь твердо, стоят издатели VIII тома академического полного собрания сочинений Ломоносова (остальные тома изданы с последовательным переводом на современную орфографию): «Главная редакция (...) решила сохранить во всех текстах восьмого тома орфографию Ломоносова, передавая ее средствами современной графики (...) Что касается пунктуации, то, как и в других томах настоящего издания, знаки препинания расставлены по существующим в настоящее время правилам, за исключением только тех случаев, когда строй ломоносовского предложения не соответствует нормам теперешнего русского синтаксиса» (Ломоносов, 1959, с. 862).

Разница в подходе к орфографии и пунктуации представляется спорной, но в целом этот тип издания ориентирован на посильную осторожность и точность в воспроизведении текста.

2. Издания типа басен Крылова в серии «Лит. памятники» (М.—Л., 1956). В отношении к орфографии издание это основано на сбивчивых и противоречивых принципах: текст переведен частично на современную орфографию, частично сохранены особенности орфографии прижизненных изданий. Мотивировка решений дается лишь суммарная, в каждом отдельном случае причины предпочтения того или иного написания не определяются.

3. Примерами полной модернизации могут служить ряд изданий «Библиотеки поэта». Так, например, в прекрасном по научному аппарату издании «Избранных произведений» Тредиаковского (М.—Л., 1963) «орфография и пунктуация текстов приближены к современным». Правда, рядом читаем: «Сохранены только те особенности написания, которые имеют произносительное значение» (Тредиаковский, 1963, с. 468), но рассмотрение убеждает, что это обещание составителями нарушается (не говоря уже о том, что сводить

значимую сторону текста для Третьяковского к «произносительной» нет никаких оснований).

Гораздо чаще, однако, встречаются издания, непоследовательно совмещающие все три названных типа. Неопределенные выражения вроде «печатается по современной орфографии с сохранением стилистических особенностей подлинника» на практике означают невнимание к сложным текстологическим вопросам, требующим специального исследования.

Из всего сказанного можно сделать вывод: в периоды бурных культурных переломов, каким был в России XVIII век, те аспекты языка, которые позже регулируются автоматически действующими нормативами, могут выступать в качестве знаков культурного самосознания или даже становиться полем индивидуального творчества, имеющего идейную и художественную значимость. До тех пор пока все эти случаи не исследованы и не описаны учеными, законом издательской практики для любых научных и научно-массовых изданий должна быть максимальная осторожность. Возможны, разумеется, те или иные решения, продиктованные конкретными обстоятельствами. Необходимо, однако, всякий раз отдавать себе отчет в том, что это именно вынужденное решение, которое не является безболезненным для издаваемого памятника.

Вопросы культуры речи в трудах русских лингвистов 20-х годов

В начале 20-х годов, когда, по выражению В. В. Маяковского, «утихомирились бури революционных волн» и началось строительство нового общества и новой жизни, перед лингвистами во всем объеме встали вопросы «языковой политики», «языкового строительства» и прежде всего вопрос культуры языка. Лингвисты молодого и отчасти среднего поколения — Г. О. Винокур, Л. П. Якубинский, Е. Д. Поливанов, Б. А. Ларин, Л. В. Щерба, А. М. Селищев, А. М. Пешковский, Д. Н. Ушаков и др. не всегда и не во всем одинаково оценивали сложившуюся социолингвистическую ситуацию и свою роль в процессе культивирования родного языка, однако все они понимали необходимость теоретической работы над основами культуры речи и важность ее применения в повседневной практике (в печати, в школе, в официальной среде, в быту, при неофициальном общении).

В России в самые первые послереволюционные годы, а отчасти еще в период после первой русской революции 1905 г. и во время первой мировой войны (Mazon, 1920; Карцевский, 1923), произошел резкий сдвиг в характере, форме и объеме массовой языковой коммуникации. Русский литературный язык, в общем бывший дотоле языком интеллигенции, языком образованного слоя¹, стал орудием широких масс, значительного числа рабочих и крестьян, воспринявших его не только в результате пассивной коммуникации, но и коммуникации активной. Эту ситуацию хорошо ощущал в конце 20-х годов Е. Д. Поливанов, стремившийся в свойственном ему и его времени стиле (терминологии) и духе определить «социальную характеристику русского “стандарта” (стандартного языка)». «Для дореволюционного периода XX века, как и для всего XIX века, — писал Е. Д. Поли-

¹ «Для стандартного (или “общерусского”) языка дореволюционной (и довоенной) эпохи весьма нетрудно дать социальную характеристику: это внетерриториальный язык русской интеллигенции, что в одинаковой мере справедливо и для XIX, и для начала XX века, но не для более ранней эпохи — XVIII века)» (Поливанов, 1931, с. 125).

ванов, — в роли носителя стандартного, или литературного русского языка, выступает, разумеется, буржуазия... Революционная эпоха вносит уже существенные поправки в это (социальное) определение русского “стандарта”. Ее существеннейшим сдвигом в плоскости языковой культуры является расширение социального субстрата (т. е. контингента носителей) русского стандартного языка. В круг носителей последнего вошло и продолжает входить много новых элементов, и в общем можно сказать, что социологический субстрат современного русского стандарта (революционной эпохи и в частности к моменту десятилетия этой эпохи) — это уже не старая интеллигенция, а советская интеллигенция, куда входят революционный актив интеллигенции, культурные верхи рабочего класса и многочисленные (опять-таки передовые) элементы деревенского населения (которым в дореволюционную эпоху, разумеется, был отрезан путь общения к культуре и ее орудиям, в числе которых стоит, конечно, и стандартный язык). Так, следовательно, эволюционируя по направлению к признаку бесклассовости, современный русский стандарт есть язык определенного коллектива, — культурной верхушки советской общественности, коллектива, который по статистическому своему составу оказывается гораздо более значительным, чем субстрат стандартного языка в дореволюционную эпоху» (Поливанов, 1931, с. 59–60).

Естественно, что с резким расширением социальной базы литературного языка в значительной мере усилился поток различных языковых новшеств, находившихся ранее за пределами литературной речи. Эти новшества были разного порядка — фонетического (орфоэпического), синтаксического и более всего лексического. Различно было и их социолингвистическое происхождение, так же как и «жанровая» сфера их употребления. Однако их заметное проникновение в язык газет вызвало определенную реакцию и довольно оживленную дискуссию. Дискуссия велась преимущественно в аспекте проблем культуры речи и касалась нередко кардинального вопроса — «быть или не быть» этим новшествам в языке. Одни языковеды (А. М. Селищев) относились к ним явно негативно, считая их, как правило, порчей языка. Фактор порчи языка в эту эпоху никак нельзя было сбрасывать со счетов: мимо этого вопроса не прошел и В. И. Ленин, написавший в 1919 г. или в 1920 г. известную заметку «Об

очистке русского языка» (т. 40, с. 49), направленную против неумеренного пользования иностранными словами и коверкания русского языка. Другие языковеды как будто принимали их появление (Е. Д. Поливанов, Л. П. Якубинский и др.), видя в них признак демократизации литературного языка, третьи же осознавали их социально-диалектную принадлежность и с этих позиций и оценивали их функционирование в литературном языке. Как известно, рассудил всех суд истории русского литературного языка в советский, более чем полувековой период. Вошло в язык лишь относительно небольшое, что было необходимым, могло оказаться устойчивым и целесообразным с стилистической и чисто коммуникативной точки зрения. Но тем более интересны различные мнения русских лингвистов 20-х годов, которые не считали себя футурологами и откликались прежде всего на языковую «злобу дня».

В самом начале 1925 г. Л. П. Якубинский писал, что «если бы Чернышеву пришлось снова писать “Правильность и чистоту русской речи”, он был бы в большом затруднении: колебания очень велики, пестрота очень большая (в фонетике, в лексике, в синтаксисе). Самое понятие о “приличии”, “коммифотности” речи, столь свойственное высшим и средним кругам буржуазии, пропадает: сравните успехи уличного шпанского жаргона. Конец этого “смешения языков” очень трудно предвидеть, он обусловлен процессами, развивающимися в самом обществе» (Якубинский, 1925, с. 8).

Для середины 20-х годов известный труд и рекомендации В. И. Чернышева казались несколько архаичными; менее устарелыми они воспринимались в более поздний период и воспринимаются сейчас. С теоретической стороны этот труд, однако, не отвечал требованиям новой эпохи, да и его автор сам, несомненно, не стремился к теоретической постановке своих задач, хотя 20-е годы в России были годами, когда лишь назревали и предварительно осмыслились те основные принципиальные положения, которые к началу 30-х годов не без влияния русских поисков и русской традиции были предварительно суммированы и прокламированы пражской школой.

Напомним эти положения, выдвинутые в знаменитых «Тезисах Пражского лингвистического кружка» (раздел 9-й — «Значение функциональной лингвистики для культуры и критики славянских языков»): «Под культурой языка пони-

мается четко выраженная тенденция к развитию в литературном языке (как разговорном, так и книжном) качеств, требуемых его социальной функцией», — гласит начало раздела. Далее перечисляются качества, к которым относятся: 1) устойчивость (необходимость избегать бесполезных отклонений и важность опоры на языковое чутье); 2) способность передавать ясно и точно, без напряжения самые разнообразные оттенки; 3) оригинальность языка (культивирование признаков, придающих ему специфический характер), и отмечается, что «развивая эти качества, приходится принимать одну какую-либо из различных возможностей, существующих в языке, или же превращать скрытую тенденцию языка в намеренно используемые средства выражения». Подчеркивается важность упорядочения разговорной речи для культуры языка и указывается, что он является источником для оживления книжного языка и необходимым условием для выработки языкового чутья, нужного для создания фактора (качества, признака) устойчивости. Что же касается заботы о чистоте языка, то она находит свое отражение в культуре языка, при этом «всякий преувеличенный пуризм вредит истинной культуре литературного языка независимо от того, какой это пуризм: с логическими или народническими тенденциями» (ПЛК, 1967, с. 39–40). Наконец, подчеркивается, что «культура языка совершенно необходима для большинства литературных славянских языков, ибо эти литературные языки или сравнительно молоды, или претерпели перерывы в своем развитии» (там же, с. 40). Проблемы культуры речи в тех же «Тезисах» тесно связаны и переплетаются с проблемами литературного языка, хотя бы потому, что «с повышенными требованиями к литературному языку связан и более упорядоченный и нормативный его характер (там же, с. 27).

Это рассмотрение проблем культуры речи на фоне общих проблем структуры и функционирования литературного языка было характерно и для последующих этапов развития пражской школы. Один из крупных представителей современных «пражан» А. Йедличка считает, что «под языковой культурой подразумевается сознательная культивация литературного языка и в плане лингвистической теории, и в плане практического попечения о литературном языке. В более широком смысле под языковой культурой подразумевается и состояние нормы литературного языка в результате

ее теоретического культивирования, и состояние, вернее уровень, литературно-языкового выражения (т. е., по сути дела, культура, культивированность высказывания, сообщения) как результат или последствие сознательной практической деятельности (попечения)» (Jedlička, 1971, с. 148–149). Согласно А. Йедличке, теоретическое культивирование литературного языка выражается прежде всего в научном изучении литературного языка и всех пластов его языковой структуры, и в плане динамики и тенденций его развития, и в плане установления современной литературной нормы. Функциональный подход должен применяться и при рассмотрении вариантов нормы, и при стилистической дифференциации выразительных средств литературного языка. В отношении практической деятельности в сфере культуры речи, культуры высказывания (сообщения) следует исходить не из субъективных позиций отдельных лингвистов, а из закономерностей развития литературного языка, из его коммуникативных задач и нужд (там же, с. 149).

Серьезное внимание к особенностям литературного языка в связи с культурой речи уделяли в 20-х годах, до появления тезисов Пражского кружка, и русские лингвисты. Среди них в первую очередь следует упомянуть Л. В. Щербу. Л. В. Щерба, как и ряд его коллег-лингвистов, отвечая в начале 1925 г. на анкету, предложенную журналом «Журналист», относительно чистоты русского языка, ненужных заимствований иностранных слов и ненужных новых слов и арготизмов, писал о важности «филологического воспитания» носителей литературного языка (ср. «сознательное практическое попечение» по терминологии А. Йедлички) и учета исторически сложившихся особенностей этого языка. Он считал, что «для новых понятий, для которых нет своих слов, не следует бояться готовых чужих слов, особенно слов международного характера. Но, — пояснял Л. В. Щерба, — если есть возможность вполне выразить новое понятие своими средствами или путем словопроизводства, или путем комбинации двух-трех слов, то, конечно, лучше не переобременять своего словаря лишними элементами. Однако граница между этими двумя случаями текуча и достигается лишь специальным лингвистическим, литературным чутьем. Но это чутье, конечно, не мистического происхождения, а воспитывается и появляется в результате филологического воспитания, которым у нас, к сожалению, чересчур пренебре-

гают. Это филологическое воспитание не должно ограничиваться изучением произведений мастеров русского слова, но должно дать понимание основ развития русского языка, его основных стихий, из которых он может почерпнуть силы для необходимого обогащения словаря, если не всегда непосредственно, то всегда в смысле методов и направления. Эти стихии, которые должен изучать каждый русский человек, желающий хорошо писать по-русски, — русский фольклор, песни, сказки, частушки для конкретного словаря, с одной стороны, русско-югославянская письменность для отвлеченного словаря — с другой, и я бы сказал — романские языки, носители международного словаря, — с третьей» (Щерба, 1925, с. 6–7).

Таким образом, более 60-ти лет тому назад Л. В. Щерба указал на зависимость стиля и культуры литературного (стандартного) языка от во многом исторически слагавшегося «характера стандартности» этого языка (подробнее см. Толстой, 1968). Свои утверждения Л. В. Щерба поясняет примером: «Здесь выступает очень важный вопрос о стилях, который, боюсь, однако, углублять в краткой заметке; впрочем, несколько примеров, может быть, пояснят мою мысль. Отвлеченное слово *вливание* (*в-ли-яние*) есть не что иное, как перевод на наши традиции книжные формы французского *influence* (*in-flu-ence*), а конкретное *литье* (меди) и отсюда *литейщик* являются народными формами. Надо сказать Обществу “Здоровье детей” и Комиссариат Здравоохранения, а не Ассоциация “Здравие детей” и Комиссариат Здоровьеохранения, как с этим, подумав, каждый согласится. Понятие комиссариат — министерство принадлежит, конечно, не обыденной жизни, а потому требует возвышенного, приподнятого стиля, иностранных слов и старых книжных форм; понятие Общество “Здоровье детей” гораздо интимнее и ближе, и действительно, *здоровье* — форма народной речи, а *здравие* — форма нашего старого книжного языка, отца нашего современного литературного, *комиссариат* же и *ассоциация* — слова международного романского словаря» (там же).

Из приведенной цитаты становится ясно, что Л. В. Щерба не выступает огульно против иностранных слов, считая их одним из пластов, компонентов современного русского языка. Настаивая на традиционности современного русского литературного языка, указывая на его истоки и роль Пуш-

кина в его становлении (притом в ту пору, когда иногда слышались левацкие фразы типа «Долой Пушкина с парохода современности!»), Л. В. Щерба видит в качестве средства против засорения русского языка и в особенности языка печати педагогическое попечение, т. е. необходимость «всемерно содействовать основательному изучению лучших представителей русского слова XIX и XX вв., начиная с Пушкина, прозу которого и сейчас нужно считать образцовой. Воспитавшись на этих образцах, взяв из них все живое и хорошее и откинув все преходящее, талантливые писатели создадут стиль XX в., отвечающий обстановке и задачам времени. Так как едва ли мы сможем обойтись без иностранной литературы, то кроме того, очень полезно уже в школах приучать делать литературные письменные переводы с иностранных языков — это не только гарантирует от бессознательных варваризмов, но вообще обостряет чутье родного языка. Однако из всего сказанного не вытекает, чтобы все иностранные слова, вполне усвоенные русским языком, подлежали изгнанию (да и кто признает в словах *крест*, *черешня*, *школа*, *аптека*, *карты* и т. д., и т. д. слова иностранные?) или, что мы навсегда должны отказаться от того, чтобы заимствовать слова из других языков. Заимствование слов от соседей, материальных или духовных, является в общем совершенно естественным и здоровым языковым процессом, основанным на общении народов. Вещи или понятия, созданные на почве этого общения или распространяющиеся под его влиянием, склонны получать общее наименование, и создают естественную здоровую основу международного словаря, который и теперь уже представляется очень и очень значительным: *физика*, *электричество*, *телефон*, *автомобиль*, *билет*, *касса*, *санатория*, *гипотеза*, *социализм*, *индивидуализм* и т. д. и т. д. Поэтому, конечно, надо осудить, что немцы лет 20 назад переделали такие укоренившиеся и всем известные слова, как *Telephon* и *Billet*, на *Fernsprecher* и *Fahrkarte*, а мы лет 10 назад пытались, отчасти пытаемся и сейчас, переделать *автомобиль* или *мотор* на *самокат*, а *санаторию* на *здравницу*. Оправдание, будто простому народу понятнее эти новые слова, едва ли выдерживает критику, так как для человека, не знающего, что такое *телефон* или *автомобиль*, ни *Fernsprecher*, ни *самокат* ничего не объяснит. С другой стороны, надо иметь в виду, что человеку, не знающему, что такое *ятерь* или

цепь, эти чисто русские слова также ничего не скажут, как сами по себе ничего не говорят и такие слова, как *вода*, *хлеб* и т. п. Вообще требовать от слов, чтобы они были понятны сами по себе, принципиально неправильно; можно даже сказать, что зачастую некоторая понятность слов мешает их употреблению (например, многие затруднились говорить *паровая конка*) или внушает ложные мнения (как, например, название *гортанные* в применении к звукам *к, г*)» (Щерба, 1925, с. 4–5).

Позиция Л. В. Щербы против «принципиального», необоснованного пуризма достаточно ясна. Полнее и в том же духе она выражена Г. О. Винокуром в его известной статье «О пуризме». В ней в ту пору молодой московский лингвист отмечал, что «заботиться о чистоте речи не бесполезно и говорить о правильности ее не бессмысленно только тогда, когда защищается не догма и не традиция как традиция, а некоторый культурный принцип и смысловой закон. Единственный в этом смысле путь для пуризма, для чистоты языка и т. д. — это путь, который назван культурой языка». Только после реального разрешения проблемы культуры языка «пуризм становится тем, чем он должен быть, т. е. хозяином языка, блюстителем лингвистического порядка. Высокая культура языка, квалифицированная стилистическая грамотность должны привести к такому положению, когда “словечек” и неоправданных внутренней необходимостью новообразований язык принимать не будет, потому что этого не позволит сознательная речевая деятельность говорящих. Новообразования будут только те, в которых появится необходимость. Иными словами: при наличности подлинной культуры языка исчезает самая надобность в пуризме, так как функции его переходят к коллективному лингвистическому сознанию. Для каждой цели — свои средства, таков должен быть лозунг лингвистически-культурного общества» (Винокур, 1924, с. 170–171; то же Винокур, 1929, с. 113–114).

В приведенных мнениях лингвистов 20-х годов, так же как и в Пражских тезисах, выделяются и обосновываются три признака, три качества или тенденции развития всякого литературного языка, порождаемые его социальной функцией, — устойчивость, способность передавать тонкости и оттенки смысла и стиля, оригинальность. Об устойчивости, т. е. о необходимости избегать бесполезных отклонений и

важности опоры на языковое чутье, которое в свою очередь связано с языковой традицией, писали и академически спокойные Л. В. Щерба и А. М. Селищев, и во многом бунтарски настроенные Е. Д. Поливанов и Л. П. Якубинский. Сравнивая характер языка времен французской революции и предшествующего ему языка XVIII в. с русским языком революционной и дореволюционной эпохи, А. М. Селищев отмечал, что «такого резкого расхождения между языком русской интеллигенции дореволюционного времени и языком революционных деятелей на русской почве не было. Русский литературный язык в течение XIX в. был приспособлен для передачи различных самых тонких и сложных социальных и индивидуальных явлений. Те русские революционеры, которые не утратили чутья русского литературного языка, горячо восстают против неумелого пользования этим языком» (Селищев, 1928, с. 22). Эту же идею, но в ином аспекте, с иной мотивацией и иной лингвистической фразеологией, излагает Е. Д. Поливанов. Он считает нужным в своих рассуждениях о культуре речи и о фонетических признаках литературного языка опереться на следующее положение общего характера: «Ни один язык господствующего в данный момент класса (или его культурной верхушки) не является целиком объяснимым как продукт данного именно класса и даже не имеет ничего общего с минувшей историей данного класса до прихода его к политическому господству. Наоборот, во всей истории литературных (или стандартных) языков, мы видим примеры того, как класс, переживший эпоху своего господства, уступая свою руководящую позицию новому, идущему ему на смену классу, передает последнему, наравне с прочими внешними формами культуры, и языковую традицию. Стандартный язык, таким образом, как эстафета, переходит из рук в руки от одной господствующей группы к другой, наследуя от каждой из них ряд специфических черт; но и каждая из этих сменяющих друг друга групп наследует в перенимаемом стандартном языке отложения сошедших уже с исторической арены носителей стандарта» (Поливанов, 1931, с. 138)².

² Вопрос о классовости или неклассовости языка, как и ряд других положений Е. Д. Поливанова, вызвал активные возражения современных ему языковедов-марристов, однако рассмотрение этих, хотя и любопытных для истории науки, моментов не входит в задачу нашего обзора.

Вопрос тонкости стиля и способности языка передавать эти тонкости, отчасти освещенный выше ответами Л. В. Щербы на анкету «Журналиста», был разобран проф. Д. Н. Ушаковым на страницах того же «Журналиста» на конкретном примере, предложенном еще В. И. Лениным. Д. Н. Ушаков считает, что излишнее и неправильное употребление иностранных слов, а также вообще коверкание русского языка более всего свойственно людям, недостаточно владеющим литературным языком. «Это недостаточное владение, — поясняет Д. Н. Ушаков, — в частности, состоит из бедности словаря. Кроме того, — и это очень важно, — всякий, не преодолевший еще трудности усвоения книжного языка, не свободен от ошибочного взгляда на этот язык: будто необходимым свойством книжного языка должна быть какая-то нарочитая непростота, будто письменная фраза непременно должна облекаться в какие-то совершенно особые хотя бы и не вполне понятные слова. Скучный запас слов для выражения мысли и предпочтение непростых слов простым приводит такого автора между прочим к иностранным словам.

На почве недостаточного умения точно и ясно выразить мысль (вследствие неумения расчленить ее и дать себе ясный и точный отчет во всех ее частях и во взаимоотношении этих частей) иностранное слово может быть легко предпочтено русскому именно вследствие своей непонятности. Так, например, надо уметь разбираться в оттенках своей мысли, чтобы выбрать подходящее выражение, сказать ли в данном случае “недочет”, или “пробел”, или “недостаток”. Некоторое чутье не позволяет, предположим, сказать “недочет”, сказать “пробел” удерживает неполное понимание смысла этого слова и т. д. И вот подвергается слово “дефект” и берет верх, как совсем непонятное и тем освобождающее от труда разбираться в оттенках мысли и в оттенках смысла слов. Вот почему недоучке простительно, по выражению Ленина, употреблять сверх нужды иностранные слова» (Ушаков, 1925а, с. 10). Выход из ситуации, порождающей низкий уровень культуры речи, Д. Н. Ушаков видел в повышении филологического образования и в школьные, и в последующие годы. В дополнение к этому С. И. Бернштейн предлагал широко внедрять стилистические навыки, способствующие обострению и уточнению языкового чутья в среде новой интеллигенции и в журналистской среде (Бернштейн, 1925, с. 9).

Что касается третьего качества (признака) — оригинальности литературного языка, т. е. культивирования признаков, придающих ему специфический характер, то по этому вопросу ярче всего высказался еще в 1923 г. А. М. Пешковский, указавший на такие особенности литературного языка, как нормированность, исключительность («лучший», «правильный», «образцовый», «преобладающий» в каком-либо отношении, притом не всегда в литературном или филологическом). «Существование языкового идеала у говорящих, — писал он, — вот главная отличительная черта литературного наречия с самого первого момента его возникновения, черта, в значительной мере создающая самое это наречие и поддерживающая его все время его существования. С точки зрения естественного процесса речи ... эта черта совершенно неестественна. Если сравнивать речь с другими привычными процессами нашего организма, например с ходьбой или дыханием, “говорение” интеллигента будет так же отличаться от говорения крестьянина, как ходьба по канату от естественной ходьбы или как дыхание факира от обычного дыхания. Но эта-то неестественность и оказывается как раз условием существования литературного наречия» (Пешковский, 1959, с. 54). В качестве основных черт литературно-языкового идеала А. М. Пешковский приводит консерватизм (оглядка на прошедший этап), неподвижность норм (норма — некоторый достигнутый идеал), локальную привязанность, постоянство, т. е. сумму качеств, которая, «объединяя века и поколения, создает возможность единой мощной многовековой национальной литературы» (там же).

Естественно, что «консерватизм литературного языка» и «неподвижность норм» относительны, а период 20-х годов был такой порой, когда «образование новой рабочей и крестьянской интеллигенции, в общем старающейся усваивать старую «правильную» интеллигентскую речь, обуславливало «настоящий натиск местных диалектов на так называемое нормированное общерусское говорение, имевшее свою историю и свои нормы», и когда, казалось, что «самое понятие о “приличии”, “комильфотности” речи, столь свойственное высшим и средним кругам буржуазии, пропадает» (Якубинский, 1925, с. 8).

Однако «общерусская» литературная норма, в общем, устояла перед этим натиском и устояла главным образом потому, что она как единая и законченная, хотя во многих

отношениях и открытая система была противопоставлена различным элементам различных в социальном и территориальном отношении ненормированных систем. Многоликость и многочисленность таких полуиндивидуальных «антинорм» или «контрнорм» делали «натиск местных диалектов» малорезультативным и малоперспективным в плане строительства новой литературной нормы, но все же, вероятно, ускорили этот процесс и усилили фактор демократизации русского литературного языка, проявивший себя достаточно активно еще в дореволюционный период.

Существенным общественно-научным достижением 20-х годов было возникновение у группы ученых-лингвистов достаточно твердого сознания необходимости научного обоснования теории культуры речи и шире — научного понимания и истолкования социально-лингвистических процессов и нужд. На этой базе предлагалось строить и «языковую политику», и «организацию языкового быта», и принципы «технического образования в области речи». Многие ученые призывали к активному отношению к языковым изменениям, к языковой стихии. «Едва ли в этот переходный период, — писал в 1925 г. Л. П. Якубинский, — следует сидеть сложа руки и ждать у моря погоды, полагаясь на “естественный” ход вещей. Необходимо руководить развивающимся процессом, учитывая все его особенности; а для этого необходимо, чтобы научное языковедение:

1) решительно и вплотную занялось изучением современного языкового процесса;

2) чтобы оно начало, наконец, разрабатывать теоретическую основу для технического образования в области речи, тем более, что спрос на это техническое образование у рабочего и крестьянского молодняка чрезвычайно велик» (там же). В том же духе, но с более четкой ориентацией на синхронно-системный подход к фактам высказался в 1923 г. Г. О. Винокур. В своей статье «Культура языка» он писал: «Определение своего отношения к назревающим социальным вопросам, попытка оказать организующее влияние на последние составляют содержание социальной политики. В точно таком же смысле можно говорить о политике языковой, которую, однако, не следует смешивать с социальной политикой в области языка, которая лишь пользуется языком для проведения тех или иных социально-политических мероприятий и которая, в свою очередь, должна строиться

на научно-лингвистических основаниях». Г. О. Винокур полагает: «Рациональная организация языка, в понятие которой входят как направление лингвистических процессов по определенному руслу, так и непосредственное воздействие на самую структуру языка, — составляет содержание проблемы, которую удобнее всего охарактеризовать как проблему языковой культуры. Поскольку язык есть не организм, а организация, — проблема культуры языка первоначально сводится к тому, чтобы приискать в языке или для языка такие конструктивные элементы, на почве которых было бы возможно эту организацию реализовать. Раскрытие этой проблемы означало бы окончательное разрушение представления о языке как о стихии, привело бы к превращению языка из средства инстинктивного пользования в уясненный со всех сторон материал культурного строительства. Так, языковедение получает значение *sui generis* — технологии, подводящей научную базу под социально-языковое строительство, вырабатывающей методы и приемы этого строительства. В своих теоретических предпосылках лингвист-технолог, естественно, принужден будет отправляться от того учения о языке, которое вызвало в жизни статический метод и понимание языка как социального фактора. Только исходя из понимания системы языка, сумеет лингвист-технолог научиться в точности различать все те бесчисленные винтики и гайки, которые составляют языковую машину» (Винокур, 1923, с. 106; 1929, с. 40–41). Некоторые из этих идей имели в нашем языкознании свое дальнейшее развитие и переосмысление в послевоенные годы и особенно в 70-е годы XX в. (см. Скворцов, 1980).

Особое внимание к функциям и сущности литературного языка, к связанным с ним проблемам языковой культуры в противопоставлении особенностям других языковых стратов (идиомов) вынуждало языковедов 20-х годов специально выделять и подчеркивать такие свойства литературного языка, как некоторую его «искусственность», «неорганичность» (А. М. Пешковский), или «способность быть организованным извне» (Г. О. Винокур). В то же время нельзя забывать, и это нам представляется особенно актуально сегодня, в условиях иных, чем в 20-х годах, что литературный язык вместе с резким расширением своих позиций и с тем, что он, действительно, становится общенародным, свойственным различным слоям общества, приобретает черты «естествен-

ного языка» (по терминологии А. М. Пешковского), быстро теряя в то же время признаки своей искусственности и четкой противопоставленности обиходной просторечной и даже диалектной речи, которая все более, особенно в сфере лексики и морфологии, приближается к литературной. Это все говорит о том, что к литературному языку и к его культурно-языковому узусу и этикету надо все реже и со все большей осторожностью применять декретно-нормализационные меры и проводить «языковую политику» без учета все возрастающей естественности и органичности литературного языка.

Новый славянский литературный микроязык?

Вклад Г. В. Степанова в теорию и историю развития литературных языков в их национальный и донациональный период очень велик, и значение его непреходяще.* В этой области им разработана целая новая сфера исследования, касающаяся языковой ситуации или языкового состояния в различных культурно-языковых условиях, в различные периоды литературно-языкового процесса того или иного народа или нации. Исследуя типологию ситуаций и основные создающие их факторы, Г. В. Степанов писал: «Типы ситуаций исторически меняются. Для донационального периода характерна ситуация, участниками которой являются территориальные диалекты; для национального периода — отношения между диалектами, с одной стороны, и между диалектами и единым литературным языком, с другой. Между этими двумя основными типами ситуаций располагаются менее типичные, характеризующиеся комбинацией языков, вариантов, диалектов и иносистемных языков в одном лингвосоциуме» (Степанов, 1976, с. 143).

Языковая ситуация в славянской среде также менялась исторически. До окончательного образования национальных литературных языков, т. е. до второй половины XIX — конца первой половины XX в., в так называемую донациональную эпоху одно положение наблюдалось в культурной среде, связанной с католицизмом (*Pax Slavia Latina*), и другое — в среде, связанной с православием (*Pax Slavia Orthodoxa*). В мире *Slavia Latina* (западные славяне и западная часть южных славян — словенцы и хорваты) наблюдалось гетерогенное двуязычие (исключение — хорваты-«глаголяши») и вместе с тем в XVI—XVIII вв. наличие во многих ареалах целого ряда областных литератур (у хорватов, словенцев, кашубов) и связанных с ними неустойчивых областных норм литературного языка или литературных языков (см. Толстой, 1987; наст. изд., с. 360–394). В мире *Slavia Orthodoxa* в ту же пору существовало гомогенное (на церковнославянской основе) двуязычие (в ряде случаев — диглоссия), при

* Статья посвящена памяти акад. Г. В. Степанова.

котором происходило постепенное формирование национальных литературных языков, появление которых вело к изменению всей ситуации и к прекращению двуязычия или диглоссии. Становление этих языков шло в ареале *Slavia Orthodoxa* в основном путем отпочкования от церковнославянской традиции с последующим сохранением связи с этой традицией (русский, отчасти болгарский) или разрывом с ней (сербский, украинский, белорусский, македонский). Притом независимо от конечных результатов во всей этой макроне унифицирующая инерция церковнославянского языка не допускала возникновения областных литературных языков или микроязыков. Так было у восточных славян и в восточной части южного славянства (отчасти за исключением карпатской зоны). Здесь не было и опытов создания общеславянского литературного языка, так как в этой функции долгое время выступал реальный общеславянский литературный язык — церковнославянский. В культурном же ареале *Slavia Latina* такие опыты были: наряду с областными литературными языками разной степени устойчивости и длительности функционирования существовали проекты (в виде литературных текстов и грамматик) межславянского «эсперанто», нового (не церковнославянского) общеславянского литературного языка (у хорватов Юрий Крижанич в XVII в., у словенцев Матия Маер, Орослав Цаф, Матвей Ламурский в XIX в.).

Почти все современные литературные микроязыки относятся к территории, принадлежавшей ранее к культурному миру *Slavia Latina*: южнославянские — чакавский, кайкавский, градищанско-хорватский, прекмурско-словенский, резьянский (резьянско-словенский), банатско-болгарский; западнославянские — кашубский, ляпский, восточнословацкий. Карпатско-русинский (или «язычие») относится к языкам восточнославянским, т. е. к ареалу *Slavia Orthodoxa*, и его возникновение связано с особыми отношениями русинской (ныне западноукраинской) диалектной речи с великорусским литературным языком. Что же касается русинского языка, бытующего в Югославии, то его диалектная основа спорна — одни считают ее восточнославянской (таким же — восточнославянским, «русским» — является и их национальное самосознание), другие — восточнословацкой. Беспорно лишь происхождение с Карпат носителей этого язы-

ка, переселившихся на юг Паннонии в современную Воеводину в XVIII в. при Марии Терезии.

В задачу этой статьи не входит характеристика этих литературных языков по внутренним и внешним признакам, что было сделано нами ранее (Толстой, 1969) и затем основательнее и подробнее — А. Д. Дуличенко (Дуличенко, 1981). Отметим только, что лишь современный русинский, бытующий в Югославии, в результате своего послевоенного развития приближается по охвату сфер функционирования к современным славянским литературным языкам, т. е. становится почти поливалентным, обслуживающим почти все сферы общественной жизни, нуждающиеся в языковом оформлении или посредстве (устная и письменная формы речи в нейтральном, художественном и деловом применении с соответствующей стилистикой). Остальные языки, как в недалеком прошлом и русинский, имеют ограниченную сферу употребления, выступают параллельно с другими славянскими или неславянскими литературными языками, как дополнительное средство языкового выражения, обычно в жанрово ограниченной литературной сфере. Жанр поэзии является самым излюбленным жанром писателей — представителей славянских малых, областных или «диалектных» литературных языков¹. И это совершенно естественно. Пример истории русской поэзии, в которой допушкинский и пушкинский стих, будучи образцовым, с трудом допускал диалектно окрашенную речь, все же показывает, что поэзия нуждалась в особом языке. Либо в языке заумном, либо в языке, искусственно созданном на основе словообразовательного богатства русского языка (ср. у Хлебникова: «О, исмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!»), либо на основе отдельных слов и фраз, взятых поэтами из скарбницы простой крестьянской речи. Николай Клюев в поэме «Погорельщина», безусловно, мог выразить прелесть жизни зимой в родном селе словами: «Весьма пригоже зимой в Сиговце», но он остановился на чисто олонцеком: «Порато баско зимой в Сиговце!». Он повторял эту фразу в поэме и сделал ее как бы языковым знаком, паролем всего эпиче-

¹ При всей внутренней смысловой противоречивости словосочетания «диалектный литературный язык» им иногда пользуются филологи в Югославии применительно к чакавским и кайкавским примерам и образцам использования диалекта в литературе.

ского повествования. По пути создания целых стихотворений на диалекте русские поэты еще не пошли. Но русинская художественная литература началась со сборника стихов Г. Костельника «З мойого валала» («Из моего села» — Жовква, 1904), а ляхский язык (на основе переходного северноморавского «ляшского» диалекта в Чехословакии) представлен ярче всего в стихотворных произведениях одного из талантливейших поэтов нашего времени — Ондры Лысогорского (см. Бернштейн, 1941), поэзия которого известна в русских, чешских, словацких, венгерских, французских, немецких и греческих переводах. Обновление достаточно древней областной литературы на чакавском наречии в XX в. связано с расцветом чакавской поэзии. Многие чакавские поэты писали и на общештокавском хорваткосербском языке, и на местных чакавских диалектах (М. Франичевич, Д. Иванишевич), не стремясь при этом к единой чакавской норме, а сохраняя разнообразие говоров и узкодиалектный *couleur locale*. Таким образом, есть славянские литературные микроязыки, носители которых стремятся к единой норме, есть же и такие, в которых норма полностью или отчасти избегается, исключается.

Новый славянский литературный микроязык — русинско-полесский — возникает в границах Белоруссии, где распространены белорусский и русский литературные языки.

Создателем русинско-полесского языка можно с полным правом назвать Миколу Шеляговича, который в 1985 г. впервые начал печатать свои стихи на этом языке (см. журнал «Беларусь», декабрь 1985 г.). М. Шелягович, поэт и филолог по образованию и профессии, выработал на основе кириллической (белорусской) графики особую графическую систему и довольно подвижную и в ряде случаев факультативную или альтернативную систему орфоэпии, т. е. фонетической реализации графем, или произношения букв. В минской газете «Голас Радзімы» (26.XI.1987, с. 6) в большой подборке «Палескія галасы» были даны краткие правила «Русінская арфаэпія», согласно которым буква *и* означает «звук средний между “ы” и “і” и согласный перед ним не смягчается», под ударением же *и*, «если выступает на месте исторического *о* в новых закрытых слогах, в одних полесских говорах читается как *и* (*ныіс*), в других как *у* (*нус*), в третьих как дифтонг *уо* (*нуос*), в четвертых как *э* (*нэс*)»; буква *е* под ударением «в одних говорах читается как *е*

(*ема, жеты*) [здесь даны слова «яма» и «жать» — *Н. Т.*], а в других как *я* (*яма, жаты*)». Буква *j* объясняется как «звук, близкий к *й*», сочетание графем *ji* как «долгое *i* (*jiхаты*)». Что же касается *je* — местоимения «я», то в одних говорах оно читается как *e*, в других как *я*. Эти же правила под заглавием «Торочији по арфоэпији» опубликованы в подборке «Балесы Полісься» в минской газете «Чырвоная Змена» (28.V.1988, с. 11).

Не останавливаясь на некоторой неполноте, расплывчатости формулировок и, видимо, даже неточности отдельных правил, отметим в них один принципиальный момент, который уже известен нам по истории ряда славянских орфографических и орфоэпических систем, а именно — допустимость различного, сильно различающегося произношения одной и той же буквы, одной и той же графемы. Этого же принципа придерживалось украинско-русское «язычие» в XIX в., использовавшее буквы *ѣ* и *ѐ* с целью, чтобы их можно было читать соответственно и как *e* и *o*, и как *i* (*хлѣбѣ* — хлеб, хліб; *бокъ* — бок, бік), и македонский поэт Райко Жинзифов, живший во второй половине XIX в. и считавший допустимыми и написания *рѣка* с двойным чтением: *рѣка* и *рака*, и даже двойное написание: *рѣка* и *рака* (Жинзифов, 1863, с. 15–16; см. также Толстой, 1965а, с. 26; наст. изд., с. 406).

Таким образом, представители русинско-полесского языка стремятся к единому графическому оформлению слов при разном их диалектном звучании. При этом диалектный континуум, в рамках которого может функционировать русинско-полесская «мова», по мнению М. Шеляговича, достаточно обширен. Он полагает, что «в полесскоязычном литературном процессе должны принимать участие не только белорусские полешуки, но и украинские, и польские: полесский этнокультурный регион охватывает юго-запад Белорусской ССР (Брест, Пружаны, Пинск, Туров, Ивацевичи), северо-запад Украинской ССР (Ковель, Луцк, Сарны, Чернобыль), а также восточную часть центра Польши (Бяла Подляска, Хелм)» («Голас Радзімы», 26.XI.1987). М. Шелягович ссылается на своих предшественников, писавших на «полесском» языке: на Франца Савича, сочинившего стихотворную балладу на пинском диалекте, и на Николая Янчука, писавшего по-полесски стихи, поэмы и пьесы. Упоминает

он и о существовании полесских букварей 1861–1862 гг., и букварь неизвестного автора, выпущенный в 1907 г.

За последние несколько лет появились и последователи М. Шеляговича. Это поэты Микола Черняк, Владимир Гетманчук, Микола Герасимик, Сергей Мисавец, Микола Минзарь, Микола Трохимчук, Вячеслав Панковец, Валер Солоневич, Ригор Аркушин, Микола Нагумчик, Валер Калиновский, Ирина Сенкевичене и др. Они из разных уголков Полесья: Микола Трохимчук из Дрогичина, Вячеслав Панковец из Пинска, Валер Солоневич из села Чухово Пинского района, а Ирина Сенкевичене и Валер Калиновский из Ивановского района.

М. Шелягович пишет на русинско-полесском языке не только стихи, но и прозу (малые жанры) и даже статьи журнально-публицистического характера. Он делает смелый шаг к расширению жанровых функций создаваемого языка. В пояснении к публикации своих первых стихов в 1985 г. М. Шелягович писал: «Мои стихи написаны на центральном говоре западнopolесского диалекта». Самым коротким и в то же время искренним и поэтическим стихотворением в этой подборке было следующее:

МІКОЛА ШЕЛЯГОВІЧ

ПОЛЫШЧУЦЬКА ПІСНЯ

З чым зрумнеты пісню
 польшчущуцьку?
 Но з Поліссем.
 Рыхтычна — воно!
 Ею діты до батькај пуджоы,
 Так вона пуджожа до ёго!

ПОЛЕССКАЯ ПЕСНЯ

С чем сравнить песнь
 полесскую?
 Лишь с Полесьем.
 Точь-в-точь оно!
 Как дети похожи на отцов,
 Так она похожа на него!

«Беларусь». 1985. № 12 (564)

Приводим также отрывок из статьи М. Шеляговича «Скарбы володы» («Богатство языка»): «Поліська волода мае дзьві словы, які значаць папшчы аднэ — раёваты і поплаваты ('блаженствовать'). Ризняця-ж стыжі слова екосьцю значејімых станэј. Раёваты можна но за некысь заслугы, заробляно. Поплаваты-ж — ек-бы быз дај прычыны, будучы в суладьдэвы з рытмамы віка, прыроды, долы, космоса. Поплаваты можуть но малынета, у якіх шэ нывыросло собідбајнэ чутво, і мудруны, які вжэ пырыхворилы собідбаннем. И тыжі і другы е чысты ындывыдуалносьті, нызаліжны од одэжеј особы. Поплаваты — чым ны нырвана?!».

[Полесский язык имеет два слова, которые значат почти одно и то же, — *раёваты* и *поплаваты* ('блаженствовать'). Разница этих слов заключается в характере (качестве) означаемых явлений (понятий). *Раёваты* можно за какие-нибудь заслуги, за что-то заработанное. *Поплаваты* же — как бы без причины, оказываясь созвучным с ритмами века, природы, судьбы, космоса. *Поплаваты* могут лишь юнцы, у которых еще не развилось чувство себялюбия, и мудрецы, которые уже переболели заботой о себе. И те и другие — чистые индивидуальности, независимые от кого бы то ни было. *Поплаваты* — чем не нирвана?!].

Стихотворение Вячеслава Панкова «Пинская мадонна» звучит так:

ВЫЧЫСЛАВ ПАНКОВЭЦЬ

ПЫНСЬКА МАДОНА

Кажон раз ыдучы
покај гэтых мурив,
је гадав,
шо ховають воны.
А от зарэ зныміліј стою
и дывлюс на Мадону
осіяну промынём,
а спостыгты ныек ныможу:
чы то промынь свытла,
чы зробыласа бачню
музыка Баха.

ПИНСКАЯ МАДОННА

Каждый раз, проходя
мимо этих стен,
я гадал,
что скрывают они.
И вот теперь, онемев, я стою
и люблюсь Мадонной,
осиянной лучом,
и понять никак не могу:
То ли это луч света,
то ли сделалась зримой
музыка Баха.

«Чырвоная Змена». 28.V.1988

Число примеров можно было бы умножить, но это потребовало бы значительного места. Приведенные тексты показывают, что в полесско-русинском литературном микроязыке нет аканья, орфография не отражает смягчения *д* и *т*, которое слабее, чем в белорусском литературном языке. Научно-публицистические тексты тяготеют к единой норме, а поэтические приближаются к разным говорам, и потому демонстрируют отсутствие нормы, разнообразие диалектной речи. Таким образом, как бы одновременно ставятся две задачи и допускаются две формы существования полесско-русинского языка: одна, хотя и опирающаяся на определенную диалектную базу, но уже наддиалектная, «общелитературная», претендующая на норму и обслуживающая не только чисто литературные, но и публицистические, научно-публицистические сферы, и вторая, чисто диалектная форма, ненормированная, стремящаяся отразить особенно

сти каждого конкретного диалекта, применяемая в стихах, как правило, небольших по объему, и в малых жанрах прозы (краткий рассказ, художественная зарисовка). Такое положение, как можно судить по пока еще немногочисленным публикациям, считает возможным и уже складывающимся и сам М. Шелягович. Во втором выпуске странички «Балесы Полісься» он заявляет: «— Ек “Балесы Полісься” друковатимуть матыръелы: но на лытырацькіі нормы чы і на окримных поліських говірках? — Мајімо друковаты еко і лытырацькію нормію, тако і у говірках. Ідыным-жэ ля всіх тэкстув бутымэ но арфографыцькэ оформліне. Шо-ж до лытырацькіі нормы, то вона шэ в становы зложиння, зложиння. И тој процес е ны на місяця и навить ны на рока» («Чырвоная Змена». 16.VII.1988, с. 13).

М. Шелягович, следовательно, хочет в своем эксперименте и в эксперименте своих коллег допустить и как бы объединить две возможности, которые мы условно назовем «чакавской возможностью», с одной стороны, и «бачванско-русинской» или просто «русинской», с другой. В начальный период своей деятельности Вук Караджич предполагал, что сербские писатели внесут некоторое языковое разнообразие в художественную литературу, предлагал сербским писателям писать «по-народному», на своих диалектах, отталкиваясь от сугубо книжных традиций и шаблонов. Позже он сам начал стремиться к большему единообразию и даже, как известно, вносил некоторое единообразие и в язык фольклора, немного редактируя и, к сожалению, «подправляя» народные эпические и лирические песни. Как бы то ни было, и в первом, и во втором варианте у М. Шеляговича и его коллег наблюдается отталкивание от белорусского литературного языка и, соответственно, от украинского. Эти литературные языки в свое время переживали, правда, в более сложных формах, аналогичный процесс отталкивания от русского и отчасти польского языка. Нельзя не заметить в текстах М. Шеляговича, особенно в прозаических текстах, в текстах научно-публицистических, активного процесса словотворчества, употребления слов, отсутствующих в литературном белорусском, украинском и русском языках и не употребляющихся и в диалектах, но сформированных по моделям, близким к диалектным (*збірныця* ‘сборник’, *спарэз* ‘союз, объединение’, *уміјство* ‘искусство’, *штудіјнык* ‘ученый’). Это явление также связано с тенденцией к отталкиванию. К то-

му же следует отметить и известный процент иностранных слов, которые не поддаются переводу, калькированию и остаются без изменения. Нирвана остается нирваной, лишь слегка приспособившая свое звучание к полесскому: *нырвана*.

Полесско-русинский эксперимент, который, вероятно, постепенно перестанет быть экспериментом, интересен тем, что он производится в культурном ареале *Slavia Orthodoxa*, для которого существование малых литературных языков было до недавнего времени не характерно (напомним, что русины в Бачке, в Югославии — униаты, а болгары в Банате, малый литературный язык которых давно заглох, — католики). Правда, в сербскоязычной среде, начиная с 70-х годов нашего века, появились писатели, пишущие на родных черногорских диалектах: это — крупнейший сербский поэт Матия Бечкович и фольклорист и писатель-прозаик Новак Килибарда. Их творчество и их художественный и малый литературный язык требуют специального внимательного рассмотрения, и поэтому сейчас мы ограничимся указанием на то, что в православной южнославянской среде такой процесс недавно начался.

Не исключена возможность, что и «полесско-русинский» язык — начало такого процесса у восточных славян. Ибо с русинским языком в Бачке (Югославия) ситуация особая: его носители — выходцы с Карпат, с восточно-западнославянского пограничья, пограничья украинско-словацкого, а процесс формирования этого языка происходил в отрыве от матичных диалектов в южнославянской среде. Если пользоваться терминологией А. Д. Дуличенко (Дуличенко, 1988), то разница между бачванско-русинским и полесско-русинским в том, что первый является островным малым литературным языком, а второй начинает свое развитие как матичный, притом матичный по отношению сразу к двум литературным языкам — белорусскому и украинскому: Что же касается «язычия», к сожалению, мало исследованного и почти забытого литературно-языкового движения, проходившего в Галиции в XIX в., то оно, хотя и развивалось в локально ограниченных условиях и было отличным от украинского литературного языка, образцы которого мы находим в поэзии Шевченко и в стихах и прозе его современников, но его направленность и характер были иными, чем направленность и функциональная задача малых литературных языков. «Язычие» преследовало цель сближения с од-

ним из «больших» славянских литературных языков, с русским, а не отталкивания от него. Близки к язычию и некоторые опыты создания литературного языка в тогдашней Угорской Руси или Закарпатье в XIX и XX вв. (Gerowski, 1934; Штець, 1969). «Полесско-русинский» язык — пока только опыт, опыт интересный, демонстрирующий вторичное отталкивание от литературного языка в восточнославянской среде (первичным отталкиванием можно, как указывалось выше, считать разные периоды становления белорусского и украинского языка). Возникновение литературных языков ареала *Slavia Orthodoxa* в далеком и не столь далеком прошлом шло в определенные периоды также путем отталкивания от древнеславянского литературного языка и отталкивания друг от друга и было связано с определенными языковыми ситуациями, с их изменением, с теми проблемами, которые в славистике еще только начинают разрабатываться и которые в романистике так талантливо и ярко осветил незабвенный Георгий Владимирович Степанов.

ЛИТЕРАТУРА

- Адрианова-Перетц и Покровская, 1940.** *В. П. Адрианова-Перетц, В. Ф. Покровская.* Древнерусская повесть. М.—Л., 1940.
- Азбелев, 1959.** *С. Азбелев.* О художественном методе древнерусской литературы // Русская литература. Л., 1959, № 4.
- Айналов, 1928.** *Д. Айналов.* Русское известие о латинском обряде // Статьи по славянской и русской филологии. Л., 1928 [Сборник ОРЯС. Т. СІ, № 3]. С. 499—502.
- Академические школы, 1975.** Академические школы в русском литературоведении. М., 1975.
- Акимова, 1985.** *О. А. Акимова.* Формирование хорватской раннефеодальной государственности // Раннефеодальные государства на Балканах VI—XII вв. М., 1985.
- Акты, 1865.** Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. СПб., 1865. Т. II.
- Албин, 1963.** *А. Албин.* Прилог проучавању језика Стефана Рајића // ППЈ. 1963. Књ. 3. С. 1—22.
- Албин, 1968.** *А. Албин.* Језик новина Стефана Новаковића (1792—1794). Нови Сад, 1968.
- Албин, 1969.** *А. Албин.* О језику Николаја Лазаревића // ППЈ. 1969. Књ. 5. С. 1—29.
- Албин, 1970.** *А. Албин.* Особине народних говора у «Немачко-серпском речнику» (1790) // ППЈ. 1970. Књ. 6. С. 41—45.
- Албин, 1970а.** *А. Албин.* Језик у делима Аврама Мразовића (1756—1826) // ЗФЈ. 1970. XIII/2. С. 149—191.
- Албин, 1973.** *А. Албин.* Дијалекатске особине у *Новинама сербским* // ЗФЈ. 1973. XVI/1.
- Алексий, 1930—1931.** *Р. Алексий.* Језик Матије Антуна Рельковића // ЈФ. 1930, 1931. Књ. IX, X.
- Амфилохий, 1878.** *Архимандрит Амфилохий.* Что внес св. Киприан, митрополит Киевский и всея России, а потом Московский и всея России, из своего родного наречия и из переводов его времени в наши богослужебные книги? // Труды III археологического съезда в России. Киев, 1878. Т. II. С. 231—251.
- Амфилохий, 1891.** *Архимандрит Амфилохий.* Справедлив ли упрек монаха Нила Курлятевых в том, что митрополит Киприан по-гречески гораздо не разумел, и нашего языка до-

- вольно не знал же при исправлении Псалтыри // Труды IV археологического съезда. Казань, 1891. Т. II. С. 1–6.
- Ангелов, 1955. Б. Ангелов. Из историята на руско книжно про- никване у нас (XI–XIV в.) // Известия на Института за бъл- гарска литература. София, 1955. Т. III. С. 37–65.
- Аничанка, 1960. У. В. Аничанка. Аб курниџким списе «Александ- рыи» // Весци АН БССР. Минск, 1960, № 1.
- Антонович, 1968. А. К. Антонович. Белорусские тексты, писанные арабским письмом. Вильнюс, 1968.
- Архангельский, 1888. А. С. Архангельский. Очерки из истории за- паднорусской литературы XVI–XVII вв. М., 1888.
- Арциховский и Борковский, 1963. А. В. Арциховский, В. И. Бор- ковский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956– 1957 гг.). М., 1963.
- Башагић, 1913. Др. С. Башагић. Бошњаци и Херцеговци у ислам- ској књижевности. Сарајево, 1913.
- Белић, 1933–1934. А. Белић. [Рецензия на книгу] В. Unbegaun. Les débuts de la langue littéraire chez les Serbes. Paris, 1935 // ЈФ. 1933–1934. Књ. XIII. С. 191–195.
- Белић, 1948. А. Белић. Вукова борба за народни и књижевни је- зик. Београд, 1948.
- Белић, 1951. А. Белић. Око нашег књижевног језика. Београд, 1951.
- Белић, 1951–1952. А. Белић. О књижевним језицима // ЈФ. 1951–1952. Књ. XIX/1–4. С. 1–16.
- Белић, 1958. А. Белић. Периодизација српскохрватског језика // ЈФ. 1958. Књ. XXIII/1–4. С. 3–15.
- Белокуров, 1891. С. Белокуров. Арсений Суханов. М., 1891. Ч. 2. Вып. 1. Сочинения Арсения Суханова.
- Белокуров, 1899. С. Белокуров. О библиотеке московских госу- дарей в XVI столетии. М., 1899.
- Белокуров, 1902. С. А. Белокуров. Юрий Крижанич в России (по новым документам). М., 1902.
- Бем, 1939. А. Л. Бем. Свое и чужое как фактор литературного раз- вития // III. Medjunarodni kongres slavista. Govori i predava- nja. Beograd, 1939. S. 93–107.
- Бем, 1939а. А. Л. Бем. Сукобљавање народних и страних елемена- та као стваралачки чинилац у развоју нових словенских књи- жевности // III. Medjunarodni kongres slavista. Zbirka odgovo- ra na pitanja. Beograd, 1939. S. 109–111.
- Бернштейн, 1925. С. Бернштейн. Ответы на анкету «Культура речи» // Журналист. [М.,] 1925, № 2 (18).

- Бернштейн, 1941.** *С. Б. Бернштейн.* Ondra Lysohorský // Nowe widnokręgi. М., 1941, № 8. С. 38–40.
- Бернштейн, 1948.** *С. Б. Бернштейн.* К вопросу о форме 3-го л. ед. ч. настоящего времени в македонском литературном языке // Вестник Московского университета. 1948, № 2. С. 13–21.
- Бицилли, 1932.** *П. М. Бицилли.* Язык и народность // Труды V съезда русских академических организаций за границей. София, 1932. Ч. 1.
- Блок, 1962.** *А. Блок.* Собр. соч. в восьми томах. М.–Л., 1962. Т. 5.
- Блок, 1986.** *М. Блок.* Апология истории. М., 1986. Изд. 2-е.
- Богдановић, 1980.** *Д. Богдановић.* Историја старе српске књижевности. Београд, 1980.
- Богдановић, 1982.** *Д. Богдановић.* Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XI–XVII века). Београд, 1982.
- Брозовић, 1965.** *Д. Брозовић.* Српскохрватски стандардни језик и Вук Стефан Караџић // Анали Филолошког факултета. Београд, 1965. Св. 5. Вуков зборник II.
- Бромлей, 1964.** *Ю. В. Бромлей.* Становление феодализма в Хорватии. М., 1964.
- Будилович, 1892.** *А. С. Будилович.* Общеславянский язык в ряду других общих языков древней и новой Европы. Варшава, 1892. Т. I, II.
- Велчев, 1943.** *В. Велчев.* Отец Паисий Хилендарски и Цезар Бароний. София, 1943.
- Венцловић, 1966.** *Г. С. Венцловић.* Црни биво у срцу. Легенде, беседе, песме / Избор, предговор и редакција М. Павић. Београд, 1966.
- Видаковић, 1814.** Любомиръ у Елісіуму. Моралная повѣсть. Сочинена отъ Милована Видаковичъа, Дѣтовоспитателя. Въ Будинѣ, 1814.
- Видоески, 1950.** *Б. Видоески.* Поречкиот говор. Скопје, 1950.
- Виноградов, 1923.** *В. В. Виноградов.* О задачах стилистики. Наблюдения над стилем Жития протопопа Аввакума // Русская речь, I. Пг., 1923.
- Виноградов, 1934.** *В. В. Виноградов.* Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. М., 1934.
- Виноградов, 1938.** *В. В. Виноградов.* Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. М., 1938. Изд. 2-е.
- Виноградов, 1938а.** *В. В. Виноградов.* Современный русский язык. Вып. 1. Введение в грамматическое учение о слове. Вып. 2. Грамматическое учение о слове. М., 1938.

- Виноградов, 1958.** В. В. Виноградов. Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка. (IV Международный съезд славистов. Доклады). М., 1958.
- Виноградов, 1958а.** В. В. Виноградов. Наука о языке художественной литературы и ее задачи. М., 1958.
- Виноградов, 1958б.** В. В. Виноградов. Из истории изучения русского синтаксиса (от Ломоносова до Потебни и Фортунатова). М., 1958.
- Виноградов, 1959.** В. В. Виноградов. Реализм и развитие русского литературного языка // Проблемы реализма. М., 1959. С. 199–262.
- Виноградов, 1960.** В. В. Виноградов. Наука о языке художественной литературы и ее задачи // Исследования по славянскому литературоведению и стилистике. М., 1960. С. 5–45.
- Виноградов, 1961.** В. В. Виноградов. Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка // Исследования по славянскому языкознанию. М., 1961. С. 4–113.
- Виноградов, 1961а.** В. В. Виноградов. Проблемы стилистики русского языка в трудах Ломоносова // Ломоносов. Материалы и исследования. М., 1961. Т. V. С. 45–67.
- Виноградов, 1978.** В. В. Виноградов. Избранные труды: История русского литературного языка. М., 1978.
- Винокур, 1923.** Г. Винокур. Культура языка (Задачи современного языкознания) // Печать и революция. М., 1923. Кн. 5.
- Винокур, 1924.** Г. Винокур. О пуризме // Леф. М., 1924, № 4.
- Винокур, 1929.** Г. Винокур. Культура языка. М., 1929. Изд. 2-е.
- Винокур, 1959.** Г. О. Винокур. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
- Вишенский, 1865.** И. Вишенский. Посланіе ко князю Василию Острожскому и ко вѣсьмъ православнымъ христіанамъ въ Малой Россіи // Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. СПб., 1865. Т. II.
- Вишенский, 1955.** И. Вишенский. Сочинения / Подготовка текста И. П. Еремина. М.–Л., 1955 [Серия «Литературные памятники»].
- Владимиров, 1888.** П. В. Владимиров. Доктор Франциск Скорина. СПб., 1888. Часть вторая.
- Вомперский, 1970.** В. П. Вомперский. Стилистическое учение М. В. Ломоносова и теория трех стилей. М., 1970.
- Вопросы образования, 1962.** Вопросы образования восточнославянских национальных языков. М., 1962.

- Вуков зборник, 1966. Вуков зборник. Београд, 1966.
- Высоцкий, 1966. С. А. *Высоцкий*. Древнерусские надписи Софии Киевской XI–XIV вв. Киев, 1966. Вып. 1.
- Высоцкий, 1976. С. А. *Высоцкий*. Средневековые надписи Софии Киевской (по материалам граффити XI–XVII вв.). Киев, 1976.
- ВЯ. Вопросы языкознания. Москва.
- Галл Аноним, 1961. *Галл Аноним*. Хроника и деяния князей или правителей польских. М., 1961.
- Гачев, 1958. Г. *Гачев*. От синкретизма к художественности (на материале болгарской литературы первой половины XIX века) // Вопросы литературы. М., 1958, № 4.
- Гачев, 1964. Г. Д. *Гачев*. Ускоренное развитие литературы. М., 1964.
- Герберштейн, 1988. *Сигизмунд Герберштейн*. Записки о Московии. М., 1988.
- Голенищев-Кутузов, 1963. И. Н. *Голенищев-Кутузов*. Итальянское Возрождение и славянские литературы XV–XVI веков. М., 1963.
- Голенищев-Кутузов, 1972. И. Н. *Голенищев-Кутузов*. Средневековая латинская литература Италии. М., 1972.
- Гошев, 1961. И. *Гошев*. Старобългарски глаголически и кирилски надписи. София, 1961.
- Грађа, 1958. Грађа за историју Београда. 1717–1739. Београд, 1958.
- Гранстрем, 1954. Е. Э. *Гранстрем*. Сокращения древнейших славяно-русских рукописей // ТОДРЛ. 1954. Т. 10. С. 427–434.
- Греков, 1951. Б. Д. *Греков*. Полица. М., 1951.
- Греков, 1953. Б. Д. *Греков*. Винодольский статут. М., 1953.
- Грицкат, 1966. И. *Грицкат*. У чему је значај и какве су специфичности славеносрпског периода у развоју српскохрватског језика // ЗФЛ. 1966. Књ. IX.
- Грицкат, 1976. И. *Грицкат*. Језик српских путописа из XVII и с почетка XVIII века // Зборник историје књижевности. Београд, 1976. Књ. 10. Стара српска књижевност. С. 297–322.
- Грујић, 1908. Р. М. *Грујић*. Српске школе (од 1718–1739 г.). Београд, 1908.
- Грчке повеље, 1936. Грчке повеље српских владара / Објавили А. Соловјев и В. Мошин. Београд, 1936.
- Гудков, 1972. В. П. *Гудков*. Из истории сербской лексикографии (Венский словарь 1791 г.) // Исследования по сербохорватскому языку. М., 1972. С. 183–196.

- Гудков, 1973. В. П. Гудков. О «славенском» языке Захария Орфелина // Вестник МГУ. Филология. 1973, № 3. С. 46–51.
- Гудков, 1974. В. П. Гудков. Рукописное сербское сказание о Косовской битве как документ истории литературного языка // ЗФЛ. 1974. Кн. XVII/2. С. 49–56.
- Гудков, 1977. В. П. Гудков. Особенности воспроизведения русских текстов в «Славно-сербском Магазине» – первом сербском журнале // Вестник МГУ. Филология. 1977, № 1. С. 57–69.
- Гуковский, 1965. Г. А. Гуковский. Пушкин и русские романтики. М., 1965.
- Гълъбов, 1986. И. Гълъбов. Старобългарският и латинският език през европейското средновековие (Към проблематиката на наднационалните културни езици) // Иван Гълъбов. Избрани трудове по езикознание. София, 1986. С. 41–68.
- Даль, IV. В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.–М., 1882. Т. IV.
- Джамо, Стойкович и др., 1963. Л. Джамо, О. Стойкович, М. Осман, М. Линца, М. Миту. Характерни черти на книжнославянски език румънска редакция (XIV–XVI вв.) // Romanoslavica. Bucureşti, 1963. Т. 9. Р. 109–161.
- Дмитриев и Сафронов, 1975. П. А. Дмитриев, Г. И. Сафронов. Из истории русско-югославянских литературных и научных связей. Л., 1975.
- Долобко, 1914. М. Г. Долобко. О языке некоторых боснийских грамот XIV в. // Известия ОРЯС. 1914. Т. XIX. Кн. 3. С. 217–260. Кн. 4. С. 1–29.
- Драчук, 1970–1971. В. С. Драчук. «Загадочные знаки» Северного Причерноморья // Archeologia. 1970, XXI; 1971, XXII.
- Драчук, 1975. В. С. Драчук. Системы знаков Северного Причерноморья: Тамгообразные знаки Северопонтийской периферии античного мира первых веков нашей эры. Київ, 1975.
- Дуличенко, 1981. А. Д. Дуличенко. Славянские литературные микроязыки. Таллин, 1981.
- Дуличенко, 1988. А. Д. Дуличенко. К функциональной стратификации современных славянских литературных языков // Slavica Tartuensia. [Вып.] II. Славянские литературные языки и историография славяноведения. Тарту, 1988. С. 25–45.
- Дурново, 1924. Н. Н. Дурново. Грамматический словарь. М.–Пг., 1924.
- Дурново, 1929. Н. Н. Дурново. Мысли и предположения о происхождении старославянского языка и славянских алфавитов // Byzantinoslavica. Praha, 1929. Roč. 1. S. 48–85.

- Дурново, 1932.** *Н. Н. Дурново.* К вопросу о времени распада общеславянского языка // *Sborník prací I Sjezdu slovanských filologů v Praze 1929.* Přednášky. Praha, 1932. Sv. II. S. 514–526.
- Дурново, 1963.** *Н. Н. Дурново.* Введение в историю русского языка. М., 1963.
- Дылевский, 1958.** *Н. М. Дылевский.* Грамматика Мелетия Смотрицкого у болгар в эпоху их возрождения // *ТОДРЛ.* 1958. Т. XIV.
- Ђерић, 1914.** *В. Ђерић.* О српском имену по западнијем крајевима нашега народа. Београд, 1914.
- Ђорђевић, 1957.** *П. Ђорђевић.* Терминолошка питања из палеославенистике // *Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду.* Нови Сад, 1957. Књ. 2.
- Ђорђевић, 1971.** *П. Ђорђевић.* Историја српске ћирилице. Београд, 1971.
- Евсеев, 1916.** *И. Е. Евсеев.* Очерки по истории славянского перевода Библии. Пг., 1916.
- Евсеев, 1916а.** *И. Е. Евсеев.* Геннадиевская библия 1499 г. // *Труды XV археологического съезда в Новгороде 1911 г.* М., 1916. Т. II.
- Ерофей Рачанинский, 1861.** *Ерофей иеромонах Рачанинский.* Путешаствіе къ граду Іерусалиму (1727) // *ЧОИДР.* 1861. Кн. 4. С. 1–42 отд. пагинации. (Опубликовано О. Бодянским.)
- Ерчић, 1974.** *В. Ерчић.* Историјска драма у Срба од 1736 до 1860. Београд, 1974.
- Ефимов, 1957.** *А. И. Ефимов.* История русского литературного языка. М., 1957.
- Живановић, 1964.** *Д. Живановић.* Вукова борба за српски песнички језик // *Анали Филолошког факултета.* Београд, 1964. Св. 4. Вуков зборник I.
- Живов, 1985.** *В. М. Живов.* Язык Феофана Прокоповича и роль гибридных вариантов церковнославянского в истории славянских литературных языков // *Советское славяноведение.* М., 1985, № 3. С. 70–85.
- Живов, 1987.** *В. М. Живов.* Проблемы формирования русской редакции церковнославянского языка на начальном этапе // *ВЯ.* 1987, № 1. С. 46–55.
- Живов, 1988.** *В. М. Живов.* История русского права как лингвосемиотическая проблема // *Semiotics and History of Culture.* In honour of Jurij Lotman. Columbus, Ohio, 1988. Vol. 11. P. 46–128.
- Жинзифов, 1863.** *Р. К. Жинзифов.* Новобългарска сбирка. М., 1863.

- Житецкий, 1889.** *П. Житецкий.* Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII веке. Киев, 1889.
- Жураўскі, 1958.** *А. І. Жураўскі.* Да пытання аб ролі царкоўнаславянскай мовы ў развіцці беларускай літаратурнай мовы XVI ст. (Матэрыялы да IV Міжнароднага з'езда славістаў). Мінск, 1958.
- Законик, 1975–1981.** Законик цара Стефана Душана. Београд, 1975–1981. Књ. 1–2.
- Засадкевич, 1883.** *Н. Засадкевич.* Мелетий Смотрицкий как филолог. Одесса, 1883.
- Здравева, 1927.** *З. Здравева.* Съчинения на Райко Жинзифовъ. София, 1927.
- Зиновий Отенский, 1863.** Истины показаніе къ вопросившимъ о новомъ ученіи. Сочиненіе инока Зиновія. Казань, 1863 [Православный собеседник. 1863.]
- ЗФЛ.** Сборник за филологију и лингвистику. Матица Српска. Нови Сад.
- Иванов, 1961.** *В. В. Иванов.* Лингвистика как теория отношений между языковыми системами и ее современные практические приложения // Лингвистические исследования по машинному переводу. М., 1961. Вып. 2.
- Иванов и Топоров, 1960.** *В. В. Иванов, В. Н. Топоров.* Санскрит. М., 1960.
- Иванова, 1969.** *Т. А. Иванова.* Еще раз о «русских письменах» // Советское славяноведение. М., 1969, № 4. С. 72–75.
- Ивић, 1957.** *М. Ивић.* Једно поређење Вуковог језика са нашим данашњим књижевним језиком // ЗФЛ. 1957. Књ. I.
- Ивић, 1965.** *П. Ивић.* Два аспекта Вуковог дела // Анали Филолошког факултета. Београд, 1965. Св. 5. Вуков зборник II. С. 99–107.
- Ивић, 1966.** *П. Ивић.* О Вуковом Рјечнику из 1818 године // Сабрана дела Вука Караџића. Београд, [1966]. Књ. II. Српски рјечник (1818).
- Ивић, 1971.** *П. Ивић.* Српски народ и његов језик. Београд, 1971.
- Ивић, 1981.** *П. Ивић.* Језик и његов развој до друге половине XII века // Историја српског народа. Београд, 1981. Књ. 1.
- Иконников, 1908.** *В. С. Иконников.* Опыт русской историографии. Киев, 1908. Т. II. Кн. 2.
- Иконников, 1915.** *В. С. Иконников.* Максим Грек и его время. Историческое исследование. Киев, 1915.
- Илић, 1961–1962.** *В. Илић.* Језик Кирила Пејчиновића и његово стилско, уметничко ангажовање // ЈФ. 1961–1962. Књ. XXV.

- Ильинский, 1906.** *Г. А. Ильинский.* Грамота бана Кулина: Опыт критического издания текста с комментариями. СПб., 1906.
- Ильинский, 1931.** *Г. А. Ильинский.* Где, когда, кем и с какой целью глаголица была заменена кириллицей // *Vyzantinoslavica.* Praha, 1931. Roč. 3, seš. 1. S. 79–88.
- Иссерлин, 1961.** *Е. М. Иссерлин.* Лексика русского литературного языка XVII века. М., 1961.
- Истрин, 1922.** *В. М. Истрин.* Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода (11–13 вв.). Пг., 1922.
- Јовановић, 1911.** *В. С. Јовановић.* Гаврило Стефановић Венцловић // Српски дијалектолошки зборник. Београд, 1911. Књ. II.
- ЈФ.** Јужнословенски филолог. Београд.
- Калугин, 1894.** *Ф. Калугин.* Зиновий инок Отенский и его богословско-полемические и церковно-учительные произведения. СПб., 1894.
- Каптерев, 1889.** *И. Ф. Каптерев.* О греко-латинских школах в Москве в XVII в. до открытия Славяно-греко-латинской академии // Творения св. отцов в русском переводе. М., 1889. Кн. IV.
- Каптерев, 1913.** *Н. Ф. Каптерев.* Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. Время патриаршества Иосифа. Сергиев Посад, 1913.
- Каратаев, 1883.** *И. Каратаев.* Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими буквами. СПб., 1883. Т. 1 [Сб. ОРЯС. Т. XXXIV, № 2].
- Караџић, 1894.** *Вук Стеф. Караџић.* Главне разлике између нашега славенскога и српског језика // Скупљени граматички и полемички списи Вука Стеф. Караџића. Београд, 1894. Књ. II.
- Караџић, 1908.** *Вук Стеф. Караџић.* Преписка. Београд, 1908. Књ. II.
- Караџић, I.** Скупљени граматички и полемички списи Вука Стеф. Караџића. Београд, 1894. Књ. I.
- Кардини, 1987.** *Ф. Кардини.* История средневекового рыцарства. Пер. с итал. М., 1987.
- Карсавин, 1927.** *Л. П. Карсавин.* Церковь, личность и государство. Париж, 1927. То же: **Карсавин, 1994.** С. 414–446.
- Карсавин, 1994.** *Л. П. Карсавин.* Малые сочинения. СПб., 1994.
- Карский, 1896.** *Е. Ф. Карский.* Западнорусские переводы псалтыри в XV–XVII веках. Варшава, 1896.
- Карский, 1921.** *Е. Ф. Карский.* Белоруссы. Т. III. Очерки словесности белорусского племени. Ч. 2. Старая западнорусская письменность. Пг., 1921.

- Карцевский, 1923.** *С. И. Карцевский.* Язык, война и революция. Берлин, 1923.
- Кашанин, 1975.** *М. Кашанин.* Српска књижевност у средњем веку. Београд, 1975.
- Кашић, 1968.** *Ј. Кашић.* Језик Милована Видаковића. Нови Сад, 1968.
- Кипарский, 1968.** *В. Кипарский.* О происхождении глаголицы // Климент Охридски. Материали за неговото чествување по случај 1050 години от смъртта му. София, 1968. С. 91–98.
- Кириловић, 1956.** *Д. Кириловић.* Буквар Теофана Прокоповића код Срба // Зборник Матице Српске за књижевност и језик. Нови Сад. 1956. Књ. 3.
- Клюев, 1991.** *Н. Клюев.* Стихотворения. Поэмы. М., 1991.
- Ковтун, 1963.** *Л. С. Ковтун.* Русская лексикография эпохи Средневековья. М.–Л., 1963.
- Ковтун, 1971.** *Л. С. Ковтун.* Русские книжники XVI столетия о литературном языке своего времени // Русский язык и источники его изучения. М., 1971. С. 3–23.
- Ковтун, 1975.** *Л. С. Ковтун.* Лексикография в Московской Руси XVI — начала XVII в. Л., 1975.
- Ковтун, 1975а.** *Л. С. Ковтун.* Славянизмы и инославянские слова в русских азбуковниках // Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии. Тезисы конференции. 1975. М., 1975. Вып. 1. С. 20–23.
- Козьма Пражский, 1962.** *Козьма Пражский.* Чешская хроника. М., 1962.
- Конеска, 1951.** *М. Конеска.* Мариовскиот говор. Скопје, 1951.
- Конески, 1949.** *Б. Конески.* Прилепскиот говор // Годишен зборник на филозофскиот факултет на Универзитетот. Скопје, 1949. Кн. 2.
- Конески, 1954.** *Б. Конески.* Граматика на македонскиот литературен јазик. Скопје, 1954. Т. II.
- Конески, 1983.** *Б. Конески.* Руското јазично влијание врз македонските текстови од XIII–XIV век // Реферати на македонските слависти за IX Меѓународен славистички конгрес во Киев. Скопје, 1983.
- Константинов, 1963.** *Н. А. Константинов.* Начало расшифровки загадочных знаков Приднепровья // Вестник ЛГУ. История, язык и литература. Л., 1963. № 14. Вып. 3. С. 107–109.
- Копыленко, 1966.** *М. М. Копыленко.* Как следует называть язык древнейших памятников славянской письменности // Советское славяноведение. М., 1966, № 1.

- Королюк, 1968.** В. Д. Королюк. К вопросу о славянском самосознании в Киевской Руси и у западных славян в X—XII вв. // История, культура, фольклор и этнография славянских народов. VI Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1968. С. 98—113.
- Корубин, 1956.** Б. Корубин. Јазикот на Крсте П. Мисирков. Скопје, 1956.
- Костић, 1924.** М. Костић. Српски језик као дипломатски језик Југоисточне Европе од XV до XVIII века // Јужни преглед. Скопље, 1924. С. 1—18.
- Костић, 1952.** М. Костић. Доситеј Обрадовић у историјској перспективи XVIII и XIX века. Београд, 1952.
- Котович, 1909.** Ал. Котович. Духовная цензура в России (1799—1855 гг.). СПб., 1909.
- Крижаниц, 1859.** Ј. Крижаниц. Граматично изка̀зање... / Издао О. Бодянским. М., 1859.
- Куев, 1967.** К. М. Куев. Черноризец Храбр. София, 1967.
- Куев, 1974.** К. М. Куев. Азбучната молитва в славянските литератури. София, 1974.
- Кузнецов, 1958.** П. С. Кузнецов. У истоков русской грамматической мысли. М., 1958.
- Кулаковский, 1903.** П. А. Кулаковский. Начало русской школы у сербов в XVIII веке // Известия ОРЯС, 1903. Т. VIII. Кн. 2. С. 246—311; Кн. 3. С. 190—297 (то же — отд. оттиск).
- Курс історії, 1958.** Курс історії української літературної мови / За ред. І. К. Білодіда. Київ, 1958.
- Лавров, 1899.** П. А. Лавров. Дамаскин Студит и сборники его имени «Дамаскины» в юго-славянской письменности. Одесса, 1899.
- Лавров, 1930.** П. А. Лавров. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930. Т. 1.
- Ларин, 1937.** Русская грамматика Лудольфа 1696 года / Издание текста, перевод, вступ. статья и примеч. Б. А. Ларина. Л., 1937.
- Ларин, 1961.** Б. А. Ларин. Разговорный язык Московской Руси // Начальный этап формирования русского национального языка. Л., 1961.
- Ларин, 1975.** Б. А. Ларин. Лекции по истории русского литературного языка (X — середина XVIII в.). М., 1975.
- Ластоўскі, 1926.** В. Ластоўскі. Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі. Спроба паясьніцельнай кнігопісі ад канца X да пачатку XIX стагодзьдзя. Коўна, 1926.

- Латышев и Малицкий, 1934. В. В. Латышев, Н. В. Малицкий. Сочинение Константина Багрянородного «Об управлении государством» // Известия ГАИМК. 1934. Вып. 91.
- Левкович, 1978. Я. Л. Левкович. Литературная и общественная деятельность пушкинской поры в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1978. Т. VIII.
- Лер-Сплавинский, 1954. Т. Лер-Сплавинский. Польский язык. М., 1954.
- Лесковац, 1955. М. Лесковац. Антологија старије српске поезије. Нови Сад, 1955.
- Лихачев, 1958. Д. С. Лихачев. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России. Доклад на IV Международном съезде славистов. М., 1958.
- Лихачев, 1963. Д. С. Лихачев. Система литературных жанров древней Руси // Славянские литературы. V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1963. С. 47–70.
- Лихачев, 1968. Д. С. Лихачев. Древнеславянские литературы как система // Славянские литературы. VI Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1968. С. 5–48.
- Лихачев, 1988. Предварительные итоги 1000-летнего опыта. Беседа А. Чернова с акад. Д. С. Лихачевым // Огонек. М., 1988, № 10. С. 9–10.
- Ломоносов, 1952. М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений. М.–Л., 1952. Т. VII.
- Ломоносов, 1957. М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений. М.–Л., 1957. Т. X.
- Ломоносов, 1959. М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений. М.–Л., 1959. Т. VIII.
- Львов, 1968. А. С. Львов. Чешско-моравская лексика в памятниках древнерусской письменности // Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1968. С. 316–338.
- Мансветов, 1882. И. Мансветов. Митрополит Киприан в его литургической деятельности. М., 1882.
- Мансветов, 1883. И. Мансветов. Как у нас правилась церковные книги. Материал для истории книжной sprawy в XVII столетии (по бумагам архива Типографской библиотеки в Москве). М., 1883.
- Мареш, 1961. В. Ф. Мареш. Древнеславянский литературный язык в Великоморавском государстве // ВЯ. 1961, № 2. С. 12–23.
- Матвей Меховский, 1936. Матвей Меховский. Трактат о двух Сарматиях. М.–Л., 1936.

- Материалы для истории раскола, 1894.** Материалы для истории раскола за первое время его существования / Под ред. Н. Субботина. СПб., 1894. Т. IX. Ч. I.
- Махновець, 1960.** Українські письменники. Біо-бібліографічний словник. Уклав Л. Махновець. Київ, 1960. Т. I.
- Медаковић, 1958.** *Д. Медаковић.* Графика српских штампаних књига XV–XVII века. Београд, 1958.
- Медынцева, 1978.** *А. А. Медынцева.* Древнерусские надписи новгородского Софийского собора XI–XIV вв. М., 1978.
- Мейе, 1951.** *А. Мейе.* Общеславянский язык. М., 1951.
- Мещерский, 1960.** *Н. А. Мещерский.* Ответ на анкету ВЯ // ВЯ. 1960, № 1.
- Милошевић, 1970.** *Д. Милошевић.* Срби светитељи у старом српском сликарству // О Србљаку. Београд, 1970. С. 143–268.
- Михаиловић, 1964.** *Г. Михаиловић.* Српска библиографија XVIII века. Београд, 1964.
- Михайлов, 1954.** *П. Михайлов.* Градскиот дебарски говор. Скопје, 1954.
- Михајловић, I–II.** *В. Михајловић.* Грађа за речник страних речи у предвуковском периоду. Нови Сад, 1973–1974. Књ. I–II.
- Младеновић, 1960.** *А. Младеновић.* Прилог проучавању Орфелиновог језика // ЗФЛ. 1960. III. С. 153–174.
- Младеновић, 1964.** *А. Младеновић.* О народном језику Јована Рајића. Нови Сад, 1964.
- Младеновић, 1969.** *А. Младеновић.* Однос између домаћих и рускословенских елемената у књижевном језику код Срба пре његове Вуковске стандардизације // ЗФЛ. 1969. XII. С. 43–51.
- Младеновић, 1970.** *А. Младеновић.* О неким рускословенским и српскохрватским језичким особинама у орфелиновом «Магазину» // ЗФЛ. 1970. XIII/I. С. 103–118.
- Младеновић, 1971.** *А. Младеновић.* Народни језик у песми «Љубосава и Радован» митрополита Стевана Стратимировића // ЗФЛ. 1971. XIV/2. С. 71–121.
- Младеновић, 1973.** *А. Младеновић.* Типови књижевног језика код Срба у другој половини XVIII и почетком XIX века // Реферати за VII међународни конгрес слависта у Варшави. Нови Сад, 1973. С. 39–53.
- Младеновић, 1974.** *А. Младеновић.* Језичка кодификација и књижевни језик код Срба друге половине XVIII и првих деценија XIX века // Проблеми норми в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах. Тезиси докладов. М., 1974. С. 27–28.

- Младеновић, 1984.** *А. Младеновић.* Речник текстова славеносрпског периода и нека питања његове израде // Лексикографија и лексикологија. Нови Сад — Београд, 1984. С. 97–101.
- Можаева, 1980.** *И. Е. Можаева.* Библиографија по кирилло-мефодиевској проблематици. 1945–1974 гг. М., 1980.
- Мокутер, 1972.** *И. Мокутер.* Русско-српске литературне везе у XVIII веку (општи преглед) // *Studia Slavica.* Budapest, 1972. Т. XVIII. Ф. 1–2.
- Мочалова, 1985.** *В. В. Мочалова.* Мир наизнанку. Народна градоградска литература Пољше XVI–XVII вв. М., 1985.
- Мошин, 1963.** *В. Мошин.* О периодизацији руско-јужнословјанских литературних веза X–XV вв. // *Русска литература XI–XVII векова међу словјанским литературама.* М.–Л., 1963. С. 28–106.
- Назор, 1966.** *А. Назор.* О речнику хорватско-глаголическе редакције опшесловјанског литературног (црковнословјанског) језика // *ВЈ.* 1966, № 5. С. 99–105.
- Наумов, 1995.** *А. Наумов.* Средновековна литература и богослужба // *Ricerche slavistiche.* Roma, 1995. Vol. XLII. P. 49–59.
- Нац. возрођење, 1978.** Национално возрођење и формирање словјанских литературних језика. М., 1978.
- Начални етап, 1961.** Начални етап формирања руског националног језика. Л., 1961.
- Недељковић, 1977.** *О. Недељковић.* Месецослов Трновског јеванђеља // Зборник Владимира Мошина. Београд, 1977. С. 147–152.
- Николски, 1896.** *К. Николски.* Материјали за историју исправљења богослужбених књига. Об исправљењу Устава црковног у 1682 години и месечних Миней у 1689–1691 гг. СПб., 1896. [ПДПИ. Вып. СХV.]
- Николски, 1916.** *Н. К. Николски.* Сочиненија соловецког инока Герасима Фирсова по неизданим текстам. СПб., 1916. [ПДПИ. Вып. CLXXXVIII.]
- Николски, 1933.** *Н. Николски.* К вопросу о следах мораво-чешского влияния на литературных памятниках домонгольской эпохи // *Вестник АН СССР.* Л., 1933. № 8–9. С. 5–18.
- Николски, ркп.** *Н. К. Николски.* Следы мораво-чешского влияния на памятниках домонгольской культуры. Рукопись // *Архив АН СССР.* Ленинград. Фонд 247. Оп. 1. № 80.
- Новаковић, 1869.** *С. Новаковић.* Српска библиографија за новију књижевност. 1741–1867. У Биограду, 1869.
- Новаковић, 1898.** *С. Новаковић.* Законик Стефана Душана цара српског 1349 и 1354. Београд, 1898.

- Обнорский, 1946.** *С. П. Обнорский.* Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М.—Л., 1946.
- Обрадовић, 1961.** *Д. Обрадовић.* Сабрана дела. Београд, 1961.
- Огородников, 1913.** *В. Огородников.* Донесение о Московии второй половины XVI века // ЧОИДР. 1913. Кн. 2.
- Олтяну, 1958.** *П. Олтяну.* Некоторые особенности славянского языка Трансильвании // *Romanoslavica.* Bucureşti, 1958. Т. II.
- Описание рукописей, 1881.** Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской духовной академии. Казань, 1881. Часть I.
- Орлов, 1937.** *А. С. Орлов.* Древняя русская литература XI—XVI вв. М.—Л., 1937.
- Остојић, 1923.** *Т. Остојић.* Захарије Орфелин. Живот и рад му. Београд, 1923.
- Остојић и Ђоровић, 1926.** *Т. Остојић, В. Ђоровић.* Српска грађанска лирика XVIII века. Из старих песмарица. Београд — Ср. Карловци, 1926.
- Павел Иовий, 1836.** Павла Иовия Новокомского книга о посольстве, отправленном Василием Иоанновичем, вел. кн. Московским к папе Клименту VII // Библиотека иностранных писателей о России / Под ред. В. Семенова. СПб., 1836. Т. 1.
- Павел Иовий, 1908.** *Павел Иовий Новокомский.* Книга о Московитском посольстве. СПб., 1908.
- Павић, 1963.** *М. Павић.* Предговор ненаписаној историји књижевности // Књижевност. Београд, 1963. Год. XVIII, фебруар. № 2.
- Павић, 1970.** *М. Павић.* Историја српске књижевности барокног доба (XVII—XVIII век). Београд, 1970.
- Павић, 1972.** *М. Павић.* Гаврил Стефановић Венцловић. Београд, 1972.
- ПДП(И).** Памятники древней письменности (и искусства).
- Панькевич, 1927.** *І. Панькевич.* Славено-руська граматика Арсенія Коцака другої половини XVIII вѣка // Науковий зборник товариства «Просвѣта». Ужгород, 1927. Рочн. V.
- Пекарский, 1873.** *П. Пекарский.* История императорской Академии наук в Петербурге. СПб., 1873. Т. II.
- Перетц, 1910.** *В. Н. Перетц.* Матеріяли до історії української літературної мови // Записки Наукового товариства імени Шевченка. Львів, 1910. Т. XCIII.
- Петухов, 1895.** *Е. В. Петухов.* Очерки из литературной истории Синодика // ПДПИ. СПб., 1895. Вып. CVIII.
- Пешковский, 1923.** *А. М. Пешковский.* Объективная и нормативная точка зрения на язык // Русский язык в школе. Труды

- Постоянной комиссии преподавателей русского языка и литературы. М.—Пг., 1923. Вып. 1.
- Пешковский, 1959.** *А. М. Пешковский.* Избранные труды. М., 1959.
- Пикио, 1993.** *Р. Пикио.* Православного славянство и старобългарската културна традиция. София, 1993.
- Письма, 1867.** Письма разных лиц к Ивану Ивановичу Дмитриеву. 1816–1837. М., 1867.
- ПЛК, 1967.** Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
- Покровский, 1916.** *А. А. Покровский.* Древнее Псковско-Новгородское письменное наследие. Обзорение пергаменных рукописей Типографской и Патриаршей библиотек в связи с вопросом о времени образования этих книгохранилищ // Труды XV археологического съезда в Новгороде 1911 г. М., 1916. С. 215–494.
- Поливанов, 1931.** *Е. Д. Поливанов.* За марксистское языкознание. М., 1931.
- Поливанов, 1963.** *Е. Д. Поливанов.* Статьи по общему языкознанию. М., 1963.
- Поповић, 1973.** *М. Поповић.* Романтизам код Срба. Београд, 1973. Т. I–II.
- Поссевино, 1983.** *А. Поссевино.* Исторические сочинения о России XVI в. М., 1983.
- Поэты, I.** Поэты 1820–1830-х годов. Л., 1972. Т. 1.
- Поэты, II.** Поэты XVIII века. Л., 1972. Т. 2.
- ППЈ.** Прилози проучавању језика. Нови Сад.
- Прение, 1859.** Прение литовского протопопа Лаврентия Зизания с игуменом Илиею и справщиком Григорием по поводу исправления составленного Лаврентием Катехизиса // Летописи русской литературы и древности, издаваемые Николаем Тихоновым. М., 1859. Т. 2. Книжка четвертая. С. 80–100.
- ПСРЛ, I.** Полное собрание русских летописей. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Вып. 1. Повесть временных лет. Л., 1926.
- Пуцко, 1987.** *В. Г. Пуцко.* Древнерусская культура на пороге второго тысячелетия // Исследования по древней и новой литературе. Л., 1987. С. 303–309.
- Пыпин, 1892.** *А. Н. Пыпин.* История общеславянского языка // Вестник Европы. СПб., 1892. Год XXVII. Кн. 4–5 (апрель—май).
- Пыпин, 1909.** *А. Н. Пыпин.* Характеристика литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов. Исторические очерки. СПб., 1909.
- Пыпин, I–IV.** *А. Н. Пыпин.* История русской этнографии. СПб., 1890–1892. Т. I–IV.

- Радищев, 1938. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений. М.—Л., 1938. Т. I.
- Радойичич, 1966. Г. С. Радойичич. Отражение реформ Петра I в сербской письменности XVIII в. // Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. К 70-летию со дня рождения П. Н. Беркова. М.—Л., 1966. [XVIII век. Сб. 7.] С. 54—60.
- Радојчић, 1931. Н. Радојчић. О трношком родослову. Београд, 1931.
- Радојчић, 1952. Н. Радојчић. Српски историчар Јован Рајић. Београд, 1952.
- Радојчић, 1956. Н. Радојчић. Из прошлости Војводине. Нови Сад, 1956.
- Радојчић, 1963. Ђ. С. Радојчић. Творци и дела старе српске књижевности. Титоград, 1963.
- Реметић, 1975. С. Реметић. Језик пјесама Гаврила Ковачевића // ППЈ. 1975. Књ. 11. С. 51—91.
- Речник, 1978. Речник на македонските црковнословенски текстови: Пробна свеска. Скопје, 1978.
- РИБ. Русская историческая библиотека. Петербург.
- Рот-Жебровский, 1985. Т. Рот-Жебровский. Кирилловская часть Реймского евангелия. Лингвистическое исследование. Люблин, 1985.
- Румянцев, 1916. И. Румянцев. Никита Константинов Добрынин («Пустосвят»). Сергиев Посад, 1916.
- РЭС, 1982. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982.
- РЭС, 1989. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1989.
- СБЯ, 1979. Славянское и балканское языкознание. История славянских литературных языков и письменность. М., 1979.
- Сводный каталог, 1984. Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. М., 1984.
- Селищев, 1918. А. М. Селищев. Очерки по македонской диалектологии. Казань, 1918. Т. I.
- Селищев, 1928. А. М. Селищев. Язык революционной эпохи. М., 1928.
- Селищев, 1931. А. М. Селищев. Говоры области Скопья // Македонски преглед. София, 1931. Год. VII, кн. 1.
- Селищев, 1968. А. М. Селищев. О языке «Русской правды» в связи с вопросом о древнейшем типе русского литературного языка // А. М. Селищев. Избранные труды. М., 1968. С. 129—140.

- Селищев, 1968а. *А. М. Селищев. Происхождение русских фамилий, личных имен и прозвищ // А. М. Селищев. Избранные труды.* М., 1968. С. 97–128.
- Симпозиум, 1970. Симпозиум 1100-годишнина од смртта на Кирил Солунски. Скопје, 1970. Кн. 2.
- Сказания, 1981. Сказания о начале славянской письменности. М., 1981.
- Сказания князя Курбского, 1868. Сказания князя Курбского. СПб., 1868.
- Скворцов, 1980. *Л. И. Скворцов. Теоретические основы культуры речи.* М., 1980.
- Скерлић, 1923. *Ј. Скерлић. Српска књижевност у XVIII веку.* Београд, 1923.
- Скерлић, 1953. *Ј. Скерлић. Историја нове српске књижевности.* Београд, 1953.
- Снегаров, 1953. *И. Снегаров. Културни и политички врџки между Бџлгария и Русия през XVI–XVIII в. София, 1953.*
- Соболевский, 1892. *А. И. Соболевский. Образованность Московской Руси XV–XVII веков // Отчет о состоянии и деятельности Императорского С.-Петербургского университета за 1891 год.* СПб., 1892.
- Соболевский, 1894. *А. И. Соболевский. Южнославянское влияние на русскую письменность в XIV–XV веках.* СПб., 1894.
- Соболевский, 1900. *А. И. Соболевский. Церковнославянские тексты моравского происхождения.* Варшава, 1900.
- Соболевский, 1903. *А. И. Соболевский. Переводная литература Московской Руси XIV–XVII веков. Библиографические материалы.* СПб., 1903. [Сборник ОРЯС. Т. LXXIV. № 1.]
- Соболевский, 1903а. *А. И. Соболевский. Несколько мыслей об древней русской литературе // Известия ОРЯС.* СПб., 1903. Т. VIII. Кн. 2.
- Соболевский, 1906. *А. И. Соболевский. Славяно-русская палеография.* СПб., 1906.
- Соболевский, 1908. *А. И. Соболевский. Славяно-русская палеография.* СПб., 1908. Изд. 2-е.
- Соболевский, 1910. *А. И. Соболевский. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. III. Словарный материал для двух древних памятников чешского происхождения // Сборник ОРЯС.* СПб., 1910. Т. LXXXVIII. № 3. С. 48–91.
- Соболевский, 1911. *А. И. Соболевский. 1711–1911. Ломоносов в истории русского языка.* СПб., 1911.
- Соболевский, 1980. *А. И. Соболевский. История русского литературного языка. Л., 1980 (издание рукописи 1889 г.).*

- Сове, 1970. *Б. И. Сове*. Проблема исправления богослужебных книг в России в XIX–XX вв. // Богословские труды. М., 1970. Сб. V.
- Соколов, 1925. *Ю. М. Соколов*. Народная литература // Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов. М.–Л., 1925. Т. 1. С. 474–485.
- Соловьев, 1988. *С. М. Соловьев*. Сочинения. М., 1988. Кн. 1.
- Сперанский, 1896. *М. Н. Сперанский*. Деление истории русской литературы на периоды и влияние русской литературы на югославянскую // Русский филологический вестник. Варшава, 1896. Т. XXVI. С. 193–223.
- Сперанский, 1904. *М. Н. Сперанский*. Переводные сборники изречений в славяно-русской письменности. Исследование и тексты. М., 1904.
- Сперанский, 1914. *М. Н. Сперанский*. Иван Федоров и его потомство // Труды Московского археологического общества. М., 1914. Т. XXIII, вып. 2.
- Сперанский, 1929. *М. Н. Сперанский*. Тайнопись в югославянских и русских памятниках письма // Энциклопедия славянской филологии. Л., 1929. Вып. 4.
- Сперанский, 1960. *М. Н. Сперанский*. Из истории русско-славянских литературных связей. М., 1960.
- СССЯ, 1986. Словарь старославянского языка восточнославянской редакции XI–XIII вв.: Проспект. Киев, 1986.
- Станојевић, 1933. *Ст. Станојевић*. Студије о српској дипломатици. XX и XXI // Глас СКА. CLVII. Београд, 1933. Књ. 80.
- Степанов, 1976. *Г. В. Степанов*. Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. М., 1976.
- Стијовић, 1970. *С. Стијовић*. О међусобном односу неких руско-словенских и српскохрватских особина у Орфелиновим песмама // ППЈ. 1970. Књ. 6.
- Стипчевић, 1972. *Б. Стипчевић*. Македонска рецензија // Македонски јазик. Скопје, 1972. Кн. XXIII. С. 265–269.
- Стойков, 1948. *Ст. Стойков*. Ятовият въпрос в новобългарския книжовен език // Годишник на Софийския ун-т. Ист.-филол. фак-т. София, 1948. Т. XLIX. Кн. 4.
- Стојановић, 1901. *Љ. Стојановић*. Каталог рукописа и старих штампаних књига. Београд, 1901.
- Стојановић, 1923. *Љ. Стојановић*. Стари српски записи и натписи. Карловци, 1923. Књ. IV.
- Стојановић, 1924. *Љ. Стојановић*. Живот и рад Вука Стеф. Караџића. Београд, 1924.

- Стојковић, 1930.** *М. Стојковић.* Покушај увођења рускословенске граматике Мелетија Смотричкога код Хрвата // Наставни вјесник. Загреб, 1930. Књ. XXXVIII. С. 120–131.
- Строев, 1829.** *П. Строев.* обстоятельное описание старопечатных книг славянских и российских, хранящихся в библиотеке... графа Ф. А. Толстого. М., 1829.
- Строев, 1836.** *П. Строев.* Описание старопечатных книг славянских, находящихся в библиотеке И. Н. Царского. М., 1836.
- Строев, 1848.** *П. Строев.* Рукописи славянские и российские, принадлежащие... Ивану Никитичу Царскому. М., 1848.
- Сумароков, 1787.** *А. П. Сумароков.* Полное собрание всех сочинений. М., 1787. Т. X.
- Сучевић, 1956.** *М. Сучевић.* Неколико примера српске грађанске лирике XVIII века // Зборник Матице Српске за књижевност и језик. Нови Сад, 1956. Књ. 3. С. 167–170.
- Съезд славистов, 1962.** IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. М., 1962. Т. 2.
- Титов, 1924.** *Хв. Титов.* Материали для історії книжної справи на Україні в XVI–XVIII вв. Всезбірка передмов до українських стародруків. Київ, 1924.
- ТОДРЛ.** Труды Отдела древнерусской литературы. [Москва–] Ленинград.
- Толстой, 1961.** *Н. И. Толстой.* К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян // ВЯ. 1961, № 1. С. 52–66.
- Толстой, 1962.** *Н. И. Толстой.* Роль древнеславянского литературного языка в истории русского, сербского и болгарского литературных языков в XVII–XVIII вв. // Вопросы образования восточнославянских национальных языков. М., 1962. С. 5–21.
- Толстой, 1963.** *Н. И. Толстой.* Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI — XVII вв.) // Славянское языкознание. V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1963. С. 230–272.
- Толстой, 1963а.** *Н. И. Толстой.* Роль кирилло-мефодиевской традиции в истории восточно- и южнославянской письменности // Краткие сообщения Института славяноведения. М., 1963. Вып. 39. С. 27–38.
- Толстой, 1963б.** *Н. И. Толстой.* Ответ на вопрос «Създаване на койне в славянските езици и неговото влияние върху литературните езици» // Славянска филология: Материали за V Междунар. конгрес на славистите. София, 1963. Т. 1. С. 44–46.

- Толстой, 1965.** *Н. И. Толстой.* О последней попытке применения «общеславянской азбуки» к словенскому литературному языку // Проблемы современной филологии. М., 1965. С. 260–266.
- Толстой, 1965а.** *Н. И. Толстой.* Страничка из истории македонского литературного языка (Перевод «Любушиного суда» из «Краледворской рукописи» на македонский язык в XIX в.) // Краткие сообщения Института славяноведения. М., 1965. Вып. 43. С. 17–34.
- Толстой, 1968.** *Н. И. Толстой.* К вопросу о зависимости элементов стиля стандартного литературного языка от характера его «стандартности» (На материале славянских языков) // Развитие стилистических систем литературных языков народов СССР. Ашхабад, 1968. С. 124–134.
- Толстой, 1969.** *Н. И. Толстой.* Славянские региональные литературные языки и их функции в современный и донациональный период // Славянские литературные языки в донациональный период. Тезисы докладов. М., 1969. С. 14–16.
- Толстой, 1974.** *Н. И. Толстой.* Взгляды В. В. Виноградова на соотношение древнерусского и древнеславянского литературного языка // Исследования по славянской филологии. М., 1974. С. 319–329.
- Толстой, 1976.** *Н. И. Толстой.* Старинные представления о народно-языковой базе древнеславянского литературного языка (XVI—XVII вв.) // Вопросы русского языкознания. М., 1976. Вып. 1. С. 177–204.
- Толстой, 1977.** *Н. И. Толстой.* К историко-культурной характеристике «славяно-сербского» литературного языка // Формирование национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977. С. 267–281.
- Толстой, 1978.** *Н. И. Толстой.* Труды В. В. Виноградова по истории русского литературного языка // В. В. Виноградов. Избранные труды: История литературного языка. М., 1978. С. 1–9.
- Толстой, 1978а.** *Н. И. Толстой.* Литературный язык у сербов в конце XVIII — начале XIX века // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978. С. 269–328.
- Толстой, 1979.** *Н. И. Толстой.* Литературный язык у сербов в XVIII в. (до 1780 г.) // Славянское и балканское языкознание. История литературных языков и письменность. М., 1979. С. 154–197.
- Толстой, 1981.** *Н. И. Толстой.* Мысли Н. С. Трубецкого о русском и других славянских литературных языках // Язык и речь как объекты комплексного филологического исследования. Калинин, 1981. С. 98–119.

- Толстой, 1985. *Н. И. Толстой*. Славянские литературные языки и их отношение к другим идиомам (стратам) // Функциональная стратификация языка. М., 1985. С. 9–24.
- Толстой, 1987. *Н. И. Толстой*. Становление хорватской литературы и литературный регионализм в XVI—XVIII вв. // Славянские литературы в процессе становления и развития (от древности до середины XIX в.). М., 1987. С. 174–206.
- Толстой, 1987а. *Н. И. Толстой*. Несколько вступительных слов о символике и языке поэмы Н. Ключева «Погорельщина» // Новый мир. М., 1987, № 7. С. 78–81.
- Толстой, 1988. *Н. И. Толстой*. История и структура славянских литературных языков. М., 1988.
- Толстой, 1993. *Н. И. Толстой*. Этническое самопознание и самосознание Нестора Летописца, автора «Повести временных лет» // Исследования по славянскому историческому языкознанию. М., 1993. С. 4–12.
- Толстой, 1995. *Н. И. Толстой*. Язык и культура // *Н. И. Толстой*. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995. С. 15–26.
- Толстой, 1996. *Н. И. Толстой*. Как называли сербы свой литературный язык в XVIII и начале XIX века? // Славяноведение. 1996, № 1. С. 32–38.
- Толстој, 1966. *Н. И. Толстој*. Архаизам и новаторство у језичкој реформи Вука Караџића // *Анали Филолошког факултета Београдског универзитета*. Београд, 1966. Год. 1965. Св. 5. С. 227–234.
- Толстој, 1976. *Н. И. Толстој*. Ђура Даничић као историјски лексикограф и руска лексикографија XIX века // *Научни састанак слависта у Вукове дане*. Београд, 1976. Књ. 5. С. 495–503.
- Толстој, 1982. *Н. И. Толстој*. Однос старог српског књишког језика према старом словенском језику // *Научни састанак слависта у Вукове дане*. Београд, 1982. Књ. 8. Св. 1. С. 15–25.
- Томашевский, 1933. *Б. Томашевский*. От редакции // *Ирои-комическая поэма*. Л., 1933.
- Томашевский, 1959. *Б. В. Томашевский*. Стилистика и стихосложение. Л., 1959.
- Тредиаковский, 1963. *В. К. Тредиаковский*. Избранные произведения. М.—Л., 1963.
- Трифуновић, 1970. *Ђ. Трифуновић*. Стара српска црквена поезија // *О Србљаку*. Београд, 1970. С. 9–93.
- Трубецкой, 1927. *Н. С. Трубецкой*. К проблеме русского самопознания. [Париж], 1927.

- Ђирковић, 1969.** *С. М. Ђирковић.* Православна црква у средњовековној српској држави // Српска православна црква 1219–1969. Београд, 1969.
- Угринова, 1951.** *Р. Угринова.* Говорите во Скопско. Скопје, 1951.
- Успенский, 1968.** *Б. А. Успенский.* Архаическая система церковнославянского произношения. М., 1968.
- Успенский, 1975.** *Б. А. Успенский.* Первая русская грамматика на родном языке. Доломоновский период отечественной русистики. М., 1975.
- Успенский, 1985.** *Б. А. Успенский.* Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века. Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985.
- Успенский, 1987.** *Б. А. Успенский.* История русского литературного языка (XI–XVII вв.). München, 1987.
- Ушаков, 1925.** *Д. Н. Ушаков.* Краткое введение в науку о языке. М., 1925. Изд. 2-е.
- Ушаков, 1925а.** *Д. Н. Ушаков.* Ответы на анкету «Культура речи» // Журналист. [М.] 1925, № 2 (18).
- Фасмер, III.** *М. Фасмер.* Этимологический словарь русского языка. М., 1971. Т. III.
- Филипоски, 1952.** *И. Филипоски.* Неготинскиот говор. Скопје, 1952.
- Флоровский, 1946.** *А. В. Флоровский.* Чешская библия в истории русской культуры и письменности. Фр. Скорина и продолжатели его дела // Sborník filologický. Praha, 1946. XII (1940–1946).
- Хабургаев, 1979.** *Г. А. Хабургаев.* Этнонимия «Повести временных лет» в связи с задачами реконструкции восточнославянского глоттогенеза. М., 1979.
- Харлампович, 1897.** *К. Харлампович.* Острожская православная школа // Киевская Старина. Киев, 1897. Т. LVII (май, июнь).
- Харлампович, 1898.** *К. В. Харлампович.* Западнорусские православные школы XVI и начала XVII века, отношение их к инославным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле защиты православной веры и церкви. Казань, 1898.
- Харлампович, 1902.** *К. Харлампович.* Борьба школьных влияний в допетровской Руси // Киевская Старина. Киев, 1902. Т. LXXVIII, (июль–август, сентябрь); Т. LXXIX (октябрь).
- Хрестоматія, 1952.** Хрестоматія давньої української літератури. Упорядкував О. І. Білецький. Київ, 1952.
- Хрестаматыя, 1961.** Хрестаматыя па гісторыі беларускай мовы. Мінск, 1961.

- Цонев, І–ІІ. *Б. Цонев*. Истoрия на бългaрски(й) език. София, 1919. Кн. I; 1934. Т. II.
- Челебија, І–ІІ. *Евлија Челебија*. Одломци о југословенским земљама. Сарајево, 1954, 1957. Књ. I, II.
- ЧОИДР. Чтения при Императорском обществе истории и древностей российских. Москва.
- Шакун, 1960. *Л. М. Шакун*. Нарысы гісторыі беларускай літаратурнай мовы. Мінск, 1960.
- Шафарик, 1853. [*Янко Шафарикъ*]. Србскіи лѣтописаць изъ почетка XVI-гъ столѣтія // Гласник Друштва србске словесности. У Београду, 1853. Св. V. С. 17–113 отд. пагинации.
- Шахматов, 1916. *А. А. Шахматов*. Повесть временных лет. Пг., 1916. Т. I. Вводная часть. Текст. Примечания.
- Шахматов, 1916а. *А. А. Шахматов*. Введение в курс истории русского языка. Пг., 1916. Ч. I. Исторический процесс образования русских племен и наречий.
- Шахматов, 1919. *А. А. Шахматов*. Древнейшие судьбы русского племени. Пг., 1919.
- Шахматов, 1940. *А. А. Шахматов*. «Повесть временных лет» и ее источники // ТОДРЛ. 1940. Т. IV.
- Шахматов, 1941. *А. А. Шахматов*. Очерк современного русского литературного языка. М., 1941. Изд. 4-е.
- Шевелев, 1991. *Г. В. Шевелев*. Между праславянским и русским // G. V. Shevelov. In and around Kiev. Heidelberg, 1991.
- Шишков, 1824. [*А. С.*] *Шишков*. Собрание сочинений и переводов. СПб., 1824. Ч. III.
- Шолом, 1958. *Ф. Я. Шолом*. Зародження і розвиток наукової філологічної думки в Росії і на Україні в XVI — першій половині XVII ст. // Філологічний збірник. Київ, 1958.
- Штець, 1969. *М. Штець*. Літературна мова українців Закарпаття і Східної Словаччини (після 1918). Братіслава, 1969.
- Щеглова, 1910. *С. А. Щеглова*. «Пчела» по рукописям киевских библиотек. [СПб.], 1910.
- Щерба, 1925. *Л. Щерба*. Ответы на анкету «Культура речи» // Журналист. [М.,] 1925, № 2 (18).
- Донсон, 1966. *Б. Донсон*. Неки видови песништва Захарија Орфелина // Од барока до класицизма. Београд, 1966. С. 135–195.
- Эпштейн, 1947. *Э. И. Эпштейн*. К вопросу о происхождении русской письменности // Ученые записки ЛГУ. Серия историч. Л., 1947. Вып. 15. С. 21–26.

- Ягич, 1885.** В. Ягич. Вопрос о Кирилле и Мефодии в славянской филологии // Сборник ОРЯС. Т. XXXVIII. № 1. СПб., 1885. С. 1–60.
- Ягич, 1885–1895.** И. В. Ягич. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковно-славянском языке // Исследования по русскому языку. СПб., 1885–1895. Т. 1.
- Ягич, 1910.** И. В. Ягич. История славянской филологии // Энциклопедия славянской филологии. СПб., 1910. Вып. 1.
- Ягич, 1911.** И. В. Ягич. Глаголическое письмо // Энциклопедия славянской филологии. СПб., 1911. Вып. 3: Графика у славян.
- Якобсон, 1987.** Роман Якобсон. Работы по поэтике. М., 1987.
- Якубинский, 1925.** Л. Якубинский. Ответы на анкету «Культура речи» // Журналист. [М.,] 1925, № 2 (18).
- Яцимирский, 1917.** А. И. Яцимирский. Мелкие тексты и заметки по старинной южнославянской и русской литературам. LXXXIII—XC // Известия ОРЯС. 1917. Т. XXII.
- Anfangs-Gründe, 1731.** Anfangs-Gründe der Rußischen Sprache // Teutsch — Lateinisch- und Rußisches Lexicon. SPb., 1731.
- Aspects, 1984.** Aspects of the Slavonic Language Question. Vol. I. Church Slavonic — South Slavic — West Slavic; Vol. II. East Slavic / Ed. by Riccardo Picchio and Harvey Goldblatt. New Haven, 1984.
- Avenarius, 1992.** A. Avenarius. Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v VI–XII. storočí. Bratislava, 1992.
- Backvis, б. г.** С. Backvis. L'antitrinitarisme en Pologne. Отд. оттиск. Б. м., б. г.
- Banac, 1984.** I. Banac. Main Trends in the Slavic Language Question. New Haven, 1984.
- Bohorizh, 1584.** Arcticae horulae succisivae de latinocarniolana literatura... Adami Bohorizh. Witebergae M.D.LXXXIV (1584).
- Bošković-Stulli, 1973.** M. Bošković-Stulli. O pojmovima usmena i pučka književnost i njihovim nazivima // Umjetnost riječi. Zagreb, 1973. Knj. XVII, № 3, 4. S. 149–184, 237–260.
- Bratulić, 1976.** J. Bratulić. Iz problematike proučavanja hrvatskih pravnih spomenika kao spomenika književnosti // Slovo. Zagreb, 1976. Br. 25–26. S. 363–382.
- Brižinski spomeniki, 1993.** Brižinski spomeniki. Znanstveno-kritična izdaja. [Slovenska akademija znanosti in umetnosti.] Ljubljana, 1993.

- Brozović, 1975.** *D. Brozović.* Hrvatski književni jezik u 18. stoljeću // Zbornik zagrebačke slavističke škole. Zagreb, 1975. God. III, knj. 1.
- Bučar, 1910.** *T. Bučar.* Povijest hrvatske protestantske književnosti za reformacije. Zagreb, 1910.
- Codex, 1904.** Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Prae, 1904. T. I. Fasc. I. № 81.
- Costantini, 1972.** *L. Costantini.* Note sulla questione della lingua presso i Serbi tra il XVIII e il XIX secolo // Studi sulla questione della lingua presso gli Slavi a cura di Riccardo Picchio. Roma, 1972. P. 163–224.
- Costantini, 1976.** *L. Costantini.* Slavo ecclesiastico e volgare nella *Grammatika italianskaja* di Vikentije Ljuština. Firenze, 1976.
- Cyryl i Metody, 1991.** Cyryl i Metody apostołowie i nauczyciele Słowian. Lublin, 1991. Cz. 1. Studia. Cz. 2. Dokumenty.
- Čiževsky, 1954.** *D. Čiževsky.* On the Question of Genres in Old Russian Literature // Harvard Slavic Studies 2. Cambridge, Mass., 1954. P. 105–115.
- Die istrische Grenzukunde, 1983.** Die istrische Grenzukunde // Čakavisches Lexikon. Köln; Wien, 1983. T. III. Čakavisches Texte.
- Dostál, 1959.** *A. Dostál.* Staroslověnština jako spisovný jazyk // Bull. Vysoké školy ruského jazyka a literatury. III. Praha, 1959.
- EJ, I.** Enciklopedija Jugoslavije. Zagreb, 1960. Knj. 1.
- Franičević, Švelec, Bogišić, 1974.** *M. Franičević, F. Švelec, R. Bogišić.* Od renesanse do prosvjetiteljstva // Povijest hrvatske književnosti. Zagreb, [1974]. Knj. 3.
- Frinta, 1954.** *A. Frinta.* Bohemismy a paleoslovenismy v lužickosrbské terminologii křesťanské a jejich dějepisný význam // Acta universitatis Carolinae. Philologica. [Praha], 1954, 5.
- Georgijević, 1969.** *K. Georgijević.* Hrvatska književnost od 16. do 18. stoljeća u Sjevernoj Hrvatskoj i Bosni. Zagreb, 1969.
- Gerowskij, 1934.** *G. Gerowskij.* Jazyk Podkarpatské Rusi // Československá vlastivěda. Praha, 1934. Díl III. S. 460–517.
- Grivec, Tomšić, 1960.** *F. Grivec, F. Tomšić.* Konstantin i Metodije Solunjani. Izvori // Radovi Staroslovenskog instituta. Zagreb, 1960. Knj. 4. S. 95–167.
- Hadrovics, 1974.** *L. Hadrovics.* Schrifttum und Sprache der burgenländischen Kroaten im 18. und 19. Jahrhundert. Wien, 1974.
- Hamm, 1963.** *J. Hamm.* Hrvatski tip crkvenoslovenskog jezika // Slovo. Zagreb, 1963. Br. 13. S. 43–67.

- Havlík, 1964.** *L. Havlík. Velká Morava a středoevropští Slované.* Praha, 1964.
- Havránek, 1936.** *B. Havránek. Vývoj spisovného jazyka českého // Československá vlastivěda. II řada. Spisovný jazyk.* Praha, 1936.
- Havránek, 1956.** *B. Havránek. Otázka existence církevní slovanštiny v Polsku // Slavia.* Praha, 1956. Roč. XXV, č. 2.
- Hercigonja, 1975.** *E. Hercigonja. Srednjovjekovna književnost // Povijest hrvatske književnosti.* Zagreb, [1975]. Knj. 2.
- Hercigonja, 1983.** *E. Hercigonja. Nad iskonom hrvatske knjige. Rasprave o hrvatskoglagoljskom srednjovjekovlju.* Zagreb, 1983.
- Herrity, 1972.** *P. Herrity. Jezik Emanuela Jankoviћа // Научни састанак слависта у Вукове дане. Реферати и саопштења.* Београд, 1972. Књ. 2. С. 55–63.
- Hesseling, 1924.** *P. C. Hesseling. Histoire de la littérature grecque moderne.* Paris, 1924.
- Horbatsch, 1964.** *O. Horbatsch. Die vier Ausgaben der Kirchenslavischen Grammatik von M. Smotřickýj.* Wiesbaden, 1964.
- Ivšić, 1939.** *S. Ivšić. Nekoliko napomena na starohrvatski tekst «Žića sv. otaca» // Starine.* Zagreb, 1939. Knj. 40. S. 225–251.
- Jagić, 1913.** *V. Jagić. Hrvatska glagolska književnost.* Zagreb, 1913.
- Jagić, 1963.** *V. Jagić. Iz prošlosti hrvatskoga jezika // Vatroslav Jagić. Rasprave, članci i sjećanja.* Zagreb, 1963.
- Jagoditsch, 1957–1958.** *R. Jagoditsch. Zum Begriff der «Gattungen» in der altrussischen Literatur // Wiener slavistisches Jahrbuch.* Wien, 1957–1958. Bd. VI. S. 112–137.
- Jahić, 1991.** *Dž. Jahić. Jezik bosanskih Muslimana.* [Sarajevo,] 1991.
- Jakobson, 1939–1944.** *R. Jakobson. Saint Constantin et la langue syriaque // Annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire Orientales et Slaves de l'Université libre de Bruxelles.* Bruxelles, 1939–1944. T. VII. P. 181–186.
- Jakobson, 1985.** *Roman Jakobson. Selected Writings.* Berlin – New York – Amsterdam, 1985. Vol. VI.
- Jedlička, 1971.** *A. Jedlička. Problematika ispitivanja savremenog jezika i jezička kultura // Radovi Akademije nauka B.i.H.* Sarajevo, 1971. Knj. XLI. Odjeljenje društvenih nauka. Knj. 14. S. 133–157.
- Jelić, 1906.** *L. Jelić. Fontes historici liturgiae glagolito-romanae a XIII ad XVIII saeculum.* Veglia, 1906.
- Jenč, 1954.** *R. Jenč. Stawizny serbskeho pismowstwa.* Budyšin, 1954.
- Keipert, 6/r. H. Keipert. Kirchenslavisch und Latein. Über die Vergleichbarkeit zweier mittelalterlicher Kultursprachen // Sprache und Literatur Altrußlands. Münster, 6/r. S. 81–109.**

- Kidrič, 1929.** *F. Kidrič.* Zgodovina slovenskega slovstva. Ljubljana, 1929. Snopič I.
- Kiparsky, 1964.** *V. Kiparsky.* Tschernochvostoffs Theorie über den Ursprung des glagolitischen Alphabets // Cyrillo-Methodiana: Zur Frühgeschichte des Christentums bei den Slaven 863–1963. Köln; Graz, 1964. S. 393–400.
- Kombol, 1961.** *M. Kombol.* Povijest hrvatske književnosti do narodnog preporoda. Zagreb, 1961. 2 izd.
- Kuna, 1965.** *H. Kuna.* Redakcije staroslovenskog kao literarni jezik Srba i Hrvata // Slovo. Zagreb, 1965. Br. 15–16. S. 183–199.
- Kuna, 1970.** *H. Kuna.* Jezičke karakteristike književnih djela Dosi-teja Obradovića. Sarajevo, 1970.
- Kurz, 1958.** *J. Kurz.* Církevněslovanský jazyk jako mezinárodní kulturní (literární) jazyk Slovanstva // Československé přednášky pro IV Mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě. Praha, 1958.
- Lehr-Splawiński, 1956.** *T. Lehr-Splawiński.* Czy są ślady istnienia liturgii cyrilometodejskiej w dawnej Polsce? // Slavia. Praha, 1956. Roč. XXV, č. 2.
- Ludolf, 1959.** Henrici Wilhelmi Ludolfi Grammatica Russica quae continet non tantum praecipua fundamenta russicae linguae verum etiam manuductionem quandam ad grammaticam slavonicam. Oxonii A.D. MDCXCVI / Ed. by B. O. Unbegaun. Oxford, 1959.
- Lunt, 1958.** *H. G. Lunt.* Again the русьскими писмены // Cercetări de lingvistică. [București], 1958. Anul III. Supliment. P. 323–326.
- Łowmiański, 1970.** *H. Łowmiański.* Początki Polski. Warszawa, 1970. T. IV.
- Maciej z Miechowa, 1960.** Maciej z Miechowa 1457–1523 — historyk, geograf, lekarz, organizator nauki. Wrocław; Warszawa, 1960.
- Maciej z Miechowa, 1972.** Maciej z Miechowa. Opis Sarmacji azjatyckiej i europejskiej. Wrocław etc., 1972.
- Magnae Moraviae., I–V.** Magnae Moraviae Fontes historici. Brno, 1966–1977. T. I–V.
- Malić, 1973.** *D. Malić.* Šibenska molitva // Rasprave Instituta za jezik JAZU. [Zagreb], 1973. Knj. 2. S. 152–161.
- Mareš, 1964.** *F. Mareš.* Azbučná báseň z rukopisu Státní veřejné knihovny Saltykova-Ščedrina v Leningradě (Sign. Q. I, 1202) // Slovo. Zagreb, 1964. Br. 14. S. 5–24.
- Maretić, 1889.** *T. Maretić.* Istorija hrvatskoga pravopisa latinskijem slovima. Zagreb, 1889.
- Martel, 1938.** *A. Martel.* La langue polonaise dans les pays ruthènes Ukraine et Russie Blanche 1569–1667. Lille, 1938.

- Mayenowa, 1955.** *M. R. Mayenowa.* Walka o język w życiu i literaturze staropolskiej. Warszawa, 1955.
- Mazon, 1920.** *A. Mazon.* Lexique de la guerre et de la revolution en Russie. Paris, 1920.
- Mažuranić, 1912.** *V. Mažuranić.* Hrvatski pravno-povjestni izvori i naša lijepa književnost // Ljetopis JAZU. Zagreb, 1912. Sv. XXVI.
- MGH, VII.** Monumenta Germaniae Historica Epistolarum. Hannoverae, 1912–1925. T. VII. Pt. 1–2.
- Mokuter, 1965.** *J. Mokuter.* Petar Veliki u srpskoj književnosti XVIII veka // Studia Slavica. Budapest, 1965. T. XI. F. 3–4.
- Molnár, 1985.** *N. Molnár.* The calques of Greek origin in the most ancient Old Slavic gospel texts. Budapest, 1985.
- Naumow, 1973.** *A. E. Naumow.* Literatura cerkiewnosłowiańska a komparatystyka literacka // Slavia. Praha, 1973. Roč. XLII, č. 2. S. 149–156.
- Naumow, 1976.** *A. E. Naumow.* Apokryfy w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej. Wrocław etc., 1976.
- Nazor, 1978.** *A. Nazor.* Zagreb riznica glagoljice. Katalog izložbe. Zagreb, 1978.
- Nedeljković, 1965.** *O. Nedeljković.* Još jednom o hronološkom primatu glagoljice // Slovo. Zagreb, 1965. Br. 15–16. S. 19–58.
- Niderle, 1925.** *L. Niderle.* Slovanské starožitnosti. Původ a počátky Slovanů vychodních. Praha, 1925.
- Novak, 1957.** *G. Novak.* Povijest Splita. Split. 1957. Knj. I.
- Obrębski, 1936.** *J. Obrębski.* Problem etniczny Polesia. Warszawa, 1936.
- Otwinowska, 1974.** *B. Otwinowska.* Język—narod—kultura. Antecedencje i motywy renesansowej myśli o języku. Wrocław etc., 1974.
- Panaiteacu, 1926.** *P. P. Panaiteacu.* L'influence de l'œuvre de Pierre Moghila, archevêque de Kiev, dans les Principautés roumaines // Mélanges de l'Ecole roumaine en France. Paris, 1926. Pt. 1.
- Pantelić, 1965.** *M. Pantelić.* Glagoljski brevijar popa Mavra iz godine 1460 // Slovo. Zagreb, 1965. Br. 15–16.
- Picchio, 1958.** *R. Picchio.* La «Istorija slavenobolgarskaja» sullo sfondo linguistico-culturale della Slavia ortodossa // Ricerche Slavistiche. Roma, 1958. Vol. VI. P. 103–118.
- Picchio, 1967.** *R. Picchio.* Slave ecclésiastique, slavons et rédactions // To Honor Roman Jakobson. The Hague; Paris, 1967. Vol. II. P. 1527–1544.

- Picchio, 1972.** *R. Picchio.* Questione della lingua e Slavia cirillometodiana // Studi sulla questione della lingua presso gli Slavi. Roma, 1972. P. 7–120.
- Picchio, 1973.** *R. Picchio.* Models and Patterns in the Literary Tradition of Medieval Orthodox Slavdom // American Contributions to the VII International Congress of Slavists. The Hague; Paris, 1973. Vol. II: Literature and Folklore. P. 439–467.
- Picchio, 1991.** *R. Picchio.* Letteratura della Slavia ortodossa (IX–XVIII sec.). [Bari, 1991].
- Povijest, I.** Povijest hrvatske književnosti. Usmena i pučka književnost. Zagreb, [1978]. Knj. 1.
- Pribojević, 1951.** *V. Pribojević.* O podrijetlu i zgodama Slavena. Zagreb, 1951.
- RCSJ, I–III.** Rječnik crkvenoslavenskog jezika hrvatske redakcije. [Staroslavenski zavod Hrvatskoga filološkog instituta]. Zagreb, 1991–1993. Knj. 1–3.
- Reczek, 1982.** *J. Reczek.* Języki w dawnej Rzeczypospolitej // Język Polski. Kraków, 1982. R. LXIX, 1–2.
- Roques, 1932.** *M. Roques.* Recherches sur les anciens textes albanais. Paris, 1932.
- Rosetti, Cazacu, 1961.** *A. Rosetti, B. Cazacu.* Istoria limbii romine literare. București, 1961. T. 1.
- Roth, 1984.** *K. Roth, J. Roth.* Populare Lesestoffe in Bulgarien. Zur Geschichte der städtischen Popularkultur in Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert // Ethnologia Europaea. 1984. XIV, 1. S. 80–91.
- RHSJ.** Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Na svijet izdaje Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb. 1880–1976. D. I–XXIII.
- Sadnik und Aitzetmüller, 1955.** *L. Sadnik, R. Aitzetmüller.* Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg, 1955.
- SJSS.** Slovník jazyka staroslověnského. Praha, 1958–. Seš. 1–.
- Skarga, 1882.** *Piotr Skarga.* O jedności Kościoła Bożego pod jednym Pasterzem. W Wilnie. Roku 1577 // Русская историческая библиотека. СПб., 1882. Т. VII. Памятники полемической литературы в Западной Руси. Кн. 2.
- Sørensen, 1957.** *H. Ch. Sørensen.* Die stylistische Verwendung kirchenslavischer Sprachelemente in der Autobiographie Avvakums. Kopenhagen, 1957.
- Staroslověnské legendy, 1976.** Staroslověnské legendy českého původu. Praha, 1976.

- Stojković, 1930.** *M. Stojković.* Pokušaj uvodjenja rusko-slovenske gramatike Meletija Smotrickoga kod Hrvata katolika // *Nastavni Vjesnik.* Zagreb, 1930. Knj. XXXVIII. S. 120–131.
- Strungaru, 1960.** *D. Strungaru.* Gramatică lui Smotriți și prima gramatică românească // *Romanoslavica.* București, 1960. T. IV.
- Studi, 1972.** Studi sulla questione della lingua presso gli Slavi / A cura di Riccardo Picchio. Roma, 1972.
- Štefanić, 1960.** *V. Štefanić.* Glagoljski rukopisi otoka Krka. Zagreb, 1960.
- Štefanić, 1963.** *V. Štefanić.* Tisuću i sto godina od moravske misije // *Slovo.* Zagreb, 1963. Br. 13.
- Štefanić, 1969–1970.** *V. Štefanić.* Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije. Zagreb, 1969–1970.
- Tarnanidis, 1988.** *I. C. Tarnanidis.* The Slavonic Manuscripts discovered in 1975 at St. Catherine's Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki, 1988.
- TCLP, I.** Travaux du Cercle linguistique de Prague. I. Prague, 1929.
- Tetzner, 1955.** *J. Tetzner.* H. W. Ludolf und Russland. Berlin, 1955.
- Tönnies Fenne, 1961.** Tönnies Fenne's Low German Manual of Spoken Russian. Pskov, 1607 / Ed. by L. L. Hammerich, R. Jakobson, E. von Schooneveld, T. Starck, Ad. Stender-Petersen. Copenhagen, 1961. Vol. 1.
- Ulewicz, 1950.** *T. Ulewicz.* Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej XV i XVI w. Kraków, 1950.
- Unbegaun, 1935.** *B. Unbegaun.* Les débuts de la langue littéraire chez les Serbes. Paris, 1935.
- Unbegaun, 1961.** *B. O. Unbegaun.* La formation des langues littéraires slaves: problèmes et état des questions // *Langue et littérature.* Actes du VIII Congrès de la FILLM. Liège, 1961.
- Unbegaun, 1969.** *B. O. Unbegaun.* Язык русского права // *B. O. Unbegaun.* Selected papers on Russian and Slavonic Philology. Oxford, 1969. P. 312–318.
- Vaillant, 1935.** *A. Vaillant.* Les «lettres russes» de la Vie de Constantin // *Revue des Études Slaves.* Paris, 1935. T. XV. P. 75–77.
- Vaillant, 1958.** *A. Vaillant.* L'homélie d'Épiphanie sur l'ensevelissement du Christ // *Radovi Staroslavenskog instituta.* Zagreb, 1958. Knj. 3.
- Vajs, 1932.** *J. Vajs.* Rukovět hlaholské paleografie. Praha, 1932.
- Vince, 1978.** *Z. Vince.* Putovima hrvatskoga književnog jezika. Zagreb, 1978.

- Vončina, 1983. *J. Vončina*. Staroslovenski jezički elementi u renesansnoj hrvatskoj poeziji (na primeru Nikole Dimitrovića) // Књижевност и језик. Београд, 1983, № 1/2. С. 25–38.
- Vrana, 1962. *J. Vrana*. Kulturno-historijsko značenje Povaljske ćiriljske listine iz godine 1250 // Filologija. Zagreb, 1962. Knj. 3.
- Vyskočil, 1980. *P. Vyskočil*. Rusismy v Apoštoláři Ochridském // Slovo. Zagreb, 1980. Br. 30. S. 7–15.
- Weingart, 1949. *M. Weingart*. Československý typ církevnj slovančiny. Bratislava, 1949.
- Widemann, 1906. *A. Widemann*. Alphabet // Archiv für Religionswissenschaft. 1906. Bd. VIII. S. 552–554.
- Wolman, 1968. *S. Wolman*. Žánrová struktura slovanských literatur // Československé přednášky pro VI mezinárodní sjezd slavistů. Praha, 1968. S. 215–223.
- Worth, 1983. *D. Worth*. The «Second South Slavic Influence» in the History of the Russian Literary Language (Materials for a Discussion) // American Contributions to the IX International Congress of Slavists. Columbus; Ohio, 1983. Vol. 1. Linguistics. P. 349–372.
- Zečević, 1978. *D. Zečević*. Pučki književni fenomen // Povijest hrvatske književnosti. Zagreb, [1978]. Knj. 1.
- Zgodovina slovenskega slovstva, I. Zgodovina slovenskega slovstva. Ljubljana, 1956. T. I. Do začetkov romantike.
- Živković, 1957. *D. Živković*. Počeci srpske književne kritike (1817–1860). Beograd, 1957.

Сокращения

АН — Академия наук

ГАИМК — Гос. академия истории материальной культуры

ГИМ — Гос. исторический музей

ЛГУ — Ленинградский гос. университет

МАПРЯЛ — Международная ассоциация преподавателей русско-го языка и литературы

МГУ — Московский гос. университет

ОЛДП — Общество любителей древней письменности

ОРЯС — Отделение русского языка и словесности Академии наук

СКА — Српска краљевска академија. Београд

JAZU — Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb

Первые издания публикуемых работ

- Язык — словесность — культура — самосознание. — Публикуется впервые. В основе статьи — доклад, прочитанный на VIII Международном конгрессе МАПРЯЛ в Регенсбурге в августе 1994 г. Тезисы доклада под тем же названием опубликованы в кн.: Русский язык и литература в современном диалоге культур. Регенсбург / Германия, 22–26 августа 1994 г. Тезисы докладов. Регенсбург, 1994. С. 3–4.
- Несколько размышлений о славянских литературных языках, литературно-языковых ситуациях и концепциях // Славянские и балканские культуры XVIII–XIX вв. М., 1990. С. 29–36.
- Slavia Orthodoxa и Slavia Latina — общее и различное в литературно-языковой ситуации (опыт предварительной оценки) // Ricerche slavistiche. 1995. Vol. XLII. P. 89–102 [то же: ВЯ. 1997, № 2. С. 16–23].
- Кирилло-мефодиевская традиция у славян. — Публикуется впервые. В основе статьи — доклад «Роль великоморавской традиции в славянской культуре», прочитанный на пленарном заседании XI Международного съезда славистов в Братиславе 31 августа 1993 г.
- Древняя славянская письменность и становление этнического самосознания у славян // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982. С. 234–249 [то же в кн.: *Н. И. Толстой*. История и структура славянских литературных языков. М., 1988. С. 128–140].
- К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян // ВЯ. 1961, № 1. С. 52–66 [то же в кн.: *Н. И. Толстой*. История и структура славянских литературных языков. М., 1988. С. 34–52].
- Древнеславянский литературный язык в XII—XIV вв. (его функции и специфика) // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1989. С. 14–24.
- Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI — XVII вв.) // Славянское языкознание. V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1963. С. 230–272 [то же в кн.: *Н. И. Толстой*. История и структура славянских литературных языков. М., 1988. С. 52–87].

- Старинные представления о народно-языковой базе древнеславянского литературного языка (XVI—XVII вв.) // Вопросы русского языкознания. М., 1976. С. 177–204 [то же в кн.: *Н. И. Толстой. История и структура славянских литературных языков*. М., 1988. С. 108–127].
- Языковая ситуация в западных пределах восточного и южного славянства в XVII веке (опыт сопоставительного рассмотрения). — На рус. языке публикуется впервые, перевод автора. Оригинал на сербскохорватском языке: *Н. И. Толстой. Језичка ситуација у западним деловима Источног и Јужног словенства у XVII веку (покушај упоредног разматрања)* // *Књижевни језик*. Сарајево, 1990. Год. 19, бр. 4. С. 161–167.
- Этническое и культурное самосознание сербов в связи с развитием письменности (литературы) и литературного языка в XII–XIV вв. // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1989. С. 117–129.
- Отношение древнесербского книжного языка к древнеславянскому языку // *Н. И. Толстой. История и структура славянских литературных языков*. М., 1988. С. 164–173. — Оригинал на сербскохорватском языке: *Н. И. Толстой. Однос старог српског књишког језика према старом словенском језику (у вези са развојем жанрова у старој српској књижевности)* // *Научни састанак слависта у Вукове дане*. 1978. Београд, 1982. Књ. 8. С. 15–23.
- К историко-культурной характеристике «славяно-сербского» литературного языка // *Формирование национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы*. М., 1977. С. 267–281 [то же в кн.: *Н. И. Толстой. История и структура славянских литературных языков*. М., 1988. С. 174–186].
- К вопросу об историографическом слоге сербского («славено-сербского») литературного языка (Савва Владиславич — Иоанн Раич — Милован Видакович) // *Зборник за филологију и лингвистику*. Нови Сад, 1990. Књ. 33. С. 479–486.
- Литературный язык сербов в XVIII — начале XIX в. — Работа публиковалась по частям: (1) Литературный язык сербов в XVIII в. (до 1780 г.) // *Славянское и балканское языкознание. История литературных языков и письменность*. М., 1979. С. 154–197; (2) Литературный язык у сербов в конце XVIII — начале XIX века // *Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков*. М., 1978. С. 269–328.

- Этническое и культурное самосознание хорватов в связи с развитием письменности (литературы) и литературного языка в XII—XIV вв. // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1989. С. 152–164.
- Регионализм и литературно-языковая ситуация в хорватских землях XVI—XVIII вв. — Впервые под заглавием: Становление хорватской литературы и литературный регионализм в XVI—XVIII вв. // Славянские литературы в процессе становления и развития. От древности до середины XIX века. М., 1987. С. 174–206.
- Страничка из истории македонского литературного языка (Перевод «Любушиного суда» из «Краледворской рукописи» на македонский язык в XIX в.) // Краткие сообщения Института славяноведения. М., 1965. Вып. 43. С. 17–34.
- Язычество и христианство древней Руси // The Legacy of Saints Cyril and Methodius to Kiev and Moscow. Thessaloniki, 1992. P. 341–348.
- Этническое самопознание и самосознание Нестора Летописца, автора «Повести временных лет» // Исследования по славянскому историческому языкознанию. Памяти Г. А. Хабургаева. М., 1993. С. 4–12.
- Два иностранных свидетельства о славянах, русских, о церковнославянском и русском языке // Язык: система и подсистемы. К 70-летию М. В. Панова. М., 1990. С. 265–280.
- Взгляды А. Н. Пыпина на историю русского литературного языка (страничка из истории русской лингвистики) // Russian Philology and History. In honour of prof. V. Levin. Jerusalem, 1992. P. 156–169.
- Некоторые вопросы текстологии и публикации русских литературных памятников XVIII века // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. М., 1981. Т. 40, № 4. С. 312–323. В соавторстве с Ю. М. Лотманом и Б. А. Успенским.
- Вопросы культуры речи в трудах русских лингвистов 20-х годов // Развитие языковой жизни стран социалистического содружества. Praha, 1987. Т. 2. С. 507–523.
- Новый славянский литературный микроязык? // Res philologia. Филологические исследования. Памяти Г. В. Степанова, 1919–1986. М.–Л., 1990. С. 265–272.

Никита Ильич Толстой

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

Том II

Славянская литературно-языковая ситуация

Издатель А. Кошелев

Редактор С. М. Толстая

Корректор М. Н. Толстая

**В подготовке тома к печати принимали участие
Т. И. Вендина, Н. В. Китаева, М. Н. Толстая, С. М. Толстая**

**Подписано в печать 15.02.98. Формат 70x100 1/16.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура «Школьная».
Усл. печ. л. 43,86. Заказ № 3240 Тираж 2000.**

**Издательство «Языки русской культуры».
129345, Москва, Оборонная, 6-105; ЛР № 071304 от 03.07.96.
Тел. 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153).
Каталог в ИНТЕРНЕТ на сервере <http://users.goldnet.ru> (страница iplrc)
E-mail: mik@sch-Lrc.msk.ru**

**Отпечатано с оригинал-макета во 2-й типографии РАН.
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6.**

**Оптовая реализация — тел.: (095) 247-17-57.
Костюшин Павел Юрьевич.
Проезд: Метро «Парк Культуры», здание изд-ва «Прогресс».**

**Foreign customers may order the above titles
by E-mail: Lrc@koshelev.msk.su
or by fax: (095) 246-20-20 (for ab. M153).**



Том II

Н. И. ТОЛСТОЙ * ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ